



Журнал

Редактор Евгений Беркович

**СЕМЬ
ИСКУССТВ**

Наука

Культура

Словесность

11/2014

Журнал

**«Семь искусств»
№ 11 (57) 2014**

Редактор и составитель
Евгений Беркович

Художник
Дорота Белас



Семь искусств
Ганновер 2014

Журнал «Семь искусств» № 11 (57)/2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 447 с., 27,2 а.л.

«Семь свободных искусств – основа воспитания, которое надлежит
давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно
свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».
Аристотель. "Политика".



Семь искусств
Ганновер 2014

Оглавление

<i>Владимир Тихомиров</i> Леонид Витальевич Канторович	5
<i>Владимир Кирсанов</i> Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове	12
<i>Евгений Рейн</i> "...А с благодарностью — были..."	25
<i>Александр Авдеенко</i> "Помнится, что жил..."	28
<i>Елена Желтова</i> Поэзия и жизнь	35
<i>Павел Катаев</i> Вова	41
<i>Александр Кунин</i> Обманчивая ткань реальности. Владимир Набоков и наука	44
<i>Александр Сальников</i> Главная тайна Троянской войны	54
<i>Бенгт Лильегрен</i> «Во главе Королевства Свеев». Перевод <i>Георгия Фомина</i>	64
<i>Ефим Курганов</i> Шпион Его Величества, или 1812 год Историко-полицейская сага в четырех томах	89
<i>Владимир Порудоминский</i> Порядок творенья обманчив	140
<i>Галина Подольская</i> Река жизни — Россия	149
<i>Лев Мадорский, Анатолий Зак</i> Чем раньше, тем лучше	167
<i>Игорь Гельбах</i> Мясная лавка, или Кригика чистого разума. Сцены для театра	173
<i>Галина Гампер</i> Стихи 2014 года	215
<i>Даниил Чкония</i> Не умирай, пока живёшь...	221
<i>Владимир Пучков</i> На холме зеленой ночи...	235
<i>Виктория Орти</i> Влюбленные этой войны...	244
<i>Марианна Гончарова</i> "Серебристых тополей листы..."	250

<i>Валерий Черешня</i> Вид из себя	258
<i>Виктория Жукова</i> Увидеть Париж и умереть. Два рассказа	278
<i>Нина Воронель</i> "Потерянная глава". Из романа "В тисках между Юнгом и Фрейдом"	297
<i>Александр Матлин</i> Эм-би-и	303
<i>Анна Соловей</i> «Космогоний». Главы из романа	309
<i>Семён Машикович</i> И.А. Кибель. К 110-летию со дня рождения	330
<i>Игорь Фунт</i> Мефистофель по приказу: «Если царь прикажет — акушеркой буду!» К 205-летию со дня рождения Н.В. Кукольника	342
<i>Семён Резник</i> Против течения. Академик Ухтомский и его биограф Документальная сага с мемуарным уклоном	347
<i>Ася Лapidус</i> Нечаянно-негаданно. Три объявления в одной газете	377
<i>Владимир Фрумкин, Тамара Львова</i> Через океан. Повесть-перекличка	381
Лев Шульман-Приходько О стихотворении И. Бродского "Бабочка"	410
<i>Евгений Шраговиц</i> «Баллада о кембрийской глине» Александра Гинзбурга Заметки внимательного читателя	418
<i>Виктор Гопман</i> Потомки дракона	435

Владимир Тихомиров

ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ КАНТОРОВИЧ*

Леонид Витальевич Канторович принадлежит к числу великих ученых двадцатого века. И как почти все ученые подобного ранга он был фигурой легендарной. И я буду перемешать информацию о его личности и его научных достижениях некоторыми зачастую апокрифическими историями о нем самом.

Начну с такой. Леонид Витальевич принадлежал к редчайшему числу людей неслышанно раннего развития. Как-то он, семилетний мальчик, стал свидетелем подготовки его брата, учившегося в вузе, к экзамену по химии. Мальчик заинтересовался химией и прочитал учебник, по которому готовился брат. Вскоре выяснилось, что семилетний мальчик полностью усвоил курс химии и научился решать все задачи. А брат, который был на одиннадцать лет старше, испытывал затруднения в решении химических задач. Брат взял маленького мальчика на экзамен, как будто его не с кем было оставить дома. Мальчик остался в аудитории, ему дали карандаши и бумагу, чтобы он рисовал или писал что-то своё, детское, а на самом деле мальчик решал экзаменационные задачи для брата и его друзей.



Л.В. Канторович

Сын Леонида Витальевича — Всеволод Леонидович — рассказал мне еще и такую историю. Как-то к ним в школу пришел инспектор, и узнав, что в классе сидит сын Канторовича, спросил у мальчика, как у него обстоят дела с химией. Оказалось, что инспектор был соклассником Леонида Витальевича и помнил об интересе отца мальчика к химии в школьные годы. Сын мало знал об этих интересах своего отца, и, придя из школы, спросил Леонида Витальевича об этом. Тот подтвердил, что действительно очень увлекался химией и в возрасте десяти лет **придумал радиоуглеродный метод датирования**. Через несколько лет он узнал, что этот метод вошел в науку позже.

Канторович поступил в университет в 1926 году 14-ти лет. Он приступил к занятиям, впрочем, не в сентябре, а в ноябре. И вот почему.

Для того чтобы принять в Университет мальчика в столь юном возрасте, требовалось некое согласование. Подтверждение того, что он принят, мальчик не

* Статья из тома Историко-математических исследований. Вторая серия. Выпуск 15 (50), <<Янус-К>> Москва 2014.

получил, и на занятия не ходил. И вдруг 6 ноября приходит открытка (с надписью «Вторично»), где сказано, что если он до 9 ноября 1926 года не пройдет «комиссию по платности», не заплатит за учебу и не приступит к занятиям, то это повлечет за собой «исключение из числа студентов Ун-та без права восстановления». И только тогда мальчик, выполнив нужное требование, приступил к занятиям в университете.

При рассказе о математическом творчестве Л.В. Канторовича я буду частично опираться на «предполагавшийся доклад в Московском математическом обществе». Этот текст Леонид Витальевич диктовал своему сыну, когда лежал в больнице, из которой он не вышел, и доклад остался недописанным, хотя часть задуманного, записанная сыном Леонида Витальевича, была опубликована в УМН, т. 42, вып. 2 за 1987 г. с. 183 —213.

Доклад начинается так.

Члены общества хорошо знают труды московских математиков, [...] иногородних математиков они знают гораздо меньше. Поэтому моя цель — как бы представиться математическому обществу. [...] Прежде чем переходить к конкретному изложению, я хотел бы кое-что сказать о себе. Я не эрудит. [...] Должен признаться, что и моя память, и способность к восприятию нового не намного выше среднего. Некоторые делают математиков на тех, кто обладает, по преимуществу, проникающей силой, и на математиков-концептуалистов. Я принадлежу ко второй категории.

Что касается первой «категории», то скромная самооценка, возможно, была вызвана тем, что, преодолевая интеллектуальные преграды, Леонид Витальевич не замечал их трудности.

Переход к изложению конкретных результатов, начну с воспоминания. Однажды я оказался рядом с Леонидом Витальевичем на одном собрании, и спросил у него, кого он относит к числу своих учителей. При ответе Леонид Витальевич проявил свойственную ему широту и щедрость. Он назвал четверых: Григория Михайловича Фихтенгольца, Андрея Николаевича Колмогорова, Сергея Натановича Бернштейна и Владимира Ивановича Смирнова.

Григорий Михайлович сыграл для юного Канторовича роль наставника, раскрывшего перед ним горизонты нашей науки и формы научной деятельности. Фихтенголец открыл семинар по дескриптивной теории функций, который стал посещать второкурсник Леонид Канторович и где он выступал со своими первыми научными сообщениями. Особую роль на начальной стадии творчества Л.В. сыграл другой семинар Фихтенгольца, проходивший в 1928-29 гг., посвященный теории А-множеств. Среди участников семинара были Д.К. Фаддеев, И.П. Натансон, С.Л. Соболев, С.Г. Михлин и др. Л.В. активно тогда сотрудничал со своим сокурсником Е.М. Ливенсоном.

Вот как сам Леонид Витальевич представляет в своем докладе теорию, ставшую темой семинара Фихтенгольца: *"Известно, что в период примерно с 1915 по 1925 гг., исследования по аналитическим множествам (А-множествам или Александровским множествам) открытым и изученным П.С. Александровым, М.Я. Суслиным и Н.Н. Лузиным, занимали центральное место в работе многих московских математиков (А.Н. Колмогоров, П.С. Новиков и др.)"*.

Теме "Открытие А-множеств" я посвятил одну из своих статей в "Историко-математических исследованиях". Это очень болезненная тема. В своей статье я пи-

сал, что нужен гений масштаба Достоевского, чтобы раскрыть тайну взаимоотношений названных Леонидом Вигальевичем П.С. Александра, М.Я. Суслина, Н.Н. Лузина, А.Н. Колмогорова, П.С. Новикова <и др.>. Приоритетные и психологические обсуждения могут завести нас слишком далеко, и потому я на них здесь останавливаться не буду.

В итоге активного участия в семинаре по теории А-множеств цикл исследований Канторовича-Ливенсона был посвящён дальнейшей разработке этой теории. На работах этого цикла сказывалось воздействие Лузина, Хаусдорфа и Колмогорова. Тогда же состоялось знакомство Канторовича с Колмогоровым, и тот познакомил юношу со своими исследованиями, написанными также в самую раннюю пору его творчества, но оставшимися неопубликованными. (Девятнадцатилетний Колмогоров написал две статьи по дескриптивной теории множеств, которые передал своему учителю. Тот держал их в своем столе в течение нескольких лет, пока по требованию Д.Ф. Егорова не вернул их автору. Первая статья была напечатана в Матсборнике в 1928 году, а другая пролежала в архиве Колмогорова, была обнаружена незадолго до его смерти и лишь тогда опубликована). В тридцатые годы Колмогоров показывал её А.А. Ляпунову и Л.В. Канторовичу, но, как пишет Л.В. *"Андрей Николаевич категорически запретил указывать время написания его рукописи"*. Контакты и беседы с А.Н. Колмогоровым, начавшиеся в двадцатые годы и продолжавшиеся на протяжении всей жизни, и послужили тому, что Канторович назвал Колмогорова одним из своих учителей.

Заканчивалось обучение в Университете (в его группе учились С.Л. Соболев, С.А. Христианович, С.Г. Михлин, Б.Б. Девисон, Г.А. Амбарцумян (сестра В.А. Амбарцумяна) и В.Н. Замятина (будущая жена Дмитрия Константиновича Фаддеева и мать Людвига Дмитриевича).

В аспирантские годы Канторович начинает преподавать в Строительном институте в первый год ассистентом, во второй доцентом, в третий профессором.

Когда он вошел в аудиторию, чтобы читать лекцию, его стащили с кафедры с криком: "Садись на место! Сейчас профессор придет!"

В 1932 году (двадцати лет) он был избран профессором кафедры Института Промышленного транспорта. В эти годы продолжается бурный период творчества.

Вдруг появляется цикл работ по тематике, навеянной творчеством С.Н. Бернштейна. Вот как он пишет о мотивах, побудивших его начать эти исследования.

...Запаздывал ученик на урок, и Л.В., листая *Fundamenta*, наткнулся на статью о полиномах Бернштейна, восхитился, и ему *"сразу подумалось, а нельзя ли в этих полиномах заменить значения функций в отдельных точках на более устойчивые средние значения графика в соответствующих интервалах"*. Оказалось, что этот процесс ведет к сходимости почти всюду для функций из L_1 на отрезке.

И в других проблемах, навеянных творчеством Бернштейна, Л.В. идёт своим путём, проявляя большую самостоятельность. Он исследует сходимость полиномов Бернштейна в комплексной области, а также полиномов с целыми коэффициентами.

Это оказало воздействие и на самого Бернштейна: в 1943 году он печатает статью "О сходимости полиномов в комплексной области".

А.Н. Крылов печатает статью (1931) "О расчете балок, лежащих на упругом основании", и вскоре появляется реплика Л.В.: "Применение интеграла Стильбеса к расчету балок, лежащих на упругом основании" (1934). Несомненно, влияние и на эту работу и вообще на идеологию обобщенных функций творчества Н.М. Гюн-

тера, который в те годы опубликовал огромный труд о применении интеграла Стильеса к фундаментальным проблемам математической физики.

Его творчество оказало большое влияние и на Л.В., и на С.Л. Соболева (В.И. Арнольд причисляет Гюнтера к основоположникам теории обобщенных функций).

И почти одновременно осуществляется переход Канторовича к вопросам, постановка которых была навеяна контактами с Владимиром Ивановичем Смирновым: вариационное исчисление (учебник на эту тему написан В.И. Смирновым, В.И. Крыловым и Л.В. Канторовичем в 1933 г.), построение конформных отображений (работа 1933 г., оказавшая влияние на Г.М. Голузина).

В 1936 году появляется знаменитая книга Л.В. Канторовича и В.И. Крылова "Методы приближенного решения дифференциальных уравнений", на кого только ни оказавшая влияние в сороковые годы.

Два результата Канторовича из прикладного анализа хочу отметить. Он получил явные оценки приближений решений уравнения Фредгольма второго рода системами конечномерных уравнений и распространил метод Ньютона на бесконечномерный случай. (Этот метод был, в частности, использован А.Н. Колмогоровым при построении КАМ-теории). По ходу дела Леонид Витальевич описал медленнее сходящийся, но гораздо более удобный с вычислительной точки зрения метод, иногда называемый *модифицированным методом Ньютона-Канторовича*. Оба результата легли в основу вычислений, которые проводились при осуществлении атомных и космических программ, и потому в сороковые годы Канторович уделяет особое внимание проблематике создания эффективных численных методов решения прикладных задач. Мне лично было бы очень интересно узнать о вкладе Канторовича в осуществление атомной программы, я слышал о том, что его роль была велика, но подробного текста об этом мне найти не удалось.

Эта поразительная всеядность напомнила мне Павла Самуиловича Урысона, который, развивая общую топологию, мимоходом решал экстремальные задачи геометрии, создавал теорию нелинейных уравнений, показывал, как возникают А-множества в теории аналитических функций, решил принципиальную задачу электростатики о «сливании» электричества с острия» и многое другое. И так же, как Урысон находит свою тему — теорию размерности, так и Канторович находит на предвоенный период свое направление в функциональном анализе: он строит *теорию упорядоченных векторных пространств*.

В тридцатые годы три математика формировали идеологию функционального анализа: Банах (своим трудом "Théorie des opérations linéaires"), где векторные пространства оснащались *метрикой*, и были построены начала *нормированных пространств* (эта тема была продолжена Колмогоровым и фон Нейманом, где векторные пространства были оснащены *топологией*, что привело к теории топологических векторных пространств, на базе которых была построена теория обобщенных функций). И еще надо назвать два имени: И.М. Гельфанда, который соединил полные нормированные (банаховы) пространства с *алгеброй* и в итоге была построена теория *банаховых алгебр*. Л.В. Канторович, соединил банаховы пространства с *порядковыми структурами*, в итоге чего была построена *теория полупорядоченных пространств (или K-пространств или векторных решеток)*. (Доклад Канторовича на эту тему заинтересовал Колмогорова — ему показалось интересным, что пространства функций ограниченной вариации относятся к числу полупорядочен-

ных пространств). В течение нескольких лет Л.В. со своими учениками построил развернутую теорию полуупорядоченных пространств.

Создание этой теории дважды (в 1937 и 1938 году) было оценено первыми премиями на конкурсе научных работ: по всем специальностям в 1937 и по математике (вместе с А.Д. Александровым, Л.С. Понтрягиным и С.Л. Соболевым) в 1938 году.

Как мне не раз говорил С.С. Кутателадзе, Леонид Витальевич высказывал идею о том, что полуупорядоченные пространства во всем подобны вещественным числам. Это было подтверждено в семидесятые-восемидесятые годы прошедшего века, когда были построены булевозначные модели вещественных чисел и появились промежуточные мощности множеств числовой прямой. Леонид Витальевич застал подтверждение своей интуиции: он представлял в ДАН работу Е.И. Гордона, где было доказано, что K -пространства можно с некоторой общей позиции рассматривать, как вещественные числа.

Мы подошли к научным направлениям, которые были очень высоко оценены научным миром. Я имею в виду теорию линейного программирования и математическую экономику.

...В начале 1939 года к двадцатисемилетнему профессору Ленинградского университета обратились за консультацией сотрудники лаборатории фанерного треста. Они поставили перед собой вопрос о наиболее выгодном распределении материала между станками. Леонид Витальевич заинтересовался этой задачей. Он писал: *Оказалось, что эта задача не является случайной. Я обнаружил большое число задач, имеющих аналогичный математический характер: наилучшее использование посевных площадей, выбор загрузки оборудования, рациональный раскрой материала, использование сырья, распределение транспортных грузопотоков. ...Это настойчиво побудило меня к поиску эффективного метода их решения.*

В том же, 1939 году, была опубликована небольшая брошюра Л.В. Канторовича «Математические методы организации и планирования производства», в которой по сути дела было открыто новое научное направление в математике, где рассматривались задачи на минимум или максимум выпуклых (как правило, линейных) функций при ограничениях в виде линейных неравенств. Это направление, получившее название *линейного программирования*, оказало большое влияние на развитие теории и практики управления различными объектами, на создание нового раздела в теориях оптимизации численных методов выпуклой оптимизации (что вошло в предмет исследований, называвшийся "Исследованием операций") и на разработку математически оснований экономической науки. В работе 1939 года Леонид Витальевич впервые выразил на математическом языке постановку производственных задач оптимального планирования и экономического анализа этих задач, а также предположил методы их разрешения.

Теория линейного программирования ныне рассматривается, как глава выпуклого анализа, существенно базирующегося на двойственности выпуклых объектов. Двойственные переменные в задачах линейного программирования получили в трудах Л.В. Канторовича экономическую интерпретацию и стали называться *объективно обусловленными оценками, теневыми ценами и др.*

В суровом 1942 году, выполняя многочисленные работы по военной тематике, Леонид Витальевич начал разработку особого отдела бесконечномерного линейного программирования, называемого ныне *теорией Монжа-Канторовича*. Эта теория, истоки которой были заложены в 18 веке Г. Монжем, также базируется

на принципе двойственности. В наши дни теория Монжа-Канторовича переживает период бурного развития. Достаточно сказать, что Седрик Виллани, получивший фидсовскую медаль на последнем Математическом конгрессе, развивает теорию Канторовича.

Достижения Л.В. в экономике были увенчаны присуждением ему Нобелевской премии по экономике за 1975 год.

Двадцатый век был воистину жестоким веком. Но по отношению к Леониду Витальевичу он был во многом милостив. Ему посчастливилось родиться в одном из самых прекрасных городов мира и воспитываться в высококультурной и интеллигентной среде. Его выдающаяся одаренность была своевременно замечена и оценена, и он в самые ранние годы попал в атмосферу Ленинградского университета, в котором были живы традиции петербургской математической школы, исходившие от Чебышёва и его последователей, и где работали люди высокого нравственного ценза, такие как Владимир Иванович Смирнов и Григорий Михайлович Фихтенгольц. На протяжении первых лет своего творчества Леонид Витальевич ощущал всестороннюю поддержку и одобрение, причем не только коллег: мне довелось как-то видеть календарь за 1940 год, где среди портретов передовиков производства был портрет Леонида Канторовича, про которого там сказано, что он относится к числу «самых талантливых учёных Ленинградского университета».

В одном из писем 1942 года к Павлу Сергеевичу Александрову А.Н. Колмогоров так описывает эволюцию творчества многих своих коллег: «После первых 10-15-20 лет, когда молодой математик занимается стихийно тем, что попадает ему под руку, *большинство серьезных математиков* начинает стремиться к тому, чтобы очертить себе достаточно узкий круг интересов и сосредоточить свои усилия на такой области, где они чувствовали себя полными хозяевами в смысле полного владения всем, что в данной области известно, а по возможности и не имели бы равных по силе конкурентов».

В числе таковых «серьезных математиков» в письме названы Александров, Курош, Хаусдорф и Каратеодори, — славные и достойные имена. Упомянув в своем списке своего друга и немецких математиков, оказавших большое влияние на его собственное творчество, Колмогоров признает их позицию «вполне достойной».

Но его, Колмогорова, влечет к себе «другая позиция», а именно: «браться за все то, что *с чисто субъективной точки зрения* кажется наиболее существенным и интересным *в математике вообще*». Среди своих современников и соотечественников в очень скромном перечне тех, кого влекла к себе «другая позиция», названа фамилия Канторовича.

Суровые испытания для Канторовича начались тогда, когда Леонид Витальевич осознал возможности математики в разрешении многих актуальных проблем экономики. Это было в начале сороковых годов, и потом эти испытания продолжались долгие годы. Но все это было преодолено.

Влияние Канторовича испытали на себе все, кто занимался математическим анализом в широком смысле этого слова, и кроме того, Леониду Витальевичу довелось создать блистательную школу по экономике.

Мне довелось впервые увидеть Леонида Витальевича Канторовича в 1957 году, когда на ноябрьские праздники Андрей Николаевич Колмогоров взял меня в Ленинград для встреч с ленинградскими математиками с рассказами о нашей работе, посвящённой e -энтропии.

Вечером — после лекции Андрея Николаевича — состоялся приём у Юрия Владимировича Линника. На нём собралось много ленинградских математиков, среди них был и Леонид Витальевич Канторович. Разговор шёл о разном и, разумеется, о кибернетике. Мне запомнились слова Леонида Витальевича о том, что машину нетрудно будет обучить делать разные сложные вещи по готовой программе, но нелегко выработать у неё «свободу воли», способность ставить перед собой незапрограммированные задания. Эти слова прозвучали очень веско: чувствовалось, что Л.В. глубоко вошёл уже в тот мир, который мы сейчас зовём компьютерным (тогда этого слова ещё не было). А у остальных об этом мире были только довольно отдалённые впечатления.

Нового знакомства не потребовалось: при встречах Леонид Витальевич дружески приветствовал меня, как человека хорошо ему известного. Мне посчастливилось несколько раз встречаться и разговаривать с Леонидом Витальевичем, и он раскрылся передо мной, как человек необычайной душевности и привлекательности. Ему было свойственно очень тонкое чувство юмора.

Мне рассказывали, что по разным «персональным» причинам, некоторое время в Академгородке в Новосибирске не было полноценного медицинского обслуживания, а была только патолого-анатомическая лаборатория. За лечением надо было ездить в Новосибирск. Как-то выступая на каком-то представительном собрании, Леонид Витальевич сказал, что было бы хорошо *если бы можно было бы получить медицинскую помощь на более ранней стадии болезни.*

Но при всей своей мягкости и доброжелательности, Леонид Витальевич был бесстрашным часовым на рубеже истины. Примеров тому необычайно много.

Мне же остается только сказать, что я часто вспоминаю светлый облик Леонида Витальевича и благодарю судьбу, за то, что она дала мне возможность общаться с ним.



Владимир Кирсанов

СЛОВО О БОРИСЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ КУЗНЕЦОВЕ

Есть люди, само существование которых может рассматриваться современниками как редкая удача, счастливое совпадение. Их значение выходит далеко за рамки опубликованных книг и конкретных научных результатов. Присутствие такого человека в профессиональном коллективе — залог здорового климата, предпосылка творческих удач. В советской истории науки таким человеком был Борис Григорьевич Кузнецов, чье столетие со дня рождения мы отмечаем в этом году. Поэтому я хотел бы вначале кратко напомнить его биографию, затем столь же кратко сказать о его научных трудах и том влиянии, которое он оказал на своих современников и коллег, а в заключение представить вниманию читателей небольшой очерк, где я попытался выявить наиболее привлекательные, с моей точки зрения, стороны его творчества.



Б.Г. Кузнецов

Начну с биографии. Борис Григорьевич Кузнецов родился в 1903 году в Екатеринославе, теперешнем Днепрпетровске. Чем занимался его отец, мне неизвестно, знаю, что его звали Григорий-Соломон, фамилия была Шапиро, и он умер, когда Б.Г. был маленьким ребенком. В семье было трое детей — Борис, брат-близнец Моисей и сестра Дебора, всех их воспитывала мать, которая, по-моему, была преподавательницей французского языка, и это объясняет тот факт, что братья с детства свободно говорили по-французски.

Кстати, сегодня будет вполне уместно вспомнить и брата Бориса Григорьевича. В последние двадцать лет он был его ближайшим помощником в работах по истории науки и в какой-то мере соавтором. Мы называли его Михаилом Григорьевичем, хотя для всех он был Моисеем Соломоновичем Шапиро — он не стал менять свою фамилию, как это сде-

лал в двадцатые годы Борис Григорьевич. Михаил Григорьевич был морским инженером, перед войной работал в Ленинграде, где был заместителем директора Военного кораблестроительного института, того самого, где когда-то был директором Алексей Николаевич Крылов.

Михаил Григорьевич отличался редким умом, редкой житейской проницательностью и большой любовью к окружающим его людям. Примером этому может служить тот факт, что в самые первые дни войны он распорядился вывезти из

Бадаевских складов всё хранившееся там на случай войны довольствие, которое полагалось сотрудникам его института. Через несколько дней после этого Бадаевские склады были разбомблены, а он, таким образом, спас своих коллег от голодной смерти во время блокады.

Войну М.Г. провел на фронте — служил на Балтийском флоте, — а после ее окончания вернулся в свой институт. Он был крупным инженером, первым в нашей стране начавшим на военно-морском флоте переход с дизельных судовых двигателей на газотурбинные. В конце сороковых годов, в разгар кампании антисемитизма М.Г. был вынужден уйти из Института и уехать из Ленинграда. Он переехал в Лиепая, тогда закрытый город, где находилась наша исследовательская база подводных лодок. На этой базе М.Г. был заместителем начальника по научной работе — должность была адмиральская, но чин адмирала Михаилу Григорьевичу так и не дали, в отставку он ушел в звании капитана первого ранга. Братья — Б.Г. и М.Г. — нежно любили друг друга, и после смерти Бориса Григорьевича вскоре умер и Михаил Григорьевич.

Но вернусь к Борису Григорьевичу. Он учился на социально-историческом факультете Университета (который назывался Институт образования) и на электротехническом отделении Политехнического института. Переехав в середине 1927 г. в Москву, окончил Институт экономики РАНИОН (Российская ассоциация научно-исследовательских институтов, позже она была слита с Институтом красной профессуры) и тамошнюю аспирантуру. В молодые годы Б.Г. много преподавал — в Горном институте и других вузах, сначала он занимал должность доцента, а 1930 г. — профессора. В том же 1930 г. Б.Г. был назначен заместителем начальника секции электрификации Госплана СССР (занимался перспективным планированием).

В сентябре 1931 г. он получает новое назначение и становится директором Всесоюзного научно-исследовательского института энергетики и электрификации. Здесь он проработал полтора года, но именно в это время интересы Б.Г. смещаются в сторону истории науки. В результате он пишет курс истории энергетической техники и становится заведующим кафедрой истории энергетической техники в Московском энергетическом институте, и историко-научные исследования поглощают его целиком.

В 1936 г. Б.Г. защитил докторскую диссертацию "Генезис некоторых электротехнических принципов", и написал две книги "Очерки истории русской науки" и "Очерки по истории электротехники". В 1953 г., когда я кончал школу, он подарил мне одну из этих книг со смешной надписью "Вове Кирсанову от автора в память совместной работы". Странно, но двадцать лет спустя, я стал работать в одном с ним секторе. Вот уж поистине "воспоминания о будущем"!

Во второй половине 30-х годов Б.Г. становится сотрудником Института истории науки и краткий период перед ликвидацией Института — его директором. Тридцатые годы — страшное время для страны и оно отразилось, конечно, и жизни Б.Г., правда, ему удалось избежать трагических последствий. Во-первых, ему повезло: когда перед ним стоял вопрос — переходить ли в бухаринский институт, переезжать в Ленинград, или же оставаться в Москве и продолжать работать в Энергетическом институте, Б.Г. по совету Кржижановского остался в Москве; это его и спасло. Но все-таки страшная тень репрессий не оставила в стороне семью Бориса Григорьевича.

В это время был арестован и расстрелян близкий родственник его первой жены, Суламифи Мессерер, знаменитой балерины, прима Большого театра. Этот

родственник был нашим консулом на Шпицбергене и отцом Майи Плисецкой. Суламифь удочерила Майю, которая приходилась ей племянницей, и несколько лет та жила в семье Бориса Григорьевича. Почему-то ни Плисецкая в своей книге, ни сама Суламифь в телевизионных выступлениях о том времени о Борисе Григорьевиче ничего не говорят, как будто бы его и не было. Но это не так. Он не побоялся взять к себе в дом, в свою семью дочь "врага народа", а в то время это требовало нешуточного мужества.

В середине 70-х годов Б.Г. написал книгу "Путешествие через эпохи", в которой так выразил свое отношение к своему времени: "в наиболее отвратительные периоды истории только одна личность была свободна от законов божеских и человеческих, в том числе и традиционных. Это была личность самого тирана, все остальное было подчинено жесткой и жестокой, часто кровавой регламентации. Это было уничтожение традиционных норм, переходившее в уничтожение всяких норм, основанное в последнем счете на экстенсивном развитии хозяйства и общества без внутренней трансформации его технической базы, без апелляции к науке, к разуму, мышлению". Хотя эта цитата в тексте Б.Г. относится к Италии 16 века, я ни на минуту не сомневаюсь, что этими словами он давал оценку своей собственной эпохе, кровавой эпохе сталинизма.

В начале войны Б.Г. вошел в состав Комиссии по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны, приняв деятельное участие в самой ее организации. За работу в этой комиссии он был награжден Сталинской премией 1-ой степени за 1941 год. С 1942 года — Борис Григорьевич на фронте. Он участвовал в боях под Сталинградом и на Южном фронте, работал в Штабе инженерных войск, в марте 1944 г. он был ранен под Нарвой и вскоре демобилизован.

Когда в ноябре 1944 г. решением Совнаркома был восстановлен наш Институт, Борис Григорьевич стал заместителем директора Института; к слову сказать, директором был назначен Владимир Леонтьевич Комаров, президент АН, и Б.Г. стал практически директором Института. Впоследствии он стал заведующим сектором и, наконец, просто старшим научным сотрудником.

Б.Г. был необычайно плодовитым автором. Сегодня никто, пожалуй, уже не помнит его работ по истории физики, написанных в конце 40-х годов, а ведь это были вполне фундаментальные исследования — назову лишь "Абсолютное пространство в механике Эйлера" (1946), "Относительное и абсолютное движение у Ньютона" (1948), "Физика Эйлера и учение Лейбница о монадах" (1948). Сороковые-пятидесятые годы были для Б.Г. временем изучения классических работ 17-19 вв. (в особенности Галилея, Декарта, Ньютона, Гюйгенса, Лагранжа, Фарадея, Максвелла), затем он переходит от изучения классической физики в целом, к истории квантовой физики и релятивизма. Итог его многолетней работы подведен в книгах "Развитие научной картины мира в физике 17-18 вв." (1955), "Принципы классической физики" (1958), Основы теории относительности и квантовой механики" (1957).

Свое видение методологических проблем, с которыми сталкивается историк науки, Б.Г. изложил в программном докладе "История науки в свете современной науки", который им был прочитан на 10 Международном конгрессе по истории науки в Итаке (США), где речь шла не о сближении идей прошлого с современными идеями, а о выяснении, какой вопрос, адресованный будущему, содержался в ретроспективно рассматриваемой старой теории.

Отражением этого подхода стали книги: "Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике" (1959; когда-то в нашем архиве я видел сочувственный отклик Макса Борна на обширное резюме этой книги, но сейчас я его уже найти не смог из-за всеобщего беспорядка), "Относительность и бесконечность" (1962), "Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна в свете современной науки" (1963) и, наконец, его монография "Эйнштейн" (1963), получившая в свое время широчайший отклик (особенно в нашей стране на фоне сомнительной книги Владимира Львова) и переведенная на множество языков.

Многие книги Б.Г. Кузнецова пользовались любовью читателей и уважением самых авторитетных специалистов. В 1970 г. академики И.Е. Тамм, Я.Б. Зельдович и В.А. Фок обратились с письмом к тогдашнему президенту АН СССР М.В. Келдышу, убеждая его в необходимости иметь в Академии наук вакансию по специальности "история науки". В этом письме, в частности, говорилось: "...в течение многих лет наша Академия наук, в отличие от других академий, не имела в своем составе специалистов по истории науки.

Дело объясняется отсутствием крупных и общепризнанных работ, которые сделали бы избрание такого специалиста оправданным в глазах ученых. Теперь, как нам кажется, положение изменилось. Речь идет об истории физики. Здесь мы имеем очень глубокие работы, получившие общее признание. Мы полагаем, что не разойдемся с Вами во мнениях, если прямо укажем на работы Б.Г. Кузнецова, посвященные истории принципа относительности и творчеству Эйнштейна. Его мы и имеем в виду, предлагая на ближайших выборах открыть вакансию по истории науки. По-видимому, мнение физиков в этом вопросе будет единодушным, и к нему присоединятся ученые смежных специальностей" [1, с. 50-51].

Однако, помимо книг, написанных Б.Г., чрезвычайно важным для оценки его творчества, было то влияние, которое он оказывал на окружавших его современников. В этом смысле весьма показателен пример Пригожина, физико-химика и философа науки, Нобелевского лауреата. Многие, наверно, помнят его пленарную лекцию на открытии Международного конгресса по логике, философии и методологии науки в 1987 году.

Лекция началась с того, что на экране появились две цитаты, служащие как бы эпиграфом к его лекции — одна цитата была Эйнштейна, другая Б.Г. Кузнецова. Позднее Пригожин объяснял мне, что в разговорах с Б.Г. он "постоянно оказывался в плену его интеллектуального обаяния, которое обладало мощным каталитическим действием". Я хорошо помню, как шокированы были наши многие философы, которые были совсем не готовы к такому выражению признания и восхищения со стороны знаменитого иностранца к своему коллеге.

А ведь Пригожин был совсем не одинок в своем отношении к Б.Г.: его высоко ценили многие замечательные люди. За рубежом это был, например, де Бройль, который всегда был рад встретиться с Б.Г., когда тот бывал в Париже (во время последнего приезда Б.Г. во Францию де Бройль, ставший герцогом после смерти старшего брата, принимал его в своем фамильном замке под Парижем); Гейзенберг, присылавший ему свои философские работы (одну из них — "О научной и религиозной истине" с гейзенберговской правкой я впервые прочел у Б.Г.); Элен Дюкас — секретарь Эйнштейна; Джеральд Холтон — знаменитый историк физики и многие, многие другие. У нас в стране тоже были люди, которые высоко ценили его талант и ум, среди них можно назвать таких разных людей, как Иван Матвеевич Ви-

ноград, Отто Юльевич Шмидт, Яков Ильич Френкель, Игорь Евгеньевич Тамм, Евгений Львович Фейнберг — этот список тоже достаточно длинен.

В последнее десятилетие своей жизни Борис Григорьевич стал углубленно заниматься философским осмыслением уроков истории науки, о чем написал тоже немало книг — эти книги, наверное, вам хорошо знакомы, это "Разум и бытие" (1971), "Философия оптимизма" (1972), "История философии для физиков и математиков" (1974), "Путешествия через эпохи" (1975) и многие другие книги и статьи.

Борис Григорьевич был человеком необычайно общительным, деятельным и доброжелательным, я бы даже сказал, деятельно-доброжелательным. Он не писал отрицательных рецензий и помогал людям, если мог. Благодаря Б.Г. в нашем институте появился Юшкевич ^[1], благодаря Б.Г. Кедров ^[2] стал директором вместо Фигуровского ^[3]. Он помогал Полаку ^[4] после его возвращения в Москву из лагеря, Библеру ^[5], когда у того не сложились отношения с начальством в Институте всеобщей истории, да всего и не перечислить. В нашем институте Б.Г. был одним из главных моторов — он определял направления работы в течение многих лет и, как я уже показал, он был одним из главных авторов.

Сегодня, когда всех любимых нами учителей уже нет с нами — нет Веселовского ^[6], Юшкевича, Полака, Франкфурта ^[7], нет Кромби ^[8], Дрейка ^[9], Бернарда Коэна ^[10], отсутствие Бориса Григорьевича ощущается как никогда остро. И тем более обретает значение сам факт того, что, говоря словами поэта, "он между нами жил..."

Феномен Кузнецова

5 октября 2003 года исполнилось 100 лет со дня рождения Бориса Григорьевича Кузнецова, моего старшего коллеги по сектору истории механики (а затем — истории физики и механики), одного из основателей Института истории естествознания и техники, блестящего профессионала и очаровательного человека. Я написал слово «профессионал» и тут же подумал, а, собственно, в какой же области Б.Г. был профессионалом? И, мне кажется, если придерживаться высоких критериев, то его нельзя назвать ни историком науки, ни философом в строгом смысле этого слова — он был, прежде всего, и по преимуществу профессиональным мыслителем, — т.е. человеком, основной смысл жизни которого заключался в постоянной работе мысли; предмет обдумывания мог быть самым различным, он менялся от времени ко времени, потому так сложно четко обозначить его специальность в привычном для нас наборе терминов.

Была ли наука (в первую очередь физика) предметом его интересов? Да, конечно. А философия? И, безусловно, философия. И история, и экономика, и логика. И еще многое другое, например, жизнь, смерть, любовь, понимаемые не просто как философские категории, а как нечто большее. Вульгаризируя Канта, можно сказать, что Б.Г. постоянно выходил за пределы «физики» и углублялся в «метафизику» жизни. Чтобы пояснить, что я имею в виду, я приведу два примера. Адольф Павлович Юшкевич, к несчастью, тоже уже давно покойный, сказал о Б.Г. приблизительно так: человека после его смерти оценивают двояко — по оставшимся трудам, а также по тому влиянию, которое этот человек оказал на окружавших их современников. А.П. считал, что Б.Г. заслуживает чрезвычайно высокой оценки, именно «проходя» по этому последнему критерию, как человек, оказавший очень серьезное влияние на тех, с кем он работал или просто общался. Похожую оценку

высказывал в разговоре со мной и Илья Пригожин, у которого Б.Г. подолгу гостил в Брюсселе.

«Вы знаете, — сказал Пригожин, — я ведь, по правде говоря, книг Б.Г. не читал, но в разговорах с ним я постоянно оказывался в плену его интеллектуального обаяния, которое обладало мощным каталитическим действием». Не вдаваясь в анализ работ Б.Г. по истории и философии науки, можно согласиться, что резон в подобных высказываниях, конечно, был, и я постараюсь сейчас его отыскать. Как мне кажется, секрет заключается в том, КАК были написаны книги Б.Г. и о ЧЕМ они были написаны.

Что касается вопроса КАК, то я здесь сошлюсь уже на высказывание самого Б.Г.: «Ты должен писать так, — учил он меня, — чтобы никто не понял, что же ты в действительности хотел сказать». Мы не должны забывать, на какое страшное время пришлось золотая пора творческой жизни Б.Г., а его интересовали самые живые и актуальные проблемы сегодняшней жизни, он не мог спрятаться, отгородившись, скажем, историей средневековой математики, он был человеком блестящим (что отчетливо понимал, например, Микулинский ^[11], совсем его не любивший), человеком, желавшим быть на виду и не представлявшим для себя жизни академического затворника.

Поэтому Б.Г. выработал с годами своеобразный литературный стиль изложения собственных мыслей в виде некоей изысканной шифрограммы, для непосвященных она всегда будет казаться, в худшем случае, безобидной риторикой, а те немногие, *the only few*, говоря словами Пушкина и Шелли, которые всегда существуют, уж обязательно впоследствии разберутся, что к чему. Конечно, этот внутренний цензор и шифровальщик, сидевший внутри ученого, оказывал на творчество Б.Г. и отрицательное влияние — эффект маски, которая прирастает к лицу, но все-таки это дало возможность человеку выжить и реализоваться соответственно своим интересам, таланту и темпераменту.

То, что этот проклятый цензор в то нелегкое время был необходим, становится ясно, если посмотреть, какие же проблемы в действительности интересовали Б.Г., ЧТО было предметом его напряженного обдумывания. Одной из центральных проблем в творчестве Б.Г. была проблема бессмертия. Его интерес к современной физике — к теории относительности и квантовой теории — объясняется, по-моему, в первую очередь, тем, что ему казалось, что наука может нам что-то прояснить в этой проблеме, дать возможность взглянуть на нее как-то по-новому, предоставить для ее решения какой-то новый инструментарий.

Б.Г. казалось, что интуитивно можно предполагать тождественность нынешнего момента времени с предшествующим ему моментом. Основание для такой интуиции давала теория относительности: «Ньютоновская концепция допускала бесконечную скорость действия на расстоянии [...]. Эйнштейн отрицал мгновенное, вневременное дальное действие. Любой сигнал не превышает по своей скорости скорости света. Для современной науки быть значит изменяться во времени. Но, с другой стороны, современная наука не может отказать от себестождественности некоторого неизменного субъекта изменения, от вопроса: что же именно движется, что же изменяется. Понятие изменения теряет смысл без понятия тождественного себе субъекта изменения.

А отсюда вытекает, что нечто, существовавшее в данный момент, существует и в следующий момент (курсив мой. — В.К.). Отсюда еще не следует иллюзорность различия между этими двумя моментами, но отсюда следует, что во-

прос о времени еще не решен, и что здесь, как везде, наука не только изрекает, но и спрашивает, что диалог человека с природой продолжается, что наука продолжает быть неотделимой от своего самопознания, от своей истории» [2, с. 48]. Более того, для нас особенную важность представляет тот факт, что этот диалог ведется сообществом ученых, что в процессе этого диалога имеет место постоянное интеллектуальное и эмоциональное общение ученых друг с другом. Подтверждением важности этого тезиса стали для Б.Г. слова Эйнштейна: «Мы, смертные, достигаем бессмертия в остающихся после нас вещах, которые мы создаем сообща» [Там же, с. 75]. Здесь ключевое слово — «сообща».

С другой стороны, тесно связанными оказываются также сама история науки и понятие бессмертия: «История науки — это реализация ее бессмертия. Не того бессмертия неизменных и вечных законов, которые повторяются, подтверждаются и будут подтверждаться всегда. История науки — реализации бессмертия индивидуальных актов познания, мучительных поисков истины, радостей открытия, личности мыслителей, поворотов и даже ошибок мысли...» Эти слова Жюлио-Кюри стали для Б.Г. «как бы постоянным символом веры, раскрывающим смысл изучения истории науки» [Там же, с. 76].

Итак, интерес к истории науки отнюдь не случаен. Идея существования в человеческой истории так называемых «инвариантов культуры», проявлений человеческого духа и мысли, остающихся неизменными в продолжении целых эпох, а возможно, и существующих вечно, обусловило обращение Б.Г. к истории науки и к истории философии. Существование таких инвариантов уже само по себе было знаком существования чего-то вечного, бессмертного, неуничтожимого. Это было, так сказать, символом существования бессмертия как понятия.

Но Б.Г. интересовала и проблема личного бессмертия, которую он, конечно, не мог решить в положительном смысле. Указания на необыкновенную привлекательность для него этой идеи мы находим в его книге «Путешествие через эпохи», где автор свободно перемещается в пространстве и во времени. Другая проблема — это проблема чувственного отношения к миру и проблема его влияния на творчество. Здесь тоже история дает богатейший материал для размышления, и, как мне кажется, самая известная книга Б.Г. — об Эйнштейне — результат попытки решить именно эту проблему, используя «биографический подход».

Б.Г. незадолго до смерти сказал мне: «Я любил Эйнштейна и поэтому написал хорошую книгу, а вот Ньютона я не люблю, и поэтому книга не удалась». Любовь тоже очень важное понятие и важный предмет для обдумываний Б.Г. — это слово постоянно повторяется в его сочинениях. В процессе обдумывания этих великих проблем Б.Г. нередко увлекали частности и тогда он становился примерным историком науки или историком философии, а часто и просто — популяризатором.

Фундаментальных результатов он здесь не достигает, но не потому, что он плохой историк (как думал Юшкевич), а потому, что его цель и его главный интерес — в другом. Но, повторяю, наука часто становилась для него и самодовлеющей ценностью, он не мог не поддаться всеобщему преклонению перед наукой, характерному для времени его молодости; он считал (и совершенно справедливо), что без глубокого понимания научных основ невозможно проникновение в тайну личного бытия: «Скоро без знания математики не будут пускать в трамвай», — перифразировал он на свой лад Платона, принимаясь перечитывать учебник Лузина по дифференциальному исчислению, — а было это, когда Б.Г. уже исполнилось пятьдесят. В этом моем очерке я не могу сколько-нибудь основательно разбирать и ана-

лизировать работы Б.Г., который был чрезвычайно плодовитым автором, но мне хотелось бы привлечь внимание читателя к тому из написанного им, что мне самому кажется интересным и поучительным.

Мысли о бесконечности, о быстротечности времени, о бессмертии были определяющими для всей жизни Б.Г.. Вот как он сам вспоминает об этом: «Ребенком я часто и мучительно думал о пространстве и о времени, об их бесконечности. Эйнштейн говорил, что интерес ученого к фундаментальным проблемам пространства и времени — это в какой-то мере результат затянувшегося инфантилизма, что несколько напоминает евангельское изречение: „Ежели не будете, как дети...“ В детстве я часто смотрел на небо, и мысль о бесконечности пространства захватывала меня. Это было какое-то очень сложное ощущение, включавшее страх перед бесконечностью. Еще чаще я думал о краткости жизни и вечности природы, и эта временная бесконечность давала еще более острый и глубокий эмоциональный эффект» [3, с. 99].

Стремление доказать, крикнуть: я бессмертен!

Путешествие по эпохам на машине времени как желанный образ бессмертия.

Причем интересно, что «самый начальный импульс» этим воображаемым поездкам был дан «современной физикой, теорией относительности, поскольку эта теория отказывается от абсолютного разграничения пространства и времени, от иллюзии абсолютной одновременности, от фикции мгновения, наступающего сразу во всем бесконечном пространстве» [Там же, с. 3-4]. Более того, по мнению Б.Г., «машина времени теряет смысл, если все, что придает ценность человеческой жизни — поиски истины, добра и красоты — ограничено данным мгновением (хотя бы историческим «мгновением», данным этапом истории), если нет ощущения живой преемственной связи эпох, если мы не ищем в настоящем результаты прошлого и зародыши будущего. И если мы не ищем в прошлом живого, подготавлившего нашу жизнь, любимого нами» [Там же, с. 4].

«Любимого нами» — кого? Не дает ответа. Возможный ответ: если и не Бога, то, по крайней мере, себя самого!

И вот здесь у Б.Г. декартовская способность мыслить становится предпосылкой бессмертия:

«Сейчас нам особенно близка в культурном прошлом человечества проходящая через ее историю сквозная струя живой, неудовлетворенной ищущей мысли. [Нашему современнику] недостаточно книг, в которых кристаллизуются ее итоги и результаты, он хочет живого общения с прошлым, живого диалога» [Там же, с. 4].

Что дает нам надежду на реальную возможность такого диалога? Ведь возможность диалога, скажем, с Платоном означает не только бессмертие Платона, но мое собственное бессмертие! У Б.Г. ответ готов: «Достоверность диалогов, достоверность машины времени определяется реальностью связи каждого данного этапа в развитии культуры с прошлым, со всем историческим процессом. Такая связь очень ясно видна в творчестве Эйнштейна. Он стремился связать конкретную научную теорию с самыми общими принципами познания. Такую связь он рассматривал как “внутреннее совершенство теории”. Она соответствует связи данного этапа познания с его прошлым» [Там же, с. 5].

Итак, повторю логическую цепочку: связь прошлого с настоящим реальна и конкретна; она видна, к примеру, в творчестве наших выдающихся современников; эта связь обуславливает возможность и достоверность диалогов с прошлым,

достоверность кузнецовской машины времени. Подчеркну, что речь идет не просто об интеллектуальном спектакле, а о «живом общении» [Там же, с. 4].

Читателю самому как бы предлагается установить степень реальности предлагаемого феномена — он может без конца мучиться вопросом, можно ли понимать слово «достоверный» как синоним «реального», выражение «живое общение» — буквально, а не как метафору. Впрочем, интенции самого автора очевидны.

Теперь, как мне кажется, становится более понятно, почему так называемые инварианты культуры, их поиски и анализ приобретают такое значение для творчества Б.Г.. Они — основное звено в цепи его рассуждений, рождающих надежду, хотя и не безусловную, на коллективное (и личное) бессмертие. Не берусь судить, в какой мере это истинно, но привлекательно — безусловно. Как говорят в таких случаях итальянцы: *Se non è vero, è ben trovato*.

Поиски инвариантов привели Б.Г. к весьма важным и плодотворным установкам. Основным понятием в системе мышления Б.Г. является понятие исторической ретроспекции. Для историка науки в этой концепции наиболее важно то, что содержанием исследования оказывается не просто сопоставление прошлого и настоящего уровня науки, а выявление «сквозных» вопросов, которые прошлое как бы адресует будущему. Б.Г. назвал такой характер развития творчества «вопрошающей тенденцией научной мысли».

Вопросы эти на каждом этапе истолковываются по-новому, но окончательного решения не получают. И все же каждая эпоха приводит к необратимым преобразованиям сквозных проблем, и эти преобразования составляют суть развития научного знания. Однако в понятии исторической ретроспекции имеется и другой аспект, интерес к нему выходит за рамки профессиональных пристрастий. «История науки и философии, — говорит Б.Г., — присваивает себе право, в котором люди отказывали богам: она меняет прошлое» [4, с. 4]. Дело в том, — поясняет он, — что «чем радикальнее новые принципы, тем большую толщу исторических напластований они поднимают, тем дальше они уходят вглубь истории, обобщая и конкретизируя наследство прошлого. Поэтому научный прогресс невозможен без пересмотра, переоценки, реинтерпретации не только арсенала физики, но и ее пантеона. Во всяком случае, без этого невозможна научная революция, т.е. прогресс, практически непрерывно меняющийся или, по крайней мере, подвергающийся сомнению и экспериментальной проверке не только выводы и применения науки, но и ее исходные послышки» [Там же, с. 4].

Таким образом, важны не только вопросы, которые прошлое задает будущему, пытаясь определить узловые моменты развития научной мысли, пожалуй, еще более существенны вопросы, которые будущее задает прошлому, пытаясь проникнуть вглубь самой основы основ мироздания и человеческого бытия! В методе исторической ретроспекции важным является введение Б.Г. так называемых «дифференциальных критериев» в понятие бытия. В разных схемах эти критерии реализуются по-разному, но для того чтобы пояснить суть подхода, я приведу фразу из Сомерсета Моэма, которая когда-то меня поразила.

Обсуждая свое отношение к жизни, Моэм говорит: «There is no past, no future, but everlasting present». Моэм хотел этим подчеркнуть, что человек не должен быть прожектером, не делать ничего в надежде на лучшее будущее, жить настоящим. Но в интерпретации Б.Г. эта фраза означает, что ничто не может рассматриваться статически, «что рассудочные суждения, охватывающие нечто остановившееся — статику бытия, должны перейти в конструкции разума, охватывающие

динамику бытия» [Там же, с. 22]. Так вот, заключает Б.Г., если мы в своем анализе будем ориентироваться на «вопрошающую» компоненту, на ощущение незавершенности теории, на дифференциальный подход к ценности современной науки, то придем к новой ретроспекции, к новой оценке прошлого [Там же, с. 7].

Но на самом деле все эти конструкции куда более привлекательны, когда выходят за область истории науки, да и истории философии. Пример: Б.Г. обсуждает фразу Фауста «Остановись мгновенье!» и приходит к парадоксальному выводу, что «мгновенье прекрасно и бессмертно, когда оно не останавливается, а сохраняется в движении, в изменении» [3, с. 100]. И он снова возвращается к теме бессмертия. Для него гарантом бессмертия является бесконечность как условие бытия [Там же, с. 122]. Дифференциальный подход, выразившийся в определении мгновения как движущейся точки, математического предела между прошлым и будущим, приводит его к выводу, что «бесконечность — условие бытия» [там же, с. 122], а отсюда получается, «локальное ощущение бессмертия, ощущение бесконечности, существующей в данной точке в данное мгновение» [там же, с. 122].

С другой стороны, это «локальное ощущение бессмертия» связывается у Б.Г. с идеей бессмертия коллективного, в какой-то мере присущей ортодоксальной христианской теологии, а в большей степени — теологии неортодоксальной (образ всеобщей души). Хотя Б.Г. при этом не без лукавства замечает, что такая идея вытекает из «общей концепции Маркса учения об обществе и современных физических воззрений» [там же, с. 103], как бы то ни было, но именно концепция связи конечного существования индивидуума и бесконечного бытия целого вызывает ощущение бесконечного бытия в данный момент. Эта мысль, безусловно, очень глубокая, порождает у читателя (у меня) множество ассоциаций — и именно этим хороши тексты Б.Г.. Я сошлюсь здесь на совершенно конгениальную строфу Пастернака, которую Б.Г. определенно не знал, ибо если бы знал, то наверняка процитировал:

В траве, меж диких бальзаминов,
Ромашек и лесных купав,
Лежим мы, руки запрокинув
И к небу головы задрав.
И вот, *БЕССМЕРТНЫЕ НА ВРЕМЯ*,
Мы к лику сосен причтены
И от болезней, эпидемий
И смерти освобождены.

Впрочем, у Б.Г. источник этой мысли назван — это случай из жизни Эйнштейна: когда Гедвига Борн спросила у больного Эйнштейна в 1916 году, боится ли он смерти, он сказал: «Нет. Я так слился со всем живым, что мне безразлично, где в этом бесконечном потоке начинается или кончается чье-либо конкретное существование» [Там же, с. 101].

Как же Б.Г. решает в целом проблему бессмертия? «Что связывает индивидуальное существование человека с внешним миром? Что превращает конечное индивидуальное существование в бесконечное бытие?» Во-первых, «это истина, соответствие индивидуальных представлений человека бесконечному внешнему миру. Во-вторых, это и воздействие человека на мир и воздействие мира на человека. Здесь уже речь идет не только о познании, не только об истине, но и о добре

и красоте. Это критерии выхода человека за пределы своего конечного существования, критерии его приобщения к бесконечному бытию» [Там же, с. 98].

Вот. Добро и красота — вот чем надо стремиться заслужить и завоевать бессмертие. Таков вывод Б.Г.. Отталкиваясь от известного эйнштейновского критерия внутреннего совершенства, Б.Г. приходит и к другому выводу: «Красота перестала играть роль интродукции и аккомпанемента к истине и добру. Она стала решением философских коллизий, коллизий истины и добра» [там же, с. 127]. Для Б.Г. чрезвычайно важен моральный аспект проблемы, ибо он подчеркивает, что даже истина и добро отделены друг от друга, потому что истина — всегда инфинитив, изъяснительное наклонение, а добро — императив, повелительное наклонение. Далее Б.Г. хочет связать эти два понятия, с его точки зрения, занятия наукой только тогда оправданы для индивидуума и общества, когда мы можем поставить знак равенства в определении «хороший ученый = хороший человек».

Существование такого равенства — вещь совсем не очевидная, дело, скорее всего, обстоит не так просто, недаром Пуанкаре высказывался по этому поводу в том духе, что логического перехода из одного наклонения в другое быть не может. Но Б.Г. мечтает о том времени, «когда мир будет счастливее, чем сейчас» [там же, с. 71], и тогда поиски истины, наука уже никогда не смогут быть отделены от морали. «Наука, — говорил он, — влияет на судьбу людей, и чем дальше, тем больше.

Как же она может быть отделена от морали? Наука несет с собой добро, а может быть, и зло. Что такое повелительное наклонение, не вытекающее из изъяснительного? Это воля тирана, который не исходит из реальных констатаций, из истины, это насилие над естественным ходом вещей. Напротив, повелительное наклонение, вытекающее из изъяснительного, деяние, вытекающее из знания — это свобода. И деяние, исходящее из науки, повелительное наклонение, вытекающее из изъяснительного не может не быть выражением свободы» [Там же, с. 166]. Итак, получается, что в условиях свободы истина как результат действия ученого необходимо имеет моральную компоненту, она предназначена нести людям добро.

Недаром поэтому любимым героем Б.Г. был Альберт Эйнштейн, человек воплотивший в себе высшие идеалы научного познания и добра. К этому интересно добавить, что, по мнению Б.Г., неразрывная связь познания и его ценности, связь истины и добра реализуется в истории науки, поэтому история науки так его и интересовала.

Но, сливаясь с «бесконечным потоком всего живого», Б.Г. не устает подчеркивать исключительную ценность индивидуального бытия, которое «борется с нивелирующей властью целого». Для утверждения этого тезиса Б.Г. изобретает особую конструкцию, используя для этого так называемый *clinamen* Эпикура. Как мы помним, атомистика Эпикура отличалась от атомистики Демокрита тем, что движение атомов было строго упорядоченным и происходило «сверху вниз».

Однако это одинаковое, упорядоченное, параллельное движение частиц сопровождалось редкими отклонениями от параллельных траекторий, эти отклонения, которые Лукреций назвал *clinamen*, обуславливали возможность структурных вихрей, а те в свою очередь служили предпосылкой для образования элементов и в конечном счете — миров. Для Б.Г. *clinamen* — это категория индивидуального, существование которого и определяет возможность существования нашей Вселенной. *Clinamen* — это лекарство от скуки, однообразия, источник творческого воображения.

Но ничего хорошего возникнуть не может, если свобода индивидуальности подавлена, — мы не раз можем убедиться в политических симпатиях и антипатиях Б.Г.. Он считал, что в наиболее отвратительные периоды истории «только одна личность была свободной от законов божеских и человеческих, в том числе и традиционных. Это была личность самого тирана, все остальное было подчинено жесткой и жестокой, часто кровавой регламентации.

Это было уничтожение традиционных норм, переходившее в уничтожение всяких норм, основанное в последнем счете на экстенсивном развитии хозяйства и общества без внутренней трансформации его технической базы, без апелляции к науке, к разуму, мышлению» [Там же, с. 114]. Хотя эта цитата относится в тексте Б.Г. к Италии XV–XVI вв., я ни на минуту не сомневаюсь, что этими словами он давал оценку своей собственной эпохе, кровавой эпохе сталинизма.

Я хотел бы теперь кратко подытожить сказанное. В моем сознании Борис Григорьевич Кузнецов вырастает как человек, живший в очень бурную, кровавую, опасную эпоху подавления истинной шкалы ценностей, индивидуальной свободы, творческого выражения личности. По своему жизненному темпераменту он всегда стремился к активной деятельности, и в том единственном социуме, который ему достался по рождению, он стремился играть опять же активную роль.

И вместе с тем, главными объектами его творческой деятельности оказались те самые понятия, которые ортодоксальная советская идеология исключила из круга проблем, допущенных к изучению. Повторю, это были понятия бессмертия, истины, любви, добра, красоты. Истинная шкала ценностей (а ей Б.Г. всегда оставался верен) определила его интеллектуальную и человеческую привлекательность. Все остальное определилось талантом и случаем.

Лучше всего, на мой взгляд, сказал о Б.Г. его друг и издатель его книги в Америке, Роберт Коэн: «Борис Кузнецов был ученым среди гуманистов, философом среди ученых, историком, заглядывающим в будущее, оптимистом в век уныния и печали. Он был пропитан европейской культурой, восприняв все ее достижения — от античности до современного авангарда. Прирожденный путешественник во времени, он странствовал из одной эпохи в другую, беседуя и споря с Аристотелем и Декартом, Гейне и Данте.

Кузнецов был марксистом в присутствии ему интеллигентном и рассудительном стиле. Он был также и инженером-практиком, и русским евреем-патриотом в течение шестидесяти лет существования СССР. Революционное развитие естествознания в ходе мировой истории, но в особенности в его собственное время, в эпоху того, что он называл неклассической наукой, интересовало его больше всего, и, конечно, — Альберт Эйнштейн, его любимый и благороднейший герой» [5, с. xi].

Литература

Илизаров С.С., Формирование в России сообщества историков науки и техники. М.: Наука, 1993. 186 с.

Кузнецов Б.Г., Встречи. М.: Наука, 1984. 94 с.

Кузнецов Б.Г., Путешествие через эпохи. М.: «Наука», 1975. 189 с.

Кузнецов Б.Г., Разум и бытие. М.: «Наука», 1972. 287 с.

Kuznetsov B.G., Reason and Being. Boston: D. Reidel Publishing Co., 1987.

Примечания

- [1] Юшкевич, Адольф Павлович (1908–1993) — крупнейший историк науки, зав. сектором истории математики ИИЕТ РАН.
- [2] Кедров, Бонифатий Михайлович (1903–1985) — историк химии, академик АН СССР, директор ИИЕТ в 1962–1974.
- [3] Фигуровский, Николай Александрович (1901–1986) — историк химии, директор ИИЕТ в 1956–1962.
- [4] Полак Лев Соломонович (1908–2002) — крупный физик и историк науки, зав. лабораторией Института нефтехимического синтеза РАН.
- [5] Библер, Владимир Соломонович (1918–2000) — выдающийся философ, создатель школы диалога культур.
- [6] Веселовский, Иван Николаевич (1892–1977) — крупный историк античной науки, зав. кафедрой теоретической механики МВТУ.
- [7] Франкфурт, Ушер Йойнович (1908–1982) — крупный историк науки, в 60-е–70-е гг. XX в. признанный лидер отечественных исследований по истории физики
- [8] Кромби, Алистер (1915–1996) — выдающийся английский историк науки, специалист по истории средневековья и Возрождения.
- [9] Дрейк, Стилман (1914–1993) — выдающийся канадский историк науки, прославившийся своими пионерскими работами о Галилее.
- [10] Козн, Бернард И. (1914–2003) — американский историк науки, классик современного ньютоноведения.
- [11] Микулинский, Семен Романович (1919–1991) — историк биологии, директор ИИЕТ в 1974–1986 гг.



Евгений Рейн

"...А С БЛАГОДАРНОСТИЮ – БЫЛИ..."

Я прекрасно помню, как я познакомился с Вовой. Было это в сентябре 1957 года в доме у Гали Наринской (которая потом стала моей первой женой) на Мясницкой улице. Они учились тогда в нефтяном институте им. Губкина на третьем или четвертом курсе. Среди студентов и студенток в свитерах и лыжных костюмах Вова заметно выделялся, в сером двубортном костюме элегантного кроя, в глаженной рубашке с заграничным галстуком, он и манерами и чуть замедленной интеллигентной речью, очевидно, представлял какой-то иной круг людей.

Когда я узнал, что он сын известного поэта — всё стало ясно, он был отголоском другой Москвы, о которой я тогда только слышал, Москвы, восходящей к Маяковскому, Пастернаку, семье Бриков, к ЛЕФу. Я прожил тогда в Москве месяца два, мы встречались несколько раз, помню, что гуляли на бульваре, по Замоскворечью. Говорили обо всем на свете, но, конечно, больше всего о стихах, о поэтах, о поэзии и искусстве вообще. Я считал себя человеком сколько-то осведомлённым в русской поэзии вообще, особенно в современной, но лично из старшего поколения я знал только Анну Ахматову.

Оказалось, что Вова знает всё это не хуже меня, а что-то и лучше. Ведь он сам видел и слышал и Асеева, и Пастернака, и Мартынова, и Сельвинского, и Слуцкого и многих других. И сами стихи он знал замечательно, у него была превосходная память, часто он читал наизусть стихи целиком, от первой до последней строчки, а уж о цитатах говорить не приходится. Но рассказывал он и многое иное — науку, историю, политику, вообще беседы с ним были и заманчивы и интересны. К тому же он легко вовлекался в спор и спорил очень упорно, изобретательно и темпераментно. Переубедить его было совершенно невозможно.

Кстати, тут мы выяснили и одну забавную историю. Оказалось, что где-то за год до нашего знакомства я побывал в его комнате в писательском доме на Лаврушинском. Дело было так.

Я с моим другом той поры, тоже пишущим стихи — Дмитрием Бобышевым — возвращался из путешествия по Карпатам в Ленинград. Ехали мы через Москву и задержались в ней, решили навестить нескольких известных нам поэтов. Так повидали мы Пастернака, Луговского, Сельвинского. Пришли мы и к Кирсанову на Лаврушинский. Консьержка сказала, что его дома нет, но обычно он к полудню приезжает с дачи. Мы поднялись на второй этаж, уселись на подоконник и стали ждать. Через полчаса Кирсанов вошел в подъезд. Когда он поднялся до той площадки, где сидели мы, то, вместо того, чтобы просто представиться, мы в полном молчании взяли его под руки, что вышло совершенно нечаянно, без всякого умысла. Не знаю, что подумал Семен Исаакович, но он как-то бессильно повис на наших руках и даже, по-моему, на секунду потерял сознание.

Ну, тут мы, конечно, всё ему объяснили. Он облегчённо вздохнул и пригласил нас к себе почитать стихи. А в квартире провел нас в маленькую комнату, где над узкой постелью (чуть ли не раскладушкой) висела теннисная ракетка. Здесь мы и беседовали, и Кирсанов даже что-то похвалил и угостил вином. Так что в визите этом в Вовину комнату было нечто провиденциальное, предсказывающее нам дальнейшую дружбу с ним.

До 1968 года я жил в Ленинграде, но часто, иногда подолгу бывал в Москве и, конечно, во всякий свой визит виделся с Вовой. Бывали он в Питере. Вспоминаются больше какие-то мелочи, вроде того, что мы чуть ли не ежедневно ходили с ним в ресторан «Крыша», где подавали миноги в горчичном соусе, и стоило это совсем дешево.

Сейчас, когда жизнь уже почти прожита и остались только детали (по слову Михаила Кузьмина), мне ясно, что Вова, наверное, был самым замечательным человеком моего поколения из всех, с кем свела меня долгая жизненная дорога. Вот это надо обсудить подробнее.

Во-первых, он был чрезвычайно разносторонне одарен. Он был хорошим ученым и, прежде всего, в области истории науки. Он занял в ней заметное место не только в отечественном, но и всемирном масштабе. Его работы о Ньютоне, Лейбнице переиздавались, переводились на европейские языки, он участвовал почти во всех событиях этой замечательной области знаний. Вообще Вова знал много разного и мог просветить любопытствующего по многим предметам. Вова был замечательно одарен лингвистически, в совершенстве знал немецкий, английский (который выучил уже взрослым человеком), читал по-латыни, а понять мог тексты ещё на полудюжине языков.

У Вовы были поистине «золотые» руки. Я просто не могу вспомнить, чего он не мог бы сделать этими самыми руками. Он реставрировал старинную мебель, чинил часы и приборы старых и новых марок. Однажды при мне он исправил американский дверной замок моего приятеля, который, по словам хозяина, испортился в 1945 году (а было это в 80-х). Он делал удивительные вещи — мог перелицевать воротник мужской сорочки, перешить пальто, знал автомобиль до последнего винтика.

Вова очень хорошо рисовал, очень толково разбирался в живописи и вообще во всякой пластике. Он писал и переводил стихи. И делал это (тут уж я ручаюсь головой) талантливо и совершенно профессионально. Тут я мог бы очень много вспомнить конкретных эпизодов, но не хочется как-то мельчить тему. Дело не только в этих умениях. Дело в том, что он охотно без всякого надрыва делал это для других. И не только для друзей. Иногда я замечал, что ему просто интересно — сможет ли он сделать что-то сложное, новое для него. А чаще всего он делал всё это потому, что был просто добрым человеком. Он был добрым, отзывчивым на всякую беду большую и малую. Он помогал друзьям и едва знакомым людям, старикам и больным и просто попавшим в «переплет».

Меня он выручал десятки раз. Когда произошел известный литературный скандал с альманахом «Метрополь», и я попал во все советские «черные» списки, жить стало не на что, ни в издательстве, ни в журналах мне не давали работы. И выход нашёлся благодаря Вове. В ту пору в еженедельнике «Неделя» зам. главного редактора был наш общий приятель Саша Авдеевко. Он мог давать мне для рецензий и письменных ответов какую-то часть литературного «самотека», приходившего в «Неделю». Но оформить это на моё имя было невозможно. И Вова взял всё это на себя, включая поездки в «Неделю», оформление счетов, получение денег. И это было не один раз, а длилось два года. Но не менее важно и другое — постоянное и, как потом оказалось, вполне обоснованное позитивное настроение Володи. Увы, я часто был склонен к депрессии, жизнь представлялась мне в очень мрачных красках, руки опускались, положение казалось безвыходным.

Я всегда шел со своими проблемами к Вове, и он объяснял, что нет ничего страшного, всё это минует, всё это преодолимо. И объяснял почему. Я продолжал

гнуть своё, но переспорить Вову было невозможно, и я как-то иначе начинал смотреть на вещи. Такие свиданья просто лечили меня. И, наверное, не одного меня. Вот эта нравственная опора, каковой и становился Вова, была ничем не заменима, была спасительна. Но ведь и у самого Вовы бывали и беды и неприятности, зачастую он нехорошо себя чувствовал, я видел его, бывало, очень усталым, бледным, цвета полотна, чем-то угнетенным. Обсуждать он это не любил. О его болезни я узнал уже после случившейся катастрофы. Правда, это случилось тоже во время очередной моей депрессии, когда я несколько месяцев не выходил из дома.

Мне не хотелось бы сейчас сочинить этакий похвальный некролог, где всё окрашено одним восторженным цветом. И все-таки, заглядывая в прошлое, в реальность этого прошлого я вижу во Владимире Кирсанове как бы идеальную человеческую натуру. Он знал себе цену, иногда шутливо любил прихвастнуть. Но и с юмором у него всё было в порядке. Куда бы я ни кинул взгляд — Вова везде был на высоте. От малых вещей до больших, самых важных. Он был отличным кулинаром, мог приготовить обед не хуже самой лучшей хозяйки. Он был хорошим мужем и отцом. Сколько сил потратил он на помощь Кате, а ведь с младенчества она серьезно болела, и в том, что она нашла свое место в жизни, есть и его большая заслуга.

Вова был человеком замечательного, я бы сказал безошибочного, даже изысканного вкуса. Он понимал толк в вещах, в мужской и женской одежде, в посуде, во всяких домашних мелочах и технике. Вот сейчас я пытаюсь вспомнить, чем бы разбавить этот список его достоинств. И не вижу. Клянусь себя за то, что так точно понял это только сейчас. Иногда он слишком темпераментно спорил. Ну и что? Это было интересно. Иногда (всякий раз, как я уже написал, шутливо) прибавлял себе «очков» во всяких историях, но имел на это право. Во-первых, шутил, а во-вторых, никогда не шел по стопам Мюнхгаузена — мистификации его не привлекали.

Близкий круг Вовы был не очень широк, кроме семьи — это Павел Катаев, Гарик и Тоня Герасимовы и, я надеюсь, что и я тоже. Но вот на похоронах и на поминках я увидел, чуть ли ни сотню людей — коллег Володи по институту, друзей его школьной и студенческой поры, историков, литераторов, дипломатов. И каждому было что сказать, что вспомнить, и никого не надо было вытаскивать на трибуну. Говорили много и охотно, и у каждого было какое-то своё воспоминание, свой случай, которым он хотел поделиться. И тут я понял, что именно конкретность каждого случая и свидетельствует о том, что Володя был скорой и верной помощью для очень многих людей. И такая внезапная его смерть застала всех врасплох, объединила всех одновременно и траурным и духоподъемным (может быть это не совсем точное слово) образом. Ведь, припоминая, они вспоминали искренне и без малейшей натяжки то, что связывало их с ушедшим. А это была его помощь, его бодрость, его приходящий на выручку оптимизм, его дарования, его эрудиция. А это значит, что говорилось о том лучшем, что было в жизни и самих воспоминателей.

Для меня смерть Вовы катастрофическая, ничем не восполнимая утрата. Без него столь многое потеряло и цвет, и вкус, и значение. Кому рассказать? Кому пожаловаться? Кто поймёт? Но, вспоминая стихи В.А. Жуковского, надо говорить не «их нет», а с благодарностью — «были»!..



Александр Авдеенко

"ПОМНИТСЯ, ЧТО ЖИЛ..."

«Авдей, это Кирс! — И, не дав мне затора для ответного приветствия, напористо продолжил: —Надо немедленно увидеться. А то помрем и так и не увидимся!».

Я нервно рассмеялся. Буквально то же самое, если не считать различия в именах, сказал мне некоторое время назад наш общий друг детства Павел Катаев. И сказал по печальному поводу, когда ушел из жизни друг детских и юношеских лет Юра Грибачев. На что еще один знакомец из тех же давних пятидесятых, Саша Нилин, помладше нас года на три, когда я ему рассказал об этом разговоре, ехидно заметил: «А что это изменит, если все равно помрем?!»

Всё это я пересказал Володе Кирсанову, объяснив причину своего не очень веселого смеха. Он выслушал и тоже не без грусти подвел итог: «Это вы, гуманитари, привыкли ерничать, а я, технарь, говорю абсолютно серьезно».

Этот диалог запал мне в душу по нескольким причинам. Во-первых, потому что после того звонка мы почти сразу увиделись с Кирсом, он приехал ко мне, и мы долго, чуть не до утра, трепались, перебивая друг друга и заполнив все лакуны, оставшиеся от невстреч на протяжении многих лет. И уже не теряли друг друга в тот короткий, как оказалось, миг возрождения дружбы, увы, оставшийся нам всего на пару годков. А во-вторых, когда его не стало, я снова с отчетливой ясностью ощутил, что потери порой неизмеримо ценнее приобретений. Ценнее не в материальном, физическом измерении, а скорее в метафизическом, духовном, где одно-корневые слова «цена» и «ценность» обладают разными смыслами. Хотя и папахивает от таких рассуждений софистикой. Ведь потеря ничто иное, как расставание с некогда приобретенным. «Что имеем, не храним, потерявши — плачем».

Нас с Владимиром Семеновичем Кирсановым связывало более чем полувековое знакомство и, смею верить, незабываемая дружба, хотя, бывало, не выходили на связь годами. Зато никогда не забудется время становления и взросления, коктейльские походы в горы или на скалы, первые влюбленности и откровенности, моционы вокруг Кремля, прогулки то в одну, то в другую по кругу сторону, ради того чтобы лишь раскланяться со встречными знакомыми девочками, в одну из которых кто-то из нас был влюблен. Этого мига было достаточно для счастья.

Громкие фамилии, упомянутые вначале, проливают некоторый свет на истоки нашего знакомства. Большинство из нас, сдружившихся в сороковые и пятидесятые, — писательские дети. Знакомства возникали по советскому коммунально-бытовому признаку. К названным именам следует добавить братьев Ардовых (Михаила и Бориса), девочек Никулиных (Сашу и Олю), Машу Лебединскую, Илью и Петю Катаевых (Петровых), Женю Катаеву и Лену Лапгеву, Женю Чуковского, Алика Рыбакова, да и многих еще. Кто жил в соседних подъездах писательского дома по Лаврушинскому переулку, кто в литфондовских дачах в Переделкино, кто заприятельствовал и задружился в коктейльском Доме творчества, куда разрешалось приезжать с семьями, кто в детских садах, пионерлагерях и школах.

Круг достаточно своеобразный и до определенной степени элитный, правда, далеко не однородный. Это мы, дети, практически не чувствовали никаких

различий. А у отцов было свое отношение друг к другу, свои скелеты в шкафу, свои собственные амбиции, счеты, иерархия распределения лавров и розг в сложной системе поощрения и порицания литературного дела, утвержденной так называемым методом социалистического реализма.

Семен Исаакович Кирсанов, отец Володи, занимал в этой системе весьма заметное место. Родом он из Одессы и по праву включен в плеяду знаменитой южной литературной школы, которую прославили Катаев и Бабель, Паустовский и Багрицкий, Ильф и Петров, Олеша и Славин. С молодых ногтей был замечен Маяковским и вовлечен им в орбиту своих ближайших соратников и последователей. Виртуозный мастер стиха, почти что цирковой фокусник, искусно жонглирующий созвучиями и смыслами слов. Вполне мог бы быть «прищучен» литературными надзирателями как отъявленный формалист, но не попавший в черные и расстрельные списки именно из-за близости к Маяковскому. Да и «благонадежный», не позволяющий себе аллюзий и колкостей. Лауреат Сталинской премии, пусть и третьей степени. Вполне благополучный советский писатель, хорошо зарабатывающий, имеющий возможность отстроить хорошую дачу за собственные деньги. И как многие талантливые люди в советское время, представлявший собой нечто большее, чем официальное положение в литературе.

Он был вызывающе франговат. Невысокого роста, крепко сбитый, далеко не первый красавец, он, тем не менее, едва появившись на публике, привлекал к себе всеобщее внимание. Нездешние пиджаки и пальто, яркие галстуки, а то и шелковый платок под воротом. Во времена стилига он бы вполне мог сойти за такового, прошвырнувшись по Броду, как тогда в кругу посвященных именовалась улица Горького, нынешняя Тверская. Во всяком случае, однажды, когда он уехал в командировку, мы с Вовкой и Юркой Грибачевым облачились в его одежды и «вышли в люди». Особенно мне оказалось впору его серое однобортное пальто в елочку — по-моему, второго такого в Москве не было. Мы представлялись себе невероятными денди.

В кирсановской лаврушинской квартире на стенах висела живопись Бурлюка и еще кого-то («из бывших») (по тогдашнему уровню собственного развития других имен я не запомнил). На книжных полках стоял весь Велимир Хлебников прижизненных изданий (других тогда не было) и еще масса поэтических сборников. Грешно вспоминать, но в теглупые и безотчетные юношеские годы мы немало перетаскали книг из родительских библиотек в букинистические магазины.

Особо котировались довоенные издания, серия Academia, за любой том под этим грифом давали хорошие деньги. Вполне можно было зайти в арбатское кафе-мороженое и даже не отказать себе в рюмочке коньяка. Помню, мы с Юркой Грибачевым отнесли в «бук» на Кузнецкий словарь Михельсона, выручили четвертак по старым ценам, но были разоблачены его отцом буквально через несколько часов. Он оставил заявки на этот словарь во всех «буках», и когда ему позвонили с Кузнецкого, сначала ответил, что словарь уже купил. Но потом, по какому-то наигию, проверил его местоположение на полке и тут же обнаружил пропажу. Оказался один и тот же Михельсон на всю Москву, только купленный на Горького. Влетело по первое число. Полвека прошло, а не забыл. В искупление грехов я после немало книг покупал в букинистических. Приобрел как-то рублей за двести пятьдесят (уже в новом, но не в сегодняшнем, исчислении) и Михельсона, вспомнив позор юности. Может быть, тот же самый том.

Кирсановские книги в «бук» не сдавали. Уж очень они были единичны. Но зато Володя давал их нам читать. Еще до всеобщего помешательства на Хемингуэе мы прочли все изданное у нас до войны. Володя его очень ценил, а также Олдингтона, других англоязычных классиков. Он был необыкновенно начитан, знал наизусть много стихов. И вообще был лириком по натуре. Так что, называя себя технарем, а не гуманитарием, если не кокетничал, то позиционировал себе несколько односторонне.

Вовка боялся отца. Тот был жёсток. Здесь пожалеешь об отсутствии в современном написании слов буквы «ё». Не жесток, но жёсток. Без всяких родительских сантиментов. Получил выговор — и будь любезен принять замечания без суждения.

В присутствии отца мы редко бывали у Вовки дома, хотя у того была собственная комната, и вообще я не припомню ни одного разговора с Семеном Исааковичем. Возможно, их просто не было. Правда, в Коктебеле мы как-то над ним славно подшутили. В столовой писательского Дома творчества во время обеда на столы клали отпечатанное на кальке меню на завтра, и надо было поставить свой номер против выбранного тобою яства.

А яства состояли из борща или щей, свекольника или крошки, ну а на второе — скобянки, запеканки, биточки, котлетки и прочие рагу уже через не могу. Мы приготовили Семену Исааковичу меню отменное. На завтрак буйволиное молочко, мацони, пармскую ветчину с дижонской горчицей, омлет из перепелиных яиц, козий сыр, поджаренный в пергаменте на углях. На обед — суп из акулих плавников, буайбес по-неаполитански, таратор по-балкански. На второе предложили стейк из мяса косули, фаршированную овощами фазанятину, паштет из зайца, тунца по-карибски. На ужин устриц, лобстеров, крабов — выбирай, что душе угодно.

Конечно, я сейчас точно уже не помню, что мы там написали на листке, подsunутом ему вместо лиффондовского меню, но хорошо помню, как мы подглядывали из-за двери за его реакцией. На какую-то секунду он поверил в невероятное, но потом расхохотался. Мы с Вовкой и другими приятелями не скрывали, что это наших рук дело. Кирсанов нас похвалил за хороший вкус и неплохое знание литературы, ибо откуда еще в срединные пятидесятые можно было почерпнуть названия упомянутых блюд как не из западных романов и повестей. Семен Исаакович, между прочим, был известным гурманом, а в Доме литераторов на Воровского шефствовал над ресторанной кухней. Но Вовка отчего-то всегда ходил голодный. Это и сейчас помнят его друзья тех давних лет. Не в еде дело, конечно, но Вовкиных обид на отца выслушал немало.

Зато я знал и частовидел Володину мачеху — красавицу Раису Дмитриевну Кирсанову. Маму Вовка не помнил, но часто говорил о ней с нежностью и гордостью. Знал о ней по рассказам отца и семейным легендам. Раиса Кирсанова, на которой Вовкин отец женился перед самой войной, через несколько лет после того, как стал вдвоём, была удивительно юна и хороша собой и в середине пятидесятых. Она была не только женой знаменитого поэта, но и известной теннисисткой. Я в поздние школьные годы тоже пытался добиться успехов в теннисе, занимался в «Юном динамовце» у Нины Николаевны Лео и Елизаветы Михайловны Чувьириной.

Тогда на всю столицу существовал только один крытый корт — на малом стадионе «Динамо», и в нем тренировалась зимой вся теннисная элита Москвы. Впрочем, не только теннисная, но и крупные партийные и советские начальники.

К примеру, министр культуры Михайлов. Или бывший начальник того же ведомства Пономаренко. Там, на крытом корте, я увидел впервые Раису Кирсанову, еще не будучи знакомым с Володей. На нее нельзя было не обратить внимания. Она была, повторю, неотразима в своей свежести и привлекательности. К тому же здорово играла. Однажды заняла третье место в чемпионате Советского Союза. Правда, моя тренерша Чувырина выиграла этот чемпионат третий раз подряд. Но в тот год в теннисе начались новые веяния, и ветеранам настойчиво советовали покинуть корт и уступить дорогу молодым, приводя в качестве примера растущих талантов как раз Раису.

А ведь они с Чувыриной были погодками, просто Елизавета Михайловна прожила трудную жизнь, рано погрузнела, согнулась, наверно, никогда не знала, что такое косметика. А Раиса Кирсанова только играла в теннис. И еще ездила за рулем на собственной машине. Для тех времен это была практически недоступная роскошь.

Есть одно страшно стыдное воспоминание, косвенным образом связанное с Раисой Дмитриевной и Володей. В отсутствие родителей мы устроили на их «кате», как это тогда называлось, вечеринку с приглашенными одним из приятелей девушками. Оказалось, что в результате наших развлечений у Раи пропало кое-что из носильных вещей и косметики. Вовка, как партизан, друзей не выдал, и к следователю нас не таскали. Но на суде, там же, в Лаврухе, недалеко от дома, я был. И когда девушкам огласили приговор — два или три года тюрьмы — пронзительно закричала и запричитала стоящая рядом со мной женщина, мать одной из них. Просто, если не сказать бедно, одетая, растрепанная, неухоженная. И я обозлился на Володькину мачеху, хотя в том, что случилось, была виновата не она, а мы, введя девочек в искушение, перед которым они устоять не могли. Ничего подобного из трюпок они никогда не видели.

Еще я знал некую тайну ее не только спортивной жизни, ибо видел часто рядом с ней ее кавалера, сильного, мастеровитого, но не на всесоюзном уровне, теннисиста, однако привлекательного и сильного мужчину. Для теннисного мира не секретом были их отношения. Они, в конечном счете, и разрушили семью Кирсановых. К тому времени мы с Володей уже меньше общались. Началась работа, поменялись юношеские компании.

Спустя много-много лет, а точнее три десятилетия, мы встретились с Раисой Дмитриевной в Монте-Карло, на международном телефестивале, где я был в качестве корреспондента «Советской культуры», а она в качестве жены почетного гостя фестивалю, собственного корреспондента советского Гостелерадио во Франции Георгия Зубкова. Мы тесно общались неделю на Лазурном берегу, а потом дня три в Париже. Много говорили о пятидесятых и, конечно, о Володьке. В годы юности она представлялась мне совершенно иной, ветреной что ли, и слишком модной. А тут я увидел женщину глубокую и интересную, по-прежнему эффектную, но уже умиротворенную собственной красотой и не выставляющую ее напоказ. Она с большой любовью говорила о Володе, гордясь его успехами на научной ниве, переживала за неудачи в личной жизни.

По приезде я передал ему эти приятные слова и какой-то милый французский сувенир, но тему взросления без матери мы затронули гораздо позже, в последние годы нашей дружбы.

И тут я снова вернусь к Семену Исааковичу, к трудной теме отцов и детей, всегда присутствовавшей в русской жизни и подавно в отечественной литературе.

А что уж говорить о персонажах тургеневских «Отцов и детей», будто специально для предмета моего рассмотрения носящих фамилию Кирсановы. В романе есть противопоставление двух сыновних чувств — отторжение от отцов и приятие к ним. Нигилист Базаров приобрел над своим отцом абсолютную власть и даже испытывал некое сладострастие от этой униженной покорности. Друг его Аркадий Кирсанов пытается найти этому объяснение в ранних семейных взаимоотношениях. «А тебя в детстве не притесняли?» — вопрошает он, полагая узреть тут некий мотив мести. Сам же говорит: «Сын своему отцу не судья».

Еще раз повторю, Владимир Кирсанов часто обижался на своего отца. Обижался крупно, всерьез, трагически. Ему не удалось с первой попытки поступить на физфак МГУ, и отец был категорически против того, чтобы Володя терял год. Он заставил его пойти в Нефтяной институт, хотя Володя грезил университетом. В одном из писем, сохранившемся у меня и датированным 1957 годом, Володя пишет из туркменской экспедиции: «Жизнь здесь х...я. Ничего пока не делаем, но скоро подадимся в пустыню. От скуки занимаюсь математикой. Выясняется, что я полный профан. Но ничего. Я еще успею поднабраться знаний. Правда, неудача на физфаке настолько огорчила меня, что чувствовал почти физическое недомогание. Да еще поссорился с отцом и, по-видимому, навсегда (ты знаешь, что о таких вещах я не говорю наобум, не в пример Гешному)».

Гешный — это Юра Грибачев, заваливший первую сессию на журфаке МГУ и отправившийся на четыре года служить матросом в бухте Ольга на Дальнем Востоке. У него тоже были непростые отношения с отцом и мачехой. Тема эта как-то само собой время от времени возникала в наших разговорах.

А у Володи с годами семейная жизнь с отцом окончательно разладилась. С первой мачехой Володи они развелись. Затем Семен Исаакович снова женился. Его новую избранницу трудно было именовать мачехой — она оказалась моложе старшего сына своего мужа, то есть Володи. А родился и младший — Алеша. Его я видел только в детстве, да и то не очень помню. Слышал о нем от его детсадовских корешей Вани Марьямова и Алеши Аксенова, сыновей моих друзей. Они называли его Кирсанка. Судьба младшего Кирсанова сложилась трагически. Он умер совсем молодым, вернее, погиб в автомобильной катастрофе. При каких-то весьма запутанных обстоятельствах. Умер и Семен Исаакович — истаяли лета и силы. Его вдова довольно быстро сквозь пальцы пропустила наследство, и в последние годы нашей с Володей дружбы он рассказывал мне, что несколько раз она обращалась к нему за помощью. И чем мог, старался ей облегчить довольно унылое существование.

А отца, чем дальше, тем больше, Володя чтит, отсекая из памяти мелочное, случайное, преходящее. Можно сказать, он заново перечитал его, заново осмыслил. Бережно сформировал и упорядочил его литературное наследство. Подготовил к изданию и успел увидеть в законченном виде огромный том стихов Семена Кирсанова. Лучше сына вряд ли кто-нибудь сумел сделать это. Обиды обидами, но именно отец привил ему вакцину самостоятельности, на генном уровне одарив талантом к выявлению собственных подспудных сил и возможностей. Именно отец твердо поставил на ноги. Вернее, вынудил Володю ощутить, что только сам он может устоять на собственных ногах в этом мире.

Я всегда поражался Володиной организованности. Полный порядок в делах и бумагах. Четкий график текущих и грядущих занятий. Обязательность в обещаниях. Я всегда знал, что он рукастый и сметливый. Казалось, нет дела, к которому не приноровились бы его руки, будь то протекающий кран или оковалок из свиного

бедра, закопченного прошуту, который надо срезать-нарезать тонкими, как папиросная бумага, слоями.

Однажды на мой день рождения он подарил мне DVD полного Глена Миллера, композиций сорок. В юности, в последние школьные годы, мы бредили «Серенадой Солнечной долины», знали фильм наизусть, как и бессмертные хиты из него. «Отчего так в мае сердце замирает, знаю я и знаешь ты» (I know why and so do you). Но танцевали под другие мелодии. Пластинок с записями Миллера не выпускали, магнитофонов еще не было. Танцевали под патефон. Так что «Брызги шампанского», «Утомленное солнце», «Рио Рига» — это пожалуйста.

Часто собирались у Эльмиры Тагиевой, восточной красавицы, чуть помладше нас, что жила на Полянке. На ее патефоне крутили «Караван», но не Дюка Элингтона, а Эдди Рознера. Папа ее — Эюб Измайлович — был крупнейшим, не только всесоюзного, но и мирового масштаба, нефтяником. Иногда он с нами разговаривал. И особенно выделял Вовку за его основательность. Он предрекал ему большое будущее. Сейчас я думаю, что в Нефтяной институт Володя поступил не без влияния и помощи Элиного папы. Вот как далеко может увести всего лишь одна мелодия. Если вы не знаете, что подарить своему старому другу, верните ему его молодость. А каким способом — это уже зависит от вашего таланта. У Володи он присутствовал изначально.

В семидесятые годы, когда с танцами было уже покончено, помню, на меня огромное впечатление произвела песня-баллада, исполненная Александром Градским на музыку Давида Тухманова и стихи Семена Кирсанова. Стихи назывались «Строки в скобках».

*Жил-был — я.
(Стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол.
(Молод был и мил...)
В порт плыл флот.
(С выигрышным билетом
жил-был я.)
Помнится, что жил.*

Были в этом сочинении и исполнении загадочные биоюки, некая тайна, делающая вдруг чужие переживания твоим собственным жизненным опытом и собственным воспоминанием. Я сказал Володе об этом ощущении. Он почему-то отреагировал с некоторой агрессивностью: «Есть у отца стихи и получше!». Но теперь, по прошествии многих лет, стихи эти и песня звучат у меня в памяти в неразрывной связи с самим Володей. Вот только «выигрышного билета» не было. Выигрывать и проигрывать приходилось самому.

А еще Кирс в тот день моего рождения, о котором я вспоминал выше, подарил мне листок в клеточку, где поверху было крупно выведено РАСПИСКА, а дальше шел текст примерно такого содержания: я, Авдеевко Александр Александрович, со всеми атрибутами паспортных данных подтверждал, что продал свою «бессмертную душу» (это иронический парафраз из «Записных книжек» Ильфа: «И снова Г. продал свою бессмертную душу за 8 р.». А.А.) Кирсанову Владимиру Семеновичу за такое-то количество наличных с правом последующего выкупа в случае уплаты процентов).

Расписка была помечена 1956 годом, за полвека набежало столько процентов, что, получив их, можно было бы забыть обо всех тяготах и брэнностях бытия.

Володя великодушно и назидательно в именинный день простил мне приобретенный навар. Свой, как говорится, выигрыш обратил в мою пользу. К сожалению, процитировать точно цифры и слова не смогу. Я таскал бумажку в куртке, потом заложил в кармашек солнцезащитного козырька машины, затем вынул оттуда и упрятал в надежное место, чтобы никогда уже не потерять. А вот что это за место, вспомнить не могу, хотя перевероршил уже, кажется, все ящики и папки. Вот что такое порядок в мозгах и делах.

Он называл себя технарем, а не гуманитарием. Первую часть этой тезы я оценить не готов, ибо в понимании физических процессов не проник глубже того, что электричество бьет током, а потому его надо остерегаться. Но доверюсь и самому Владимиру Семеновичу и его коллегам, кто способен не только творить в этой области, но и наслаждаться эстетической красотой формулы, теоремы или задачи. Я знаю, как высоко коллеги оценивали его культурологическую миссию пропагандиста и популяризатора науки. Тут необходим особый талант и особое проникновение в суть проблем.

Иногда в программах НТВ-плюс на специальных каналах мне попадаются старые записи передач с участием Владимира Кирсанова, где он с увлечением рассказывает о проблемах науки и великих ученых. Какой там технар в собственной пренебрежительной самооценке! Глубоко образованный, широко мыслящий, прекрасно говорящий на родном языке (увы, сегодня это дорогого стоящая редкость) увлеченный и артистичный человек. Именно артистичный. Раньше он, бывало, стеснялся этой артистичности и мог, чтобы его не заподозрили в пафосности, снизить градус высокой беседы нарочитой грубостью или соленым словом. Сразу чувствовалось — это не его. Он имел право воспарять над обыденностью. Он был свободным человеком, когда немногим это удавалось. Он ездил по миру не за казенные командировочные и жил на свои кровные, трудом заработанные деньги. Имел счастье не только уезжать за «бугор», но и возвращаться. Он закалился в юности.

Вот еще одна цитата стародавнего письма из туркменского Куны-Ургенча: «При всем при этом рад, что здесь. Пустыня помогает мне не вспоминать о прошлом и надеяться в будущем на лучшее. А ведь должно же оно быть, черт побери! Когда далеко уезжаешь, далекое становится необыкновенно близким, как стала близка мне Москва и ты, и все мои друзья и доброжелатели...».

Теперь он уехал в такое далеко, откуда не возвращаются. Но остался в каждом из тех, кто хранит о нем благодарную память. «Жил-был я...».



Елена Желтова

ПОЭЗИЯ И ЖИЗНЬ

Трудно поверить, но прошло уже более десяти лет с той весны, когда в ИИЕТ из США приезжала моя коллега и подруга историк Кристина Уайт, виновница моего знакомства с Владимиром Семеновичем Кирсановым. Помню, она вошла в нашу комнату в ИИТЕ на Старопанском и сказала: «Лена, Лена, там, в коридоре — дженгльмен, он очень хорошо говорит на британском английском. Познакомь меня с ним». Я не была лично знакома с Владимиром Семёновичем, но всё же, на правах коллеги по Институту, представила Кристину Владимиру Семёновичу, а уже через пару минут они оживленно спорили об английской поэзии.

Вскоре Кристина устроила интернациональную вечеринку, которая обернулась чудесным поэтическим вечером. Алексей Владимирович Пименов читал Гейне на немецком, а Владимир Семёнович сходу подхватывал, и они вдохновенно декламировали вдвоём. Кристина вспоминала что-то из Киплинга, и, к всеобщему восхищению, Владимир Семёнович поддерживал и её чтение. И даже когда профессор Сорбонны Мишель Юлен прочёл стихотворение Бодлера, Владимир Семёнович вспомнил его русский перевод.

В тот вечер я впервые узнала, что ВС — сын известного поэта, что он прекрасно разбирается в поэзии и литературе, и решила обратиться к нему за консультацией.

Владимир Семенович неожиданно живо откликнулся на мои вопросы об авангардной поэзии начала XX века. Вскоре он принес в Институт несколько фотографий — Маяковский, Брики, Давид Бурлюк, Семен Кирсанов — и прочитал фрагменты из поэм своего отца. Тут-то я поняла, что тема моего академического исследования непосредственно касается мира, которому принадлежала молодость отца Владимира Семеновича.

Вскоре после этого Владимир Семенович подошел ко мне и предложил пойти в мастерскую к его двоюродному брату Анатолию Рафаиловичу Брусиловскому: «Он пишет книгу воспоминаний, будет расспрашивать об отце, а ты послушаешь, заодно посмотришь антиквар и живопись». Такое предложение мне льстило, но и смущало. «Я сказал Толе, что приду с американской коллегой», — неожиданно добавил он. Я удивилась, но в то же время почувствовала облегчение — какой спрос с «американской коллегии» — и согласилась.

Мастерская Анатолия Брусиловского находилась в Замоскворечье, на чердаке одного из старых домов на Новокузнецкой улице, недалеко от Лаврушинского переулка, где, в писательском доме, прошли детство и юность Владимира Семеновича. В тот раз я впервые наблюдала ВС вне стен Института, вне научного сообщества.

Было лето. Одет он был элегантно, в классическом английском стиле: твидовый пиджак, бежевая рубашка, в тон ей брюки, летние кожаные ботинки, зонтик-трость, на случай дождя. Я не встречала никого из своего окружения, кто бы с таким изяществом и внутренним комфортом подавал стиль в одежде. «Что ты хочешь, деточка, я *внук портного*», — в его словах угадывалась скрытая ирония, думаю, что он «угостил» меня тогда эрзацем из советских биографий Семена Кирса-

нова, где неустанно твердилось: «сын портного», «сын портного». «Как?» ВС с легкой небрежностью пояснил, что его дед держал дома моды в Одессе, Берлине и Париже... (улица Гаванная, дом 10).

Мне всегда было жаль, что, имея явный литературный дар, Владимир Семенович не писал. Думаю, он мог бы оставить бесценные воспоминания в духе «Других берегов» Набокова. Жалела я об этом и когда наблюдала, как, уютно погружившись в кресло стиля ар-нуво и потягивая коньяк, Владимир Семенович точно, с мельчайшими подробностями отвечает на дотошные вопросы Анатолия Брусиловского, как непреклонно поправляет задевавшие его за живое небрежности, преувеличения, домыслы: «Нет, нет, Толя, ты путаешь...». Тут-то присутствие безучастной, глазеющей по сторонам «американки» и приходилось кстати. «What do you think, Lena, of that lovely collection of crystal Easter eggs?»

Владимир Семенович обладал талантом тонкой режиссуры самой жизни. Как-то он заметил, что «писатели пишут литературу, а я пишу жизнь». Он «писал жизнь» ежедневно, поднимая окружающее до уровня своего природного вкуса, чувства прекрасного, мягких светских манер. Но он не был чужд игре и артистическому эпатажу. Помню, как на новогоднем институтском вечере, кося под лом-пена, ВС пропел несколько куплетов из дворового шлягера пятидесятых «Мама, я летчика люблю...»

А к своему прошлому ВС относился ревностно, оберегал, не позволял вторгаться и, тем более, растаскивать на мемуары, эти бесцеремонные кривые зеркала. Однажды он даже позвонил мне домой. Голос звучал сдержанно: «Ленкхен, твоя одноклассница (Маша Шахова, телевизионная ведущая. — Е.Ж.) произнесла вчера в «Дачниках», что Семен Кирсанов сломал своему сыну жизнь. Это взгляд стороннего наблюдателя и совершенно не соответствует действительности. Передай, пожалуйста, Маше».

Мне всегда казалось, что мы, коллеги, лишь поверхностно представляли себе мир, которому органично принадлежал ВС.

— Вы были знакомы с Лилей Брик?

— Конечно.

— Рассказывают, что она слишком экстравагантно выглядела в свои поздние годы».

— Это не было важно. При разговоре с ней уже через пару фраз становилось очевидным, что перед тобой очень умный человек».

* * *

— Почему вы не пишете литературу, поэзию?

— Видишь ли, чтобы хорошо писать, надо писать ежедневно. И потом, я наблюдал людей огромного таланта, а это ставит на место.

Но дело было вовсе не в том, что ВС волею судьбы вырос среди поэтической и писательской элиты, дело было в другом. Он нес в себе утонченную культуру, эстетику, стиль и привносил их во все, с чем соприкасался, в том числе и в исторические исследования. Он прекрасно чувствовал и погружался в эпоху и культуру того времени, о котором писал, понимал особенности социального статуса своих исторических персонажей. Даже для советской научной вполне интеллигентной среды он был необычным явлением.

Владимир Семенович, безусловно, был сложным человеком со сложной судьбой и характером, но в памяти остались те его замечательные качества и черты,

которые хочется сохранить. «Володя, как хорошо с тобой время от времени видется, — признавался Александр Яковлевич Хелемский, — ты меня примиряешь с двадцать первым веком».

Наверное, главный дар, который Владимир Семёнович пронёс через всю жизнь, состоял в обостренном, очень чутком восприятии слова — и литературного, и поэтического, и научного, и живого.

В английской культуре есть понятие малого разговора. Например, вы останавливаетесь на улице Лондона джентльмена и спрашиваете его, где остановка автобуса «Х», а в ответ слышите: «Мадам, к сожалению, мне не доводилось пользоваться этим рейсом, но, вероятно, нужная вам остановка находится вверх по улице «N», если позволите, я могу уточнить или сопроводить вас». Вы соглашаетесь пройти тридцать метров с этим любезным человеком и оказываетесь участницей очень милого разговора о Кенсингтонских садах или Королевском розарии или ещё о чем-нибудь любимом лондонцами. Общаетесь вы с внимательным незнакомцем совсем недолго, однако, в вас успевает родиться трогательное любовное чувство к Лондону и к его жителям. Увы, но сегодняшние англичане сетуют, что традиция малого разговора умирает. В России такое умение — и вовсе редкость.

Владимир Семёнович владел этим искусством замечательно. Вспоминается один эпизод. В частном выставочном зале в Спиридоньевском переулке проходила выставка «Русский натюрморт XIX — начала XX вв.». Помню, Владимир Семёнович вошел в зал, бросил беглый взгляд на картины и учтиво поклонился пожилой, утончённой даме, присматривавшей за экспозицией. Обойдя выставку, подошел к ней, выразил свое восхищение некоторыми полотнами и завёл разговор о натюрмортах Артура Фовизина. Они беседовали недолго, но неторопливо, к взаимному удовольствию почтительно и с достоинством обращаясь друг к другу. А у посетителей возникло ощущение, что эти двое со вкусом одетых пожилых людей принадлежат к какому-то иному миру.

Владимир Семёнович обладал редким свойством — он был внутренне настроен на диалог — не на деловой обмен информацией или монологическое сообщение, а на Обеседование. Он был обращён к разговаривающим с ним, тонко следовал их внутренним реакциям, интересам и, если не чувствовал отклика, мягко менял тему. Он всегда уважал собеседника и не позволял себе невнимательность или внутреннюю торопливость. Поддержать же он мог практически любой разговор — Владимир Семёнович был разносторонне образован и обладал прекрасной памятью. К тому же круг его интересов выходил далеко за пределы академических — он великолепно разбирался не только в истории, литературе, поэзии, живописи, архитектуре, но и в моде, гастрономии, вине, автомобилях, сигарах... Владимир Семёнович был в курсе последних новостей и тенденций всего, что радовало и восхищало его просвещённый вкус. (Почувствовать разнообразие интересов, эрудицию, живописный публицистический стиль ВС можно прочитав статью «Бранденбургский ренессанс», напечатанную в электронной версии журнала «Вокруг Света».)

Но на вульгарную речь Владимир Семёнович реагировал очень остро. Порой казалось, что варварское обращение с языком отзывалось в нём чуть ли ни физической болью. Помню, как на одном из новогодних институтских вечеров кто-то намеренно — шутки ради! — исковеркал французские слова. Владимир Семёнович поморщился, на секунду замер, — осмысливая произнесённое, — а затем отошел в сторону. А как его возмущали неподобающие обороты речи президента Путина!

Он мог быть более снисходителен к смыслу сказанного, нежели к неприличествующей форме высказываний президента.

Примечательно, что, владея в совершенстве всеми тонкостями личной беседы, в телефонных разговорах ВС чувствовал себя неловко. «Мне многие говорят, что я не умею разговаривать по телефону, мне необходимо видеть собеседника», — объяснял он самого себя.

Видимо, он не желал ущемлять человеческое общение в угоду коммуникационным средствам. Он ненавидел автоответчики, и никогда не оставлял на них сообщения — считал их неуважением к звонящему, лишь при крайней необходимости отсылал SMS, но с удовольствием пользовался электронной почтой, справедливо усматривая в ней несомненное удобство и средство обновляющее эпистолярный жанр.

Чувствительность к языку органично сосуществовала у Владимира Семёновича с утончённым художественным зрительным восприятием. Однажды он невольно дал мне почувствовать, как эти качества соединяются при чтении поэзии.

— Занимаетесь серебряным веком? — спросил он.

— Пытаюсь.

— А знаешь ли ты стихотворение Мандельштама «О, бабочка, о, мусульманка...?»

Я не знала. Тогда он прочёл:

*О, бабочка, о, мусульманка,
В разрезанном саване вся...*

Внимательно посмотрел на меня и спросил: «Ну, скажи, почему мусульманка, и почему в саване?» Я промолчала. Тогда он взял первый попавшийся листочек бумаги, вынул из внутреннего кармана пиджака ручку и нарисовал, с поразительными деталями, ночного мотылька, Совку, со сложенными крылышками, головкой и раскосыми глазками, стоящую вертикально, спинкой ко мне. И я с изумлением увидела, что бабочка — «мусульманка, в разрезанном саване вся...».

Мне представляется, что поразительная зрительная восприимчивость к деталям проявлялась у ВС и в стремлении к тому, чтобы все окружавшие его вещи были в порядке, работали, наилучшим образом соответствовали своему назначению, радовали глаз. Он обладал врождённым чувством стиля, стремлением к гармонии окружавших его вещей. Это качество было практически противоположно небрежности (если не сказать пренебрежительности) и невнимательности к вещам, столь распространённым в советское время. И он почти всё умел делать своими руками — циклевать полы, чинить часы, реставрировать мебель... Но Владимир Семёнович не был в этом просто ремесленником или поделщиком. Он был редким для советской России представителем того, что знатоки французской культуры называют французским вкусом, — когда люди умеют видеть, ценить каждую мелочь, деталь, тщательно подыскивают ей место, вписывают её в контекст, бережно сохраняют, ежедневно любовно заботясь о ней.

Наверное, Владимир Семёнович мог бы быть хорошим поэтом, — кстати, его друг, поэт Евгений Рейн, насколько мне известно, таковым его и считает. Но, несомненно, он мог бы быть очень хорошим переводчиком поэзии.

Помню, я пожаловалась на неудовлетворительные переводы поэмы «Зона» Аполлинера, прочитала несколько строчек. Владимир Семенович покачал головой и попросил оригинальный текст, а через несколько дней принёс свой замечательный перевод, где были сохранены и аполлинеровский размер, и мелодика, и образный ряд:

*Мир становится птицей в небеса возносясь как Иисус
Духи бездны за ним наблюдают хулу исторяя из уст
И кричат что у Мага-Симона он украл это чудо искусств...**

Однажды он поделился со мной одним из своих замыслов — написать о переводах Гейне на русский язык, показать, как изменяется поэтическое произведение при переводе из-за несовпадения родов предметов в немецком и русском языках.

Как мне кажется, большая часть внутренней жизни Владимира Семёновича принадлежала миру, связанному с теми, с кем он был знаком с детства и юности и кто теперь составляет золотой фонд русской культуры и истории. Его часто можно было видеть в Ленинской библиотеке читающим мемуары или воспоминания о тех, кого он хорошо знал.

Помню, Владимир Семёнович читал прозу Бродского и заметил вскользь: «Кто бы мог подумать, что в этом ничем с виду неприметном человеке таится такой ум?». Фраза относилась к началу 60-х, когда Евгений Рейн единственный распознал в совсем ещё юном Бродском дар большого поэта и дружил с ним. Бродский был на четыре года моложе Владимира Семёновича, и в начале 60-х ему было чуть больше двадцати.

Владимир Семёнович глубоко переживал смерть известного правозащитника Александра Ильича Гинзбурга, много лет проработавшего с Солженицыным, а затем в газете «Русская Мысль» в Париже. Он виделся с Александром Гинзбургом в Париже незадолго до его смерти. Владимир Семёнович огорчался, что в российской прессе появлялись искажавшие действительность публикации об «Алике». Ведь он помнил Алику ещё мальчиком, когда тот жил с мамой недалеко от Лаврушинского переулка и прыгал с зонтиком со шкафа. Для него Алик был юношей, намеренно оставлявшим на виду диссидентскую литературу накануне обыска КГБ и осознанно шедшем за это в ГУЛАГ.

Помню, как возобновилось знакомство Владимира Семёновича с замечательным переводчиком античной поэзии, выдающимся филологом Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Когда-то они учились в одной школе. Владимир Семёнович был чрезвычайно рад их новой встрече: «Поразительно, но оказалось, что у нас совершенно совпадают взгляды на поэзию. Жаль, что мы не общались столько лет». «Почему?» — спросила я. Владимир Семёнович вздохнул: «Мы оба очень застенчивые люди». Он произнёс это с грустью, как бы и не обращая ко мне вовсе, а размышляя о чём-то глубоко личном, и, почувствовав моё любопытство, тут же сменил тему.

Вскоре после этого Михаила Леоновича не стало...

А сегодня мы вспоминаем Владимира Семёновича...

И нельзя не сказать о том особом настрое души, которым он обладал. Я помню Владимира Семёновича сидящим в нашей комнате 13 в Старопанском, работающим вместе с Олей Фёдоровой над рукописями Лейбница. У него было тихое, почти кроткое, обращённое к тексту настроение.

Он часто говорил о самом себе фразой из Булгакова: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...». Мне представляется, что это высказывание было метафоричным.

* Перевод был опубликован в: ВИЕТ. 2001. № 2.

Большая часть жизни Владимира Семёновича пришлась на советский период, когда громогласно прославлялись «ударный труд», энтузиазм, подвиг и другие энергетические порывы. Когда официальный железобетонный канцеляризм убивал всякую восприимчивость к слову, а обеднённый зрительный ряд советского быта и стиля не сопутствовал и не содействовал развитию художественного восприятия. В советские годы чётко вырисовывалась и модель творческой личности, ёмко описанная российским философом Михаилом Эпштейном: «если дар — то гонимый, дух — задушенный, судьба — искалеченная». Но Владимир Семёнович ни в коей мере не принимал эту судьбу. Его образец произрастал из другого представления о достойном человеке, он стремился соответствовать правилу *la noblesse oblige*.

И сквозь все советские годы, как и сквозь извращённый и развращённый постсоветский период, он пронёс чуткое и доброе состояние души, в котором, как мне кажется, только и можно работать и относиться к людям так, как это делал Владимир Семёнович, и в котором, по-видимому, только и можно видеть, что жизнь прекрасна, о чём он и сказал нам, коллегам, в своём, возможно, последнем стихотворении, прочитанном во время празднования юбилея Владимира Павловича Визгина в декабре 2006 г.



Павел Катаев

ОВОА

Пишу воспоминания о своем покойном друге. Мог ли я о таком подумать? Если бы смог, конечно же, постарался бы запомнить каждую встречу, каждый разговор. На первых порах сейчас, взявшись за перо (то есть, сев за компьютер) вдруг с недоумением обнаруживаю, что в памяти всплывают какие-то второстепенные, малозначащие факты. А вот все самое главное словно бы сквозь пальцы протекло.

И ведь не вернешь...

Так что же делать? Не писать? Признать эту затею невыполнимой?

Ну, уж нет!

Даже если бы я ничего не смог вспомнить, ни одной конкретной детали, все равно, впечатления жизни, помимо меня, создают в воображении образ Володи Кирсанова, моего старого друга и товарища.

Этот образ соткан из воздуха, который нас окружал.

Как мы с ним познакомились? Затрудняюсь ответить. Не помню. Знакомство, безусловно, состоялось, но наверняка без особых формальностей — представлений и обмена рукопожатиями. Что и не удивительно: Воле тогда было года полтора-два, а я вообще был грудным младенцем.

Вообще-то в начале жизни Вова не очень-то меня жаловал. Больше его интересовала Женя, моя старшая и единственная сестра. Вовкино появление на свет легенда связывает именно с Женей.

Легенда гласит. Когда жена Семена Исааковича Кирсанова Клава забеременела, врачи поставили ее перед страшным выбором — или жизнь будущего ребенка, или ее собственная жизнь. Клава болела туберкулезом и была большая вероятность того, что роды ее погубят.

Пятьдесят на пятьдесят.

И тут в семье Катаевых на свет появилась моя сестра. Увидев в детской коляске гукающего и жмурящегося на солнышко грудного младенца, Клава твердо решила рожать. И через несколько месяцев на свет Божий явился мальчик Вова.

Увы, рождение ребенка стоило его матери жизни.

Повторяю, такова легенда.

Что же касается реальной жизни, то грудному Воле «по наследству» от Жени перешла ее коляска, которая в свою очередь через полтора года перешла новенькому ребенку, то есть мне. (Этот факт, правда, пока что не нашел подтверждения из независимых источников.)

Если не ошибаюсь, писательский дом в Лаврушинском переулке, 17 «вступил в строй» году в 37 – 38-м, то есть Женя и Вова переселились в него из других московских районов уже после своего рождения. А вот я никаких других адресов не знал кроме этого дома. Но это так, к слову.

Это были счастливые довоенные годы — в том смысле, что, во-первых, мирные, а во-вторых, никого из наших родителей «не тронули». Конечно, я не говорю о бедной Клаве Кирсановой. А могли бы! Даже маленькие дети писательского дома вздрагивали по ночам от лязга дверей лифта или в страхе замирали днем, ко-

гда видели на лестничных площадках в подъезде молчаливых в серых одеждах людей со спрятанными лицами.

Потом началась война, эвакуация, возвращение в Москву в 43 году...

Сначала Женя пошла в школу, через год — Вова, а еще через год и я.

Нет, я вовсе не зря об этом пишу в своих воспоминаниях, потому что Вова существовал в том же месте и в то же время, и конечно же это не могло не оставить на нем особый отпечаток.

Теперь маленькое отступление.

Что-то эти мои заметки смахивают на художественное произведение, на какие-то выдумки, на беллетристику. Стыдно признаваться, но, наверное, никуда от этого не деться: ведь все картинки, которые я достаю из своей памяти, очень и очень давно там живут и успели из фактов объективной реальности превратиться в мои собственные выдумки.

Но основаны-то они, повторяю, на реальных впечатлениях и чувствах.

Хочу поразмышлять о его скромности. Это не то, что человек, скажем, старается скрыться в тени, отойти в сторонку, чтобы не, дай Бог, его не приняли за выскочку. Это была аристократическая скромность. Ему не нужно было никого убеждать в своей компетентности, в наличие знания о том или ином предмете, о своей осведомленности, в вопросах, например, науки или литературы... и так далее, и так далее.

Да и просто в ситуациях обыденной жизни он прекрасно ориентировался...

В своем детстве он частенько захаживал в нашу квартиру на пятом этаже третьего подъезда — просто так, без предупреждения, в гости к Жене. Но Женю он не интересовал, у нее были другие интересы, и она упархивала из дома, бросая Вову на произвол судьбы. И тогда, если и меня не было дома, Вова общался с нашими родителями. И мама, и папа любили его, как родного, и эти неожиданные посещения, судя по всему, доставляли им удовольствие.

Так и дальше продолжалось, из года в год, и я до сих пор храню в памяти драгоценные крупички из Вовкиных пересказов бесед с моим отцом.

Я тоже захаживал к Вовке в его квартиру на третьем этаже во втором подъезде нашего общего дома и порой заставал там Семена Исааковича то возбужденно разговаривающего по телефону, то в повязанном фартуке колдующего на кухне, но никаких бесед, выражающих особую заинтересованность моей скромной персоной, он не вел. Так что и вспомнить нечего.

С течением жизни Вовкины встречи с моим отцом, как я понимаю, вылились в дружбу, и для меня это является еще одним доказательством человеческого достоинства моего друга.

Однажды мы с Вовой, сговорившись, каждый сам по себе добирались до нашей дачи в Переделкине. Он приехал раньше. Мои пожилые родители были одни дома. И тут моему отцу стало плохо. Он потерял сознание. Вова не растерялся, сумел привести отца в чувство и вызвать «скорую». Отца отвезли в больницу, и жизнь его была спасена. И спас его Вова.

В нашей жизни были полосы, когда мы не общались — не потому, что были в ссоре, а потому что пути пролегли в разных плоскостях. Но внутренняя связь сохранялась, и по крупичкам сведений, доходившим до нас, мы были более или менее в курсе событий.

Я, например, не будучи знакомым, знал о том, что у Вовы появилась семья — жена Оля и дочь Катя, и что теперь его жизнь наладилась, и что он, говоря вы-

сокопарно, нашел свое счастье. Уже тогда было ясно, что судьба преподнесла Вове бесценный подарок...

Все, кто бывал у Вовы, Оли и Кати на Остоженке, знают об этом.

Скажу еще, что он является героем — или основным персонажем — моих постоянных воспоминаний о нем и раздумий о жизни вообще. А это тема неисчерпаемая, и несколькими жалкими страничками не отделаться. Как не сказать, что он был человеком европейским или даже гражданином мира. Это совсем не громкие слова, ведь быть европейцем или гражданином мира значит уметь ориентироваться в конкретных жизненных обстоятельствах, обладая определенным набором знаний и умений.

С легкостью он объяснял мне во время наших прогулок по Москве, как, скажем, в аэропорту Франкфурта-на-Майне с помощью интернета и автоматических касс купить дешевый билет в Париж. Или в разговоре образно описать принца Уэльского, беседующего с ним на званом обеде в каком-то шотландском замке.

А основой его поэтических и художнических опытов, конечно же, была атмосфера отчего дома, где на стенах висели рисунки Пикассо и Сикейроса, где как о близких людях говорилось о Маяковском, Бурлюке, Неруде, Арагоне.

Кстати, вот еще одна высокая литературная сплетня, легенда: Маяковский был влюблен в Клаву, но та предпочла Кирсанова.

В течение нашей чуть ли ни семидесятилетней дружбы мы часто гуляли с ним по Москве разных эпох, угощали друг друга кофе или пивом в кафе и барах, появившихся во множестве в последние десятилетия, делились своими удачами и неудачами. То есть общались, как могут общаться лишь близкие люди. Так трудно смириться с его отсутствием.

Из моей памяти напрочь исчезли картины прощания с Вовой на улице Россолимо. Потом, когда в тот же день мы, Вовины близкие люди, собрались, чтобы помянуть его, меня не покидало ощущение, что вовсе он не умер, а занимается какими-то своими обычными делами и вот-вот появится.

И это ощущение до сих пор меня не оставляет.

Я несколько раз, и последний раз совсем недавно, пытался найти Вовину памятную доску в стене на Новодевичьем, но у меня не получилось. Я знаю, что она есть, но я ее не видел.

Но зато я в своей памяти часто вижу своего друга и приятеля Вову Кирсанова, спокойного, ироничного, аристократически скромного, с развернутыми плечами и открытым взглядом, излучающим ум и доброму. И безусловную причастность к искусству.

Моя жена говорит, что в ее душе и памяти сохраняется связанное с Вовой ощущение какой-то особенной мужской и человеческой нежности, и это она просит добавить от нее в мои личные воспоминания.



Александр Кунин
ОБМАНЧИВАЯ ТКАНЬ
РЕАЛЬНОСТИ
Владимир Набоков и наука

Тяжкие грехи психоанализа. Владимир Набоков, как известно, не отличался мягкостью суждений и осторожностью оценок. В своих лекциях, интервью и частных беседах он не щадил самых известных и признанных поэтов и писателей — Т.С. Элиота, Э. Паунда, Ж.П. Сартра, У. Фолкнера, Ф. Мориака, пренебрежительно отзывался о Пастернаке-романисте, а Достоевского считал не более чем посредственным литератором, почитаемым без должных на то оснований. Высказываясь довольно охотно по различным научным проблемам, он не проявлял никакого почтения к принятому этикету академической уравниловки и беспристрастности. Воинственный, даже задиристый дух его критики направлялся не только на эксперименты и теории, но и на их знаменитых создателей.

И все же нападки Набокова на психоанализ и самого Зигмунда Фрейда резкостью и настойчивостью выделялись даже и на таком фоне. Из беседы с Олвином Тоффлером (1963): "Фрейдизм и все, что он испакостил своими нелепыми толкованиями и методами, кажется мне одним из самых отвратительных способов, которыми люди обманывают самих себя и других. Я полностью его отвергаю, вместе с некоторыми другими средневековыми штуками, которые все еще восхищают невежественных, заурядных или очень больных людей" ^[1].

Известно, что рождение психоанализа вызвало удивление и отвращение у обывателей Вены и немалой части врачей, впервые услышавших о новой теории. Наделение детей (невинных ангелочков 19 века) сексуальностью казалось венским психиатрам нелепой выдумкой, лишенной какой-либо научной основы. Но более всего возмутило публику предположение, что психоневрозы вызываются сексуальными домогательствами, от которых дети, особенно девочки, страдают в ранние годы. Фрейд, впрочем, вскоре признал, что рассказы о соблазнах могут быть как реальными эпизодами детства, так и фантазиями пациентов.

У Набокова, похоже, не было особых сомнений в эротических чувствах детей, как и в том, что эти чувства могли побуждаться взрослыми из близкого окружения. Биографическая «Память, говори» повествует о детских увлечениях писателя: 8-ми лет он был «горячо увлечен Зиной, прелестной, загорелой, капризной» девочкой, а чувства к Коллет, захватившие 10-летнего Владимира, казались ему вполне серьезным любовным переживанием ^[2].

Ван Вин, главный герой романа «Ада», проф. психиатрии и яростный противник Фрейда, навсегда сохранил "незабываемые, слишком, слишком ранние посвящения в мужественность, происходившие в тот краткий зазор времени — между молочным коктейлем и постелью, — когда мальчика умелой рукой ласкала его прелестная английская гувернантка — в одной нижней юбке, с чудными грудками" ^[3].

У Набокова (в романах, разумеется) сексуальная активность не очень-то смущена возрастными и родственными барьерами. Да и современное общество,

надо признать, не отвергает больше со страхом и негодованием сообщения о детской эротичности.

Возмущение, даже негодование, вызвало у Набокова вовсе не утверждение о реальности либидо у детей, но причудливая форма, в которой, по мнению Фрейда, оно проявляется.

Скрупулезно анализируя собственную психику, Фрейд обнаружил главное звено, которое должно было связать все его построения. Трагедия Софокла «Эдип царь» на венской сцене произвела на него впечатление столь сильное, что определила понятия, в которых он представил своё открытие: «...оракул снабдил нас до нашего рождения таким же проклятием, как и Эдипа. Всем нам, быть может, суждено направить наше первое сексуальное чувство на мать и первую ненависть и насытьшее желание на отца; наши сновидения убеждают нас в этом.

Царь Эдип, убивший своего отца Лая и женившийся на своей матери Иокасте, представляет собой лишь осуществление желания нашего детства. Но более счастливые, нежели он, мы сумели отщепить наше сексуальное чувство от матери и забыть свою ревность по отношению к отцу. Человек, осуществивший такое первобытное детское желание, вселяет в нас содрогание, мы отстраняемся от него со всей силой процесса вытеснения, которое претерпевают с самого детства эти желания в нашей душе» [4].

По Фрейду, *эдипов комплекс* универсален, и успешное его разрешение — необходимая стадия в развитии психически уравновешенной личности. Разрастание этой темы породило немало мифологических интерпретаций с их специфическим языком и терминологией. Титан Кронос оскопил и лишил власти своего отца Урана. Но соперничество маленького мальчика с отцом, неизбежное в каждой семье, разрешается при ином соотношении сил, что и порождает *комплекс кастрации* — как возможное наказание за притязание на обладание матерью. Оба комплекса, как неприемлемые для сознания, подвергаются вытеснению, но обнаруживают себя в невротических симптомах и сновидениях.

Набоков удачно пародирует этот язык, когда супружеская чета психоаналитиков из романа «Пний», Эрих и Лиза, анализирует свои отношения с сыном: «...всякий младенец мужского пола одержим страстным желанием оскопить отца и ностальгическим стремлением вернуться в утробу матери». Или: «У Эриха твердый эмоциональный блок в отношении Виктора. Воображаю, сколько раз мальчик должен был во сне убивать его» [5].

Фрейд считал свои построения безусловно научными. Успешный невролог и автор тщательно выполненных работ по нейроанатомии, он полагал, что обнаружил новый метод исследования и создал на его основе новую науку, новую психологию (метапсихологию), способную осветить все темные углы и все патологические искажения. Человек, по сути, 19 века, он взял для своих построений открытие этого времени — закон сохранения энергии. "Психическая энергия", этот особый вид энергии, который еще недоступен измерению, приводит в действие все механизмы человеческой личности, сохраняясь при всех трансформациях. Та её часть, которая ищет наслаждения, окрашена особым образом, вполне оправдывающим её название — *либидо*. Попытки погасить её всегда неудачны и опасны. Вытесненная, изгнанная из сферы сознания, она угрожает психическому благополучию. Самое достойное её применение происходит при *сублимации*, когда она становится творческой энергией художников и поэтов. Исследуя жизнь Леонардо да Винчи, Фрейд посчитал её лучшим примером такой сублимации [6].

Превращение *либидо* в творческую энергию представлялось Набокову еще одним нелепым утверждением психоанализа. «Не талант художника является вторичным половым признаком, как утверждают иные шаманы и шарлатаны, а наоборот: пол лишь прислужник искусства» [7].

И наконец, третье превращение либидо, столь важное в психоаналитической теории, казалось Набокову особенно возмутительным: «Одно из величайших явлений шарлатанского и сатанинского абсурда, навязываемого легковверной публике, — это фрейдовское толкование снов. Каждое утро мне доставляет радостное удовольствие опровергать венского шарлатана, вспоминая и объясняя подробности и своих снов без единой ссылки на сексуальные символы и мифические комплексы» [8].

Неприятие фрейдовской метапсихологии, скептическое отношение к главным её разработкам не представляло ничего исключительного не только при зарождении учения, но даже и во времена глубочайшего его проникновения во все области западной культуры. И все же не было, кажется, никого, кто мог бы сравниться с Набоковым по резкости, настойчивости, постоянству, богатству и разнообразию приемов, удивительной изобретательности разоблачений.

Все переводы своих романов на английский Набоков снабжал предисловиями, в которых не забывал *венскую делегацию*: «Соблазнительной формы предмет или сон по-венски, который рьяный фрейдист, как может ему показаться, разыщет на дальней скалке моих пустырей, окажется при ближайшем рассмотрении издевательским миражом, подстроенным моей агентурой» [9].

Эти миражи и капканы требуют немалых усилий для их обнаружения среди психологических коллизий набоковских романов, которые кажутся особенно пригодными для фрейдистских толкований. Четвертая глава 2 части романа «Ада» целиком посвящена снам Ван Вина, которые сам он (проф. психиатрии) разделяет на профессиональные и эротические. Последние как бы напрашиваются на психоаналитические интерпретации: Ада и Люсетта манипулируют кукурузным початком, который превращается в половой член, используемый для орального секса, а в следующей сцене «высоко задирая гладкие зады, они утоляют жажду, лакая из лужи его кровь» [10]. Метафорический смысл сна, связанного с болезненными для Вана событиями совершенно очевиден. Но применимость психоаналитических трактовок не более чем кажущаяся. Ни читателям, ни самому Вану не требуется никаких расшифровок. Нет тут и символов, которые укрывали бы его отнюдь не платоническое влечение к сестре.

По Фрейду, «теория вытеснения является краеугольным камнем, на котором построено все здание психоанализа и важнейшей частью последнего» [11]. Только то, что вытеснено из сознания (как неприемлемое) может проникнуть в него в виде символов, которые раскрываются лишь в процессе психоанализа. Этот принцип и позволяет распознавать набоковские имитации.

Вот еще одна из его искусных ловушек.

Гумберт Гумберт, полный волнения и тревоги, ожидает близости с Лолитой.

«Я уже собирался отойти, когда ко мне обратился незнакомый голос: „Как же ты ее достал?“ — „Простите?“ — „Говорю: дождь перестал“, — „Да, кажется“. — „Я где-то видал эту девочку“, — „Она — моя дочь“. — „Врешь, не дочь“, — „Простите?“ — „Говорю: роскошная ночь“» [12].

Диалог кажется типичным примером того, что Фрейд описывает в «Психопатологии обыденной жизни», всех эти оговорки, описки, а в данном случае —

ошибок слуха. Но сходство лишь внешнее. Нет здесь внутреннего конфликта, вытесненного и стремящегося прорваться. Гумбертовская тревога вполне им осознанна и причина «ослушек» очевидна. Это иллюзии, вызванные эмоциями, таких и называют в психиатрии — *аффектогенные иллюзии*.

Приведенные выше примеры можно было бы без труда умножить.

Герои Набокова охотно имитируют психоаналитический жаргон. «Она все еще маячит... между двумя зонами, анальной и генитальной...», — говорит о Лолите её школьная патронесса ^[13]. Гумберт Гумберт из этого же романа планирует самоубийство: «...оттяну крайнюю плоть пистолета и упиюсь оргазмом спускового крючка — я всегда был верным последователем венского шамана» (там же, ч. 2, пар. 29).

Приходится признать, что всемирно известный писатель был озабочен разоблачением психоанализа столь сильно и повторял свои нападки столь настойчиво, что породил немало подозрений в отношении его скрытых мотивов и побуждений. Да и враждебность по отношению к самому создателю психоанализа проявлялась в такой форме, которая сама по себе требовала объяснений.

К примеру, в романе «Bend sinister», без явной связи с происходящим, сообщается такая подробность: «На дне унитаза плавал конвертик от безопасного лезвия с ликом и подписью д-ра З. Фрейда» (гл. 5). А в последнем романе Набокова о его героине сказано, что «одинадцати лет она прочитала *A quoi rêvent les enfants* (что видят во сне дети) некоего Фрейда, душевнобольного доктора» ^[14].

Для психоанализа не составило труда распознать набоковские мотивы при помощи своих испытанных понятий. Чрезмерные усилия по восхвалению или, наоборот, настойчивая демонстрация ненависти, несоразмерные проявления этих чувств свидетельствуют о подавленных чувствах противоположного качества. Книжный пример: моралист, которого одолевают сексуальные вождения, становится страстным борцом с порнографией ^[15]. Такой способ психологической защиты именуется *реактивной формацией*.

David G. Cohen: «Мы можем предположить, что набоковская воинственность побуждалась глубоким уважением к работам Фрейда и что агрессивная риторика и бичующие выражения скрывают истинный ход набоковского мышления. Фрейда и Набокова правильнее считать соперниками, чем врагами, двумя писателями со схожим пониманием того, как воздействует текст на читателя и как рождается его, текста, значимость» ^[16].

Но чтобы подкрепить это предположение требовалось раскрыть причины, которые делали принятие психоанализа невыносимым для набоковской психики. Alan Elms: Набоков ненавидел Фрейда не потому, что их концепции человеческой природы были радикально различны. Он ненавидел Фрейда потому, что они были так похожи. Именно это порождает *нарциссизм малых различий* (Фрейд), без которых двое стали бы пугающе идентичны. Эти-то малые различия и вызывают отчуждение и враждебность ^[17].

Убедительность такого объяснения равна убедительности всех вообще психоаналитических трактовок. Оно может казаться привлекательным или просто забавным, и это скорее дело вкуса, чем рациональных доказательств.

Некоторые журналисты стремились выяснить, нет ли у Набокова личного и неудачного опыта общения с психоаналитиками. Писатель ответил в свойственной ему манере:

«Это испытание само по себе слишком глупо и отвратительно, чтобы подумывать о нем даже в шутку» [18]. (Интервью Олеину Тоффлеру.)

Тем, кто пытался понять набоковское неприятие фрейдизма, важно было установить насколько глубоко он знал психоанализ. Welsen приводит противоречивые мнения, даже и такое, что писатель был знаком с фрейдизмом на уровне американской домохозяйки [19].

Упомянутый уже Alms обратился к Набокову с перечнем вопросов, которые помогли бы ему понять отношение Набокова к Фрейду. Среди вопросов был и такой: знаком ли Набоков с работами Фрейда, или знает их со вторых рук? Писатель не ответил.

Но тут, пожалуй, сомнения разрешаются внимательным чтением самого Набокова. Психоаналитические термины употребляются верно, причем не только фрейдовские, но и Карла Юнга. Пародийные ситуации, миражи и ловушки устроены со знанием дела и тонким пониманием многих нюансов. Можно отыскать и непосредственные доказательства. Ван Вин из «Ады» (гл. 4) приводит высказывание Фрейда: «В мою студенческую пору я старался дефлорировать как можно больше девушек из-за того, что провалил экзамен по ботанике». Хотя Фрейд, разумеется, ничего такого не писал, цитата показывает знакомство с первоисточником. Фрейд действительно упоминал в «Толковании сновидений», что чуть было не провалил экзамен по ботанике, ошибившись в определении крестоцветных.

Во второй лекции «Введения в психоанализ» Фрейд приводит пример ошибочных действий: одна социал-демократическая газета напечатала: «Среди присутствующих был его величество корнпринц». На следующий день — исправление, и опять с ошибкой: «кюрпринц» [20].

А вот у Набокова в романе «Бледный огонь»: «В газетном отчете о коронации русского царя вместо «корона» (crown) было напечатано «ворона» (crow), а когда на следующий день это было с извинениями исправлено, произошла вторая опечатка — «корова» (cow)» [21]. (Комментарий к строке "На базе опечатки".)

Детальное знакомство с текстами Фрейда несомненно. В телеинтервью Бернару Пиво (май, 1975) Набоков называет Фрейда комическим писателем, читать которого следует непременно в оригинале.

Зигмунд Фрейд был постоянной и излюбленной, но не единственной мишенью Набокова. К удивлению многих, писатель не просто критически оценивал Федора Достоевского, но многократно, при всяком удобном случае возвращался к своим нападкам — в частных разговорах, лекциях, письмах, интервью, пародийных сценах романов. Следует ли предполагать, что в отношении Фрейда действовали особые, глубинные психодинамические силы, отсутствующие в других случаях? Быть может такая воинственность, удовольствие от заклятия священных коров, такие «пощечины общественному вкусу» вполне соответствовали темпераменту Набокова? (Об этом — в заключительной части работы).

Язык, который отец психоанализа выбрал для описания своих теорий, предлагал редкие возможности для насмешек, пародий и розыгрышей, и Набоков с готовностью пользовался этим. Но не уклонялся он и от серьезной критики. Из интервью Джейн Хоуард: «Наши внуки, без сомнения, будут относиться к сегодняшним психоаналитикам с тем же любопытствующим презрением, с каким мы относимся к астрологии и френологии» [22].

Не только внуки, но и некоторые современники писателя полагали, что построения Фрейда (а также модификации и ереси этого направления) слишком да-

леки от науки, какими бы критериями последняя не определялась. Строгое определение Карла Поппера требует, чтобы научная теория содержала возможность её опровержения. Сам Фрейд, хотя и стремился соотнести свою метапсихологию с биологическими процессами, вынужден был удовлетвориться её теоретической логичностью: «По существу, психоанализ есть исследовательский метод, беспристрастный инструмент, скажем, наподобие исчисления бесконечно малых»^[23].

Он, следовательно, не может быть проверен экспериментальными или любыми другими методами «чужих» наук. Единственный способ его верификации — личный опыт, психоаналитическая практика.

Попытки проверить психоаналитические теории, тем не менее, предпринимались. S. Fisher и R. Greenberg составили их обзор^[24]. Убедительных данных, которые могли бы подтвердить или опровергнуть главные положения теории получить, однако, не удалось. Некоторые утверждения Фрейда как будто бы подтверждались, хотя бы отчасти, другие — нет, но главная проблема так и осталась нерешенной — найти надежные способы проверки. Проф. Бар-Иланского университета Яков Рофэ не смог отыскать эмпирические доказательства реальности вытеснения и связанного с ним понятия бессознательного^[25].

Из-за этой-то недоступности проверке и опровержению, Карл Поппер считал психоанализ хорошим примером псевдонауки^[26].

Лечебная практика психоанализа представлялась Набокову шарлатанской, а теоретические толкования — опасными для общества. Он даже полагал, что диктаторы только по недомыслию не привлекли его для своих целей, ибо «в психоанализе есть что-то большевистское: внутренняя полиция»^[27] (интервью Анн Герен). В романе «Бледный огонь» герои беседуют о «взаимном влиянии и проникновении марксизма и фрейдизма» и их относительной вредоносности: «из двух ложных доктрин хуже всегда та, которую труднее искоренить»^[28] (гл. "Горный вид". Комментарий Кинбота).

Попытки некоторого рода синтеза двух влиятельных доктрин действительно предпринимались психоаналитиками второго поколения (Wilhelm Reich, Erich Fromm и др.) Все они искали теоретические основания для общества, свободного от всякого подавления — социального и сексуального. Ничего соблазнительного для тоталитарных теоретиков фрейдизм и все его многочисленные модификации, как кажется, не содержали.

Чем дальше удаляется теория от источника её возникновения, тем вероятнее её разнообразные искажения. В интервью Николасу Гарнхэму Набоков говорил: «Считаю также, что фрейдистская теория ведет к серьезным этическим последствиям, например, когда грязному убийце с мозгами солитера смягчают приговор только потому, что в детстве его слишком много — или слишком мало — порочила мать, причем и тот и другой «довод» срабатывает»^[29] (интервью Николасу Гарнхэму).

Действительно, психоаналитические методики, применяемые без должной осторожности, могут стать опасными для общественного здоровья. В 80-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах и других англоязычных странах происходили события, странным образом напоминающие "охоту на ведьм" 16 века. Речь идет о т.н. «Satanic Panic». Охватившая поначалу консервативные христианские общины, паника распространилась достаточно широко, чтобы повлиять на социальных работников и полицейских чиновников.

Сообщения прессы о *Ритуальных преступлениях сатанистов* (Satanic ritual abuse), книги и телевизионные интервью с жертвами содержали кошмарные подробности страданий, перенесенных в детстве, воспоминания о которых пребывали в подавленном состоянии долгое время. Понадобилось вмешательство психотерапевтов (социальных работников, психологов, врачей) чтобы явить их сознанию психоаналитическими методами. После длительных следствий и уголовных процессов над предполагаемыми преступниками было, наконец, признано, что воспоминания не отражают реальных событий^[30].

Справедливости ради следует напомнить, что Фрейд предполагал возможность ложных воспоминаний о сексуальных травмах.

Психоанализ и различные его ответвления породил особый вид литературной критики. Усилия направлялись на обнаружение скрытых мотивов — как у авторов, так и у героев их творений. Сам Фрейд был увлечен возможностями метода. Знаменитая нерешительность шекспировского Гамлета вызвана, по его мнению, не склонностью к чрезмерной рефлексии и не слабым невротическим характером. Гамлету трудно решиться на месть человеку, действия которого воплощают в реальности эдипов комплекс самого Гамлета — убийство отца и обладание матерью. Гамлет чувствует, не сознавая причины, собственную виновность. Фрейд уверен также, что в трагедии, написанной вскоре после смерти отца, отражаются собственные чувства Шекспира^[31].

Увлечение методом сохраняется и поныне. Набоковский рассказ «Облако, озеро, башня», написанный в 1937 г. получил любопытное толкование в 1989. Для этого привлекаются 2 ключевых эпизода. Василий Иванович, главный герой рассказа, предлагает попутчикам-немцам огурец — вклад в общую трапезу. «Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко». Наконец, из окна поезда открылся чудесный вид: «Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посередине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль старинная черная башня».

Пораженный красотой ландшафта, герой решает остаться на озере и не возвращаться в Берлин. Простой и очевидный смысл рассказа — конфликт творческой личности с немцами-нацистами. Но предлагается анализ иного рода. Огурец, выброшенный в окно, символизирует кастрацию; ландшафт с озером и зеленью — женское, в данном случае материнское тело; внезапное решение остаться — желание возвращения в матку. Но героя «исторгают» из этого убежища — избивают и заставляют вернуться в Берлин^[32].

Фрейд в своих лекциях действительно приводил пример *сна*, где ландшафт с горой и лесом символизировал тело женщины. О том, что реальный пейзаж для бодрствующего человека может иметь то же значение, он нигде не писал.

Norman N. Holland спрашивает: какой толк, какая польза от предположения, что Гамлет переживал эдипов комплекс, и Шекспир, вполне возможно, тоже? В чем польза от утверждения, что Отелло и Яго связывали гомосексуальные чувства? Какова, вообще, цель психоаналитической литературной критики? Цель эта, полагает Holland, помочь нам понять и выразить словами психологический опыт, полученный при чтении^[33].

Не следует ли из этого, что читатель должен присоединиться к поискам и добавить свой эдипов комплекс к открытому у автора и его героев? Или же свои скрытые гомосексуальные чувства?

Набоков считал исключительно вредными любые толкования художественных вымыслов — их социальной значимости, моральных уроков, но в особенности — поиски символов и скрытых значений: «А если серьезно: фрейдисты опасны для искусства: символы убивают чувственное наслаждение, индивидуальные грезы... А уж пресловутая сексуальность! Это как раз она зависит от искусства, а не наоборот, поймите: именно поэзия на протяжении веков делала любовь более утонченной...» [34] (интервью Анн Герен).

Все набоковские обвинения, даже и самые рискованные, повторяются в сенсационном сборнике «Черная книга психоанализа», который вышел во Франции в 2005 г. [35]

Книга подозревает отца психоанализа в недобросовестности и подтасовках, а сам метод — во вреде, нанесенном его ложными толкованиями. Критика, разумеется, не осталась без ответа, но горячность споров кажется преувеличенной для учения столь почтенного возраста, теория и практика которого отметила столетний юбилей.

В течение десятилетий выстраивал психоанализ сложную систему спекулятивных понятий о структуре психики, её развитии и патологических отклонениях. При всей увлекательности этого лабиринта, из него не было выхода. Современное положение психоанализа (со всеми его ответвлениями и новшествами) кажется вполне определенным. Развитие психиатрии отнесило психоанализ без объявления войны, просто потому, что он не соответствует практическим требованиям. Как бы увлекательно ни объясняли психоаналитики происхождение навязчивых состояний, разработка лекарственных средств ведется не с учетом их гипотез, но при исследовании химических медиаторов в нейрональных синапсах.

Единообразная диагностика психических заболеваний совершенно необходима для оценки эффективности лекарств при их испытаниях в различных медицинских центрах. Она учитывает лишь феноменологию, лишь клиническую картину, никак не относясь к гипотетическим причинам болезней, том числе и глубинным психодинамическим процессам. Теоретические основы фрейдовской метапсихологии представляют, увы, лишь исторический интерес. Разнообразные методы психотерапии — поведенческие, когнитивные др. значительно потеснили психоанализ.

В сухом остатке после столетней интенсивной работы находятся, однако, серьезные ингредиенты.

Прежде всего — бессознательное, ставшее популярным благодаря фрейдистам. Установлено с достаточной надежностью, что значительная часть информации воспринимается и обрабатывается неосознанно, и влияние её на человеческое поведение несомненно. Правда, это не бессознательное психоаналитиков с подавленными сексуальными и агрессивными побуждениями, стремящимися вырваться из заключения.

Другим ценным наследием, прошедшим испытание критикой, являются *защитные механизмы*, без учета которых трудно понять многие детали поведения отдельных лиц или целых групп в травматических ситуациях. Исследование психологической защиты, по крайней мере некоторых её видов, открывает иные процессы, не требующие психоаналитических объяснений.

Другое дело — гуманитарные сферы культуры. Увлекательность психоаналитических толкований издавна завораживала художников, литераторов, кинематографистов. Психоаналитические понятия глубоко проникли в стереотипы мыш-

ления западного человека. Мы продолжаем привычно пользоваться такими определениями как нарциссизм, идентификация, говорим о раздуге эго, трактуем забывчивость по Фрейд, поминаем в подходящих случаях архетипы Юнга, комплекс неполноценности Адлера. Не избежал этого даже Набоков. Он соблазнился фрейдистской трактовкой забавного эпизода на судебной процессе актрисы Джоан Берри против Чарли Чаплина.

Актриса заставила престарелого комика вступить с ней в интимную связь, угрожая пистолетом. Из письма Набокова Эдмонду Уилсону: «Меня умилил фаллический подтекст пистолета, которым поигрывала Джоан в перерыве между «интимным актом» с «полностью обнаженным» Чарли Чаплином. По всей вероятности, «седовласому комедианту» пришлось выбирать между тем, кто «разрядится» — он сам или пистолет, и он благоразумно избрал вариант менее летальный». [36]

Человек не может отказаться от ежедневных попыток понять мотивы поведения окружающих, от этой психологии (и психопатологии) обыденной жизни, даже и сознавая ее шаткий характер. В этом, возможно, причина живучести психоанализа. Зигмунд Фрейд предложил фантастическое толкование явлениям, многие из которых не находят научного объяснения и сейчас, через 75 лет после его смерти.

Примечания

- [1] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [2] Владимир Набоков. Память, говори. Пер. С. Ильин. гл. 7 пар 2. http://royallib.ru/read/nabokov_vladimir/pamyat_govori_per_s_ilin.html#430080
- [3] Владимир Набоков. “Ада, или Радости страсти. Семейная хроника.” iBooks. часть 1, пар 28. http://nabokovandko.narod.ru/Texts/Ada_rus1.html
- [4] Зигмунд Фрейд. Толкование Сновидений. Из-во Харвест, 2005. Пер. Я. Коган. Гл.5, стр. 70. http://www.loveread.ec/read_book.php?id=8778&p=144
- [5] Владимир Набоков. Пнин. Гл. 4 с.3 http://nabokovandko.narod.ru/Texts/Pnin_rus01.html
- [6] Фрейд З. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства. М.; Пг., б. г.
- [7] Владимир. Лолита.” Азбука-классика, Гл. 2, пар. 26. http://www.loveread.ec/read_book.php?id=235&p=77
- [8] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. Интервью Джейн Хоуард <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [9] Предисловие к английскому переводу романа Набокова «Отчаяние» («Despair») Долинин А. Владимир Набоков: pro et contra T1. <http://www.rulit.net/books/vladimir-nabokov-pro-et-contra-t-1-read-330492-1.html>
- [10] Владимир Набоков. Ада, или Радости страсти. Семейная хроника. (Перевод с английского С. Ильина). http://nabokovandko.narod.ru/Texts/Ada_rus1.html
- [11] Freud, S. (1914). On the history of the psychoanalytic movement. In J. Strachey (Ed. and Trans.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, (Vol. 15, pp. 7–66). London: Hogarth Press.
- [12] Набоков, Владимир. Лолита.” Азбука-классика. ч.1 пар 28) http://www.loveread.ec/read_book.php?id=235&p=77
- [13] Набоков, Владимир. Лолита.” Азбука-классика. ч. 2 пар. 11 http://www.loveread.ec/read_book.php?id=235&p=77

- [14] 13. Набоков, Владимир. "Лаура и ее оригинал. пер. Геннадий Барабтарло. Гл.3 (7). http://royallib.ru/read/nabokov_vladimir/laura_i_ee_original.html#174624
- [15] Шульц Дуан, Шульц Синдия. История современной психологии, СПб, 2002.
- [16] David G. Cohen. Potential Patients: Origins, Detection, and Transference in Pale Fire and Freud's Case of the Wolf-Man. <http://www.libraries.psu.edu/nabokov/cohen1.htm>
- [17] Elms, Alan C. Uncovering Lives. The Uneasy Alliance of Biography and Psychology. Oxford University Press. 1994. Part 3 Nabokov contra Freud, pp 162-187.
- [18] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [19] Peter Welsen. Char'l's Kinbot Psychosis —is a key to Vladimir Nabokov's Pale Fare, стр 381 Russian Literature and Psychoanalysis, Daniel Rancour-Laferriere (ed) John Benjamins Publishing, 1989.
- [20] Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. М., «Наука», 1990, стр. 17.
- [21] Владимир Набоков. Бледный огонь. <http://lib.rus.ec/b/268170/read>
- [22] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [23] Фрейд. Будущее одной иллюзии. <http://tululu.org/read51921/2/>
- [24] Fisher, S., & Greenberg, R.P. (1996). *Freud scientifically reappraised: Testing the theories and the therapy*. New York:Wiley.
- [25] Yacov Rofe. 'Does Repression Exist? Memory, Pathogenic, Unconscious and Clinical Evidence. Review of General Psychology, 2008, Vol. 12, No. 1, 63— 85
- [26] К. Поппер. Логика и рост научного знания. М., Прогресс, 1983.
- [27] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [28] Владимир Набоков. Бледный огонь. <http://lib.rus.ec/b/268170/read>
- [29] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [30] Lanning K.V. 1992 FBI Report. Satanic ritual abuse. www.rickross.com/reference/satanism/satanism1.html
- [31] Зигмунд Фрейд. Толкование Сновидений. Из-во Харвест, 2005. Пер. Я. Коган. Гл.5, стр. 70. http://www.loveread.ec/read_book.php?id=8778&p=144
- [32] Elms, Alan C. "Cloud, castle, claustum: Nabokov as a Freudian in spite of himself." Russian Literature and Psychoanalysis 31 (1989): 353.
- [33] Norman N. Holland. The Mind and the Book: A Long Look at Psychoanalytic Literary Criticism. <http://www.clas.ufl.edu/users/nholland/mindbook.htm>
- [34] Набоков о Набокове и прочем. Интервью, рецензии, эссе. <http://lib.rus.ec/b/162221/read>
- [35] Le Livre Noir de la Psychanalyse. The Black Book of Psychoanalysis: To Live, Think and Feel Better Without Freud. Catharine Meyer, Mikkel Borch-Jacobsen, Jean Cottraux, Didier Pleux & Jacques Van Rillaer (Ed). Paris, France: Les Arènes. 2005.
- [36] Из переписки Владимира Набокова и Эдмонда Уилсона. <http://lib.rus.ec/b/227867/read>.



Александр Сальников

ГЛАВНАЯ ТАЙНА ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ

В предложенном ниже эссе я предлагаю вариант раскрытия главной тайны Троянской войны: почему война длилась десять лет. Мой взгляд на проблему не беспорный, но все-таки заставляет по-новому взглянуть на «Илиаду» Гомера и её главного героя.

1.

«Илиада» — древнейшая из вершин европейской поэзии — до сих пор остаётся современной, так как поднимает вечные вопросы. Вопросы героизма и славы, предательства и любви, патриотизма и самопожертвования, а также губительного эгоизма. Эта «Библия Древней Греции» останется современной и через тысячи лет, потому что говорит о вечном.

И тем не менее, «Илиада» до сих пор остаётся поэмой-загадкой. О ней спорят, её изучают, но загадок не становится меньше. До сих пор нас мучают вопросы: была ли та, гомеровская, Троя на самом деле? Была ли Троянская война такой, какой её описывает Гомер? Действительно ли она длилась долгих десять лет? Был ли сам Гомер историческим лицом? И это лишь несколько вопросов, касающихся исторической составляющей. Кстати сказать, в античности таких вопросов не стояло, так как в «Илиаду» верили, как в историческое сказание.

Однако поэма вызывает вопросы и художественного наполнения: построения и содержания. Например, почему Гомер рассказывает не о всей войне, а выбрал лишь один эпизод, касающийся ссоры Ахиллеса с Агамемноном? И если поэма повествует о гневе Ахиллеса на Агамемнона, то почему этот гнев заканчивается задолго до окончания самой поэмы. На это противоречие указывает и исследователь Гомера А. Лосев в своей работе «Гомер» в разделе «Противоречия у Гомера»: «Что касается "Илиады", то основным и наиболее решительным противоречием в этой поэме является то, что намеченная здесь в I песне тема о "гневе Ахилла" и "решении Зевса" в дальнейшем совсем забывается, и о реальном развитии этой темы можно говорить только с песни XI, причем по содержанию этой последней Ахилл вполне мог бы испытывать удовлетворение, однако он не принимает участия в войне еще до XIX песни».

В этой связи немало вопросов вызывает и сам Ахиллес. Например, если Ахиллес является главным героем поэмы, то почему Гомер показывает его («урывками», лишь в нескольких из двадцати четырёх песен? А также очень интересен вопрос о том, как сам Гомер относится к Ахиллесу? Об этом я подробно пишу в статье «Особенности «Илиады» и её главного героя».

Исследований «Илиады» довольно много и, кажется, что ничего нового уже сказать о поэме невозможно. Но каждый её исследователь непременно открывает в ней нечто ранее неизвестное. И это тоже говорит о том, что поэма по-прежнему жива и современна.

Напомним, что исследовать и изучать «Илиаду» стали уже в античности. Например, Геродот считал, что Гомер и Гесиод «составили для эллинов родословные богов». По мнению Страбона Гомер открыл знания об ойкумене, о народах и их культуре. Фукидид, Павсаний и Плутарх считали «Илиаду» историческим трудом. Аристотель в своих «Трудных местах из Гомера» предпринял попытку анализировать тексты «Илиады» и «Одиссеи». Были и критики Гомера, наиболее известный из которых Зоил. Но доставалось Гомеру и от Ксенофана, Гераклита, Эпикура и даже от Платона.

На русский язык «Илиаду» пытался перевести ещё Ломоносов. С тех пор можно насчитать около двух десятков полных и неполных переводов поэмы. На мой взгляд, самая главная заслуга Н. Гнедича заключается в том, что после его перевода «Илиада» стала «русским» произведением. Она вписалась в русскую культуру как равноправный литературный шедевр. К сожалению, перевод Гнедича несколько труден для чтения, на что указывал ещё Пушкин, и это обстоятельство побуждало последующих переводчиков к новым переводам «Илиады», однако и они потерпели фиаско «на том же месте». Поэтому для удобства читателя ниже в этом эссе я буду приводить свой перевод поэмы.

Среди исследователей Гомера нельзя не отметить А. Лосева, Р. Гордезиани, И. Шталь и др. Сегодня широко известна работа Л. Клейна «Анатомия «Илиады»». Немало уделяли внимания исследованию поэмы и сами переводчики. Например, Ф. Зелинский увидел в «Илиаде» «закон хронологической несовместимости». Но почти никто из исследователей не задавался целью посмотреть на поэму глазами самого автора, глазами Гомера. А это оказалось весьма удивительным и поучительным занятием.

Из-за огромности материала, здесь я предлагаю рассмотреть в этом ракурсе всего лишь один вопрос. А именно вопрос о том, почему Троянская война длилась десять лет. Повторюсь, что меня интересует, прежде всего, не историческая составляющая (то есть не то, была ли война на самом деле), а лишь литературно-логическое обоснование той самой войны, которую описывает Гомер в своей поэме. Что именно он хотел нам сказать и показать?

Итак, гомеровская Троянская война длилась десять лет. Почему? Указывает ли Гомер нам на причину столь долгой войны?

2.

Мы знаем, что в «Илиаде» Гомер описал не всю Троянскую войну, а всего лишь около пятидесяти дней последнего года войны. Хотя это были не последние дни войны. Так почему же война была такой затяжной? Почему так долго ахейцы (греки) не могли завоевать Трою (Илион)? Ведь из текста поэмы мы знаем, как Ахиллес (самый сильный из ахейцев) хвастал, что может завоевать Трою даже без войска. Вот что говорит Ахиллес своему лучшему другу Патроклу:

(16:97-100)

*О, Зевс Кронид, Аполлон и Афина Паллада! Когда бы
Трои сыны, что ни есть, и ахейяне, сколько ни есть их,
Все бы погибли в боях, только мы бы с тобою остались,
Мы и одни бы смогли разметать Трои гордые баини!»*

Подтверждение этому мы видим и в словах Зевса, когда Зевс говорит Посейдону:

(20:26-30)

*Если б Ахилл и один на троян устремится, — минуты
В поле не выдержат им Эакидова бурного сына.
Трепет охватывал их при одном его виде и раньше;
Нынче ж, за друга когда он пылает ужаснейшим гневом,
Сам я боюсь, чтоб судьбе вопреки, не разрушил он Трои».*

И если слова Ахиллеса читатель может отнести к простому хвастовству, то уж слова, вложенные Гомером в уста главного бога древних греков никак нельзя назвать хвастовством. Не хочет ли Гомер здесь на что-то нам намекнуть? Например, на то, что Троя не была такой уж твердыней для Ахиллеса. Но давайте посмотрим, нет ли ещё подтверждений этой догадке.

И вот мы видим, что сам Патрокл в доспехах Ахиллеса чуть было не взял Трою. По версии Гомера, ему помешало лишь заступничество за город бога Аполлона. Но нам важен сам момент уязвимости города для такого героя, как Ахиллес, если даже другой человек (Патрокл) в его доспехах нагнал столько страха, что Троя едва не пала. Ведь не просто же так Гомер вставляет этот эпизод в свою поэму.

Да и сам Ахиллес, отправляя Патрокла в бой в своих доспехах, даёт ему строгий наказ:

(16:89-92)

*«Ты без меня, Менетид, и не думай разбить совершенно
Храбрых троян, чтоб ещё моей чести сильнее не унижить!
Радуясь мужеством ты, лёгкой славой победного боя,
Трои сынов истребляй, но полков не веди к Илиону!»*

То есть, мы видим, что и Ахиллес боится, как бы Патрокл не взял Трою. Тогда возникает вполне закономерный вопрос. Если Ахиллес пришёл с армией Агамемнона в Трояду, чтобы завоевать Трою (Илион), и свободно мог завоевать город даже без войска, то почему война длилась так долго? Почти десять лет ахейцы не могли взять всего лишь один город! Беспрецедентный случай в мировой военной истории. И это притом, что армия Агамемнона была гораздо больше армии троянцев. В чем же тут причина?

Кто-то скажет, что Ахиллес отказался воевать, потому что рассорился с Агамемноном. Да, но это было, как уже говорилось, на десятом году войны. До этого у них не было никаких ссор. Мало того, даже когда Ахиллес убил Гектора, даже тогда греки не заставили троянцев сдаться, не покорили город-государство. В «Илиаде» ахейцы так и не покоряют Трою, не разрушают её. По сути, «Илиада» повествует нам о том, что Троя осталась непокорённой. Хотя, читая поэму, мы уже понимаем, что Троя будет разрушена. Но потом.

Уже из «Одиссеи» мы узнаем, что на десятом году Троя была взята ахейцами. Но как? Она была взята не в честном бою, не смелостью и отвагой ахейских героев, не силой их войск, и даже не измором. Троя была взята хитростью, коварным обманом. Обманом, который перечёркивает все военные заслуги ахейцев. Ведь, по сути, этот обман мог случиться и не на десятом году войны, а, например, на седьмом, пятом, и даже после первого же года, если бы «хитроумный» Одиссей

догадался организовать это раньше, а не после девяти с половиной лет неудачных попыток взять Троию. И хотя обман этот вошёл в века как величайшая «военная хитрость», всё-таки он кое-что говорит и о самой организации войны, как со стороны ахейцев, так и со стороны троянцев. Ведь Агамемнон мечтал взять Троию именно силой, в честном сражении! Об этом мы видим свидетельство в самой поэме:

(2:369-374)

*Сыну Нелея на то отвечал гордый царь Агамемнон:
«Всех ты ахейских мужей побеждаешь, премудрый, советом!
Если бы, — о, Зевс отец, Аполлон и Афина Паллада! —
Десять таких у меня из ахейян советников было,
Скоро бы пала тогда крепкостенная Троя Приама,
Силами наших бойцов обращённая в прах и руины!»*

Так реагирует Агамемнон на совет Нестора об организации войска. Нам важно понять, что Агамемнон хочет взять Троию Приама именно силой, в бою, с демонстрацией своей царской и военной мощи. И желание его тем сильнее, чем дольше тянется война. Ведь эти слова звучат на десятом году войны, когда он со своим огромным войском не может взять Троию вот уже более девяти лет. Когда уже погибли многие ахейские герои, когда в войске прошёл мор, когда дух солдат и некоторых вождей уже пошатнулся. Агамемнон понимает, что каждый год войны отнимает у него славу и мощь. Можно представить, как троянцы говорили между собой в осаждённой Трое. Сначала так: «Ничего, они уже год нас не могут взять». Потом так: «Да они уже пять лет тут торчат! А Троя цела!» Потом так: «Куда им! Не взять им Трои! Уже девять лет прошло, не век же они тут будут опиваться». Агамемнон понимал это. Понимали это и все ахейцы. Понимал это, конечно же, и сам Ахиллес. Так почему же он бездействовал? Не это ли его бездействие является причиной того, что долгих девять с лишним лет ахейцы не могли взять Троию? Не на это ли намекает нам Гомер в своих небольших вкраплениях в текст?

3.

Давайте разбираться. Можно говорить о плохой организации ведения войны, о неприступности Трои, как столичного города и оплота всей Трояды, о помощи союзников Трои. Но, но и но! Но мы видим свидетельство Ахиллеса и Зевса (а это значит, и самого Гомера), а также другие примеры поэмы, показывающие, что сильный воин Ахиллес легко мог завоевать Илион. Почему же он этого не сделал? Мало того, во всей поэме мы не найдём ни одного свидетельства о том, что Ахиллес вообще штурмовал город. Не странно ли?

Видимо, для получения ответа на эти вопросы, нам необходимо более пристально присмотреться к самому Ахиллесу? Может быть, здесь мы и найдём разгадку столь длительной осады Трои. Разгадку, на которую ранее никто из исследователей «Илиады» даже не обращал внимания.

А ведь действительно, что-то уж больно странно ведёт себя этот самый сильный и самый смелый гомеровский герой. Например, в девятой песне поэмы мы видим, как Ахиллес (который мог взять Троию и один), вдруг высказывает своим соотечественникам речи, никак не способствующие поднятию боевого духа. Вот он говорит Одиссею:

(9:417-420)

*«Я бы и всем остальным посоветовал это же сделать:
Плыть поскорее домой. Никогда вы конца не дождетесь
Трои высокой: над ней грозных молний метатель Кронион
Руку свою распротёр, и возвысилась дерзость троянцев».*

В этой же главе мы читаем, как Ахиллес обещает на другой же день с утра отплыть на родину, во Фтию, в Грецию (в Элладу). Однако никуда он не отплывает. В чём же причина? Ведь воевать за Агамемнона он уже не хочет.

А причина, оказывается, очень даже понятна. В поэме говорится, что Ахиллес ещё до войны узнаёт от своей матери о том, что ему просто не суждено вернуться домой. Его судьба — погибнуть под Троей, при штурме города. Если он попытается сбежать, то бесславно погибнет в пути, возможно, в море при шторме. Но ведь он пришёл под Трою за славой! Поэтому он и выбирает славную смерть в бою, а не бесславную — в воде. Открытый намёк Гомера на это обстоятельство мы видим в 21-й песне, когда возмущённый бог реки Ксанфа нападает на Ахиллеса и пытается его утопить. Ахиллес паникует и просит помощи у богов.

(21:272-283)

*Крикнул Пелид, наконец, обращаясь к высокому небу:
«Зевс! Неужели никто из богов не придёт мне на помощь,
Чтобы спасти от реки? А потом всё готов претерпеть я!
О, но кого осуждать из бессмертных? Кто в этом виновен?
Мать лишь одна, моя мать, что меня обольщала мечтами!
Мать мне твердила, что здесь, под твердыней троян броненосных,
От быстролётных одних Аполлоновых стрел я погибну;
Гектор меня не убьёт! Лучше б он, славный сын Илиона,
Храброго битве сразил и трофеем гордился бы, храбрый!
Ну а теперь я судьбой принуждён здесь погибнуть без славы.
Как молодой свинопас, поглощённый осенним потоком,
Брод не найдя, перейти не сумел, — так и мне, утонуть здесь!»*

Итак, мы знаем, что ещё в юности мать Ахиллеса сказала ему, что он должен сделать выбор: либо прожить на родине долго и счастливо, но безвестно; либо идти на войну под Трою, прославиться на века, но там и погибнуть. Ахиллес заранее знал, что если пойдёт на войну, то домой уже не вернётся. Тем не менее, в юношеском пылу Ахиллес выбирает войну и вечную славу. Это нужно хорошо запомнить.

И вот, Ахиллес прибыл на берег Трояды за великой славой. Но пока (в начале поэмы) о нём известно лишь то, что он сын царя Пелея. Собственных подвигов под Троей Ахиллес ещё не совершил, и называться великим героем, он ещё не может. Давайте теперь посмотрим, какие перед ним стояли первостепенные задачи, чтобы достигнуть великой славы?

Во-первых, ему необходимо было зарекомендовать себя, как лучшего воина во всём ахейском войске. И даже во всём троянском войске. А для этого нужны две вещи: время и славные победы. Никак не бездействие при долгой осаде.

Во-вторых, он знает из предсказаний, которые поведала ему мать (и об этом указывается в поэме), что судьбой ему не дано разрушить саму Трою. То есть, идя на войну против Трои, Ахиллес заранее знал, что города ему не взять, что разрушителем Трои будет не он, а кто-то другой. Это тоже очень важно учесть.

В-третьих, и это самое главное, он знает, что уже не вернётся с этой войны. Он знает, что ему суждено погибнуть под Троей при штурме города.

Вот три основных пункта, которые нам нужно запомнить, так как они важны для понимания характера Ахиллеса, да и всей Троянской войны. Эти три пункта откроют нам многие тайны «Илиады».

4.

Итак, Ахиллес — сильнейший из героев Эллады знает, что Трои ему не взять. Так же он знает, что ему ещё нужно зарекомендовать себя сильнейшим и храбрейшим воином. Ведь к началу войны об этом знает только он сам. Значит, ему не было никакой выгоды помогать ахейцам в первый же год войны разрушить Трою. Пусть сам Ахиллес Трою взять не мог по предсказанию, ему этого не дано свыше. Вернее, взять-то мог, но обязательно погиб бы при штурме. Однако он легко мог бы помочь кому-нибудь другому взять город. Ведь с его помощью, с помощью сильнейшего воина, Трою вполне мог бы взять кто-нибудь другой. Но тогда этот другой, а не Ахиллес получил бы великую славу. А сам бы Ахиллес просто погиб при штурме города, как многие другие герои. Скорее всего, славу получил бы Агамемнон, как главнокомандующий ахейским войском.

И тут, ещё до начала Троянской войны, перед Ахиллесом возникает дилемма: помочь ли ахейцам сразу завоевать Трою и погибнуть, так и не прославившись, или сначала прославиться? Ответ оказался очевиден, ведь он плывёт на войну именно за славой. За великой славой! Какой смысл Ахиллесу рушить Трою до того, пока все (и свои, и враги) не признали бы, что только он является самым сильным и смелым воином? Теперь мы понимаем, что Ахиллеса совсем не интересует победа над Троей, его интересует только личная слава. У него и в мыслях нет рушить Трою.

Кроме того, Ахиллес знает, что домой он не вернётся. Какой же ему резон торопиться с разрушением Трои? Ведь чем быстрее ахейцы разрушат Трою, тем быстрее к Ахиллесу придёт гибель. Вот если бы Ахиллес не знал своей судьбы, то возможно, он разрушил бы Трою в первый же год войны. Вернее, помог бы её разрушить.

Итак, мы пришли к удивительному выводу. Оказывается, Ахиллес — единственный военачальник среди всего ахейского войска, которому нет никакой выгоды в разрушении Трои! Именно Ахиллесу (самому сильному и смелому воину) была выгодна затяжная, очень-очень долгая война. Чем дольше она тянется, тем дольше тянется жизнь Ахиллеса. А жить-то хочется всем. Это объясняет и тот факт, почему Ахиллес не участвует ни в одном штурме Трои.

И вот, мы приходим к ещё одному, довольно страшному, выводу. Оказывается, благодаря Ахиллесу, самому сильному ахейскому вождю, Троянская война длилась долгих десять лет! Возможно ли это? Ведь тогда Ахиллес должен был хотя бы найти какое-то оправдание тому, что он никак не может взять Трою и не участвует в её осаде в течение долгих девяти с половиной лет. И Ахиллес находит это оправдание.

В первой же песне поэмы мы видим как Ахиллес говорит Агамемнону:

(1:148-159)

Грозно взглянув на него, отвечал Ахиллес быстроногий:

«Царь, потерявший свой стыд! Ты мздолюбец с коварной душою!

*Кто из ахейн твои повеления слушать захочет?
Кто, мне ответь, хоть сейчас и в поход, и в сражение смело?!
Я для себя что ль пришёл, чтобы здесь мне с троянами биться?!
Предо мною ни в чём нет вины у троян конеборных.
Ни лошадей у меня, ни коров не украли трояне
В Фтии счастливой моей, многолюдной, обильной плодами;
Нив не топтали они, и не жгли урожаев. Просторы
Нас разделяли всегда гор, лесов и бескрайнего моря.
Нет, для тебя мы пришли! Здесь мы тешим тебя перед Троей,
Честь Менелаю ища и тебе, человек псообразный!*

Но внимательный читатель понимает, что это всего лишь слабое оправдание. Попытка сделать хорошее лицо при плохой игре. Ведь и другие города Трояды не сделали Ахиллесу ничего плохого, но он рушит их без пощады. Ахиллес не бездействует эти девять лет войны, он усиленно завоёвывает право считаться лучшим бойцом и полководцем во всём ахейском войске. А для этого ему нужны были победы. И на протяжении всей поэмы мы видим упоминания того, что Ахиллес разрушил в окрестностях Трои то один город, то другой, то третий. Вот Андромаха, жена Гектора, вспоминает, как Ахиллес разрушил её родной город и убил её отца и братьев:

(6:414-424)

*«Старца отца моего умертвил Ахиллес быстроногий,
В день, как, напав, разорил киликийских народов цветущий
Город высоких ворот — Фивы дивные. Сам Этиона
Он умертвил, но раздеть не посмел: испугался несчастий.
Старца сожжёнью предал он с оружием вместе, в доспехах.
Холм погребальный возвёл, и вокруг этот холм обсадили
Вязами нимфы холмов, бога грозного дочери, Зевса.
Братья родные мои, — семь их в доме отца оставалось, —
Переселились все семь в день один прямо в царство Аида:
Всех их, несчастных, убил Ахиллес, быстроногий воитель,
В стаде тяжёлых быков и овец белорунных застигнув».
А вот Агамемнон упоминает на собрании, как Ахиллес разрушил Лесбос:*

(9:128-130)

*«Семь непорочных девиц, рукодельниц искусных, отдам я,
Лесбосских, тех, что тогда, как разрушил он Лесбос цветущий,
Сам я избрал, красотой побеждающих жён земнородных».
Есть упоминание о подвигах Ахиллеса и в 11-й песне:*

(11:624-627)

*Им составляла коктейль Гекамéда, кудрявая дева,
Дочь Арсиноя: её Нестор взял как трофей в Тенедóс,
В день, как Пелид разорил Тенедóс. Её сами ахейцы
Старцу избрали как дар: ведь советами всех побеждал он.*

Сколько же всего разорил (завоевал) городов Ахиллес? Вот он сам говорит об этом Одиссею, когда тот пришёл к нему вместе с посольством от Агамемнона для заключения мира:

(9:325-329)

*«Так же под Троей и я: сколь ночей здесь провёл я бессонных,
Сколько кровавых провёл дней на сечах жестоких, смертельных,
Храбро сражаясь с врагом из-за женщин Атридов надменных!
На кораблях разорил городов многолюдных двенадцать;
Пешим одиннадцать их разорил в многоплодной Троеде».*

Итак, сам Ахиллес на десятом году войны сообщает, что завоевал 23 города. А ведь эти города, как и Троя, ничего плохого Ахиллесу не сделали. Зато теперь, к десятому году войны, все ахейцы, все троянцы, и даже все союзники Трои знали о его силе и храбрости. Он завоевал городов больше, чем все остальные герои Эллады. Ахиллес, наконец-то, прославился. Но саму Троию он всё равно не штурмует. Нигде в поэме мы не находим даже намёка на то, что Ахиллес пытался разрушить Троию, как он рушит многие города в её округе.

5.

Впрочем, нет, один намёк на это всё-таки есть. Но даже сам факт того, что в поэме Гомер показывает лишь один случай, когда Ахиллес хочет идти на Троию, уже говорит о многом. И этот эпизод ещё более убеждает меня в правоте моих доводов. Очень уж показной кажется эта единственная попытка Ахиллеса. Примечательно и то, что происходит это уже после убийства Гектора. Вот над трупом Гектора Ахиллес говорит:

(22:381-384)

*«Не попытаться ли нам теперь города стены изведать
Силой оружия? Что нам на это ответят троянцы?
Бросят ли город они после гибели сына Приама,
Или же драться рискнут, даже если вождя их не стало?..»*

Для Ахиллеса вполне естественно, что без вождя город должен сдаться. Именно поэтому на протяжении всей войны он не встречается в поединке с Гектором. Гомер в поэме неоднократно намекает на то, что Ахиллес и Гектор могли встретиться в поединке во время сражений. Но всегда что-то мешало их встрече. И нам теперь вполне понятно, что именно мешало этому. Ахиллес предполагал (и вполне разумно), что без Гектора Троию может взять и другой герой, даже без его (Ахиллеса) помощи.

Итак, мы единственный раз на протяжении всей поэмы видим, как Ахиллес думает идти на Троию, и именно тогда, когда Троя осталась без Гектора, то есть, стала ещё слабее. Мы знаем, что и раньше, когда Гектор был жив, Ахиллес утверждал, что легко может взять Троию, поэтому ясно, что теперь-то он и подавно может взять город без труда. Любой герой на месте Ахиллеса (да и просто любой полководец) непременно воспользовался бы этой ситуацией. Ведь Патрокл чуть было не взял Троию и при живом Гекторе, и без Ахиллеса, лишь с его дослехами.

Итак, мы видим, что Троя стала лёгкой добычей для Ахиллеса. Но что же происходит дальше? А дальше Ахиллес, казалось бы, совсем неожиданно, вопреки военной логике и здравому смыслу, идёт на попятную. Он говорит:

(22:385-387)

*«Впрочем, зачем же сейчас моё сердце тревожится этим!?
Мёртвый лежит у судов, не оплаканный, не погребённый,
Друг мой любимый Патрокл!..»*

Почему Ахиллес вдруг вспоминает о своём любимом друге Патрокле? Ведь ясно же, что взятие Трои гораздо важнее для всего войска, для всей Эллады, чем мертвец, который мог бы и подождать. Да и сам Патрокл погиб, желая взять Трою. Так почему бы для своего погибшего друга и в честь его не сделать этого? Ахиллес вполне мог бы сначала взять Трою, принести победу ахейцам, и тем самым прославиться так, что уж больше некуда! А заодно и за смерть Патрокла отомстил бы намного сильнее.

Но этого не происходит. И причины нам теперь более чем ясны. Ахиллес прекрасно помнит, что по пророчеству он никак не может взять Трои. Вернее, может, но при штурме города ему суждено погибнуть. И Ахиллес опять находит «благородный» предлог, чтобы не штурмовать города. Личную выгоду он ставит выше общей, свою жизнь оценивает выше жизней своих однополчан.

6.

Ахиллес в поэме больше не совершит ничего, никакого подвига. Весь его подвиг в «Илиаде» заключается лишь в убийстве Гектора. Большой славы он не добьётся. Разве как истинный герой не мог он помочь своему войску взять Илион и погибнуть? Мог. Но Ахиллес хочет жить!

Теперь мы раскрыли главную тайну Троянской войны, главную тайну «Илиады» Гомера. Как говорили древние, верша праведный суд: смотри, кому было выгодно! А выгодно было только Ахиллесу. Именно ему, сильнейшему воину из всей армии Агамемнона, была выгодна долгая, затяжная война. Именно по его вине под Троей долгих десять лет погибали тысячи его однополчан. Теперь мы знаем основную причину того, почему Троянская война длилась долгих десять лет.

Вот почему Гомер взял для «Илиады» именно этот период войны, период гнева Ахиллеса, в котором герой раскрывает истинное своё лицо:

(1:1-2)

*Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына!
Гнев неуёмный его много бедствий ахейцам сделал...*

Уже с этих первых строк поэмы у внимательного читателя должен возникнуть вопрос: неужели поэма посвящена герою, который наделал «много бед»? И кому же? Не врагам, не троянцам, с которыми воюет армия ахейцев, а своим же соотечественникам, ахейцам (грекам)! Странно. Очень странно. Уже с первых слов Гомер подготавливает читателя к тому, что перед ним открывается повествование, по меньшей мере, о необычном герое, который принёс много бед своему же народу. Такого в истории литературы ещё не было! Мы видим героя, из-за которого гибнут его же соотечественники (союзники). И хотя в поэме показан лишь последний год войны, Гомер ясно указывает на то, что и все десять лет ахейцы гибли благодаря эгоизму Ахиллеса.

Вот таким показывает Гомер великого воина Ахилла, хотя почти никто этого не замечает. Затмевает победа и слава. Победителей не судят. А Ахиллес в «Илиаде» является победителем. Пусть не Трои, так хотя бы Гектора.

Но Гомер и тут неумолим в своём саркастическом смехе. Он ясно показывает, что Ахиллес не сам победил Гектора, что ему помогла в этом богиня Афина Паллада. Пусть читатель сам поймёт, насколько честен был их поединок:

(22:273-277)

Так он сказал, и сотряс, и метнул Пелиас длиннотенный.

Видя копьё, избежал шлемоблеиющий Гектор удара:

Быстро приник он к земле, и, над ним пролетев, оно с силой

В землю вонзилось. Копьё, вырвав, тут же Паллада Афина

Вновь Ахиллесу дала, незаметно для глаз Приамида.

Итак, мы видим, что Гомер, не осуждая открыто Ахиллеса, тем не менее, немало смеётся над ним и старается показать в поэме своё истинное отношение к нему, в надежде на то, что внимательный читатель обязательно увидит это между строк бессмертной «Илиады».

В заключение хочу напомнить, что «Илиаду» здесь я рассматривал только как литературное произведение и, конечно, ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Знаю, что немало найдётся и защитников Ахиллеса. Именно поэтому все свои рассуждения я основал лишь на самом авторитетном источнике — на текстах самой поэмы.

P.S.: Отрывки из «Илиады» даются в переводе автора статьи.



Бенгт Лильегрен

«ВО ГЛАВЕ КОРОЛЕВСТВА СВЕЕВ»*

Перевод Георгия Фомина

(продолжение. Начало в №10/2014)

27

Король Эрик XI Шепелявый-и-Хромой. Правление 1222 — 1229 и 1234 — 1250

Король Юхан I умер неженатым и не оставил потомков.

Мальшу Эрику, сыну Короля Эрика X, в тот момент едва исполнилось 6 лет, тем не менее, в списке претендентов на трон он оказался единственным и, при единодушной поддержке семьи Эрикссон, был провозглашён Королём.

Эрик XI мгновенно стал марионеткой в руках правящей знати, влиятельных магнатов и, главное, владык церкви, тон которым задавал епископ Бенгт из города Скара.

Впервые в шведской истории христианский епископ получил право выступать от лица Совета Государства.

Отец нового монарха, Эрик X, умер в апреле 1216 года, за несколько месяцев до появления Эрика XI на свет.

Когда скончался и епископ Бенгт, Эрик XI, прозванный *Шепелявым-и-Хромым*, потерял в Совете всякую опору.

В 1229 году в стране разразился мятеж, возглавленный регентом Кнудом Хольмгерссоном по прозвищу Длинный. Верные Королю Эрику войска были разбиты в сражении под городом Олострум (ныне Остра) в Сёдерманланде.

Эрика XI вынудили скрыться в Дании, а узурпатор Кнут Длинный захватил власть и назвался Королём Кнудом II.

Через пять лет он умер, и могущественный Ярл Улоф Фасе Косоглазый вернул Эрика из изгнания домой в Швецию, где, даже повзрослев, он не смог избежать регентства.

В 1240 году шведский флот совершил неудачный набег на земли Новгорода — на реке Неве князь Александр разгромил шведов, за что впоследствии получил прозвание Невский.

Очередной мятеж в королевстве вспыхнул в 1247 году, но на этот раз войскам Короля Эрика XI сопутствовал успех — они победили мятежников, и их лидер Хольмгер Кнутссон (сын Короля Кнута II) был пленён и казнён.

Заслугам Эрика Шепелявого-и-Хромого приписывают основание торгового города Йёнчёпинг в Смоланде.

Король Швеции с таким выразительным прозвищем скончался бездетным в возрасте 33 года, и на нём мужская линия династии Эрикссон завершилась.

28

Король Кнут II Длинный. Правление 1229 — 1234

Король-узурпатор Кнут II, пришедший к власти путём переворота, а именно — свергнув законного Короля Эрика XI *Шепелявого-и-Хромого*, был в этом поступке подобен множеству иных монархов средневековья.

Уже не представляется возможным в нашу эпоху чётко восстановить истинные причины вспыхнувшего мятежа.

Возможно, что высокорослый и властолюбивый регент Кнут Хольмгерссон разглядел свой шанс в ослаблении поддержки Короля членами Государственного Совета.

По всей вероятности, он был раздражён таким слабым правителем, как занимавший швейский трон Эрик XI, и вступил в сговор с другими амбициозными магнатами.

Конфликт завершился в решающей битве между силами мятежников и королевским войском у города Олюструм (ныне Остра в провинции Сёдерманланд) осенью 1229 г.

Потерпевший поражение, тринадцатилетний Король Эрик XI был вынужден покинуть территорию Швеции.

Несмотря на смену монархов, бывший королевский Ярл Улоф Фасе сохранил свою сильную позицию у власти, о чём свидетельствует чеканка монет с именами обоих властителей — Короля Кнута II и Ярла Улофа — на них.

Кнут II использовал появление в стране монахов недавно образованного Доминиканского ордена, и в знак своего покровительства, пожаловал им земли в провинции Уппланд, на которых возник монастырь Скоклостер.

Монахи-доминиканцы существовали весьма бедно и продержались здесь лишь несколько лет, а затем монастырь был передан цистерцианским монашкам.

Предположительно, Король Кнут II был похоронен в монастыре Скоклостер после кончины в 1234 году.

29

**Ярл Биргер, последний шведский граф.
Реальный правитель страны в 1248 — 1266**

Враждовавшие семейства Сверкерссон и Эрикссон исчезли с политической сцены, и взамен появилась следующая череда правителей: династия Бьельбу.

Ярл Биргер открыл новую эпоху в истории Швеции.

Формально Биргер никогда не был высшей персоной в шведской иерархии власти: начиная с 1250 года правителем считался его несовершеннолетний сын Вальдемар, но, на самом деле, верховодил Ярл Биргер.

Главенство Биргера встретило резкое сопротивление со стороны представителей знатного рода, называвших себя *Фолькунги*, которые так же стремились завладеть королевской властью, опираясь на своих сторонников.

Противостояние перешло в кровавые столкновения, и победа Биргера в 1251 году при Герревадсбро в провинции Вестманланд стала решающей, дав ему возможность уверенно взять власть в свои руки.

Целеустремлённый, энергичный, беспощадный Биргер обладал качествами истинного лидера, осуществив множество реформ, усиливших центральную власть.



Ярл Биргер. Неизвестный художник.
Национальный музей в Стокгольме.

Вводились законы, гарантировавшие спокойную жизнь населения и неприкосновенность личных владений.

К нарушителям применялись строгие меры наказания, и так же сурово карались оскорбители женской чести.

Поборы за владение и пользование каботажным флотом были заменены утверждёнными земельными налогами.

Отныне можно впервые говорить о *Королевстве Швеция*.

Был основан город Стокгольм, ставший впоследствии и остающийся до сих пор столицей государства.

Что, к сожалению, Биргеру не удалось, так это добиться согласия в взаимоотношениях собственных детей.

Едва лишь Биргер скончался в 1266 году, как между его сыновьями Вальдемаром, Магнусом, Эриком и Бенгтом разгорелись беспощадные распри за наследство.

30

Король Вальдемар I. Правление 1250 — 1275

Излагать историю правления Вальдемара Биргерссона означает — повторять историю его отца, Ярла Биргера.

В 1250 году Вальдемару было около одиннадцати лет, когда его выбрали Королём, так что, разумеется, именно влиятельный Ярл стал истинным властителем свеев.

Под уверенным отцовским руководством сформировалось Королевство Швеция: в стране возник Свод Законов; были введены единые денежные требования; земли вокруг озёр Меларен и Веттерн объединились и наладили отношения.

Позднее к ним добавились провинции Верmland, Даларна Хельсингланд, остров Готланд, а также большие территории, отнятые у Финляндии (ныне они уже возвращены соседу).

После смерти Ярла Биргера Король Вальдемар I начал было править самостоятельно, но уже через короткое время возник серьёзный внутрисемейный конфликт, угрожавший лишить Вальдемара королевского статуса.

При разделе отцовского наследства младший брат Эрик вдруг почувствовал себя обделённым и восстал, в союзе с братом Магнусом (прозванным впоследствии *Ладулос — Амбарный Замок*), против брата-Короля Вальдемара.

Эта «братская» вражда привела Вальдемара I к битве при Хове в Иванов день 1275 года, в которой он потерпел поражение, что лишило его короны в пользу Магнуса.

В последующие годы Вальдемар, скрываясь в убежищах в Норвегии и в Дании, призывал народ на бунт против Магнуса I, безуспешно пытаясь вернуть свою потерю.

В конце концов, Магнусу надоело терпеть интригующего брата, и Вальдемар провёл остаток жизни в тюрьме замка Нючёллинг в 70 км южнее Стокгольма, в провинции Сёдерманланд, как государственный преступник, но, прямо скажем, со смягченными условиями содержания.

Третьей (то ли четвёртой?) жене Вальдемара, Лукардис, было позволено, как и его собственным придворным, составить заключённому Королю приятную компанию, которая коротала с ним дни и ночи на протяжении 14 лет вплоть до его кончины, случившейся в 1302 году.

31

Король Магнус I Ладулос. Правление 1275 — 1290

Второй, наиболее выдающийся, сын Ярла Биргера Магнус-Ладулос ещё отроком был посвящён в «герцоги свеев», что считалось равнозначным титулу Ярла.

Старший сын Вальдемар был избран Королём Швеции. Однако вскоре после смерти их отца Магнус поддержал младшего брата Эрика в его бунте против Вальдемара, что привело к возникновению гражданской войны.

Разбив войско Вальдемара I в сражении около Хова в 1275 году, Магнус I окончательно захватил власть и проявил себя опытным политиком, понимавшим важность своего союза с церковью, которая оказывала любую требуемую поддержку в обмен на освобождение церковных владений от налогового обложения.

Применяя хитрость и не гнушаясь предательством, Король Магнус успешно противостоял мятежу группы недовольных магнатов, вспыхнувшему в 1278 году.

Победил он и в борьбе со своим братом, свергнутым Королём Вальдемаром, который не прекращал угрозы, пока Магнус не заключил его в тюрьму в 1288 году.

Объявив принятие *Устава Альснё* (по названию острова с королевским замком), Магнус I смог урегулировать отношения между королевской властью и знатью.

Помимо ряда других привилегий, этот документ учредил новое сословие «рыцарское дворянство», которому Король гарантировал безналоговый статус.

При жизни Короля прозвище *Ладулос (Амбарный Замок)* не было в ходу.

Вероятно, оно возникло из-за призывов к крестьянам запирать на замки сельские амбары, т.к. введённый Магнусом закон освобождал от обязательного постоя и прокорма проезжавших путешественников.

Иная версия — искажённое славянское имя Ладислаус, данное под влиянием славянки, прабабки Магнуса.

Король Магнус I умер 18 декабря 1290 года в одном из замков своего поместья на острове Визингсё.

По его собственному желанию, тело было похоронено во францисканском монастыре Кидаскёр, в настоящее время — это церковь Риддархольм в Стокгольме.

32

Король Биргер Магнуссон. Правление 1290 — 1318 (регентство 1290 — 1302)

После умершего Короля Магнуса I остались три сына.

Старший, 10-летний Биргер, унаследовал трон, будучи под контролем регента, а двоим младшим, Эрику и Вальдемару, достались «голько» титулы герцогов и собственные административные районы в придачу.

Регентство во главе с влиятельным лорд-маршалом Торгильсом Кнутссоном продлилось 12 лет, после чего в 1302 году Биргер был коронован в Сёдерчёпинге.

Вскоре в семейные отношения вторглась жестокая вражда, равная по масштабам трагедиям Шекспира.

Завидуя старшему брату, Эрик и Вальдемар оклеветали и обезглавили Торгильса Кнутссона — доверенное лицо Биргера, а затем они выступили против самого Короля.

Оба герцога посетили своего брата в усадьбе Хотуна близ Сигтуны 29 сентября 1306 года и, дождавшись ночи, арестовали ничего не подозревавшего Биргера.

Короля, заключённого в тюрьму крепости Нючёпинг, заставили согласиться с разделом королевства на три части с правлением в каждой из них по одному брату.

Биргер вынашивал планы возмездия довольно долго.

10 декабря 1317 г. он пригласил Эрика и Вальдемара в свой замок в Нючёпинге, дал им разгуляться вволю, а когда они напились допьяна и заснули, захватил их.

Обоих герцогов бросили в подземную тюрьму, где они через несколько месяцев умерли голодной смертью.

Эти два эпизода шведской истории сохранились под названиями: *Хотунская Игра* и *Банкет в Нючёпинге*, дав уже в наши дни сюжеты для пьес и кинофильмов.

Однако Биргер переоценил ситуацию: оказалось, что братья имели сильную поддержку среди аристократов.

Через довольно короткое время Король Швеции Биргер Магнуссон был низвергнут и изгнан из королевства.

Он умер в Дании, на родине своей жены, в 1321 году.

33

Король Магнус II Ласковый. Правление 1319 — 1364

По сохранённой древней традиции, очередной Король присягал возле Священного Камня на поляне Мора.

Теперь им стал Магнус II Эрикссон, сын герцога Эрика Магнуссона, умерщвлённого Королём Биргером.

Трёхлетний Король получил подвластную территорию огромного размера: не только собственные шведские провинции и Финляндию, но также и норвежские пространства, перешедшие по наследству после смерти материнского деда, норвежского короля Хокона V.

С 1332 г. в эти владения включили провинцию Сконе, приобретя которую Магнус по уши погряз в долгах.

На троне королевства Магнус II просидел 44 года и 7 месяцев — дольше любого иного шведского монарха.



Король Швеции Магнус II.
Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

Правление Магнуса начиналось вполне благоприятно.

Он был счастлив в браке с Бланкой (прославившейся благодаря песенке «*Скачи, скачи, беглянка*»), дочерью правителя города Намюра в Бельгии маркиза Жана I.

Процветали и государственная, и придворная жизнь.

Удалось принять новый общегосударственный Свод Законов, собравший различные законы отдельных провинций вместе; успешно прошло внедрение ряда реформ; рабовладение было навсегда ликвидировано.

Но затем, одна за другой, стали сыпаться неудачи.

В 1350 г. Швецию, как и всю Европу, поразила Чёрная Смерть — эпидемия чумы, унёсшая множество жизней и вызвавшая сильный сельскохозяйственный кризис.

В 1360 г. датский король Вальдемар Аттердаг отвоевал назад Сконе, а через год отнял и остров Готланд.

Недовольство аристократии нарастало всё более остро. Король становился козлом отпущения во всех бедах. С подачи Святой Бригитты Магнус был прозван Smek — Ласковый, поскольку его обвинили в гомосексуализме. В 1364 году Короля Магнуса II свергли и заключили в тюрьму, однако через 6 лет его всё-таки выпустили. По неподтверждённым данным, он утонул в 1374 году в норвежском Бёмла-Фьорде во время кораблекрушения.

34

Соправитель Эрик Магнуссон. Правление 1357 — 1359

Вослед своему отцу, Королю Магнусу II Эрикссону, наследником на троне был объявлен пятилетний Эрик.

Как же велико было его огорчение, когда выяснилось, что Эрик до достижения совершеннолетия не обладает правом участвовать в принятии королевских решений!

Доверенным лицом Короля и наиболее приближенной персоной был назначен рыцарь Бенгт Альготссон.

Ненависть ревнивого юноши к своему отцу неуклонно росла и перешла в 1356 году в открытый конфликт.

Знать и церковь, разочарованные экономическими промахами Короля, поддерживали честолюбивого Эрика.

Давление бунтовщиков вынудило Магнуса поделиться с собственным сыном королевством, позволив Эрику в его 19 лет властвовать в Финляндии и в некоторых провинциях Швеции — Сконе, Эстергётланд, Блекинг, южный Халланд, Смоланд (исключая Финнведен).

Однако, реальными победителями оказались члены Государственного Совета, за которыми оставалось последнее слово во внешней политике, а также, кроме иных решений, в закладе и выкупе замков и графств.

Продолжая финансирование своих сторонников и пытаясь не нарушить при этом достигнутый уровень экономики королевства, Эрик глубоко увяз в долгах.

Несмотря на формально существовавшее между ними перемирие, Магнус и Эрик не прекращали бороться за обладание политической властью во всей стране.

Королева Бланка, оказавшись перед затруднительным выбором в этом конфликте, предпочла поддерживать своего мужа против своего сына.

Семейная драма вдруг завершилась непредвиденным финалом: Эрик заболел чумой и умер летом 1359 года.

За ним последовали жена и новорожденный сын Эрик.

35

Соправитель Хокан VI Магнуссон. Правление 1362 — 1364

Чтобы обезопасить будущее династии Бьельбу, Король Магнус II провозгласил в 1343 году своего второго сына Хокана, тогда трёхлетнего, норвежским королём.

Старшего же сына, Эрика, ожидала шведская корона.

Однако, семейная гармония оказалась непрочной.

Первым выступил против отца Эрик, которому Магнус был вынужден уступить власть в части королевства.

Правда, конфликт прекратился достаточно быстро — вместе со скоростной смертью Эрика в 1359 году.

Затем усилился антагонизм между Магнусом и знатью.

Магнаты предложили Хокану VI Норвежскому сделку, по которой он низвергал отца со шведского престола.

Хокан дал своё согласие и заключил Магнуса в тюрьму.

Впрочем, Хокан не оказался столь настойчивым, как его старший брат, и вскоре отец и сын примирились и далее правили вместе, но уже и это не могло помочь.

Финальный акт для династии Бьельбу на шведской сцене начался в 1363 году, когда двадцатитрёхлетний Хокан женился на десятилетней принцессе Маргарите, дочери ненавистного шведам короля Дании Валдемара Аттердага, разъярив этим шведскую аристократию.

В качестве замены магнаты наметили для себя нового монарха, кузена Хокана — Альбрехта Мекленбургского.

Однако, в Норвегии Хокан оставался на троне вплоть до своей смерти в возрасте 40 лет в 1380 году в Осло.

36

Король Альбрехт Мекленбургский. Правление 1363 — 1389

Вероятно, 25-летний Альбрехт, принимая шведскую корону, не предвидел — насколько безнадежна взятая им на себя задача по ликвидации состояния полного хаоса, к которому привёл страну Король Магнус II.

Предки Альбрехта Мекленбургского, сына германского герцога, имели славянские корни, но, т.к. его матерью была Юфемия, сестра шведского Короля Магнуса II, он, прежде всего, был племянником шведского Короля.

Аристократия, возглавляемая канцлером и земельным магнатом Бу Йонссоном Грипом, желала в правители абы кого, но — послушного исполнителя их требований.

Довольно долгое время Альбрехт оставался Королём только по названию, а реально правили страной члены Государственного Совета и отец Альбрехта, герцог Мекленбургский, известный своим прозвищем Лиса.

Этот беспринципный политик упорно вынашивал грандиозные, но неосуществившиеся мечты о создании великой Мекленбургской империи на севере Европы.

Альбрехт, прозванный Змеёнышем в ядовитом словаре Святой Бригитты, старался усилить власть и авторитет, опираясь на германских солдат-наёмников и шерифов.

Но, с увеличением в стране их количества, всё более росла неудовлетворённость шведов своим Королём.

Высшая знать почувствовала в его намерениях угрозу для себя и обратила призыв о помощи к главе Дании и Норвегии, королевев-матери Маргарите, с готовностью принявшей и шведскую корону, и правление страной.

В битве при Фальчёпинге в 1389 году армия Маргариты разгромила наёмников Короля Альбрехта, а самого Альбрехта, облачённого в наряд шута, заключили в тюрьму замка Линдхольмен вблизи города Мальмё.

Через шесть лет, теперь уже бывший Король Швеции, вышел на свободу и удалился в родовое герцогство Мекленбургское, где он и скончался в 1412 году.

На память о Короле Альбрехте шведам остался введённый при нём национальный герб королевства — *tre kronor* — три золотые короны на лазоревом фоне.

37

Королева Маргарита I Датская. Правление 1389 — 1396

В течение семилет Королева Маргарита находилась на вершине власти, повелевая правящей элитой, т.е. той средой, где доминировали мужчины, проявляя этим свой природный дар, неординарный для женщины.



Королева Швеции Маргарита I.

Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

Политический союз трёх скандинавских стран: Дании, Норвегии, Швеции, заключённый в городе Кальмаре и просуществовавший с 1397 до 1523 года под именем Кальмарской Унии, остался после неё, как наследие, будучи в значительной степени её личным созданием.

Принцесса Маргарита, дочь Вальдемара IV Аттердага, короля Дании, начала перемещаться по политической сцене скандинавских стран в самом раннем детстве.

Её воспитание и образование были заложены в Дании, при дворе короля-отца (причём в числе наставников оказалась дочь Святой Бригитты), и продолжались в Норвегии при королевском дворе мужа, Хокана VI, правителя обоих королевств: и Норвегии, и Швеции.

До определённого момента Маргарита не стремилась стать властительницей, но кончина мужа в 1380 году и смерть несовершеннолетнего сына Улофа в 1387 году, привели к признанию её в Дании и в Норвегии сначала регентшей, а затем и полновластной королевой.

Несмотря на прозвище Голоштаный Король, данное Маргарите Альбрехтом Мекленбургским, именно к ней обратился за помощью совет шведских аристократов, желая избавиться от непопулярного Короля Альбрехта.

Ответив им согласием, Маргарита вступила в 1389 год как Истинная и Суверенная Повелительница шведов.

В 1396 году прошла формальная коронация Эрика Померанского, усыновлённого Маргаритой внучатого племянника, однако, и после этого события Королева продолжала управлять огромной империей вплоть до внезапной кончины в 1412 году на борту корабля в гавани Фленсбурга (земля Шлезвиг-Гольштейн).

38

Король Эрик Померанский. Правление 1396 — 1439

Сын Королевы Маргариты принц Улоф умер в 17 лет в 1387 году при загадочных обстоятельствах, и для правления Унией не осталось прямых наследников.

Возникшую проблему могло решить усыновление кого-либо подходящего для передачи ему роли преемника.

Вскоре Маргарита нашла того, кого искала: это был юный внук сестры Ингеборг, и он же правнук короля Дании Вольдемара IV, принц Померании Божислав.



Король Швеции Эрик Померанский.

Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

При усыновлении славянское имя поспешно сменили на приятно звучащее для скандинавского уха Эрик.

В возрасте 15 лет высокорослый стройный принц Эрик принял королевскую присягу возле Священного Камня Мора и официально стал Королём Швеции в 1396 году.

Уже в следующем году Эрик был коронован в Кальмаре как правитель всего союза скандинавских королевств.

Но в действительности править продолжала Маргарита до самой своей скоропостижной кончины в 1412 году.

Тогда Эрик, предпочитая военную политику, приступил к осуществлению властолюбивых планов по созданию Северной Датской империи на балтийских берегах.

За имперские амбиции Эрик расплачивался длительной войной с Союзом Ганзейских городов и с герцогством Гольштейн, финансируя военные действия за счёт роста налогов, при этом германские и датские шерифы прославились суровыми способами добывания денег.

Пренебрежение рекомендациями шведских советников привело Короля Эрика к началу его конца: в 1434 году недовольство выразилось в виде наиболее известного в шведской истории народного восстания во главе с горняком Энгельбрехтом Энгельбрехтссоном.

В 1439 году Эрик был лишён и датской, и шведской корон, а немного позже отрёкся также от норвежской.

Обосновавшись на острове Готланд, Эрик в течение десяти лет промышлял отсюда пиратскими набегами.

Новый Король, Кристофер Баварский, простил Эрика, и тот переместился в Померанию, где умер в 1459 году.

39

Король Кристофер Баварский. Правление 1441 — 1448

Избрание 25-летнего Кристофера, сына баварского герцога, Королём Швеции в сентябре 1441 года, было данью не его заслугам, а, скорее, его происхождению.



Король Швеции Кристофер Баварский.
Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

Через свою мать, сестру Эрика Померанского, он имел кровную связь с царствующим домом Дании, а по отцу принадлежал к южногерманскому роду Виттельсбах.

С выбором Кристофера стране неожиданно повезло.

Длительный период напряжённости сменился периодом успешного функционирования Кальмарской Унии.

Король предоставил каждому из трёх правительств возможность заботиться о своих внутренних делах, а сам сконцентрировался на обдумывании проблем сбалансированного правления на берегах Балтики.

Что Король Кристофер не успел довести до желаемого решения, так это ликвидацию существовавшей тогда на Готланде пиратской империи Эрика Померанского.

Преградой королевскому намерению стала внезапная смерть 31-летнего монарха — на пути в Швецию он заболел и скоропостижно скончался в Хельсингборге.

Похоронен Король Кристофер в Роскильском соборе.

Следующий Король Швеции Карл VIII Кнутссон (Бунде) несправедливо обвинял Кристофера, уже после его смерти, в возникшем голоде из-за ряда неурожайных лет в 1440-х годах, и называл его Король-Короед, поскольку голодавшие крестьяне были вынуждены подмешивать в муку толчённую древесную кору.

С другой стороны, его имя ассоциируется в шведской истории с национальным сводом законов, включавшим государственные, гражданские и уголовные правовые вопросы и называемым Ландслагом Кристофера.

При Кристофере в 1442 году Ландслаг был дополнен, утверждён и сохранился в действии до 1736 года.

40

Король Карл VIII Кнутссон. Регентство 1438 — 1441. Правление 1448 — 1457, 1464 — 1465 и 1467 — 1470

Когда речь заходит о вероломстве, кровожадности и коварстве в среде шведских Королей, то никого из монархов нельзя сравнить с Карлом VIII Кнутссоном Бунде, рождённым для власти и богатства, поскольку обе семьи — и его отца, Бунде, и его матери, Спарре, — принадлежали к основным королевским династиям.



Король Швеции Карл VIII.
Художник и скульптор из Любека Бернт Нотке (1435-1509).
Национальный музей в Стокгольме.

Кроме всего прочего, женился он также на богатстве.

Когда 25-летний Карл начинал свою политическую карьеру, отмеченную жестокостями во время восстания Энгельбрехта Энгельбрехтссона в 1434 году, он уже был одним из крупнейших шведских землевладельцев.

Звезда его успеха взойшла стремительно: в 1435 году он был назначен главным констеблем (полицейским) в государстве, а несколькими месяцами позже — верховным главнокомандующим всего королевства.

В 1438 году, когда правитель Эрик Померанский приближался к закату своей власти, Карл был избран регентом, или, проще говоря, преемником Короля.

Но Карл Кнутссон направлял алчные взоры всё выше.

Он стремился стать королём, но не только в Швеции, а также и в Дании, и в Норвегии, и не возражал против получения главенства над всей Кальмарской Унией.

Для поддержки применялась письменная пропаганда, так называемая Хроника Карла, в которой он пытался представить себя в качестве благородного шведского рыцаря, спасшего королевство от захвата иноземцами.

В действительности Королём Карл становился не менее трёх раз, но только в шведском королевстве, из них дважды, по крайней мере, он был низвергнут с трона.

В периоды правлений и в промежутках между ними Карл Кнутссон не прекращал погоню за личным обогащением — без малейших угрызений совести.

По его приказам совершились бесчисленные убийства.

Король Швеции Карл VIII Кнутссон скончался в своём королевском Стокгольмском замке в 1470 году.

41

Король Кристиан I. Правление 1457 — 1464

Возглавив Кальмарскую Унию, король Дании Кристиан прославился как выдающийся монарх в двух аспектах.

Первое — он выделялся своим мощным телосложением и также необычайно высоким ростом — свыше 186 см.

Второе — ему лучше удалось правление Скандинавией и Северной Германией, чем его предшественникам, Королеве Маргарите и Королю Эрику Померанскому, чьи старания не всегда оказывались успешными.

С 1449 года женой Кристиана была вдова Кристофера Баварского; их сын Ханс позже стал Королём Швеции.

Свои остальные востребованные таланты, такие, как главнокомандующий армией или как государственный экономист, Король Кристиан I развил гораздо слабее.

Королю пришлось выплатить значительные денежные суммы родственникам, вступая во владение северными германскими землями Шлезвиг и Гольштейн, из-за чего он был вынужден увеличить бремя налогообложения населения, тем самым разозлив шведских фермеров.

Когда же Кристиан заключил в тюрьму вице-короля, архиепископа Йонса, допуская послабления в уплате ненавистных дополнительных налогов, то даже аристократы решили, что их терпению пришёл конец.

Через короткое время мятеж бушевал в полную силу.

Армия повстанцев победила регулярные королевские войска в 1464 году в битве при Харакере в провинции Вестманланд, и Кристиана I вынудили бежать в Данию.

В течение нескольких лет подряд Кристиан пытался при поддержке датчан вернуть утраченную шведскую корону, и отказался от этих намерений только после полного своего разгрома в битве при Брункеберге в 1471 году, в которой он сам был ранен.

Тем не менее, Кристиан I оставался регентом в Дании и в Норвегии до 1481 года, когда он скончался.

42

Регент Стен Стуре Старший. Регентство 1470 — 1497 и 1501 — 1503



Святой Георгий — победитель дракона.
Художник и скульптор из Любека Бернт Нотке (1435–1509).
Собор Storkyrkan в Стокгольме.

Сын королевского советника Стен Стуре, естественно, занимал надёжное положение среди придворных ещё во время правления родного дяди (брата матери), Карла VIII, что позволило ему сразу после смерти Короля захватить власть и назначить себя регентом.

Однако глава Унии Кристиан I, король Дании, усилил датскую армию наёмниками из числа упландских рыцарей и фермеров, и возобновил попытки вернуть себе корону Швеции, отнятую у него в 1464 году.

Всё же, в сражении на возвышенности Брункеберг вблизи Стокгольма в 1471 году, блистательную победу одержал Стен Стуре и его сторонники: даликарлийцы — жители земли Даларна, примкнувшие к ним горожане Стокгольма, свеи южной Швеции и наёмники-датчане.

Великолепным памятником победе Стена Стуре до сих пор служит выполненная в XV веке в дереве аллегория Святой Георгий — победитель дракона, уста-

новленная в церкви Св. Николая (собор Storkyrkan) в Стокгольме. Автор —художник и скульптор из Любека Бернт Нотке (1435-1509).

После битвы Стен Стуре продолжал наращивать своё огромное личное богатство, конфискуя феодальные владения противников и укрепляя свою власть любыми способами, разрушавшими союз Дании и Норвегии.

Будучи целеустремлённым и энергичным, Стен Стуре способствовал развитию просвещения и образования, в частности, основал в 1477 г. Университет в Уппсала.

Исключая короткий период захвата шведского трона Королем Юханом II, Стен Стуре Старший оставался регентом до своей кончины, наступившей в 1503 году.

43

Король Юхан II Кристиансен. Правление 1497 — 1501

Признание мальчика Ханса наследным принцем в трёх скандинавских королевствах было подготовлено его отцом, Кристианом I, бывшим в то время главой Унии.

После смерти Кристиана в 1481 году Ханс стал королём только в Дании и в Норвегии, поскольку в Швеции ещё с 1471 года, после своего триумфа в битве с датчанами при Брункеберге, правил его закоренелый противник по Кальмарской Унии, регент Стен Стуре Старший.

Хансу пришлось ожидать ещё двадцать шесть лет, пока такая же возможность, наконец, открылась и для него. При его правлении в 1493 г. Дания впервые в истории заключила соглашение о взаимопомощи с Россией.

За годы выжидания окрепла оппозиция Стену Стуре среди магнатов, которые были чрезмерно возмущены его конфликтом с старейшим архиепископом Швеции Якобом Ульфссоном, едва спасшимся в замке Стекет.

Летом 1497 года датские войска вторглись в Швецию и 28 сентября разгромили даликарлийцев Стена Стуре.

Эта победа при Ротебро вблизи Стокгольма позволила провозгласить короля Дании Ханса, достигшего к тому времени возраста 42 года, Королем Швеции Юханом II.

Пришлый Король памятен шведам своей безудержной тягой к разгульной жизни: он любил вино, женщин и пение, уделял много времени игре в карты и в кости.

Но престиж Короля Юхана оказался серьёзно подорван сокрушительным поражением в 1500 году от войска крестьянской республики в германском Дитмаршене.

Его давние соперники, Стен Стуре и Сванге Нильссон, увидели в этом свой шанс и совместными усилиями выступили против главы Унии, изгнав его из Швеции и лишив шведской короны уже в следующем году.

Тем не менее, королевские короны Дании и Норвегии оставались у Юхана-Ханса до его смерти в 1513 году.

44

Регент Сванте Нильссон (Стуре). Регентство 1504 — 1512

Могучий рыцарь Сванге Нильссон был несомненным ставленником противников Кальмарской Унии, когда после смерти Стена Стуре Старшего потребовалось в 1504 году назначить регента в Королевстве Свеев.

Энергичный и дерзкий баронет из династии шведских аристократов Natt och Dag (Ночь и День), Сванге уже перевалил за сорок, при этом свыше двух десятилетий он входил в состав Государственного Совета Швеции.

Через своего отца Сванге происходил из рода Стуре.

Что важнее всего, это был опытный боевой командир.

Начавшееся регентство Сванге Нильссона омрачалось затянувшимся конфликтом с датским королём Хансом I, который, благодаря главенству в Унии, одновременно являлся обладателем и шведской короны как Юхан II.

Не взирая на многолетнюю шведскую осаду, крепости в Кальмаре и в Боргхольме оставались в руках датчан.

Длительное состояние войны слишком дорого давалось Швеции и наносило вред её международной торговле.

Большинство в Государственном Совете находилось в оппозиции к регенту-правителю и предъявляло ему требования — уладить отношения с королём Дании.

Отказ Сванге Нильссона пойти на примирение привёл к расколу, раздались призывы к его смещению, что означало возникновение угрозы гражданской войны.

В этой сложной обстановке баронет Сванге Нильссон искал повсюду поддержку, и приобрёл сторонников среди граждан Стокгольма, а также и даликарлийцев.

Но, прежде чем какое-либо решение было достигнуто, Сванге Нильссон внезапно скончался в первые дни Нового 1512 года в замке Вестерес, где он праздновал Рождество и обсуждал возможность добычи недавно обнаруженной близ селения Сала серебряной руды.

45

Регент Стен Стуре Младший. Регентство 1512 — 1520

После смерти Сванге Нильссона регентом был избран один из его противников, аристократ Эрик Тролле, активный сторонник сохранения Кальмарской Унии.

Однако, иные намерения были у 19-летнего Стена Стуре, сына Сванге Нильссона.

Пользуясь поддержкой значительного количества вооружённых землевладельцев во многих графствах, он, спустя полгода, добился назначения регентом себя.

Через короткое время у Стена Стуре Младшего из-за его деспотических замашек возникли конфликты с аристократическим советом, но это не мешало ему получать повсеместную помощь от крестьянства.

Самым жёстким противником Стена был архиепископ Густав Тролле, сын Эрика, желавший видеть во главе шведского королевства датского короля Кристиана II.

В 1518 году Стен Стуре сверг Тролле, но в отместку был отлучён от церкви архиепископом города Лунда.

Возникла благоприятная для Кристиана II возможность убрать с дороги молодого Стена Стуре Свангессона, и, ведя за собой армию наёмников, датский король поспешил к своему триумфу в Вестра-Гёталенд.



Регент Стен Стуре Младший.

Резьба по дереву. Собор в городе Вестерос, провинция Вестерманланд.
Фото из Государственного Исторического музея в Стокгольме.

В сражении, состоявшемся на льду замёрзшего озера Осунд, Стен Стуре Младший был тяжело ранен ядром, и 3 февраля 1520 года 27-летний регент скончался в санях на пути через озеро Меларен в Стокгольм.

Население Стокгольма, возглавляемое Кристиной Юлленшерна, вдовой Стена Стуре Свангессона, сопротивлялось датскому войску до сентября 1520 года, когда всё же было вынуждено капитулировать перед натиском Кристиана II.

46

Король Кристиан II Деспот.

Правление 1520 — 1521 (формально — до 1523)

В исторических хрониках часто упускают упомянуть, что шведская корона досталась Кристиану законным путём после смерти его отца, Короля Швеции Юхана II.

Король Швеции Кристиан II остался известен шведам всех последовавших поколений как Кристиан-Деспот.

Таким неучтивым, не совсем справедливым прозвищем его наградил и тем опорочил преемник, Густав Васа.

Действительно, Кристиан II, влекомый жадой личной наживы, был безжалостен и нисколько не заботился о выполнении данных обещаний; однако он пользовался кривыми путями не более, чем многие иные государи прославленной в веках Эпохи Ренессанса.

Тем не менее, соответствие эпитету Добрый, которым его чествовали датчане, есть ни что иное как миф.

Кристиан занял датско-норвежский трон в 1513 году.

Но, благодаря проискам врагов в Унии, коронование его на шведский престол задержалось до 1520 года.



Король Швеции Кристиан II.
Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

Встав, наконец, во главе трёх королевств, Кристиан II взял за своё унижение ужасный реванш, получивший название Стокгольмская Кровавая Баня, — девяносто четыре основных противника были обезглавлены.

Тем самым его репутация оказалась сильно подорвана.

Впоследствии, едва крестьяне почувствовали бремя новых тяжких налогов, как тут же вспыхнул мятеж.

Молодой вождь восставших, Густав Эрикссон (Васа), в августе 1521 года завладел властью в Швеции.

Вслед за тем, Кристиан был так же лишён власти и низвергнут с королевских тронов Дании и Норвегии.

Последние 17 лет жизни Кристиан провёл в заточении.

47

Король Густав I Эрикссон Васа. Правление 1523 — 1560 (регентство 1521 — 1523)

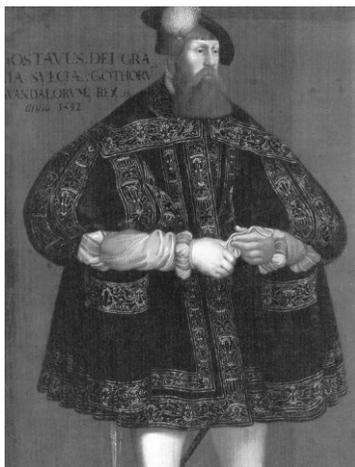
Основатель Королевства Швеция, одна из величайших персон в шведской истории, Король Густав I Эрикссон Васа предстаёт перед нами, прекрасно оправдывая данное ему при жизни определение *Отец Государства*.

Рождённый и выросший в аристократической среде провинции Упшланд, Густав Эрикссон привёл к концу существование Кальмарской Унии, став лидером сил сопротивления в расцвете двадцатилетнего возраста.

Деньги купцов Ганзейского Союза плюс эффективная харизма вождя восстания помогли изгнать главу Унии, датского короля Кристиана II Деспота, и Швеция вновь обрела независимость впервые после 1397 года.

Густав I заставил население признать реформаторское учение Мартина Лютера и повсеместно в королевстве заменить католическую религию на протестантскую.

Тем самым, Король освободил Швецию от подчинения папскому Риму, и это облегчило ему изъятие у церкви богатств, столь необходимых для выплаты германским княжествам взятых у них взаймы денежных средств.



Король Швеции Густав I Васа.
Художник Дэвид Фрумери (1641-1677).
Национальный музей в Стокгольме.

Монастыри были насильственно ликвидированы, и вековая духовная культура оказалась утраченной.

Энергичный Густав был талантливым организатором и экономистом, соблюдая строгие требования контроля.

Как истинный землевладелец средневековья, прибирая к своим рукам территорию всей Швеции целиком, он вникал в суть проблем, беспокоивших королевство.

Коварно, но целенаправленно, при полном отсутствии угрызений совести Король Густав Васа подавлял любое неповиновение, укрепляя администрацию страны и, не в последнюю очередь, наращивая личные владения.

Поддерживая монархию, аристократы подчинялись её требованиям, хорошо пополняя королевскую казну.

Король Густав I Васа долгое время страдал от зубной боли и от иных недугований, однако в 1560 году он скончался от тифа, или, возможно, от дизентерии.

К тому моменту, по всему королевству сохранялся мир.

48

Король Эрик XIV. Правление 1560 — 1568

Старший сын Густава I, Эрик Васа, получивший при вступлении на престол порядковый номер XIV, был человеком полным противоречий: порой — скромен, временами — излишне высокомерен, особенно, когда расписывал свои мнимые успехи в битвах с врагом.

Эрик XIV много читал, но его интеллект был слишком нестабилен, чтобы походить на идеального государя Эпохи Ренессанса, описанного пером Макиавелли.



Король Швеции Эрик XIV Васа.
Неизвестный фламандский художник.
Национальный музей в Стокгольме.

Владение изысканными манерами сочеталось в нём с варварскими поступками без малейших колебаний.

Например, кровавая этническая чистка, проведённая в 1564 году в отношении датчан в городке Роннебю во время Северной Семилетней войны 1563–1570 гг.

Сентиментальное состояние резко менялось на острый приступ мозговой болезни, как случилось в 1567 году в отношении семейства Стуре в тюрьме замка Упсала.

Подойдя к Нильсу Стуре, Эрик, внезапно охваченный гневом и яростью, собственноручно растерзал его, а затем отдал приказание своим солдатам совершить злодейское убийство многочисленных членов семьи.

Сам же Король после того долго скрывался в лесах.

Женигба Эрика на простолодинке Карин Монсдоттер, его молоденькой любовнице, вызвала недовольство аристократов и стала поводом к обширному восстанию.

Эрику не удалось уберечься даже пожертвовав своим канцлером Йораном Перссоном, который вызывал всеобщую ненависть, — свергнутого Короля бросили в темницу, а скипетр перешёл к его брату Юхану III.

Шизофреник Эрик XIV умер в тюрьме замка Эрбюхус близ Упсала в 1577 году, после 9 лет заключения.

Проведённые исследования не смогли подтвердить или опровергнуть слухи: действительно ли Эрика отравили мышьяком в гороховом супе — его последней трапезе?

49

Король Юхан III Васа. Правление 1568—1592

Следующий по старшинству за Эриком сын Густава I, застенчивый Юхан Васа, имел характер интроверта.

Его более интересовало чтение исторических книг, чем рыцарские турниры, и это весьма беспокоило его отца.

Ведь если проводить всё время за учением, то можно *«впасть в меланхолию и набраться ненужных мыслей!»*



Король Швеции Юхан III Васа.
Нидерландский художник Йохан Баптиста ван Утер (1562–1597).
Национальный музей в Стокгольме.

Юхан был наделён королевской внешностью, которую не мог испортить даже его нос, бывший по замечанию одного французского путешественника, «слишком короток, при том, что верхние зубы излишне длинные».

Такое мнение встречало согласие у всех шведов.

Став взрослым, Юхан превратился в истинного принца Ренессанса, свободно поддерживающего любую беседу и лишённого всяких колебаний в своих поступках.

Но основные родовые черты — подозрительность и вспыльчивость — у него по-прежнему сохранились.

В качестве собственного наследственного владения Юхан получил герцогство Финляндию, но, когда он стал проводить на Балтике независимую торговую политику, его брат, Король Эрик XIV, разгневался.

Этот гнев ещё усилился после брака Юхана с польской принцессой Катериной Ягеллонкой из дома Ягеллонов.

Взбалмошный правитель не постыдился упрятать брата и его жену в тюрьму замка Грипсхольм на четыре года.

Вскоре после своего освобождения Юхан, в сговоре с младшим братом (впоследствии Королём Карлом IX), отплатил таким же образом страдавшему ши-

зофренией Эрику, заключив сконфуженного Короля в 1568 году в тюрьму, а себя провозгласил Королём Юханом III.

Юхан III намеревался создать на Балтике Шведскую Империю, задуманную при Эрике XIV, но затянувшаяся война с Россией разрушила драгоценные замыслы.

Сильное сопротивление в стране встретил изданный Юханом Ордонанс о литургии с попыткой возобновить католические богослужения по т.н. Красной Книге.

Оправдывая давние опасения отца, Король Юхан III неуклонно впадал в меланхолию и умер в 1592 году.

50

Король Сигизмунд Васа. Правление 1592 — 1599

Про Сигизмунда, сына Короля Юхана III и его жены, польской принцессы Катерины, нельзя сказать, что он появился на свет, поскольку при его рождении в 1566 году супруги томились в темнице замка Грипсхольм.

Принца воспитали в приверженности к католицизму, и потому уже в возрасте 21 год его признали наследным польским королём при соблюдении условия: Швеция соглашалась передать Эстонию под власть Польши.



Король Швеции Сигизмунд Васа.
Мастерская фламандского художника Питера Пауля Рубенса (1577-1640).
Национальный музей в Стокгольме.

Молчаливый характер правителя из рода Васа вызывал у польской знати разочарованность в нём, поэтому замкнутому Сигизмунду не было уютно в чужом краю. Юного короля прозвали Немое Дьявольское Отродье.

В 1594 году Сигизмунд клятвенно пообещал никогда не вводить католичество в Швецию, что позволило ему вслед за отцом стать коронованным Королём страны.

Но он нарушил клятву и примкнул к ордену иезуитов, вызвав тем самым яростное негодование населения.

Главное же обещание шведов — передать землю эстов польской короне — так никогда и не было выполнено.

Герцог Карл Васа, дядя Сигизмунда, также мечтавший достичь вершины власти, усилил свои стремления и решил воспользоваться частыми отлучками Короля в Польшу, чтобы подорвать его положение в Швеции.

Кульминацией их соперничества стало сражение при Стонгебру в 1598 году, где приведённая Сигизмундом польская армия потерпела разгромное поражение.

Сигизмунда сместили со шведского трона и вынудили вернуться в Польшу, где он, тем не менее, продолжал оставаться королём до самой смерти в 1632 году.

Несмотря на то, что Сигизмунд старался проявить себя энергичным и добросовестным правителем в обоих своих королевствах, он оказался чужаком и в Швеции, и в Польше, поэтому не стоит удивляться тому, что в летописях обеих стран Король показан неудачником.

51

Король Карл IX Васа.

Правление 1604 — 1611 (регентство 1599 — 1604)

Вспыльчивый младший сын Короля Густава I, наиболее любимый отцом Карл Васа, уже в восемнадцать лет активно использовал свой дар политического чутья, участвуя в совершении государственного переворота против сводного брата, Короля Эрика XIV, в пользу своего родного брата, следующего Короля Юхана III.



Король Швеции Карл IX Васа.

Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

После кончины отца Карл стал герцогом, получив во владение земли Нерке, Вермланд, Сёдерманланд, часть Вестманланда, а также север Вестра-Геталанда.

В противоположность братьям, Королям Эрику XIV и Юхану III, Карл не интересовался культурной жизнью.

В годы правления Юхана Карл с энтузиазмом развивал на просторах своих обширных владений коммерческую горнодобывающую промышленность, что помогло ему приобрести множество сторонников и последователей.

Не кто иной, как именно герцог Карл диктовал условия Сигизмунду, шведско-польскому наследнику престола, при его коронации шведским Королём: «При любых обстоятельствах — никакого католичества в Швеции!».

Наконец, Карлу надоела слишком продолжительная роль подчинённого, и он узурпировал власть в стране хорошо знакомым путём государственного переворота.

Король Сигизмунд во главе верных ему польских войск был разбит шведами в битве при Стонгебру и изгнан.

В 1599 году Карл сам провозгласил себя регентом.

Суровое столкновение с членами Государственного Совета — бывшими сторонниками Сигизмунда — завершилось трагически: казнь врагов Карла получила в истории название Линчёпингская Кровавая Баня.

Однако только в 1604 году герцог позволил уговорить себя принять титул Короля под именем Карла IX.

Во все годы нахождения на троне Карл IX не проявил себя великим полководцем, ведя с соседями — Россией, Польшей и Данией, затяжные войны, продолжившиеся и после его смерти в октябре 1611 года.

52

Король Густав II Адольф. Правление 1611 — 1632

Сына Короля Швеции Карла IX короновали в скорбные дни 1611 года, когда только что скончался его отец.



Король Швеции Густав II Адольф.
Неизвестный художник. Национальный музей в Стокгольме.

Юношу нарекли на латыни Густавус II Адольфус и, пользуясь неопытностью семнадцатилетнего Короля, вынудили согласиться ослабить королевскую власть.

Кроме уже существовавшего Государственного Совета, к правлению допускались ещё четыре государственных коллегии, представлявшие сословные интересы аристократии, духовенства, горожан и крестьянства.

Король Густав II Адольф получил в «наследство» после кончины Карла IX три войны: против Дании, Польши и России, в которых, в отличие от отца, он проявил себя командующим, способным учиться на своих ошибках.

Используя поддержку незаурядного административного деятеля, канцлера Акселя Оксеншёрна, талантливый и волевой Густав создал эффективное правительство и реорганизовал армию, намереваясь заметно усилить военное влияние Швеции среди государств Европы.

Преодолев первые неудачи, Король одерживал одну за другой громкие победы, и ещё недавно второстепенное Королевство Швеция превратилось в мощную державу.

Завершив затянувшиеся собственные войны, Густав II Адольф обратил пристальное внимание на полыхавший в Германии длительный и кровавый конфликт между католиками и протестантами, называемый в истории как Тридцатилетняя война, но в те годы бывший в разгаре.

Вмешиваясь в междоусобные схватки, шведская армия опустошала германские княжества, как стая саранчи.

Густав II Адольф неустанно соединял своё воинское самолюбие с коммерческими амбициями и религиозным рвением, и при этом проявил себя горячим борником протестантизма, заслужив прозвание *Северный Лев*.

Победа над католиками при Брейтенфельде в 1631 году отметила высшую точку в его военной карьере.

Однако давней мечте о восшествии на трон Священной Римской империи не было суждено осуществиться: 6 ноября 1632 года в сражении под городком Лютцен Густав II Адольф встретил на поле битвы свою гибель.

(продолжение следует)

* Издательство «*Historiska Media*». Лунд, Швеция, 2004. ISBN 91-85057-63-0.



Ефим Курганов
ШПИОН ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
ИЛИ 1812 ГОД
Историко-полицейская сага в четырех томах

(продолжение. Начало в №6/2014 и сл.)

Том второй
МОСКВА. ОХОТА НА ФРАНЦУЗОВ
(конец июня — июль 1812 г.)

ТРИ ЭПИЗОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ.

**Несколько слов от автора читателям
дневника Якова Ивановича де Санглена**

Сейчас, по прошествии нескольких лет, ушедших на эту работу, мне, пожалуй, уже трудно в точности определить, что именно было почерпнуто из источников, а что пришлось додумать самому, так сказать, реконструировать.

В 1812-м году и вообще в царствование императора Александра I происходило много фантастического, и личности на политическом небосклоне тогда были зачастую нереально яркие, крупные, оригинальные, каждая из которых обладала своей индивидуальной стилистикой, четко выраженным творческим почерком, сильной характерологической отметиной и вместе с тем резким индивидуальным своеобразием.

Можно считать, я придумал некоторые события и сюжетные ходы, но они при этом, как мне представляется, полностью согласуются с логикой поведения моих персонажей, существовавших на самом деле, от императора Александра I до ротмистра Савана и поручиков Шлыкова и Ривофиналли, реальных сотрудников Высшей воинской полиции Российской империи. Если они всего того, о чем я написал, вдруг, как окажется, не совершили, то вполне могли бы совершить, просто по каким-то причинам не довелось.

Моя версия событий 1812-го года не надуманна и не произвольна. Просто она пропущена через восприятие Якова де Санглена, писателя, профессора Московского университета, военного советника, возглавившего незадолго до начала войны тайную полицию Российской Империи, а затем вступившего в единоборство с разведкой самого Наполеона Бонапарта.

Естественно, у этого человека, обладавшего тогда недюжинной властью, был свой особый взгляд на все то, что происходило в 1812-м году. И по роду своей деятельности знал он обо всем том, что имело место в этом весьма драматичном году, гораздо более, чем другие. И вообще у него было свое восприятие тех событий, замешанное на его опыте, темпераменте и воображении.

Взгляд Якова де Санглена на войну России с наполеоновской Францией и на разного рода закулисные политические тайны того времени я и попробовал воссоздать в предлагаемых вниманию читателя московских частях этой военно-полицейской саги.

Ефим Курганов. Париж. 24 декабря 2006 г.

ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ: Путешествие в Москву

*Дорожный дневник военного советника Якова Ивановича де Санглена,
директора высшей воинской полиции* *. (28.6 — 6.7 1812-го года)

От публикаторов

В последних числах июня 1812-го года Император Александр I направил в Москву Директора Высшей Воинской полиции военного советника Я.И. де Санглена, дав ему при этом особое поручение. В чем в точности заключалось это поручение, до самой последней поры оставалось лишь гадать. Мемуары де Санглена ответа на этот вопрос не дают. Там вообще ни слова не сказано о поездке в Москву летом 1812-го года.

Но знакомство с тайным дневником де Санглена, фрагмент из которого мы сейчас предлагаем вниманию читателей, позволяет пролить свет на многие обстоятельства его необычной служебной командировки, состоявшейся в конце июня 1812-го года.

Теперь, основываясь на данных дневника, можно с большою долею точности утверждать, что российский император дал Директору Высшей Воинской полиции задание очистить Москву от французских шпионов.

Однако утверждать так мы можем лишь в том случае, если мы верим Я.И. де Санглену. А можно ли ему до конца верить? Насколько он был правдив и искренен, когда делал записи в своем тайном дневнике? На эти вопросы ответа у меня пока нет, и он даже не предвидится.

Но в любом случае обвинения целого ряда современников, упрекавших Я.И. де Санглена в фанфаронстве, легкомыслии, хлестаковщине, никак не следует сбрасывать со счетов (основания для таких заявлений, судя по всему, были и не малые). Но точно так же не следует сбрасывать со счетов и то весьма существенное обстоятельство, что эти обвинения, как правило, явно исходили от лиц, весьма недоброжелательно настроенных к нашему герою.

В общем, до разгадки этой удивительной личности, сложной, противоречивой и таинственной, еще очень и очень далеко. Но изучать, заниматься ею, разгадывать ее все равно стоит. В череде тех ярких, богатых фигур, которые составляли русский культурный фон первых десятилетий XIX столетия, де Санглен отнюдь не теряется: по-своему он характерен для эпохи и одновременно стоит особняком.

Если же говорить о службе безопасности в российской империи, как она стала формироваться в девятнадцатом столетии, то это именно он ее фактически создал, заложил ее модель.

В общем, как бы ни оценивать эту личность, внимания потомков она, без всякого сомнения, заслуживает.

Рукопись дневника Я.И. де Санглена (это кипы отдельных листков, разложенных более, чем в двадцати папках) хранится в муниципальном архиве города Ош, департамент Жер, Гасконь, Франция.

Готовя настоящее издание, я не раз консультировался с крупным историком и архивистом Арсением Тарталевским (Москва) и рядом других исследователей.

Николай Богомольников, профессор. (Москва) 24-го марта 2007-го года.

* Публикация, подготовка текста и примечания Николая Богомольникова и Андрея Зурин. Перевел с французского Сергей Глазкин. Научный консультант профессор Михаил Умпольский. Научный консультант профессор Андрей Зурин (Кембридж).

От историка

Следует предупредить читателя, что Яков де Санглен (1776-1864) был одной из зловещих фигур времен Александра I. В восприятии современников эта личность явно подверглась определенной демонизации. Он стяжал устойчивую неприязнь как фактический руководитель тайной полиции накануне Отечественной войны 1812-го года.

Это именно он по желанию российского императора следил за государственным секретарем М. Сперанским, а затем арестовывал его и отвозил в ссылку. Именно участие в деле Сперанского, выдающегося российского реформатора, сильно повредило репутации де Санглена.

Достаточно резкую характеристику де Санглена можно найти в мемуарах писателя и журналиста Н.И. Греча: авантюрист и «фанфарон» без серьезного образования, но нахватавшийся где-то поверхностных сведений, профессиональный шпион и доносчик, втершийся в доверие к императору и в конце концов изгнанный с позором; предавший всех, в том числе и начальника своего министра полиции А.Д. Балашова^[1].

Кстати, вероятнее всего, Н.И. Греч, говоря о Санглене, заимствовал краски едва ли не от управляющего третьим отделением фон Фока, некогда протеже Санглена и даже креатуры его по министерству полиции.

«Весьма умный, весьма проницательный человек», литератор с «бойким пером», — корректирует характеристику, сделанную Н.И. Гречем, декабрист С.Г. Волконский, — но лишенный «стыда и совести», «sans foi ni loi»^[2].

Известный мемуарист Ф.Ф. Вигель вспоминал, что, несмотря на страх, который наводил Санглен на окружающих, с ним демонстративно избегали встреч и разговоров^[3].

Поэт-партизан Денис Давыдов, имевший в 1830-м году столкновение с Сангленином, заявляет в письме о своем «презрении» «к его отвратительной особе»^[4].

Подозрительное и недоброжелательное отношение к Сангленину разделяли, кажется, и высшие чины жандармского ведомства.

В частности, шеф корпуса жандармов А.Х. Бенкендорф писал московскому военному губернатору кн. Д.В. Голицыну: «г. де Санглен столь известен, что я никак не могу предположить, чтобы он мог быть употреблен вашим сиятельством»^[5].

Противоположные оценки личности Санглена встречаются реже, но, надо признать, что они все же встречаются.

По-видимому, гораздо снисходительнее А.Х. Бенкендорфа был к Якову де Сангленину писатель, издатель и историк Н.А. Полевой, которого Санглен в записках даже причислял к своим друзьям.

Вообще надобно признать, что негативная репутация Санглена во многом исходила из российского жандармско-полицейского мира николаевского времени и, может быть, даже во многом формировалась в пределах этого мира. Это, видимо, объясняется тем, что Санглен был личным шпионом Александра I, знал множество государственных тайн, и, соответственно, в царствование Николая I он оказался совершенно не ко двору. Можно даже сказать, что его побаивались, побаивались того, что он может рассказать.

В 1840-е годы Санглен был принят в доме Пассеков, где с интересом слушают его рассказы о временах Екатерины и Павла.

А.И. Герцен отдает должное «болтовне де Санглена» как «живой хронике за последние 50 лет»: «Поверхностный и малообъемлющий ум, но большая живость, своего рода острота и бездна фактов интересных»^[6].

Наконец, известный историк и журналист М.П. Погодин после сорокалетнего литературного знакомства с нашим героем склонен был говорить о порядочности и бескорыстии Санглена. Факт этот, несомненно, заслуживает внимания.

Как видим, отзывы становятся лояльнее по мере удаления их автора от политической жизни столицы 1810-х годов; заставшие это время еще не могут побороть в себе

боязни и отвращения. *«Люди сороковых годов» уже с любопытством смотрят на свидетеля и участника новейшей истории. Впрочем, даже в 60-е годы М.П. Погодин ощущает, что бывший начальник тайной полиции «никак не мог освободиться от того страха, который прежде наводил на других...»*¹⁷¹

Однако как бы ни оценивать в высшей степени противоречивую личность Я.И. де Санглена, он был одним из тех, кто делал русскую историю в 1812-м году, и он заслуживает самого пристального внимания.

При этом не следует забывать, что страх людям 1810-х годов де Санглен внушал именно как человек, от которого в годину испытаний довольно многое зависело и многие зависели.

Действительно, было несколько лет (уже в 1816-м году ему пришлось уйти в отставку), когда власть которою он обладал, была огромна. Этого Санглену современники и не могли простить.

А. Зурин, профессор (Москва). 1 апреля 2006 года

1812 год. 28.6 — 6.7

*Один, стихий в грозящем споре,
Не зрю ли я вселенной горе?
Не сель ее последний вздох?
Не бойтесь, смертны, грозной бури.
Ничем не движим свод лазури
Превыше грубых облаков.
На все страны, на все творенья
Отверсто око providенья.
1778 г. М.Н. Муравьев*

Дрисский лагерь — Велижская крепость — Смоленск — Вязьма — Москва

Этот лагерь был выбран изменником или невеждой. *Маркиз Пауллуччи, генерал-адъютант Его Величества Императора Александра Павловича.*

Наконец, после долгого отступления, преследуемые силами всей Европы, достигли мы до Дриссы, где на берегу реки Двины сделан был большой укрепленный лагерь, построенный поступившим в нашу службу из Прусской армии генерал-майором Фулем. *Краткие записки адмирала А. Шишкова*

Господи, наступит ли тот несравненный день, когда радость осветит наши лица, или же мы просто не созданы для счастья?! *Слова Государя Александра Павловича, сказанные Его Величеством июня 13-го дня года 1812-го в разговоре с А.Д. Балашовым, министром полиции.*

Первопрестольной столице нашей Москве

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество. Мы не умедлим стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководства всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими путь врагу, так и вновь устроенными на поражение оною, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России! *Император Александр. Июля шестого дня 1812-го года.*

Июня 28-го дня. Одиннадцать часов утра

Прибыли мы в Дрисский лагерь около восьми часов утра. Государь со свитой уже были тут, но основные военные силы еще не подошли.

Александр Павлович поместился в маленьком домике, при коем не было никаких иных строений, кроме нескольких амбаров и житниц.

Министру полиции Балашову и государственному секретарю Шишкову был отведен дом по другую сторону реки, в расстоянии около двух верст от главной квартиры.

Расположился я по совету полковника Арсения Закревского, заведующего Особой канцелярией при Штабе Главнокомандующего Барклая де Толли, в двух комнатенках, что примыкают к трактиру с замысловатым названием «Пылающие угли Жозефины». Трактир же находился почти сразу за домиком, в коем поселился Государь.

Я совершенно не жалею, что прислушался к словам мало симпатичного мне в общем-то Закревского, человека пронырливого и хитрого, начисто лишенного совести, способного на всякую пакость.

Камердинер мой Трифон внес мои вещи и тут же принялся их распаковывать. Вещей же было не мало, но более всего места занимали книги и бумаги. Коллежский секретарь де Валуа, из моей канцелярии, снял комнату в этом же трактире.

Трактир немислимо грязен, но зато содержит его в высшей степени соблазнительная Жозефина Мале, обладающая столь аппетитными формами, столь волнуящим задом, что у меня просто сразу слюнки потекли. И в душе я сердечно поблагодарил Закревского.

Только что увидев сию Жозефину, я тут же понял многообещающий смысл названия трактира и возликовал. Тут-то название сие мне и полюбилось, и как еще полюбилось.

Сильно рассчитываю, что «Пылающие угли Жозефины» в самом ближайшем времени не оставят меня голодным и холодным.

Во всяком случае, хозяйка лагерного трактира, беря два рубля серебром — по рублю за комнату —, глядела на меня весьма ласково и даже призывно.

Хочу надеяться, что я истолковал взгляд хозяйки «Пылающих углей» отнюдь не ошибочно. Впрочем, она и другого постояльца своего — коллежского секретаря де Валуа — не обошла вниманием, но я не в обиде, скорее напротив, рад, что и де Валуа не будет мерзнуть^[8].

Июня 28-го дня. Четыре часа пополудни

Настроение препаршивое, и есть от чего, хотя я со своими людьми весьма удачно вернулся из нашего похода. Мы были нагружены ворохом ценнейших бумаг, кои были добыты через пленных французов во время нашего пребывания в Вильне.

Настроение же испорчено общим состоянием военных наших дел.

Сего дня, как и было ранее предначертано и Высочайше утверждено, 12 наших дивизий под началом Михаила Богдановича Барклая де Толли вошли в укрепленный Дрисский лагерь.

Началось какое-то безумие, и самое ужасное, что оно явилось не результатом неожиданного взрыва, а было, так сказать, заранее подготовлено.

Ждать тут Бонапарта — это форменное самоубийство, это самих себя загнать в ловушку («Дрисский лагерь — это западня», — повторяет на всех углах бесстрашный и горячий маркиз Паулуччи), но Государь по-прежнему требует неукоснительного исполнения сего безрассудного плана и отмахивается от правдивых слов маркиза.

Барклай, со всем свойственным ему прямодушием, уже не раз пробовал убедить Его Величество в крайней опасности и даже гибельности диспозиции, составленной военным теоретиком-идиотом Пфулем^[9], но, увы, усилия главнокомандующего успехом не увенчались.

Барклай еще говорил, что, лишь уходя от Бонапарта, мы продвигаемся к победе, но Государь посмеялся, и только.

Сколько я знаю, Барклай как мог пытался воздействовать и на заведующего ныне военными делами графа Алексея Андреевича Аракчеева, который находится в сильнейшем фаворе. Однако и тут успеха, увы, добиться Барклаю никак не удалось.

Граф Аракчеев, имея на то свои резоны, отвечал Барклаю довольно строго, почти выговаривая ему: «Моя забота — охранять жизнь Государя, а ослабить план боевых действий — это не моего ума дело».

Вот так-то, милостивые государи. Но ежели его забота заключается лишь в том, чтобы охранять жизнь Государя, зачем он согласился исполнять обязанности военного министра? Зачем?

Военный министр (а Аракчеев фактически ныне находится на положении военного министра) — не начальник караула, отнюдь. И ведь взявший в свои руки все дела военного управления граф Аракчеев, говоря это, был явно горд собой и не находил в своем утверждении никакого противоречия!

Он выговаривал Главнокомандующему и полагал, что он прав, и это совершенно ужасно.

Барклай чуть не рыдал, услышав сии слова новоиспеченного главы военного ведомства. Я даже скажу так.

Главнокомандующий Первой Западной армии не то, что был расстроен — он был в бешенстве, самом настоящем бешенстве. В таком состоянии я его и не видел никогда.

Но ничего не поделаешь. Послушавшись идиота Пфуля (с ним еще всюду ходит другой идиот — его переводчик Вольцоген, ибо «великий теоретик» говорит только по-немецки), мы сами заперли себя в мешок. Таковы нынешние весьма печальные обстоятельства; не только печальные, но еще и бесконечно глупые, нами же созданные, от чего, действительно, хочется плакать.

Господи! Почему наша власть зачастую бывает столь близорука? Почему она с такой легкостью веряет себя лицам и идеям, идиотизм коих для окружающих совершенно очевиден? Почему она веряет себя лицам и идеям, которые сами по себе, может, и хороши, но к нам совершенно не применимы? Это непостижимо для меня.

Доверенность к идиоту, которую выказывает умный, проницательный и достаточно подозрительный Государь, я ни как и ни чем не могу объяснить. Буквально теряюсь в догадках.

Ежели Государь не образумится и будет продолжать верить этому горе-теоретику, то Империю нашу ожидает весьма нерадостное будущее или радостное, если, конечно, стоять на позиции сторонников этого изверга Бонапарта.

Так что нам только остается уповать на то, что Александр Павлович отшвырнет прочь губительнейший план, чем спасет и себя и Отечество. Но, увы, пока этого не предвидится.

Пока что побеждают совсем иные настроения, хотя перемены все еще возможны.

Я не оставляю надежды, ибо верю в нашего Государя, хотя личности, коими он зачастую окружен, вызывают у меня острейшее чувство самого несомненного омерзения. Впрочем, сколько я мог заметить, я им тоже не слишком нравлюсь, а вот Государь меня явно выделяет — сомнений тут быть не может. Более того, Император доверяет мне, хотя и видиг недоброжелательное отношение ко мне своих клеветов.

Во всяком случае, в некоторых щекотливых и явно не простых обстоятельствах Его Величество продолжает рассчитывать на мое содействие, прибегая к моим советам и используя мое знание жизни. Но это-то как раз и вызывает бешенство многих лиц из его окружения.

Не нравится то, что я стал необходим Александру Павловичу. Что ж! Тут ничего не поделаешь!

Мне придется смириться с завистью, а им с тем, что я необходим Государю.

Июня 28-го дня. Полночь

Стараясь не расстраиваться из-за общего состояния дел, вместе с верным моим коллежским секретарем Валуа готовлю подробнейший отчет о пребывании нашем в Вильне (сей труд уже занимает без малого 29 страниц, исписанных убористым и яснейшим его почерком) и жду, когда Государь призовет меня.

Генерал Аракчеев, коего я видел нынче днем, полагает, что это произойдет уже завтра. Дай-то Бог!

В свите Государя, обретающейся с Его Величеством в Дрисском лагере, насчитал я следующих особ: курносого уродца Великого Князя Константина Павловича, канцлера Румянцева (он в глубокой опале, но вместе с тем Александр Павлович намеренно никак не соглашается отпустить графа Николая Петровича в отставку), обер-гофмаршала графа Толстого, графа Аракчеева, государственного секретаря Шишкова, адмирала и литератора, генерала Беннингсена (как всегда заносчивого и самоуверенного), шведского авантюриста и бонапартова ненавистника графа Армфельта, барона Штейна, генерал-адъютантов Балашова, князя Трубецкого, князя Волконского (ныне он заведует Императорским Генеральным Штабом), графа Комаровского, бесстрашного и пылкого маркиза Паулуччи (он выходец из Сардинии ^[10]), флигель-адъютанта Чернышева и некоторых других, не столь значительных особ.

Прогуливаясь сегодня поутру в скучнейших окрестностях Дрисского лагеря, пересекся я на узкой тропочке сначала с канцлером Румянцевым. Завидев меня, граф Николай Петрович тут же повернул в противоположную сторону — он меня явно побаивается, и это совершенно понятно: это я ведь вывел на чистую воду его противозаконные сношения с извергом Бонапартом.

А затем столкнулся я с Александром Дмитричем Балашовым, своим бывшим благодетелем, а ныне заклятым врагом своим и яростным хулителем и ниспровергателем в глазах Его Величества персонально моей особы и ведомства Высшей Воинской полиции.

Как же я ненавижу это животное, безжалостное и коварное! И еще: не могу без омерзения глядеть на бородавку на его левой щеке, проросшую рыжими волосками. Так что при виде Балашова мне всегда хочется отворотиться в сторону.

Нынешняя встреча наша, надо сказать, была не из радостных, но ожидать ее в любом случае следовало (рано или поздно мы все равно встретились бы в Дрисском лагере, но так сразу — это было чересчур; кажется, судьба поторопилась: видимо, она спешит, для чего, может быть, и есть основания).

Министр полиции поглядел на меня насмешливо, неодобрительно, а затем саркастически, с совершенно не скрываемой издевкой молвил, ухмыляясь в хитрющие и нахальные свои усы: «Ба! Санглен! А я думал, ты еще в Вильне? Как там? Надеюсь, твои орлы из военной полиции прикончили Бонапарта? Не зря же ты там сидел?!»

Я рассмеялся и тут же выпалил в ответ, нимало не задумавшись: «Господь с Вами, милейший Александр Дмитрич! Коли прикончить Бонапарта, так ведь мир тут же станет оплакивать мерзавца. Так что пусть живет! Имейте в виду, любезнейший: надобно, чтобы Бонапарт сдался нам в плен. И у меня есть к Вам вопросец. Государь, сколько мне известно, посылал Вас с мирными предложениями к Бонапарту? И что же — Император Франции принял их? Поделитесь, любезнейший, ежели это, конечно, это не секрет».

При этих словах моих министр полиции зло вспыхнул, отвернулся и тут же довольно сердито зашагал прочь.

Вот такая у нас состоялась встреча. Быстро обменялись колкостями и быстро разошлись.

Александр Дмитрич Балашов меня ничуть не удивил. Уже не первый месяц он в своем отношении ко мне проявляет крайнее недоброжелательство.

Собственно говоря, как только Государь стал благоволить к моей особе, Балашов, прежде покровительствовавший мне, начал сердиться и даже вредить. Правда, рассорить Александра Павловича со мной ему так и не удалось до сего времени, хотя как всегда неутомимый в интригах Балашов, судя по всему, так и не теряет надежды.

Граф Аракчеев с весьма ядовитой усмешкой поведал мне, что Александр Дмитрич буквально каждодневно доносит на меня Государю, что делать ему чрезвычайно легко, ибо на правах генерал-адъютанта он все время крутится близ Его Величества.

Ну и пусть! Подведомственная мне Высшая Воинская полиция, как следует из общего числа пойманных к настоящему моменту шпионов, далеко опережает деятельность министерства полиции. Именно так, милостивые государи: далеко опережает. Таково общее мнение. Это признает и Аракчеев, и сам Александр Павлович.

Я верю в нашего Императора, в его чувство справедливости и в мою судьбу, в мое предназначение, ибо ощущаю, что должен принести пользу моему страждущему Отечеству.

Генерал-адъютант Балашов, при всей своей близости к Александру Павловичу, не смог меня одолеть до сих пор — не одолеет и впредь: не сомневаюсь в этом.

У меня нет других защитников кроме моей правоты, но правота — всепременно со мною.

И вообще сейчас не до ссор и не до амбиций — надвигается страшный враг: бешеный, коварный и умный. И ежели мы друг с другом сейчас начнем выяснять отношения, то с Бонапартом нам никак не справиться.

Так что не стоит мне впредь думать, писать и говорить о Балашове. Право, не стоит. Есть дела поважнее!

Попробую совладать с собой и не обращать на этого фанфарона внимания. Да и не стоит он того. Ей-Богу!

Пусть Балашов и вообще все мои недруги (а среди них на втором месте, несомненно, стоит другой генерал-адъютант Императора — князь Волконский, в прошлом опять-таки бывший моим шефом) образуют одну большую и аккуратнейшим образом огороженную и тщательно охраняемую территорию молчания. Удастся ли мне это? Попробую.

Надобно мне вообще научиться не замечать врагов. Пускай себе шипят... Идея верная, конечно, даже очень, но как ее претворить в жизнь?.. Человек так слаб... А я всего лишь человек...

Господи, как бы научиться не думать о Балашове и прочей швали, окружающей нашего Императора! Как?.. Ума не приложу. А ведь надобно все-таки научиться. В противном случае, мысли о Балашове и ему подобных просто съедят меня.

И тогда настанет момент, когда я буду способен думать лишь о них и о своем единоборстве с ними. Но я ни в коей мере не намерен становиться с Балашовым и такими, как он, в одну позицию.

Тяжелые мысли и мрачные предчувствия, одолевающие меня, сглаживает лишь одна особа — пышнотелая, отзывчивая, податливая дрисская трактирщица Жозефина Мале.^[11]

Господи! одно лишь прикосновение к ее волшебному заду, один лишь вид ее огромных волнующихся, вздымающихся как море грудей заставляют меня забыть обо всех военно-политических неприятностях, переживаемых нами тут, в лагере. Так что могу смело сказать, что мадемаузель Мале — мой лагерный лекарь, не иначе.

Кстати, поговаривают, что одним из гостей прелестной Жозефины вчера явился сам Государь, явившийся с одним из своих генерал-адъютантов (уж не Балашов ли это был? Все может быть — Балашов готов отправиться с Александром Павловичем куда угодно).

Не успел я расстаться с мерзавцем Балашовым, не успел перевести дух и отбросить неприятные воспоминания, как столкнулся с генерал-адъютантом Василием Трубецким^[12]. Это, как мне представляется, одна из самых приятных личностей в окружении Государя, хотя, надо признаться, чересчур уж носат.

Князь отменно образован, получил отличное французское воспитание, является тончайшим ценителем живописи, и главное он совершенно лишен какого-либо искательства перед вышестоящими особами. Правда, князь, при громадном росте своем, на редкость безобразен, но разговор его чарующе приятен.

В придворных летописях сей Трубецкой прославлен скандально-громким разводом с герцогиней Катариной Бирон, говорят, изменявшей ему неустанно, но теперь он снова молодожен и, кажется, счастлив.

Мы говорили о дрисской мышеловке, в которую сами себя загнали. Князь горячился и, поминутно раздражаясь, дергал себя то за предлинный свой нос, то за огромные бакенбарды. Я держался спокойнее, но был объят сильнейшим внутренним жаром.

Для нас обоих дрисское сиденье подлинно непереносимо. Но я мучаюсь и размышляю, ищу выхода из сложившегося положения, а вот князь, будучи натурой горячей, сильно и тяжело страдает; кажется еще немного, и он заревет от отчаяния.

Июня 29-го дня. Одиннадцать часов утра

Мне не спалось, и в шестом часу утра отправился я на прогулку. Спустившись по лестнице (у меня был отдельный вход) и оказавшись во дворе, я заметил, что из дверей трактира вышел какой-то человек и тут же узнал его — эту громадную, статную фигуру ни с какой другой не перепутаешь: то был Император.

Да, значит, правду поговаривали, что Его Величество не остался равнодушен к пышным прелестям Жозефины Мале. И я его понимаю, еще как понимаю ^[13].

Его Величество шагал бодро и весело. Чувствовалось, что он находится в отличном расположении духа. Да, Жозефина, исполняя долг приоткрывшей ее Империи, видно, старалась и ублажала как могла нашего ласкового и нежного Государя.

С девяти утра, по зову императорского камердинера Зиновьева, явился я с докладом к Александру Павловичу.

Его Величество остался необыкновенно доволен действиями наших отрядов в окрестностях Вильны, и заверил меня, что непременно представит к награде отставного гусарского ротмистра Давида Савана и коллежского секретаря Валуа.

Вообще мысль, что существует боевой отряд, состоящий из коренных французов и ведущий борьбу с Бонапартом, в высшей степени занимает воображение Государя. В глазах Его Величества данный факт в высшей степени отраден, симпатичен и заслуживает самого широкого поощрения.

Более того, Императора Александра Павловича интересовали буквально все подробности, даже самые мельчайшие, связанные с кабаком Бауфала (именно там, у старого лютеранского кладбища, скрывался я, коллежский секретарь Валуа и вверенные моему попечению отряды, в том числе и отряд отставного ротмистра Давида Савана).

Поджог кабака Бауфала со всеми содержавшимися там французскими пленными, совершенный по моему приказанию, Император Александр Павлович, правда, не одобрил, но при этом Его Величество все-таки добавил, и это чрезвычайно существенно: «Впрочем, имей в виду, Санглен: то, что все пленные подверглись истреблению, полностью оправдано законами военного времени».

Государь вызвал к себе государственного секретаря Александра Семеновича Шишкова, адмирала и писателя, и стал при мне рассказывать ему, что в Виленских лесах супротив Бонапарта действует отряд французов и действует с самым несомненным успехом.

Адмирал Шишков не хотел верить ушам своим и все услышанное готов был принять за шутку. Александр Павлович заметил ему, что он отнюдь не шутит и даже не собирается этого делать.

Упрямец Шишков все не верил. Тогда Александр Павлович стал искать поддержки у меня как у очевидца событий.

Тут я стал подробнейшим образом расписывать, как отставной гусарский ротмистр Давид Саван (Savant) со своим отрядом, полностью состоящим из его соотечественников, выезжал на рассвете с Виленского протестантского кладбища, рядом с которым как раз и находился дом Бауфала, и уже к полудню, как правило, возвращался с добычей, неизменно богатой — солдаты, курьеры, офицеры, генералы армии Бонапарта, с находившимися при них бумагами.

Вообще сей Саван — весьма интересная личность. Он участвовал в боевых действиях против турок, штурмовал Очаков, а в 1794-м году вместе с Суворовым брал Варшаву, за что и был произведен в ротмистры и прикомандирован к варшавской полиции. Выйдя в отставку, он поселился в Варшаве, стал агентом польского

Генерального штаба и одновременно добровольно обратился с предложениями сотрудничества в нашу Высшую воинскую полицию.

Поведал я и о том, как коллежский секретарь Валуа переводил, описывал, сортировал достававшиеся нам при обысках документы, а работенка эта была совсем не из простых.

Александр Семенович был совершенно потрясен услышанным. Он стоял растерянный и недоумевающий, а Государь залиvisto смеялся и довольно потирал руки.

Когда мы с Шишковым вышли из Государева кабинета, адмирал ворчливо сказал мне, весьма сердито морща нос: «Ваш ротмистр Саван, конечно, молодец, да мы с вами не молодцы. Пока Государь остается в армии, а армия остается в Дрисском лагере, дело для нас идет к верной и несомненной гибели. Я уже говорил обо всем этом Императору Александру Павловичу, но мои доводы на Его Величество решительно не действуют. Попробуйте теперь Вы. Вам следует поговорить с Государем сточки зрения безопасности нашей Империи. Попробуйте, голубчик, иначе — смерть, верная смерть. А ежели Императора нет возможности уговорить, сделайте что-нибудь, придумайте. Сейчас нельзя сидеть на месте».

Адмирал Шишков говорил чрезвычайно резко и запальчиво, но, как мне кажется, совершенно справедливо.

Конечно, надежды нет почти никакой, но все-таки я попробую хоть что-то предпринять. Есть у меня идея одной интрижки, рискованной и дерзкой. Но выхода нет — придется попробовать.

Вообще я уверен, что ради спасения Отечества можно стать и интриганом. Наше великое Отечество стоит того. По-настоящему без интриги дело у нас просто не сдвинуть. Так что выхода иного просто нет.

Интрига — это толчок, стимул, совершенно необходимый для того, чтобы расшевелить инертную массу, называемую человечеством.

Сам Государь не раз повторял что-то в этом роде. Он сам — великий мастер интриги, замысловатой, ловко отточенной, оригинальной (интрига должна быть непредсказуемой).

Я кратко изложил Александру Семеновичу Шишкову возникший у меня замысел одной интриги, к участию в коей надо было при влечь целый ряд лиц, мне весьма неприятных, но пользующихся доверием у Государя. Однако, главное, надо решительно и скопом насадить на «цербера» Аракчеева, личность, надо сказать, для меня мало симпатичную — хитрую, малоуступчивую и грубую.

Александр Семенович сразу же согласился с моим планом.

«Надо попробовать — у нас нет выхода», — сказал он, почти повторяя мои мысли.

Так что начинаем готовить интригу. Кажется, это последний шанс, ежели хотим выжить, ежели желаем нашей великой Империи спасения и процветания.

Бонапарт наступает неумолимо. Понятное дело, он чрезвычайно торопится, дабы мы не успели выйти из западни, которую сами себе приготовили. Он хочет уничтожить нас одним ударом, рванув петлю, которую мы сами затянули.

Так что, ежели не уговорим сейчас Государя, погибнем все — погибнем на радость извергу Бонапарту, будучи при этом увенчаны собственной глупостью. Мы тоже должны спешить.

Июня 29-го дня. Восьмой час вечера

Мне вдруг пришла в голову мысль, что, может, и зря сняли мы наблюдение, установленное за графом Николаем Петровичем Румянцевым.

Наблюдение снято было после того, как было неопровержимо доказано, что канцлер Румянцева состоит в тайной и противузаконной переписке с Наполеоном Бонапартом.

И вот меня как пронзило: а вдруг изменническая переписка продолжается? Незамедлительно я вызвал к себе квартального надзирателя Шуленберха, полицмейстера Вейса, моих помощников еще со времен житья в Вильне, и приказал им неустанно следить за домиком, в коем в Дриссах квартирует канцлер Румянцева, не оставляя без внимания ни одного посетителя.

Шуленберх и Вейс, прихватив с собою парочку полицейских, тут же кинулись исполнять мое указание.

Обедала у Барклая де Толли ^[14].

К столу был приглашен знакомец мой швед граф Армфельт (в марте месяце мы вместе «валили» Сперанского), законченный авантюрист и бешеный враг Бонапарта ^[15], а также сардинец маркиз Паулуччи, упорно не желающий молвить об императоре Франции буквально ни одного доброго слова и не желающий признать в нем совершенно ни одного достоинства ^[16]. Это — человек чрезвычайно умный, рассудительный, но одновременно необыкновенно пылкий.

Паулуччи недавно назначен начальником штаба Первой армии. Иными словами, ныне он находится в подчинении у Барклая, но при этом его расположением почему-то упорно не пользуется (но ведь и сам Главнокомандующий сейчас не особенно в фаворе, а вот то, что от маркиза не в восторге Аракчеев, это гораздо опасней). Впрочем, Барклай не очень-то жалуется и графа Армфельта: кажется, оба они для него слишком светские, слишком остроумные. Барклай, надо сказать, — человек совершенно не салонный, но я его разговор и ценю и люблю.

Кстати, говорят, что на днях маркиз Паулуччи, с присущей ему дерзостью — и на это способен был решиться лишь он один —, будто бы бросил в лицо генералу Пфулю, творцу идеи запереть русскую армию в Дриссах: «Этот лагерь был выбран изменником или невеждой — выбирайте любое, Ваше Превосходительство». Сии заслуженные слова были звонче любой оплеухи, и они вызвали самые настоящие рукоплескания. Стоявший рядом с Пфулем его переводчик и секретарь Вольцоген высокомерно отвернулся, а сам Пфуль лишь усмехнулся и ничего не ответил (да он и не понял, ибо не владеет не только русским, но и французским).

Канцлера же графа Николая Петровича Румянцева маркиз Паулуччи совершенно открыто именует на публике «соглядатаем Бонапарта». И канцлер теперь, завидя маркиза, точно так же бросается прочь, как при виде меня.

Еще интереснейший штришок. Маркиз, в 1811-м году покоривший Дагестан, тут смело стоит против всемогущего Аракчеева, в то время как остальные генералы жмутся перед всемогущим фаворитом.

Во время обеда граф и маркиз неугомимо злословили насчет Бонапарта. Но досталось еще кой-кому.

Армфельт и Паулуччи изошрались в колкостях как могли. А вот Михаил Богданович Барклай де Толли был даже не то, чтобы грустен, а мрачен, страшно мрачен, особенно мрачен. Взор его был крайне тяжел и неподвижен, что почти пугало. Вообще это крайне неприятно было наблюдать.

Барклай сидел, подперев виски руками, и мысли, одна безотраднее другой, бороздили его чело. Узкий лысый череп главнокомандующего весь как-то страдальчески сморщился.

Мне даже почудилось вдруг, что Барклай подумывал о самоубийстве.

Я же боролся с уткой, сухой, жилистой и малосъедобной. Было заметно, что Главнокомандующему было неприятно видеть, что я трачу серьезные усилия на то, чтобы заполучить кусок утиного мяса.

— Санглен! — сказал вдруг Барклай, когда граф Армфельт и маркиз Пауллучи, отговорив и закончив свое единоборство с уткой, покинули нас.

Говорил Барклай, четко отделяя каждый слог (мы беседовали всегда по-немецки). — Нужно что-то делать. Голубчик, придумай же что-нибудь!

Не отрываясь от злополучной утки, я рассказал, что у меня есть в уме одна рискованная комбинация, к исполнению которой я завтра же собираюсь приступить, не медля, прямо с утра.

Барклай ухмыльнулся и крайне недоверчиво поглядел на меня, но тоже приступил к одолению утки. Сие означало, что Главнокомандующий все-таки верит в меня. До этого на протяжении всего обеда он явно ни к чему решительно не мог пригнуться.

Можно сказать, что Барклай ожил, и взор его не был таким глубоко потухшим, как при начале обеда: начинался он совершенно траурно, а закончился, можно сказать, почти весело.

Да, обрабатывая утку, Барклай спросил у меня: «Что же вы думаете предпринять, Санглен?»

Мой ответ поверг Главнокомандующего в состояние крайнего изумления.

Я сказал следующее: «Нам одним не одолеть Александра Павловича. Для хорошего исхода дела хочу использовать генерала Аракчеева и генерал-адъютанта Балашова и еще кой-кого».

Две эти личности пользовались безграничным доверием Государя, но и ко мне и к Барклаю относились из рук вон плохо (при этом Балашов особенно был не хорош со мною, а Аракчеев — с Барклаем).

Использовать в благих целях врагов своих, — для Барклая это было бы не то, чтобы неприемлемо, а немислимо, это не укладывалось в его голове бравого служачи.

Когда до Главнокомандующего дошло то, что я сказал, он остолбенел, а потом даже как-то не очень прилично захихикал, достал платок и дрожащей рукой начинал вытирать слезы.

Так что обед закончился вполне в мажоре, чем более всего был удивлен сам Барклай, настроившийся было совершенно меланхолически.

Да, видно поразил я его сильно. Это было заметно и невооруженным глазом.

То, что я собираюсь использовать своего недруга и яростного гонителя Балашова — поразило и развеселило Главнокомандующего. Он стал поглядывать на меня с большим интересом.

Я пошел на это токмо ради Отечества, токмо ради победы над Бонапартом! Полагаю, что Барклай это понял и оценил мое самоотвержение.

Когда мы расставались, граф подошел ко мне, приобнял (тут я увидел, что глаза его вдруг радостно заблестели) и, с присущей ему исключительной честностью, молвил: «Санглен, я верю в вас, голубчик. Действуйте. Помните только, что меры надо принимать безотлагательно. На Государя необходимо повлиять, иначе будет беда».

Июня 30-го дня. Девятый час утра

Поразительное известие! На рассвете, а именно в шестом часу, канцлер граф Николай Петрович Румянцев был замечен выходящим из трактира Жозефины Малё.

Вот так-то! Александр Павлович, как оказывается, делит грудастую резвуху Жозефину со своим опальным канцлером.

Сведение сие было мне доставлено за завтраком кварталным надзирателем Шуленбергом.

Ай да граф! Он, как я вижу, не теряется. Интересно, знает ли о проказах своего канцлера Государь? И знает ли канцлер, что прелестная трактирищица пользуется благосклонностью Государя?

Поглядим — увидим. Скоро все выйдет на чистую воду — в этом нет ни малейшего сомнения.

Так что остается только чуть-чуть подождать и мы все сможем лицезреть, как далее разворачиваются весьма не простые отношения Его Величества и канцлера.

Июня 30-го дня. Четыре часа пополудни

Ужасная новость разнеслась здесь, в Дриссах и повергла меня в состояние уныния.

Первым мне рассказал о сей новости мой всезнающий де Валуа (или как тут говорят: «Виктор Петрович Валуа») — не зря он все-таки числится в штате Высшей Воинской полиции, а ныне представляет собою всю мою канцелярию.

Маркиза Паулуччи, блистательного военачальника, под предлогом болезни удаляют из армии. Он всего неделю успел проходить в начальниках штаба Первой Западной армии. Одну недельку. А ведь на маркиза возлагалось столько ожиданий.

Заменяют же пылкого и дерзкого Паулуччи склочным и задиристым Алексеем Петровичем Ермоловым, который более всего знаменит тем, что, будучи чуть ли не мальчиком, успел побывать в любовниках престарелой государыни Екатерины Алексеевны — сие, конечно, есть великая заслуга для боевого генерала, коему надлежит бороться с Бонапартом. За такого рода прикосновенность к императорской фамилии можно назначить и начальником штаба.

Несомненно, под болезнию маркиза Паулуччи разумеют его дерзкий, открытый ум. Конкретных же причин, как я полагаю, может быть две: первая — недовольство графа Аракчеева, перед коим Паулуччи (кажется, один из всех военных) отказался гнуться; вторая — жалоба Пфуля, коего он обозвал изменником и невеждой. Но есть и третья причина. Маркиз, при всех исключительных дарованиях своих, — итальянец, а в должности начальника штаба армии желают видеть русского. Вот Государь и принес жертву общественному мнению.

Невыразимо грустно! Удаление маркиза есть обезглавливание нашей армии, совершенное в тяжелейшую для нас пору. Каждое русское сердце должно скорбеть об этом!

Как смеет Аракчеев, не выигравший ни одного сражения, убирать с театра военных действий замечательного боевого генерала? И как Государь решился потворствовать гнусному желанию своего клеветы?

Это, наверное, очень странно, но мною вдруг начинает овладевать все растающее острое чувство стыда за других.

Всем у нас тут памятно, как в 1811-м году генерал Паулуччи воевал одновременно и против турок и против персиян и одолел и тех и других, как имяя с

собой всего 800 человек, он напал на десятитысячный турецкий отряд и захватил город Ахалкалаки, как он завоевал Дагестан.

Много еще громких дел совершил новоиспеченный генерал-лейтенант Паулуччи. И теперь, в эту суровую пору испытаний, мы сами лишаем себя такого человека и лишаем только потому, что он умен, смел и прям, что он имеет собственные мысли и решается их выражать!

Непостижимо! Поистине непостижимо!

И еще одно неожиданное известие, доставленное мне всезнающим квартальным надзирателем Шуленберхом.

В домик, снятый канцлером Румянцевым, регулярно захаживают французы, явно имеющие военную выправку. Выйдя от графа, они покидают затем Дрисский лагерь.

В первую минуту я совершенно опешил. Как же это может быть?

В Дрисский лагерь, в коем находится Первая армия и Государь со свитой, беспрепятственно и безнаказанно проникают подданные враждебного России государства!

И второе. Как осмелился канцлер Российской Империи продолжить сношения свои с нашим противником? Возмутительнейшая наглость!

Я приказал Шуленберху и Вейсу проследить за «гостями» графа Николая Петровича, а когда они покинут пределы лагеря, не производя лишнего шума, арестовать их и тайком доставить ко мне.

Не сомневаюсь — Шуленберх и Вейс справятся.

С раннего утра пришло донесение от ротмистра Винченга Ривофиналли из Москвы (вообще за эти дни скопилось множество донесений от агентов высшей воинской полиции, так что коллежский секретарь Валуа буквально утопает в работе; впрочем, мне также достается), весьма любопытное и совсем не бесполезное.

Сей проворнейший итальянец в Москве сдружился с целой кучей французов и сообщает мне, что первопрестольная столица наша буквально кишит бонапартистами. Любопытно, что там уже крутятся и наши виленские французы; при этом особенно активничают давние мои знакомцы по житью в Вильне граф де Шуазель и аббат Лотрек, а они, надо сказать, есть хитрейшие бестии и вполне заслуживают быть посаженными под замок.

Записку Ривофиналли я немедленно переслал Государю через генерала Аракчеева. Александр Павлович, в свою очередь, через своего военного министра передал мне самую искреннюю благодарность.

Граф Аракчеев сообщил мне также, что копия с записки ротмистра Ривофиналли была вручена для ознакомления и министру полиции Балашову.

Говоря об этом, граф добавил, что Император, самолично передавая своему министру полиции донесение ротмистра, пожурил Александра Дмитрича за то, что он до сих пор так ничего не знает о наличии французских шпионов в Москве.

Балашов, конечно, отговорился чем-нибудь — он на это мастер; возможно, что и сослался на меня, что именно я как Директор Высшей Воинской полиции должен заниматься такого рода делами.

Завтракала я у адмирала Шишкова, в его маленьком одноэтажном домике.

Во время сего завтрака, обсуждая текущие проблемы и в особенности гибельность решения нашего любимого Государя соперничать с военным гением Бонапарта.

Мы решили что самым лучшим будет написать откровенное письмо к Государю, но при этом вполне осознавали всю рискованность сей затеи. Последнее нас, однако, не остановило.

Тут же нами и было сочинено письмо, изыскующее необходимость и неизбежность отъезда Императора Александра Павловича из действующей армии.

Шишков самолично потом переписал письмо набело.

Оставалось придумать средство, каким образом доставить эту дерзостную бумагу в руки Императора, доставить так, дабы нашему делу был обеспечен успех.

Не успели мы с Шишковым закончить нашу работу, как явился флигель-адъютант Чернышев.

Он привез приказ войскам, который Государь приказал просмотреть и исправить. Этот приказ, составленный от имени Государя, оканчивался словами: «Я всегда буду с вами и никогда от вас не отлучусь». Это выражение сначала привело меня и Шишкова в совершеннейшее отчаяние, а затем воспламенило дух твердости. И тут меня осенила одна догадка, и я нащепал на ухо Шишкову свою мыслишку.

Шишков, посоветовавшись со мной, подчеркнул привлечение наше внимание слова из приказа и сказал при этом флигель-адъютанту Чернышеву: «Передайте Его Величеству, что это будет зависеть от обстоятельств, и что он не может сего обещать, не подвергаясь опасности не сдержать данного им слова».

Мы зашли за Балашовым и двинулись затем к графу Аракчееву, дабы всей гурьбой его уговаривать. Граф Алексей Андреевич сильно колебался и был явно недоволен нашим появлением.

Когда Балашов, со своей хигровато-сладчайшей ухмылкой, сказал ему, что отъезд Его Величества в Москву представляется единственным средством спасти отечество, Аракчеев, используя старые свои доводы, возразил: «Александр Дмитрич, Господь с вами! Что мне до отечества! Скажите-ка мне лучше, не в опасности ли Государь, оставаясь дольше в армии?!»

Я, при полном одобрении адмирала Шишкова, и не давая рта раскрыть Балашову, быстро отвечал военному министру, сколь можно спокойно и четко: «Конечно, граф, Государь наш находится в опасности, ибо ежели Бонапарт атакует нашу армию и разобьет ее, что тогда будет с Государем нашим?! А ежели Бонапарт победит Барклая, то беда еще не велика».

После этих решительных и прямых объяснений граф Аракчеев, ни слова ни говоря, подписал бумагу, написанную мною и Шишковым, пошел и положил ее на письменный столик Его Величества.

Так что первый, подготовительный план задуманной интриги прошел успешно, но главное было впереди. Было совершенно непонятно, как прореагирует Император на письмо, нарушающее все правила дворцовой иерархии — давать прямые советы Государю не позволено никому...

Вся наша надежда была на то, чтобы под письмом стояла подпись Аракчеева, верного императорского пса.

Именно аракчеевская репутация охранной собаки и могла спасти дело. Полагаю, что нам Государь такого письма никогда и ни за что не простил бы, а вот Аракчееву вполне может простить. И надеюсь, что и в самом деле простит. Должен простить. Иначе будет худо.

Кстати, Аракчеев дав нам согласие, подошел ко мне и шепнул: «Санглен, будьте другом, сделайте милость. Было бы хорошо, ежели бы вы раздобыли для

Государя какую-нибудь польскую красавицу, а то его Величество тут скушает. Придумайте что-нибудь, вы ведь на эти штуки мастер. У меня, голубчик, вся надежда на вас — Александр Павлович ужасно тоскует без дамского общества».

Естественно, я, не медля, кивнул в знак согласия и, расставшись с Аракчеевым, сразу же написал записку к полицмейстеру Вейсу, в коей приказывал ему отправиться в Вильну и привести в Дриссы графиню Червинскую, даму темпераментную, умную и небезразличную к прелестям жизни (красоты же она совершенно неопишущей, чисто польской).

Несомненно, Государь оценит графиню по достоинству. Правда, у нее есть муж, но это такая мелочь по сравнению с тем, чего требуют интересы одной из величайших империй, а интересы сии требуют, дабы владыка оной империи был покоен и мог бы, не хандря, заниматься делами государственного значения.

Июня 30-го дня. Первый час ночи

Составленное мною и Шишковым письмо было прочитано Императором в этот же день, и при докладе Аракчеева Его Величество сказал графу Алексею Андреевичу следующее (так рассказывал потом сам Аракчеев — свидетелей не было): «Граф, я читал ваше послание» и сделал легкий кивок головой — как бы в знак согласия. И все.

Эти нейтральные как будто слова, с учетом всего, что мы знаем о характере Государя Александра Павловича, означают нашу полную победу: Александр Павлович, я уверен, бросает бессмысленное свое соперничество с Бонапартом и покидает Дрисский лагерь, а с ним и армию.

Задуманная мною интрига была рискованной, конечно, но она, Слава Богу, удалась.

Мысль использовать подпись Аракчеева была бесспорно счастливой.

А Аракчеев все-таки сдался на наши уговоры именно потому, что на него одновременно надели представители разных и даже враждебных друг другу дворянских группировок. Так что и этот ход был верный.

Уверен, что ежели бы я один заявился к графу, то они бы только рассвирепели, и этим все кончилось. А если бы мы все вместе зашли к Александру Павловичу с нашим письмом, то он был бы в бешенстве и явно почувствовал бы себя оскорбленным, и был бы прав.

В общем, все было сделано правильно.

Государь отнюдь не рассердился на то, что кто-то смеет советовать ему оставить действующую армию, он все-таки поверил верному своему Аракчееву и спас этим свою честь и честь Империи.

Да здравствуют интриги во славу Отечества! Но только я за продуманные интриги, ибо непродуманные интриги грозят катастрофами и, как правило, оканчиваются ими.

Ежели интрига задумана и проведена правильно, — она не может не привести к успеху. И история с письмом это полностью доказывает. Но искусству интриги надобно учиться. Само собою оно никак не дается.

Вот я и учусь, тем более, что род моей деятельности буквально требует совершенного владения искусством интриги.

* * *

Барклаю я не буду ничего сообщать, пока не узнаю наверняка, что отрядная перемена и в самом деле свершилась.

Ежели вдруг я ошибся в своем выводе относительно того, что именно вытекает из последней аудиенции, данной Императором Аракчееву, то разочарование Главнокомандующего будет чистой катастрофой, настоящей трагедией для этой прямой и честной натуры.

Было бы очень не благородно с моей стороны заронить в Барклае надежду, которая потом не оправдается.

Так что лучше подождем, хоть я и уверен в положительно совершившемся исходе сего рискованнейшего и важнейшего для судеб нашего Отечества дела!

Михаил Богданович, граф Беркли, то-то вы порадуетесь! Это [я уж точно знаю. Конечно, с русским языком у вас серьезные нелады, но большего российского патриота, чем вы, шотландец немецко-ливонского извода, сыскать, кажется, трудно.

Граф, скоро одной серьезной заботой у вас станет меньше, и вы сможете спокойно заманивать Бонапарта далее, как и были решено по предначертанному Вами плану — отступить вглубь, перерезая коммуникации противника, ослабляя и истощая великую армию.

Ежели наша Первая Западная армия остается в Дриссах, то Императору угрожает возможность истребления, а Ваш план рушится, и Бонапарту, еще сильному и могучему, тем самым дается возможность уничтожить нас в Дрисском мешке.

Так что без этой маленькой интриги с письмом все могло сильно и даже трагически осложниться.

Граф, поздравляю, хоть вы еще этого и не знаете — наша взяла!

Мы начинаем выходить из проклятой Дрисской западни, говоря словами бедного маркиза Паулуччи. Надобно только сделать это до появления здесь Бонапарта.

Июля 1-го дня. Полдень

Еще не было шести часов утра, когда ко мне на квартиру явился Зиновьев, хорошо известный мне камердинер Государя. А ровно через тридцать минут я уже беседовал с глазу на глаз с Александром Павловичем (позже, правда, к нам присоединился Великий Князь Константин Павлович, но он все молчал и, в основном, слушал, поглядывая на меня с несомненным поощрением).

Ура! Оказывается, задуманная мною интрига, действительно, удалась и Император, действительно, оставляет действующую армию.

Не зря мы корпели над письмом, не зря заседали на упряма и хама Аракчеева, который, надо сказать, весьма долго артачился и отнюдь не собирался подписывать нашей рискованной бумаги!

Но есть еще одно в высшей степени отрядное и даже спасительное для всех нас известие.

По указу Императора армию нашу начнут выводить из Дрисского лагеря, а затем она двинется в направлении Витебска на соединение со Второй армией князя Багратиона, упрямого, вспыльчивого, ненадежного, слишком уж амбициозно-самолюбивого, но дело все-таки знающего. В любом случае, соединение армий необходимо.

С преступным замыслом горе-теоретика генерала Пфуля, Слава Богу, покончено.

Государь, со свитой, выедет из лагеря, а за ним двинется и Первая Западная армия.

Только Его Величество направится в Москву, а она продолжит отступление, заманивая Бонапарта далее и далее, в полном соответствии с гениальным планом Барклая.

Разойдутся Государь и армия по разным направлениям, и это совершенно замечательно и очень правильно. Не следует мешать Барклаю работать. Он знает, что делает!

Между прочим, Александр Павлович выразил желание, дабы первым Дрисский лагерь оставил я — представляю, как будет беситься министр полиции Балашов, с его стремлением лезть всегда вперед и с его бешеной (и все более возрастающей) завистью ко мне. Ну да Бог с ним, с Балашовым! Пускай неистовствует!

Его Величество отправляет меня спешно в Москву. Слишком уж много там развелось агентов Бонапарта — надобно с этим кончать, и незамедлительно.

Сам же Государь выедет по направлению к первопрестольной столице нашей июня 6-го дня и прибудет туда числа 11-го, когда я уже наведу там порядок.

Так что, строго говоря, времени у меня совсем мало. В обрез, можно сказать.

Когда я шел от Государя, мне встретился генерал-адъютант Волконский, ныне заведующий Императорским штабом. Надо сказать, он становится все более и более влиятелен.

Наши отношения давно уже основательно испортились (еще с той поры, как я был прикомандирован к нему, уйдя из университета в военное министерство), но тут князь Петр Михайлович сам подошел ко мне, ласково улыбнулся и посоветовал быть в Москве как можно осторожнее и пожелал, чтобы удалось оберечь нашего Государя от всех опасностей, подстерегающих его.

Так что расстались мы почти дружески. Вот такие происходят чудеса! Да, во время сей беседы князь даже оставил обычное свое высокомерие. Хоть один из генерал-адъютантов Государя по отношению ко мне на время сменил гнев на милость!

Но где уж Балашову до Волконского! Мелковат министр полиции, мелковат, и ничего тут не поделаешь.

Кстати, князь Волконский доверительно сообщил мне одно весьма любопытное известие, признаюсь, не мало меня удивившее и даже, пожалуй, озадачившее вначале, но в итоге многое прояснившее.

Оказывается Государь (уже здесь, в Дрисском лагере) просил графа Аракчеева, дабы тот регулярно уведомлял меня относительно доносов, делаемых на мой счет министром полиции Балашовым. Иными словами, Аракчеев делился со мной сведениями о балашовских доносах по личному желанию самого Государя!

Поразительно! Видимо, Александр Павлович до сих пор боится моей с Балашовым дружбы.

Его Величество как и прежде, оказывается, страшится соединения усилий наших ведомств.

Между прочим, Император прав: слишком сильная власть тайных служб (а ведь если мне дозволят сдружиться с Балашовым, то я подомну его под себя — это Государь понимает, и значит, Высшая воинская полиция станет над министерством полиции) для Империи опасна.

Кстати, я думаю, что Государь самолично попросил генерал-адъютанта своего князя Волконского, дабы он все это рассказал мне. Князь не решился бы без соизволения свыше разглашать приватные беседы с Государем, тем более, что отношения мои с Волконским носят ныне совершенно враждебный характер.

Зачем же Александру Павловичу понадобилось, чтобы я знал — Аракчеев меня уведомляет о балашовских доносах по желанию Его Величества? Зачем Государь попросил, дабы князь Волконский рассказал мне об этом?

На самом деле то был message, переданный мне Государем через князя Волконского, который подошел ко мне совсем не случайно, совсем не по позыву души.

«Господин военный советник, имейте в виду: вам ни в коем случае не следует возобновлять дружеские отношения с генерал-адъютантом Балашовым» — таков был смысл этого весьма неожиданного для меня послания.

Ваше Величество, Message получен. Я все понял и принял к сведению. Будет исполнено!

Не беспокойтесь с Балашовым — вражда навек.

Что же касается руководства моего Высшей Воинской полицией, то буду держаться в рамках — в полгику ни ногой! Никогда и ни при каких обстоятельствах. Свое место я знаю.

И никакого альянса с министерством полиции не будет. Это совершенно определено!

Меня интересуют только шпионы; обязался их ловить и буду ловить. Сыщем всех до одного, не сомневайтесь, Ваше Величество. От этого добра я Россию как-нибудь избавлю. А ежели Вы хотите, чтобы обнаруженных шпионов было больше, — наготовим, а потом поймем.

Да, нынешняя беседа с моим давним знакомцем князем Волконским была весьма полезной — и ему, и мне.

Он в точности выполнил поручение Государя Александра Павловича, а я образцово исполнил свои обещания, о чем ясно намекнул князю, и он передаст.

Уверен, что мы вполне поняли друг друга.

И еще — новость, и немаловажная.

Флигель-адъютант Чернышев (я с ним встретился во время прогулки на берегу Дриссы) рассказал мне, что графиня Ханна Червинская уже находится в Дриссах, и Государь необыкновенно ею доволен.

Да, прелестная Ханна, обладательница двух огромных, сверкающих глаз-изумрудов, — явно моя должница теперь. Это ведь я на самом деле ее выбрал, и вот теперь она — фаворитка нашего Императора.

Не исключено, что Его Величество возьмет графиню с собою в Москву, а, может, даже и в Санкт-Петербург, и тогда ее звезда наконец-то заблестит в полную силу.

Аракчеев благодарил меня, наградил тремя тысячами рублей серебром из сумм военного министерства и обещал произвести в следующий чин полицмейстера Вейса за молниеносную доставку графини в Дрисский лагерь.

Вообще видно было, что Алексей Андреевич мною совершенно доволен, и все это при общей нерасположенности его ко мне.

Так что дела мои, можно сказать, идут совсем неплохо.

Июля первого дня. Шестой час вечера

Перед обедом пришло новое донесение из Москвы от ротмистра Ривофиалли.

Он — молодец. Поручику удалось перехватить письмо к графу де Шуазелло от самого Бонапарта, что, конечно же, является огромной удачей. Но самое удивительное все-таки заключалось в самом письме, в содержащихся в нем сведениях.

Император Франции предупредил графа де Шуазеля, что скоро в Москву придет российский Император Александр Павлович и настоятельно советовал готовиться к этой встрече.

Непостижимо! Но ведь решение это нашим Государем, видимо, было принято только сегодня. Значит, Император Франции может предвидеть ход событий?! Значит, Бонапарт догадался, что мы оставим Дрисский лагерь и что Государь покинет действующую армию?

Генерал Аракчеев чрезвычайно встревожился, когда я показал ему письмо от Ривофиналли, в коем пересказывалось послание Бонапарта к графу де Шуазелю.

Генерал подошел ко мне, помолчал, а потом, внимательно глядя мне в глаза, строго и торжественно сказал: «Господин военный советник! Имейте в виду: от вас теперь зависит судьба нашего Государя и всей Российской Империи».

Аракчеев в послании Бонапарта увидел намек на то, что на нашего Государя готовится новое покушение, но только теперь уже оно готовится в Москве, однако не исключено, что при участии тех же лиц, которые месяц назад готовили первое покушение в имении Беннингсена «Закрет», под Вильной.

И Аракчеев, видимо, прав. Бонапарт не успокоился и по-прежнему жаждет смерти нашего Государя, жаждет обезглавить Российскую Империю.

В самом деле, необходимо спешно собираться в Москву, дабы предотвратить назревающие там события, дабы можно было дать ответ наглým проискам Бонапарта.

Граф Алексей Андреевич высоко оценил работу поручика Ривофиналли.

Еще одна новость, и немаловажная. Явились квартальный надзиратель Шуленберх и полицмейстер Вейс. Они привели с собою двух «гостей» канцлера Румянцева. Беседовать со мною «гости» отказались, но их гвардейская поступь говорила сама за себя. Мне доказательств не требовалось.

При обыске у «гостей» были изъяты письма графа Николая Петровича, адресованные лично Бонапарту. В письмах сих подробнейшим образом описывалось местоположение наших войск в Дриссах и детально пересказывался план этого идиота Пфуля.

Приказав Шуленберху посадить «гостей» канцлера под замок, я тут же кинулся к Государю, естественно, захватив с собою оригиналы писем.

Его Величество принял меня незамедлительно и тут же просмотрел письма.

Руки Императора Всея Руси дрожали, и как дрожали.

Еще Государь решительно потребовал, что самолично хочет допросить пленных. В голосе его стальные нотки переплетались с нетерпением, коего он и не собирался скрывать.

В лице Александра Павловича ясно прочитывались два настроения — крайнее изумление и бешенство, но на меня он смотрел в высшей степени ласково.

Прощаясь, Государь заметил, что Шуленберха следует представить к награждению. Еще Его Величество спросил, чего хотелось бы мне.

Я решительно отвечал, что более всего мне хотелось бы возвращения в действующую армию маркиза Паулуччи. Государь засмеялся и сказал, что пока сие невозможно, но что маркиз в будущем получит назначение, вполне соответствующее его способностям и чину.

Уходя, я слышал, как Александр Павлович приказывал, дабы к нему незамедлительно явился канцлер граф Румянцеv.

Интересно, отправят ли сегодня канцлера в отставку, или же Государь по-прежнему будет дожидаться победы над Бонапартом?! А может, канцлера посадят даже под домашний арест?

Впрочем, мне представляется, что Государь Александр Павлович покажет графу Николаю Петровичу письма, изъятые у арестованных, и этим все пока ограничится. Наш Император никогда не был сторонником быстрых, скоропалительных решений.

Еще есть новость, и небезынтересная.

Недавно доставленная сюда графиня Ханна Червинская уже находится в самом несомненном фаворе, но приходящая Жозефина Мале при этом отнюдь не отставлена: Государь, по моим наблюдениям, все еще навещает ее в «Горячие угли», наравне с другими обитателями Дрисского лагеря.

Любопытно, что для графини Червинской, когда Государь уедет из Дрисс?! Жозефина двинется вслед за ним или вслед за армией? Боюсь все же, что она выберет армию.

Но пока Александр Павлович остается завсегдаем дрисского трактира, что совершенно не преуменьшает триумфа графини.

Ревность не культивируется и тем более не афишируется в придворной жизни.

И потом прелестная Жозефина и изумрудокая Ханна существуют для Императора в разных плоскостях, никак не соотносимых друг с другом.

Я уверен, что для графини Червинской совершенно не имеет значения то обстоятельство, что Александр Павлович заглядывает глубокой ночью или даже на рассвете в трактир «Горячие угли». А для Жозефины присутствие в Дриссах графини Червинской и отношение к ней Императора совершенно ничего не определяет и ничего не меняет.

Так что, судя по всему, в амурной жизни Дрисского лагеря нет особых конфликтов и противоречий. И Слава Богу!

Июля первого дня. Одиннадцатый час ночи

Обедала у Баркляя де Толли.

Среди приглашенных к Главнокомандующему Первой Западной армией были Великий Князь Константин Павлович, неудержимые приступы бешенства которого сильно напоминают убиенного его родителя (впрочем, когда бушующие в нем бури утихают, он может быть вполне любезен и остроумен), канцлер граф Николай Петрович Румянцев, все время отворачивавшийся от меня, генерал Армфельт, чрезвычайно умный, но слишком уж пронырливый и хитрый, генерал Беннингсен, всегда надутый и брезгливый, особенно по отношению к Баркляю (вообще любезен он лишь в присутствии Государя и своей красавицы-супруги), и некоторые другие, менее значительные особы.

Среди всех присутствовавших на обеде своим замечательным умом и тонкостью замечаний выделялся барон Карл фон Штейн^[17]. С ним был его секретарь некто Эрнст Мориц Арндт; человек, видимо, в высшей степени интересный и незаурядный, но слишком уж сильный охотник до всего германского. Барон говорит, что у Арндта всякий раз появляется нюх охотничьей собаки, когда необходимо определить принадлежность по части крови.

Сей Арндт едва ли не каждый день строчит хлесткие трактаты, направленные супротив Бонапарта. Еще мне известно, что он состоит в большой дружбе с нашим адмиралом Шишковым и даже имеет на него влияние.

Барон Карл фон Штейн уже в Вильне неизменно находился в свите нашего Государя, но прежде мне как-то не доводилось слышать его речей, а точнее не получалось прислушиваться к ним.

Вообще я как-то на личность этого незаурядного человека не очень прежде обращал внимание, а зря. Меня, например, более интересовал британский агент бригадный генерал Вильсон, все время крутившийся в Вильне. Между тем, фон Штейн, как выясняется, гораздо крупнее и интереснее, во всяком случае для ведомства Высшей Воинской полиции и для меня лично.

Оказывается, барон создает Российско-германский легион, в составе коего уже насчитывается не одна сотня человек. Легион сей призван оказывать сопротивление силам Бонапарта на территории королевства Прусского, но он может действовать и в пределах Российской Империи.

Барон рассказал, что в легион у нас вступают офицеры — выходцы из Германии, находящиеся на русской службе.

Вообще фон Штейн является давним поборником тайных обществ, которые, по его словам, должны способствовать ниспровержению бонапартовой тирании, ибо только на полях сражений ее никак не одолеть. Это уж точно!

Барон — умница. Не зря Бонапарт его преследовал и фактически изгнал из Пруссии.

«Теперь настала пора», — запальчиво сказал барон всем присутствовавшим на обеде, — «создавать тугенбунд на бескрайних российских просторах. Бонапарт хитер, изворотлив, жесток, и чтобы победить его, надобно тоже быть хитрым и жестоким. Для борьбы с ним необходимы тайные союзы сопротивления».

Арндт понимающе кивнул при этом. Барклаю же речь барона показалась чрезвычайно неожиданной, но весьма полезной, и директор канцелярии Барклая хитрющий полковник Закревский выглядел в высшей степени заинтересованным. Я же просто-напросто млею от восторга, слушая Штейна: его слова лили бальзам на мою душу.

Кажется, сегодня нежданно-негаданно я обрел потрясающего единомышленника.

Высшей Воинской полиции, без всякого сомнения, весьма пригодятся услуги Германо-русского легиона и лично барона фон Штейна, теоретика и тактика тайной борьбы с Бонапартом.

Я прикомандировал к особе барона двух сотрудников Высшей воинской полиции — полковников Розена и Ланга, о чем тут же сообщил фон Штейну. Барон необычайно обрадовался этому известию и назвал сию меру чрезвычайно отрядной.

Расстались мы несомненными приятелями; во всяком случае, людьми понимающими друг друга.

Так что обед у главнокомандующего Первой Западной армии не был обилен, но он был весьма полезен и многообещающ.

Придя к себе, я тут же призвал коллежского секретаря Валуа — он квартировал в соседнем доме —, полковника Розена, вернувшегося несколько дней назад из Риги, и полковника Ланга, коих я отлично помню еще по работе в министерстве полиции, у Балашова, а также ковенского полицмейстера майора Бистрома.

Я разъяснил полковникам Розену и Лангу, что отныне они будут находиться в распоряжении барона Карла фон Штейна и явятся связующей ниточкой между Немецко-русским легионом и Высшей воинской полицией. Однако при этом оба они остаются в моем подчинении.

А майору Бистрому, вынужденному покинуть Ковно в связи с приходом туда войск Бонапарта, я приказал безотлучно находиться при особе барона фон Штейна.

Кроме того, я оставил распоряжение (Валуа тут же заготовил соответствующий указ), что пока я буду пребывать в Москве, делами Высшей Воинской полиции будет ведать полковник Розен.

Одновременно я строжайше потребовал, дабы полковники Розен и Ланг ежедневно мне присылали донесения.

Мы договорились, что связь меж нами будет осуществляться чрез надежнейшую и быстрейшую «жидовскую почту» — учеников Старого Ребе (Шнеура Залмана). Они все станут доставлять лично мне в руки. Сам же Старый Ребе со своим многочисленным семейством движется в обозе нашей армии — Бонапарт приказал поймать его и казнить.

Все, теперь можно ехать. На шесть часов утра у меня назначена аудиенция с Государем, после коей я тут же и отправлюсь в путь (коллежский секретарь де Валуа, квартальный надзиратель Шуленберх, виленский полицмейстер Вейс, охрана и камердинер мой Трифон, да еще кучер из штата Высшей Воинской полиции — таковы лица, сопровождающие меня).

Да! И еще мы сошлись с бароном Штейном на любви к Шиллеру, старому и неизменному моему кумиру.

Барон, выдающийся политический деятель, оказался вместе с тем необыкновенно тонким и глубоким ценителем великого немецкого барда, а моих обожаемых «Разбойников» он просто знает наизусть.

Фон Штейн с необыкновенным воодушевлением прочел мне несколько монологов Карла Моора — прочел звучно, выразительно, с воодушевлением.

Я же, в свою очередь, поведал о своем знакомстве с Шиллером и обещался подарить барону фон Штейну некоторые собственные разыскания, касающиеся бессмертных творений автора «Разбойников».

В общем, мы сошлись не на шутку. Я сильно рассчитываю, что Империи Российской будет от этого немалая польза, а негодяю Бонапарту — серьезный урон.

Ура! Да здравствует союз Высшей Воинской полиции и Немецко-русского легиона!

Вообще в Высшей воинской полиции немало соотечественников барона, так что, я уверен, совместную работу с легионом будет наладить не сложно. Он, между прочим, придерживается того же самого мнения. Еще барон предложил прислать ко мне в Москву своего постоянного представителя. Конечно, я тут же согласился.

Обидно только одно, как же я прозевал фон Штейна?! Мы ведь могли сойтись гораздо ранее — он прибыл в Вильну еще в апреле сего года, вместе с Государем, и находился при особе Его Величества неотлучно! Досадная оплошность!

Но, конечно, барон еще пригодится. Надо хотя бы теперь не терять его из виду. Такими союзниками не бросаются. Мы явно необходимы друг другу. И Императору. И России. И грядущей победе над этим извергом Бонапартом.

Июля второго дня. Первый час ночи

Ровно в шесть часов утра камердинер Зиновьев ввел меня в кабинет Государя.

Александр Павлович сидел и просматривал текст воззвания к первопрестольной столице и манифест о созыве народного ополчения, сочиненные государственным секретарем Шишковым.

Увидев меня, Государь протянул мне бумаги и молвил: «На, Санглен, взгляни».

Когда я ознакомился с документами, Его Величество спросил меня: «Ну, что скажешь?»

Я сделал несколько дополнений, которые Государь тут же принял, а потом Его Величество стал подробнейшим образом очерчивать передо мной главные цели моей поездки в Москву.

Вошел граф Аракчеев и присоединился к нашей беседе.

Алексей Андреич отметил, что к моменту приезда в первопрестольную столицу Государя, все агенты Бонапарта, действующие в Москве, должны быть подвргнуты аресту.

Государь же поведал мне, что московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин пишет ему какие-то совершенно безумные письма, из коих следует, что едва ли не все жители Москвы являются агентами Бонапарта. Александр Павлович добавил: «Ты уж все в точности проверь». Я, естественно, обещал исполнить.

Государь настоятельно потребовал, дабы я каждый день посылал ему донесения на адрес смоленского губернатора (он сообщил мне, что 6 июня выедет в направлении Смоленска).

Граф Аракчеев, стоявший позади Государя, согласно и как-то строго кивнул головой, как бы подчеркивая важность императорских слов.

Аудиенция была закончена. За дверьми императорского кабинета меня ждал секретарь барона Штейна Арндт, с коим я давеча познакомился на обеде у Барклая.

Арндт пожелал счастливого пути и вручил мне весьма любезную записку барона, в коей, кстати, были указаны имена и адреса секретных чиновников Германо-российского легиона, пребывающие в Москве. Вообще сей Арндт как-то разговорился. Он лютно ненавидит Бонапарта и ради ниспровержения его готов всемерно содействовать нам, хотя выше всего на свете ставит германцев.

Провожали меня также полковники Розен и Ланг, жаждавшие получить последние инструкции. Особенно, конечно, был внимателен Розен, который в мое отсутствие будет заведовать делами Высшей Военской полиции. Кроме того, с букетиком роз прибежала Жозефина Мале, прелестная дресская трактирщица. Глазки у нее были заплаканы.

В восьмом часу утра я уже был в пути.

В карете (за нею следовал конный отряд, состоящий из нескольких рядовых секретных чинов Высшей военной полиции) вместе со мной сидели коллежский секретарь де Валуа, квартальный надзиратель Шуленберг (он — умница и человек в высшей степени занятный), виленский полицмейстер Вейс (служака многоопытный) и верный мой камердинер Трифон, многолетний спутник во всех моих походах, даже самых рискованных, таящих несомненную опасность для жизни. Трифон не мог себе позволить страшиться, в то время, как я ничего не боялся.

Я сначала просматривал деловую корреспонденцию, а затем взялся за чтение любимого моего Шиллера. В это время де Валуа, Шуленберг и Трифон перекидывались в картишки. Впрочем, довольно скоро де Валуа отстал от них и занялся бумагами.

В три часа пополудни я проголодался и приказал остановить карету. Мы все вышли и не успели пройти и десяти шагов, как очутились у жидовской корчмы. У дверей ее на лавочке сидел старичок.

Был он росточка совсем махонького: этакий гномик.

На редких белесых волосиках его покоилась огромная мохнатая черная шапка. Завидев нас, старичок с необыкновенной проворностью вскочил, растворил дверь, а потом подбежал к нам, жестом приглашая войти, что мы и сделали. Он был чрезвычайно забавен в своей любезности.

К нам подошла неписуемой красоты девица. Огненный взор ее буквально прожигал меня насквозь.

Девица наклонилась ко мне. Я весь зарделся. Но она отнюдь не собиралась амурничать — увы и ах!

Девица шепнула мне: «Господин военный советник! Я сестра Меера Марковского. У меня для вас есть письмо от него. Обождите. Я сейчас — мигом».

Девица опротясь бросилась вон из залы. Вскороги она вернулась — в ладошке ее был зажат крошечный квадратный пакетик.

Пока все обедали, я углубился в чтение. Оказывается, Меер прислал мне подробнейшее описание самой последней дислокации французских войск — вот молодец!

Меер — замечательный мальчик, сообразительности неслыханной. Он несколько лет учился у Старого Ребе, а теперь вот по указанию своего учителя служит переводчиком при штабе маршала Бертье.

Подозвав полицейского (одного из тех, кто сопровождал нас), я вручил ему письмо Меера и велел срочно доставить мне письмо Барклаю де Толли, главнокомандующему Первой Западной армией.

Ночевать мы остаемся в крошечной гостиничке при Свято-Троицком Герасимо-Болдинском монастыре.

Монастырь был основан преподобным Герасимом Болдиным, который поставил здесь первый деревянный храм в честь Святой Троицы.

Во время обильной вечерней трапезы ко мне подошел весьма молодой монашек с бравой офицерской выправкой и передал письмо от барона Штейна, моего нового приятеля и единомышленника, великого реформатора и теоретика партизанской войны.

Монашек поведал немало интересного. Он рассказал мне, что, кроме Германо-российского легиона, барон возглавил особый Комитет по немецким делам, который будет заниматься ниспровержением Бонапарта и значит станет содействовать работе нашей Высшей Воинской полиции.

В своем письме барон весьма любезно сообщал мне, что Бонапарт, сколько ему известно, направил в Москву двух своих личных агентов. Но они пока еще, видимо, не прибыли в первопрестольную столицу нашу, а скорее всего находятся в пути, и что ежели я встречу их, то мне следует немедленно подвергнуть их аресту. Однако имен вышеозначенных агентов фон Штейн мне не сообщил; видимо, они пока остались ему неизвестны.

Монашек также рассказал нам, что поблизости от городка Рославля находится замечательный Спасо-Преображенский монастырь, в коем хранится образ великомученицы Варвары.

Места тут весьма любопытные, но своеобразные и, как мне кажется, мало веселящие душу: сплошные холмы, овраги, частые озерные впадины и губельные, топкие болота. Печальные, тяжелые места — вынести их не так-то просто.

Да, забыл сообщить. Проезжали мы сегодня через городишко Велиж, приютившийся на берегу Западной Двины.

Местечко весьма занятное. Но главное достоинство Велижа — остатки крепости, когда-то, судя по всему, мощнейшей (говорят, что в ней было аж девять башен).

В Велиже ныне складировано продовольствие для российской армии. За этим следит 20-й егерский полк генерал-майора Горихвостова.

Я имел с сим Горихвостовым довольно-таки продолжительную беседу: это — умный и дельный человек, чрезвычайно широко образованный и вдобавок — занимательнейший рассказчик ^[18]. Я его заслушался, честно признаю это! А ведь меня самого принято аттестовать как завязатого говоруна и краснобая.

Не понимаю только, зачем такого умницу держать в такой глуши, пусть и романтической?

Генерал Горихвостов поведал мне немало интересного о здешних местах: то была целая комическая летопись велижской жизни. Знает он досконально и богатую, древнюю историю сего города, некогда большого и многолюдного.

Горихвостов говорит, что на следы былого величия указывают обширные рвы. Кроме того, генерал-майор делает и любопытнейшие этимологические выкладки. По его словам, в основе названия лежит корень «вел» в значении «великий, большой».

Рассказал мне генерал Горихвостов и легенду об основании крепости, которая, правда, очень мало согласуется с его же собственными этимологическими выкладками. Вот что это за легенда (передаю вкратце).

Неведомый русский князь разгромил отряд, охранявший безымянное некогда селение. Когда после битвы женщины вышли, чтобы оказать помощь раненым, князь спросил их: «Как называется это селение?» Поселянки молчали. Тогда князь обратился к своей дружине: «Как назовем это селение — славное место победы?» Дружина ответила: «Как ты велишь, князь!»

Велишь (ж)...

Велижская крепость!.. Кто знает о ней теперь из читающей публики? Почитай, что никто!

Надо будет потом записать рассказы генерал-майора Горихвостова или даже роман сочинить — давненько я не сочинял романов, а страсть как хочется.

Собрать бы вместе таинственные происшествия и загадочные события, связанные с несколькими столетиями Велижской крепости, и тиснуть в печать!.. Вот было бы здорово.

В жидовской корчме, расположившейся на холме, почти что у самой Велижской крепости, ждала меня почта. Содержал ее необыкновенно худой и столь же необыкновенно подвижный старик, маленькие прищуренные голубые глазки которого излучали лукавство и веселье. Помогал старику сын, за вычетом седины, всеми своими повадками необыкновенно напоминавший отца своего.

Мальчишка все время крутился около меня, но я углубился в чтение почты и особого внимания на него не обращал. Тут я почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав. Гляжу — это он. Увидев, что я, наконец, обратил на него внимание, сын корчмаря наклонился и шепнул: «Вы что не помните, господин военный советник?»

Ба, да это же приятель Яши Закса Гирш Альперн, один из учеников Старого Ребе (Шнеура Залмана), проклявшего Бонапарта и предрекшего его судьбу, того самого Старого Ребе, без коего деятельность Высшей Воинской полиции нашей Империи была бы совсем не так успешна.

Знаю, что сей Альперн жил сначала в Белостоке, а потом в Вильне.

Изумлению моему не было предела:

«Что ты делаешь сейчас в этой глуши? Как же ты попал в Велиж?»

Мальчишка отвечал, что Старый Ребе поручил ему дожидаться, пока по пути в Москву буду проезжать через Велиж, дабы получить у меня указания.

«А что за указания тебе нужны?»

Гирш разъяснил мне, что, по словам Старого Ребе, я должен рассказать, какие именно сведения сейчас более всего важны для Высшей Воинской полиции и могу даже отправить письма с вопросами.

«А где же сам Старый Ребе?»

Гирш сказал, что учитель движется вместе с нашими войсками, ибо Бонапарт приказал поймать его и повестить.

«Слушай, Гирш, объясни-ка ты мне, наконец, почему вы все настроены так против Бонапарта, он ведь уравнивал вас с правами с французами?»

Гирш лукаво, совсем по-отцовски улыбнулся, и тут же, не задумываясь, выпалил:

«Господин военный советник, я повторю лишь то, что сказал мне мой учитель. Уравнивая нас в правах, Бонапарт лишает нас наших преимуществ, таких преимуществ, потеряв которые, и жить дальше не стоит. У каждого народа есть собственные преимущества. Преимущества моего народа — это Закон. Прежде всего мы предназначены для того, чтобы изучать Тору и Талмуд, а он объявляет нас гражданами, такими же, как и все. Это означает конец Израиля. Пусть мы лучше будем угнетены, но останемся с Торой и Талмудом, с нашими ешивами и нашими цадиками. Поэтому мы выбрали императора Александра и благословляем его. А Бонапарт — наш заклятый враг на веки вечные, он хочет, чтобы мы исчезли, растворились среди других. Господин, военный советник, отправляя нас в армию Бонапарта, Старый Ребе привел слова Якова Ицхака из Люблина (его называют Хозе, что на нашем языке означает Ясновидящий): Чтобы победить, надо было Бонапарту вести войска на наших цадиков, а не на армии противостоящих ему стран».

Вот такой притчей пототчевал меня мальчишка в жидовской корчме на окраине Велижа, у старинной, выдавшей виды русской крепости.

В этой истории было не одно только хвастовство. Старый Ребе ведь проклял Бонапарта. Всерьез проклял. И, думаю, что навсегда. Бонапарту не сбросить с себя сего проклятия.

Да, Гирш Альперн поведал мне еще одну историю, не менее любопытную, чем первая.

В отличие от цадиков, настроенных против Императора Франции, к Бонапарту относился более или менее благожелательно ребе Исраэль из Кожениц.

И, находясь на территории Герцогства Варшавского, Бонапарт явился к ребе Исраэлю за благословением.

Когда Бонапарт входил к ребе Исраэлю из Кожениц, тот как раз читал строки из Свитка Эстер: «Napol tîro» (неминуемо падет). Ребе увидел в этом совпадении указание на гибель Бонапарта (Наполеон падет), о чем и не преминул тут же сообщить императору Франции, который остался без благословения.

Это пророчество весьма любопытно. Старый Ребе давно был супротив Бонапарта, а вот ребе из Кожениц искал с ним примирения, но даже и он кончил тем, что стал пророчить гибель супостату рода человеческого.

Два пророчества. И противник, и союзник свидетельствуют о неминуемом падении величайшего полководца.

И еще Гирш Альперн живо набросал мне хронику слов и деяний Старого Ребе за протекшие недели.

Как только враг и всеобщий губитель вступил в польскую окраину, Ковну и Вильну, Старый Ребе стал совещаться с друзьями и учениками о возможности ухода вглубь России.

Старый Ребе говорил, что ежели Бонапарт устоит супротив своего безумного самомнения и не двинется в пределы самой России, то, может быть, удержит за собою польский край и тем спасет себя. В том же случае, если Всевышний не затмит ум императора Франции и он не пойдет далее, настанет великое белствие для евреев. Коли Бонапарт останется в польском красе, ни один из евреев не будет ни при своей вере, ни при своем достоянии.

Старый Ребе ежечасно сокрушался, неустанно читал псалмы и возносил молитвы Господу, чтобы Он проявил свое милосердие и отвратил зло. И еще учитель деятельно заботился о засылке разведчиков в стан неприятеля.

Видя, что Бонапарт подвигается вперед, Старый Ребе твердо решил удалиться из Ляд, говоря так: «Мне милее смерть, нежели жить под его властью». И учитель со своими близкими отправился в путь, не взирая на свою старость, крайнюю слабость и холод.

Гирш Альперн не был в числе тех, кто провожал Старого Ребе. Но он встретил своего учителя в Вязьме, куда тот прибыл в сопровождении могилевского губернатора Толстого.

Старый Ребе подозвал Гирша и сказал ему, что двинется далее, минуя Москву. «Отчего же так?» — спросил Гирш.

«Да смилостивится Всевышний! Враг берет верх, и я думаю, что он овладеет и Москвою» — отвечал учитель и залился слезами. Но затем он радостно улыбнулся и сказал: «Хотя враг и возьмет Москву, но он не удержится и мы будем спасены. Но, увы, при отступлении будет разорена вся Белоруссия».

Присутствовавший при нашей беседе сын Старого Ребе изумленно спросил: «Отец, но Бонапарт еще не вступил в Москву, а если возьмет ее, то, может быть, отступит совсем по другому направлению».

Старый Ребе возразил на это так:

«Москву всеобщий губитель вскоре возьмет, но это и будет началом его гибели. Он не удержится в Москве и отступит именно по Белоруссии, а не по Малороссии. Вот увидите, дети»^[19].

Да, Гирш Альперн. Интересные истории ты рассказываешь, чрезвычайно интересные. Я их все запомню, как и эту мимолетную встречу.

Я надеюсь, что мы еще не раз повидаемся. Но, главное, Гирш Альперн, умный и занятый мальчик, ты мне очень и очень нужен и понадобится впредь, во всяком случае в течение ближайших месяцев, пока не одолеем Бонапарта.

Когда мы выезжали из Велижа, мое внимание привлекла группа людей, тарачивших на нас глаза. Они были одеты в крестьянское платье, но крестьянами явно не были — их выдавали холеные, откормленные физиономии.

Надо было срочно выяснить, что это за маскарад. У меня стали роиться всякого рода подозрения.

«Я уверен, это балашовцы», — шепнул мне квартальный надзиратель Шуленберх.

«Надо еще убедиться в этом. Поди проверь», — приказал я.

Шуленберх тут же бросился к группе мнимых поселян.

Вскоре он вернулся, торжествующий и радостный. Можно было даже и не расспрашивать его о том, что он узнал: это были, действительно, балашовцы.

«Необходимо всех их связать и запереть, дабы они не узнали, по какой дороге мы выедем», — сказал я Шуленберху.

Квартальный надзиратель, кликнув рядовых чинов Высшей Воинской полиции (из тех, что сопровождали нас), двинулся к ничего не подозревавшим балашовцам.

Переговоры были короткими. Балашовцев основательно отдубасили и заперли в хлеву. Увы, мера эта была совершенно неизбежно (запереть) — догляд балашовских агентов был мне совершенно не нужен. Да и вообще это был мой привет любезному моему Александру Дмигричу.

От Велижа мы спешно — пока балашовцы не выбрались из хлева — двинулись в сторону местечка, именуемого Рудня.

Название свое оно получило от речки Рудня, дно которой покрыто глиной красноватого цвета. Вода в речке ржавого цвета. Так что это как бы река Красная и, соответственно, местечко Красное.

Неподалеку от Рудни есть большое село Любавичи. Видел его лишь издали, а страсть как хочется там побывать!

Говорят еще, что в близлежащем крае есть тут город Белый (сейчас мы не заезжали туда). А направляемся мы в губернский город Смоленск.

Не образовано ли название последнего от слова «смола»? Во всяком случае, это первое, что приходит в голову.

Ежели мое предположение верно, то второе название города должно звучать так: Черный. Так что на самом деле слово «Смоленск» отнюдь не ласкает слух, отнюдь.

И стоит Смоленск на реке Смольня (Черной). Страшное дело. Смоленск на Смольне. Черное на черном. Говорят, тут жило когда-то племя «смолене» — черные люди.

Миновав город Белый, проехав местечко Красное (Рудня), мы едем в город Черный. Чую, быть ему скоро покрытым пеплом пожарищ.

Стоит, впрочем, — как рассказал мне вездесущий де Валуа — всего в нескольких десятках верст от Смоленска, на старой смоленской дороге, (он гораздо ближе, чем Рудня) крошечный городок, который так и называется — Красный^[20].

Рудня (красное). Белый. Красный. Смоленск (Черный).

Красный. Белый. Красный. Черный. Страшноватая цветовая гамма получается. Пророческая.

Как будто дававшие эти названия уже знали о Бонапарте или хотя бы предчувствовали его появление, предчувствовали грозящую моему Отечеству страшную беду.

Ой! Гореть Смоленску, гореть едва ли не дотла, обуглиться ему, почернеть под пеплом. Увы, будет так. Быть ему полным Смоленском.

От судьбы не уйдешь. Да и не станет Бонапарт жалеть русской славы, русской истории и русских жизней. А мы?!

Бонапарт-то не пожалеет, а мы-то сами как?! Мы себя пожалеем? Побережем себя?

От этих вопросов у меня самого волосы встают дыбом. И ответ неудержимо (и, надо сказать, что это грустный ответ) просится, но страшно его произнести.

Крово-пепельная гамма (красный, белый, черный) названий некоторых смоленских городов и местечек навеивает на меня тоску и уныние, такое уныние, что и передать невозможно. Кошки скребут на сердце.

По русской земле движется неисчислимое воинство Бонапарта, и я должен что-то сделать, дабы остановить его, должен противодействовать замыслам сего супостата. Кажется, это невозможно, ибо враг многочислен, коварен и жесток, но как Директору Высшей воинской полиции мне нужно что-то делать.

Июля третьего дня. Одиннадцатый час ночи

Утро. Мы в Смоленске, по-своему живописном, уютном, но слишком уж пыльном и душном.

Трифон начал распаковывать вещи. Я же и де Валуа тут же побежали осматривать город (Шлыков, Шуленберх и Вейс устали и легли отдыхать), пока изнуряющий зной не вступил в свои законные права.

Побывали мы в церкви Петра и Павла на Городянке и в церкви Иоанна Богослова на Варяжках, на Соборной горе и, конечно же, осмотрели смоленскую крепостную стену.

Потрясающе! Всего сохранилось аж целых 17 башен. Мы влезли на Костыревскую (Красную), Заалтарную (Белуху) и Волкову (Стрелку) ^[21]. Более пока не успели, но мы еще наверстаем упущенное. Я надеюсь.

Страшные предчувствия, касающиеся судьбы города, на время, кажется, оставили меня.

Прогуливаясь после обеда в сопровождении де Валуа, Шлыкова, Вейса и Шуленберха по Богословской улице, запруженной колясками и телегами, я обратил внимание на расположившуюся в маленьком палисадничке совсем небольшую группу молодых людей (кажется, их было всего трое), смуглых, носатых, обладавших живыми, темными глазами, активно жестикулировавших.

Вдруг один из них отделился от своей компании и стремительным, даже каким-то летящим шагом подбежал ко мне, сияющий и радостный.

Удивлению моему не было предела, когда в подошедшем я узнал сына виленского аптекаря, моего доброго знакомого и отличного помощника, оказывавшего немалое содействие Высшей Воинской полиции.

Яша Закс (а это был именно он, сын виленского аптекаря) чрезвычайно обрадовался моему изумлению, да и мне самому, хотя, как выяснилось, он ждал встречи и даже рассчитывал на нее.

Между прочим, Закс сообщил мне: «А я тут поджидаю вас, Яков Иваныч. Мне необходимо сообщить вам важное известие. Агенты, посланные Бонапартом с особым поручением, находятся сейчас в Смоленске».

Я даже вздрогнул, услышав это, и выкрикнул, не переводя дыхания:

— И кто же это? Ты их знаешь?

Закс улыбнулся моей нетерпеливости и молвил:

— Естественно, знаю, Яков Иваныч.

— И кто же это? Говори же — не томи, — выпалил тут же я.

— О, Яков Иваныч, — отвечал мне весело Закс, — это ваши старинные знакомцы, коих вы не так давно даже приютили у себя, в вашем чуденьком кабачке Бауфала, что у кладбища: я имею в виду графиню Коссаковскую и полковника Андриевича.

— Ты уверен?

Закс кивнул головой.

— И где же они находятся? Местонахождение их известно? Если нет, надобно непременно узнать.

— Известно, известно, Яков Иваныч. Они остановились в гостинице «Золотая корона». Я даже скажу вам более, ибо слежу за беглецами со вчерашнего утра: поселились Коссаковская и Андриевич под именем супружеской четы Корсаковых.

Тут я бросил Шуленберху и Вейсу: «Немедля бежим в Золотую корону».

И мы тут же ринулись. Закс с приятелями указывал нам путь.

Однако все было напрасно. Хозяин гостиницы, толстый и неповоротливый господин, некто Васильевский, флегматично сообщил нам, что с час назад супруги Корсаковы все сполна уплатили и съехали.

Я тут же хотел продолжить поиски, но Закс резонно сказал мне:

— Яков Иваныч, кажется, нет смысла бежать сейчас вслед за ними. В самое ближайшее время вы повидаете их в Москве: они ведь именно туда направились. Так что не волнуйтесь: встретитесь.

И то правда, подумал я и пошел заказывать номер в «Золотой короне».

Гостиница оказалась преотличной — она была даже более или менее чистой.

Устроившись на месте, я тут же принялся писать донесения заведующему военными делами графу Аракчееву и Главнокомандующему Первой Западной Армией Барклаю де Толли. Кроме того, я написал письмо барону Штейну, майору Бистрому и несколько записок с распоряжениями для коллежского асессора Розена и капитана Ланга.

Потом я, в сопровождении коллежского секретаря Валуа, отправился к смоленскому военному губернатору и поручил ему подготовить все для приема Государя Александра Павловича, который может появиться здесь буквально уже через пару дней.

Особо я попросил губернатора позаботиться о надлежащей охране нашего Императора.

Губернатор обещал составить план действий и завтра с утра показать его мне, после чего мы покинем Смоленск и двинемся в Москву.

Ужинали мы в трактире «Смоленское веселье», совсем не веселом и даже не совсем чистом; при этом вино было чересчур кислым, картошка недожаренной, а телятина пересоленной.

Ежели бы не колкие остроги, в коих искусно упражнялся Валуа, мы бы все увяли, припудренные обильной смоленской пылью, рыжей и густой и отмываемой огнюдь не с одного разу — смоленская пыль прилипчива.

Когда после ужина мы возвращались к себе, было слышно, как в каком-то переулке бьют французов, а на Леонтьевском проспекте мы обнаружили груды тел — то ли это были лежавшие в беспамьятстве пьяные, то ли избитые, или даже убитые, патриотами до полусмерти загулявшие французы.

Теперь же Трифон читает очередной готический роман, Валуа возится с бумагами, Шуленберх и Вейс перекидываются в картишки, а я вот делаю очередные записи в своем тайном дневнике.

На улице раздаются истошные вопли на французском: кажется, опять кого-то бьют, и сильно.

Де Валуа рвется спасти несчастных, Трифон мой, видно, совершенно спятив, хочет идти с ним, но я категорически запрещаю им выходить из «Золотой короны».

Да и что тут обсуждать? Патриоты Трифона и де Валуа уложат вместе с французами, да де Валуа-то и есть самый несомненный француз, при всем своем российском подданстве. И Трифона за компанию прибьют.

Что же делать? Что же тут можно делать?

Стихию народного гнева, организованную городскими властями, окриком «разойдитесь, мерзавцы!» не одолеешь.

Под эти непрекращающиеся крики, к моему величайшему сожалению, придется скоро идти спать. Вот и все. Грустно.

Июля четвертого дня. Полночь

В семь часов утра примчался адъютант губернатора полковник Ростиславлев. Он принес мне план мероприятий по встрече и охране Государя. Все было составлено толково и дельно. Я сделал все-таки ряд замечаний, но они были частные и не затрагивали вопроса по существу.

Счастливым полковник убежал докладывать по начальству, а мы пошли завтракать в «Смоленское веселье».

Улицы были усеяны телами избитых и убитых французов. Валуа и Трифон шли, прикрыв глаза руками.

К концу завтрака опять прибежал адъютант губернатора — он доставил мне перебеленный уже писарем, с учетом моих исправлений, план мероприятий по встрече Государя.

Проглядев бумагу и не найдя в ней больше ничего такого, что требовало бы исправления, я спросил: «Полковник, а знаете ли вы, что всю ночь в Смоленске творились бесчинства, что устраивали расправы над французами?»

В ответ Ростиславлев молча кивнул мне. Тогда я спросил вот что: «Но почему властями не было ничего предпринято, чтобы предотвратить это самоуправство?» Полковник потупил голову и ничего не отвечал мне.

Тут я задал еще один вопрос: «А известны ли вам хотя бы имена зачинщиков? А если известны, то будут ли они наказаны?»

Лицо полковника покрыла смертельная бледность. Он вплотную приблизился ко мне (я увидел, что все лицо его усыпано мелкими бисеринками пота) и шепнул мне на ухо: «Господин военный советник, то было решение губернатора». Тут настала моя очередь бледнеть, и как еще бледнеть.

Я отодвинул от себя стакан чая и тарелку — мне было худо. Ничего не понявший Валуа смотрел на меня с крайним изумлением.

Из «Смоленского веселья» я уходил, понурился головой. В ответ на предложение полковника Ростиславлева встретиться еще раз с губернатором, я отрицательно мотнул головой.

Мы вышли из трактира и не спеша шли в направлении нашей гостиницы. Де Валуа, отнюдь не догадываясь о причине охватившей меня печали, тем не менее пытался меня утешать. Полицмейстер Вейс и квартальный надзиратель Шуленберх вторили ему, и так же безуспешно.

Тут навстречу нам высочил полковник Ростиславлев, с которым мы, казалось, только что расстались.

Полковник шел, вытянув руку со сжатым кулаком и радостно улыбаясь. Подойдя ко мне, он разжал кулак: на огромной квадратной ладони свернулся калачиком маленький конвертик. «Это вам», — сияя сказал мне Ростиславлев.

То была записка от барона фон Штейна. Барон писал мне, что в Москве, на случай занятия ее Бонапартом, мы должны оставить небольшой отряд, состоящий из верных людей. Это была дельная мысль.

Нам нужен наш троянский конь, а мне, видно, суждено быть российским Одиссеем. Не иначе.

Еще барон сообщал мне, что наконец-то образован Комитет по немецким делам, а он избран его председателем. Барон присовокупил написанное им воззвание к германцам, оказавшимся волею судеб в армии Бонапарта: «Германцы! За что воюете вы с Россиею, за что проникаете через границы ее и нападаете с вооруженной рукою на народы, кои в течение нескольких веков состояли с вами в приятных сношениях, принимали в недры свои тысячи соотичей ваших, даровали талантам их награждение и определяли занятие трудолюбию их?» Он так же поведал мне, что уже около шестисот германцев перешли на нашу сторону и вступили в Германно-российский легион [22].

Я тут же написал ответную записку к барону и вручил ее полковнику, который обещал ее переправить по назначению.

Вечером принесли мне донесение от поручика Ривофиналли из Москвы, в коем последний, среди ряда известий, сообщал мне следующее.

В одной из модных лавок на Кузнецком мосту он встретил случайно графиню Коссаковскую и пана Андриевича, но проследить за ними, увы, не удалось — коварная парочка улизнула, как сквозь землю провалилась. Но хотя бы мы доподлинно знаем теперь, что они уже находятся в Москве и, значит, прибыли к месту своего назначения.

Я отправил поручику Ривофиналли записку с нарочным, в коей указал — постоянно и неутомимо рыскать по Москве и искать пропавшую парочку — графиню Коссаковскую и полковника Андриевича.

Кошмарнейшее битье французов в Смоленске продолжается, при полнейшем попустительстве и даже одобрении местных властей, что кажется мне противозаконным и совершенно не вызывает моего одобрения. Но сделать я тут ничего не могу. Сие не в моей власти. Так что, видимо, придется мне помалкивать и искать настоящих шпионов, кои тоже тут хватает.

Буду заниматься тем делом, что мне поручено, хотя вид бессудных расправ печалит и жжет мне сердце.

Думал ли я, живя в великой Империи, что доживу до лицезрения такого ужаса? Да мне и в голову такое никогда не могло прийти.

На глазах происходит нечто совершенно невозможное.

Подданные оказываются чистыми зверьми, и представители власти не останавливают, а наоборот — способствуют этому, ища какую-то выгоду в пролитии крови, в смертоубийстве.

И я тоже тут представитель власти. Так что же мне теперь предпринять? Дать пощечину губернатору? Вызвать его на дуэль? Арестовать?

Что-то нужно делать прямо сейчас, но что именно?!

Я не понимаю, что же можно в такой ситуации предпринять мне. Но далее терпеть то, что власть оказывается организатором беспорядков, уже просто невозможно.

Июля пятого дня. Одиннадцатый час ночи

Еще не наступило пять часов утра, как Трифон начал укладывать наши вещи. Квартальный надзиратель Шуленберх и полицмейстер Вейс содействовали ему.

Полицейские из нашей охраны в несколько приемов перетаскали в карету всю поклажу — одни только книги да бумаги составили три весьма поместительных тюка.

Около шести часов утра явился к нам в гостиницу Яша Закс — он принес список надежных московских адресов и последние донесения, доставленные «жидовской почтой» (большое письмо прислал майор Бистром с обстоятельнейшим рассказом о Германо-российском легионе).

Я же написал несколько записок (к Государю, к графу Аракчееву, к Барклаю де Толли и барону Штейну, а также к Розену и Лангу), вручил их Заксу и отправил его в расположение наших войск, в Дрисский лагерь — армия должна покинуть лагерь после отъезда Александра Павловича и его свиты.

А ближе к семи часам утра прибыл с прощальным визитом полковник Ростиславлев, передавший, кстати, записочку от губернатора, весьма милую и любезную. Но эта записочка, при всей ее корректности, с губернатором меня отнюдь не примирила, хотя на дуэль, конечно, я его не вызвал.

Еще полковник Ростиславлев ознакомил нас с манифестом о всеобщем ополчении. Манифест сей уже дошел до Смоленска (прежде я читал черновую рукопись; ее показывал мне в Дрисском лагере адмирал Шишков).

Все вместе мы (Ростиславлев особенно сдружился с де Валуа) отправились завтракать в трактир «Смоленское веселье», а затем погрузились в карету и двинулись в направлении Москвы.

Вот и остался позади Смоленск, пребывание в коем было не столько работой, сколько передышкой, правда, тяжелой передышкой: слишком много грустного нам довелось там увидеть.

Мы еще сделали короткую остановку в близлежащем уездном городке Духовщина ^[23] (он возник на месте Духовского монастыря и прилепившейся к ней Духовской слободы) — надо было забрать в жидовской корчме почту.

Шел девятый час утра.

Шуленберх и Вейс сначала переговаривались о чем-то, но довольно-таки быстро оказались в объятиях Морфея, который, между прочим, довольно долго не отпускал их.

Де Валуа все возился с бумагами, а я в это время изучал и обдумывал список, оставленный мне Заксом, и выстраивал план дальнейших своих действий.

Спать совсем не хотелось.

На душе у меня было очень беспокойно. Одолевали мрачные предчувствия, причем, все сильнее и сильнее.

Бонапарт — противник, мало расположенный к шуткам. Дьявольски умный и не знающий пощады.

Многознающий барон Штейн, вынашивающий идею заговора как главного средства борьбы с тиранией, советует мне заранее подготовить надежных людей, которые останутся в Москве в том случае, если ее займет Бонапарт.

Значит, барон предполагает такую возможность? Предполагает, что мы можем отдать Москву? Да, судя по всему, предполагает и не собирается этого скрывать. От меня во всяком случае.

Что греха таить! Я ведь и сам не очень-то и верю, что мы сейчас удержим первопрестольную столицу нашу. Уж больно противник надвигается серьезный, а мы слишком уж легкомысленны.

Обедали мы (было это в четвертом часу пополудни) в придорожном трактире, грязном немисливо и провонявшем, кажется, совершенно до основания, но еда была довольно вкусной и, главное, сытной — теперь нам не до разносолов.

Потом, чтобы хоть немного размяться, мы прошлись по лесочку, понежились в прохладе, попробовали дикой малины (чуть, было, даже не увлеклись ее дальнейшими поисками — я с трудом удержал всех), вернулись к нашей карете, расселись по местам и двинулись далее в путь.

Москва становилась все ближе и ближе, а на сердце у меня становилось все тревожней и тревожней, чего спутники мои (да, я забыл сказать, что в дороге к нам присоединился бежавший из варшавского плена поручик Степан Григорьевич Шлыков, который столь претерпел в прошлом от разыскиваемой ныне нами графини Алины Коссаковской), кажется совсем не замечали. Сами они были страсть как довольны, что расстояние между нами и Москвой неудержимо сокращается.

Все дело в том, что ни кварталный надзиратель Шуленберх, ни полицмейстер Вейс, ни надворный советник Шлыков (я уже не говорю о слуге моем Трифоне, который, кроме готических романов, знать ни о чем не хотел) никогда не состояли в переписке с редкостным умницей бароном Штейном, никогда не переговаривались с ним. Где же им было знать, что Москва запросто может стать добычей французов?!

Под вечер мы прибыли в Вязьму. Городишко этот довольно-таки любопытен ^[24].

Я с де Валуа и Павлом Александровичем Шлыковым еще даже успели осмотреть некоторые достопримечательности: Иоанно-Предтеченский монастырь шестнадцатого столетия, Собор Троицы и Спасскую башню семнадцатого столетия и кое-что еще, весьма любопытное. Кстати, Спасская башня — это единственное, что осталось от древней вязьминской крепости. Да, посетили мы еще Аркадьевский монастырь.

Во время прогулки нашей по Вязьме я познакомился с Алексеем Федоровичем Грибоедовым (как впоследствии выяснилось, это был родной дядюшка полномочного министра и литератора Александра Сергеевича Грибоедова: бессмертного творца «Горя от ума» — позднейшее примечание Я.И. де Санглена), местным помещиком, владельцем чудесного имения Хмелита, расположенного недалеко от Вязьмы.

Алексей Федорович долго расписывал нам красоты речки Хмелянки и звал в гости, на что я отвечал, что мы непременно посетим его, но лишь после того, как одолеем Бонапарта.

В ответ Грибоедов оглушительно захохотал, вытаращив черные навывкате глаза и дергая себя за громадные усы. Такая реакция мне не очень понятна — он что не верит в нашу победу над Бонапартом? Надо будет разобраться в этом как следует.

Еще Грибоедов рассказал нам, что несколько окрестных помещиков (им были названы несколько фамилий; мне запомнились следующие: Небольсин, Муромцев, графиня Ливен, князь Баратаев) перевешало у себя в своих имениях гувернеров-французов, да и поварам французского происхождения досталось: кого не повесили, того подрезали ножичком. «Крестьяне, — присовокупил Грибоедов, сладостно улыбаясь, — были в совершеннейшем восторге. Говорят, заливались со смеху и аплодировали».

Местным полицейским властям сие кровожадное самоуправство отличнейшим образом известно, но к последствиям это никаким не привело — виновные, увы, отнюдь не подвергнуты какому-либо наказанию; они даже не были ни разу вызваны к исправнику и им не было поставлена на вид предосудительность их поведения.

Будучи вынуждены отклонить любезное предложение Алексея Федоровича Грибоедова посетить Хмелигу, заночевали мы в Вязьме.

Название сего места, как объяснили мне старожилы, происходит от слова «вязь» (топь, болото). Да, в этом краю за-вязнуть легко. Край совершенно вязьминский. Пробираться по нему следует с немалой осторожностью.

Вязьминский городничий, в благодарность за то, что я оставил ему копию манифеста о созыве всеобщего ополчения, и вообще в знак уважения, выделил нам в своем особнячке целый этаж и угостил отличнейшим ужином. Угостил на славу!

Правда, мне показалось, что Городничий избегал говорить о Бонапарте и как-то все поглядывал в тарелку свою, стараясь не подымать глаз. Все это поначалу показалось мне довольно странным и даже подозрительным. Да и не только мне показалось.

Де Валуа игриво шепнул мне на ухо: «Яков Иваныч, обратите внимание — городничий явно не в своей тарелке».

Уже не из сочувствующих ли он Бонапарту?» — подумал я о городничем. Но кажется, он был просто смущен тем обстоятельством, что имеет честь вести беседу с самим Директором Высшей Воинской полиции.

Так во всяком случае считает поручик Шлыков. И, по всей вероятности, поручик прав.

Отужинав, мы решили между собой, что с самого утра двинемся в путь как можно ранее, чтобы еще засветло прибыть в Москву.

Особенно, кстати, рвется Шлыков (и я его понимаю): уж очень ему хочется побыстрее отведать кровушки графини Алины Коссаковской, по милости коей он попал в плен и едва не расстался с жизнью.

Да и я, надо сказать, с нетерпением жду встречи с графинюшкой — мне тоже есть что ей припомнить, да и со спутником ее, полковником Андриевичем, тоже поквитаться охота. Только боюсь теперь заранее загадывать исход нашей новой встречи, которая несомненно состоится. Уж слишком частоим удавалось улизнуть от нас. Но надеюсь, рано или поздно, удастся одолеть сих демонов, сих ловких и бесстрашных пособников супостата Бонапарта.

Вообще, после того, как Государь из Москвы отправится в Санкт-Петербург (пока же он еще и Дрисского-то лагеря не покинул, а может уже и выехал из него, только что) и после того, как я отправлюсь из Москвы, видимо, на театр военных действий, полагаю, надворного советника Шлыкова стоило бы оставить в первопрестольной столице нашей — пускай вместе с ротмистром Ривофиналли дожидается тут Бонапарта. Да, быть по сему!

Глубокой ночью прибыл посыльный от барона Штейна — корнет Ламсдорф.

Он вручил мне записку, в коей барон сообщал, что Государь со свитой выехал и что войска Первой Западной армии начали оставлять Дрисский лагерь.

То-то радуется Главнокомандующий Барклай де Толли (я же радуюсь за него и за нас)! А он ведь к моменту моего отъезда настроился на худшее и никак не ждал такого исхода, стойчески готовясь к гибели вверенной ему армии!

Слава Богу! Мы спасены! Петля, которую мы сами собирались затянуть над собой, сброшена.

Да, собственная дурость страшнее и опаснее любого коварного умысла противника. Но мы, кажется, начали уметь. Это — хороший знак.

Взбудораженный радостной новостью, я никак не мог заснуть, послал за Павлом Александрычем Шлыковым, и мы пошли вдвоем гулять по Вязьме.

Было довольно темно, фонари почти нигде не горели, и мы довольно часто спотыкались о распростертые прямо поперек тротуаров тела — то были (как искренне разъяснил один из редких, встретившихся нам прохожих) «французские шпионы», уничтоженные вязьминскими патриотами.

Полиции не было видно совершенно нигде. Она напрочь исчезла, хотя днем город был буквально забит служителями порядка.

Такая перемена объясняется очень просто. Видимо, власти не хотят мешать здешним патриотам наводить законность в крае, в коем столь легко у-вязнуть и исчезнуть, раствориться в местной болотистой почве.

Несчастные «шпионы», прибывшие сюда в поисках лучшей жизни, несомненно будут отправлены в «вязь».

Исчезновения изрядной порции французов, ясное дело, никто не заметит.

Французов проглотит русская «вязь».

И мне и надворному советнику Шлыкову как-то стало не по себе от увиденного зрелища. Фантастический рассказ Алексея Федоровича Грибоедова о бессудных расправах в окрестных имениях получил, увы, весьма весомые дополнения, обрел, так сказать, плоть и кровь.

Гулять расхотелось. Мы вернулись в благополучный и уютный особнячок вязьминского городничего. Я только попросил поручика ничего пока не рассказывать о виденном коллежскому секретарю де Валуа, дабы не расстраивать его.

Попробуем теперь уснуть, коли удастся.

Я, впрочем, спать скорее всего не лягу, ведь скоро нам уже собираться в дорогу. Попробую-ка лучше сейчас предугадать — что же нас ожидает в Москве?!

Кстати, вездесущий коллежский секретарь, не выходя из дому, уже все знал.

Де Валуа, когда я и Шлыков вернулись с прогулки, сидел и работал с бумагами. Завидев нас, он стал спрашивать, не заметили ли мы на улицах города следы бессудных расправ.

Однако вездесущий де Валуа не только знал о происходящем, он рассказал еще такое, во что и я и Шлыков отказывались поначалу верить. Складывается забавная, но одновременно и грустная ситуация, из которой надо будет делать выводы: полицейские ищечки оказались намного более наивными и менее наблюдательными, чем ушлая канцелярская крыса.

От рассказа коллежского секретаря у нас волосы стали дыбом. Да, да, в прямом смысле слова. А лицо Шлыкова еще и стало белым как лист бумаги. Затем он дернулся, и его как будто вымело из комнаты.

Де Валуа же, как ни в чем не бывало, продолжал рассказывать.

Он утверждал, ссылаясь при этом на абсолютно достоверные, как он говорил, источники, что расправы осуществляются вязьминскими полицейскими, переодевшимися в гражданское платье. Коли это и в самом деле так (все еще не верится, не хочется верить), то дела обстоят совершенно ужасно.

Беззаконные деяния слуг порядка возмутительны и страшны по своим нравственным последствиям для нашего общества, которое и так нельзя назвать совсем здоровым.

Обдумывая вязьминские события, я пришел к твердому убеждению: необходимо немедленно сообщить Государю о тех безобразиях, что творятся в ведомстве Александра Дмитрича Балашова, министра-царедворца. Как только доберемся до Москвы, я тут же сажусь за письмо к Александру Павловичу.

Вначале я думал, что делать такие разоблачения не совсем прилично — Государь это воспримет как продолжение моих ссор с Балашовым. Но преступники зашли слишком далеко, и это напрочь лишает меня какой бы то ни было возможности выбора.

Полицейские никак не могут принимать участие в самовольных расправах, ни тем более организовывать их — Боже упаси!

Ежели виновных не постигнет кара, жизнь в нашей Империи сделается совершенно невозможной, и мы превратимся в Империю беззакония. Надеюсь, что последнего никогда не произойдет.

Строгие меры, касающиеся деятельности министерства полиции, должны быть приняты со всею неизбежностью, и личные мои отношения с Александром Дмитричем Балашовым, действительно, далекие от дружеских, тут совершенно не при чем.

Исхода нет. Государь Александр Павлович должен все узнать. Сего требует безопасность Российской Империи.

Полицейский не имеет права уподобляться разбойнику. Так что Александру Дмитричу Балашову придется всерьез отвечать за безобразия, совершаемые в его ведомстве. Поглядим, что он сможет представить в свое оправдание.

Конечно, в силу природенной ловкости, Балашов оправдается пред Государем, но меры по министерству полиции принять ему надо будет, всенепременно — голубчику никак не отвергнется.

В общем, Де Валуа говорил, а я слушал и делал свои выводы. Так продолжалось часа два, не менее, хотя за временем я не следил.

Вдруг раздался тяжелый топот шагов, а вскоре моему взору предстало довольно-таки необычное зрелище. Впрочем, может быть, зрелище это и было вполне обычным, но просто я в данной ситуации его никак не прогнозировал.

Четыре солдата полицейской службы вошли и что-то аккуратно положили на ковер. Это «что-то» было бесчувственным телом надворного советника Павла Александрыча Шлыкова. Но последний отнюдь не был избит бесчинствовавшими патриотами, как я поначалу решил. Все объяснялось гораздо тривиальней: он был просто мертвецки пьян.

Да, интересно получается. Шлыков не побежал останавливать полицейских, пошедших на смертоубийство, как собирался сделать, — нет, он побежал с отчаяния пить в кабак. Это, конечно, весьма неожиданный способ обращения с реальностью, неожиданный и одновременно глубоко показательный для нас.

Любопытно реагировал и де Валуа. Видно было, что он смотрит на распростертого на полу нашего сотрудника взором, полным самого настоящего ужаса.

Трифон же мой был совершенно спокоен и никакого изумления (а тем более ужаса) не выказывал. Он довольно-таки ловко перетащил Шлыкова на кушетку, стал раздевать его и обтирать мокрой, но тщательно отжатой тряпкой.

Де Валуа закрыл лицо руками. Ясное дело: ему было стыдно.

Вот такую ночь мы провели в Вязьме — чудном городке, о коем я, видимо, сохранил самые прескверные воспоминания, если более ужасные, более душераздирающие события их вскоре не перекроют.

Да, лучше бы мы съездили в очаровательную Хмелиту, к коллежскому советнику Алексею Федоровичу Грибоедову. О! как же сильно он зазывал меня.

В Хмелите точно нет истерзанных и убитых французов. Может, тогда воспоминания о здешнем крае были бы у нас чуть отраднее. Так что зря я отказался от

любезного приглашения коллежского советника, как мне кажется, тайного поклонника Бонапарта.

И в таком случае можно было бы сохранить идиллическое, незамутненное представление о Смоленской земле. Но этого, увы, не случилось.

Но были все же, признаюсь, и весьма приятные мгновения. Рискну по секрету поделиться одним весьма приватным воспоминанием.

Пока вязьминский городничий хозяйничал, а точнее разбойничал на улицах объятых страхом ночного города, я мял телеса его дебелией женушки (в пылу любовного восторга она кричала так, что, кажется, слышал весь дом — может, доносилась и на улицу, но явно терялось в воплях терзаемых несчастных французов).

А потом за госпожу городничиху принялся и де Валуа, удовольствовав ее дочиста. В общем, и коллежскому секретарю, воплощающему собою всю мою канцелярию, досталось толику радости, а не только мне одному.

Госпожа городничиха сердечно благодарила потом и меня и де Валуа, и спрашивала, не найдется ли еще желающих.

К моменту возвращения душегуба-городничего (он явился весь в поту, волоса спутаны, глаза горят), мертвецки пьяный Шлыков спал, а я, де Валуа и городничиха покойно и чинно пили чай в гостиной, ведя ничего не значащую беседу ^[25].

Июля шестого дня, а точнее, седьмого. Шестой час утра

Все. Путешествие закончилось. Мы наконец-то в желанной Москве, прекрасной, блистательной, шумной и одновременно очень родной — я ведь именно тут появился когда-то на свет.

В седьмом часу утра наша карета подъехала к Тишину переулку, тому, что расположен близ Драгомиловского моста.

Отставной ротмистр австрийской службы Винцент Ривофиналли стоял у порога деревянного флигелька и приветственно махал рукой, расплываясь в счастливой улыбке, — он уже ждал нас.

Да, поручик был не один. Рядом с ним стоял генерал-адъютант Василий Трубецкой ^[26]. Его громадная лошадинообразная фигура узнавалась издалека. Окажется, прибыл два часа назад, привезя с собою Государев манифест об ополчении и обращение Его Величества к Москве.

Позднейшая вклейка:

Первопрестольной Столице Нашей Москве

Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное Наше Отечество.

Хотя пылающее мужеством ополченное Российское воинство готово встретить и низложить дерзость его и зломыслие, однакож, по Отческому сердоболию и попечению Нашему о всех верных наших подданных, не можем Мы оставить без предварения их о сей угрожающей им опасности: да не возникнет из неосторожности Нашей преимущество врагу.

Того ради имея в намерении, для надежнейшей обороны, собрать новые внутренние силы, наипервое обращаемся Мы к древней Столице Предков наших, Москве.

Она всегда была главою прочих городов Российских; она изливала всегда из недр своих смертоносную на врагов силу; по примеру ее, из всех прочих окрестно-

стей текли к ней, наподобие крови к сердцу, сыны Отечества, для защиты оного. Никогда не настояло в том вящей надобности, как ныне. Спасение веры, Престола, царства того требуют.

И так да распространится в сердцах знаменитого Дворянства Нашего и во всех прочих сословиях дух той праведной брани, какую благословляет Бог и православная наша церковь. Да составит и ныне сие общее рвение и усердие новые силы, и да умножатся оные, начиная с Москвы, во всей обширной России!

Мы не уедем Самы встать посреди народа своего в сей Столице и в других Государства Нашего местах, для совещания и руководства всеми Нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными, на поражение оного везде, где только появится.

Да обратится погибель, в которую мнит он низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России.

Александр. Июля 6-го дня 1812

Между прочим, особенно обрадовался князю Василию полицмейстер Вейс, кинувшийся ему навстречу и даже облобызавший его. Вообще молчаливый, насушенный обычно Вейс был страшно растроган встречей — он чуть не рыдал от радости.

Все дело в том, что в мае месяце сего года в Вильне генерал-адъютант Грубецкой, обладающий уродливо длинным носом, обвенчался на семнадцатилетней дочери полицмейстера Софии Андреевны Вейс, девушке совершенно волшебной красоты.

Трифон тут же отправился готовить завтрак, Шуленберх вместе с сопровождавшими нас полицейскими занялся распаковкой вещей, а поручик принялся рассказывать мне, де Валуа, Шлыкову и Вейсу о последних московских событиях и о самой обстановке в первопрестольной столице. Она была весьма тревожной, но тревога, главным образом, исходила не столько от шпионов, сколько от московских властей.

Из рассказа ротмистра Ривофиналли странным образом следовало, что бороться следует не столько со шпионами, сколько с нашими неумными администраторами.

Это казалось мне невероятным: Москва все-таки — не провинциальная Вязьма. Во всяком случае верить в правоту такого рода утверждений нам совсем не хотелось, хотя Ривофиналли, пусть он и итальянец, человек трезвый, рассудительный и совсем не фантазер, не создатель воздушных замков и не безумец, одержимый манией преследования.

Ротмистр — отличный офицер, я ему в высшей степени доверяю (скажем, намного более, чем Шлыкову), и все-таки...

На вопрос мой о графине Коссаковской и полковнике Андриевиче, Ривофиналли ответил, что следов их пока отыскать не удалось: они, как сквозь землю провалились.

«Но мы непременно разыщем их», — добавил ротмистр. — «Ныне же могу заверить вас, господин военный советник, что в тех местах, где бываю французы, ни графиня, ни полковник ни разу замечены не были».

Вот такой состоялся разговор.

Потом мы с удовольствием позавтракали (Трифон поработал на славу). Причем, в особом восторге от искусства моего Трифона были Ривофиналли и князь Грубецкой.

После чего князь лег соснуть часок, а я и коллежский секретарь де Валуа принялись разбирать почту. Ротмистр же Ривофиналли и надворный советник Шлыков отправились на прогулку по Москве — Ривофиналли показывал Шлыкову наиболее подозрительные места, и, как выяснилось потом, не без успеха.

Собственно, Шлыков успел оглядеть основные шпионские гнезда, кои были размещены в чудесных московских особнячках (между прочим, особенно роскошно устроился мой старый виленский знакомец граф де Шуазель).

В это же самое время я послал Шуленберха и Вейса по адресам, которые оставил мне барон Штейн, дабы наладить связь между Высшей Воинской полицией и Германо-русским легионом. Особенно был важен один адресок, на что мне в минуту нашего расставания указал барон, коему, строго говоря, как раз и принадлежит счастливая идея ведения с Бонапартом партизанской войны.

В районе Сретенской полицейской части, на углу Малой Дмитровки и Успенского переулка (рядышком с церковкой Успения Богородицы) находится дом номер двенадцать, принадлежащий капитану Ивану Александровичу Уварову ^[27].

Это — обширное деревянное строение. На заднем дворе расположен большой запущенный сад. К дому же, отделенному большими воротами, примыкают два каменных двухэтажных флигеля, в коих поселились не так давно офицеры вышесозначенного Германо-российского легиона.

Всего их там наберется до тридцати человек, а командует ими отлично мне известный своими многообразными военными дарованиями подполковник связи фон Карл Клаузевиц ^[28], о чем сообщил мне в письме своем барон фон Штейн.

Как только прусский король заключил союз с Бонапартом, подполковник фон Клаузевиц перешел на российскую службу. Но еще в феврале месяце 1812-го года он составил трактат «Три символа веры», в коем доказывал, что Бонапарт может быть побежден лишь в союзе германского и русского народов, — именно народов, а не одних лишь армий. Я читал сей трактат. Подполковник — редкостный умница.

Как-то я встретился с фон Клаузевицем в Вильне за обедом у Баркляя (он привез командующему Первой армией и военному министру письмо от своего корпусного командира генерала Витгенштейна). Надо бы мне еще и тут повидаться с фон Клаузевицем. Это будет совсем не бесполезно для меня.

Если получится, наведаюсь-ка я завтра на Малую Дмитровку. Там у меня должна состояться еще одна встреча, важность коей трудно переоценить.

Дело все в том, что подполковник Егор Кемпен, принадлежащий к штату Высшей Воинской полиции, некоторое время тому назад по моему распоряжению был отозван из Мозыря. Поручик же Иван Лешковский (полицмейстер городишка Гродно) вынужден был оставить вверенный ему попечению Гродно по случаю занятия его французами. Кстати, я знаю Лешковского еще по службе в министерстве полиции, при Александре Дмитриче Балашове, и знаю с самой наилучшей стороны. Собственно, я и умолил Государя перевести майора из балашовского министерства в Высшую воинскую полицию, под мое начало. И я никогда не жалел об этом. Надеюсь, что не пожалел и впредь.

И Кемпен и Лешковский, по договоренности моей с бароном Штейном, прикомандированы ныне к Германо-российскому легиону, точнее к московскому отряду сего легиона. И они оба находятся как раз в распоряжении подполковника Клаузевица.

Надеюсь, что парочка сия прибыла уже в Москву и поселилась в доме капитана Уварова, в одном из поместительных флигельков. Во всяком случае так было условлено с ними обоими.

Для подполковника Кемпена и поручика Лешковского, личностей исполнительных и одновременно отчаянно смелых, я и барон фон Штейн, во время нашей последней встрече в Дрисском лагере, определили в качестве главной задачу готовить покушение на Бонапарта, ежели сей изверг займет Москву.

Я привез Кемпену и Лешковскому подробнейшую инструкцию, которую мы составили с бароном и его секретарем многоопытным и многомудрым Эрнстом Морицем Арндтом, давним и последовательным ниспровергателем злодея Бонапарта.

Ежели сей Арндт не говорит о превосходстве немецкой расы, его замечания всегда необыкновенно умны и точны. И он очень помог нам в составлении инструкции, как прежде помогал Шишкову в составлении Государевых манифестов.

В числе обитателей примыкающих к дому капитана Уварова двух флигельков, помимо офицеров Германо-российского легиона, между прочим, находятся и чиновники Высшей Войска полиции Второй армии, которые бежали от призыва генерала Багратиона, как известно, не терпящего иностранцев: это — Экстон, Пашинский и некоторые другие офицеры (и могу заверить, что среди них нет ни одного изменника).

Так что все оказались у дел — и Шуленберх, и Вейс, и Шлыков. У каждого в этот первый наш московский день было свое особое задание.

Между прочим, надворный советник Павел Александрыч Шлыков, предводительствуемый ротмистром Винцентом Ривофиналли, успел сходить даже в Дворянский клуб, на углу Большой Дмитровки и Охотнорядной площади, почти у самого Кремля.

Здание, правда, не особенно высоко, но огромно, и по обоим углам его находятся ротонды, украшенные колоннами. Шлыков в московский Дворянский клуб попал впервые, и восторгу его не было предела.

Сошлись мы все только к обеду, на протяжении коего каждый рассказал, что он смог увидеть и узнать. Новости раздобыть удалось, хотя и самого разного свойства, подчас весьма неожиданные.

Де Валуа в точности записал все, что поведали Шлыков, Шуленберх и Вейс.

Оказывается, Шуленберх и Вейс имели довольно-таки продолжительную беседу с группой офицеров, членов Германо-российского легиона. Те рассказали, что в случае занятия Москвы французами, они останутся в городе и будут заниматься сбором сведений о неприятеле.

Я же, присовокупив свою краткую записку, сложил сии бумаги в довольно объемистый пакет и отправил его с нарочным на имя генерала Аракчеева.

Да, два слова о полученной почте.

Барон Штейн сообщил известие, совершенно потрясшее меня и заставившее на какие-то мгновения даже начисто забыть о Москве и даже о поручении Государя. Вот о чем написал мне барон.

Генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион, командующий Вторую армию, арестовал и выслал в Пермь подполковника де Лезера^[29].

Я отлично знаю сего подполковника — он возглавляет во Второй армии Высшую Войска полицию и зарекомендовал себя отличным работником, бесконечно преданным интересам Российской империи.

Так вот Багратион, по словам барона, вдруг заявил, что де Лезер является агентом Бонапарта. И не только заявил, но и арестовал де Лезера, а затем отправил его из армии.

Ей-Богу, генерал просто спятил, не иначе. Никакого иного объяснения, кажется, тут нет.

Я понимаю, что Петр Иванович не любит отступать (наступать и побеждать, нет сомнения, гораздо приятнее), но зачем при этом лишать свою разведку головы?! Это отнюдь не приближает к победе, скорее наоборот.

Грустно, бесконечно грустно!

И вот еще какая печальная мысль отравляет мое существование.

В Высшей Воинской полиции Второй армии остались еще французы. Я знаю, например, поручика Жанбара. Это — толковый, дельный и в высшей степени предприимчивый офицер. Есть и другие. Неужто их всех ожидает расправа бешеного генерала Багратиона, который хочет доказать кому-то, что он более русский, чем сами русские?!^[30]

Не хочется верить!

А расправа, верно, будет и скоро, ибо нашего наступления в ближайшие недели никак не предвидится, так что нет сомнения — настроение у Петра Ивановича будет плохим. И главнокомандующим общими нашими силами, думаю, его тоже не назначат, а ведь только это и способно сейчас поднять его настроение. Так что тем французам, что находятся на нашей стороне, явно придется туго. Обидно!

Прислал донесение Меер Марковский (ученик Старого Ребе; он служит переводчиком в штабе маршала Бертье). Меер сообщал, что июля первого дня корпус маршала Удино осадил крепость Динабург.

Еще одно письмо было от майора Бистрома — полицмейстера града Ковно, прикомандированного мною к особе барона фон Штейна. Барон же оставил пока майора Бистрома при штабе Первой Западной армии, для доставления сведений. И это было верное решение, как я теперь вижу. За штабом необходимо иметь свой догляд, и еще как надо! Сам же барон Штейн вместе с Государем Александром Павловичем покидает Дрисский лагерь. Рассчитываю, что в скорейшем времени мы встретимся в Москве Столице.

Майор Бистром в своем письме сообщил мне, что хотя Государь покинул действующую армию, главнокомандующий Барклай де Толли свободы действий пока, увы, не обрел, отнюдь, ибо Великий Князь Константин Павлович и генерал Бенningсен до сих пор находятся при Штабе и не столько в качестве наблюдателей, сколько в качестве главных действующих лиц — во всяком случае они претендуют на это.

Борьба идет не на жизнь, а на смерть. Сейчас совсем не до Бонапарта. И Великий Князь Константин Павлович и генерал Бенningсен всячески стараются решительнейшим образом ограничить права Барклая как главнокомандующего.

Причем, если Бенningсен грязно интригует, то Великий Князь, одержимый часто приступами бешенства, с отъездом Его Величества просто не выходит из состояния совершенно бесконтрольной ярости.

Его Высочество категорически запрещает отступать и требует от Барклая, дабы тот немедленно дал генеральное сражение Бонапарту. Барклай отказывается подчиняться, что в этих условиях, конечно, очень нелегко ему дается, но он не хочет лишиться армии.

Остались при военной квартире и императорские генерал-адъютанты и флигель-адъютанты, ежедневно строчащие доносы на Барклая.

В общем, беда. Я даже думаю — не хуже ли стало?!

Император всегда был отменно вежлив с главнокомандующим, и при Александре Павловиче ни Великий Князь, ни Бенningсен, ни генерал-адъютанты не смели столь нагло наступать и бесчинствовать, как это происходит теперь.

Ужас! Целая свора безжалостно кинулась на графа Михаила Богдановича, а тут еще князь Багратион со своими истериками, считающий, видимо, что они могут ему стать главнокомандующим.

Бедный Барклай бьется с ними всеми, а я тут и ничем не могу ему помочь... Да и что я мог бы сделать супротив Великого Князя и высокомернейшего генерал Беннингсена?! Да даже и супротив Багратиона?! Князь Петр Иванович старше чином не только что меня — он старше чином и самого Барклая. Ну, хотя бы советом я мог бы поддержать. Надобно написать ему.

В общем, оба полученных письма (одно от барона фон Штейна, а второе от майора Бистрома) весьма сильно меня расстроили и выбили, так сказать, из колеи. Кстати, Бистром присовокупил к своему письму копию из послания князя Багратиона к генералу Аракчееву (адъютант Багратиона передал ему черновик письма). Там были следующие слова: «Ради Бога, пошлите меня куда-нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу Государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу».

Вот умища Бистром, однако Багратион-то каков! Нет, князь Петр Иванович, вы ошибаетесь. Мы, может, потому и живы еще, что главная квартира немцами наполнена.

Но хватит о Багратионе и об его малопочтенных доносах, совсем не достойных его седин и царского его происхождения. Не понимаю — и как только не стыдно ему! Он же унижает сам себя — и чин свой и предков славных своих.

Все-таки перехожу к событиям московской жизни, к первым своим впечатлениям от нее и совсем, надо сказать, не утешительным.

Расскажу о первых своих московских открытиях, имеющих явный привкус загадочности.

По завершении обеда и послеобеденных разговоров, я, взяв с собой коллежского секретаря де Валуа и генерал-адъютанта князя Василия Трубецкого, отправился представляться к московскому военному губернатору графу Федору Васильевичу Ростопчину.

Вернулись мы во втором часу ночи, перегруженные впечатлениями и со слегка сдвинутым рассудком. Спать решительно не хотелось. Надо было обсудить события всего сегодняшнего дня и, в особенности, то, что происходило ночью на генерал-губернаторской даче в Сокольниках, где мы провели вечер и добрую часть ночи.

Де Валуа по моему распоряжению пошел будить Шлыкова. И уже через какие-то пятнадцать минут мы втроем сидели в гостиной флигелька, который снимал поручик Ривофиналли, и пытались сообща разобраться в том, что же тут сейчас происходит. Да. С нами был еще генерал-адъютант Трубецкой, но он более слушал, чем говорил; слушал и молча страдал, сердито подергивая себя за предлинный свой нос.

А происходило что-то странно непонятное, не совсем постижимое. Объяснения подошедшего ротмистра Ривофиналли, на самом деле, мало что объясняли, как он ни старался. Мы все равно многого не понимали.

Картинка московской жизни пока что у нас никак не складывалась. Пребывая в совершеннейшем расстройстве чувств, мы проговорили до третьих петухов.

В совершенно особое недоумение поверг наш рассказ о вечере у генерал-губернатора надворного советника Шлыкова. Поначалу Павел Александрыч даже отказывался верить.

Проснулись Шуленберх и Вейс и тоже приняли участие в разговоре, правда, ничего путного к нему не прибавив: они, в основном, зевали.

Даже Трифон, идя готовить завтрак, ненадолго подключился к беседе, но он все пытался воспринять сквозь призму загадочных и таинственных происшествий, присущих готических романам, что было довольно-таки смешно. Особенно заливался смехом Шлыков, не смотря на укоризненные взгляды, которые бросал на него де Валуа. Вейс и Шуленберх окончательно проснулись и сдержанно хихикали. Ривофиналли и я весьма скептически улыбались.

Хотя на самом деле, кто знает. Есть ведь еще и френетическая готика, под коей подразумевают литературу ужаса, живописующую насилия, кровавые преступления, гниющие саваны и скелеты. Не ожидает ли все это в скором времени Москву?!

Сей вопрос отнюдь не является риторическим.

Не зря ведь умнейший барон Штейн считает, что нам не удержать первопрестольную столицу. Об этом же свидетельствует и проклятие Старого Ребе в адрес Бонапарта. Вроде бы там сказано (знаю только в пересказе его учеников), что падение корсиканского супостата начнется как раз после взятия Москвы.

Французы, предводительствуемые столь жестоким деспотом, как Бонапарт, с нами церемониться явно не будут. А ежели они возьмут Москву, то для нас как раз и настанет эпоха самой настоящей френетической готики. Эпоха ужаса!

Не дай Бог, конечно, но грядущая московская готика — это, к величайшему сожалению моему, вполне реально, и степень этой реальности все нарастает, причем, с неумолимой и необратимой быстротой.

Так что, может быть, смеяться над моим Трифоном и рановато еще. Да, иногда, может, стоит прислушаться и к камердинеру Директора Высшей Воинской полиции.

Тем не менее реплики Трифона, преисполненные всякого рода готических тайн и ужасов, у всех вызвали улыбку, в том числе, каюсь, и у меня самого.

Однако мы ведь сами, чиновники Высшей воинской полиции, ничего положительного пока предложить не смогли, а скорее находились в состоянии какого-то сплошного недоумения.

Как ротмистр Ривофиналли ни старался, понимания нынешней московской жизни у нас в результате пока так и не прибавилось.

Я бы позволил назвать обстановку в первопрестольной столице довольно-таки загадочной. Для меня — во всяком случае.

Почему-то московские власти, судя по всему, находятся в состоянии какого-то мистического ужаса. Но как и чем его можно объяснить? И, главное, как его преодолеть?

Нам ведь нужно действовать быстро, решительно и даже молниеносно (при этом мы совершенно не имеем сейчас права на промахи), ведь уже через несколько дней Москву должен посетить Государь Александр Павлович.

Его Величество не без моей помощи покидает наконец-то, проклятый этот Дрисский лагерь, оставляет действующую армию и возвращается, наконец, в Санкт-Петербург, с остановками в Смоленске и Москве. Причем, в Первопрестольной Александр Павлович пробудет хотя бы дней десять.

Еще я подумал, улыбнувшись про себя: «А не послать ли всю мою замечательную команду (Шлыкова, Шуленберха, Вейса, в общем всех — за вычетом необходимого мне де Валуа, сотрудника совершенно бесценного, без коего мне не справиться никак) на кухню, а Трифона моего вернуть в кабинет и с ним обсудить как следует ситуацию в Москве? Полагаю, что мы справимся.

Мои-то голубчики читают только приказы да доносы, а Трифон регулярно заглядывает книжки, когда не надо кормить меня завтраком, обедом или ужином.

Трифон, сильно поднаторевший в хитросплетениях готических тайн, я уверен, чем-нибудь да поможет в раскрытии загадок нынешних московских событий».

Но это все так, в шутку, дабы хоть на миг отключиться от тяжелых мыслей и дурных предчувствий, одолевających меня.

Между тем, дела в первопрестольной столице нашей нынче обстоят, судя по всему, более, чем серьезно. Москва в опасности. Ее как-то странно лихорадит, от чего мне уже становится совершенно не по себе, хотя я едва-едва успел прибыть сюда.

Шпионов-то мы разыщем, в конце концов, но что же делать с властями, кажется, совсем потерявшими голову?! И более всего меня смущает военный губернатор и московский главнокомандующий граф Федор Васильевич Ростопчин.

Я побывал у него давеча и пришел к неоспоримому заключению (коллежский секретарь де Валуа полностью согласен со мною — он даже высказывается еще резче), что граф находится в состоянии перманентной болезненной горячки.

Его сиятельство постоянно бредит и потому представляет самую несомненную опасность для окружающих. Горячее воображение слишком уж увлекает его.

Когда-то Государыня Екатерина Алексеевна окрестила Ростопчина «сумасшедшим Федькой». Но, думаю, Императрица тогда все-таки не подозревала, насколько она права.

Что же будет с нашей Москвой?! И что же в такой ситуации следует принимать мне как Директору Высшей воинской полиции?

Посадить губернатора под замок? Отменить все его постановления? Это совершенно исключается, ибо намного превышает те полномочия, коими я облечен.

Ежели я сейчас арестую губернатора и московского главнокомандующего, каким бы помешанным он ни был, то потом непременно засадят меня, и с полнейшим на то основанием.

Государь назначил его, Государь его и снимет.

Более того, Его Величество произвел обер-камергера Ростопчина в генералы от инфантерии — штатский человек, который, кажется, не был ни в одном сражении, получает высший генеральский чин! Это, конечно, неслыханно. Но все мои обвинения в адрес Ростопчина будут тем самым метить в Государя, ведь это именно он превратил обер-камергера и светского шаркуна в главнокомандующего.

Писать же Его Величеству, что военному губернатору Москвы — место на самом деле в Желтом доме, а не в губернаторском особняке, для меня тоже несподручно. Более того, это было бы неслыханной наглостью.

Тогда выходит, надо содействовать графу Федору Васильевичу в исполнении его явно безумных предначертаний, порожденных его сиятельными страхами? Это тоже невозможно, это совершенно исключается.

Между тем, граф сильно обрадовался моему появлению и сразу же дал понять мне, что желает, дабы я помогал ему, ибо он ничуть не доверяет своим полицейским чиновникам, «продажным и ленивым» (это — его собственные слова).

Прощаясь, Ростопчин взял меня под руку, отвел в сторонку и стал, сверкая глазами, горячо шептать мне на ухо, что рассчитывает на мое содействие, от коего, как он сам выразился, многое теперь зависит в судьбе Москвы.

Меня аж в жар бросило от этих страстных нашептываний, но виду я, конечно, не подавал — сладко улыбался и радостно кивал, ничем не выдавая обуревавших меня чувств. Без всякого сомнения, граф решил, что я буду с ним заодно.

Вот такие дела. Не было печали, так черти накачали, ежели вспомнить любимую приговорку Павла Александрыча Шлыкова.

Как же мне теперь быть? Ума не приложу... А нужно ведь что-то решать. И незамедлительно. С Москвой, а точнее с Ростопчиным нужно что-то решать.

Ох, Федор Васильевич, невовремя судьба определила тебя в московские главнокомандующие. В тихое, спокойное время может и пронесло бы, но теперь наделаешь ты бед Москве — не иначе. По-другому, увы, не выйдет.

Ну и вяпался я в историйку! Это называется — угораздило! Именно так!

Впрочем, ежели бы даже я и знал, что меня тут ожидает, отказаться от этой поездки я все равно не смог бы и, главное, сам не пожелал бы, ведь речь идет о жизни нашего Государя! о судьбе великой Империи!

Не знаю пока, какое в точности решение я приму, но при любом возможном раскладе графу Федору Васильевичу Ростопчину^[31] я не помощник, да и никак не могу им быть, ибо прибыл сюда с личным поручением от Государя нашего Александра Павловича и генерала Аракчеева, в руках коего сосредоточены теперь все наши военные дела. Исполнением этого поручения мне и надобно ныне прежде всего озаботиться.

Так что под начало к московскому губернатору я, даже если вдруг и захотел бы, никак попасть не могу, никак, чтобы его сиятельство ни думал на сей счет. Это не-воз-мож-но!!!

Пусть-ка граф сам справляется со своими страхами, а я буду ловить шпионов, настоящих, и вообще всех, замышляющих против жизни нашего Государя. Но участвовать в бредовых затеях его сиятельства я не намерен. Быть посему. Принято безоговорочно.

Но как мне сказать все это графу Ростопчину, этому неуравновешенному самодуру, помешанному на своей власти Московского главнокомандующего, обидчивому, капризному, взбалмошному, всегда неумеренному в изъятии своих чувств?!

Вот еще проблема! А сказать мне все-таки придется, как это ни не приятно. Понятное дело, он взбесится, и как еще, но ничего не напишешь. Объяснение неотвратимо.

В общем, голова идет кругом. А ведь я только-только прибыл в Москву и не успел ее, как говорится, даже понюхать. А помешательство уже налицо. Оно сразу же проявилось. Нет, вернее началось оно с появления нашего, моего, де Валуа и князя Трубецкого, на губернаторской даче в Сокольниках, когда тут же и открылась во всей красе безумная московская круговерть.

Держись, Санглен, держись! Тебе в скором времени придется пережить весьма неприятные минуты объяснения с военным губернатором первопрестольной столицы нашей, одержимым самой несомненной горячкой. Один Бог ведает, как он поведет себя, что именно выкинет, а что-нибудь да выкинет — это уж точно.

Да я ведь и не ожидал никакой легкости от сей поездки. Действительно, не ожидал. Готовился к тому, что все тут будет очень не просто. И граф Аракчеев меня о том же предупреждал, и начальник Императорского Штаба князь Волконский, и умница Барклай, хотя он и лишен начисто какой бы то ни было житейской хитрости. И все-таки я совсем не был уверен, что еду на сплошные неприятности, и совсем не ожидал, что встречу сумасшедшего губернатора, который непонятно кого более страшится — французов или возмущения народного.

А теперь сомнений у меня никаких нет: неприятности будут и в большом количестве. И явно будут очень скоро, может быть, даже быстрее, чем я сейчас предполагаю.

По прибытии сюда все стало ясно. Думаю, конечно, я о лучшем, но готовлюсь-то к худшему. Готовлюсь к беде.

В нынешнем московском бушевании явно отзывается грядущая трагедия, близящаяся трагедия. И по мере ее нарастания граф Ростопчин все сильнее безумствует и бесчинствует. Ужас! Просто невыносимо сознавать это!

Господи! Поскорее бы уже произошло то, что должно произойти, чтобы можно было начинать жить заново.

Москва, первопрестольная столица, слава и гордость наша, должна пасть теперь, но это отнюдь не послужит к возвышению спусотата Бонапарта. Грандиозная победа обернется для него еще более грандиозным поражением, обернется подлинной катастрофой. Так что рано ему радоваться!

Именно с падения Москвы и начнет закатываться звезда Бонапарта! Да быть по сему!

Император Франции уйдет из первопрестольной столицы нашей по разоренной им самим же дороге и уйдет он ни с чем, уйдет на верную и неминуемую гибель свою. Так сказал величайший мудрец, преданный друг Российской империи, коего не случайно страшится сам всемогущий еще пока Бонапарт. Господи! Хоть бы так и произошло — именно так; не иначе.

Ежели и в самом деле сбудется это удивительное пророчество, то тогда торжество нашего Государя и торжество всей России над страшным и безжалостным врагом не за горами. А Москву мы непременно отстроим. И станет она еще краше, еще великолепней. И жизнь в ней потечет разгульнее, ярче, богаче.

Господи! Дай мне когда-нибудь своими глазами увидеть это! Я ведь родился в Москве и хочу в ней умереть, но только в Москве процветающей и счастливой, а не напуганной и рошущей, как сейчас, в эти темные, смутные, несчастные для нас дни.

Теперь же передо мною стоит одна задача — спасти Императора Александра Павловича, доверившего мне заботу о своей венценосной особе.

Да, явившийся в Москву чуть прежде меня генерал-адъютант князь Василий Трубецкой был первою ласточкой. А несколько часов назад Государь уже со всею своей свитой, включая столь обожаемого мною барона фон Штейна, должен был оставить Дрисский лагерь и двинуться в направлении Смоленска, а потом уже и сюда, в первопрестольную.

Так что времени для раздумий у меня уже больше нет — буквально ни единого мгновения. Пора, наконец, приниматься за дело. И в самом деле, пора!

Примечания

[1] См.: Греч Н.И. Записки о моей жизни. М. — Л., 1930, с. 561 — 563.

[2] Волконский С.Г. Записки. Иркутск, 1991, с. 183.

[3] Вигель Ф.Ф. Записки. М., 1892, ч. 3, с. 15.

[4] Письмо Д. Давыдова к генерал-лейтенанту Волкову. 5-го ноября 1830 г. // Русская старина, 1898, № 6, с. 561.

[5] Письмо А.Х. Бенкендорфа кн. Д.В. Голицыну. 18-го ноября 1830 г. // Русская старина, 1898, № 6, с. 563.

[6] Герцен А.И. Собр. соч. в 30 т. М., 1954 г., т. 2, с. 314.

- [7] Погодин М.П. Сперанский // Русский архив, 1871, стб. 1101-1102.
- [8] Эта запись была заклеена белой полоской бумаги. Андрей Зурин.
- [9] Офицер прусского Генерального Штаба барон Карл Людвиг Август Пфуль был принят на русскую военную службу в чине генерал-майора. Впоследствии Александр I произвел его в генерал-лейтенанты и назначил посланником в Гаагу. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [10] По матушке маркиз Паулуччи происходит от пармского рода графов Кастелари. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [11] Эти и следующие слова в рукописи тщательно перечеркнуты, но их удалось восстановить при помощи специальной лазерной аппаратуры, предоставленной нам мэрией города Ош (департамент Жер, Франция). Примечание Николая Богомольникова.
- [12] Князь был адъютантом Багратиона и за Аустерлиц получил золотое оружие. В войнах 12-13-го годов отличился в сражениях при Дрездене, Лейпциге, Бауцене. Является кавалером Георгия 4 и 3-й степеней. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [13] Последняя фраза перечеркнута. Примечание Андрея.
- [14] Граф Михаил (Михаил Андреас) Барклай де Толли (Беркли) в 1812-м году командовал Первой Западной армией. В будущем — князь и фельдмаршал Российской Империи. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [15] Барон Густав Мориц Армфельт, родом из Финляндии, перешел на русскую службу в 1811-м году. В 1812-м году он получил чин генерала от инфантерии, титул графа и вошел в Государственный Совет Российской Империи. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [16] Филипп Осипович Паулуччи в 1807-м году вступил полковником в русскую военную службу. В 1811-м году командовал Отдельным Кавказским корпусом. 7-го июня 1812-го года он был произведен в генерал-адъютанты. 17-го октября 1812-го года Ф.О. был назначен Рижским, Лифляндским, Курляндским и эстляндским генерал-губернатором. С 12-го декабря 1823 года — генерал от инфантерии. Впоследствии, после оставления им русской службы, был генерал-губернатором Генуи, государственным министром Сардинского короля. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [17] Барон Генрих Фридрих Карл фон Штейн (1757-1831) в 1804-1807 годах был министром прусского правительства. В октябре 1807-м года он возглавил прусское правительство, провел ряд крупных реформ. В ноябре 1808-го года под давлением Наполеона был уволен в отставку. Барон фон Штейн вынужден был покинуть Пруссию. Он поселился в Праге, но в мае 1812-го года по приглашению императора Александра I прибыл в Россию. Штейн является автором плана всеобщего восстания против наполеоновского господства в Германии. В 1813-м году барон руководил центральной комиссией по управлению освобожденными территориями Германии. Примечание Николая Богомольникова.
- [18] Между прочим, сей генерал Горихвостов принадлежит к старинному боярскому роду. Он является автором трехтомного сочинения «Письма россиянина, путешествовавшего по Европе с 1802 по 1806 год», вышедшего в Москве в 1808-м году. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена. Де Санглен ошибся: «Письма россиянина» принадлежат другому Горихвостову. Примечание Андрея Зурина.
- [19] Так все и произошло. Яков де Санглен.
- [20] Город Красный потом прославился, войдя в летописи 1812-го года. Отряды генерала Неверовского тут не позволили французам прорваться в тыл Первой и Второй русских армий. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [21] В конце октября 1812-го года по приказу Бонапарта были взорваны 9 башен. Взрывы остальных башен были предупреждены нашими войсками. Таким образом, часть строений старинной Смоленской крепости была спасена. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.
- [22] Впоследствии численность легиона возросла до 8 тысяч человек. Я.И. де Санглен.

[23] В конце октября 1812-го года уездный город Духовщина был сожжен. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.

[24] Г. Вязьма вошел в историю войны с Бонапартом. 22 октября 1812-го года под Вязьмой произошло сражение между авангардом графа Милорадовича и казаками атамана Платова с 4 французскими корпусами. Отрезав у Вязьмы путь к отступлению корпусу маршала Даву, Милорадович и Платов попытались его уничтожить. На помощь Даву пришли корпуса маршалов Богарне и Понятовского. В итоге Даву удалось прорвать кольцо окружения. Французы отошли к высотам у города, где находился корпус маршала Нея, и начали организовывать оборону, но в бою с нашим авангардом потерпели поражение. Под вечер горящая Вязьма была взята штурмом. От полного разгрома 4 французские корпуса спасла оплошность адъютантов Милорадовича. Донесение об атаке Вязьмы забыли вложить в конверт, и он был доставлен в штаб армии Кутузова пустым, что не позволило основным силам подоспеть к сражению. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.

[25] Настоящая запись в рукописном оригинале заклеена полоской белой бумаги. Примечание Андрея Зурина.

[26] Князь Василий Трубецкой впоследствии стал сенатором и членом Государственного Совета. Яков де Санглен.

[27] Ныне это улица Чехова. Примечание Николая Богомольникова.

[28] Он вступил в русскую службу в 1812-м году, а покинул ее в 1814-м. Впоследствии Карл фон Клаузевиц стал знаменитым прусским военным теоретиком. Его перу, в частности, принадлежит ценнейшее сочинение «1812 год». Позднейшее примечание Якова де Санглена.

1 [29] См. : Виктор Лебедев. Русская разведка в Отечественной войне 1812-го года // Независимое военное обозрение, 23 декабря 2005 года, № 49. Примечание Николая Богомольникова.

[30] Петр Багратион был смертельно ранен во время Бородинского сражения. Мир праху его! Ежели бы генерал не был столь неумеренно вспыльчив и самолюбив, из него, несомненно, вышел бы выдающийся военачальник. Позднейшее примечание Якова де Санглена.

[31] 30-го августа 1814-го года генерал от инфантерии граф Федор Васильевич Ростопчин был уволен от звания московского главнокомандующего и назначен в члены Государственного Совета Российской Империи. Позднейшее примечание Я.И. де Санглена.



Владимир Порудоминский

ПОРЯДОК ТВОРЕНЬЯ ОБМАНЧИВ

1.

С 1909 года до 1952-го, сорок лет с небольшим, в Москве на Арбатской площади стоял памятник Гоголю, созданный скульптором Николаем Андреевым, странный памятник, ни на какой другой не похожий, единственный, по мне несравнимо лучший из всех когда-либо воздвигнутых в России монументов: не памятник даже — некое существо, ибо не напоминает — живет, и на пьедестале — безимени, инициалов, эпитетов — ГОГОЛЬ, образ мира в слове явленный.

Гоголь — и другой Гоголь.

Вас. Вас. Розанов — тогда же, в 1909-м, — по горячему следу отозвался: "Памятник хорош и не хорош; и очень хорош и очень не хорош..."

Поразмыслив, всё же назвал статью — "Отчего не удался памятник Гоголю?"

"Не удался" здесь не хорош или не хорош.

Не удался потому, что — *не мог удался*.

Гоголь невоплотим.

Но в том-то и суть, что Андреев и создал *невоплотимого Гоголя*.

Его — *невоплотимость*.

Невоплотимость, которую "передать" невозможно.

Только — *вновь создать*.

2.

Про знаменитый портрет Пушкина, исполненный Кипренским, лучше всего известно, что *"Себя, как в зеркале, я вижу, // Но это зеркало мне льстит"*.

Кипренский, конечно же, даже бессознательно, не намеревался льстить Пушкину. Кипренский — не гоголевский Чертков, не изготовитель светских портретов в угоду заказчику.

Здесь — встреча равных. Первых.

Кипренский несколько лет как из Италии и предполагает вскоре возвратиться туда. Его автопортрет помещен в галерее Уффици — честь, оказываемая лишь избранным европейским мастерам.

Кипренский писал Пушкина таким, каким видел перед собой, и вместе — каким видел его своим внутренним взглядом.

Писал *Гения Поэзии* — по его слову.

Дело было так.

Дельвиг, который заказал портрет, просил художника поставить за спиной Пушкина фигуру с лирой в руках — скульптурное изображение Гения Поэзии. Кипренский удивился: зачем? Он уже написал Гения Поэзии — Пушкина.

Но, поддавшись уговорам, фигуру на холст всё же поместил.

Мадригальные строки про зеркало, которое льстит, стало крылатым речением.

Но у Пушкина в послании к Кипренскому сначала — не про зеркало. У него иное в начало поставлено: "...Ты вновь создал, волшебник милый, // Меня, поддавшись уговорам, фигуру на холст всё же поместил."

Не воспроизведение, даже самое точное.

Пересоздание.

"Вновь создал".

Создал — вновь.

"Дьявольская разница!", случалось, говаривал Пушкин. (Но, может быть, думал: божественная.)

*И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.*

Иной масштаб...



Портрет А.С. Пушкина
работы Ореста Кипренского

3.

Если рассматривать андреевскую скульптуру, постепенно обходя ее; видишь с изумлением, как непрерывно изменяется поза Гоголя, как разительно изменяется его лицо... И смех, и слезы, и величие, и надломленность, и пристальный острый взгляд, и погруженный в свою глубокую скорбную мысль опущенный долу взор...



Памятник Н.В. Гоголю работы Николая Андреева

"Видишь множество картин, изображающих одного и вместе разного Гоголя", — пусть несколько наивно заметил один из первых (на редкость проникательных) зрителей:

Лев Толстой однажды сформулировал: "Человек текуч".

Потом охотно повторял.

"Художник должен передать душу человека, а ему нужно лепить его задницу".

Тоже — Лев Толстой.

Он сказал это, осматривая андреевского Гоголя.

Художников и скульпторов Толстой навидался.

Андреев несколькими годами раньше тоже был в Ясной Поляне, лепил его.

Несмотря на то, что вокруг многие устно и печатно ругали памятник, Толстому он понравился. Он "понял, что художник хочет выразить".

4.

Вокруг андреевского создания, так же, как вокруг самого Гоголя (1909 год — столетний юбилей), — в печати, в обществе, в ученых, литературных, партийных спорах и схватках шла непримиримая война.

Вместо того чтобы обходить фигуру вокруг, каждый смотрел на нее со своей точки.

Не создавал *цельность неуловимости*.

Текучести.

Андреевский Гоголь был слишком неожидан не только для тех, кто его не принимал, но и для тех, кто хвалил.

От такого Гоголя становилось не по себе.

"Когда взвился и слетел закрывавший его долго чехол, первое впечатление этой почти страшной фигуры, прислонившейся к грубой глыбе камня, точно ударило. Большинство ждало образа, к которому привыкло. И вместо этого явно трагическая, мрачная фигура, голова, втянутая в плечи, огромный, почти безобразящий лицо нос и взгляд — тяжелый, угрюмый, выдающийся нечеловеческую скорбь. В сумерках и лунной ночью он будет прямо страшен, этот бронзовый великан. на Арбатской площади, замерший в позе вечной думы..." (Из тогдашних газет).

"Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы бы относились к нему так же, как большинство его современников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью; непобедимой внутренней тревогой заражает этот единственный в своем роде человек, угрюмый, востроносый, больной и мнительный.

Источник этой тревоги — творческая мука, которой была жизнь Гоголя...

Только способный к восприятию нового в высшей мере, мог различить в нем новый нерожденный мир, который надлежало Гоголю явить людям".

Александр Блок написал это в те самые гоголевские юбилейные дни весной 1909-го.

Здесь и судьба самого Гоголя, и Гоголя андреевского.

5.

"Образ, к которому привыкли..."

Но, как к самому Гоголю, так к Гоголю андреевскому привыкнуть невозможно.

В советское время, когда разногласию мнений сменила "единственно верная" догма, андреевский памятник сильно мозолил глаза.

Самого Гоголя, перетолковывая, укорачивая, как бы приручали, приноровляли под планку. Перекраивали в Гоголя, к которому привыкли или к которому хотели приучить.

Вспоминаю, как руководящее издательское лицо выговаривало автору книги о Гоголе: "Это не тот Гоголь, *который нам нужен*".

Но скульптуру не перетолкуешь, не укоротишь. Не приноровишь.

Памятник, кажется, особенно раздражал вождя, который, едва не ежедневно, проезжал мимо него своим арбатским маршрутом.

В роковом 1937-м, волею Сталина, андреевскому Гоголю был вынесен смертный приговор: без широкой огласки, "для специального пользования" издали сборник материалов по изготовлению нового памятника Н.В. Гоголю в Москве.

В обвинительном заключении сказано: "Образ великого русского писателя-реалиста трактован Андреевым глубоко (!) ошибочно в мистико-пессимистическом плане".

Приведение приговора в исполнение, хоть это и не в обычаях 1937 года, несколько затянулось (еще и война помешала). Только полтора десятилетия спустя на Арбатской площади появилась сработанная дежурным ваятелем советской эпохи Н.В. Томским скучная, не цепляющая ни ума, ни сердца, для всех привычная до совершенной незамечаемости фигура в крылатке, радостно прижимающая к груди томик собственных сочинений.



Памятник Н.В. Гоголю работы Н.В. Томского

По-своему знаменательно: творение Андреева отметило столетие со дня рождения Гоголя, фигура, сработанная Томским, — столетие со дня смерти.

Андреевский Гоголь прожил на Арбатской площади как раз срок жизни самого Гоголя.

На пьедестале возведенной Томским фигуры — высочайше утвержденная (скорее даже — высочайше сочиненная) безликая и бездушная, как сама фигура, казенная резолюция: "Великому русскому художнику слова от правительства Советского Союза" (по-своему замечательно это — "от правительства").

Гоголь, который нам нужен.

Не им — по их мнению, нужен.

Им никакой не нужен. Разве что строчка в очередном докладе: "Нам, товарищи, Гоголи и Щедрины нужны" — во множественном числе (бурные аплодисменты в зале).

До свержения монумента Андреев не дожил.

Хотел написать — "на его счастье". Не посмел.
У него мог быть свой счет.
Умер в славе.
Но эта финальная, как и посмертная официальная слава куплена не Гоголем.

6.

Когда-то я писал книгу об Андрееве.
Не написал.
Я писал книгу о художнике, у которого будущее оказалось позади.
Гоголь андреевский — прорыв, иное миропостижение, откровение.
Непостижимость и неповторимость.
Повторять такого Гоголя бессмысленно, потому что невозможно.
Сделать нечто иное, сопоставимое, почти невозможно.
Андреев не смог.
Да и обстоятельства изменились — времени, места, соответственно, образа действий.

После революции появились интересные Герцен и Огарев, поставленные Андреевым возле здания Университета на Моховой. Мощный Островский, крепко усаженный перед входом в Малый театр.

(У меня свое пристрастие: небольшой — еще начала века — бюст Гааза во дворике бывшей больницы, где служил и жил святой доктор. Я проходил через этот дворик, сокращая и без того недалний путь от моего московского дома к Курскому вокзалу. На пьедестале знаменитое гаазовское: "Спешите делать добро". Здесь, в Германии, я навещаю в старинный, обнесенный крепостной стеной городок Мюнстерайфель: там на берегу узкой речки, протекающей посреди главной улицы, стоит небольшой дом, в котором двести с лишним лет назад родился доктор Гааз.)

Были хорошие, серьезные, интересные работы, но не явись в жизни и судьбе Андреева его Гоголь, — это совсем другой художник.

Книга, которую я хотел написать, был "не тот Андреев, который нам нужен".

Но я оставил ее не только поэтому.

После того, как я написал главу про Гоголя, всё остальное казалось пресно.

7.

Биография Андреева, "который нам нужен", строилась как восходящая линия от "не нашего" Гоголя к работе над образом "нашего" Ленина и венчались круто взмывающей ввысь *Ленинианой*, как бы вершинно итожащей жизнь и судьбу художника.

Андреев — великолепный мастер графического портрета. Один из лучших в русском искусстве.

Лениниана началась множеством натуральных набросков. (Счет не на десятки — на сотни!)

Андреев рисовал Ленина в рабочем кабинете, на различных заседаниях и собраниях, куда был допущен.

Биографы сообщают, что никакому другому художнику не было предоставлено возможности столь близко и долго изучать Владимира Ильича.

Ленин на рисунках стоит, сидит, идет, пишет, разговаривает, спорит.

Думает.

Выступает — Ленин на трибуне.

Интерес художника к Ленину можно понять.

Тем более, что и внешность вождя была выразительна.

У Пастернака:

Он был как выпад на рапире.

Гонясь за высказанным вслед,

Он гнул свое, пиджак топыря

И пляя передки штиблет... И т.д.

То, что написал Пастернак, хорошо видно в старых кинохрониках. Небольшой человек на трибуне, раскачиваясь, как бы падает то в одну, то в другую сторону, делает выпады, нанося словесные удары.

Артист Борис Щукин, первый сыгравший Ленина, подробно расспрашивал людей, много общавшихся с вождем, собирал "по кусочку" его движения, жесты, мимику. На первых репетициях, пробах он показался некоторым чересчур эксцентричным, но эти самые свидетели, много с Лениным общавшиеся, находили его даже более, чем следует, сдержанным.

Внешность Ленина во всей ее подвижности и выразительности хорошо передают фотографии.

Снимали Ленина много.

Но это ничуть не мешало властям заботиться о живописных и скульптурных портретах вождя (вождей).

Мысль (устрашающая!) о конце живописи, пламенем взметнувшаяся с первыми успехами фотографии, вскоре сама собой угасла. История обозначила фотографии свое место и свою роль среди искусств.

Ленин придумал план монументальной пропаганды: определили длинный список революционных деятелей прошлого и начали ставить им памятники. Многие делали наскоро, временные, из плохого материала, — они быстро разрушались (зато потом не пришлось сносить).

Живописные и скульптурные портреты вождя (вождей) тоже были монументальная пропаганда, важная часть общения власти с народом.

8.

Рядом с Андреевым работал в Кремле ныне забытый художник Иван Пархоменко.

Его так и называли — "художник Кремля".

Добротный мастер (учился и у Н.Н. Ге), он был известен хорошо сработанными портретами видных писателей и политических деятелей.

До революции написал Блока, Бунина, Вяч. Иванова, Вас.Вас. Розанова.

Льва Николаевича Толстого тоже написал.

После Октября Луначарский нашел его где-то и поставил изготавливать портреты вождей, центральных и периферийных.

Ленин позировал ему, работая, прямо у себя в кабинете. Того более, переходя из кабинета в зал заседаний совнаркома, брал его с собой, чтобы работа не прерывалась.

Пархоменко вспоминал, что оказался таким образом свидетелем весьма важных совещаний, на которые даже не всякий из "верхов" был допущен.

Это была своего рода высокая оценка пропагандистской роли искусства.

(Позже, когда у вождей и с вождями начались сложности, Пархоменко на несколько лет угодил в Бутырки; свою тюремную жизнь он сумел облегчить, делая портреты уголовных "авторитетов".)

Иван Пархоменко между прочим, хоть и безымянно, увековечил себя самым растиражированным изображением Ленина: нарисовал по фотографии детский его портрет, который поместили на октябрятской звездочке. Миллионы советских детей, поколение за поколением, носили значок-портрет на груди.

9.

О том, что Ленин охотно допускал художников делать его портреты, находим в воспоминаниях Юрия Анненкова. Ленин дал ему несколько сеансов по два часа каждый, любезно беседовал с мастером.

В одной из бесед он откровенно высказал знаменательное суждение, которое теперь нередко цитируют.

Всё же не могу удержаться и привожу его.

"Я, знаете, в искусстве не силен... Искусство для меня, это... что-то вроде интеллектуальной слепой кишки и, когда его пропагандистская роль, необходимая нам, будет сыграна, мы его — дзык, дзык! — вырежем. За ненадобностью. Впрочем, вы уж об этом поговорите с Луначарским, большой специалист. У него там даже какие-то идейки".

Не удержусь ("своя рубаха") и сообщу еще одно из записанных Анненковым откровений вождя.

Некогда мой Владимир Иванович Даль (занимаюсь им более полувека) был оспорен, освистан и повсеместно осужден (один лишь Лев Толстой поддержал его) за статью, в которой посмел сказать, что от распространения грамотности без образования умственного и образования нравственного много пользы не прибудет. Противники Даля, очень на него сердясь, твердили прекрасные слова про "времечко", когда мужик "Белинского и Гоголя с базара принесет". Мало кто угадывал, что между времечком, мужиком и тем, что принесет он с базара, сопряжение неизмеримо более сложное, нежели представлялось в энтузиазме.

Ленин, не кивая приветливо в сторону Белинского и Гоголя, одним выпадом рапиры объяснил сентиментальным народолюбцам пользу грамотности без образования.

"Вообще к интеллигенции, как вы, наверно, знаете, я большой симпатии не питаю, и наш лозунг *ликвидировать безграмотность* отнюдь не следует понимать, как стремление к народжению новой интеллигенции, — объяснил он Анненкову. — Ликвидировать безграмотность следует лишь для того, чтобы каждый крестьянин, каждый рабочий мог самостоятельно, без чужой помощи, читать наши декреты, приказы, воззвания. Цель — вполне практическая. Только и всего..."

Оба суждения, по существу, — об одном и том же.

Портрет Ленина — та же "пропаганда", что декрет.

Большого ни от искусства, ни от грамотности не требуется.

10.

Андреев с годами, если и не принимал ни умом, ни чувством, то профессиональным чутьем угадывал установку.

От графики он, конечно же, перешел к скульптуре.

Лениниана, в особенности после смерти вождя, стала для Андреева чем-то вроде профессии в профессии.

Пропагандистская роль искусства в стране не то что не кончалась — набирала силу.

Статуи, бюсты, памятники требовались во множестве.

Скульптурные работы *Ленинианы* принято обобщать в три группы: "Ленин за работой", "Ленин на трибуне", "Ленин — вождь".

Именно в таком порядке.

По официальной табели о рангах это было восхождение.

От социалистического реализма, к которому пришел художник, завершая свой путь Ленинианой, — к вершинам социалистического реализма.

Главная задача которого (цитирую справочник) "изображать грандиозные процессы и явления настоящего".

Об этом и предлагалось писать (и писали), когда в статьях и книгах вели речь о скульпторе Николае Андреевиче Андрееве.

Но писать об этом не хотелось.

Это был путь вверх по лестнице, ведущей вниз.

Чем "выше" от "Ленина за работой" (обычно — пишущего) к "Ленину — вождю", тем меньше жизни. Тем меньше живого Ленина и (скажем так) живого мастера. Чувства, волнения, которое увлекало его когда-то при встрече с оригиналом.

Обобщение (*грандиозное*) оборачивалось безликостью.

И дух, и даже *задница* (по терминологии Льва Толстого) заменялись набором узнаваемых примет: жест руки, "ленинский огромный лоб" (или — фуражка, которая могла быть и в руке), борода и проч.

Кто рассматривает памятник Ленину на городской площади, в помещении вокзала, дворца культуры или иного общественного здания?

Вместо того чтобы тревожить память, а с нею чувство, мысль, такой памятник растворяется в окружающей обстановке.

Вывеска, витрина, афишная тумба, не говоря уже об уличных часах, неизмеримо чаще привлекают наш внимательный взгляд.

Андреев сделал около ста скульптурных памятников Ленину.

В его бумагах сохранились письменные указания, которые он давал своим помощникам: голова № 18 на корпус № 7.

Что-то вроде.

У меня нет при себе моих архивных тетрадей — в номерах могу ошибаться.

11.

Ходили слухи, будто андреевского Гоголя уничтожили, но оказалось, нашлись добрые люди: сокрыли от всевидящих очей на кладбище Донского монастыря (на бездействующем — бездействующего), где тайком пережидали злое время и некоторые иные неугодные властям создания отечественной скульптуры.

Семь лет спустя, в пору "оттепели" и реабилитаций Гоголя возвратили по амнистии в центр столицы и определили ему местом жительства — неподалеку от

Арбатской площади, где монумент был установлен когда-то, — маленький замкнутый дворик дома, в котором умер великий писатель.

Однажды, уже в восьмидесятые, поздно ночью, мы с Юрой Овсянниковым, моим другом, писателем и издателем, поднимались по Гоголевскому бульвару к Арбатской площади — и вдруг застыли в недоумении. Высокий постамент "от советского правительства", где, предполагалось, обязан неотлучно находиться "великий русский художник слова", был пуст.

Сюжет совершенно гоголевский.

Мы подошли ближе. Фигуру, то ли для профилактики, то ли для ремонта, сняли с пьедестала. Почему-то маленькая, жалкая, обмотанная рваными тряпками, утратив заказной оптимизм "нужного нам", она уныло торчала на площадке.

Хотелось смеяться — и не смеялось.

Такое убожество.

"Заглянем теперь к твоему Андрееву, покурим там на скамеечке..." — предложил Юра.



Памятник Н.В. Гоголю работы Николая Андреева

Редко замечаемый с улицы торопливыми пешеходами, андреевский Гоголь манит к себе тех, кто знает о нем. Назначение его как бы переменялось: теперь не толпа (как некогда на площади) общается с ним — каждый общается один на один. Сюда, в уединенность, отгороженность тесного дворика, кажется, заполненного молчаливой тревожной думой, излучаемой монументом, человек приходит — *вырывается, прерывается* — в столь необходимый в жизни каждого час, когда среди "деловой" суеты настигает его неодолимая потребность остановиться, оглядеться — *одумать...*



Галина Подольская

РЕКА ЖИЗНИ — РОССИЯ

Свое пространство

Виктор Бриндач родился в 1941 году в Харькове.

Детские годы будущего художника прошли как и у многих его ровесников. Великая Отечественная война. Мальчику не было и года, когда семья эвакуировалась в Уфу, куда его отец — специалист по выпуску танковых деталей — был направлен начальником техотдела на Уфимский судоремонтный завод. Грамотный работник, он успел внести ряд предложений в налаживаемое производство, но его пребывание на новом месте было недолгим. В ночь на 21 июля 1942 года^[1] отца арестовали. Не помогло ни ходатайство директора завода, ни письмо рабочих, ни документы квалификационных проверок о качестве выпускаемой продукции... Обвинение по статье 58 — измена Родине. Приговор: 10 лет без права переписки. Но окончательной реабилитации пришлось ждать долгие тридцать лет...

Мать непоколебимо верила в невиновность мужа, и в доме всегда была его фотография, где он русоволосый, голубоглазый, с усами. Она рассказывала сыну о том, каким был его отец: высокий, стройный... справедливый! И мальчик ждал его каждый день.

«Сколько раз, выбегая из парадной, я окликал или просто бежал за каким-нибудь высоким мужчиной, опережал его, смотрел в глаза, внутренне сличая с фотографией, которая висела на стене. Но это всегда оказывался не он. Я ждал его из служебной командировки по заданию Родины. Я не знал, где он был. Просто ждал его всегда...

В годы эвакуации в Уфе мама работала в библиотеке и в театре (уж не знаю, как это там совмещалось). Она брала меня на все репетиции и спектакли. Я обожал театр. Можно сказать, жил им. Но в нем не было *моего* пространства.

В то время выпускали книжки с вырезными театрами внутри. И вот однажды мама принесла мне именно такую книжку. В ней не только открывались и закрывались двери, поднимался и опускался занавес, в них можно было, взявшись за картонную планочку, собственноручно открывать и закрывать театр. А еще можно было самому водить картонные марионетки.

Я обожал этот театр в книжке. Потом вырезал свой картонный театр, но уже большего размера. Мама стала мне помогать в этом начинании. Она приносила кипы книг по театру, в том числе большие папки с листами по истории костюма выдающихся художников и папки с эскизами костюмов к определенным спектаклям, которые я в то время видел на сцене. И я начал свои картонные фигурки одевать в похожие рисованные костюмы, а потом придумывать для них свои костюмы, как мне захочется.

Но со временем мой картонный театр перестал меня устраивать. И я сделал “Большой театр” в деревянном ящике. Он был совсем как настоящий: занавес, задник, движущиеся фигурки, осветительные приборы... Это было *мое новое про-*

странство, в котором могло быть всё что угодно: запомнившийся спектакль, комиксы из детского журнала “Мурзилка”. Мне очень нравилось, что там каждая поза героя обязательно “проговаривалась”, и я зрительно представлял динамику движения, соответствие текста и жеста. В то время выходил журнал “Техника молодежи”, в котором школьникам предлагалось самим сделать какие-нибудь движущиеся устройства. Всё это мне было тоже интересно. Я ждал каждый новый номер. Тщательно изучал помещенные там инструкции и чертежи, собирал по ним машины, экскаваторы, подъемные краны, а потом они двигались по сцене *моего* Большого театра.



Супруги Бриндачи



С мамой Софьей Григорьевной

Вообще, мой домашний театр занимал меня очень долго, ограждая от тех, кто может разрушить или просто не оценить мое сокровище. И я продолжал придумывать разные истории своим картонным человечкам.

Однажды я нарисовал и вырезал из картона *себя, маму, папу*, всю обстановку в доме. Когда мама была на работе и я оставался один, я ставил спектакли про нас, как если бы мы были вместе... Сколько раз я представлял, как отец войдет в дверь, высокий, красивый, как я брошусь к нему на руки, как скажу, что всегда знал, на каком ответственном задании он был, и признаюсь, что никому никогда не обмолвился о том ни словом...

Я придумал свой сценический свет: когда входил отец, всегда зажигался фонарик».

Иван-чай в оттепель. Из Уфы — в Златоглавую

Юношеские годы Виктора Бриндача совпали с временем, которое — по образной метафоре Ильи Эренбурга — вошло в историю России XX века как «оттепель». *Политическая погода* во все времена многое предопределяла в жизни людей.

Оттепель. Возможность отогреть душу, открывшаяся после развенчания культа личности Сталина. Реальность, позволившая хотя бы отчасти избавиться от страха, пригуплявшего ощущение вкуса жизни.

Как библиотекарь, мама Виктора привила ему привычку следить за всеми книжными новинками, которые появлялись в библиотечке. Читал всё подряд: «Новый мир» — рупор нового времени, Тендрякова, Астафьева. После повестей Дудинцева «Не хлебом единым» и Солженицына «Один день Ивана Денисовича» прозрел, о чем и почему молчала мать.

Но... благословенная молодость! Уже звенели голоса Мартынова, Ахмадулиной, Рождественского, Вознесенского, Евтушенко. Оттепель, весенняя капель, пробивающая ледяной панцирь бытия, сквозь трещины которого прорастало ощущение личностной свободы. И возникала потребность воплотить ее в творчестве.

Для юноши, сызмала находившегося в атмосфере театра, театр всегда был радостью души, а с подросткового возраста стал и средством заработка. Подсобный рабочий, помощник декоратора, работник бутафорского цеха — Виктор брался за всё и учился всему, понимая, что зубами гвоздя не вытянуть. Ну, а если что-то не получалось, бежал в Дом пионеров к своему учителю — художнику Галею Галеевичу Галееву. Как и все, прошедшие войну, тот понимал, что если сызмала жизнь так бьет, а парень сопротивляется, то и большого добьется.

Благо теперь, когда и в Уфе настала «официальная оттепель» и *внешность обесцвеченного бытия* стремились приукрасить — хоть плакатом каким прикрыть, на художников везде был спрос. Русский драматический театр (ныне — Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан), основанный заботами невестки создателя «Аленького цветочка», Театр оперы и балета, Дом культуры... Парень еле успевал бегать по «шабашкам». Жаль, летами не вышел — платили меньше. Ну да школьные годы — дело временное, и уж совсем нехитрое — прибавить несколько годков. А жизнь Виктора складывалась так, что его друзьями обычно становились те, кто старше.

Уже тогда он познакомился с москвичами-художниками, приезжавшими в Уфу на этюды. «Пристроился к ним, начал ездить с этюдником на Урал. Вышли однажды из поезда на станции Усть-Катав, пешим ходом дошли до Златоуста, были на Откликном. Потом на Тагане прошли поток огромных живописных валунов, оставшихся как напоминание о ледниках. Немыслимая красота! Широкая полоса тянулась от горизонта до горизонта». Природа и рождавшиеся на ходу путевые этюды — всё это стало для юноши школой жизни, воспитывающей профессиональные качества: глаз фотографа, зрение и чувство — художника.

«Идешь, а там бурьян с сердитыми лопухами и бурым репейником. Потом по сырой земле спускались в овраги. В них тянуло ароматом каких-то цветов и лозняка. Купались в речных потоках. Я тогда любил акварель, делал десятки этюдов», — напоминает Бриндач ощущения тех лет, когда он начал реагировать не только на условный *театральный* и *книжный* мир, но и на мир *живой природы*, в котором синие горы отражаются в глади свинцовых озер и черные валуны не гасят *в багрец и золото одетые леса*, где цветет целебный иван-чай, где ты сам подобен водянистой акварели, созданной Всевышним. «Как было хорошо вокруг! Было много травы иван-чая, узкие листья которого мы заваривали и пили как чай черемухи...». В этих походах с этюдником, в одной связке с художниками-москвичами, он научился улавливать изменчивые состояния природы, что отчасти объясняет, почему на протяжении долгого времени этюд как жанр был так важен для Бриндача-живописца.

...1969 год. Парень из Уфы поступает в Государственный заочный народный университет искусств на факультет изобразительного искусства. «Теперь всё зависело только от меня самого, больше ни от кого». Всегда, как часы, в Армянском

переулке с выполненными заданиями. И всегда по пути — дом Лазаревых XIX века — ныне посольство Армении, а тогда — ощущение таинства неведомых мастеров, к совершенству творений которых тянулась душа будущего художника и скульптора.

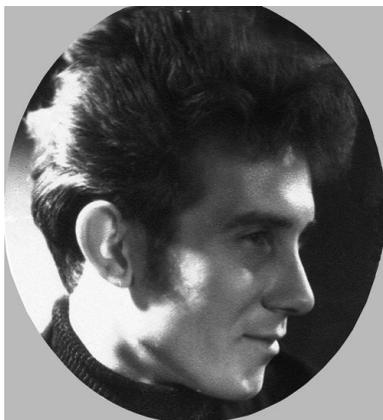
«Когда я учился в Москве, — рассказывает Виктор, — в то время был объявлен конкурс Министерства культуры СССР на создание проекта Манежной площади. Каждому выдали чертеж площади со всеми окружающими постройками: гостиница “Москва”, корпус университета, Манеж, Александровский сквер. На моем проекте был изображен прозрачный купол, в котором я разместил выставочные залы по теме революции. Работали многие мои сокурсники, но результаты так и не опубликовали. Площадь реконструировали только через тридцать лет. И на ней был размещен купол! Видимо, мышление было такое не только у меня.

Вообще всё тогда казалось по силам. Сейчас, когда говорят о том времени, сразу включают песню “Я иду, шагаю по Москве”. Да, Москва вдохновляла, была окном в мир, давала реальное понимание того, что действительно можно добиться в профессиональном продвижении. К тому же в Москве работы для художников всегда вволю, особенно для монументалистов. Так и прикипел к ним, хотя учился на факультете живописи».

В 1974 году Бриндач заканчивает университет. И — вот судьба — знакомство с крупнейшим художником-скульптором того времени Павлом Гусевым, который берет его в свою мастерскую помощником. Виктор переезжает в Горький, как тогда именовали Нижний Новгород.

Поделикатнее со скульптурой! Горький

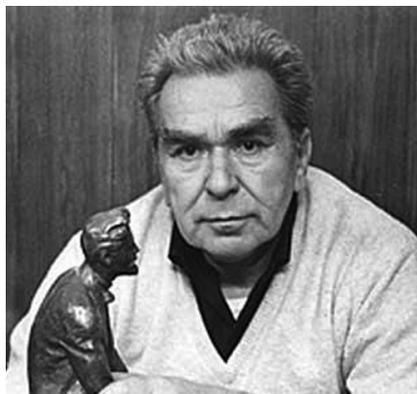
1970–1980-е — расцвет монументального искусства в СССР. В эти годы воздвигаются крупнейшие мемориалы: у Кремлевской стены, на Мамаевом кургане, в Хатыни... Утверждение величия социалистического строя, увековечение героики военного прошлого и трудовых подвигов мирного настоящего требовали разработки масштабных проектов в изобразительном искусстве. Одним словом, стране были нужны монументалисты, были нужны скульпторы!



Виктор Бриндач



Павел Иванович Гусев



Иулиан Митрофанович Рукавишников



Мосейчук, Пономарёв, Добржанский, Бриндач (197? г.)

Поколение детей Второй мировой войны оказалось поистине героическим в труде, как их отцы на фронте. И тем, кто уловил пульс своего времени, это ощущение мира и защищенности от внешнего «врага» стало дополнительным личностным резервом для самореализации. Культ книги рождал желание быть просвещенным, выковывалась страсть к получению серьезного образования.

А как иначе можно было выйти в люди? Само время воспитывало в человеке целеустремленность — он взращивался для того, чтобы быть полезным обществу. Художник рос с установкой творить для вечности, оставить свой след в искусстве. Выноси себя, образовывай, развивайся, пестуй свой талант во благо вскормившей тебя страны, во имя которой ты обязан трудиться и совершенствоваться далее. Эта государственная установка времени — созидать свою страну — помогла обрести личностный стержень. Таким сложился и Виктор Бриндач.

1974–1977-й — годы повышения квалификации и профессионального совершенствования — Бриндач провел в мастерской скульптора Павла Гусева.

Павел Иванович Гусев — выпускник Репинского института Академии художеств СССР, член Союза художников СССР, народный художник и заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалера ордена Ленина и других орденов, с 1982 года — Почетный гражданин г. Горького — по своим человеческим качествам был словно не из тех, у кого такой послужной список. Скромный, тактичный, мягкий, щедрый. Как художник он стремился к раскрытию духовной красоты человека из народа, сочетая в своих образах типические и индивидуальные черты людей. Продолжая традиции Веры Мухиной, выбирал в герои своих произведений людей сдержанных, но подкупающих богатством и светом внутреннего мира.

От всей натуры Павла Ивановича — самородка, представителя династии нижегородских кузнецов — исходило ощущение природной силы. Работал он с утра до ночи, а потом — на Волгу. Любил порыбачить. Думать о скульптуре тоже любил у реки, воды которой словно отшлифовали его убежденность в том, что «главное в скульптуре — деликатность». Эти качества наставника импонировали Виктору, такому же деликатному, одаренному и чрезвычайно трудолюбивому по натуре, очень быстро развивавшемуся из помощника скульптора в самостоятельного монументалиста.

В мастерскую Гусева часто приходил ровесник Виктора — его тезка скульптор Виктор Пурихов (ныне заслуженный художник РФ, лауреат премии г. Нижнего Новгорода и премии генералиссимуса А.В. Суворова), с которым Бриндачу иногда приходилось работать в паре. «Просматривая наши эскизы, Павел Иванович вежливо говорил: “Поделикатнее, поделикатнее, ребятки”. Приглядишься — и опять прав наш Павел Иванович, — вспоминает Виктор Бриндач. — А вообще, для того чтобы выполнить заказ к сроку, иногда приходилось спать по два часа в сутки».

Профессиональный уровень и педагогический дар П.И. Гусева, естественная простота в общении притягивали к нему молодых людей, мечтавших стать мастерами своего дела. Его пример позволял верить, что возможно подняться над обыденностью, освободиться от всего наносного. И ученики становились не только художниками — они становились личностями.

Здесь же, в Горьком, Бриндачу довелось познакомиться с семьей скульпторов Рукавишниковых — на одной из выставок в их родовом особняке на Верхне-Волжской набережной (ныне усадьба Рукавишниковых входит в состав Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника). Иулиан Митрофанович Рукавишников (1922–2000), народный художник СССР (1988), был на то время одной из ключевых фигур в монументальном искусстве страны — автором эпохальной ленинианы в скульптуре, памятников Чехову в Таганроге, академику Курчатову и архитектору Щусеву в Москве, обелиска на месте гибели космонавта Ю. Гагарина и летчика-испытателя В. Серегина и т. д.

Виктор полон свежих идей, как губка впитывает всё, готовясь к новым перспективам, которые открывает ему столь серьезное знакомство. Иулиан Митрофанович уже готов взять его в свои московские проекты. Но... Как выясняется, для участия в них у Бриндача недостает формального диплома скульптора. Рукавишников советует поступить в Одесское художественное училище имени М.Б. Грекова, заметив при этом, что работа в Одессе для Виктора уже имеется. Бриндач, следуя словам мэтра, едет в город у Черного моря.

Город, в котором легко жить. Одесса

Одесса — город-порт — стал для Бридача естественным продолжением городов на Волге. Город, в котором, по признанию художника, он сразу почувствовал себя своим: «Замечательные люди — с юмором, открытые, приветливые, — наверное, от Черного моря».

С 1977-го по 1981-й год Виктор учится в Одесском художественном училище им. Грекова на отделении скульптуры, а вскоре и сам начинает руководить студенческой практикой, участвует в училищных и городских монументальных проектах. С городом цветущих акаций и бронзового красавца Дюка связаны его первые (в 1979 и 1981 гг.) выставки — в выставочном салоне Одесского отделения Союза художников УССР, располагавшемся на улице Красной Гвардии. Стоит ли удивляться, что и первая статья о художнике была опубликована в Одессе — на страницах областной газеты «Комсомольска Искра» (1980. 9 дек. С. 1). Она называлась «Наш сучасник» («Наш современник»).

В 1980 году Бридач выполняет заказ Одесского суперфосфатного завода — мозаичное панно «Море» (25 кв. м) — для отделки интерьеров административного здания предприятия. А в 1981 году воплотились и его первые самостоятельные замыслы в скульптуре: «Обнаженная» (1 м) и «Танцующие дельфины» (2 м), выполненные по заказу Одесского машиностроительного завода и установленные в приморском селе Санжейка. «Понятно, что денег у заказчиков было не так много, — вспоминает Виктор, — поэтому скульптуры выполнялись в бетоне. В Интернете нашел недавно видео, где есть кадры только дельфинов» [2].

Город у Черного моря останется на всю жизнь в сердце художника. Через тридцать с лишним лет Бридач передаст Одессе работы станковой живописи, ныне находящиеся в собраниях Одесского художественного музея («Раввин с Горой»), Музея истории евреев Одессы «Мигдаль-Шорашим» («Земля, текущая молоком и медом»), Одесского Дома-музея имени Николая Рериха («Портрет седого раввина», «Часовщик», «Алеф. Первая буква иврита», тринадцать авторских копий цикла «Двенадцать колен Израилевых»).

И было в Одессе еще нечто очень важное для Бридача-скульптора, с детства познавшего *чувство сценографической композиции* — как геометрически организованного и упорядоченного соединения всех деталей театрального пространства. Только теперь это была не сцена, а архитектурный облик самого города, построенного по европейскому образцу, города шедевров мирового зодчества, дающего ощущение гармонии форм градостроения и целесообразности скульптуры в конкретном месте.

Культурная жизнь Одессы всколыхнула давний интерес Виктора к театру, особенно к оперному, большую часть репертуара которого он знал наизубок. Разве мог послевоенный уфимский театр сравниться с этой жемчужиной Новороссии? Одесская опера, как синтез искусств, совмещала в себе всё: и внешнее архитектурное чудо нового венского барокко, и чудо бело-бордово-золотого зрительного зала, интерьеры которого стилизованы под позднее французское рококо: царственный купол, старинные канделябры, величественные лестницы с мягкими перилами и чугунными решетками... Симфонический оркестр, опера, балет, декорации и костюмы, театральный свет... Театральные ощущения детства и профессиональные навыки живописца и скульптора вдруг соединились и обогатились качественно новым пониманием характера в скульптуре, построения мизансцен и расстановки героев на живописном полотне.



Одесса. 1980 г.



В мастерской

Город стимулировал и фабульность *литературного* мышления скульптора. Живя здесь, нельзя было не вспомнить, что одесским колоритом окрашены вехи жизни и творчества таких мастеров слова, как Пушкин, Гоголь, Бунин, Куприн, а также Шолом-Алейхем, Зеэв Жаботинский, Хаим Нахман Бялик, Исаак Бабель, Ильф и Петров... В Одессе проявился и первый интерес Бриндача к еврейским байкам и приколам, которые позже скажутся в разработке скульптурных композиций, представленных на выставках «Сатира и юмор» в Москве и Ленинграде.

Ну, а Одесса осталась в памяти.

Море, купальщицы, танцующие дельфины, молодость... И бабелевское: «Город, в котором легко жить, в котором ясно жить».

Сормовская молодежь и Большая Волга

Летом 1981 года Бриндач возвращается в Горький, к Павлу Ивановичу Гусеву, но теперь уже не как помощник, а как самостоятельный скульптор. Он получает здесь свою художественную мастерскую, активно участвует в выставках Горьковской организации Союза художников РСФСР в выставочном зале на площади Минина.

Скульптурная композиция «Сормовская молодежь», впервые представленная им на экспозиции 1983 года, будет еще не раз участвовать во многих всесоюзных выставках. Вот что писали о ней на страницах журнала «Искусство»: «Образно-пластический мир Бриндача, как правило, внешне безыскусен. Он редко обращается к распространенным сейчас аллегорическим, ассоциативным формам. Его муза скромна, она живет в его городе, и в его образах, нередко почти доведенных до состояния символа, всегда узнается первоисточник. Ощущением своей заимствованной новизны характерна скульптура Бриндача “Сормовская моло-

дежь” (1983). Мир юности и ее мечтаний — таков смысл двухфигурной композиции. Но при всей условности замысла в работе нет ощущения ходульной плакатности. Позы юноши и девушки просты, но за ними, в самом характере лепки, мы видим их духовную сложность, разносторонность характеристик личности. Между ними как бы идет внутренний диалог. Выразительно использованы в этой работе цвет и фактура материала (цветной металл). К достоинствам Бриндача как скульптора нужно отнести и его свойство задумывать и исполнять свои произведения в долговечных материалах, как правило, металле, что придает его скульптурному мышлению определенную пластическую конструктивность» [3].

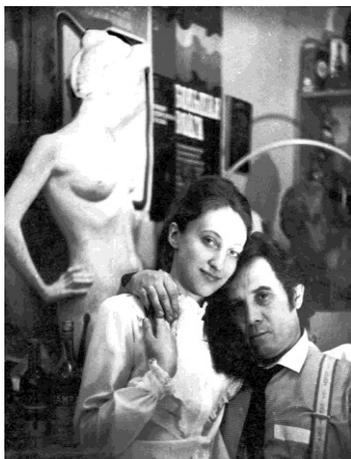
Годом ранее Горьковская организация Союза художников РСФСР начала серьезную подготовку к выставке «СССР — наша Родина» в Центральном доме художников на Крымском валу в Москве, посвященной 60-летию образования СССР. В преддверии этого мероприятия «художники организовали своеобразные выездные творческие мастерские на полях колхозов и совхозов Городецкого и Шатковского районов, на промышленных предприятиях этих районов и города Горького, в научно-исследовательских и учебных институтах», — писала газета «Горьковская правда». Некоторые из мастерских располагались прямо на берегу Волги, вот почему в экспозиции было представлено так много портретов волжан — натур широким, как сама Волга-матушка. Это то, что было близко и Бриндачу — художнику прямому, несгибаемому, не знавшему понятий личной выгоды и счета вложенного времени, если речь шла о завершении замысла.

Скульптурные работы Бриндача, представленные на выставке в Манеже, отмечаются среди лучших — формы, найденные скульптором, словно обновлены волжской водой. Одна из них — «Сормовичи» — прямо на выставке была приобретена торговым представительством посольства Югославии в СССР. Несколько слов о ней из уже упоминавшейся публикации О. Прохоренко в журнале «Искусство»: «Тема труда в изобразительном искусстве имеет множество различных аспектов, требующих своего воплощения, и потому никогда не будет исчерпана, несмотря на длительные старания разного рода конъюнктурщиков ее опознать. Потому и мысль известного ленинградского скульптора Б. Пленкина, как-то высказанная им: “Красота души рабочего человека — будь то сталевар или прокатчик, шахтер или колхозник — главная тема в нашем искусстве... ее название — человеческая тема” — так приложима к творчеству Бриндача.

В поисках духовного и физического в человеке он пришел к созданию композиции “Сормовичи”. Скульптор показывает молодых рабочих в редком для этого жанра лирическом ключе. Внутренний мир изображенных раскрывается через тончайшие образные нюансы, соединяясь с присущей современной молодежи остротой характеристик. Умение сказать немногими словами о многом связано в этой композиции со свободным владением материалом, глубоким умением увидеть и показать через “рабочую тему” сложность человеческого бытия» [4].

В «волжском» периоде творчества Виктора Бриндача заметную роль сыграла и VI Зональная выставка «Большая Волга» — самая большая из всех ранее проводившихся и последующих региональных выставок, открывшаяся 25 апреля 1985 года в Чебоксарах. В Чувашском государственном художественном музее и выставочном зале на проспекте Мира экспонировалось около 3 000 работ 850 авторов: живопись, скульптура, графика, театральное-декорационное, декоративно-прикладное, монументальное искусство... Впечатления, от которых захватывало дух! Здесь Бриндач знакомится с заслуженным деятелем искусств РСФСР (1987 г.) и

Чувашской АССР, автором множества работ по монументальному искусству и скульптуре, доктором искусствоведения Никитой Васильевичем Вороновым. «С симпатией и некоторой улыбкой выполнил группу “Сормовская молодежь” Виктор Бриндач (Горький), выразительно используя цвет материала (медное литье)», — выделяет искусствовед скульптуру Бриндача в статье на страницах журнала «Художник» и обращает внимание на то, «что скульптор успешно продолжает родившееся еще в начале 1960-х годов и получившее известное распространение в последнее десятилетие направление, разрабатывающее сопоставление человека и окружающих его технических деталей» [5].



С женой Лидой. 1985 г.



Композиция "Труд"

То, что сегодня кажется чересчур политизированным или звучит несовершенно, не должно смущать: в то время о качественных работах иначе не говорили...

Не холодной душой. Воин-победитель

Жизнь на Волге — это люди, общение с выдающимися мастерами своего времени, полученные от них знания и навыки, помогающие направить заложенные от природы способности в осмысленный труд. Здесь отливалась личность художника.

Волга широководна. Она кажется безбрежной в разлив и вливает свою силу в твою душу. Оттого и люди на Волге чаще натуры широкие. И сколько бы потом суровый скульптор жизни ни порывался вырезать из тебя деревянного полумера, твой личностный стержень останется. Отсечены ветви, отодрана кора, обнажен до гладкости ствол дерева, но крепок корень и несуетен живой дух, вскормленный Волгой... И обновляется твоя ива оливково-зеленым побегом. Ветер хочет ее склонить, но лишь ветлы колышутся и серебрятся бело-зелеными листьями. И вся она — как серебряная.

Слово — серебро, молчание — золото. Только к чему серебряной ветле золото? Художник должен говорить! Художник — не художник без своего слова в творчестве. Таким художническим самовыражением стала для Виктора скульптура

«Воин-победитель». Наверное, это символично, по аналогии образов воина-солдата и воина — победителя в искусстве, поскольку сам по себе труд скульптора — это тяжелый и длительный физический труд. Но Виктор принимает эту часть бытия без колебаний — как жажду жизни, в которой муки и радости и творчество как любовь.

А тема войны в целом, без сомнения, явилась темой сокровенной для художника, родившегося в 41-м роковом...

«В. Бриндач особенно активно работает над военно-патриотической темой. Поводом всерьез заняться ею послужил, как говорится, “социальный заказ” на памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, выполненный скульптором для Горьковской области (1983). Композиция представляет собой солдата-победителя с развевающимся знаменем в руках на высоком постаменте (листовая медь). Удачно подобрано место для памятника, что тоже немаловажно.

Эта работа не оставила В. Бриндача равнодушным. Говорят, что “военная тема” надоела, но ведь дело, должно быть, заключается в мере искренности творца. Явно не холодной душой создает скульптор свою следующую работу этого цикла — “Военного корреспондента” (1984), в котором ощущается напор, готовность к наивысшей точке своего бытия — подвигу. Убедительно передана внутренняя драматичность состояния героя. Ясность, пластическая и образная собранность композиции сочетаются с внимательной детализацией: полусгоревший снарядный ящик, блокнот и карандаш в руках журналиста — все эти элементы органично входят в образ.



Медестра. 1986. Гипс



Сормовичи. 1996. Цветной металл

Москва не раз встречалась с работами В. Бриндача. Одна из последних экспонировалась в Манеже на Всероссийской выставке “Мир отстояли — мир сохраним”¹⁶. Это была небольшая композиция “Весна”. Образ девушки-фронтовички получил нетрадиционную трактовку. Это не попытка поддаться под взгляд “очевидца”, а взгляд сквозь время, с большой исторической дистанции. Образ романти-

чески возвышен, пронизан мягкой напевностью, трогательной женственностью. Выразительный силуэт скульптуры, тонкая моделировка формы сочетаются с цельностью объема. В этой композиции проявилось настоящее умение художника говорить взволнованным языком искусства.

Близка к этой работе по своему духу скульптурная композиция «Медицинская сестра» (1986). Заплетающая косу девушка прислушалась к редкой на фронте тишине. Опозтированный образ медсестры погружен в мир воспоминаний. Это сама нежность и обаяние и, что очень важно, чувство глубокого сострадания художника к юности, свергнутой в бедствия войны» [7].

...Получилось так, что просторы России-матушки и политическая оттепель, в которую юношей Виктор Бриндач начинал свой творческий путь, предопределили его реку жизни, а годы жизни и творчества, проведенные на Волге, способствовали обретению личностного размаха, который не позволит художнику раствориться и в столице.

...А скульптура «Воин-победитель» и поныне величественно возвышается на левом берегу Волги, в городе Бор, расположенном напротив Нижнего Новгорода, что на правом...

Мастер психологического портрета. Москва — Воскресенск

Иулиан и Александр Рукавишниковы приглашают Виктора в московские проекты. Жить на два дома трудно, нужно переезжать. В конце 1980-х годов Бриндач получает квартиру в городе Воскресенске и с характерной для него активностью включается в жизнь художников Подмосковья: участвует в экспозициях, развернутых в выставочном зале Московской областной организации Союза художников РСФСР в Подольске и Выставочном зале на Крутицком валу в Москве (1988 г.), в III Зональной художественной выставке «Подмосковье», проходившей в Манеже [8] (1990 г.).

И далее, не сбавляя темпов: Всероссийская художественная выставка «Наука и космос на службе мира» в Калининградской картинной галерее (1989 г.), где скульптура Бриндача «Космос», впервые представленная на экспозиции, в том же году приобретает торговое представительство посольства Великобритании в СССР; участие в крупнейших международных тематических проектах, осуществляемых Центральным домом художника — «Цветы» (1991 г.) и Центральным выставочным залом — «Письменность» (1992 г.), — в честь создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия.

Годами ранее работы Бриндача включались в VII Республиканскую художественную выставку «Советская Россия» (1985 г., Москва, Манеж). Автор заметки «Зригели о выставке “Советская Россия”» в журнале «Художник» [9] пишет, что «выставка художников Российской Федерации 1985 года отличается от прежних значительным приливом талантливых работ. Общая ее особенность — жизнерадостность, вера в жизнеотворяющую силу нашего народа». Среди опубликованных здесь же восторженных отзывов зригелей находим запись от группы студентов-москвичей: «Мы, группа студентов, искренне восхищены выставкой “Советская Россия”. <...> ...из скульптурных работ хочется выделить скульптуру А. Сергеева “Отдых в поле”, В. Бриндача “Сормовская молодежь”, В. Дронова “Танковый десант”».

На этой же выставке был представлен бюст Николая Рубцова, к романтизированному образу которого Бриндач обращался не раз в разные периоды жизни. «Большой творческой удачей В. Бриндача, да и в каком-то смысле, очевидно, его художественным кредо, явилось создание им в 1983 году портрета поэта Николая Рубцова. “Тихая моя родина” — кажется, что эти слова поэта легли в основу композиционного решения. Скульптура по-настоящему монументальна, хотя и меньше натуры. За сдержанностью внешних проявлений поэта чувствуется горение тонкой человеческой души. Четкая, строгая пластика раскрывает перед нами светлый и чистый образ поэта»^[10].



Поэт Николай Рубцов

По характеру мышления Бриндач всегда тяготел к детализированному портрету, отражающему внутренний мир человеческой индивидуальности. В одну из своих поездок в Казань он познакомился с коллегой, который всегда возил с собой томик стихов Николая Рубцова, и с тех пор, что называется, заболел «новым Есениным» — как современники нередко называли Рубцова. «Тихая моя родина», «Журавли», «Матери» — строки этих стихов отзывались в сердце, брали за живое, сливались с собственными переживаниями. А потом вдруг сложилось несколько портретных скульптур

поэта в разных материалах — эпоксид, бетон, мрамор.

Много позже один из бюстов поэта был приобретен Николаем Витруком^[11], о чем Виктор Бриндач неожиданно узнал из статьи в Интернете, увидев там свою работу. В электронном архиве художника имеется текст ответа Н. Витрука от 12 января 2011 года: «Уважаемый г-н В. Бриндач! Если вы автор бюста Н. Рубцова, то с удовольствием отвечу на Ваши вопросы. Бюст в мраморе был куплен мною более 20 лет назад в художественном салоне, расположенном между Кутузовским проспектом и Дорогомиловской улицей (по-моему, сейчас его нет). Всё это время бюст находился у меня в Москве. Сейчас он находится в Музее искусств^[12], на моей родине в с. Первомайском Первомайского района Томской области (в 120 км от Омска). Музей искусств открыт на основе моего художественного собрания (мой подарок населению района). Бюст Н. Рубцова интересен во всех отношениях, и я рад, что он нашел свое достойное место. Желаю вам здоровья и больших новых творческих успехов в Новом 2011 году! С уважением Н. Витрук».

Это письмо интересно и как документ эпохи, и как одна из страниц историко-культурного бытия произведений искусства в мире. Таков эстетический феномен, когда конкретное произведение искусства устанавливает связь между художником и зрителем, когда зритель, движимый собственными чувствами и вложивший собственные средства, со временем сам становится меценатом, желая, чтобы выбранная им работа стала достоянием общества.



Обнажённая



Ильф и Петров

И еще несколько слов о мастерстве скульптора в жанре психологического портрета: «Качество характеристик портретных образов Бриндача во многом определяется мерой его ответственности, требовательности к самому себе. Эмоциональная сила его произведений заключается в его творческой страстности. Он ищет в своем

творчестве природы цельные и открытые. Не случайно он уже много лет обращается к образу М. Горького. Сначала он сделал рельефный портрет великого писателя, разлив его в дальнейшем в станковый портрет. Следующим этапом было создание сложной полнофигурной композиции. Всё пластическое решение скульптуры приобрело характер драматического столкновения. Композиция наполнена борьбой и взаимопроникновением объема и пространства, резкими контрастами света и тени. Конструктивная вертикаль длинного распахнутого пальто направляет взгляд к лицу и рукам. Правая рука гневно сжата в кулак, в левой раскрытой ладони застыл немой вопрос. Некоторая отрешенность во взгляде человека, погруженного в свои думы, высокий лоб — всё это создает образ большого мыслителя и гуманиста. <...>

В изображении писателя В. Рыжакова (1984) скульптор проявляется как мастер психологического портрета. Бриндач раскрыл личность человека душевно богатого, с незаурядным интеллектом. Тешый лучистый взгляд немного усталых мудрых глаз озарен едва уловимой, чуть насмешливой улыбкой. Жизненность и убедительность образа писателя проявляется в том скрытом добром юморе, с которым скульптор показывает модель»^[13].

Наш замечательный согражданин. Воскресенский пастушок

Говоря о конце 1980-х — начале 1990-х годов, Виктор вспоминает: «В Центральном доме художников на Крымском валу тогда было принято показывать свои работы, если, конечно же, ты не боялся публичного обсуждения и жарких дискуссий. Но мне всегда было интересно мнение специалистов, поэтому я часто показывал свои эскизы. Практиковалось посылать на творческие дачи — нечто вроде трехмесячных стажировок за счет Союза художников и Художественного фонда. Обычно меня включали. Замечательные мероприятия проходили в Переславле-Залесском на Творческой даче им. Кардовского — там были персональные мастерские и большой зал для желающих позаниматься с натурой. Предоставлялась натура, выдавались все материалы для работы, еда, жили в комнатах на двоих — всё было как подарок. После трех месяцев прибывали кураторы отсматривали наши работы и отбирали для выставок».

Не удивительно, что эти годы становятся для Бриндача ударными. Он участвует во всероссийских выставках в Москве, среди которых «Художник и время» (1987, Манеж), «Памятники Отечества (к 800-летию “Слова о полку Игореве”)» (1987, Выставочный зал МОСХ на Кузнецком мосту), «Всегда на чеку» (1987, 1988, Дом художника на Кузнецком мосту), «На страже завоеваний социализма (к 70-летию Вооруженных Сил СССР» (1988, Манеж), «Сатира и юмор» (1987, Москва–Ленинград).

По поводу участия в последних — отзыв искусствоведа тех лет: «Творчество Бриндача неординарно и по широкому кругу его интересов. Так, например, он нередко вдохновляется литературным произведением, герои которого получают физическую определенность на его скульптурном станке. Явление для нашего искусства это сегодня редкое, и поэтому особенно приятно было увидеть на Всероссийской художественной выставке “Сатира и юмор” обретших новую жизнь в мастерской Бриндача персонажей книги “Двенадцать стульев” и “Золотой теленок” И. Ильфа и Е. Петрова. Это был феерический парад моментально узнаваемых персонажей. Это была жизнь прошедшая, но и жизнь настоящая — жизнь неравнодушного к ней художника, идущего и обретающего новые качества в своей пластике»^[14].

От себя заметим, что природное чувство юмора всегда выручало Виктора в творчестве, спасало от полигизации, заложенной во многих государственных заказах. «Любая тема в искусстве подвластна изучению и воссозданию. Нужно только правильно определить для себя жанр и знать, что ты хочешь сказать», — говорит сегодня Виктор Бриндач.

Такою убежденностью подтверждает творческий диапазон художника и круг поднятых им тем, об уровне художественного воплощения которых отзывались центральные, в том числе профессиональные издания, давались авторитетные оценки современников. Это работы, увиденные тысячами глаз на крупнейших выставках того времени, это скульптуры и панно в открытом городском пространстве — многим из них сегодня уже три или даже четыре десятка лет...



С пастушком

За этими публичными достижениями стоят талант, цельность внутреннего мира, доброжелательность по отношению к людям, душевная щедрость, а еще невообразимая работоспособность и терпение на грани мужества.

В этой связи показателен очерк Г. Дригинкиной «Открытие в родном доме», напечатанный в воскресенской газете «Наше слово».

«Живет в нашем городе замечательный художник-скульптор Виктор Бриндач. Совсем недавно открыла для себя я этого художника, как открывают целый мир или планету. И хочу поделиться этой радостью.

Увидев впервые его работы, я была поражена масштабностью его дарования. Я увидела целую галерею замечательно выполненных портретов, монументальные композиции и чисто декоративные работы. Выразительны и динамичны образы рабочих, солдат, выполненные как в портретном плане, так и в скульптурных композициях. Особенно лиричен и обаятелен образ будущей матери, полный жизненной силы, гордости и хрупкой тревоги за свое дитя.

Скульптор работает с различными материалами — мрамором, бронзой, керамикой. Но идет невероятно трудным путем. Не имея мастерской (а зна-

чит, не имея учеников и зрителей), стиснутый до отчаяния множеством жилищных неудобств, он вынужден работать с биноклем и настольной лампой. Поясню: скульптор должен видеть свою работу в перспективе.

<...> ...всем желаю посетить открывающуюся выставку в выставочном зале Манежа в Москве, посвященную Кириллу и Мефодию, где выставлены две работы нашего замечательного согражданина-скульптора — члена Союза художников, творчество которого уже отмечено западной прессой» [15].

Тепло и проникновенно говоря о замечательном *нашем* художнике, журналистка пытается привлечь внимание к его проблемам и так знакомо — по-русски (ну нет пророка в своем отечестве!) — приводит последний «весомый» аргумент (а вдруг сработает?): «творчество уже отмечено западной прессой». «Уважаемые спонсоры и меценаты, руководители многочисленных СП и МП! Пусть из вас не получится Кропоткиных и Морозовых, но, согласитесь, ведь что-то останется в душе, если где-то появится табличка с надписью: “приобретен и установлен на средства... в дар родному городу”» [16].

...В городе Воскресенске и поныне стоит перед детским домом — на радость согражданам — скульптурная композиция Виктора Бриндача «Воскресенский пастушок» (с табличкой или без, мы не знаем). Образ поэтический и трогательный, словно соединивший традиции всех пастушков, запечатленных в русском и мировом изобразительном искусстве.

В нем — мастерство и лиричность *серебряной ветлы* на Волге... А еще... память о детстве, когда ждал отца нескончаемые десять лет...

Река жизни

«Издавела долго течет река Волга, течет река Волга — конца и края нет... Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне семнадцать лет».

Виктору было 52 года, когда он покинул Россию...

На том берегу остался его воин-победитель, а на новом — неведомая жизнь.

Жизнь — река. Описывать *издалека* — *долго*. И объяснениям — *конца и края нет*. И трудно себе представить, а с точки зрения географии вообще не понять, как открывшиеся с эпохой перестроечных реформ границы между страной рождения и исторической родиной повернули реку жизни Бриндача в новое русло.

Так и остались позади — и *снега*, и *хлеба*, и *Волга*...

Но случилось то, что случилось: страдная пора созидания в России перешла в течение времени, обозначив на рубеже тысячелетий новый век в жизни и творчестве художника.

С 1993 года Виктор Бриндач в Израиле.



Примечания

- [1] Так записано в «Книге памяти жертв политических репрессий Республики Башкортостан» (Уфа: Китап, 1997. Т. 1. А–В. С. 437.
Электронная версия издания: http://haqmar.narod.ru/a_v.pdf).
- [2] Фильм В. Липатова «Санжейка — мой дом»
(URL: <http://www.youtube.com/watch?v=DMPCuurDy-s>).
- [3] Прохоренко О. Скульптор В. Бриндач // Искусство. 1988. № 7. С. 20–21.
- [4] Там же. С. 21.
- [5] Воронов Н.В. Большая Волга // Художник. 1985. № 10. С. 19.
- [6] Четыре лучшие работы с этой выставки 1985 года в Манеже были опубликованы в газете «Советская Россия» (1985. 9 марта. С.1) вместе с заметкой «Встречи в выставочном зале». Первая среди работ — скульптура В. Бриндача «Весна» — была помещена прямо под названием газеты.
- [7] Прохоренко О. Скульптор В. Бриндач // Искусство. 1988. № 7. С. 19–20.
- [8] Отзыв об этой выставке с упоминанием имени В. Бриндача опубликован в журнале «Искусство» (1990. №6. С. 78) — в статье В. Перфильева «Искусство Подмосковья».
- [9] Готфрид Б. Зрители о выставке «Советская Россия» // Художник. 1986. № 7. С. 61.
- [10] Прохоренко О. Скульптор В. Бриндач // Искусство. 1988. № 7. С. 21.
- [11] Николай Васильевич Витрук (1937–2912) — российский юрист и государственный деятель, судья Конституционного суда Российской Федерации (1991–2003 гг.), коллекционер, меценат.
- [12] В настоящее время — в Первомайской районной галерее искусств (собрание Н.В. Витрука) — филиале МАУ «Первомайский районный краеведческий музей» (с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 8).
- [13] Прохоренко О. Скульптор В. Бриндач // Искусство. 1988. № 7. С. 21–22.
- [14] Там же. С. 22.
- [15] Дригинкина Г. Открытие в родном доме // Наше слово. [Воскресенск] 1992. 9 июня. С. 3.
- [16] Там же.



Лев Мадорский, Анатолий Зак

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Родители нас часто спрашивают: «Когда лучше всего начинать музыкальное воспитание и как это делать?».

Вынесенный в заголовок ответ на первую часть вопроса удовлетворяет не всех родителей. И тогда мы приводим ответ на этот вопрос известного венгерского педагога и композитора Золтана Кодаи: «За девять месяцев до рождения ребёнка. А ещё лучше за девять месяцев до рождения его матери».

Это не просто красивый афоризм. Именно так дело и обстоит. Извините, если подобным ответом несколько нарушили ваше душевное спокойствие. Ведь многие привыкли считать, что воспитание ребёнка, в том числе музыкальное, надо начинать значительно позже. А до трёх-четырёх лет растёт здоровеньким — и слава богу.

Новейшие психолого-педагогические исследования показали, что время, упущенное для воспитания в дошкольном возрасте, трудно восполнить. Особенно необратимые последствия имеет потеря первых лет — от нуля до четырех.



Известный сторонник раннего активного развития детей из Японии Масару Ибука, отстаивающий именно такую точку зрения, в своей книге «После трёх уже поздно», в качестве доказательства приводит примеры детей (только в Индии известно несколько подобных случаев), которые были в младенческом возрасте похищены волками и в три-четыре года найдены и возвращены к человеческой жизни. Несмотря на все попытки учёных, эти дети не смогли подняться с животного уровня развития. Их не смогли научить не только читать или считать, но даже членораздельно говорить. Выходит, что история Тарзана — прекрасная сказка.

Это, впрочем, не означает, что мы полностью согласны с максимализмом японского музыканта. На наш взгляд, всё обстоит не так драматично. Есть масса

примеров, когда дети, ранним музыкальным воспитанием которых никто не занимался, впоследствии становились не только большими любителями музыки, но и профессиональными музыкантами. В том числе, высокого уровня.

И всё-таки многое говорит в пользу того, что ранний период в жизни ребёнка необычайно важен и что у детей до трёх-четырёх лет огромный жизненный потенциал.

Сознание малышей — чистый лист. Оно не имеет стереотипных представлений и впитывает всё новое. Ребенок активно познаёт окружающий мир. Дети до 4-х лет готовы учиться, хотя учиться, получают от учёбы удовольствие. Несомненно, что этот возрастной феномен необходимо использовать.

Масару Ибука рассказывал об эксперименте, проведённом в Японии в центре раннего развития. Одной группе детей в возрасте одного-двух лет давали постоянно, но небольшими порциями, слушать классическую музыку (случайно выбор пал на музыку Бетховена), а другим не давали. Дети в «бетховенской» группе оказались более понятливыми и эмоционально восприимчивыми.

А теперь перейдём ко второй половине вопроса: как организовать музыкальное воспитание самых маленьких. Как правильно создать для них музыкальную среду? Как развивать в раннем возрасте музыкальные способности? Отметим несколько моментов.

Звуковое окружение



С рождения младенец попадет в мир звуков: это голоса близких, поскрипывание кроватки, звон погремушек, шум машин за окном и множество других самых разнообразных звуков — сердитых, нежных, резких, громких, взрослых, детских. Младенец вслушивается в мир звуков и старается его понять. Уже в два-три месяца у него появляется некоторое эмоциональное восприятие звукового окружения. Малыш поворачивает в сторону звуков голову, фиксирует глазами предмет, издающий

звуки, а с семи-восьми месяцев пытается имитировать то, что слышит — гулит, бормочет, иногда даже напевает.

К этому времени малыш, ещё не улавливая смысла слов, тонко чувствует интонацию, мелодику человеческой речи. На ласковый тон — улыбается, тянется ручками. Скажите то же самое сердито — пугается, плачет. Постарайтесь по возможности огородить его от громких, диссонирующих звуков. Неокрепшей нервной системе малыша противопоказаны сильные звуковые эффекты. Слыша громкие, резкие звуки, например, шум дрели за стеной или, что ещё хуже, ссоры родителей, карапуз морщится, сердится, иногда плачет. Если подобных звуков много и они повторяются регулярно, ребёнок становится нервным, возбудимым, плохо кушает и спит. Мелодичные, тихие, нежные звуки, напротив, действуют на него успокаивающе, доставляют удовольствие. Поэтому важно создать для ребёнка звуковое окружение, насыщенное мелодичными, приятными звуками: это колокольчики, погремушки, музыкальные игрушки (в том числе, такие, которые висят над кроваткой и до которых он сам может дотянуться). И ещё.

Пусть родители поют малышу



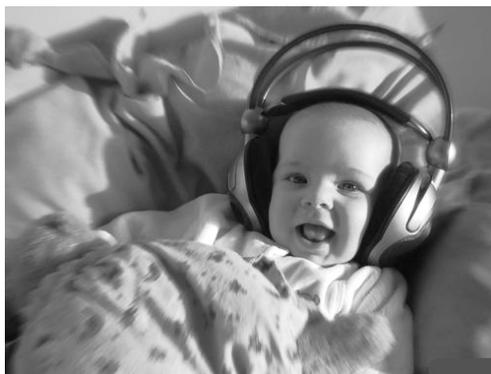
С пением матери связаны первые, важные музыкальные впечатления. Веками матери пели у колыбели ребёнка самые нежные, самые душевные песни. И первые воспоминания о пении матери у многих из нас связаны с ощущениями счастья, любви, нежности. Сегодня песня, в том числе, у колыбели ребёнка, всё больше уходит из семейной жизни. Некоторые стесняются своего голоса. Другие считают, что это ни к чему, поскольку проще включить музыкальный центр. У многих в нашей суматошной жизни голова забита другим и им не до песен. А жаль. Если хотите, чтобы ваши сын или дочка полюбили музыку, чаще пойте им. Пение мамы, других близких людей — самый лучший способ добиться того, чтобы ребёнок с рождения реагировал на музыку, как на что-то приятное и радостное.

Знаем семью, в которой родители, заметив, что одиннадцатимесячный ребёнок пытается имитировать, повторять интонации их голоса, стали обращаться к карапузу с импровизированными, напевными речитативами.

— Вставай любимый Сашенька, — напевали они утром на разные мотивы. — Как тебе спалось, сыночек? Давай, будем одеваться. А где же наша рубашечка? И т.д. и т.п.

Конечно, превращать дом в оперную сцену не просто, но результаты оказались поразительными. К двум годам Саша очень любил петь, а к трём распевал многие детские песенки.

Если музыка звучит с первых дней



Из огромного мира звуков особенно влекут малыша музыкальные звуки. Выдающийся русский психиатр, невропатолог Бехтерев считал, что для развития музыкальности надо давать младенцу слушать музыку с самых первых дней жизни. Но как определить, подходит ли данная музыка вашему ребёнку? Бехтерев предложил простой и надёжный способ: «Маленькие дети живо реагируют на музыку. Одни произведения вызывают плач и раздражение. Другие — радостные эмоции и успокоение. Этими внешними реакциями и следует руководствоваться в выборе музыкальных произведений».

Однако, как показывают наблюдения, совет учёного срabатывает не всегда. Встречаются малыши, которые на музыку мало реагируют или реагируют достаточно неопределённо, чтобы сделать какой-то однозначный вывод. В этих случаях советуем придерживаться критериев, может быть, несколько более расплывчатых, чем у Бехтерева, но приемлемых для всех малышей. Музыка, которую вы предлагаете самому юному слушателю, должна быть высокохудожественной. Не стоит искусственно ограждать малышей от шедевров Баха, Чайковского, Бетховена, и др. и давать слушать только простую, элементарную музыку, написанную специально для них. Но есть и некоторые ограничения: музыка для самых маленьких должна иметь ясную мелодию, светлый характер, чёткую форму — как в литературе. Сначала сказки Пушкина, и только значительно позже «Преступление и наказание» Достоевского.

Музыка и эмоции тесно связаны. Уже в три-четыре месяца малыш не только прислушивается к музыке, но и реагирует на неё эмоционально: при звуках колыбельной лежит тихо, спокойно, а под живую, весёлую музыку улыбается, радуется. Весёлая музыка побуждает самых маленьких к разнообразному проявлению актив-

ности: возгласы, подпевание, движения плясового характера. Такую активность надо всячески поддерживать. Вы доставите большое удовольствие крошечному, ещё не умеющему сидеть ребёнку, если возьмёте его за кисти рук и под весёлую музыку, (желательно, в её ритме) будете их сгибать и разгибать. Услышав ритмичную, танцевальную музыку, кроха начнёт склонять тело, подгибать колени, раскачивать кроватку. Всё это не только способствует улучшению его настроения, развивает координацию движений, но и создаёт важную эмоциональную связь: музыка — это радость и удовольствие.

Итак, мы определились какую музыку давать слушать малышу и всё ближе подходим к вопросу:

Как слушание музыки организовать?



Вот несколько основных правил:

- Музыка, даже самая замечательная, не должна звучать постоянно. В этом случае она не только перестаёт восприниматься, как удовольствие и радость, но перестаёт восприниматься вообще.
- Музыка не должна звучать слишком громко.
- Не надо давать слушать музыку ребёнку, если по каким-то причинам ему хочется чего-то другого, он к слушанию не расположен. Вы это почувствуете по реакции малыша.

Сначала длительность слушания музыки не должна превышать 2-3 минут по 3-4 раза в день. Постепенно к 9-12 месяцам это время можно увеличить до 15-20 минут. К году, а, иногда, и раньше, ребёнок будет сам показывать на источник

музыки и просить его включить. К этому возрасту и его реакция (нравится музыка или не нравится) станет более определённой.

И, конечно же, как и всегда, нам может помочь игра, создание различных игровых ситуаций.



Игра первая. Для детей двух-трех месяцев. В этом возрасте уже развивается связь между звуком и его источником. Вы звоните в колокольчик, или стучите погремушкой, которые находятся в поле зрения ребёнка. Потом отводите их в сторону, чтобы малыш их не видел. Ребенок тянется взглядом и радуется, что обнаружил звучащие предметы.

Игра вторая. В пять-шесть месяцев, когда малыш начинает ползать, вы прячетесь с колокольчиком в руках и звоните. Малыш по звуку находит вас. Постепенно вы можете прятаться всё дальше и дальше.

Игра третья. В этом же возрасте в виде игры можно построить и слушание музыки. Вы включаете источник звука, ставите его на пол и слушаете секунд 20-30. Потом накрываете его чем-нибудь (куском материи, марлей и т.п.) и говорите маленькому слушателю: «Где музыка? Нет музыки?» Ребёнок с удовольствием принимает игру и радуясь, что ситуация ему ясна, ползёт к источнику звука и снимает покрывало. Потом возвращается обратно и ждёт пока вы снова включите музыку. После такого подвижного момента малыш слушает музыку с новым интересом.



Игорь Гельбах

МЯСНАЯ ЛАВКА, или КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА

Сцены для театра

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Актер, он же: уличный скрипач Зейц, полицейский Ранке, продавец газет, ветеран войны и прохожий.

Карл, владелец мясной лавки.

Пауль Вессель, студент, подрабатывающий в лавке.

Герта, экономка профессора Штейна.

Марго, проститутка.

Профессор Штейн.

Профессор Кланк.

Место и время действия, — Берлин, 1914-1922 гг.

В начале первого действия профессору Штейну 34 года.

Он среднего роста и слегка сутуловат. Голосу него приятный и глубокий.

Порой он словно уходит в себя и производит впечатление человека, общающегося с чем-то присутствующим, но невидимым. Его симпатия к Герте смешана с любопытством, и Герта отвечает ему тем же.

Профессор Кланк — слегка сгорбленный академический мыслитель, с высоким лбом и тонкими, но сильными руками пианиста. Он старше Штейна лет на 20. Его манера изъясняться лишена непринужденности, но не маскирует его эмоций.

Центральным элементом сценографии может стать черная доска с написанными на ней мелом формулами, а также ценами на мясо и пиво.

Сцена первая

Мясная лавка в Берлине. Хозяин лавки, Карл, рубит мясо. Его рассельный, Пауль, читает книгу.

Появляется Актер.

Актер. Итак, мы расскажем о людях, которые неустанно трудились...

Карл. Это вы о нас, что ли? Мы свою историю знаем сами, и не ваше это дело совать в нее свой нос.

Актер. Извините, но я хотел бы продолжить.

Карл. Ну, если вам уж так хочется рассказать о нас, ну что ж. Ну, теперь все по-другому. Но мясо-то конечно людям нужно. К тому же новые требования по разрубке мяса. Что уж тут говорить.

Актер. Эти люди хотели понять, как устроены Вселенная и мир, в котором мы живем...

Карл. А, вот ты о ком.

Актер. Их отношения с современниками были совсем не простыми...

Карл. Нет, нет, так нельзя, так ты мне всех клиентов распугаешь. Тут все-таки мясная лавка... Иди-ка ты лучше отсюда.

Актер и Карл смотрят друг на друга.

Актер молчит, вздыхает и уходит

Пауль. Не представляешь, Карл, до чего это было уморительное зрелище. Наш приват-доцент явно не ожидал, что студент, подрабатывающий в мясной лавке, пустится с ним в дискуссию о теории познания Иммануила Канта.

Карл. Теории кого?

Пауль. Иммануила Канта. Философа из Кенигсберга.

Карл. погоди, Пауль, не сбивай меня с толку, мне тут осталось написать адреса и цены, я могу ошибиться. Значит так. Для фрау Бетхер три фунта телятины, сахарная косточка и фунт баранины. Да еще она оставалась должна.. Итого. Пауль, ты должен получить с нее все? что здесь написано, ни пфеннигом меньше, а иначе носи все обратно.

Пауль. Не в первый раз. Ты послушай.

Карл. Ну конечно, господину студенту все это неинтересно, так вот здесь еще куски для фрау Майер и фрау Шумахер. С этими надо повежливей, это надежные клиенты. А как фамилия твоего доцента, мы его случайно не обслуживаем?

Пауль. Кланк, приват — доцент Кланк. Он сын нашего ректора, профессора Кланка. Его называют приват-доцентом Розенкранцем.

Карл. Розенкранцем? Ну и что? Кто называет?

Пауль. Студенты.

Карл. А почему?

Пауль. Он дружит с приват-доцентом Гильденстерном. Они постоянно ходят вместе.

Пауль смеется.

Карл. Что здесь смешного?

Пауль. Ходил бы ты в театр, Карл.

Карл. Что за чепуха, Пауль, ты стал как плохая хозяйка, она не отличает мяса от сухожилий и все подряд сует в мясорубку.

Пауль. Я разнесу это мясо по адресам, Карл, но если бы ты знал, с каким наслаждением я повторил ему слова Канга.

Карл. Канга?..

Пауль листает книгу, которую он читал.

Пауль. Вот послушай. "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо над нами и моральный закон внутри нас. И то и другое мне нет необходимости искать и только предполагать как нечто окутанное мраком и лежащее за пределами моего кругозора. Я вижу их перед собой и непосредственно связываю их с сознанием своего существования." Две вечные загадки, Карл, звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас.

Карл откладывает топор.

Карл. Это что за такой нравственный закон, кстати? Он, собственно, что имел в виду?

Пауль. Кто?

Карл. Канг.

Пауль. Он собственно имел в виду, что следовать надо такому принципу, руководствуясь которым, ты, в то же время, можешь желать, чтобы он стал всеобщим законом.

Карл. Ну, а если проще?

Пауль. Другими словами, — поступай по отношению к другим так, как ты бы желал, чтобы они поступали по отношению к тебе.

Карл. И это все, чему вас учит наука? А я-то думал. А этот Канг? Он жив еще?

Пауль. Умер в Кенигсберге. В 1804 году, сто десять лет тому назад.

Карл. Да, тогда жизнь была полегче. Сейчас с такими мыслями далеко не уедешь.. Ну да ладно... Иди. Auf Wiedersehen, Пауль.

Пауль. Auf Wiedersehen, Карл. Ты точно все записал?

Карл. Точно.

Пауль. Пока.

Карл начинает прибираться в лавке. Пауль подхватывает сумку, но не уходит. Он медлит.

Карл. Что ж ты стоишь?

Пауль. Сказать тебе по правде, Карл, приват-доцент оказался не так уж прост. *Появляется полицейский Ранке.*

Ранке. Guten Tag, meine Herren.

Пауль, Карл. Guten Tag, г-н вахмистр.

Ранке. Как поживаем?

Карл. Благодарю вас, г-н вахмистр.

Ранке. Как дела у г-на студента?

Пауль. Отлично, г-н вахмистр.

Ранке. Так-так.

Карл. Ваш заказ уже доставлен к фрау Ранке.

Ранке. Отлично. Ну что ж, я, пожалуй, пройдусь...

Уходит.

Карл. Разумеется, г-н Ранке. Как вам будет удобно. Отправляйся, Пауль, ты слышал, что я ему сказал?

Пауль. Так вот, он сказал, вернее спросил у меня.

Карл. Кто спросил?

Пауль. Приват-доцент Кланк спросил у меня: "Если предположить, что звездное небо над нами подчиняется теперь принципу относительности, то не следует ли по аналогии рассуждать таким же образом и о нравственном законе внутри нас?" Ты понял?

Карл. Относительности. Тут мясо протухнет, Пауль, иди же. Не за это я тебе плачу. Auf Wiedersehen.

Пауль. Auf Wiedersehen, Карл. Ты точно все записал?

Карл. Все точно.

Пауль. Пока.

Карл. Постой. Что это за принцип такой?

Пауль. Его открыл профессор Штейн.

Карл. Ах, вот оно как...

Пауль. И наша прусская академия наук решила отправить экспедицию в Крым, чтобы проверить предсказания его теории.

Карл. Отправить куда?

Пауль. В Крым.

Карл. Но почему в Крым? Нет, что ли, курортов поближе?

Пауль. В Крыму экспедиция будет наблюдать за солнечным затмением.

Карл. И что же эта относительность предсказывает?

Пауль. Что иногда мы можем увидеть то, чего видеть как бы не должны.

Карл. Ну, со мной это случается почти каждый день. А что говорит Герта?

Пауль. О ком?

Карл. Да о нем, о своем хозяине.

Пауль. Его жена вернулась в Швейцарию. Ей здесь не нравится...

Карл. Почему?

Пауль. Она думает, что скоро будет война...

Карл. А он?

Пауль. Он считает, что это невозможно...

Карл. И что он делает теперь? Без жены?

Пауль. Стал еще больше курить. Иногда играет на скрипке. Но в основном сидит над своими бумагами.

Карл. Да. Скажи мне, Пауль, а у Канга была жена?

Пауль. По-моему, не было.

Карл. Вот женился бы и уж тогда попробовал бы выдумать свой императив.

Пауль. Что ты имеешь ввиду?

Карл. С женами всегда все не просто, Пауль. Совсем не слушать жену нельзя, во всем слушать жену тоже нельзя, а каждая жена ждет от тебя денег. Понятно? Вечная загадка — это финансы, Пауль, но на то, чтобы это понять нужны годы, ну а пока ты молод, старайся взять все от жизни, так что бери мясо и Auf Wiedersehen. Ну же, иди, Пауль.

Пауль. Пока.

Карл. Ну, пока, пока.

Пауль уходит, а Карл возвращается к своей сигаре.

Сцена вторая

Появляется полицейский Ранке и присаживается за столик. Карл привычно наливает полицейскому и себе по рюмке инанса.

Карл. Ваше здоровье, г-н вахмистр.

Ранке. Прозит!

Карл. Еще рюмочку?

Ранке. Не откажусь! А вы?

Карл. Я воздержусь. Работа, знаете ли. Так ведь можно и промахнуться.

Ранке. Да, уж тут промахнуться никак нельзя. Да и у нас работы становится все больше.

Карл. Все больше? А-а, я вас понимаю.

Ранке. Вот мобилизационное предписание. Наклейте его на стену.

Карл. Jawohl, г-н вахмистр. Всегда готов выполнить свой долг перед рай-
хом. С нами Бог!

Ранке. Спокойно, Карл. Вы нужны здесь. Есть у него подружка?

Карл. У кого, г-н вахмистр?

Ранке. У вашего студента.

Карл. Да, г-н вахмистр. Ее зовут Герта. Скромная, серьезная девушка. Работает экономкой у профессора Штейна.

Ранке. Поднадзорный элемент. Необходима особая бдительность. Вы меня поняли?

Карл. Не совсем, г-н вахмистр.

Ранке. Поясняю. Итак, как я уже говорил, работы становится все больше и долг каждого честного гражданина рейха оказать нам максимальное содействие государству во имя единства и безопасности нации.

Карл. Слушаюсь, г-н вахмистр.

Ранке. Продолжаю. Означенный Штейн, профессор, выступил с обращением "Ко всей мыслящей Европе". Он против войны. Его поддержали двое ученых. Астроном Ферстер и физиолог Николаи. Но нация, можно сказать, едина. Несколько отщепенцев в парламенте голосовали против военных расходов. Все они под наблюдением. Вы меня поняли?

Карл. Конечно, г-н вахмистр.

Ранке. Итак, весь цвет германской культуры поддержал кайзера. На нас, следовательно, возложена особо ответственная задача, — мы должны знать все об образе жизни, контактах, связях и высказываниях профессора Штейна. Источниками сведений будут служить его соседи, почтальон, экономка и прочие. Доклады вать обо всем будете мне. И запомните, в этом деле нет ничего несущественного. Налейте еще рюмку. Налейте и себе.

Карл. Слушаю, г-н вахмистр.

Ранке. За ваши успехи.

Карл. Боже, покарай Англию!

Ранке вытывает свой шнапс и уходит.

Карл остается один.

Так, Карл, тебе следует подумать. Пауль! Хотя, что я кричу, его же нет. Они, следовательно, выступают против войны. (наливает себе рюмку), "Ко всей мыслящей Европе", — широко замахнулись, то есть мы, следовательно, в Германии мыслить не умеем. И этот Штейн туда же. Да, тут, пожалуй, без сигары не обойдешься.

Карл закуривает сигару и погружается в размышления.

Затем он вспоминает о мобилизационном предписании и клеит его на стену.

Ну что ж, Карл, мы, значит, собираемся воевать? Но ведь если наши условия мира не принимаются, то что ж нам остается делать? Конечно, воевать.

Сцена третья

Появляется Актер.

Актер. Вот так, дамы и г-да, осенью 1914 года началась война. И вот тут возникает вопрос, *meine liebe Damen und Herren...* За что сражаются Германия и ее союзники? За что сражаются страны Антанты?.. За колонии в Африке? За доступ к проливам? Вы скажете, что об этом, скорее всего, должны знать историки. Но ведь само собой очевидно, что всегда найдутся причины для начала войн, к ведению которых все государства усиленно готовятся в мирные времена.

Актер исчезает.

Штейн и Кланк в пустой аудитории у черной доски с чертежами и написанными мелом формулами.

Кланк. Должен огорчить вас, дорогой Штейн... Экспедиция, которую мы направили в Крым, не сумела выполнить свою миссию.

Штейн. Неужели солнечное затмение не состоялось?

Кланк. Вы шутите, дорогой Штейн?

Штейн. А что же еще остается делать?

Кланк. В Крыму была плохая погода. Небо было затянуто тучами, и астрономы не смогли провести свои наблюдения.

Штейн. Это печально.

Кланк. Но на этом неприятности не закончились. С началом войны все участники нашей экспедиции стали гражданскими военнопленными.

Штейн. Ну что ж, и в этом есть что-то хорошее. Их хотя бы не направят в окопы...

Кланк. Да, это так. Но вас могут неправильно понять.

Штейн. О да, я догадываюсь... Недавно я обнаружил одно поразительное, странное явление. Люди, которые в частной жизни неспособны и муху обидеть, порой говорят совершенно невероятные вещи.

Кланк. Но ведь идет война. Все наши ценности и само наше существование под угрозой. Мой старший сын ушел на фронт добровольцем.

Штейн. Добровольцем? Дорогой Кланк, иногда мне кажется, что люди порою не знают, чего они хотят на самом деле. И оттого мы воюем. Все это наводит на мысль о затмении разума. Хотелось бы знать, как скоро оно закончится.

Кланк. История знает множество войн, которые длились десятилетиями.

Штейн. Но ведь люди не смогут бесконечно убивать друг друга.

Кланк. Вы в этом уверены?

Штейн. Но ведь должен же разум победить в конце концов, не так ли?

Кланк. Я искренне надеюсь на это... Но похоже, что у нас, немцев, нет сейчас никакого выбора. И все мы, хотя, быть может, это и звучит достаточно банально, все мы должны выполнить свой долг...

Сцена четвертая

Мясная лавка. Карл просматривает газету.

Появляется Штейн.

Штейн. Скажите, Карл.

Карл. Слушаю вас, г-н профессор.

Штейн. У меня, собственно, кончились сигары, и я хотел узнать...

Карл. Какие сигары предпочитаете? Отечественные, итальянские или голландские?

Штейн. Итальянские.

Карл. Должен сказать вам всю правду, г-н профессор. Сигарами мы не торгуем. Но кое-что у меня есть (*достает из жилетного кармана коробку с сигарами, открывает ее и протягивает Штейну.*) Не бог весть что, но.

Штейн. О, Danke Schoen. Сколько я вам должен?

Карл. Ах, оставьте, г-н профессор. Ведь мы, — соседи.

Штейн. Благодарю вас.

Штейн раскуривает сигару.

Отличная сигара.

Карл. Но что вы имеете в виду, г-н профессор? Ведь все относительно...

Штейн. В самом деле?

Карл. Так говорят. А скажите, г-н профессор, может ли простой человек понять принцип относительности?

Штейн. Ну, для этого достаточно представить бессплющенное насекомое...

Карл. Насекомое?

Штейн. Ну, скажем, клопа...

Карл. Клопа?

Штейн. Нас может заинтересовать вопрос о том, что видит клоп.

Карл. Почему?

Штейн. Представьте себе, что мир населен клопами, такими мыслящими точками.

Карл. Но зачем, г-н профессор?

Штейн. Это поможет нам отрешиться от наших предрассудков и привычек и посмотреть на мир новыми глазами.

Карл. Что вы имеете ввиду, г-н профессор?

Штейн. Представьте себе обычного клопа. Он ползет по глобусу и не замечает, что его поверхность кривая.

Карл. И что же?

Штейн. Но мы находимся в такой же ситуации. Пространство в нашем реальном мире с его звездами, солнцем и планетами — кривое.

Карл. Кривое?

Штейн. Тяготение искривляет пространство. Оно становится кривым вблизи звезд...

Карл. Звезд?

Штейн. Таких, как солнце...

Карл. Но это, знаете ли, г-н профессор, рассуждения. Ведь мы не можем путешествовать ни к солнцу, ни к звездам, не так ли? Так, чтобы самим почувствовать, есть эта кривизна или ее нет?

Штейн. Но мы видим свет, который приходит к нам от звезд...

Карл. Это по ночам, г-н профессор. А днем мы видим свет от солнца...

Штейн. Отличная мысль. Так вот, Карл, если теория относительности справедлива, то во время солнечного затмения мы сможем увидеть на небе звезды, которые располагаются за солнцем.

Карл. Но как же мы их тогда увидим?

Штейн. Звезды станут видимыми оттого, что лучи от них изогнутся, проходя мимо солнца. И если мы сфотографируем их, то их положение относительно солнца на фотопластинке будет отличаться от их истинного положения, которое может быть вычислено исходя из астрономических наблюдений...

Карл. Каких?

Штейн. Тех, что проводятся по ночам, когда эти звезды видны...

Карл. Ах, так. Значит то, что мы видим во время затмения, это совсем не то, что есть на самом деле?

Штейн. Я бы сказал, не совсем то... И мы должны объяснить, почему так происходит...

Карл. Но причем же здесь клопы?

Штейн. Мой дорогой Карл, клопы — это мы.

Карл. Вы уверены в этом?

Штейн. У меня почти не осталось сомнений. Особенно, когда по ночам я смотрю на небо.

Карл. А вам не кажется, г-н профессор, что все эти клопы совсем не делают ваши теории понятнее? Может быть, вам стоило бы придумать какое-то другое объяснение?

Штейн. Но именно эти клопы помогли мне создать эту теорию. Как же я могу отказаться от них?

Карл. Но подумайте, г-н профессор, ведь не все, простите, клопы поймут теорию относительности. Не так ли? Даже если эта теория подтвердится?

Штейн. Да, это так.

Карл. И что же нам тогда делать?

Штейн. Отнестись к этому философски... Наша жизнь коротка, наши возможности ограничены... Мы действительно напоминаем клопов...

Карл. Ну а вы, г-н профессор, вы-то сами все теории понимаете?

Штейн. Нет.

Карл. Не все?

Штейн. Гипотеза профессора Кланка о квантах энергии кажется мне странной, но она работает.

Карл. Ах вот как... Но почему же все происходит так, что сами ученые не понимают друг друга?

Штейн. Это хороший вопрос, Карл. Мне кажется, что все дело в том, что ученые — такие же люди, как и все остальные...

Карл. Вы хотите сказать, что вы — такой же человек как все остальные?

Штейн. Вы разочарованы?

Карл. Я не знаю...

Штейн. Ну что ж, я, пожалуй, пойду... Спасибо за сигару.

Карл. Всего доброго, г-н профессор. Рад был поговорить с вами.

Штейн уходит. Карл озадаченно смотрит ему вслед.

Да, Карл, пожалуй, все это совсем не так просто.

Сцена пятая

Мясная лавка. Карл и Герта, экономка Штейна.

Карл. Мясо, мясо, все хотят мяса. А где твой Пауль, Герта?

Герта. На фронте. Во Фландрии. Он получил уже два железных креста.

Карл. Два железных креста за два года? Неплохо. Но лягушатники еще не разбиты, Герта, да к тому же нам еще противостоит Россия и коварный Альбион.

Царизм враждебен культуре, Герта. Русский паровой коток грозит всей европейской цивилизации. Ты понимаешь это?

Рубит мясо.

Герта. Да.

Карл. Ну, хорошо. Наступил наш час, Герта, немецкий час. За него проливает кровь твой Пауль. Он ведь проливает кровь, Герта, да или нет? Отвечай мне. Кстати, этот кусок подойдет?

Герта. Этот? Да. Пауль? Я молось за него.

Карл. А что говорит твой хозяин?

Герта. Он говорит. Однажды он сказал после разговора по телефону, что все относительно.

Карл. По телефону. С кем он говорит?

Герта. По-моему, он просил соединить его с профессором Кланком.

Карл. Так, значит этот кусок, сейчас взвесим, ты в этом уверена?

Герта. Да, кусок хороший.

Карл. Я не о том. Он действительно сказал это по телефону?

Герта. Да, Карл.

Карл. Я кое-что начинаю понимать. Итак, он сказал, что все относительно. И это в то время, когда вы уже давно берете мясо в кредит.

Герта. Г-н профессор отсылает деньги своей семье в Швейцарию, и еще своей матери. Однажды он принялся считать наши расходы и запутался.

Карл. Он не знает даже математики. Вот до чего мы дожили. Вот тебе мясо, Герта, но помни, кредит не безграничен, всегда приходит час расплаты. И помни о Пауле.

Герта. Спасибо.

Появляется уличный скрипач Зейц.

Он наигрывает мелодию Моцарта.

Карл. Послушай-ка, малый, отчего ты не на фронте, ведь нам не хватает солдат, а?

Зейц. Я — иностранец. Я — гражданский военнопленный. Должен же я зарабатывать на жизнь.

Карл. Как тебя зовут?

Зейц. Саша Зейц.

Карл. Еще один. Кругом иностранцы. Музыка. А мы проливаем кровь.
Хватает секач для разделки мяса.

Герта. Карл, остановись!

Карл. Слушай, Зейц, если хочешь унести ноги целыми, сыграй что-нибудь наше, истинно немецкое.

Герта. Боже, Карл, как ты можешь.

Музыкант начинает наигрывать вальс.

Карл. Что это ты играешь?

Зейц. Вальс. Это немецкий вальс.

Карл. Заткнись и слушай. Я буду петь Die Vöglein im Walde, а ты подыгрывай. Ну, Герта, я начну, а ты подпевай.

Герта. Хорошо.

Карл и Герта поют, Зейц подыгрывает.

Die Vöglein im Walde
die singen ja so wunderschön,
in der Heimat, in der Heimat
da gibt's ein Wiedersehn

Dem Feinde fest entgegen
wir schlagen tapfer drein!

Wir wollen mit ihm ringen
wir werden ihn bezwingen:

Gloria, Gloria, Gloria Viktoria!

Mit Herz und Hand fürs Vaterland, fürs Vaterland!

Карл восклицает "Vaterland!", потрясает секачом и уходит. Уходит и Герта, а Зейц остается один и снова наигрывает мелодию Моцарта.

Сцена шестая

Штейн у черной доски с формулами.

Появляется Герта.

Герта. Господин профессор....

Штейн. Да, Герта?

Герта. Господин профессор, может быть, мне это только кажется, но поскольку это происходит каждый раз, когда я иду в лавку за мясом, я решила рассказать вам об этом.

Штейн. О чем же, Герта?

Герта. Дело в том, что наш мясник, Карл, постоянно задает мне вопросы...

Штейн. Что же здесь странного? Люди любопытны по своей природе.

Герта. Но дело в том, г-н профессор, что он постоянно задает одни и те же вопросы.

Штейн. В самом деле?

Герта. Он спрашивает о клопах.

Штейн. О клопах?

Герта. Он спрашивал, есть ли у вас в квартире клопы?

Штейн. И вы, я надеюсь, говорите правду?

Герта. Да, г-н профессор.

Штейн. Но тогда вам не о чем беспокоиться, Герта. Беспокоиться следует лишь людям, которые что-то скрывают, и не хотят, чтоб об этом узнали. Хотя я, честно говоря, не заметил каких-либо клопов.

Герта. Но отчего все это происходит?

Штейн. Ответить прямо я вам не могу, но одно соображение у меня все-таки есть. Недавно я говорил с одним из моих коллег по телефону и в ходе разговора перешел на французский... Потом мне позвонила телефонистка и попросила меня говорить по телефону только по-немецки. Я спросил, чем ей мешает мой французский. Оказалось, что она стенографирует все, что я говорю по телефону для полиции, но не знает французского. Она боялась потерять работу. Я пообещал ей говорить только по-немецки и использовать в разговорах только простые слова.

Герта. Так вы думаете, что полиция интересуется клопами?

Штейн. Кто знает, я никогда не служил в полиции.

Герта. Он спрашивал у меня, хотите ли вы уехать из Берлина?

Штейн. Нет. Я должен быть здесь. Я не могу подвести Кланка и других людей, которые поверили в мою теорию. Нам надо ждать.

Герта. Чего же нам следует ждать, г-н профессор?

Штейн. Окончания войны. И другого затмения солнца. То, что начато, должно быть доведено до конца... Но нам всем приходится чего-то ждать, не так ли? Ньютону пришлось ждать восемь лет пока наблюдения подтвердили его теорию тяготения. Но он дождался. Я жду уже два года и стараюсь не терять время попусту.

Герта. А что бы случилось, г-н профессор, если бы вы родились в России?

Возникают звуки скрипки.

Штейн. Наверное, я стал бы раввином и жил где-то в Сибири.

Герта. В Сибири?

Штейн. Меня бы туда сослали. А этот скрипач, он совсем не плох.

Герта. Это г-н Зейц

Штейн. Так вы с ним знакомы?

Герта. Немного. Он из России, гражданский военнопленный. Он говорит, что мир должен измениться...

Штейн. И это все, что он сказал вам?

Герта. Он попросил меня спросить у вас, что такое четвертой измерение?

Штейн. Четвертое измерение?

Герта. Да, г-н профессор. Он сказал, что это очень важно.

Штейн. Четвертое измерение? Хорошо. Представьте себе совершенно сплющенного клопа, живущего на поверхности шара. Он может изучать физику и даже писать книги, но мир его будет двумерным. Мысленно клоп может понять, что такое третье измерение, но представить себе это измерение он не сможет.

Герта. Но этот клоп.

Штейн. Человек находится в том же положении, что и несчастный клоп с той лишь разницей, что человек трехмерен, он может вообразить четвертое измерение, но увидеть его он не в силах.

Герта. А время — это и есть.

Штейн. Совершенно верно, но...

Герта. Я сейчас уйду, поверьте, я все поняла о четвертом измерении, и я, конечно, занимаю ваше время своими глупыми вопросами, но я не знаю, как мне жить? С надеждой, верой или просто. Но ведь просто, просто — жить нельзя. Иногда я хожу в кирху помолиться, ведь все когда-то обращаются к Богу, но даже если он не слышит мои слова, то есть же у меня все-таки душа, а ведь сама душа, ее ведь нет без веры и надежды, и я не знаю теперь, что лучше... Жигь мне с надеждой, верой или жить просто, не ожидая ничего лучшего впереди, но ведь тогда получается, что я словно бы заранее хороню Пауля. Но теперь я думаю, что если человек может вообразить это четвертое измерение, то он стало быть имеет право надеяться?

Штейн не отвечает, он внимательно слушает Герту, не находя немедленного ответа.

Штейн. Что же с нами станет, если у нас отберут право надеяться? Неужели мы должны уподобиться клопам?

Герта. Вы верите в то, что во всем есть какой-то смысл?

Штейн. А вы, Герта?

Герта. Иногда я не знаю, во что мне верить и что делать. Но я надеюсь. А вы, вы надеетесь на лучшее, г-н профессор?

Штейн. Когда-то мне говорили, что мне не следует ожидать ничего лучшего чем карьера школьного учителя.

Герта. Наверное, вы правы. Пойду-ка я лучше на кухню, г-н профессор.

Уходит.

Сцена седьмая

В мясной лавке. Герта и Карл.

Карл. Мясо, мясо, все хотят мяса, а где его взять?

Герта. Но нам оно действительно нужно, Карл. Доктор говорит, что г-н Штейн очень болен и ему необходим мясной бульон.

Карл. Мясо жрут пушки, Герта. Они жрут его уже который год. Мяса не хватает даже честным немцам. А твой Штейн заявляет, что он шведарский поданный.

Герта. Я прошу тебя, Карл, дай немного мяса, — г-н профессор простудился и сейчас очень плох. Он даже не курит.

Карл. Жизнь справедлива, Герта. Если ходишь в дырявых башмаках и старом пальто, а вокруг лужи, нечего утверждать, что все относительно. Поделом ему.

Герта. Он справедливый, Карл. Он просил домовладельца, чтобы мне разрешили пользоваться лифтом, когда я прихожу с тяжелой сумкой. Он сказал, что сам будет подниматься по черной лестнице.

Карл. Вот так он и заморочил голову немецкой девушке. Так или не так? А ну-ка подойди сюда, Герта, дай-ка я взгляну на тебя, ведь ты еще совсем молодая?

Герта. Да.

Карл. И по вечерам тебе бывает одиноко, а, да или нет?

Герта. Да.

Карл. И ты часто ложишься спать голодной?

Герта. Я молось и укладываюсь спать.

Карл. А в доме нетоплено и холодно.

Герта. Да, угля теперь нет.

Карл. Отчего ж ты не подумаешь о честном Карле, который все сделает для честной немецкой девушки? Ты не будешь голодать.

Герта. Отпусти меня, Карл, у тебя ведь есть жена.

Карл достает из-под прилавка ветчину и бутылку шнапса, разливает его по рюмкам.

Карл. Ешь ветчину, Герта, тебе будет хорошо со мной.

Герта. Карл, у тебя есть жена

Карл. Моя жена — старая сука, с ней в постели еще холодней, чем без нее. Ешь, Герта, ешь! Для тебя у меня все найдется.

Герта. Ты меня подманиваешь как собаку. Я — человек, Карл!

Карл. Мы все скоты, Герта. Подумай сама, — мы забиваем скотину и жрем ее, мы забиваем друг друга миллионами и скоро начнем жрать друг друга. Ешь ветчину, Герта. Жрать и рожать, вот что мы должны делать.

Герта. Нет, Карл, нет, так нельзя!

Карл. Именно так, Герта, ты должна родить от меня немца, иначе нас всех перебьют, а этот сукин сын Штейн пускай сдохнет без мяса. Мясо абсолютно. Человек всегда жрал, жрет и будет жрать. И спариваться, как скотина.

Герта. Оставь меня, Карл, я буду звать на помощь. Вспомни о Пауле, ведь он твой друг.

Карл. Деревянный крест на его могиле должно быть давно уже сгнил, мы проиграли войну, не забывай об этом.

Герта. Нет, Пауль вернется. Он вернется, Карл.

Карл. Тогда жди его, может быть он принесет мясо для твоего Штейна.
Герта плачет. Карл швыряет кусок мяса на прилавок. Герта кладет мясо в сумку и собирается уйти, но медлит.

Герта. Он вернется, Карл. Пауль вернется. Я знаю, что он вернется.

Карл. Пауль не вернется. А вот ты сюда обязательно вернешься.
Герта уходит.

Сцена восьмая

Штейн у черной доски с формулами. Появляется Герта.

Герта. Похоже, что вы выздоравливаете, г-н профессор.

Штейн. В самом деле?

Герта. Вы боитесь смерти, г-н профессор?

Штейн. Сначала я боялся ее, но затем я представил себе, что клоп смотрит на вселенную, где постоянно происходят мириады рождений и смертей. И вот что со мной произошло. Постепенно я перестал бояться того, что умру. Когда ты чувствуешь, что связан со всем живым, то перестаешь различать, где кончается одна и где начинается другая человеческая жизнь.

Герта. Другая жизнь... Скажите, г-н профессор, а что бы стало с вами, если бы вы родились в России?

Штейн. Наверное, я бы оказался где-нибудь в Сибири.

Герта. В Сибири?

Штейн. Меня бы туда сослали, ведь я противник всякого насилия.

Герта. И вы против войны?

Штейн. Думаю, что не я один. Солдатам, я думаю, война тоже не нужна. И когда-нибудь они откажутся воевать. Ведь люди не могут воевать вечно.

Герта. Значит, нам надо ждать?

Штейн. А что же нам остается делать?

Герта. Наверное, вы правы. Пойду-ка я лучше на кухню, г-н профессор.
Возникают звуки все той же мелодии Моцарта.

Сцена девятая

Мясная лавка. Герта и Карл.

Карл. Мясо, мясо, все хотят мяса, а где мне его взять?

Герта. Доктор говорит, что г-н Штейн постепенно выздоравливает, и ему необходим мясной бульон.

Карл. Твой Штейн заявляет, что он швейцарский поданный.

Герта. Прошу тебя, Карл, дай немного мяса.

Карл. Жизнь справедлива, Герта. Если ходишь в дырявых башмаках и старом пальто, нечего утверждать, что все относительно. Поделом ему. Даже если он и ученый.

Герта. Он справедливый, Карл. Он просил домовладельца, чтобы мне разрешили пользоваться лифтом, когда я прихожу с тяжелой сумкой. Он сказал, что сам будет подниматься по черной лестнице.

Карл. Об этом я уже слышал. Но когда ты в последний раз приходила домой с тяжелой сумкой? Ответь мне. Давно, а?

*Возникают звуки наигрываемой на губной гармонике песни "Die Voglein".
Появляется Пауль.*

Герта. Пауль!

Карл. Пауль! Поглядите на него! Три железных креста! Пауль!

Пауль. Герта. Карл. Друзья.

Герта. Пауль! Я так долго этого ждала.

Пауль. Герта.

Герта. Я молилась, Пауль, и вот ты здесь.

Пауль. Ты думаешь, твои молитвы помогли?

Герта. Конечно, Пауль.

Пауль. Карл, есть у тебя что-нибудь выпить?

Карл. Вот пиво, Пауль. Погоди, я и себе налью. Герта, вот мясо для твоего больного. Мы — немцы, — сентиментальный народ.

Герта. Спасибо, Карл. Пауль, я пойду. Мне надо приготовить мясной бульон для г-на Штейна. Он серьезно болен.

Пауль. Ты уходишь, Герта? Ты не хочешь побыть со мной?

Карл. Она славная девушка, Пауль. Все эти годы она думала только о тебе. Могу присягнуть на Библии. Правда, к ней пробовал подъехать один музыкант, но я его живо поставил на место. Иностранец. Он иногда заходит к ее хозяину и они музицируют. Но она осталась чиста. Честь, честь во всем и до конца, вот что сохранили мы, — немцы. Не так ли, Герта?

Герта. Да, Пауль.

Карл. К тому же я всегда помогал им чем мог. Я помнил о тебе, Пауль.

Пауль. Спасибо, Карл.

Карл умолкает и отходит от Пауля и Герты. Те смотрят друг на друга, затем Пауль делает шаг вперед и обнимает Герту. Постепенно она высвобождается от объятий Пауля.

Герта. До встречи, Пауль. Auf Wiedersehen.

Пауль. Auf Wiedersehen, Герта.

Герта. Я скоро вернусь, Пауль.

Пауль. Я жду тебя, Герта.

Герта уходит. Карл закуривает, достает пару бутылок пива и наливает его в кружки себе и Паулю.

Карл. *(поет)* Die Vöglein im Walde
die singen ja so wunderschön,
in der Heimat, in der Heimat
da gibt's ein Wiedersehn.

Хох, Пауль! Твое здоровье!

Пауль. Прозит, Карл. За нашу дружбу!

Пьют пиво.

Карл. Еще стакан, Пауль. За твоё возвращение. У меня есть ветчина и сосиски. Выпьем, Пауль, как в добрые старые времена. Я угощаю. Ешь, Пауль. У лягушатников нет, наверное, такой ветчины?

Пауль. Налей еще кружку, Карл. Прямо так и не верится, что попал домой. У меня отпуск по ранению, потом перекомиссия и, может быть, снова на фронт. Твое здоровье, Карл!

Карл. Прозит. Серьезное ранение?

Пауль. Скажу тебе прямо, Карл, оторвало половину ляжки. Мне трудно сидеть.

Карл. Ну, тогда становись оратором... Выступай, читай лекции... Как хожиян Герты... А как это случилось?

Пауль. Что?

Карл. Оторвало пол ляжки... В отступлении?

Пауль. Все не так просто, Карл. Да, мы отступали. Я был ранен и потерял сознание. Потерял много крови. Знаешь, что такое подъяремная вена? Ну вот, я потерял сознание и очнулся на следующее утро в деревянном сарае. Польша это тебе не Германия, Карл, там нет каменных больших сараев, там все из гнилого дерева.

Карл. Выпей еще, Пауль! Прозит!

Пауль. Прозит, Карл! Ты настоящий друг, — в сарае лежали и наши солдаты, и русские. Так уж вышло, что деревня никому не досталась, морозы стояли сильные, и землю копать было невозможно. Поляки стащили все трупы в один разваленный сарай на краю деревни. Несколько дней я лежал среди мертвецов, укрывшись соломой, а потом потеплело, и я увидел, что они оживают.

Карл. Прозит. Оживают? Наши или русские?

Пауль. Началась оттепель, и мертвецы задвигались, Карл. Они начали хрипеть и стонать. Они высовывали языки и вытягивали руки. Они хрипели, ломались, их пучило, один русский хотел меня обнять, он не отпускал меня, я чуть не рехнулся, пока не выполз в поле.

Карл. А дальше, Пауль?

Пауль. Наутро меня нашли у лужи, я лежал на земле у крайней избы.

Карл. Они пытали тебя?

Пауль. Они отнесли меня в хлев и положили на раны паутину. Там была корова с теленком. Когда у коровы оставалось молоко, они давали его мне, и еще гнилую картошку. А я думал только о корове, о ее молоке. Потом наши вернулись. Нашли меня. А потом русские тоже подошли к деревне. Изба сгорела, а корову с теленком забили. Не знаю, что стало с этими людьми, Карл, я лежал в лазарете, и мне принесли телятину, ты понимаешь? Мы съели мою спасительницу и ее дитя. Это несправедливо. Это несправедливо, Карл.

Карл. Успокойся, Пауль. Война есть война. Я налью тебе снапс. Прозит!

Пауль. Прозит! Но я все-таки прав. Кто-то нас предал, также как я предал корову, свою спасительницу. Нас предали.

Карл. Кого ты имеешь в виду?

Пауль. Даже мертвецы хотят жить, я сам это видел, зачем нам убивать друг друга?

Карл. Так рассуждают предатели, Пауль.

Пауль. А кого мы предаем? Разве миллионы мертвых ничего не стоят? Разве один кайзер и тысяча бездарных генералов стоят дороже миллиона мертвецов?

Карл. Дороже всего родина и ее честь, Пауль. Дороже всего то, что мы немцы. Дороже всего чистый изглад Герты. Или я не прав?

Пауль. Мне оторвало ползадницы. Я сам надел на штык нескольких парней. Ты видел когда-нибудь глаза человека, в которого входит твой штык? А если бы мне оторвало то, что привешено чуть пониже? На кой черт мне был бы чистый взгляд Герты? Здесь все должно измениться. Пока мы воюем, другие пьют наше пиво и спят с нашими девушками, а нам достаются пули, сифилис в борделях, и дубовые венки на гробах. Ты все понял?

Карл. Твое здоровье, Пауль! Давай-ка лучше споем как в старые времена, а?

Пауль. Споем? Ну что ж, давай споем. А что будем петь, а?

Карл запекает солдатскую песню.

Карл. Die Vöglein im Walde
die singen ja so wunderschön,
in der Heimat, in der Heimat
da gibt's ein Wiederseh'n.

Сцена десятая

Штейн у черной доски. Появляется Актер.

Актер. Итак, немецкий Рейх рухнул, кайзер бежал в Голландию, а студенты Берлинского университета в революционном порыве арестовали часть своих профессоров, включая и профессора Кланка. Затем они обратились к профессору Штейну с предложением выступить на митинге. огда же профессор Штейн призвал студентов освободить арестованных, студенты ответили, что не могут сделать этого без приказа свыше. Тогда профессор Штейн сел на трамвай и поехал в Рейхстаг, где ему, как он пояснил позднее, удалось отыскать пару разумных людей. Из чего мы можем сделать вывод, что в восемнадцатом году в Германии разумные

люди еще что-то решали. И ходили трамваи... Правда, как рассказывал профессор Штейн, двигались они крайне медленно... Ну а следующим летом экспедиция английских астрономов направилась в Бразилию, где должно было произойти солнечное затмение с тем чтобы проверить предсказания теории относительности. Результаты наблюдений стали известны осенью того же года.

Актёр исчезает, оставляя Штейна у черной доски. Появляется Кланк.

Кланк. Дорогой Штейн, скажите мне, есть у вас какие-либо новости?

Штейн. Вчера я получил телеграмму от моих друзей из Голландии. Результаты измерений находятся в хорошем согласии с нашими расчетами.

Кланк. Поздравляю вас! Я ожидал поступления сведений еще вчера, но их не было, и я не мог уснуть. Всю ночь я провел, глядя на звезды. А вы? Что делали вы?

Штейн. Ничего. Я спал.

Кланк. Вы не волновались?

Штейн. Нет. Ничего другого просто не могло быть. Поверите ли, дорогой Кланк, когда несколько лет назад я завершил расчеты траектории Меркурия, следуя новой теории, и результат совпал с данными астрономов, я был потрясен... Тогда я не работал три дня. Я просто не мог работать. А этой ночью я просто спал.

Кланк. Вы уже сообщили о подтверждении вашей теории в печать?

Штейн. Нет. С утра я работал. Но я отправил открытку матери. Она тяжело больна.

Кланк кивает.

Но что нового у вас, дорогой Кланк?

Кланк. Долгое время считалось, что мой старший сын пропал без вести, но сегодня утром я получил письмо от одного из его сослуживцев. Оказывается, он погиб. В свое время он ушел на фронт добровольцем, и я поддержал это его решение без каких-либо оговорок.

Штейн. И теперь вы казните себя?

Кланк. Нет, нет, чувство долга для меня — наиболее ценное человеческое качество, но теперь я все яснее осознаю, что на то чтобы полностью осознать настоящее значение своих слов и поступков требуется время. Всего доброго, дорогой Штейн. Рад был повидаться с вами в этот великий для всей немецкой науки день.

Кланк уходит.

Сцена одиннадцатая

Мясная лавка. Карл и Пауль готовятся к открытию пивной, — снимают крючья, расставляют столы и стулья, вкатывают бочки и т.д

Карл. Тридцать лет честный немец торгует мясом, кормит всех, — от мастеровых до имперского советника, и вот, — на тебе, всему пришел конец. В Германии нет скота, нет мяса, нет кайзера и вообще ничего нет. Но главное, — в стране нет армии, нет порядка и, страшно сказать, нет полиции.

Пауль. Ты напоминаешь мне парламентского болтуна, Карл.

Карл. Я не болтун, я хочу, чтобы вернулись старые добрые времена, и если мяса нет, и дорога к ним лежит через эту пивную, что ж, я буду торговать пивом. Пиво в Германии еще есть. Ну-ка, Пауль, помоги мне прибить вывеску. Ага. Вот так.

Пауль. Надо бы поровнее.

Карл. Да, сейчас. (*Забивает гвозди молотком.*) Так. Ну что?

Пауль. «Железный крест». Звучит неплохо.

Карл. Звучит просто отлично. Ну что, по рюмке пшнэпса?

Пауль. Яволь, камерад.

Карл разливает шнэпс по рюмкам и включает радио. В эфире — легкая сентиментальная мелодия.

Карл. Прозит, за успех!

Пауль. Прозит!

Карл. Ну что ж, теперь выпьем пива.

Идет к стойке и наливает пару кружек пива. Ставит их на столик. Карл отпивает глоток:

Отлично.

Пауль. Да, пиво неплохое.

Появляется продавец газет.

Продавец. Покупайте свежие газеты! Новое учение о пространстве и времени родилось в Германии! Относительность, —вы за или против? Мирные переговоры! Мир взволнован! Новости в газетах! Спириты против Штейна!

Пауль. Вот тебе деньги, оставь пяток газет и проваливай.

Карл. Ну что ты так.

Продавец уходит, а Пауль раскладывает газеты по столикам. Затем он усаживается за столик с кружкой пива и закуривает. Карл начинает просматривать газету.

Появляются первые посетители, трое мужчин, и усаживаются за столик.

Ну-ка, Пауль, налей ребятам пива, видишь, я читаю газету.

Пауль молча встает, наливает три кружки пива и относит их к столику. Усаживается с посетителями. Карл откладывает газету и обращается к посетителям пивной:

Ньютон! Ньютон двадцатого века, вот кем его провозгласили англичане. Одной рукой они сдирают с нас репарации, и мы тут ходим голые и босые, а другой направляют экспедицию в Бразилию и фотографируют там звезды во время солнечного затмения, да еще вопрос, как они их фотографировали? — ведь солнца то почти и не светило, и после всего этого оказывается, что звезды вроде бы видны там, где их нет, свет, стало быть движется по кривой, — ну а раз так, то мой бывший клиент, раз уж он все это предсказал, не кто иной как Ньютон двадцатого века. Не поймешь, радоваться тут или горевать, а, Пауль? Можно им верить или нет? Пауль, принеси ребятам еще пива.

Пауль молча встает, наливает еще три кружки пива и возвращается к столу. Карл снова обращается к газете:

Так, ну а что тут дальше? Оправданы за недостаточностью улик лица, привлеченные к суду по обвинению в убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург... Туда им и дорога, этим красным. Далее репарации... Снова репарации... Ратенау назначен экономическим советником канцлера и представляет Германию на переговорах с Францией о репарациях.

Умолкает на мгновение, а затем продолжает...

Так, а что тут дальше? Снова Штейн. Еще один еврей. А может быть нам надо гордиться, а, Пауль, что этот Ньютон живет в Германии и вся войну ел мясо из моей лавки? Ведь хоть англичане и выиграли войну, но истина-то получается у нас, у немцев, а, Пауль? Ведь так говорили вначале?

Пауль. Послушай, Карл, вот что я тебе скажу. Представь себе совершенно сплющенного клопа, живущего на поверхности шара. Это клоп может быть наделен аналитическим умом, может изучать науку и даже писать книги. Его мир, Карл, будет двумерным, ты понял?

Карл. Понял, ну и.

Пауль. Тогда послушай дальше. Мысленно или математически этот клоп сможет понять, что такое третье измерение, но представить себе это измерение он не сможет. Так вот, Штейн утверждает, что человек находится в точно таком же положении как этот клоп. Он называет клопа несчастным. Разница между клопом и человеком лишь в том, что человек трехмерен. И дальше он говорит так: математически человек может вообразить четвертое измерение, но увидеть его, представить себе наглядно человек не может. Следовательно, надо во всем довериться его математике. Ты понял все, Карл?

Карл. Кое-что понял, Пауль, но, пожалуй, не все.

Пауль. Он уподобляет человека клопу, Карл, а мир, погрязший в дерьме, слушает его. Но мы не клопы, Карл, мы люди, мы выжили и мы хотим жить. Нас не превратить в клопов.

Карл. Ты прав. Эй, ребята, *(к посетителям)*, слишком уж вы расшумелись.
Появляется Герта.

Герта. Добрый день, Пауль! Здравствуй, Карл.

Пауль. Карл, сейчас ты все поймешь.

Карл. Что пойму?

Пауль. Все. Добрый день, Герта.

Карл. Здравствуй, Герта.

Пауль. Скажи мне, Герта, который час?

Герта. Половина четвертого, Пауль. Разве я опоздала?

Пауль. Нет, Герта, ты не опоздала, но скажи мне, что такое «половина четвертого»?

Герта. Ты шутишь, Пауль? Половина четвертого — это время.

Пауль. Значит, по-твоему, время можно обозначить любой цифрой: один, два, три, четыре. Так?

Герта. Я не знаю. Так нас учили. Так живут все. Все отсчитывают время по часам или по солнцу.

Пауль. А если солнца нет на небе? Если на небе всегда тучи?

Герта. Так не бывает, Пауль. Солнце появляется хотя бы ненадолго.

Пауль. Не смотри на меня так. У меня нет денег, чтобы завести семью. Ты знаешь, что происходит с маркой?

Герта. Да.

Пауль. Так вот, Карл, все теории этого профессора и относятся к этим простым цифрам на циферблате, они просто списаны из школьной арифметики и геометрии, но ничему не соответствуют на самом деле. А этот свет далеких звезд, что нам до него? Мы должны явиться новыми из погребального костра, из огня. Мы должны очиститься и возродиться.

Герта. Пауль, успокойся. Мы ведь хотели пройтись.

Пауль. А я и не волнуюсь. То, что я говорю, открылось мне совершенно очевидно. Нам нужен огонь, очистительный огонь. Пока это понятно не всем, - большинство хочет жрать мясо и размножаться. А нам необходим огонь. И когда все сгорит, жизнь начнется снова, но это будет уже другая жизнь.

Карл. Верно, Пауль, ты верно это сказал. Давай выпьем пива, у меня есть немного ветчины. Посидим как в старые времена.

Герта. Может быть, пойдем, Пауль?

Карл. Тебе уже не нравятся наши песни, Герта? Ты считаешь, что эти скрипичные штучки лучше?

Герта. Зачем ты это говоришь, Карл?

Пауль. Неси пиво, Карл.

Карл, Герта и Пауль усаживаются за столик. Появляется Марго, прости-туткав поисках клиента.

Марго. Ну и тоска! Тоска да и только! Хоть собирай мальчишек-сопляков да и отдавайся бесплатно, задарма всем подряд. Так хоть разогреешься, а деньги-то ничего не стоят, — вечером сговариваешься с клиентом, а наутро на миллион марок не купишь и пачку маргарина. Да и где они, — мужчины былых времен? Лучших поубивали, а осталось так, — дерьмо одно, кто конгуженный, кто инвалид, а кто и не слышит ничего, когда пора расплачиваться. Все норовят за бесплатно, а иные так просто насилуют, словно я буржуазка или благородная девица, а не пролетарий, зарабатывающий своим трудом и телом! А сколько стоит аборт в наше время? Ну да ладно. Где мои сигаретки? (*закуривает*). Ну-ка, взгляните на Марго, самую обольстительную пташку Берлина.

Поэм "Die Lorelei":

Ich weiss nicht, was soll es bedeuten
dass ich so traurig bin.
Ein Märchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kuhl, und es dunkelt,
und ruhig fließt der Rhein...
Der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein
Die schönste Jungfrau sitzet
dort oben wunderbar,
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
sie kammt ihr goldenes Haar
Sie kammt es mit goldenem Kamme
und singt ein Lied dabei,
das hat eine wundersame,
gewaltige Melodei.
Denn Schiffer im kleinen Schiffe
ergreift es mit wildem Weh.
Er sieht nicht die Felsenriffe
er sieht nur hinauf in die Hoh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
am Ende Schiffer und Kahn.
Und das hat mir ihrem Singen
die Lorelei getan.

В пивной появляется профессор Кланк.

Какой холодный вечер. А кому холоднее всего на свете, как вы полагаете, г-н профессор?

Кланк. Сырым и убогим.

Марго. Холоднее всего —одинокой женщине, г-н профессор. Угостите одинокую женщину кружкой пива или рюмкой киршвассера, уж если вы ходите пешком по улицам, должно же у вас быть человеческое сочувствие.

Кланк. Простите, я спешу, я, собственно говоря, хотел отыскать.

Марго. Вы образованный человек, г-н профессор, помогите мне, должны же вы уважать женщину.

Пауль встает из-за стола и подходит к Кланку.

Кланк. Вот вам на кофе и киршвассер, и позвольте все-таки пройти.

Марго. Danke Schoen, г-н профессор.

Пауль. Ну-ка, Марго, уматывай, простите, г-н профессор, позвольте представиться, Пауль Вессель, бывший студент Берлинского университета, ветеран войны.

Кланк. О да. Я получил вашу открытку.

Пауль. Г-н профессор, я сражался на западном фронте вместе с вашим сыном, он погиб у меня на глазах. Когда-то я был его студентом. Порой мы вспоминали университетские годы между боями. Он не писал вам обо мне?

Кланк. Нет.

Пауль. Странно. Я собирался изучать законы природы после окончания войны. Карл.

Карл. Да, Пауль.

Пауль. Принеси пива. Пиво для профессора Кланка и мне рюмку шнапса. Я заплачу. Выпейте пива, г-н Кланк, и я расскажу вам, как погиб ваш сын.

Герта. Пауль, нам лучше уйти. Г-н Кланк, извините, это мой жених Пауль.

Пауль. Сядь, Герта. Наступило время, когда один честный немец должен выслушать другого. Должны же люди выслушать друг друга.

Кланк. Я слушаю вас.

Пауль. Вот так, Герта. Карл, где пиво?

Карл. Вот ваше пиво, г-н профессор, вот шнапс, Пауль.

Пауль. Спасибо, Карл. Он славный парень, г-н профессор, поверьте мне, раньше он торговал мясом и всю войну кормил им вашего коллегу, профессора Штейна. Он спас его от смерти. Он и Герта, она варила профессору мясной бульон. Вы знаете об этом, г-н Кланк?

Кланк. Да.

Пауль. А теперь мяса нет. И Карл открыл пивную. Для таких как я. Для моих друзей. Г-н профессор, я помню вашу речь в Университете когда началась война. Ваш сын, прослушав ее, решил записаться в добровольцы. Я тоже ушел на фронт добровольцем и попал в артиллерию. Мне повезло, в первый же день, после того как я прибыл в часть, я встретил вашего сына. Я был заряжающим, г-н Кланк. и наводчиком я тоже был. У меня есть военные награды. Ваш сын командовал нашим подразделением. Это было под Тиамно. Наша пехота шла вперед, через колочую проволоку, те пытались сбить атаку пулеметным огнем, а мы били по пуле метным гнездам. Вскоре нас засекли. Они ввели в дело гаубицы. Они хотели подавить наш огонь. Да, мы должны были сменить позиции и открыть огонь снова. Но ваш сын, г-н профессор, понимал, что тогда наша атака захлебнется и таких же как мы Карлов, Паулей и Гансов просто расстреляют на колочей проволоке. Он понимал это и принял решение не покидать позицию. У нас на батарее погибли люди, и я был и заряжающим, и наводчиком, и подтаскивал снаряды, а потом мы уже и не могли уйти, все лошади были перебиты, они сбежали с коновязи, в лицо мне угодил кусок лошадиного мяса с клоком волос, а потроха другой вывалились на лафет, а ваш сын, г-н профессор, приложив бинокль к глазам стоял у бруствера, корректируя стрельбу, а кругом дохли лошади и люди, а взрывная волна опрокидывала орудия. Когда я очнулся, он лежал рядом со мной в грязи и месиве, сжимая в руках бинокль, прекрасный цейссовский бинокль, через который он в звездные ночи наблюдал планеты: Марс, Юпитер, Венера, Сатурн, Меркурий я позабыл их названия. Я был солдатом, я стал ветераном, ваш сын остался солдатом навсегда. Карл, налей мне еще и принеси бинокль.

Кланк. Г-н Вессель, благодарю вас за рассказ о том, как мой сын выполнил свой воинский долг.

Пауль. Так что же происходит вокруг, г-н Кланк?

Кланк. Что вы имеете в виду, г-н Вессель?

Пауль. Я хочу расспросить вас о профессоре Штейне.

Кланк. Но что вас интересует?

Пауль. У меня накопилось много вопросов, безумно много.

Кланк. Это неудивительно, его теория чрезвычайно сложна, но.

Пауль. Поверьте, меня волнует вовсе не это. Почему, скажите на милость, вокруг его теории и персоны поднят такой шум? Разве в мире нет более важных вопросов? Разве Германия не лежит в развалинах? Разве в Германии нет других, более достойных ученых? Тут какая-то тайна...

Карл. Что происходит, г-н Кланк? Все это сильно смахивает на заговор.

Кланк. Заговор?

Карл. Вот именно, заговор, нас хотят увести в сторону. Почему он так сблизился с нашими бывшими врагами?

Кланк. Он полагает, что мир — высшая ценность.

Пауль. И теперь его друзья добиваются присуждения ему Нобелевской премии, но за что?

Тем временем все посетители пивной собираются вблизи Кланка, Карла и Пауля, и начинают подавать реплики.

Марго. Нет, нет, позвольте спросить, г-н профессор, за что ему полагается эта самая шведская премия?

Голоса. Ну, ты, народная певица, заткнулась бы. Какая премия? За что? Знаем мы эти штучки.

Кланк. Я полагаю, что вне зависимости от взглядов г-на Штейна, научная ценность его работ не подлежит сомнению...

Пауль. И все-таки нас предали.

Кланк. Кого, г-н Вессель? Кого предали?

Карл подходит к Паулю и передает ему бинокль.

Тот смотрит на бинокль и передает его Кланку.

Пауль. Вот бинокль. Он хранился у меня. Предали Германию, всех, кто погиб за нее.

Марго. Спасибо за угощение, г-н профессор, давайте-ка я вам спою "Лорелею", а?

Запевает "Die Lorelei"

Кланк. Всего наилучшего, г-да.

Кланк уходит.

Карл. Ну, Пауль, ты заставил его попотеть.

Пауль. Этого мало, Карл, это еще не кровавый пот.

Герта. Пауль, успокойся, я прошу тебя. Ты обещал, что вечером мы пойдем в кирху.

Пауль. Разве молитва может принести облегчение, а, Карл, как ты считаешь? Когда-то я думал, что знание делает человека свободным. Но что толку от того, что ты знаешь состав пороха, который разносит тебя на части? Настоящее знание, Герта, это вопрос мужества, умения пойти до конца.

Герта. Когда у г-на профессора болела мать.

Пауль. Что ж тут особенного, Герта, ведь он всего лишь человек.

Карл. Точно, Пауль, он человек и всю войну жрал мясо из моей лавки, а теперь он задумал сбить с толку таких же как он людей. Ну, Марго, если хочешь выпить, спой-ка еще разок.

И Марго запекает вновь.

Герта. Но послушай, Пауль. Если у тебя столько вопросов к г-ну профессору, то почему тебе не поговорить с ним. Я могла бы попросить его, и он найдет для тебя время, я уверена.

Пауль. Я думал об этом, Герта. Но каждый раз как я его вижу, я снова чувствую себя студентом-недоучкой. Он смотрит на меня, но его взгляд не останавливается на мне, он устремлен куда-то. Иногда мне кажется, что он ясновидец. От него что-то исходит. Но это — враждебная нам сила. Она не замечает нас и не хочет нас знать. Пойдем отсюда.

Герта. Но, Пауль, война уже окончилась, и мы все должны стараться жить в мире друг с другом и с собой. Иначе получается, что война продолжается. Что она не кончится никогда. Но ведь так не должно быть. Может быть, нам стоит пойти помолиться, а, Пауль? Я часто молилась, когда ты был на фронте... Пойдем в кирху, Пауль... Я прошу тебя...

Пауль. Пойдем отсюда, Герта. Если хочешь, мы можем пойти даже в кирху.

Сцена двенадцатая

Пауль убирает пустую пивную.

Звучит наигрываемая на губной гармонике песня "Die Voglein". Закончив уборку, Пауль достает листочки написанного заранее текста и начинает репетировать речь перед зеркалом. Вначале он прочитывает текст, а затем пытается повторить его по памяти.

Пауль. Мои боевые товарищи, я обращаюсь к вам, к тем, кто собрался здесь, к тем, кто вернулся с полей войны и к теням тех, кто на них остался.

После паузы:

Мои боевые товарищи, я обращаюсь к вам, к тем, кто собрался здесь, к тем, кто вернулся с полей войны и к теням тех, кто на них остался.

Думает.

Нет, так, пожалуй, будет лучше.

Вычеркивает что-то из черновика речи. Появляется Герта. Некоторое время она прислушивается к словам Пауля, затем садится на стул и закуривает.

Мои боевые товарищи, я обращаюсь к тем, кто вернулся с полей войны, я обращаюсь к теням тех, кто на них остался.

Замечает Герту.

Герта, ты пришла?

Герта. Конечно я пришла, Пауль. Я пришла к тебе, куда же мне еще идти?

Пауль. Чем мне тебя угостить? Выпьем пива, или чего-нибудь покрепче?

Достает из кармана сигареты и закуривает.

Ставит на столик бутылку инанса и парурюмок. Разливает инанс по рюмкам.

Ну что, выпьем, любовь моя? За нас, Герта!

Герта. За нас, любимый!

Пьют.

Пауль. Садись ко мне поближе.

Целует ее.

Боже, как с тобой хорошо! Давай выпьем еще.

Пьет из горлышка, потом передает бутылку Герте. Где-то вдали возникает мелодия «Die Lorelei». Герта встает, и делает несколько шагов, она словно танцует. Потом она садится поближе к Паулю, обнимает и целует его.

Моя любимая.

Герта. Пауль, я всегда знала, что ты вернешься.

Пауль. Я всегда помнил о тебе, всегда.

Через некоторое время поцелуи и объятия завершаются.

Я люблю тебя, Герта. А ты, ты любишь меня?

Герта. И я люблю тебя, Пауль. Я люблю тебя.

Пауль снова пьет из горлышка, затем передает бутылку Герте.

Пауль. А где мои сигареты?

Находит сигареты и закуривает. Передает сигарету Герте. Некоторое время оба молча курят, затем приводят себя в порядок, затем Пауль достает из кармана губную гармонику и начинает наигрывать «Лорелею». Чуть погодя, Герта, глядя на Пауля, начинает петь.

Пауль. У тебя хороший голос, Герта.

Герта. Ну, какой это голос, я просто люблю петь для себя.

Пауль. Теперь ты всегда будешь петь и для меня.

Герта. А потом?

Пауль. Что потом?

Герта. А что будет с нами потом?

Пауль. Когда?

Герта. Когда нас будет трое, а не двое.

Пауль. Мы поженимся. Просто нам нужны деньги. Мы должны снять жилье. Ведь мы не сможем жить у твоего Штейна.

Герта. Откуда же они появятся, эти деньги? Марка ничего не стоит. Все мои сбережения превратились в ничто.

Пауль. Вот видишь, Герта. Страна погибает от голода и холода, но кое у кого деньги еще есть. Оттого что они сохранили их в Швейцарии. Оттого что они не хотят идти до конца с той страной, где живут.

Герта. Но зачем же идти до конца со страной, которая сошла с ума и затеяла войну против всего мира?

Пауль. Ты не должна так говорить, Герта. Это — влияние твоего хозяина и ему подобных. Когда ты говоришь так, ты предаешь меня, Герта.

Герта. Это неправда, Пауль.

Пауль. А ведь я не один. Таких как я — миллионы.

Герта. Я не предаю тебя. Я люблю тебя, Пауль.

Пауль. И если мы объединимся, мы станем большой силой. И эта сила даст всем работу и жилье и восстановит справедливость. И тогда наши дети смогут не стыдиться своих отцов.

Герта. Да, Пауль, да.

Пауль. Вот послушай, я тут готовлю речь.

Герта закуривает и садится. Пауль возвращается на то место перед зеркалом, где он репетировал свою речь, и снова раскладывает перед собой бумаги.

Мои товарищи, мои боевые товарищи, те, кто вернулся с полей войны, и те, кто на них остался.

Герта. Ах, Пауль, Пауль, сегодня у меня свободный вечер. И мне хочется погулять с тобой. Под липами. Как до войны. Давай забудем обо всем, ну хотя бы на время. Пойдем погуляем, Пауль.

Пауль. Но мне надо готовиться к нашему митингу.

Герта. Неужели ты не можешь сделать что-нибудь для меня? Неужели вся твоя жизнь должна быть посвящена только мертвым товарищам, Пауль? А ведь я живая, Пауль. И я люблю тебя. Я ждала твоего возвращения столько лет. Неужели я не имею права на счастье? Я хочу быть женой, я хочу быть матерью. Я люблю тебя, Пауль.

Пауль. И я люблю тебя, Герта. Но есть еще и долг, то чувство долга, что удерживает солдата в строю.

Пауль закуривает и продолжает.

Мы пойдем гулять, Герта, но сначала я хочу закончить работу над текстом своей речи, а потом мы пойдем гулять, я обещаю. Ты согласна, Герта?

Герта. Да, Пауль.

Пауль. Хорошо. Тогда начнем еще раз: Мои боевые товарищи, я обращаюсь к вам, к тем, кто собрался здесь, к тем, кто вернулся с полей войны, и к теням тех, кто на них остался.

Сцена тринадцатая

Карл убирает пустую пивную. Появляется Пауль.

Чуть позже появляются двое из числа завсегдатаев и усаживаются за столик в дальнем углу.

Пауль. Ну, Карл, Германия наконец пробудилась. Мне надо с тобой серьезно поговорить.

Карл. Что случилось, Пауль?

Пауль. Создано “Антиштейновское сообщество”. Но еще не все поняли, что надо делать. Кое—кто выступил в его защиту.

Карл. Ну и что, Пауль? Причем здесь мы? Нам то что до этого? Помог бы лучше мне. Давай ка берись за дело.

Пауль. Мы? Мы —это народ, Карл, те, кто должен взять власть. Мы должны заявить о себе. Все должны почув— ствовать, что на них смотрит народ, что у народа есть его собственный голос. Нам нужна немецкая наука.

Карл. Куда ты забрался, Пауль? Какая наука? Нам нужна работа и жратва.

Пауль. Для начала нам нужны полотнища, краска, флаги, духовой оркестр и люди из певческого союза. Мы, ветераны, представляем народ, простых людей, и мы должны заявить о себе. А для всего этого нужны деньги, Карл, деньги, ты понимаешь это?

Карл. Ты сам знаешь как все тяжело. Я еле свожу концы с концами. Мои гроши мне тяжело даются.

Пауль. Все это вернется, Карл. Я говорю с тобой от имени союза ветеранов. Все вернется сторицею, поверь мне. Но нас должны знать, мы должны заявить о себе.

Карл. У меня нет денег, Пауль.

Пауль. Карл, я пришел к тебе в исторический момент.

Карл. Исторический момент? Вы пьете мое пиво и все поголовно должны мне. После вас останутся грязные кружки и горы окурков. Ты думаешь, вы чего-то добьетесь?

Пауль. Мы добьемся. Вот так. *(Берет Карла за глотку.)* Вот так.

Карл. Пауль, отпусти меня. Я задыхаюсь.

Пауль. Такова жизнь, Карл, у нее свои законы, или ты с нами, или ты с ними.

Карл. Но ведь мы друзья, Пауль.

Пауль. Именно поэтому я и пришел к тебе.

Карл. Но у меня нет денег.

Пауль. Тогда надо составить закладную на пивную.

Карл. Хочешь оставить меня на улице?

Пауль. Слушай, Карл, улица теперь, — место, где создается история. Ничто не устоит перед улицей. Ты понял?

Карл. Но я-то ведь вам не мешаю.

Пауль. Не знаю, отчего ты такой несговорчивый сегодня. Г-н Ранке говорил мне, что уважает тебя как разумного и серьезного человека.

Карл. Г-н Ранке?

Пауль. Да, теперь он большой человек в полиции. Тот самый, которому я носил мясо. Ты помнишь те времена?

Карл. Да, я помню.

Пауль. Ты должен дать эти деньги, Карл, или я не сумею тебя защитить. Союз уже вынес решение. Я должен его выполнить. Иначе придут другие. Они здесь.

Карл. А если я откажусь?

Пауль. Ну что ж, Карл, повторяю. Вот те ребята. Они ждут.

Карл. Чего они ждут?

Пауль. Они ждут твоего решения.

Закуривает и усаживается на стул.

Теперь ты все знаешь, Карл, и можешь принять свое решение сам, совершенно свободно. Вот так.

Карл. А вдруг у вас ничего не выйдет из этой затеи со Штейном?

Пауль. Налей-ка мне кружечку пива, Карл. Да и ребятам тоже, им тоже надо выпить, они не должны таить на тебя зла. Для твоего же блага, Карл. А ну, ребята, сюда!

Карл разливает пиво.

Карл. Ваше здоровье!

Пауль. Прозит! Никто не любит чужаков, Карл. А он и его еврейские друзья повсюду. Его даже пригласили играть на скрипке в Филармонии. Ты только подумай, до какого упадка может дойти наша Филармония, ведь во время войны он музцировал в компании гражданского военнопленного.

Карл. *(завывает)* Die Vöglein im Walde
die singen ja so wunderschön,
in der Heimat, in der Heimat
da gibt's ein Wiedersehn
Dem Feinde fest entgegen
wir schlagen tapfer drein!
Wir wollen mit ihm ringen
wir werden ihn bezwingen:

Gloria, Gloria, Gloria Viktoria!

Mit Herz und Hand fürs Vaterland, fürs Vaterland!

Пауль. Ты отлично поешь, Карл. У тебя чистый и сильный голос. Я думаю, ты будешь у нас запевалой. Ну а теперь пора заниматься делами. Пора приниматься за работу, верно, ребята?

Товарищи Пауля начинают приготовления к предстоящей манифестации.

Карл, помоги нам.

Карл поет еще несколько мгновений, затем ловит взгляд Пауля, тушуетя и идет помогать Паулю и его товарищам, ведущим приготовление к предстоящей манифестации. Натягиваются полотна транспарантов, сдвигаются подмости. Слышны восклицания: "Осторожней" и т.п.

Пауль. Ну, дело идет к концу, а, ребята?

Голоса. Да, вроде того. Ну, еще немного и все. Ну а как насчет пива, Карл? В самом деле, может быть устро им перекур?

Пауль. Ну что ж, глас народа — глас божий. Ребята неплохо поработали.

Карл. Берите пива, ребята, сейчас будут сосиски.

Появляется Марго.

Марго. Все работаете, мальчики? А отдохнуть, поразвлечься никто не желает? Для патриотов скидка — десять процентов.

Голос. Слушай, Марго, нас здесь пятеро, — скидывай половину и я один поработаю за всех.

Марго. Не забывай, я тоже ветеран в своем роде.

Пауль. Карл, налей ей кружку пива, союз угощает.

Карл. Не слишком ли мы размахнулись, Пауль? Вот пиво.

Пауль. Размахнулись? Да это только начало. Здесь будут выступать ораторы, там станет хор, ну а тут мы поставим духовой оркестр, ну а вокруг будет народ. Тебе тоже надо подготовиться, Карл, пиво, сосиски, бутерброды, — всего должно быть вдоволь.

Голоса. Вот это верно! Правильно сказано!

Марго. А солисты? У вас будут солисты?

Пауль. У нас будут ораторы.

Марго. Вам нужны солисты, Пауль. Должен же кто-то спеть народные песни.

Карл. Уж не ты ли их будешь петь?

Марго. А хоть бы и я? Чем я плоха? По-твоему, я не умею петь?

Голос. Да просто он решил, что сам будет запевалой.

Смеются.

Пауль. Это правда, Карл?

Карл. Да хватит тебе, Пауль.

Пауль. По-моему, здесь что-то есть. Почему мы должны отказывать Марго в праве голоса? Пусть поет. Но сперва, Марго, ты должна спеть для нас. Представь себе, что мы отборочная комиссия в консерватории или в оперном театре. Мы готовы выслушать тебя и принять решение. Не так ли ребята?

Голоса. Правильно, Пауль! Все верно! Ну, Марго, давай!

Марго. Даю, ребята!

Спешно прихоращивается.

Пауль. Никого нельзя лишать права голоса. Мы его завоевали — это право.

Марго. Сейчас, айн момент, Пауль, айн момент, я всегда мечтала стать актрисой.

Взбирается на помост.

Я нуждаюсь в аккомпанементе.

Карл. Слыхали, ей нужен рояль и пианист во фраке. А бокал шампанского — промочить горло, ты не желаешь?

Пауль. Сейчас, Марго, я тебе саккомпанирую.

Достает из кармана губную гармонику и наигрывает сентиментальную мелодию. Марго поет.

Ну, Марго, ты просто талант!

Голоса. Молодчина, Марго! Хайль Марго! Хайль!

Марго пытается поклониться и теряет равновесие.

Пауль. Держите эту дуру! Она, видно, перепила.

Марго. Спасибо. А это что? Чулки! Кто мне заплатит за чулки?

Приводит себя в порядок. На улице перед пивной появляется Кланк.

Г-н профессор, куда это вы направляетесь, позвольте вас спросить? Или вы меня не узнаете? Не хотите ли выпить рюмку шнапса? Карл такой добрый сегодня, он всех угощает.

Кланк. Позвольте пройти, я спешу, фрау.

Марго. Рейхсталер!

Все кроме Кланка смеются.

Пауль. Ну-ка, ребята, все свободны. Позволь, Марго.

Товарищи Пауля уходят.

Вы, г-н Кланк, наверное, направляетесь к г-ну Штейну, и я хотел бы узнать, что вы думаете о присуждении ему Нобелевской премии.

Кланк. Что именно вас интересует?

Пауль. Мы не знаем, примет ли он теперь наше приглашение принять участие в публичном диспуте "Народ и наука". Видите, мы к нему готовимся.

Кланк. Да, я вижу это.

Карл. И еще, г-н профессор, позвольте задать вам вопрос.

Кланк. Я слушаю вас.

Карл. Г-н профессор, однажды я беседовал с профессором Штейном, и он признался, что не понимает вашу теорию.

Кланк. Но это вполне естественно. Я и сам не могу привыкнуть к своей теории и ее результатам.

Карл. Но как быть нам, простым людям, если вы, ученые, не понимаете друг друга и свои теории?

Пауль. Но мы надеемся, что со временем многое прояснится. И тогда...

Марго. Да, мы просим вас выступить, народ давно хочет знать, что говорит наука. Это будет солнечный день, народ, трибуна, речи, музыка, пиво, сосиски, бутерброды, флаги, лозунги, всего будет вдоволь.

Кланк. Вы тоже примете участие в диспуте, фрау Рейхсталер?

Марго. Нет, у меня другая роль, г-н профессор. Я не ученый, я простая, скромная женщина. Я — труженик.

Кланк. Так в чем же ваша роль, фрау Рейхсталер? Я вижу, что вы член инициативной группы.

Марго. Я буду петь, г-н Кланк, я буду петь, это моя мечта.

Пауль. Оргкомитет уже выслал вам официальное приглашение, г-н Кланк. Что вас смущает? Вы никогда не выступали перед народом? Что ж, это время наступило, вы их только что видели, — простых тружеников, бывших солдат. Народ хочет, вооружившись знаниями, строить новую жизнь. Или это не так? И, скорее всего, многое из того, что мы восприняли не раздумывая, нам придется менять.

Кланк. О чем вы, г-н Вессель?

Пауль. В свое время, ваш сын, — приват-доцент Кланк спросил у меня: "Если звездное небо над нами подчинится теперь принципу относительности, то не следует ли по аналогии приложить этот принцип и к нравственному закону внутри нас?"

Кланк. Но его слова отнюдь не отменяют существования нравственного закона. Вопрос лишь в том, что каждый из нас должен открыть его для себя. И, судя по тому, что вы рассказали мне о том, как погиб мой сын, у него не было сомнений в том, существует ли нравственный закон.

Пауза.

Боюсь, что вы не до конца поняли мысль моего сына, г-н Вессель. Всего доброго.

Кланк уходит. Марго мурлычет и охорашивается глядя в зеркало, а Пауль усаживается на стул и закуливает.

Пауль. Ты все поняла, Марго?

Марго. А?

Пауль. Я спрашиваю, — ты все поняла? Они по-прежнему хотят таскать каштаны из огня чужими руками.

Сцена четырнадцатая

Штейн у черной доски с формулами.

Появляется Кланк.

Кланк. Вы работаете, дорогой Штейн?

Штейн. А что же еще остается делать, дорогой Кланк? Сегодня студенты попросили меня объяснить, как можно представить себе бесконечную, но ограниченную Вселенную. Я сказал им, —представьте себе клопа в центре этого стола. Пусть он начинает двигаться к его краю, но в то же время начинает уменьшаться в размере, так что его шагжки становятся все короче. Бедный клоп никогда не достигнет края стола и следовательно его представление о бесконечности будет связано с этой поверхностью. Увы, студенты мне не поверили. Они не захотели слушать меня и ушли на митинг «Ангиштейновского сообщества».

Кланк. Более того, они обратились в ректорат и требуют вашего увольнения.

Штейн. Наверное, их можно понять... Порой и мне хочется воскликнуть: «Да когда-же он утихомирится, этот Штейн? Каждый год он создает новые модели вселенной, а затем отменяет их. ...Неужели же он не может остановиться и заняться чем-то более осмысленным?»

Кланк. Как бы то ни было, дорогой Штейн, ректорату придется рассмотреть и это заявление студентов.

Штейн. Иногда мне кажется, что мир сошел с ума. Недавно, дорогой Кланк, к нам в дом ворвалась дама, одетая совсем совсем не по сезону. Она скинула с себя огромную меховую шапку, затем растегнула шубу и потребовала от меня объяснить ей теорию относительности. Я начал рассказывать ей о клопах, обитающих на шаре. В ответ она вытаскала револьвер и объявила, что решила застрелить меня, ибо я наводнил Берлин клопами. Когда я спросил у нее, отчего же она не стреляет, она ответила мне, что ждет, пока я испугаюсь. Мы сидели друг против друга целый час, причем она продолжала целиться в меня. К счастью, появилась Герта с полицией. Оказалось, что эта дама сбежала из психбольницы. Я всегда полагал, что занимаюсь абстрактными проблемами. Отчего же меня заваливают письмами, а в дом ко мне рвутся любопытные? Неужели я так похож на фокусника или гипнотизера?

Кланк. Мне кажется, что люди полагают, что за всем тем, что происходит вокруг, скрывается какая-то тайна.

Штейн. Но тайна действительно существует, и состоит она в том, что этот мир вообще можно понять.

Кланк. Понять? Но людей мало интересует эта сторона вопроса. Скорее, им хочется сплотиться вокруг чего-то простого и ясного. Найти какую-то основу жизни. А эта основа постоянно ускользает. И людям начинает казаться, что те, кто размышляют над устройством этого мира, могут взорвать его... Поверьте, дорогой Штейн, я сожалею о том, что происходит. Но люди не просто мыслящие клопы. Газеты убеждают людей, что старый мир рухнул не только на земле, но и во Вселенной. И это последнее произошло благодаря вашим усилиям.

Штейн. Так может быть, дорогой Кланк, мне надо самому выступить на заседании этого «общества» и попытаться разъяснить цели и задачи моей работы?

Кланк. Не исключено, что такое выступление могло бы оказаться полезным. Недавно я получил приглашение выступить на митинге, организованном обществом «Народ и наука»...

Штейн. И вы его приняли?

Кланк. Я все еще раздумываю над этим предложением... Я никогда не выступал на подобных митингах. Но мы живем в ужасное для нас, немцев, время. Люди объединяются в толпу и заранее отказываются от необходимости выносить собственные суждения... И если мы ничего им не скажем, то они будут ожидать прихода вождей, которые скажут, что им следует делать...

Штейн. О, найти вождей очень просто... Достаточно заглянуть в ближайшую пивную... Там вам объяснят как устроен мир между двумя кружками пива, дорогой Кланк. Но причем здесь наука?

Сцена пятнадцатая

Герта стоит у черной доски с формулами.

Появляется Штейн с облаченным во фрак манекеном на колесиках.

Штейн. Посмотрите, Герта, я стал обладателем фрака.

Герта внимательно разглядывает фрак и ограничивается коротким восклицанием.

Герта. Oh!

Штейн. Хозяин магазина сказал мне: "Конечно, вы можете взять его напрокат, раз он вам нужен для выступления на сцене Филармонии... Ну а завтра вам понадобится фрак, чтобы поехать в Стокгольм за премией. Так не лучше ли приобрести его сразу?" И я подумал, что он, пожалуй, прав.

Герта. Так вы поедете в Стокгольм, г-н профессор?

Штейн. Нет, Герта.

Герта. Но почему, г-н профессор?

Штейн. Я передумал. Я не хочу быть украшением нынешнего германского фасада. К тому же начальник полиции посоветовал мне уехать на время из Берлина.

Герта. А фрак? Зачем же тогда фрак?

Штейн. Но я уже купил его, не так ли?

Герта. Да, конечно. Но...

Штейн. Фрак поможет мне в моих занятиях музыкой, Герта...

Герта. Каким образом?

Штейн. Все очень просто...

Герта. В самом деле?

Штейн. Теперь я должен играть так, чтобы мое исполнение Моцарта оказалось хотя бы на уровне мастерства портного, пошившего этот фрак...

Герта. То есть фрак будет напоминать вам...

Штейн. Что мне надо много работать... Сегодня я думал, не стоит ли мне попробовать поступить на работу в цирк?

Герта. Вы хотите играть там на скрипке, г-н профессор?

Штейн. Кто знает, Герта, но, может быть, стоило бы подумать и о такой возможности?

Герта. Но почему вы заговорили о цирке, г-н профессор?

Штейн. Потому что я потерял работу.

Герта. Вы потеряли работу?

Штейн. Студенты не хотят меня слушать...

Герта. Чего же они хотят, г-н профессор?

Штейн. А чего хочет этот манекен во фраке, Герта? Поверьте, не знаю. Вот представьте, — сегодня вечером я облачаюсь во фрак, беру в руки скрипку, выхожу на авансцену филармонии и вместо того чтобы играть Моцарта, вдруг истерически взмахиваю рукой и кричу: Долой Штейна! Долой относительность! Дойчланд, Дойчланд, юбер аллес! Ну что ж, прекрасно, ко всеобщему ликованию Штейна запикивают в смирительную рубашку и везут в психиатрическую больницу. Но ведь то, как устроена Вселенная, никак от этого не изменится. И я не знаю, что надо сделать сверх того, что я уже делал. А если уж говорить начистоту, то я не могу добиться того, чтобы половину Германии обяжали пройти курс лечения в психиатрических клиниках.

Герта. Да, г-н профессор. Я понимаю, о чем вы говорите...

Штейн. Ну что ж, обратимся к задачам сегодняшнего дня.

Штейн надевает фрак, открывает футляр, достает оттуда скрипку и смычок и наигрывает уже известную мелодию Моцарта.

Ну что ж, фрак мне впору.

Герта. Г-н профессор, вы играете совсем не хуже чем г-н Зейц.

Штейн. Вы просто добрая фея, Герта.

Герта. Но это совсем не так, я часто бываю злой, г-н профессор. И тогда я сама себе не нравлюсь.

Штейн. Ну что же делать, Герта? Мы все несовершенны.

Герта. Иногда я чувствую, что уже ни во что не верю.

Штейн. Это неправда, Герта.

Герта. А во что верите вы, г-н профессор?

Штейн. Иногда я думаю: хлеб, табак и музыка, ну, что еще нужно человеку?

Герта. Вы что-то задумали, г-н профессор?

Штейн. Пожалуй, мне надо уехать отсюда... Начальник полиции советует мне покинуть Берлин хотя бы на время. После того как националисты убили Ратенау, все возможно, сказал он, ведь это были студенты.

Герта. Но вы вернетесь?

Штейн. Надеюсь, все это безумие пройдет, и я смогу вернуться в Берлин.

Герта. Ну, а если вы не сможете вернуться, г-н профессор? Что тогда?

Штейн. Ну что ж. Думаю, что тогда меня приютит какой-нибудь университет или же я добьюсь места зрителя на маяке. На худой конец я попробую выступить в роли музыканта. Надеюсь, публике это понравится.

В наступившей тишине возникает скрипичная мелодия. Штейн кладет скрипку в футляр и уходит.

Сцена шестнадцатая

Карл, Пауль и двое его товарищей демонтируют подмостки, снимают флаги и транспаранты. Время от времени они перекуривают, пьют пиво, обмениваются репликами типа: "Вальтер, поддержи здесь!" — "Полегче, Карл!" — "Помоги, Пауль", и т.д.

Карл. Ну, значит, дела идут на лад, а, Пауль?

Пауль. Да, кое-что налаживается, Карл.

Карл. Кое-что, Пауль? А его отъезд? Это ведь хороший знак?

Пауль. "Союз" набирает силу, Карл. И это ведь не певческий Союз, а союз ветеранов, с нами считаются. Мы должны стать силой. Через силу к радости? А? Бетховен? Да, через силу к радости.

Карл. А деньги? Как будет с деньгами? Ты ведь знаешь, что для меня наше движение — это все, но деньги нужны чтобы сводить концы с концами.

Пауль. Все будет в порядке, Карл, — кое-что нам уже перевели в счет будущей предвыборной кампании, — они хотят, чтобы мы помогли поддержать порядок. В конце недели мы погасим твой займ.

Карл. Еще по кружечке? Ребята, разбирайте пиво.

Появляется Герта.

Пауль. Давай сюда. Такими вещами не шутят. Если "Союз" дает слово, он его выполняет. Мы не певческое общество, мы прошли войну.

Герта. Ты снова об этом, Пауль? Добрый вечер, Карл.

Карл. Добрый вечер, Герта.

Пауль. Почему бы нам не вспомнить об этом, ведь мы остались живы, а?

Герта. Да, Пауль, мы живы, но может быть нам лучше думать о будущем?

Карл. А мы и думаем о будущем, Герта.

Пауль. Да, Герта, мы о нем думаем. Не век же мы будем служить кому-то. Мы сами станем силой. И сделаем революцию, мы установим новый порядок, а, Карл?

Карл. Революцию, Пауль?

Герта. Но ведь революция уже была?

Пауль. Нам нужна настоящая революция, не революция для других, не революция в себе, а революция для нас. Так говорят философы. А твой хозяин, как он относится к Канту, а, Герта? Изучал он «Критику чистого разума»?

Герта. Когда у него умерла мать, Пауль, и мы были на кладбище, он хотел сказать несколько слов над могилой, но не смог говорить. Он любил ее.

Карл. И много вас было?

Герта. Несколько человек, г-н Кланк и еще г-н Зейц. Он сыграл над могилой одну мелодию. Ужасно трогательную, щемящую. Я не знаю, какие слова подобрать. Мне хотелось плакать, г-н Зейц —замечательный музыкант. Недавно он уехал в Америку...

Карл. Зейц. Уличный музыкант. Да еще ухлестывал за тобой. Вечно твой хозяин возился со всяким отребьем. Но я-то живо вправил ему мозги.

Пауль. Грязный подонок.

Герта. Он ни в чем не виноват.

Карл. Все они такие, Герта, все.

Герта. Они? А ты, Карл? Ты все позабыл? Ты подманивал меня как собаку. Я не хотела говорить тебе, Пауль, я должна была сделать это раньше. Помнишь, Карл, ты говорил: "Сосновый крест на его могиле давно уже сгнил". Ты забыл об этом, Карл? Ты говорил, что люди скоты, что они спариваются и убивают друг друга, и все. А если бы я сдалась? Что б ты сделал?

Карл. Я сделал бы все, о чем говорил.

Герта. Ты слышишь, Пауль? Пауль, скажи же что-нибудь.

Пауза.

Карл. Он сам просил меня об этом.

Герта. Кто?

Карл. Пауль. Пауль просил меня об этом. Он прислал мне письмо. Видишь, он молчит. Письмо у меня.

Герта. Какое письмо? Почему ты молчишь, Пауль? Ответь мне.

Пауль. Все правда, Герта. Я написал ему письмо. Все не так просто, когда любишь, а кругом люди предают друг друга. Я каждый день мог умереть. И я хотел знать, за что.

Герта. Значит, вы сговорились?

Карл. Выходит, что так.

Герта. Ты не мог этого сделать. Ведь ты не такой как Карл.

Карл. А чем я тебе плох, Герта, или эти музыканты лучше, а?

Герта. А почему ты сейчас не предложишь мне кусок мяса? Или Паулю? И поделите меня. Ведь ты бы не отказался, если бы я согласилась?

Карл. То была война, Герта. А мы с Паулем друзья. Друзья должны идти на все друг ради друга. А если надо, они должны отдать свою жизнь.

Герта. Пауль, я не хотела тебе говорить, но теперь скажу, у нас должен был быть ребенок, но я избавилась от него, чтоб не связывать тебе руки. Я поняла, что он тебе не нужен. Или, может быть, ты скажешь, что я забеременела не от тебя? А? Ведь ты же знал, Пауль, догадывался, но молчал, не так ли?

Карл. Если ты могла скрыть это от Пауля, то ты могла скрыть и другое, — только женщина знает от кого она беременна.

Герта. От кого же я была беременна?

Пауль. Успокойся, Герта. Хватит, Карл. Хватит разговоров об этом. Хватит. Мы живем в тяжелом мире, Герта. В извращенном мире. И пока мы не в силах изменить его.

Герта. Я молилась, Пауль, я знала, что тебе приходится убивать, ведь иначе убили бы тебя, но я не знала, что ты мне не веришь. В кого мне верить теперь и во что?

Карл насвистывает "Die Vöglein".

И если у нас когда-нибудь будет ребенок, то как он будет относиться ко мне? Ты думал об этом?

Пауль. Это будет новый человек, Герта. И он будет жить в новом мире. Старый мир рушится, Герта, и старый человек тоже. Ненависть — вот любовь сильных.

Карл. Ты прав, Пауль.

Пауль. Слишком много мы несли в себе любви к миру, и нас предали вместе со всей нашей любовью к миру, ко вселенной.

Герта. Ты любишь меня? Ответь мне.

Пауль. У нас хотят отнять даже право на любовь. Но нам и не нужна любовь униженных, обреченных людей, Герта. Все старое должно быть сожжено. Нам нужен огонь, Герта, очистительный огонь.

Герта. Ты давно уже говоришь об этом. Но что делать мне?

Пауль. Мы возродимся, Герта, и уничтожим все, что нам чуждо, — идеи, ложное чувство вины, книги, которые лгут и предателей, ну а таких как твой хозяин, их надо просто изгнать, изгнать из Германии. И тогда любовь возродится снова, — любовь сильных. Даже твой Христос говорил: "Не мир я принес, но меч".

Герта. Но разве люди и так не могут любить друг друга, а дети почитать родителей?

Карл. Старые времена ушли, Герта, ушли навсегда. Выпей кружечку пива, Герта, пиво свежее, вот бокал, пей и будь умницей, ты настоящая немецкая девушка и заслужила свое счастье. И пойми, счастье не приходит без испытаний.

Герта. Нет, Пауль, не надо говорить со мной так, словно ты выступаешь перед толпой. Я ведь одна. Знаешь, я думаю, нельзя оправдывать свои поступки ссылаясь на других. Я долго думала, имею ли я право сделать то, что сделала. Я думала о тебе, о нас, но я никого не упрекала и не винила. Это решение я приняла сама. Старые люди, новые люди, и новый человек, о котором ты говоришь, — разве его не будет рожать мать? Разве у него не должен быть отец? Миру нужна любовь, Пауль.

Пауль. У нас у всех есть отцы и матери, Герта. Я не знаю, что это такое, любовь. Нечто вроде ветра, — налетит порыв и исчезает, — на этом не построишь мир. Мир основан на власти и силе.

Герта. Auf Wiedersehen, Пауль.

Пауль. До встречи, Герта.

Герта уходит. Товарищи Пауля уже закончили демонтаж подмостков и пьют пиво за одним из столиков.

Карл. Смотри как обработали девчонку. А, Пауль? Ей бы проповеди читать, а не служить экономкой.

Пауль. Ну что, ребята, конец, а?

Голос. Да вроде того.

Пауль. Ну так пейте пиво. Карл, подбрось закуски и пива ребятам, они потрудились на славу.

Карл. Вот пиво, ребята, а вот и закуска. И запомни, Пауль, баб из-под призора выпускать нельзя. Когда с мясом было совсем туго, они ложились под меня одна за другой. Да, ради куска мяса для детей. Значит, ради любви. Одной любовью расплачивались за другую. Значит, все к одному, жрать и делать детей, а иначе им страшно жить. Страх у них у всех внутри. Страх.

Пауль. Страх у всех внутри, Карл. Страх присущ человеку, мы все под страхом. Но тот, кто одолеет его, начнет новую историю. *(После паузы)* А послушай-ка, где Марго? Где наша пташка?

Карл. Мясо, мясо, все хотят мяса, а где его взять?

Пауль усаживается за столик с сигаретой и кружечкой пива. В пивной появляется Прохожий.

Прохожий. Э-эх, выпить бы сейчас кружечку пива. А-а, вот и пивная. *(Роется в кармане, бренчит мелочью.)* Мне кружечку баварского. Danke Schoen. Летом предпочитаю светлое пиво, а зимой темное. Что ж тут поделаешь, странное существо человек. Налейте еще кружку. Есть у вас радиоприемник?

Карл. Вот он.

Прохожий. Включите его, пожалуйста.

Карл включает радиоприемник и через мгновение эфир доносит в пивную намек на мелодию Моцарта.

Карл. Вот пиво, приятель.

Прохожий. Danke Schoen Так. А что мы слышим? Музыка. Музыка на каждом шагу. А что есть музыка, а? Так вот, музыка. Как говорили нам в школе: «Музыка есть радость ума, вычисляющего, сам того не подозревая». Так что, как слышишь музыку, так готовься к военному параду. Придет еще и время барабанов. Прав был философ. «Все действительное разумно», клянусь пустой кружкой пива!

Обращается к залу.

Ну что ж, вам наверное хочется знать, чем все это закончилось на самом деле. Ein moment, Dampen und Herren, дайте только промочить горло.

Пьет пиво.

Так как это все закончилось, вы спрашиваете? Но ведь вы и сами знаете, как это закончилось.

Пауль. Эй, приятель...

Прохожий. Хочешь что-то сказать? Ну что ж. Но учти, это твоя последняя возможность. Мы приближаемся к концу представления.

Пауль медленно отодвигает свою кружку пива и привстает, хочет что-то сказать, но останавливается, с улицы доносится мелодия "Die Lorelei". Это поет Марго.

Конец.



Галина Гампер

СТИХИ 2014 ГОДА

* * *

Когда одна — я не одна ни капли,
А не одна — тогда я впрямь одна.
Стою над блюдцем жизни в роли цапли,
Мне жизни смак не ухватить со дна.
Мать никому, а просто одиночка,
Когда одна —вокруг ликует пир.
К строке прильнет нежданная строчка —
И мир широк, и милостив Кумир.
Кто он таков, я не предполагаю,
Кто он таков, мне думать недосуг —
К Поэзии я прислонилась с краю
И четко свой обрисовала круг.

* * *

Ворона мимолетом, на лету
Накаркала такую красоту-
Сплошь иней, невесомы дерева
Скользят как на пуантах в никуда.
Уже едва намечена Нева —
В промоинах черна ее вода,
И гончий зуд я чувствую, пора
На лыжи встать как будто на крыло,
Пока нежданно солнце расцвело,
Как птица золоченого пера.
Так празднично — мурашки по спине,
Да и сама вознесена постом,
И церковка — голубка в стороне
Чуть светится под золотым крестом.

* * *

Бессонницей жизнь меня вечно куражит,
У борга волну за волною круша.
То бродит душа, пока тело приляжет,
То тело привстанет, приляжет душа.

Ловлю маяка ненадежные очи,
Я качку терплю, охраняя жилье,
И даже когда ни надежды, ни мочи,
Терпение — главное дело мое.
Терпеньем жива как небесною манной
И, кажется, им я возвышена впрок.
Мне жизнь без него представляется странной,
Как отполированный детский мирок.

* * *

С любого места, где стою,
меня срывает.
Иду-иду, скорее нет,
меня несёт.
И так бывает, что мой путь
не убывает.
Со счёта сбившись,
я веду по новой счёт.
Стихии будто бы с цепи,
как будто в злобе,
Сквозь все завесы солнце
всё же зажжено.
Душа озябла, страшно мне —
она в ознобе,
Осколок вечности,
в нём всё отражено.

* * *

Не прикажешь: остынь,
Коль за пазухой страх,
Нынче много пустынь,
И песок на зубах.
А бывало, что мир
В вождельни дрожал,
И всех масел эфир
Стих стихов ублажал.
«Песней песнь» возносил
Сладкозвучный смычок,
Свыше жаловал сил
Тот, чье имя... Молчок.
Чей безмерен улов,
Кто пустыню отсёк,
Кто меж звуков и слов
Ароматами тёк.

* * *

На внутреннем огне вскипают слезы,
Текут по пальцам, сомкнутым у век,
И пальцы намокают будто лозы,
И им уже не высохнуть вовек.
Текут по шее на пол, на кровать,
И я бессильна их поток прервать.
И слезная река меня качает,
Да так, как будто успокоить чаёт,
И так слеза в слезе отражена,
Что вся река освещена до дна...
Но как ни глубока, как ни хрустальна,
А тайна слез моих все та же тайна.

* * *

Прощальной охрой, грустной рыжиной
В окне моём отходит в мир иной
Еще недавно стойкая природа.
И я сама на переломе года
Еще определиться не могу,
На шаг переходя на всё бегу.
Как брызги листья - всё вокруг рябое,
Пора бы разобрать дары прибою.
Над драгоценной мелочью дрожу,
Скосив глаза и будто глядя мимо.
Что лучше здесь? «Здесь лучше всё», — скажу,
Поскольку ответ и неповторимо.

* * *

Осень. Крут подступающий крен.
Ты, губу прикусив, помолчи.
В белый день с фонарем — Диоген,
Блок — себя растворяет в ночи...
Следом ты, забываясь, летишь.
Что запрет? Рассекаешь черту —
То ли светом ты день осветишь,
То ли тьмою сгустишь черноту.
Брось мусолить подсчет неудач,
В белый день выходи с фонарем.
Запредельность — ты ею означь
То, что жизнью привычно зовем.

* * *

С действительностью совпадаю редко,
Как от ствола отринутая ветка,
Вне цели отуманена листвою,
Вовлечена в её осенний рой.
Двоится всё и множится, и мнится,
И лишь листа бумаги не боится.
А что на нём? Всё тени, всё шифровка,
О чем впрямую говорить неловко,
Лишь шепотом да приложась к иконе,
От всех тайком, лицом зарывшись в кроне.

* * *

Все внове. Отжил черновик –
Все чисто, широко и длинно:
Философ — он всегда старик,
А девушка — всегда невинна,
Великолепье общих мест -
Всегда благоухает роза,
А если роза, то и крест,
А стих сопровождает проза.
Да только что и создан мир –
И грех — впервой, и подвиг тоже,
Еще новехонек Кумир,
И поклонение — до дрожи.

* * *

Звезда лишь потому она звезда,
что любим.
Нет — так вдребезги и к черту.
Меж нами
волн дремучие стада,
К любви всегда торопимся,
как к порту.
Спешим,
идем по линии беды
И тяжело дышим
в воздухе распятом.
Хитра система
атомов звезды,
В которой гениален
каждый атом.

* * *

Тень ветлы. Выйдет солнце,
и вспыхнет ее серебро.
Куст грандиозный
серебряной полон любви.
Я, чтоб воплотиться,
себе выбираю ребро
И прячусь за ветвь
и оттуда сигналю: лови.
И небыль, и был, и под вечер
отмашка — былё.
И ветла угасает,
чтоб снова к утру расцвести.
И путь по спирали
с провалами в небытиё:
Если проПадать — пропАсть,
чтобы снова очнуться в пути.

* * *

Ветер весь вокруг меня в рёве,
Так что кубарем с дерев пшцы,
Нагнетает новый ток крови,
Всё слилось, как на лету спицы.
Море вздулось, и барашки, барашки...
Погоняют их как на берег стадо,
Думы медленны, движения тяжки,
Время самое — наружу из ада.
Я в последнем себя выражу стоне,
Пробежит по мне мурашками ропот,
Только хаос мне подставит ладони,
Мне подстать его сегодняшний опыт.

* * *

Над нами марево небес
Качалось пьяно.
Фонганный дом, фонганный лес,
Река фонганна.
Все воедино завитки
Барочной лепки
Скрепляли отсветы реки,
Ограды, ветки.

Был град, как мир и мир, как град,
В размахе зала,
И уж который день подряд
Сирень рыдала.

Напльвом слёз смягчало зной
Начала лета.
И чайки силуэт резной
Был полон света.



Даниил Чкония

НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЁШЬ...

От автора

Мне хотелось выстроить подборку, как тетрадь избранных стихотворений: в первом разделе — стихи из прежних книг, во втором — стихи последних полутора лет. В них есть внутренняя связь, но поэтика последних двух лет — несколько иная, чем прежде.

1. НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЁШЬ

* * *

Певучий воск расплавлен всюду.
Течёт медовый отблеск дня.
Рассыпавшихся листьев груду
Стряхнула верба на меня.

И стадо тянется коровье
Ленивое, а вслед за ним
Вступает осень в Приазовье.
Над морем марево как дым.

Волнуются степные травы,
И ветер тычется в стога.
Не требуя себе оправы,
Лазурь толчётся в берега.

Легко лететь велосипеду,
Легко и мне, припав к рулю,
Забывать, куда я нынче еду
По чабрецу да ковылю.

* * *

Жил по соседству маленький портной,
По вечерам он ел свой скромный ужин,
Справлял в субботу грустный выходной,
Искал для дочки выгодного мужа.

А в церкви золотились образа,
Переминался странник, спину горбя,
И всё глядел Спасителю в глаза,
Исполненные вечности и скорби.

У Господа — прямая борода,
Какой у смертных сроду не бывает,
И чудится, что странная звезда
Над головою Господа сияет.

Неколебима вера и чиста,
И на устах благоговее Слово.
И дела нет, что рисовал Христа
Художник с местечкового портного.

БЕЛОСАРАЙКА

— Молчи, молчи! — и задохнулся шёпот,
и новые слова у самых губ
вдруг перехвачены сквозящим поцелуем,
и руки ищут рук, и змеи ног
сплетаются на адской сковородке,
и между резким выдохом и вдохом —
«ещё!» — попытки слов и поцелуев,
и этот рвано-точный ритм движений,
несовпадающее совпадение
дыханья, боли, нежности и злости!..
— Я больше не могу!..

— И я!..

И ветер

как будто нас разбрасывает:
где мы?

Вокруг, во мгле, — сентябрь,
хранящий запах лета,
и там...

И там, где гулкий ропот моря
сопровождает пенные валы,
где ветер пахнет чабрецом, а звёзды
заглядывают нам с тобой в глаза,
где только дальний бакен —
призрак жизни,
мы, запрокинув головы, лежим,
едва друг друга пальцами касаясь, —
мне кажется, что это дышит вечность
размеренным дыханием твоим...

НОЧНАЯ ГОНКА

Сквозь полночь снежную лечу,
Вираж ощупывает фара.
Включу приёмник. Поверчу.
Обрадуюсь: поёт Ламара.

Рассеивайся, плавай, вей,
Лей надо мною это чудо!
Рассыпь, полночный соловей,
Нить жемчуга, нить изумруда!

Невозвратно пролилась
Через пространства, дали, выси
Души таинственная связь,
Родные сумерки,
Даиси...

ГРУЗИНСКОЕ СТИХОТВОРЕНЬЕ

Яну Гольцману

По дорожке — пыльной, старой,
По тропинке — да не споро! —
Чок да чок — бычок Цикара,
Чок да чок — бычок Никора...

Путь неблизок, мир нетесен,
День не скуп на свет и краски —
От чуть-чуть печальных песен
До наивной грустной сказки.

И неспешные отары
Тянутся нешумно в горы,
Где остался след Цикары
И не стёрся след Никоры.

Потому что в этом мире
Друг — твердыня и основа,
К двум твоим — придут четыре
Добрых дела, добрых слова.

О добре ведутся споры,
И про зло талдычат свары...
Кто придёт на зов Никоры?
Кто услышит зов Цикары?

Ветка к ветке, камень к камню —
Свить гнездо, сложить дорогу...
Протянись твоя рука мне —
Сразу чувствую подмогу!

И по-русски: скоро-скоро!
По-грузински: чкара-чкара!
Чок да чок — бычок Никора...
Чок да чок — бычок Цикара...

* * *

Полустанок —
станок впечатлений,
обточенных памятью.
На мгновенье мелькнёт перед взглядом,
обращённым в туда, в то,
что схвачено временем:
простоволосая, чистоглазая, чуть скуластая,
она тихо плачет, склонив голову
перед сердито выговаривающим ей
мужиком —
он нетерпеливо теребит
ручку потрёпанного чемодана
(паровоз уже пыхтит, потому что сюда
еще не довели электротягу),
воровато тычет ей поцелуй в щеку
и бежит к вагону,
провожаемый её взглядом,
в котором — отчаянье.
Дежурный по станции —
красномордый и испитой —
смотрит на неё без сочувствия,
пожалуй, что — с осуждением:
догулялась, мол, баба...
Унылый пёс,
прихрамывая на заднюю правую,
трусит по перрону,
облезлый хвост поджимая,
и, чуть не наткнувшись на женщину,
испуганно кидается в сторону,
мимо стенда,
где под стеклом перекошена газета,
со статьёй про волонтаризм
и перекосы в сельском хозяйстве —
прощай, эпоха кукурузы!
С чем ещё предстоит простаться,
мне — молодому, глупому, счастливому —
неведомёк.
И, почти веселясь,
я смотрю на пьяньегого мужика,
вываливающегося из станционного буфета:
мужик хлопает глазами, открывает рот,
будто хочет криком остановить

уносящий меня
в светлые большие города поезд,
а крик не выходит,
и только долетает в приспущенное окно
ехидный окрик мордатого дежурного:
«От, дурак!..»
И уже их нет и не будет.
Но ещё мелькнёт покосившийся плетень,
за которым тётка развешивает
цветастые лоскуты стираного белья,
ленивый кот обернётся
на громыхающий состав
и спрыгнет во двор, распугивая кур,
бестолковый бычара
сверзится с отскочившей бурёнки,
застучат колёса
по недолгому мосту через тихую речку,
с берега которой помашут вагонам
полуголые пацаны,
и отнесёт куда-то во время и пространство
эту никакую жизнь, эту нежизнь,
как покажется мне —
молодому, глупому, счастливому...
А женщину жаль.

* * *

Я согласен назвать ностальгией
Бесконечно тягучие сны.
Вижу лица, но лица — другие.
И другие приметы весны.
Подступающий миг пробужденья
Не пугает реальностью дня.
Но сменить бы мне дату рожденья,
Раз уж адрес иной у меня!
И, посмертные слепки снимая,
Счет ушедшим мгновеньям веду.
Я сегодня, что лошадь хромая,
Сбился с шага и сплю на ходу.
Не задворки, зады, перекопы,
Не обмылки в гремящих тазах...
Я стою посредине Европы
С азиатской тоскою в глазах.

МОТИВ ШАГАЛА

Любовники долго
врастают друг в друга.
И вдруг друг из друга
произрастают они.
Смотри, в очертаньях невидимых
синего круга
зелёным посыпаны эти лиловые дни.

Как туго изогнут стремительный лук
бирюзового лука!
Упруго любить. Нежно любить. Больно лю-
бить телом об тело,
когда тополиная вьюга
вьётся над городом-полем в сонливом хмелю.

Легко оторваться
от быга болтливой слободки –
истица-виновница,
истины блудная речь,
беги местечково-тоскливой
вседневной селёдки!
Вседневной печалью –
со вздохом –
спеши пренебречь!

Заброшенный Витебск
вспорхнёт из-под синего плуга...
И вспыхнут пшеницами,
синяя под небом, огни...
Любовники пламени
плавно растут друг из друга!
И нежно друг в друга
навсегда врастают они.

* * *

Елене

В рассветный час встаёт незримо
Тень Авентинского холма.
Нам не уснуть в объятьях Рима.
Химерами стоят дома.

Что было чигано дотолле,
Прожгло веков потухших грань.
Теперь взойди на Капитолий,
Где кесарь простирает длань.

Здесь — голоса, здесь — топот, лица,
Там — кровь от цезаревых ран.
И с городом незримо длится
Твой исторический роман.

НЬЮ-ЙОРК В РИТМЕ ДЖАЗА

Ритм начинается

с перестука вагонов подземки —
белые, жёлтые, чёрные —
пассажиры в аквариумах огня, —
когда мы влетаем на эстакаду
и город выпучивает зенки,
и грязный выход на 42-ю
изумляет: «Ну и фигня!»
Потом вступают дружно
горы стекла, бетона, металла,
которым подыгрывают, подмигивают
километры поющих реклам
и реки огней, текущих
так яростно и устало
из downtown в uptown,
сплетаясь в рев, гул, вой, гам!
Улицы — на запад.
Улицы — на восток.
Свет, шум, запах.
Оторопь, ужас, восторг.
Перекрестков график.
Небоскребов рой.
Набухает траффик
Бензиновой горой.
Ритм начинается,

когда ты идёшь по тротуару, когда вослед тебе выплёскивается ветер, забежавший за тобой в магазин, ты, с шоколадной кожей, с шоколадной, недоступной никакому загару, в белой шубке, на которую сброшены смолистые волосы, когда ждёт тебя длинный, как дирижабль, белый лимузин, в который прячут тебя, как дорогую сигару, в дюралевую трубку, а ветер, который уже весь Манхэттен просквозил, напоследок бросается в ноги тебе (о, как он воет, срываясь по всей авеню, словно в аэродинамической трубе!) — обалдели прохожие, ослепли окна гигантских коробок, красным поперхнулся вдруг светофор и застыли автомобили, — Господи! — застит мне дымом взор, — до чего же я робок! — присутствуем при рожденье пробок, которые не рассосутся к грядущему дню, — ветер, ветер, ветер — гуляет по авеню, — ишь, говорит, какая ты ладная,

жарко-прохладная, вкусная, безыскусная, шоколадная, сладкая, жадная, просто, ад для меня, погибель отградная! — эй, кэмен, — кричу, — заплачу! — я её вместе с улицей этой хочу! — только гарь ударила в ноздри смрадная, и исчезла ракета с тобой подобно лучу...

Рёв, стук, гром, вой.

Огонь — под ногами,

огонь — над головой.

Ритм начинается

с джаза вечерних улиц, с импровизации солирующих выхлопных труб, когда идёшь, сначала от страха сутулясь, потом, распрямившись, лицо запрокинешь к дыханью горячих губ звездного неба, падающего в колодцы безумного города, который пугает, отчуждает, согревает, манит!

Ритм начинается

как пичий клекот у горла...

Ритм начинается...

Ритм...

Р-и-и-и-т-м...

* * *

Николаю Панченко

Ночного ветра свист и вой
Затих. Покой и нега.
За автострадой кольцевой
Клубы седого снега.
Настала лучшая пора,
Глаз не смыкая, до утра
Раздумывай неспешно
Над тем, что твой вчерашний день
Ложится, как на травы тень,
Как свет во мгле кромешной.

Ночного ветра свист и вой
Затих. Покой и нега.
За автострадой кольцевой
Клубы седого снега.
Клянись седою головой,
Что не был предан друг тобой,
Что — пусть как Бог усталый —
Ты с чистой совестью идёшь...
И если всё это не ложь —
Не умирай, пока живёшь,
Как говорили галлы!

1978

2. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКА

* * *

воробьи сбиваются у луж
голуби целуются на крыше
солнышко распахнуто к тому ж
я с душой распахнутою вышел

пахнет воздух новою весной
вон щенки трягнули головами
что случилось с ними и со мной
не могу я передать словами

* * *

ночь шелестит дождём обледенелым
постукивает дворничиха ломом
торчу в окне отвлѣкшись между делом
и слышу грохот над аэродромом

какого чѣрта столько лет не спится
ладонью «мышку» до рассвета грею
и дом — не дом хотя и не темница
выходит потихонечку старею

а всё меня на резвости толкает
моя неугомонная природа
вот сдобрю ночь бокальчиком токая
какого-то удачливого года

и вновь душа поѣт царит алеет
со всякой чепухою воспарима
а то ещё как в молодости млеет
и не стыдится пролетая мимо

сараев пустырей забытых скверов
и ни о чём как прежде не печалюсь
она готова принимать на веру
за всё легко и весело ручаясь

* * *

а я себя сегодня мыслью грею
что дни текут как вечная река
что я ещё не отдан брадобрею
и палача бездумно спит рука

что жизнь до упоенья невозможна
и что прекрасен мой безумный день
и что тревога и пуста и ложна
напрасно тень наводит на плетень

что всё вокруг спокойно тихо гладко
что вовсе не проникнуто тоской
но брезжит осторожная догадка
что не случаен радужный покой

что и печаль и боль берут другие
и вдаль уносят в призрачных руках
что близкие твои и дорогие
как ангелы витают в облаках

* * *

итак итак вступаю из-за такта
и ощутив волнение в крови
я вынужден признать явленье факта
последней поздней трепетной любви

и если речь вести по сути строго
а как иначе на закате дня
её явленье есть явленье Бога
и значит есть явление меня

вчера на этом воздухе вечернем
когда подсвечен ярко небосклон
прости мне словесами увлеченье
я человек и мне подобен Он

и если я то жалуясь и плачу
то возношу мгновению хвалу
я существую ибо что-то значу
в Его глазах и неба пахлаву

глотком и вдохом впитываю жадно
проглядывая свет где свет и край
клянясь тебе что ты последний ад мой
чистилице моё прощальный рай

* * *

глаза уставишь в небо
а в небе облака
покачиваешь немо
башкой она легка

не ведая заботы
как птичка на суку
с субботы до субботы
своё ку-ку ку-ку

и солнца оленёнок
прорвавший пелену
знаком тебе с пелёнок
со сна или ко сну

снут по небу грозы
и молнии летят
зачем они сквозь слёзы
дождя на нас глядят

* * *

парад пробуждает чувство державы
я эту жвачку не разжую
мы эти стяги уже держали
есть ощущение дежавю

нале-направо равнение братцы
напра-налево за шагом шаг
ну сколько можно в игру играть
трепещет враг только где он враг

а ты не думай ты топай топай
гляди восторженно на него ж
и площадь штопай шагами штопай
а он и вправду думает вождь

куда ж ведёт он пойму ль скажу ли
а сам он ведает ли куда
и грудь выпячивает заштатный жулик
и догорает над ним звезда

* * *

мы рисуем различные схемы
наши споры — шумящий вокзал
инвалиды советской системы
как однажды Малецкий сказал

мы шумим и друг друга не слышим
понимая друг друга слегка
что мы выкричим что мы надышим
что не выдохнули мы пока

мы рискнём через площадь по лени
не спускаясь в пролёт под землёй
а большой и бессмысленный ленин
нависает бессмысленной тлёт

эта тля эта груда гранита
этот ржавого цвета урод
нашей кровью и потом пропитан
и дышать никому не даёт

неужели холмы и долины
или озера чистый стакан
это только кровавые глины
на которых стоит истукан

но пока он стоит и не дышит
дураков и подонков божок
нас Вселенная наша не слышит
слишком слаб наш призывный рожок

* * *

куклы зайчики медведи
или прочие зверьки
эти милые соседи
плюшевые уголки
эти белочки свиношки
и другой набор лесной
эти детские игрушки
под рождественской сосной

что за славные подарки
это кто же их принёс
это к вам ли из-под арки
пробирался дед мороз

вы нагуливали щётки
в ожидании чудес
находил же старый щёлки
как-то в дом он к вам залез

чем гулял мороз морозней
тем желанней благодать
возвратясь с прогулки поздней
торопиться угадать

что в кулёчках что в мешочках
ватный снег в сверканье звёзд

верит сын и верит дочка
это дед мороз принёс

и покуда мир невечный
этой веры был не лжив
я и сам-то был беспечный
весел молод крепок жив

* * *

время всё по местам расставит
разведёт словно старый компас
неужели вдали растает
небывалой нежности космос

не пугаюсь дурного глаза
что там было — могло быть хуже
слово за слово или фраза
застревает как обод в луже

я догадываюсь что завтра
может речь навсегда прерваться
кровь кипит и разгул азарта
не позволит пока сдаваться
и пристраиваясь к становью
и надежды свои возлагая
я последней живу любовью
может правда она другая

* * *

неловок стих и проще в прозе
хотя цветок раскрылся ал
поговорить об этой розе
наркоз катарсис карнавал

придёт пора когда припёрло
и время обгорать свечам
и розы тоненькое горло
колышет ветер по ночам

так и тебе сгоревшей в страсти
как будто заключённой в клеть
не избежать такой напасти
мучительно и долго тлеть

* * *

это грустно и непонятно
снова время кричит пестро
и толятся слова невнятно
как набитый вагон метро

лишь одно словцо-неотложка
спит у сердца оно пока
не распахнуто нам окошко
уж ли участь его горька

и стеною непреодолимой
подступает тоска к нему
молчаливой печальной длинной
той которую не пойму

от которой не жду привета
от которой не жду обид
демон тьмы или ангел света
днём и ночью в трубу трубит

* * *

говоря совсем простыми
и привычными взывать
облака совсем простыми
став дождями проливать

серебрясь струной в полёте
за которым мы следим
что дождинки вы поёте
чей мотив непобедим

а над облаком пылая
пробиваются лучи
и проходит жизнь былая
лентой памяти в ночи

голоса не отвечают
на твою простую речь
или слов не отличают
не умея их сберечь

но покуда не сломали
страсть которой обуян
облака идут слоями
и сгущается туман

и не надо бить на жалость
мол бессонная тоска
лишь бы это продолжалось
продолжается пока



Владимир Пучков
НА ХОЛМЕ
ЗЕЛЕННОЙ НОЧИ...

В вечернем небе, словно в банке мёда,
Увяз навеки белый самолет.
Листва хрустит, как чипсы. Вся природа,
Рассыпавшись, еще чего-то ждет.
Тенями на оконный переплет
Устало навалился небосвод,
И гаснут реки, замедляя ход
На грани фазового перехода.

Раздайся воздух! Ломкий лист кружи!
Там, за рекой, где мерзнут огороды,
Горит костер, и греются бомжи —
Апологеты истинной свободы!

*

Каменный шар Луны катится по траве.
Небо стоит в реке, словно сгорает спирт,
Полночь вдыхает нас, а выдыхает свет,
Прячется под золой огненный алфавит!

Угли разворошу, искры летят —гляди.
Бегство горящих букв напоминает речь.
Как колокольный гул небо стоит в груди,
Так и сгорает мир, если его поджечь.

*

Как настали холода,
Не успели вспомнить даже,
Стала каменной вода
В складках лунного пейзажа.

Где причмокивала грязь
И прокручивали шины,
Ходит ворон, черный князь,
По камням замерзшей глины.

Воду мертвую клеет,
Ничего не понимая,
А над ним зима поет
Страшно, как глухонемая.

*

Небо каменного века,
Становой хребет зимы!
Кто поднимет Вию веко,
Око гоголевской тьмы?

Кто посмеет, кто захочет
Так рискнуть, чтобы пропасть?
В крупный гоголевский почерк
Мелкой буквой упасть?

Кто заглянет в это око,
Века черное ядро?
До чего оно глубоко,
До чего оно хитро!

*

Сухой, военной выправки январь.
Твержу устав зимы и непогоды.
Древья, как железный инвентарь,
И всюду прочный поскрип, как и встарь,
Нам под ноги рассыпанной свободы!

Повсюду снег, жестокий, как приказ,
И в воздухе, прицелившемся точно
Стволами воронеными, на нас
Вороний сад уставился сейчас,
И смотрит в щёлку лиловатый глаз
Того, кто нами властвует заочно.

*

Угрюмые тени вповалку легли на земле,
И в небе гуляют сырые осенние крики.
Окрепло пространство, и капли горят на стекле,
И бродит по дому рассыпанный шорох брусники.

В волненье пришли почерневшие птицы. Пора!
Пустеет деревня, и дачники тянутся к югу.
Печальный процесс охлаждения земного ядра
В смятенье приводит и душу склоняет к испугу.

Холодные волны проходят одна за одной.
И так же, как небо, душа созревает и крепнет,
Чтоб выковать зренье, когда под броней ледяной
Земля, камня, от собственной славы ослепнет.

ГОРОД

Город спит, погружаясь в зеленую плоть холма,
Весь изъеденный ржавчиной, словно корпус авианосца,
Где внутри железа просторно гуляет тьма,
И стоят голоса, как вода в глубине колодца.

Где в проходах стопами лежит листовая тень,
И течет с потолка по стеклам сухая плесень,
Город спит, погружаясь в тяжелую, как мигрень
Глухоту подъездов, теснины пролетов. Тесен

Даже воздух для вдоха и вид для глаза. Объем
Сокращается, словно свитер после просушки,
И густеет время, и звезды горят на нем,
Над уснувшим городом трубы торчат, как пушки.

*

Сухая осень. Хрупкий конденсат.
На листьях кристаллический осадок.
Невидимые в воздухе висят
Большие хлопья шороха, и сладок
С холмов крутых стекающий в распадок
Полураспада пряный аромат.
Вода не отражает ничего,
Но ей еще доступно бормотанье,
Она бежит, меня очертанья,
И ранним утром на скрипящей ткани
Рассыпанного солнца вещество.
Земля черна и крепкий воздух чист,
И каждый звук просторен, словно сени,
Где у стены скамья, тенёта, тени,
Ведро с водой — и в нем кленовый лист.

*

Черные реки, сплетенные из песка,
Текут, огибая оазисы. Все едино.
По вечерам закладывает от сладости слух. Тоска —
Естественное состояние влюбленного бедуина.

Любовь проступает, как сахар на вчерашней халве,
С которой жадный хозяин не спускает заплывших глаз,
Что остается? Извилистая мелодия, как в рукаве
Острый дедовский нож, запятанный про запас.

Остаётся шатер, из вонючих овечьих шкур
И горячее ложе, зарастающее травой,
Плывущее ниоткуда созвездие Аль-Будур
Впадает прямо в прореху над головой.

*

Туалетная муха парила над спящей землей,
Как в сухое мерцанье, в прозрачные крылья одета:
Там, внизу, холодела обломанной швейной иглой
Легендарная башня, клинок незакатного света!

Проплывали внизу, словно угли в горячей золе,
И дворцы, и дома, и машины, летящие тесно,
Было холодно в небе обломанной старой игле,
Было ей одиноко витать в облаках, если честно.

Туалетная муха рванулась навстречу земле,
На безмолвный призыв и уселась на усик антенны,
И жужжание мухи слышали в каждой семье, —
Это шёл разговор на высокие, вечные темы.

Но дохнуло с востока, повеяло чем-то родным,
Встрепенулась она и шагнула в чернильную бездну!
Я поднял воротник: эта пыль, эта вонь, этот дым...
Так сгорает отечество, чтобы воскреснуть!

ВИЗАНТИЯ

Византия спит, завернувшись в лето,
Море синее выцвело, словно ситец,
Окуная перо в ледяную Лету
Сочиняет Историю летописец.

Холодна История и протяжна,
А рукой поднимешь — не больше свитка,
Но сквозит оттуда темно и страшно
Пустота, не знающая убытка!

Тесновато в келье, растущей прямо
Из сухой земли четырьмя углами,
И София спит в сердцевине храма,
Где продольный свет полирует камень.

Летописец пишет, а ветер носит
Ледяные листки по убогой келье,
Византия мощно вступает в осень,
Оттого так много вокруг веселья!

Бесконечных пиров и роскошных казней,
Вот о чем он пишет, при свете свечки,
Что последним вором быть безопасней,
Чем сидеть на троне смиренной овечки!

Что страшнее солнечного затмения
То, что дух гнетет, помрачая разум;
И двуглавый орел равнодушной тенью
Половину земли накрывает разом!

*

Для того и тьма, чтобы в ней что-нибудь блестело!
Как в колодце вода засыпает, свернувшись в кольца,
И течет по краю вселенной стальное тело,
Отражаясь в зрачке господина Штольца.

И блестят белки усатого Николая
Императора тьмы Российской, зовомой раем,
И сверкают клыки овчарки в беззвучном лае —
Это сон Обломова к нам завернулся краем.

*

Ночью звуки растут, вытягиваясь в длину,
И земля, как морозный выдох, лежит светла,
Кто-то вскроет бутылку пива в родном Клину,
А у нас, во Владимире, дрогнут колокола.

Где-то в Вологде стукнет обходчик в железный рельс,
А на Каме сорвутся пшцы с нагретых мест,
И усталый челнок, потирая небритый фейс,
Прижимает баул, оглядываясь окрест.

Но ни зги не видно в заросшем ночном окне,
Лишь гудит автобус, вытягиваясь в длину,
От Москвы до Камы, сверкающий в глубине,
Как случайный отзвук, летя через всю страну.

ГУМБОЛЬДТ

Песня акына, верблюжья колючка, сухая тоска,
Зной испаряющегося пространства. Густое солнце.
Мелодия бесконечна, как шорох пересыпающегося песка,
Как шум ковыля, растянутый до горизонта.

Ящерица на камне: дорожный знак,
Фигурка аптека, выпавшая из кармана
Гумбольдта. Воздух слоится и дышит так,
Как слеза Аллаха, как первый стих из Корана.

*

Здесь городок. Здесь царствует зима,
Электрик на столбе, как бедный гений
Вигает в облаках. И жизнь сама
Всего лишь плод его больных видений.

Он думает: —Когда приду домой,
Я выпью пять огромных кружек чая,
Потом в окно, затянутое тьмой,
Уставлюсь, поневоле различая
Невзрачный куб подстанции родной.

Глаза затянуты куриной пеленой...

Какой там снег, какие холода?
Лишь птицы наполняют небо дрожью,
Лишь по небу летящая звезда
Порой напоминает искру Божью.

*

Я живу на окраине, белой от раннего снега,
Где, как водка, крепки ледяные осенние дни,
И двумя рукавами могучее, древнее небо,
Как река, протекает сквозь узкие окна мои.

Я живу на окраине. Черные галочки гнезда,
Как разбойничьи шапки, на спутанных ветках висят,
И твердеет душа, и глотает отчаянный воздух,
И, ломаясь, железной окалиной крошится сад.

Я живу на окраине. Здесь и созвездия ближе,
И с землею смыкается купол небесный, литой,
Так, что можно руками потрогать, и ночью я слышу,
Как гудит океан под могучей земною плитой.

*

Зима, а снега нет,
Черно, как на плацу.
И тени от планет
Проходят по лицу.

Сквозь коллективный лес,
Трескучий, как мороз,
Где каждый звук — отвес,
Я выйду на откос.

Дремучий лес планет,
Неизреченный google,
Колючий интернет,
Чей небосвод округл,

Открой мне этот век,
Растущий вкривь и вкось!
Пока не выпал снег,
Душа видна насквозь.

ПАМИР

Я дверь открыл и на улицу вышел. Скорей!
И спичку зажег, и душа моя вдруг утрашилась:
Белесая бездна клубилась у самых дверей.
И звездное небо в моих волосах шевелилось.

И спичка погасла... в руках. Я стоял не дыша,
А тьма надвигалась! Но вдруг пробудился кузничек,
И мир покачнулся, и сразу вздохнула душа,
И вздрогнули звезды, как сотни затепленных свечек.

И тяжелое небо вернулось на круги своя,
Я сел на ступеньки, я вытащил пачку «Памира»,
Сырая монетка, кузничек, надежда моя,
Спасибо тебе за спасение этого мира!

*

Как вмерзает в полярную ночь «Седов»,
Так из белой тьмы рассыпных садов
Выплывает город, вмерзая в лед,
А точнее — в сотовый небосвод.

Чтобы мы дозвонились до тех высот,
Где тебя развеет или спасет,
И белейшим снегом прикрыта грязь.
Вот что значит с небом прямая связь!

*

Не Державинская ода —
Шуба с барского плеча!
Ибо на державность мода
Что-то стала горяча.

Хорошеют переводы
У Жуковского в руках,
Ходят Баденские воды
В Петербургских берегах!

И сильнее год от года
Крепнет Вяземского вязь.
Пушкин, где она, свобода?
Холод молниеотвода,
С небом сотовая связь!

*

На холме зеленой ночи, там, где небо распустилось
И сверкающею пряжей шевелится за спиной,
Там всплывает спящий город, как подземный Наутилус
Весь присыпанный огнями словно крошкой ледяной.

И струится за кормою фосфорический фарватер
Разбегаясь по равнине злыми змейками огня,
И Луна горит над нами тихо, как иллюминатор,
И к нему лицом прижавшись кто-то смотрит на меня!

*

Где слотся мираж, оставляя дымку,
Бедуин с бедою бредет в обнимку,
И его земля не кругла, как наша,
А скорее вогнута, словно чаша.

Горизонта линия там волниста,
И горячая пыль прожигает сердце,
И в конце его жизни легко и чисто
Ставит точку пуля единовеца.

*

Лес поднимается к небу, словно сибирский острог,
Воздух огромен. Каменная река
Дышит изгнанием. Что серебрит висок?
Только не холод, идущий из глубока.

Хвойное время, растущее из корней,
Божественной речи — кедровник и молодняк
Прячет в себе белейшую из теней —
Эвридику, легкую, как сквозняк.

*

Я пошёл и внезапно почувствовал взгляд.
Словно кто-то стоял за кромешной стеной снегопада,
За чугунной окалиной сада, за бровкой оград,
За дорогой, висящей во тьме, за пределами взгляда.

Зацветал, словно хлопок, разбуженный воздух земли,
Шелестел, и летел, и потворствовал всякому звуку,
Словно Тот, кто стоял за пределами взгляда, вдали,
Всё держал и держал над землёй милосердную руку.

*

Прислонюсь щекой к ледяному ветру,
Приоткрою форточку, словно вьюшку,
Телевышка торчит, как нелепый вертел
Вместе с тучей наколотой на верхушку.

Только это и видно в мое окошко,
Но и этого хватит, чтоб верить в Бога,
Даже если неба совсем немножко,
Все равно его бесконечно много!



Виктория Орти

ВЛЮБЛЕННЫЕ ЭТОЙ ВОЙНЫ...

* * *

Ривке

Как жаль, послушай, что прошла
пора других, тебе подобных.
Как жаль, что кажется немодным
сидеть, закутываясь в шаль.
Шальное время — век шальной
не устает, а мчится, мчится.
Вскормила двух людей волчица,
сама осталась за стеной
большого города. Пойми,
ты — устарела!
Впрочем, вновь ты
(сквозь тьму веков и непогоды),
укрыв волчицу шерстью кофты,
о чем-то шепчешь ей одной.

* * *

Илье

Великому смирению учусь...
О, сколько я пыталась научиться
не маете и не смятению чувств,
а бытию спокойной ученицы!
Мне не умелось плакать по ночам,
мне не хотелось лишнего раздолья,
но
ветер пел,
но
кипарис молчал,
но
я — зачем-то — наполнялась болью.

Не знала я —
к чему даны блага —
блаженство, блажь, бродяжничество духа?

Зачем пришла ослепшая старуха
и мне свой дар прозренья отдала?

И, получив ответом на вопрос,
не голос, не послание, не песню, —
а просто взгляд упрямый поднебесья...
Я поняла.
И не сдержала слез.

Парафраз

Шептали тени на ушко
про то да это...
Сперва — дуэтом,
а потом — осталось эхо.

Стихи лились — чистейший шелк.
Торшер, халатик.
Подумав "будет хорошо",
сказала "хватит".

И ночь упала на огни,
рычала вьюгой
о том, что надо так —
"одни" и "друг без друга".

И никаких сплетений ног,
свечи горенья...
Не выходил иной итог
стиха творенья.

* * *

... Но память мне, прости уж, не нужна.
Ни о тебе, ни о безумном всяком.
Маяк маячил (закурившим зеком),
босьяк гундосил, глупый калик кашлял
и бормотал про то, что день вчерашний
воспринимать обязаны двояко,
тогда не будет холодно и страшно
прощаться с городом, рекою, веком.

Ты умер.
Впрочем, умер понарошку.
Нашел укрытие
(в нём волгло и прохладно).
Сидишь и гладишь

женщину иль кошку —
тебе без разницы —
мурлычет, вот и ладно.

И память мне, поверь уж, не нужна
ни о тебе, ни о безумном всяком.
Раз в год очнуться, даже не заплакав...
Не кошка, не подруга, не жена.

* * *

*И не умножай разговоры с женщиной ...
Пиркей авот (Почтения отцов)*

Назло дарению простому,
подарок непростой лови.
О, смесь гремучая любви
с привычкой наслаждаться словом!

Проговорю, пролепечу,
рождая звуков мириады,
заговорю и сяду рядом,
под говорок прижмусь к плечу.
И буду, буду говорить...
А ты, мои услышав речи,
не углядишь стальную нить,
тебя связавшую навечно.

* * *

*"Рахель оплакивает сыновей своих,
и не может утешиться" (Иермия 31:14)*

Вот женщина.
Она лицом черна.
Глаза мертвы.
И пустота над нею.
Над пустотою
только ястреб реет.
И смотрит ястреб
с поднебесья на
сидящую,
глядящую в пески,
укрытую не тенью тамариска,
но тьмою боли,
тьмой земной тоски.

Сын — далеко,
она — безумно близко
от ночи той,
в которой нет ни зги.

* * *

Влюбленные этой войны...
Непросто они влюблены.
Непросто.
Увы.
Непривычно.
В глазах у влюбленных войны
не розы,
не звезды,
не клин,
курлычащий говором птичьим.

В глазах у влюбленных войны
застыл
океан тишины.

Секунда в такой тишине
поможет забыть о войне.

* * *

Когда закончились слова
в моей осипшей глотке,
душа сказала:
"Ничего,
ты помолчи чуть-чуть.
Век человеческих слов, пойми,
и скорбный, и короткий.
Но вечен и всегда хорош
слов бессловесных путь".

Когда устала я смотреть
на этот мир кровавый,
душа взглянула на меня,
проговорила:
"Да...
Ты отдохни и не смотри —
ты вправе. Вправе, право.
Но — помни — зрение души
не меркнет никогда".

Когда я слушать
не смогла
коротенькие
сводки,
когда оглохла от толпы,
орущей "вам — позор!",
душа сказала:
"Тишина имеет голос кроткий,
но этот голос растворит
и грохот, и разор".

* * *

Говорю себе: "Ну же,
ни к чему нынче слезы,
пей, давай, валерьянку,
пей, давай, мятный чай".

Только фото... Вот кто-то
был и сыном, и мужем,
а сегодня он — фото,
а сегодня — "прощай".

Я-то выпью свой чай,
и запью валерьянкой.
Я-то сделаю вид,
что сильнее — не бывает.

...этот мальчик на фото
от меня улетает
он вот-вот — и растает
в незыблемых далях...

Этот чай — слишком горький.
Горше худшей полыни.
В каждой капле — отравой —
о погибшем рассказ.
— О, скажи мне, доколе
— Испокон и поныне.
Но — поверишь? —
не дольше.
Но — молитесь! —
о нас.

* * *

Не сумерки, не мгла, не тени тьмы -
но вздох пустынный, обморок, ненастье.
Настил постелен — жесткий пол незастлан,
старик бормочет, что рабы — не мы.

Я в сотый раз пытаюсь не забыть
про голос звавший, про шофар гудевший.

И монотонно повторяю "Где ж ты?".
И снова рву нервующую нить.



Марианна Гончарова

"СЕРЕБРИСТЫХ ТОПОЛЕЙ ЛИСТЫ..."

Профессору Варшавской музыкальной академии С. Шкургану

Однажды я пришла к подруге Свете утром пораньше... Часов в одиннадцать. А у нее в доме как будто Мамай прошел. И не ногами прошел, а на лошадях проехал. И не просто проехал, но еще и пожил с недельку. И не один, а со всей своей ордой...

Светка с дочкой Катей, лохматые, заспанные, в ночных сорочках, сидят посреди этого всего великолепного беспорядка, шелковыми нитками вышивают на пальцах и беседуют неспешно... Про элитарную культуру...

— О-о-о... — говорю. — Девочки!!! Молодцы! — говорю. — В таком бардаке еще хорошо на арфе играть. Или на виолончели. «Элегию» Массне. А еще лучше, если вдруг, скажем из кухни, оперный солист во фраке появится и начнет петь.

И Светка не нашла ничего умнее, чем вот посреди всего этого пожать плечами и сказать:

— Ой, ну ты вообще на своей опере чокнулась...

Я чокнулась, а они с Катькой — нормальные!

Но, между нами, они правы...

Любите ли вы оперу? Как люблю ее я? Слушать, смотреть... Но особенно петь сама... Давно, когда я училась в школе, в квартире над нами жил мой преподаватель математики Владимир Иванович. Такой деликатный человек. Он прекрасно понимал, что никакой Скловской из меня не получится никогда, тем более Кюри... Ему неудобно было как-то ставить мне «тройку» или «четверку» по алгебре и геометрии. Потому что я писала такие сочинения, что на областных олимпиадах сбегалась вся профессура посмотреть на дерзкого нахального подростка в здоровенных очках, который крупным смелым округлым почерком уверенно излагал, что Пушкина и Лермонтова убило светское общество, в состав которого, по моему мнению, входил император всея Руси, Сталин, Гитлер, американские империалисты, а также под шумок вставила я в тот список и нашу учительницу астрономии Коронар Ливию Петровну, героическую безрадостную женщину, участницу большевистского восстания на молокозаводе «Сыр Бессарабии» в 1939 году.

Вписала, чтоб ей было не повадно тыркать твердым согнутым указательным пальцем в макушку друга и одноклассника моего, Гарика. А Дантес, к слову, писала я, тут совершенно ни при чем — так, ничтожный волокита, легкомысленный угодник и вообще, абсолютно лишний человек. И потом целая комиссия приезжала к нам в школу проверять секретаря парткома нашей школы большевичку Коронар Ливию Петровну — какое она проводит коммунистическое воспитание среди меня, даже не члена ВЛКСМ, ученицы, которая написала странное, но любопытное сочинение на областной олимпиаде по литературе, за что прогрессивное крыло университета даже выдало мне почетное второе место в области и подарило две книги.

Одну очень смешную книгу — «Ленин в произведениях художников Средней Азии», где Владимир Ильич на всех картинах был похож на добродушного киргиза... А вторую — не такую смешную, толстый том «Кукрыниксов». А я вообще хотела Бидструпа. Но Бидструпа мне потом мама купила.

Конечно, такой прославленной в школе личности, из-за которой произошел раскол во взглядах не только на литературу в университете, но и на воспитание в нашей семье между мамой и папой — пороть меня или не пороть за инакомыслие — такой подозрительной особе, конечно, нельзя было ставить «четыре» или «три» по математике, потому что мало ли что я могла бы написать потом и куда, в какое общество глумливо включить и самого Владимира Ивановича. И когда однажды мы, Владимир Иванович и я, столкнулись в парадном при ежевечернем ритуальном выносе мусора, то тут же подписали мы конвенцию, а проще говоря, по-тихому договорились, что он мне — «пять» по математике в аттестат, а я не буду называть в своих сочинениях его фамилии, а в виде бонуса не буду подходить к роялю после телевизионной информационной программы «Время», а тем более петь.

Потому что однажды, когда я пела арию Оксаны из оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички» в пол-одиннадцатого вечера, у Владимира Ивановича раскололась пополам громадная дорогушая хрустальная ладья, прямо на столе. И все они — Владимир Иванович, жена его, директор плодоконсервной фабрики Вероника и дочь Инна, такая красавица, как не знаю кто — они все пережили жуткий стресс.

— У твоей ли дочки новая сорочка. Узо-о-орами шита у твоей ли до-очки... — голосила я оглушительно и вдохновенно. В ванной. — ...Косы перевиты шелковою ле-е-нгой, а на белой ше-е-е золотого-мони-исто... .

Я вообще-то везде могу петь. Я мечтала стать большой толстой оперной дивой. Чтоб боками сдвигать колонны, когда выходишь на сцену, чтоб кушать что попало на ночь, причем для дела. Чтоб все мои начальники строго меня спрашивали:

— Поела ли ты на ночь? Вкусной калорийной еды, хотя бы вареников с картошкой, чтоб быть потолще?!

Я бы и в жизни пела бы и пела, в автобусе, в очереди, в роддоме, на рынке, на железнодорожном вокзале. На вокзале особенно, там ведь такая акустика. Вот пела бы по железнодорожным вокзалам. Это были бы триумфальные гастроли... В аэропорту тоже можно... Да, пела бы и пела. Если бы только была уверена, что окружающий народ не вызовет скорую психиатрическую помощь.

Хотя... Вообще-то я трусиха, и если уж делать карьеру певицы, то я бы выбрала хор. Да, я бы пела в хоре. А в хоре, если уж очень боишься, можно же вообще не петь — так, вышла, спряталась за чужими спинами и широко разеваешь рот...

Представляете, если, например, в «Хованщине» трусихой в хоре была бы не одна я, а... все... Или почти все — кроме одного кого-нибудь... Н-да...

Но петь-то можно и не на сцене, правда?

В соседней с нашим домом аптеке работала женщина-провизор — большая, могучая, такая красивая, на двух крепких ногах. Спросишь капли от насморка. А она в ответ поет:

— Капли от на-а-сморка. Сейчас-сейча-ас. Сей-час!!! Сорок пять копе-е-е-ек!

Честное слово, я не вру! И я стала туда заходить по поводу и без повода, слушать, как она посетителям поет. И тихонько ей подпевать. В терцию, кварту, в унисон или как попадет. Как когда.

— Бальзам Шостако-о-вского. Сейчас-сейча-ас. Сей-час!

— Средство от поно-о-о-са... — тщательно выводили мы с ней вдвоем, ласково и понимающе поглядывая друг на друга. — Три раза в де-е-ень...

А потом случилось неожиданное — ей сделал предложение один англичанин, такой милый, интеллигентный. Он приходил в аптеку и просто ею любовался, как она грациозно, переваливаясь с одной толстой ноги на другую такую же, двигается там у себя в аптеке за стеклянной перегородкой. Он приходил, замирал и часами стоял. Стоял и любовался.

Она сначала его боялась, думала, что это наркоман какой-то, а потом поняла, что это же она ему просто нравится... Такой приятный человек оказался. Толстый тоже, увалень, лысый, ну очень обаятельный, с хорошей улыбкой. Ах да! И со слуховым аппаратом... И она уехала, живет сейчас в Вуллере, не знаю, поет, нет, не знаю... Наверняка поет, это же навсегда...

Так что музыка погораздо правдивее слов. Но в нашем городе не было оперного театра. В музыкальной школе мы, конечно, пели на уроках музыкальной литературы. И нет чтоб хор цыган из «Трубадура» как грянуть вместе, чтоб стекла звенели в окнах... «Кто укра-а-сит жизнь цыгана? Ла зингарелла!» Нет. Нам совсем не давал оторваться как следует, душу отвести Борис Степанович, наш преподаватель.

Кислыми голосками напевали мы тихо-тихо:

— Я к вам пишу-у-у-у... Чего же б-о-оле...

В Черновцах, повторюсь, не было оперного театра, но был любительский... Театр этот оказался так знаменит, что в нем частенько пели профессиональные певцы, и приглашение даже считали честью, потому что приглашали не всех.

В то время, о котором пойдет речь, когда я была молода и довольно симпатична — так считала моя мама, — я ловила молодых людей на бабочку.

Прекрасное занятие, скажу я вам, прекрасное. У меня была изящная брошь в виде бабочки из венецианских кружев, которую мне в подарок на шестнадцатилетие прислал мальчик-болгарин Олег. Его мама так любила русскую культуру, что назвала дочь Аксиньей в честь Аксиньи из «Тихого Дона», а сына — Олегом в честь вещего Олега, князя. Мамы наши где-то отдыхали вместе и заочно познакомили нас, своих детей.

Князь немедленно запал на мою фотографию, изъятую его мамой из походного блокнотика моей мамы, и прислал свой портрет, где он, коротенький, упитанный, с круглым животом и пышными кудрями, стоял, аппетитно обнюхивая какой-то живописный куст с мелкими цветами... Наверное, думал, вот какой я тут весь в кудрях херувим, она посмотрит на меня, такого гладкого, толстенного красавца — и все! Он и прислал мне коробочку с драгоценной бабочкой, на коробочке вязью было написано: «Винаги с теб», что означало: «Всегда с тобой». Сестра моя Лина кивнула головой и констатировала:

— Все понятно. Втрескался... — сказала и нацепила мне бабочку на предплечье.

— Так не носят, — возразила я.

— А придется, — с угрозой сообщила сестра, как о решенном деле, — так интересней...

«Так интересней» — это для меня неоспоримый аргумент!

Кстати, с вестим Олегом я дружить не стала. Потому что на вопрос «Любишь ли ты оперу, как люблю ее я?» Олег авиапочтой немедленно прислал короткое письмо: «Терпет оперу нимагу!»

И кто его заставлял терпеть?.. Словом, с Олегом нетерпеливым я не подружилась, но бабочка на память осталась.

Сестра моя оказалась права. На эту бабочку стали ловиться молодые люди. К тому времени я уже сформировалась в миловидную — так считала мама, — довольно миловидную, но долговязую и угловатую девушку.

— Ой, девушка, девушка, у вас бабочка на плече!

— Это брошь...

— А-а-а... А почему вы ее носите на рукаве?

— А где?

— На... Ну, на этом самом... На этой... На...

— Она сама села...

— А-ха-ха! Смешно... А что вы делаете сегодня вечером?

И главное, сестра меня все время умоляла, чтобы я не спрашивала про оперу на первом же свидании. Я старалась — крепилась изо всех сил, но потом, особенно после глотка шампанского, или если красивый закат там, или если мальчик был очень уж мне мил, меня прорывало, и я начинала делиться, какое изысканнейшее действо — опера. Вот представьте, говорила я молодому человеку, героя убивают, так? Мальчик послушно кивал: так. Уже выстрелили в него из старинного ружья — Ба-бах! — так? Мальчик опять опасно кивал. А он, этот герой убиенный, стоит и поет, и поет, и поет отчаянно... Ну потом уже, конечно, падает. Но слушатель переполняется наслаждением. И от красоты музыки, и от силы голоса нежного, и от звука дивного совершенного последнего затихающего — а-а-а-а-а...

Мальчики обычно после такого представления быстро давали деру, один за другим... И даже моя миловидность не помогала.... Так что, может, моя подруга Светка была частично права, что я чокнулась на почве любви к опере.

Но однажды на бабочку поймался мальчик Саша Бирадзе, рыжий и очень застенчивый... И после вопроса «что-вы-делаете-сегодня-вечером?» Саша вдруг робко спросил:

— А любите ли вы оперу?

— Я согласна! — немедленно выкрикнула я, чем очень смутила Сашу.

Он осторожно добавил:

— Я сам вообще-то оперу — не очень, но вот моя мама... Она...

Сашкина мама, как оказалось, пела в том самом самодеятельном, но знаменитом народном оперном театре во Дворце культуры текстильщиков. Давали премьеру «Мазель» Чайковского. Сашкина мама должна была петь партию мамы. То есть партию матери пела Сашина мать... Ой, то есть... Ну словом, вы меня поняли — Сашина мама по имени Любовь Бирадзе пела партию Любви Кочубей, супруги Кочубея.

Кто там в чем был виноват, кто кого там завоевывал с политической точки зрения, — это вы меня не спрашивайте. Мне всех было жалко — потому что все они были просто люди со своими любовями, бедами, слезами, слабостями... Передались как дураки какие-то, натворили бед по недомыслию и наподставляли друг друга как только могли. И непонятно ради чего...

Нет, понятно — эти мужские амбиции, кто главнее, кто важнее... А там сверху всех Петр Первый был, тоже не сахар человек. Конечно, новатор и все такое, но нагородил!.. Ой, оставьте — политика... Какая политика?! Просто все они, эти мужчины, все без исключения, хотели сами ходить по красным дорожкам навстречу послам иностранных держав, махать приветственно рукой с коня, гово-

речь «мой народ, моя нация», а не стоять в сторонке за чьим-то могущественным плечом, скинув униженно шапку долой. А Мазепа ведь к тому же у Кочубея дочку отобрал...

И там вообще не разберешь — то любит ее без памяти, то вдруг куда-то ушел. Ну как все мужчины, словом. Сначала жить без тебя не может, а потом рыбалка, сауна, охота, друзья... А она сидит одна-одинешенька, в окно смотрит, ждет. Так и с Мазепой. А что, он же обычный мужик был. Ну гетман. А что, гетман не человек, что ли?... Словом, все как всегда со времен Трои — обвинили, конечно, во всем женщину. Они, эти мужчины, странные существа, почему-то уверены, что будут жить вечно, и совсем не думают, что вот-вот, уже и о душе надо поразмышлять. А тут будильник — дзын! — пришла пора... Вот вкратце, если вы поняли, примерно об этом опера.

К началу мы с Сашкой приехали прямо из университета, и я неосмотрительно сдала в гардероб свою сумку с учебниками и конспектами, где у меня еще лежал и носовой платок. Ну так случилось, потом я об этом очень пожалела, но было поздно. Мы выпили в буфете чаю с булочками и уселись в зале. Лукавая бабулька подшлыла к нам и радостно предложила молодому человеку взять девочке программку... Сашка взял.

Ой, ребята... Сначала было очень смешно... Как эти вот, вправду сказать, воспитательные певцы, все, ну все, с фамилиями Ушаков, Сынжерян, Капустина, Розенбойм, Штурм, Тененбаум, Бирадзе, указанные в программке, как они в вышитых сорочках сурово заголосили:

*Москаль проклятый, двинься только,
Мы на горох смолотим вас...*

Тененбаум и Бирадзе: «Москаль проклятый...» А? Как вам вообще? А? Н-да... Текст еще тот, спасибо Александру Сергеевичу.

Там, как оказалось, еще пели мои знакомые мальчики из музучилища. Они пели партии сердюков. Это у них там было что-то навроде охраны или ОМОНа. Но назывались — сердюки. В красных шароварах, с саблями и в таких шапках с красными хвостами — не знаю, как они называются.

Эти мальчики — Гриша Постельник, Илья Шапочник и Саша Потируха — три друга-скрипача... Я с ними познакомилась прошлой весной, когда наш факультет и струнный отдел музучилища бегали кросс в парке Шиллера.... Эти трое такие стояли худенькие, жалкие, с тощими бледными жидкими ножками в своих спортивных трусищах бесформенных, и жалобно справлялись у тренера, куда надо бежать, как быстро и зачем...

И на вопрос, как будут ставить зачет, на время или кто первый прибежит — тому поставят, тренер Лебедев, сам довольно неспортивный какой-то, кстати, как застоялый конь, со скрипящими и стреляющими коленями, оглядел горе-спринтеров и ответил язвительно:

— Кто дойдет, тому зачет.

И махнул флажком.

И мы пошли. Доходить. С нами двинулась еще парочка доходяг с нашего иньяза и две пышные виолончелистки. Мы долго доходили этот кросс, потому что трасса была длинная, парк — красивый, заросший и тенистый, на улице стоял май, а мы знакомилась, болтали обо всем, шли не спеша и пели «Аллилуйю» Моцарта и колыбельную из «Порги и Бесс» Гершвина. И пришли, когда наши преподаватели уже хотели вызывать милицию с собаками, чтобы нас искать. Зачет нам не поставили.

Так вот, эти трое моих друзей по несчастью в парке Шиллера грозно рывали со сцены Дворца культуры текстильщиков:

*Клянемся мы казацкой нашей честью,
клянемся мы казацкой нашей саблей...*

И очень хорошо пели. Клянусь казацкой своей честью — они все очень хорошо пели. Они пели так, что я даже забыла про их неспортивные коленочки, как у кузнечиков, и узкие плечи...

И вот еще... Знаете, я им вдруг, неожиданно даже для самой себя, поверила... Буквально сразу во все поверила... С самого первого звука. Конечно, не было богатых декораций, а всего лишь какие-то робкие символические намеки. Не было огромного хора и живых коней, как в больших театрах, не было богатых костюмов, не было оркестра, а всего лишь два рояля. Но те два пианиста играли искусно, внимательно и очень чутко. А главное — певицы, приглашенные из оперы. Они так пели, что мы все, кто их слушал, напрочь забыли, что это фармацевты, учителя, врачи, ученые, студенты...

На роль самого Мазепы пригласили заслуженного артиста Украины Семена Шкургана. Кто не слышал о Шкурганах, отце и сыне, это ваша беда — рыдайте в рукав, ничем не могу помочь, поскольку оба они сейчас в Варшаве. Сын поет главные партии и гастрольюет по всему миру, а отец, тот самый Семен Шкурган, который почитал за честь петь в оперном самодеятельном театре Дворца культуры текстильщиков, преподает в Варшавской музыкальной академии. К слову, — так меня это смущает — держава наша могучая почему-то не может обеспечить достойную жизнь для великих оперных, балетных, пианистов, скрипачей... Поэтому символ, по которому узнают страну, как, например, Кабалье в Испании или Каррерас в Италии, это не Шкурганы, отец и сын, а сомнительная певица в блестящем халате со звездой на голове, с маленьким скригучим мальчишеским голосом, непристойным юморком, сопровождаемая повсюду сельской мамой-старушкой откуда-то с Сумщины, старушки конфузливой и в пальто в любое время года.

Ох, как же мне повезло в тот раз! Как повезло!

Недаром говорят: музыка — льется... Когда вышел Семен Шкурган, упование и награда нашего великого старинного города Черновцы, Семен Шкурган, когда он стремительно и величественно вышел, наполненный звуком, то баритоном своим густым чарующим просто залил, затопил весь зал. Мелко трепетали подвески на старинной люстре, дрожал и плыл воздух, сотрясались стекла в окнах. Вот куда надо было учителю моему, Владимиру Ивановичу, и жене его, красавице Веронике, принести пару десятков хрустальных изделий из своего серванта для полного эффекта. С каким ослепительным звоном они бы полопались в мелкие брызги от восторга и упоения!

Ой, бесполезно... Разве можно описать, как он пел... Разве можно... Как он пел!!!

— Тиха украинская ночь, — пел Мазепа, утомленный, пожилой и нестерпимо прекрасный, —

*прозрачно небо, звезды блещут
Своей дремоты превозмочь
не хочет воздух. Чуть трепещут
сребристых тополей листы.*

А потом, ребята, наступило «ваще». Как сказала одна прелестная девушка, изящная, утонченная, очень красивая, разглядывая восхитительную акварель в вы-

ставочном зале. Она взглянула на меня огромными глубокими очами, полными слез, слотнула взволнованно, прижала руки к груди, помогала головой, сжав плотно губы, и вдруг выдохнула: «Ну капец вааше, да?»

Так вот, это был реальный капец вааше... Вааше. Подлинный вааше.

Сашкина мама, та самая Люба Бирадзе-Кочубей пела дуэтом со своей дочкой Марией. И я поняла, почему все профессиональные оперные из нашей филармонии, из Киевского и Львовского оперных театров с удовольствием приезжают петь в черновицкий Дворец текстильщиков:

Спаси отца!

Бежим!

Скорей!

Ой, вот тут я уже совсем не выдержала — и безутешно расплакалась... просто навзрыд... А платка у меня не оказалось совсем. А был только случайный троллейбусный талон в кармане юбки. И этим талоном, обливаясь слезами, я вытирала нос и потекшую тушь на ресницах... И дедушка какой-то, рядом сидевший, впоследствии оказавшийся Сашкиным дедушкой, свекром Любове Кочубей-Бирадзе, протянул мне клетчатый платок и разрыдался со мной... И мы с ним дружно ревели в противоположные углы платка, не стесняясь... Это невозможно было выдержать.

После долгих аплодисментов Сашка привел меня к своей маме в гримерную. Любовь Бирадзе еще в костюме, в своей вышитой сорочке сидела, подпире в ладонями лицо, уставившись на себя в зеркало, и тихо плакала. И я опять разревелась от всей души. И Любовь вскочила нам навстречу и растрогано меня обняла. Я обняла ее тоже, и за ее плечом, вдруг подняв голову, случайно увидела, как дедушка Бирадзе, с которым мы делили в зрительном зале один носовой платок, одобрительно и ликующе показывал Сашке поднятые вверх большие пальцы, мол, внучок, вечер — люкс, опера — люкс, твоя мама — люкс, твоя девочка — люкс, жизнь — люкс!

К слову, все время, пока шла опера, Сашка ерзал и скучал. Краем глаза я видела, как он сползал с кресла, укладывая голову на спинку, разглядывал люстру, как он вертел головой, рассматривая других зрителей, как он отчаянно зевал и боролся с дремотой... Словом, прямо там я поняла, что, несмотря на его прекрасную гениальную маму Любовь Бирадзе и моего сотоварища по носовому платку дедушку Бирадзе, нам с Сашкой совсем не по пути. И когда он вызвался меня проводить, я ему так и сказала:

— Александр! Нам совсем не по пути. Не по пути... — и тут же добавила: — А можно я приду к вам... как-нибудь... в гости? Ну то есть не к тебе, — тут же спохватилась я, — а к твоей маме... И к твоему дедушке...

— Нельзя! — гордо и обиженно ответил Сашка и добавил: — Раз так!

Ну вот... Пару раз я заходила в университетскую библиотеку, где работала Любовь Бирадзе, чтобы завести с ней разговор об опере. Но она там всегда была занята, делала вид, что меня совсем не узнала, и потом, она ведь не пела в библиотеке, как знакомая моя женщина-провизор, а наоборот, говорила строгим бесцветным голосом. И трудно было поверить, что она тогда в Доме культуры текстильщиков, блистательная и страстная, могла вызвать такое неподдельное волнение всего зала, ну, конечно, кроме своего дитятки Сашки:

Где ты, мое дитятко,

дитятко любимое?

Ты зачем покинула

*гнездышко родимое?
В когти злому коршуну
волей отдалася ты,
мать, отца одних оставила,
горем и бесчестием
обездолила ты навек их!*

Вот и все... Дом культуры текстильщиков потом закрыли, и там обосновался Дом политпросвещения. Текстильщикам, наверное, опера была не нужна... А политически грамотными обязаны были быть все... В то время.

Я уехала... Потом вообще все изменилось... Слышала, что Бирадзе, вся семья, во главе с дедушкой уехали сначала в Израиль, потом в Канаду.

Лица их почти совсем стерлись из моей памяти, но я хорошо помню ее, Любви, голос, ее восхитительное меццо-сопрано. И если бы вдруг когда-нибудь судьба опять свела нас, я непременно узнала бы ее по голосу, конечно, только в том случае, если бы она пела.

Потому что сколько я потом смотрела и слушала оперу в исполнении лучших оперных мира — в белых шарфах и смокингах, в бархатных нарядах и роскошных кринолинах, с участием гигантских симфонических оркестров, — такой искренности и чистоты звука я не слышала никогда. И никогда больше так открыто, неподдельно и абсолютно не контролируя себя и свои эмоции, не сопереживала.

А бабочка? Та самая? Она куда-то делась... То ли я ее потеряла... То ли кто-то ее тихонько стянул с моего рукава где-то в троллейбусе или автобусе... А может, она сама улетела... Все-таки потом началась осень.



Валерий Черешня

ВИД ИЗ СЕБЯ

Полтора десятка лет тому у автора выходила книга под таким же названием. С тех пор появились новые записи в том же жанре. Ниже читателю предлагается избранная композиция из новых и изменённых и отредактированных старых записей. Единственное, что их объединяет с давно вышедшей книгой, — это всё тот же вид из себя.

*

Почему некоторые воспоминания обладают такой неотвязностью? Чаще всего в эти минуты ничего не происходило. И душевное состояние было обычным, разве только особая ясность, словно навели на резкость. Вот я иду через поле, заросшее верблюжьей колочкой, репейником и другими не менее цепкими травами, к озеру Севан, позади кособокое здание трехэтажной гостиницы, откуда я вышел, и ни озеро, ни гостиница несущественны, а существенно то, что я оказался здесь, в середине поля, где так медленно вечереет, и где я не испытываю ничего особенного, кроме, быть может, ясного осознания этого «ничего особенного», да ещё широкого охвата и гостиницы позади, и озера впереди, и неба над головой, и красноватой жесткой земли под ногами.

*

Все мы состоим из нелепых претензий и комплексов. Но у некоторых они почему-то расположены в симпатичном порядке, трогательном, что ли?

*

Хороший читатель любит искусство за то душевное усилие, которое пришлось затратить, чтобы его полюбить. Поэтому так редок хороший читатель. Может, тут некий закон равенства затраты энергий. Чем больше душевной энергии затрачивает автор, чем глубже он проводит вещь через себя, тем больше энергии нужно затратить читателю, чтобы её полюбить. И тем, возможно, она прекраснее...

*

Объектом поэзии и её целью является не вещь и не состояние, а «вещь-состояние». Не одно через другое, а именно «вещь-состояние», как, очевидно, у японцев и китайцев. Кстати, для создания вещной поэзии есть приемы, для создания поэзии переживаний — тоже, но для того, чтобы получилась «вещь-состояние», нужно творческое погружение в пустоту, откуда выходишь с безошибочным языком.

*

Бытие определяет сознание тех, у кого нет сознания.

*

Однажды решил подслушать две соседние мысли в момент, когда, вроде бы, думал. К моему изумлению оказалось, что между ними нет ничего общего. То есть память работает писателем, каким-то Львом Толстым, который убеждает нас, что мы встали утром, совершили ряд осмысленных последовательных действий (ну, или нервных, непоследовательных, объяснимых нашими обстоятельствами и характером), а потом устали и легли спать. А на самом деле, мы движемся от момента к моменту, освещая тьму бытия отдельными вспышками сознания, между которыми мало общего, и только потом, прокручивая эти отдельные кадры, мы создаем иллюзию движущейся связной картины. Кино жизни.

*

Бог не знает эпитетов. Вещь существует, и довольно. Эпитеты — это наша неспособность принять вещи в полноте их существования. Что касается фразы из «Бытия»: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма», — это, скорее всего, перевод с божественного на человеческий.

*

Поэт не «вне» и не «в»... Он занимает место, которого не существует, и это является таким же чудом, как совпадение смысла и звука, которого вообще-то, быть не должно...

*

Язык Платонова — это язык, которым могла бы говорить природа, тело, он снимает вечный дуализм, который неизбежно присутствует в мышлении. А поскольку язык всё-таки должен содержать смысл, у Платонова в каждой фразе присутствуют противоположности, уравновешивающие себя и как бы уничтожающие друг друга. Оптимизм фразы погашается грустной интонацией и в итоге действительно проступает «тело бытия» вне добра, зла, веселья, грусти и т. д.

*

Сегодня увидел на улице, как рассмеялся кретин, почти дебил (он кого-то увидел), как озарилось его лицо, и понял, что в этих точечных вспышках эмоций мы все равны. Мы не равны в «контексте»: в умении вести себя, в предугадывании реакций других людей, в понимании чего-либо. Но ведь это уже не жизнь, это мир, выстроенный разумом и реальный только для него.

*

Ещё о Платонове. Ему удаётся совлечь смысл с языка, обнажить его скелет, конструкцию, а поскольку в ней, в самой конструкции языка, заключён духовный опыт говорящих на нём, мы, читая Платонова, получаем ощущение непосредственного соприкосновения с истиной.

*

Кафка хочет избавиться от метафор. Метафора — это очеловечивание природы. Он же хочет протокольного описания бытия без привнесения чувств. Как описал бы Бог. Задача невыполнимая, но само намерение — гигантское. При таком описании возникает очень концентрированное чувство — картина какого-то вселенского страдания.

*

Вознесенский бросает слово, как плоский камешек, который должен сделать как можно больше подскоков в море сознания и, булькнув, утонуть. Что и происходит.

*

Люди не любят получать действительно новые впечатления или узнавать новое, они стремятся разнообразить уже знакомое, усвоенное. Действительно, отчего так любят привычный язык искусства или с удовольствием ходят на встречи со своими идейными кумирами. Что, они не знают, что эти кумиры скажут? Знают даже как скажут, и в этом-то находят удовольствие. Настоящая новизна ослепляет, лишает всего привычного, исчезает «я», — в общем, происходит то, что человек не любит, но в чём самые пронизательные видят единственный смысл.

*

История России: то живёт при монголах, то сама ими становится. Неудивительно, что все её боятся.

*

Дурит ум. Как это понимаешь, когда читаешь Розанова. Ум дурит, когда ему скучно.

*

Что такое повальный интерес к «пришельцам» и экстрасенсам? Это жажда целостного миросозерцания, «последней причины». Пришелец, этот нелепый кентавр Бога и науки, как ни странно, вполне утоляет эту жажду для поверхностного сознания.

*

Великий писатель всегда Великий провокатор. Он провоцирует на жизнь.

*

Бывают эпохи, когда восприятие искусства настолько огрубляется и утомляется, что в рамках традиционных выразительных средств ни у кого нет охоты отделять подлинное от подделки. Все жаждут только новизны, прежде всего формальной. Это время массового нашествия безумцев и симулирующих безумие. В конце

концов, от этого тоже устают, и всё возвращается к устоявшимся формам с бродильным элементом нескольких безумцев, оказавшихся необходимыми гениями.

*

Самый показательный эксперимент, что бы ты стал делать, если бы знал, что через пару часов умрёшь. В юности я бы сел записывать что-то, кажущееся прекрасным, позже — напился бы с друзьями, а сейчас, скорее всего, принялся бы за уборку. По-моему это лучшее, что можно сделать — убрать за собой.

*

Самый большой вред приносят народу те, кто говорит, что любит его и, может, действительно любит.

*

Демократия — это диктатура способных, в том числе (и чаще всего) способных на мерзости. Это, может быть, более справедливая (если справедливым считать природный порядок, то есть, что волк ест зайца, а не наоборот), но ничуть не более нравственная, чем любая другая система. Но от общественного порядка глупо требовать нравственности, нравственность — дело личности.

*

Рембрандтовские старики — оправдание нашей жизни. Если можно обрести такой взгляд и такое лицо — жизнь небезнадёжна, в ней есть какой-то смысл, пусть невыразимый.

*

Болезнь. Серьезная болезнь — это нарастающее отторжение от мира природы, когда лишаясь постепенно движения, еды, лёгкости, ты понимаешь, как был связан с природой и как теперь отвержен, — это перед тем, как полностью стать ею, лишившись воли и разума, — единственных, оказывается, что тебя разъединили с ней.

*

Мне кажется, что художники истово и ежедневно работающие в искусстве, делают это потому, что хотят полностью погрузиться в эту форму, этот язык и забыть об его искусственности и ненатуральности. Внутри любого состояния, языка — можно жить, чудовищны — переходы. Поэтому художники стараются погрузиться с головой, устать до изнеможения, чтобы не ощущать этих переходов, этого дикого несоответствия.

*

Лирика — стыдно, остальное — не нужно, — вот и приходишь к пустоте.

*

Глубина человека зависит от знания, вернее, ощущения того, как мало он знает и как велико всё остальное, за гранью его понимания и возможностей.

*

Основного «своего» качества художник не знает, он как бы натывается на него и узнаёт, как нечто родное, в процессе работы с формой. А потом это качество застывает в то, что мы называем Тютчев или Рильке.

*

При чтении Пастернака, возникает обманчивое ощущение, что гениальность — это заурядное явление.

*

Фраза с ужимкой. Родоначальник, несомненно, Гоголь, у которого этой ужимкой лепится ещё один герой — рассказчик, всякий раз другой, в зависимости от общей интонации и темы. Но только у Достоевского фраза с ужимкой приобретает навязчивый характер монолога одного и того же рассказчика, меняющего разве что темп, но не саму ужимку. И, наконец, у современных прозаиков осталась одна ужимка, пустой тик без лица, танец вводных слов и междометий.

*

Когда читаешь Кафку, поражаешься его бдительности. По сравнению с ним даже талантливые писатели кажутся расслабленными, спящими. Всё время впереди того, за что хватается, как за очевидное, пошлый ум даже умных людей, и при этом постоянно имея в виду свою вину и возможность (даже неизбежность) ошибки.

*

Несчастье — освобождение для тех, кто дорос до него.

*

Самая гремучая смесь в человеке — глупость с претензиями.

*

Поразительно чувство меры у Толстого, чувство ритма. Вот описание смерти Пети Ростова: Денисов, склонившись над трупом, вспоминает его фразу об изюме и «с лающим звуком отходит в сторону». Можно было бы закончить главку или найти ещё какие-то пронзительные детали. Но Толстой добавляет только: «В числе отбитых пленных был Пьер Безухий», и эта почти статистическая информация почему-то поразительно усиливает эффект предыдущего описания.

*

Кто не оказывался в роли дурака, упрекающего женщину в том, что она его не любит.

*

Тот, кто не прочтёт в этих двух строчках Мандельштама — Я к воробьям пойду и к репортерам, Я к уличным фотографам пойду... — романа о шемящем одиночестве и в то же время счастливом равенстве со всем живущим, — тот не читатель поэзии. Впрочем, и не читатель прозы. Потому что на своих вершинах проза достигает такой же ёмкости в передаче внятной невнятицы жизни.

*

То, что мы думаем о себе, имеет отношение к реальности не больше, чем то, что думают о нас другие.

*

Художник влюбляет нас в то, что любит сам. Не зная физики и математики, невозможно оценить красоту, скажем, опыта Майкельсона, но совершенно не зная светских отношений или псовой охоты, но внимательно читая Пруста или Толстого мы, любовью художника, непосредственно окунаемся в самую суть дела. Знания нам уже не нужны. Можно сказать, что эстетическая чуткость даёт возможность мгновенного познания.

*

Я читал книгу. В это время какая-то мошка села на страницу и стала бегать по буквам, иногда перелетая с одного края листа на другой и вновь бессмысленно кружа по строчкам. У меня сжалось сердце. Может, и я так же деловито пробегая по неизвестному мне тексту, не догадываясь о его смысле, да что там смысле! — о его существовании... Вот где «страх Божий»!

*

Не должен человек говорить: я в своей жизни ничего хорошего не видел. Не может прямая кишка сказать: я ничего, кроме дерьма, не видела. Это её жизнь.

*

Обычно предполагается, что существуют некие законы, истины скрытые от человека, пока не рождается ум, способный их открыть. Таков, якобы, механизм познания. Мне кажется, всё наоборот. Рождается таким образом устроенная душа, что только она может увидеть мир так, как она видит и убедить в этом видении других, и тогда её видение становится объективным фактом, если душа не ошиблась насчёт своего. В этом её свобода воли: ошибиться или не ошибиться. Критерий опыта ни о чем не говорит, поскольку опыт тоже плод человеческой души, придумавшей, помыслившей его.

*

Тема любви варьируется в тысячах романов. В них «он» встречает «её» и после положенного набора препятствий все кончается хорошо или плохо. Но появляется набоковская «Лолита» и выясняется, что любовь изначально обречена, что

у неё нет исхода, поскольку это чувство бесконечно больше своего воплощения, но и не может без него обойтись. И дано это гениальной метафорой любви мужчины к девочке, любви как бы извращённой, но истинной, и мы видим это в сцене, где Г.Г. упрощает некрасивую и беременную Лолиту, совсем не нимфетку, стать его женой. Любовь переросла извращение.

*

Этика просачивается в эстетику не прямо, но неизбежно, может быть через плоть художника, которая тоже одно из его «духовных состояний». Связь столь же сложная и неотвратимая, как между преступлением и наказанием.

*

Начиная с какого-то уровня, проблемы мастерства в искусстве нет. Есть проблема свободы, т.е. внутреннего соответствия. Чему? Чему угодно. В этом и есть свобода: в готовности к чему угодно, во внутренней пружинистости, как у кошки — готовность из любого положения встать на все четыре лапы.

*

Кредит — это удовольствие сейчас, а расплата — потом. Если он так популярен, значит, большинство людей лишено воображения.

*

Вдохновенное лицо алкоголика.

*

Стоит на Лиговке девица в белой юбке, уже не раз побывавшей на земле. Щеки багровые. Рядом спутник. У них бурное объяснение. Движения у обоих осторожные и замедленные, как всегда у пьяных. И вдруг она произносит распевно: «Не хуй меня на хуй посылать!». Какая поэзия! Дивная звукопись и совершенная непереводаемость (даже на русский).

*

То, что я не сделал в жизни, оказалось намного плодотворней, чем то, что я, к сожалению, делал. Лао-цзы, между прочим, предупреждал...

*

Друскин пишет, что Введенский считал: не следует говорить стихи хорошие или плохие, стихи бывают только правильные и неправильные. Очень характерное высказывание для обэриутов, которых общее мнение нарекло абсурдистами, но которые на самом деле — сверхрационалисты. Конечно, сверхрационализм, пристальный рационализм, с его многократным микроскопным увеличением выглядит абсурдом (так неузнаваем под микроскопом кусочек кожи с вулканами-порами и деревьями-волосками), но несёт все пороки своего источника: веру в объяснимость мира, имитацию чувства и плоскость только известного, понятного.

*

Достоевский додумал до конца проблему бесов, как отпавших ангелов. Отпавших от чего? От собственной глубины и предназначения. Ужас не в том, что «бесы-революционеры» покушаются на сложившийся социальный порядок (изъяны которого всем очевидны), а в покушении на глубину замысла Бога о человеке; они оплощуют мир и человека, разъясняя его разумно и ставя ему плоские (бесовские) цели. Ужас в том, что их сознание не соответствует тому, как они задуманы, они не знают себя. Соблазненное сознание, соблазненное видимой простотой объяснения и переустройства жизни. Их сознание пародирует Божий замысел, отсюда карнавал пародий в «Бесах», заканчивающийся вакханалией финальной пародии, губернским праздником, пародией ни больше, ни меньше как на Апокалипсис.

*

Вполне слиться с собственным наслаждением можно только если ты животное (или чистый дух?).

*

Наши навыки ненужно переживают всякую возможность своего применения. В психиатрической клинике, где я навещал знакомого, я увидел старика, застывшего на диване в неудобной позе и время от времени безнадежно пытавшегося одеть тапочки. С трудом я узнал в нём замечательного артиста, в молодости поразившего меня в шекспировском «Генрихе IV». Рядом присела санитарка: «Ну что, Миша, писать-какать хочешь?» И внезапно раздался баритон, прекрасно поставленный сценический голос, голос воина из «Генриха IV»: «Пока — нет!»

*

В удачных хокку на пространстве трёх строчек выявляется суть поэзии: ослепительно точный прыжок от наблюдения, картинки — в солнечное сплетение чувства, вызванного картиной, но ассоциативно связанного со всем остальным, болящим, вибрирующим в тебе. То, что эта форма изначально настроена на этот прыжок — её ущербность, нельзя привывать к гениальному, каждый пишущий хокку уже стоит наизготовку перед таким прыжком, в то время, как в другой форме нужно долго петлять, чтобы прийти к тому же результату (вся риторика у Шекспира).

*

В чём чудо позднего Мандельштама? В том, что он сумел так искривить речь, что она стала точным слепком пейзажа или состояния в момент их восприятия-осознания. Он нашел те звоночки в нас, которые откликаются, когда мы в полном сознании и душевной открытости воспринимаем что-то, когда оно льётся в нас и через нас. И он легко пробегает по ним палочками слов, извлекая единственную мелодию, такую узнаваемую: И всё уютится, плотится без морщин Равнины дышащее чудо. Слова, вроде бы, единственно возможные, но не самодавлеющие, как у Бунина или Г. Иванова (или даже у раннего Мандельштама), а спешащие уступить себя другим, безошибочно указывающие на те области в нас, которые захвачены созерцанием такого пейзажа. Вот так мы дышим, когда смотрим на заснежен-

ную равнину и никаких других слов выговорить не можем. Вот так мы слышим голос вещи, говорящей себя: Длинной жажды должник виноватый, Мудрый сводник воды и вина...

*

Живущий с нами видит нас такими, какие мы есть. Этого не может вынести ни смотрящий, ни тот, на кого смотрят. Это может вынести только любовь и сострадание, но время одолевает и их.

*

В своей ранней статье “Утро акмеизма” Мандельштам пишет: “...реальность в поэзии — слово как таковое”. И тут же поясняет, что слово несводимо к своему смыслу, оно гораздо шире, а смысл, Логос, один из его элементов, требующий равноправия с другими. Так как, все-таки, мыслит поэт? Он мыслит предощущением слова. Пространство его мысли — это стянутая поверхность силовых линий с узлами-углублениями, в которые скатятся, наверняка попадут необходимые слова. Потому что верная эмоция уже подготовила ему (слову) его лузу, пока еще пустую, но единственную и совершенно по размеру. Ошибки быть не может, если есть умение удерживать эмоцию и чувство слова, его состава и веса. И, конечно, смелость согласиться с его непривычностью и “неумностью”, которая на поверку окажется истинней всего, что может породить привычная логика. Конечно, поверхность эта всегда индивидуальна; и силовые линии, и лузы образуют всякий раз неповторимый рисунок, иначе не было бы столь разных поэтов, но гармония разрешения этой задачи, звук слова, скатывающегося в свою ложбинку-лузу, безошибочно открывают нам, имеем ли мы дело с поэзией или (часто безупречной по форме) имитацией. И напоследок, еще одна цитата из той же статьи О.М.: “Существовать — высшее самолюбие художника”. Вряд ли когда сильнее ощущает художник свое существование, чем в моменты заполнения этих пустот, ждущих своего часа, единственными, для них предназначенными словами.

*

Пастернак не встретил с восторгом разоблачение Сталина, поскольку трагедийность сталинских времен была ему ближе свиных рож разоблачителей. Энтузиазм и духовный подъем могут существовать рядом с трагедией, но не рядом с фарсом. Ирония судьбы в том, что трагедия настигла Пастернака в фарсовое, сравнительно безопасное время, и его донкихотская готовность к подвигу неизбежно метила мимо ровного жужжания ветряных мельниц михалковско-фединских выстулений.

*

Думаю, лучшим, вершинным ощущением слова в русской прозе обладал Бунин. Все, кто хотел (и смог) пойти дальше, оказывались либо в вязкой трясиине изобретённого языка, удачного во фрагментах и коротких рассказах (Платонов), либо повисали в сияющей безвоздушности, как Набоков.

*

Она была настолько наивна, что и в зрелом возрасте оргазм путала со счастьем.

*

Унижение такое, что остаётся либо подохнуть, либо признать, что ты его заслужил.

*

Что может быть несправедливей нелюбви? Только любовь.

*

Умирание бывает столь длительным, что смерть успевает убедить человека в своём преимуществе. И он начинает желать её.

*

У Заболоцкого в стихах, как в палате мер и весов, точно рассчитаны веса слов и пауз: Был битвой дуб, и тополь — потрясением. Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел, Переплетались в воздухе осеннем. «Дуб», «тел» — короткие, но очень тяжёлые, весомые слова, вместе с паузой перевешивающие шелестящее (единое!) слово «стотысяч». И, наконец, длинное, как порыв ветра сквозь вязь стихотворения, «переплетались».

*

Если бы мне дознаться даже не ответа на вопрос «зачем?», а хотя бы имел ли смысл и ответ этот вопрос...

*

Тынянов: «...остроумцу не жаль вещей: ему важно ощутить себя в вещи, своё отношение ему дороже». Это сказано по поводу Шкловского, но повод не столь существен; глубоко подмечен эгоцентризм остроумия, невнимание к сути вещей, то, о чём говорится в поговорке «ради красного словца продаст мать и отца». Но интересно, что читателя это остроумие может направить вновь к сути вещей, если, конечно, он достаточно независим и чуток. Тынянов, правда, не рассматривает род глубокого остроумия (часто не смешного), которое не поступается сутью вещей, но зато и не действует мгновенно и наповал, для его восприятия нужен опыт и незаурядный ум.

*

Парадокс в том, что всё лучшее в творчестве делается с помощью откровения и всё худшее в жизни — с его же помощью. В реалиях жизни откровение, порой, превращается в тупую убеждённость и безответственное упоение, которыми, как топором, начинают крушить все вокруг. * * * Пушкинское аристократическое

презрение к выбору «зависеть от властей, зависеть от народа — не всё ли нам равно?» обусловлено ясным осознанием, что два рода унижения, которых не избежать живущему в обществе: вести себя «прилично», то бишь, не раздражая власть, за что тебе будет позволено пристойно существовать, либо стать успешным шутом, стараться понравиться публике, за что она даст возможность пристойного существования, — стоят друг друга. Конечно, во второй части дилеммы «зависеть от народа» Пушкин имел в виду устоявшуюся демократию западного типа; что касается России, у него сомнений в выборе не было, во-первых, потому что «правительство у нас, всё-таки, единственный европеец», а во-вторых, никаких иллюзий насчет азиатчины народных симпатий после изучения пугачёвщины у него не было. Ещё и потому его выбор склонялся в пользу «власти-европейца», что при ней сохраняются сферы жизни, куда приличия не позволяют вторгаться (отсюда его гневная реакция на перлюстрацию переписки — власть показала, что и она не «европеец», что частная жизнь тоже входит в сферу ее любопытства).

*

Секс, отягощенный отношениями.

*

Женский вариант Дон-Жуана: страстно любит, пока нет ответного чувства или есть серьёзные препятствия. Потом — равнодушие или отвращение, объясняемое себе незамеченными недостатками мужчины, которые, конечно же, были всегда, но были любимы, пока были препятствия.

*

Скорбная жизнь Шаламова заставила его отвергнуть прекраснодушную идею Достоевского, что страдание просветляет душу человека. Возможно, дело в мере этого страдания. Страдание заставляет душу метаться в поисках выхода, но куда метнётся эта загнанная мышка, когда индивидуальный предел ужаса превзойдён — к Богу, Дьяволу или в щель инстинкта самосохранения любой ценой — неизвестно. Особенно, когда мороз настолько выхолаживает всё человеческое, что Бог и дьявол, похоже, спрятались в теплушке. «Почто ты оставил меня (нас)?» — эхо того отчаянного вопля докатилось до прозы Шаламова.

*

Так никто и не разобрался в ветхозаветном «приятна ты мне!» Приятна запахом, движением, тембром голоса... Возникает какой-то неразложимый на телесное и духовное образ, то, о чём писал Пастернак: «Красавица, вся суть твоя, / Вся стать твоя мне по сердцу...» Вообще, в Ветхом Завете есть это отсутствие дуализма, разделения на чувственное — духовное, низкое — высокое. Как часто к глубочайшим духовным последствиям приводит простая (в том-то и дело: что значит простая?) телесная страсть. Вспомним продажу первородства голодным Исавом или благословение Исаака, которое он готов был дать Исаву, умевшему готовить вкусную еду. Похоже, Бог пользуется человеком как целым, не разделяя его свойства на высокие и низкие.

*

«Представляешь, а я не знала, что он живёт с отцом своей жены», — фраза, услышанная на улице, не лучший ли образец минимализма в прозе? Что ещё можно добавить к этой миниатюре? Только испортишь.

*

Бог дал человеку разум для того, чтобы он понял — среди прочего — когда им не следует пользоваться.

*

Патриотизм, аниглобализм, презрение к цивилизации (в западном понимании) — всё это подростковая ненависть к воспитателю, который не даёт вволю хулиганить, красть, обижать слабых. Политики-патриоты одержимы идеей мелких пакостников, которым не дают свободы проявить себя. Национальный суверенитет в их понимании и есть возможность пакостить, без боязни быть наказанными. Их победа будет означать победу худшего, помоев, вырвавшихся из души каждого человека и затопивших улицы.

*

Такая очевидная мысль, что ты умрешь и всё, что ты видишь и любишь, исчезнет, по крайней мере, в знакомой тебе форме; такая естественная и очевидная мысль требует столь долгого пути для свыкания с ней и приятия, что многим не хватает для этого всей жизни.

*

Ничего нет более явленного человеку, чем бытие. И ничего нет менее осмысленного. То же — со временем. Об этом всё многотомье Хайдеггера. Но, может, так и должно быть... Ничего нет важнее для человека, чем дыхание — и ничего менее управляемого, контролируемого, если ты не йог. Но удивиться этому нужно. Собственно, это удивление и есть единственно возможное осмысление бытия. В философской форме это удивление Сократа величине своего незнания или Хайдеггера, осознавшего эту проблему; в поэтической — это постоянное удивление существованием, которое звучит у любого большого поэта.

*

Сколько странных натяжек и невозможных совпадений, раздражающих скептически настроенного читателя «Доктора Живаго»... Не говорю уже о фигуре Евграфа. Он появляется в критические моменты, словно «бог из машины», и разрешает все неразрешимое, распутывает все запутанное мертвым узлом в жизни героя. Выглядит всё это крайне неправдоподобно, если не прочитывать заветную мысль Пастернака: настоящая жизнь Юрия Живаго происходит в Духе, более того, он из тех редких людей, чье восприятие одухотворяет природу и живущих рядом, наделяет их единственно нужным смыслом, а таким людям для разрешения их жизненных тягот посылается ангел-хранитель. Вот Евграф такой ангел-хранитель, да и все

совпадения и натяжки тоже в какой-то мере ангелы-хранители сюжета, его глубинного смысла, как во всяком житии, оправданном самим существованием героя и его пути, предначертанным высшим замыслом.

*

Мне прислали большую статью «Бродский, как учитель», полную восторженно прокомментированных выписок и цитат напористо-дидактического характера. Что по этому поводу можно сказать? Только одно: если бы Бродский встретил такого поэта, каким предстаёт в этой статье, он бы возненавидел его больше, чем Евтущенко. Но в себе ему приходилось его терпеть. Это только кажущийся парадокс: в близких мы ненавидим черты, которые слишком напоминают нам наши собственные слабости и грехи; бороться с ними в себе умеют только смиренные праведники.

*

Различие между иудейским и греческим восприятием бытия очень хорошо видно по мифу о происхождении розы. По иудейской версии роза выросла из крови Авеля, пролитой на месте первого убийства, по греческой версии — роза окрасилась в красный цвет, когда Афродита бежала сквозь терновник к смертельно раненому вопреку своему возлюбленному Адонису. Нравственный оттенок иудейского варианта, по которому красота служит вечным напоминанием об ужасе несправедности, грехе пролития невинной крови, и восторг перед жертвенностью, избыточностью бытия, в котором любовь сильнее богини любви и заставляет ее, забыв все, окрасить божественной кровью колючий кустарник. А всё же, где-то там, где нравственность превращается в живое переживание бытия, эти различия стираются, и ужас смерти, который породил оба мифа, осеняется, как надгробием, удивлением и преклонением перед избыточностью и непостижимостью жизни, порождающей такую красоту.

*

И вновь Платонов. «Вековая серая природа была покрыта по своему лицу камнями, мертвыми корнями, сором прохожих редких людей и прочей нечистотой, будто земля была здесь слепая и никогда не видела сама себя, чтобы устроиться. Батрак огляделся в пустынном свете воды, воздуха и земли. Он хотел прижиться где-нибудь, потому что желал существовать до истечения жизни». Вот это сиротство человека на земле, его ненужность ей и нечистота его пребывания (в чем она? в краткой временности, в мельтешении или в упорном желании существовать до истечения жизни?), так первобытно ощущались Платоновым (я говорю «первобытно», поскольку это взгляд даже не звериный, а геологический, словно заговорила тоска самих пластов земли), — и как странно это соединилось в нем с восторгом переустройства жизни (а может, этот восторг и был в пушкинском смысле «гибельным», — если что и остается этой нечистой мошке перед тем, как бесследно исчезнуть, то разве только сделать гибельную и обреченную попытку переустроить мир?). Томительная загадка существования человека, этой мгновенной вспышки среди великой неподвижности космического бытия, обременённого желаниями, непонятными ему самому, — никто лучше Платонова не выразил её, благодаря именно этому «геологическому» чувству и зрению.

Дальше, в этом же незаконченном рассказе («Лобская гора»), он пишет: «Может быть, наутро в хозяйку придет раздражение, возникнет злоба в ее большом теле — она ведь сама не знает, что в ней случится, и ни один человек не управляет собой, раз он довольно, без горя и страха живет...» И это существо собирается переустроить мир. И смех, и грех. Но что еще ему делать на этой земле, прекрасно обходившейся без него и обреченной существовать в будущем тоже без него, разве только с небольшими шрамами, нанесенными этим самым «переустройством»? Но не бóльшими, чем от ледников и астероидов, которые не обладают таким диким самомнением. Замечательный, всегда замечательный Платонов. Ему, как дар пророчества Кассандре, был дан дар истинного ощущения бытия и предназначения человека, и тяжек был ему этот дар тоже, как Кассандре. Её пророчествам не верили, его библейский трагизм пытались встроить в нелепую социальную схему (да он и сам пытался, как же, живой человек!). У нас был свой Экклезиаст.

*

По сути, у Бога просить нечего, кроме одного: чтобы Он сделал так, чтобы Его существование стало несомненным для тебя. Тогда всё можно принять, включая несправедливость и смерть, столь жгущие любого — принять всё неприемлемое, зная свою узость и ограниченность. Но если ты молишь об этом, ты уже веришь в Его существование, как в этой гениальной формуле: «помоги моему неверию»? Получается, что не верить вообще невозможно? Для разума это порочный круг, но ведь это разум просит несомненности, а не вера, которой эта несомненность дана изначально...

*

Есть поэты, которые намеренно настаивают на своей странности. Лучше бы они стремились к «нормальности», а странность, если она есть, никуда не денется, всё равно проявится. (Глубокий неординарный ум всегда пытается высказать себя «нормальным» языком, он и так потрясён своей странностью, ему хочется быть понятым. И наоборот, ординарный ум пытается сделать себя интересным, он ищет формальный прием, украшающий и заполняющий пустоту. Его успеху способствует время сиюминутности, с его жадной новизны, внушающей отвращение ко всему формально знакомому. Родство же с глубоким умом опознается вне времени, вне формальных приёмов, на каком-то инстинктивно интонационном уровне).

*

Что такое поэтическое бесстрашие? Мы часто разбрасываемся такими словами, подразумевая, прежде всего, готовность к формальному эксперименту, решимость остаться непонятым и не воспринятым ради необузданного произвола, который мы, порой, пугаем со свободой. Но настоящее поэтическое бесстрашие гораздо глубже, оно есть необходимость высказывания, подрывающего глубинные основы твоей веры и жизни, если этого требует развитие стихотворения, верность его звуку и смыслу. Это бесстрашие побуждает глубоко религиозного Тютчева воскликнуть: «Мужайся, сердце, до конца! И нет в творении — Творца! И смысла нет в мольбе!» Образец подобного бесстрашия — стихотворение Парнок: Жизнь моя! Ломоть мой пресный, бесчудесный подвиг мой!

Вот я — с телом бестелесным, с Музою глухонемой... Стоило ли столько зёрен огненных перемолоть, чтобы так убого-чёрен стал насущный мой ломоть? Господи! Какое счастье душу загубить свою, променять вино причастья на Кастальскую струю! Всё стихотворение — бесстрашный спор поэта-Иова с Господом. Уже в первой строфе словом «подвиг», сразу относящего нас к жизни святых, начинается ряд кощунственных противопоставлений, кощунственных для начётнического ума друзей Иова, но не для самого Иова, пронзённого болью. И так, жизнь — пресный ломоть, противопоставленная житию святого, его чудесный подвиг — бесчудесному подвигу автора. Но этот бесчудесный подвиг так же полон смысла, как и подвиг святого, его результат не описать иначе, как оксюморонами: «телом бестелесным», «Музою глухонемой» (точно так же, как в житиях святых часто говорится о «неописуемости», «невыразимости» происходящего).

На риторический вопрос второй строфы, где эпитетом «насущенный» окончательно устанавливается связь с молитвой, заповеданной Христом («хлеб наш насущный дай нам на сей день»), следует невероятно дерзкий ответ третьей строфы. Что есть «хлеб насущный» всякой жизни? «Вера», — отвечает Христос. «Нет, стихи!» — спорит Иов-Парнок. И ради них можно «душу загубить свою» (ещё одно возражение на риторический вопрос Христа: «что вам пользы, если весь мир приобретёте, а душу свою загубите?»). Для православной Софьи Парнок такие ответы непредставимы, но поэт Парнок, вслед за Иовом и Тютчевым, меняет «вино причастья» на «Кастальскую струю», верная жизни, которая прошла в обмолоте огненных зёрен поэзии, и оказывается спасённой богом поэзии, как один рыцарь, воспетый Пушкиным, был спасён Девой за верность и бесстрашие. * * * Кузмин показал, что пошлость и прекрасное не враждуют, а мирно уживаются. И переходы так легки и воздушны...

*

Когда судишь себя, учти, что имеешь дело с самым продажным судьёй на свете. А уж в поисках смягчающих обстоятельств с ним никто не сравнится.

*

Ключом к пониманию пушкинского замысла «Медного всадника» являются мечты Евгения: «Жениться? Мне? Зачем же нет? Уж кое-как себе устрою Приют смиренный и простой И в нём Парашу успокою. Пройдёт, быть может, год-другой — Местечко получу, Параше Препоручу семейство наше И воспитание ребят... И станем жить, и так до гроба Рука с рукой дойдём мы оба, И внуки нас похоронят...» Мещанская идиллия, вариант старосветских помещиков (только с внуками), всё то, чем согрета жизнь на земных путях и о чём... решительно нечего написать, кроме пунктира, данного этой строфой.

Что противостоит этой идиллии, этой уютной бессобытийности при жизни, плавно переходящей в настоящую смерть по законам земного бытия, а потому благостно и нестрашно? Стихия природная и государственная, сила прихоти, грозящая смертью и попутно обновляющая жизнь ценой неисчислимых жертв. Столкновение с этой стихией, с этой «силой вещей» не в силах вынести сознание, вымечтавшее свой уютный порядок жизни. Ответом на безумие стихии может быть только безумие человеческое, которое хоть как-то восстанавливает гармонию бытия после разрушения мечты. Буйство наводнения словно срывает печати с якобы разумного

мира, открывает простор для сшибки двух неравных безумий, неравных хотя бы потому, что одно из них освящено временем и привычкой, прикрыто пристойной маской необходимости. Гибель слабейшего в этой ситуации неизбежна.

Собственно, «Медный всадник», как и многое, что Пушкин пишет в это время, попытка художественного выражения мучившей его задачи: как можно жить и не сойти с ума? В «Езерском», который был начат, как роман, несомненно, на ту же тему, после всеми цитируемой строфы «Зачем крутится ветер в овраге...» с ответом «Затем, что ветру и орлу / И сердцу девы нет закона» (т.е. с перебором вариантов той же стихии) и концовкой: «Гордись: таков и ты, поэт, / И для тебя условий нет», (т.е. причислением поэта к стихийной силе) идёт строфа, описывающая поэта, как изначального безумца, счастливого своими мечтами и бредущего своим путем («Глупец кричит: куда? куда? / Дорога здесь. Ноты не слышишь...»). Опять речь идёт о сосуществовании двух безумий — стихийно-прихотливого и поэтического, сосуществовании возможном именно потому, что поэтическое безумие является природным, а потому вписывается в ряд стихийных. В это же время пишется «Не дай мне Бог сойти с ума», с его поразительным описанием счастливой гармонии безумия с природным бытием (та же стихийность) во второй и третьей строфе и совершенной запретности, недопустимости этой гармонии в человеческом общежитии — в четвертой и пятой. (Если уж искать, где соприкасаются основные темы Толстого и Достоевского, то вот, на протяжении второй и третьей строфы, приём вторая строфа, с её романтическим словарем «в пламенном бреду», «в чаду» больше отвечает тональности Достоевского, а третья, с «сиговыми» образами «роющий поля», «любящий леса», — Толстого; но Пушкин прорывается дальше и вот уже «Палата №6» предстает перед нами во всех своих реалиях в двух последних строфах).

И как итог — первая строфа, в которой решительный выбор сделан в пользу разума, как необходимой условности человеческой жизни, всего лишь пароля, которым аукаются среди разгулявшейся стихии. Создаётся впечатление, что зрелый Пушкин, которого мы считаем образцом гармонии и разумности, сам эту «разумность» мира воспринимал как хорошо замаскированное безумие, притворство, которое за чистую монету может принять только глупец. Мы зря противопоставляем мистическую устремленность Тютчева якобы здоровому чувственному приятию бытия Пушкиным — то, что под этим бытием «хаос шевелится», он знал и чувствовал не меньше своего младшего собрата.

*

Некоторых так пугает собственная конечность и неизбежное при этом ощущение тотальной бессмысленности, что мысль о конце света кажется почти утешительной.

*

Словесный танец язычника Платонова перед обожествляемой наукой. При том, что строй этого танца, его изначальный ритм взят из Ветхого Завета, из псалмов и пророков. Но, в отличие от их ужаса и смирения перед Всемогущим, у Платонова бунт и гимн устремлению, пусть даже гибельному, изменить косный порядок бытия. Вот это подключение ветхозаветной энергии слова к современной паровой машине и сделало Платонова столь убедительным. А ужас у Платонова тоже присутствует, и это ужас перед всем, что обессиливает человека, высасывает его творческую энергию, — от секса до пустого протекания времени в унылом скаредном обмене вещев.

*

Не верится в более-менее сносное устройство социального бытия в России. Лучшее устройство то, что оставляет больше щелей, куда могла бы заползти творческая личность. Если власть, при восторженном содействии или буйном противодействии толпы, последовательно замазывает эти щели — все лучшее будет раздавлено катком убогой понятийной необходимости или снесено взрывом праведного негодования (одно другого стоит и сменяет с неизбежностью смены караула у мавзолея).

*

То, что человек не сделал — это иногда лучшее из того, что он сделал.

*

Надо бы держаться подальше от всех идей и утверждений, которые выходят за рамки бытия отдельного человека, прежде всего, тебя, сколь бы опьянительны они не были. С похмельем ты достаточно знаком.

*

Россия похожа на эпилептика: живёт от судороги до судороги, во время падучей обильно пускает кровь и впадает в просветлённое восторженное состояние, а в промежутке застывает в опустошении. Как будто она подражает истории болезни своего великого писателя или великий писатель так слился с её существованием, что заразился её болезнью.

*

Человек единственное живое существо, которое умудряется калечить настоящее ради того, чтобы обезопасить будущее, которое мнится его воспалённому воображению или внушено печальным опытом.

*

Мысль помысленная и мысль почувствованная — что между ними общего? «Я умру», — вот мысль, обладающая всеми свойствами неопровержимости. Еще никому не удалось её опровергнуть, в течение жизни мы преспокойно натываемся на неё и не один раз, ну, может, с лёгкой меланхолией. Но стоит один раз почувствовать это «я умру» и оценишь бездну, разделившую мысль и чувство.

*

У смерти есть точный медицинский псевдоним — антибиотик. Убивая не в меру агрессивные и расплодившиеся бактерии, он спасает нашу жизнь. Чью жизнь от не в меру агрессивных и расплодившихся нас спасает наша смерть?

*

Язык эпохи. Особенно язык советской эпохи, который мы считаем улюблённым и навязанным пропагандистской армией недоучек и недоумков. Но этот язык вошел в плоть и кровь человека, им чувствовали и думали, его понятиями за-

кывались от ледящего сквозняка времени, с ним проживали свою жизнь. И вот является писатель, который показывает, что этим языком можно рассказать о жизни и чувствах человека вполне вневременных, не хуже Гомера, Гоголя, Достоевского. Вот это обнажение вневременности стремлений и страхов человека, рассказанное куцым языком эпохи, и порождает ошеломительное чувство погружения и одновременно освобождения из убогого тупика штампованного сознания, которое проживаешь, читая Платонова. Впрочем, язык советской эпохи менялся. В послеплатоновскую пору, памятную уже нам, из него выветрился напор и остатки искренности, он старился на глазах (как-никак век ему был отведен короткий, всего семь десятков), он превращался в невнятное бормотание старика, во что-то насекомо-кафкианское.

Вот блестящий образец из романа Маргариты Хемлин «Клоцвог»: «К тому же оказались задействованы различные предметы из мира знаний, в противоположность темным чувствам, которые взамен широкого горизонта предлагались моему сыну носителями вековых предрассудков». Таким языком думает и чувствует героиня, в судьбе которой не меньше трагического и вневременного, чем в судьбах тех, кто застрял в культурном сознании маячком «архетипа» — от Медеи до Карениной и Настасьи Филипповны. И Хемлин удаётся из этих полубесмысленных штампов, которыми склеротическое сознание поздней советской эпохи отгораживалось от живой жизни, воссоздать эту жизнь, и мы испытываем то же погружение во время с мгновенным освобождением от всего временного, как и в случае с Платоновым.

*

Глубокий ум без этической составляющей непредставим, без неё он впадает в пустопорожнее «блистание», отдающее хлестаковщиной. Но, с другой стороны, с нашим опытом невозможно не заметить, что ум неспособен просчитать общественные следствия выдвигаемых идей, какие бы благие намерения у него не были — люди нашли способ даже идеям Христа, порой, придавать людоедский оттенок. Значит, этический ум должен либо воздерживаться от суждений, либо тщательно взвешивать их так, чтобы ими не могли убивать. Но, опять же, ум не может предвидеть искажений любезных ему идей в будущем общественном сознании-безумии, так что, получается сказка про белого бычка...

*

В интонации, с которой произносится: «он (она) хороший человек», часто слышится подразумеваемое «но», которое намекает на знание границы, у которой эта «хорошесть» заканчивается.

*

Бродский сильно потянул одеяло поэзии в сторону риторики. У него это смотрится органично, тем более, что риторика его хорошо подкреплена поэтически, у неё, как у обожаемых им римлян, есть поступь и величие, но для прочих этот соблазн оказался губительным.

*

Мы погружены в сиюминутные события, словно читаем книгу бытия, плотную приблизив к глазам. Текст расплывается, мы видим даже не буквы, а пустые промежутки. И этим промежуткам придаём вселенское значение, сопровождая газетные новости библейскими причитаниями. А текст в книге бытия долдонит одно: всё существенное в нас сформировано культурой, и именно иудео-христианской культурой, как бы ни горько это было сознавать некоторым. Неоязычество, церковный антисемитизм — всё это ненависть детей к родителям; родителей можно ненавидеть, но вдруг с ужасом осознаёшь, что никуда не деться от сродства с ними. И начинаются судорожные поиски выхода. Но выхода нет — новый культурный генотип строится веками, а к старому, языческому путь закрыт, его живой смысл утерян безвозвратно. И если с ненавистью никак не справиться, остаётся только один путь — самоуничтожение. И антисемитизм этим всерьёз занят, даже не подозревая, что поиски освобождения от духовного засилья иудейства всего лишь изощрённый способ самоубийства.

*

Острое недоумение: как это случилось, что сейчас — сейчас? Взгляд на книжные полки (а можно, полки — так их много) — там они все живые, родные — и смеющийся дзэнский монах с мягкой кисточкой, смоченной тушью, и платонсократ, со своим великим непониманием, почему люди заботятся о всякой сомнительной чепухе, вроде устройства мироздания, а поинтересоваться собственным устройством забывают, и этот поэт, сказавший «где больше неба, там бродить готов», и еще другой, любивший жизнь, как женщину, и женщину, как жизнь, — от гребёнки до пят, да, и этого не забыть, который чувствовал бренность каждой минуты и нашёл для этого такие слова, и вот, все они мертвы, а ты жив, а потом будешь мёртв, как они, но сейчас почему-то сейчас — и это открытие выталкивает на улицу — нужно что-то делать, куда-то нестись, спасти это «сейчас» от неизбежной смерти, от ухода на полки и в полки ушедших и неизвестно где обретающихся...

*

Не верю красивым схемам, менделеевским таблицам в области жизни и духа. Но как объяснить странную закономерность, с которой чередуются поэты — певцы жизни и певцы смерти, ведь ни что иное, как господствующее в обществе умонастроение, опознаёт и выдвигает «главного поэта» эпохи. «Певца жизни» Державина сменяют сентименталисты и элегики, упоённые мыслью о смерти, Некрасовская гражданская поэзия возвращает к жизни в самых приземлённых проявлениях, символисты вновь уходят во мглу Танатоса, главным поэтом становится Блок, футуристы истерично, а Пастернак с нежностью окликают «сестру свою жизнь», от советских поэтов требовали прославления жизни, но всё лучшее в ней, начиная с обэриутов и Заболоцкого, пристально всматривалось в смерть. Неспроста качаются эти качели, чередование влюблённости в жизнь и в смерть прослеживается поверх всех социальных и прочих условий и требований.

*

Присмотрись к больному — его жизнь поневоле выстраивается вокруг болезни. Жизнь «здорового» выстраивается вокруг желаний и ценностей, то есть, вокруг болезни его ума и представлений.

*

Во вселенной Кафки один бог, и этот бог — Вина. Соответственно, грех в этой вселенной — надежда и сознание себя невинным. Все его персонажи в этом смысле греховны, их разум не сознаёт и не признаёт своей изначальной вины, но тело, но вся животная суть человека знает её, и знание это прорывается в жестах, выкриках, неожиданных реакциях. Тело и животная жизнь у Кафки совестливей разума. Борьба этого подкожного знания и разума изматывает человека, и потому он в итоге с усталой покорностью принимает любое наказание, которое соединяет его с творцом этого мира — Виной, не касаясь вопроса о справедливости, которой нет места в этой вселенной.

*

Офорты Рембрандта кажутся мне самым точным оттиском души, какой достигнут в изобразительном искусстве. Движение руки и есть движение души, когда художник весь — восприятие и внимание.

*

Самое честное и глубокое обращение к Богу в одной древневавилонской молитве: «бог, кого знаю-не знаю, прими моленья».



Виктория Жукова

УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ

Два рассказа

На болоте

Каждый вечер, в 17 часов зимой, а летом в 20, старика можно видеть сидящим на приступочке своего дома. Проезжающие мимо, кричат ему приветливо: «Здравствуй, Коля! Не помер еще?» Старик в ответ трясет головой и желто пегая борода несколько раз подпрыгивает, прежде чем опять улечься на грудь и обрести покой.

Летом и зимой он одет одинаково, тулуп и валенки. Летом тулуп распахнут и валенки одеты на босу ногу, это видно, когда он вытаскивает грязную, желтую ступню и почесывает ее о лежащий чурбачок. Палка, на которую опирается его голова — выдающаяся. Грубо вырезанная рукоятка переходит в изящно поднявшую голову змею, хвост которой, обвивая палку, спускается до земли, придавая дополнительную устойчивость. Еще в ней имеется секрет — желобок, в котором Коля хранит оставшиеся от деда золотые.

Детство у Коли было непростое. После того как мать умерла, и отец взял молодку с двумя маленькими детьми, хозяйство быстро начало подниматься. Мужчины, отец с дедом, да и благодарная молодка, работали от зари до зари, не жалея даже маленького Колю. Несчастья начались, когда деда от непосильной работы парализовало, а в район пришел приказ о раскулачивании. Отца в селе не любили за крутой нрав и дружбу его первой жены с местной колдуньей.

Но жену давно прибрал Бог, колдунья в селе не появлялась, хотя ходили слухи, что она по-прежнему живет на болоте. Отдал дед Коле золотые, когда пришли их раскулачивать. Дед уже к этому времени не вставал, и когда в избу вошли члены сельсовета, усиленные красноармейцем, дед завозился на печи и закричал. Коля, хорошо его понимающий, выхватил из-под подушки сверток, и шмыгнул вон из хаты.

Сидя в укрытии, он видел, как кинули на подводу связанного отца, видно тот вздумал сопротивляться, сверху забросили деда и двух маленьких ребятшек, детей его мачехи, саму мачеху привязали к задку подводы, туда же примотали веревкой корову, а лошадей степенный сельсоветчик повел под уздцы, изредка покрикивая на них: «Не балуй!».

С трудом, всем миром вытолкнули застрявшую в колее подводу, и кавалькада тронулась. Кольку пробовали искать, но решили, что тот сам прибежит следом за отцом.

Колька, просидев в укрытии пару дней и насмотревшись на разбой, учиненный односельчанами, когда со двора тащили все: посуду, кур, инвентарь, сундуки, из которых торчали праздничные платья матери, не выдержал, и, плача, побежал на болото к материной подруге Кленке, которую сельчане недолюбливали и побаивались.

Понятия дружбы в деревне не существует. Люди заходят друг к другу по делам, иногда посплетничать, но нежности между ними, как правило, не бывает.

У матери вышло по-иному. Сонька рождалась, когда Колька был уже взрослый, лет пяти. Клениха принимала роды. Колька забился за печь, боясь высунуть нос, но зато все слышал. Кричащая истошно мать, вдруг замолчала, натужно крикнула, мужским хриплым голосом, и тут вся изба наполнилась кошачьим писком и довольным урчаем Кленихи. Потом остался только кошачий писк, потом тишина. И тут Колька услышал тихое бормотанье. Клениха читала какие-то заговоры. Бормотанье прерывалось постуком и топотом. Колька высунул голову и стал наблюдать, что происходит в избе. За окном наступили сумерки, но в хате темно не было.

Кольке померещилось, что посреди хаты подпрыгивала не знакомая с детства старуха, а кто-то страшный, костлявый, многорукий и многоголовый. Он мелькал то слева, то справа одновременно, и маленькая девочка, что была у него в руках, зажмурившись, летала по хате, как будто молния. Видел он такие круглые и сверкающие сполохи, залетающие иногда в хаты. Мать вдруг захохотала, тихо и страшно и, приподнявшись с кровати, ловко поймала летящий маленький комочек.

Ну что, окрестили мы ее с тобой, — услышал Колька человеческий нормальный голос, — теперь у нас и Сонька есть. В хороший день она у тебя родилась, благодатный. Вот, у тебя вся команда и собралась, Вера, Наденька, а с тобой полнота Божественная. Собирайся, скоро надо ехать.

— Тащи Кольку, — деловито распорядилась мать.

— Колька здесь, чего тащить, вон он за печкой, наблюдает.

— И что, он все видел?

— Не бойся. Это — к лучшему. Надо только объяснить. Сестер будет любить крепче, а то вырастет, фыр-р-р, и улетит в город. А так при них будет.

— Какие сестры, — слабо удивился Колька. — Что ли Сонька эта? Остальные ведь померли! Ходим же по воскресеньям к ним на кладбище, еще с батей кресты резали весной. И Верка, и Наденька обе мертвенькие родились.

Он сгреб несколько щепочек, заменяющих ему солдатиков и угрюмо опустив голову, вылез из-за печки.

— Мам, ты как? Лучше тебе?

Мать посмотрела на него вскользь и вдруг заревела в голос.

— Ой, детушка, опять у тебя сестрички не будет. Прибрал ее Господь.

— Ой, беда, беда. — Вторила лживая Клениха.

— На кого ты нас покинула, дитяtko мое, — стараясь перекричать, голосила мать.

Тут в избу ворвался отец и заорал:

— Пошла вон, ведьма чертова, предупреждали меня мужики, нечисть поганая. Как ты, проклятая, припрешься, так жди смерти. И ты убирайся с глаз долой, — повернулся он к матери. — А все ты, пусть она да пусть, — чуть не плакал огромный мужик, — всех девок мне загубила. Встанешь — уходи. А я сей же час иду за отцом Трофимом. А тебя — повернулся он к Кленихе, — сожгу, не побоюсь властей, а потом и кол осиновый вгону, чтоб больше честных людей не смущала. Кольку не огдам — орал мужик, размахивая своими огромными волосатыми кулаками.

Колька пискнул и бросился к матери.

— Маманька, — зашептал он, — скажи, что Сонька живая, я же видел, что она живая, скажи тятеньке, а то прогонит, а я не могу без тебя, маманька, скажи ему.

Мать торжественно молчала, перебирая пальцами края ряднины, на которой лежала, изредка искоса поглядывая на замершую в углу Клениху. Мужик уловил движение в углу, с ревом развернулся и, схватив табуретку, шагнул в направлении

Кленихи. Но как ни махал он табуретом, как ни шарил страшными кулаками воздух, Клениху ему было уже не схватить, потому что исчезла она из избы, только польхнул в том углу сноп с огненными искрами, да мать опять страшно засмеялась.

Тут весь гнев отца обратился на Колю. Он схватил его за штанишки, приподнял над материнской лежанкой и грубо, с силой кинул к порогу. Коля от страха намочил штаны, и резво пополз через порог, взвизгивая и прищепывая: «Тягенька, тягенька, не трогай маманьку».

Очнулся он в избенке Кленихи, придавленный периной, лежащий в обнимку с тощим клениховским котом, который, урча от удовольствия, лизал ему губы. Отодвинув перину и оттолкнув кота, он, приподнявшись на локте, осмотрел комнату и встретился глазами с сидящей неподвижно у окна Кленихой.

Впервые он так близко и так внимательно ее рассматривал, тем более она сидела протволосяя и без своей обязательной кацавейки. «Да она моложе маманьки, — с удивлением понял Коля, — и красивая какая».

Золотые волосы спелой волной падали вдоль лица на спину, темные, теплые глаза были мечтательно прикрыты и белая, алебастровая шея тихо покачивалась в такт мелодии, которую она самозабвенно мурлыкала. «Ну, дела, — подумал Колька, — да она как маманька».

— Ты не старуха? — удивился мальчик.

Очухался, — обрадовалась Клениха, — нет, мы с твоей маманькой ровесницы, только она замуж за этого вахлака пошла, погналась за богатством, вот и мается. Хорошо если не прибьет, а то так и норовит руки распустить. Спи, золотко мое.

— А как там маманька, не помрет?

— Не помрет твоя маманька. Надо было Соньку с собой забрать, оплошала я, теперь хлопот не оберешься, оживляя.

— А она что, померла? — испуганно поинтересовался мальчик.

— Ну, это как посмотреть, — значительно произнесла Клениха. — Если слева направо, то мертвенькая, а наоборот — живее живого.

Коля уже знал, что существует право и лево, и даже знал, какая рука у него правая.

А как это? — все же переспросил он. Очень ему вдруг захотелось, чтобы было наоборот. — Давай посмотрим, вдруг живая.

— Ладно, поднимайся, ты все-таки их брат, тебе легче будет справиться.

Коля мигом поднялся и побежал, на ходу удивляясь, как это Клениха идет по росной траве, не замачивая ног.

Оказались они на болоте. Подойдя к тому месту, где мертвые деревца сиротливо торчали из редких кочек, они опустили на колени у небольшого бочажка, и вдруг Коля почувствовал, что между ним и ближайшим деревцем возникло незримое препятствие, как будто воздух сгустился и затвердел. В свете луны увидел он другого мальчика, сидящего напротив, а рядом трех маленьких девочек, обнявших его за шею. Самая крохотная была голенькой, и серьезно ковыряла в носу.

— Кто это там? — испугался Коля.

— Да ты, не бойся, это конец света и начало нового. Это местовстреч. Когда про него узнают, тут будет столпотворение. Это я его открыла. — Горделиво призналась Клениха, — теперь и ты знаешь, а раньше только твоя маманька.

— Кто это там?

— Да ты, с сестрами.

— А что я там делаю?

— Навещаешь их. Им там скучно.

— И маманька навещает?

— Ну да, она там вообще-то и живет. Там родить нельзя, вот она сюда и ходит. Родит и туда их, там и рОстит. А здесь похоронит. Ее девки не для нашего мира, а ты — для нашего. Вот и придется тебе бегать туда-сюда. Когда помрешь, пойдешь к ним. А пока устраивайся. Все мы здесь временно. Хоть род людской и рассчитан на 600 лет, мы как птенцы перед бурей. Сминает нас ураган жизни, а кого минует, тот в потоке погибнет, или сгорит в жарком столбе, а если предохранился от этих бед, сам себя человек сомнет, или от обжорства или от пьянства, а то от зависти или злобы, словом от внутренних болезней. Ладно, не плач, что я на мальчика накинулась, хотя вот, объяснила тебе, и самой легче стало. Я ведь тоже от туда, да и мать твоя тоже. Там мы в родстве близком, а по эту сторону у каждой из нас своя задача. Твоя мать рожать должна, а я — лечить. Хотя с каждым разом все труднее мне справляться. Раньше хотели порешить, так как считали, что я коров силы лишаю, теперь, что деток твоей матери уморила, чудно. Здесь совсем не понимают, что такое жизнь. Каждый ее знает на свой манер.

Так за разговорами проходило у них время. Виделся он с сестренками, и даже успел с ними сдружиться. Играя и тетешкая маленькую, он с удивлением следил за метаморфозами, с ней происходящими. Приводили ее на берег сестры, а если он хотел пойти с ними, в их мир, старшая каким-то образом лишала его возможности двигаться, и они убегали, смеясь. Маленькая тоже бежала следом, хотя по всем земным законам она должна была еще лежать в колыбельке и пускать пузыри.

Вдруг, в один прекрасный день они привели с собой мать. Коля кинулся ей на шею, и мать была с ним нежна. «Значит, перешла мать, надо к отцу возвращаться» — рассудил Коля, да и мать действительно просила его об этом.

Отец отходил его вожжами за столь долгое отсутствие, но потом прижал к себе и замер, вбирая запах детских волос.

С дедом в это время Коля очень подружился. Дед его и азбуке учил и молитвам, а иногда, приподнимая рубашку, разглядывал диковинные знаки на детском тельце и печально качал головой. «Не для нашего мира, как мать твоя. Говорил я отцу, нельзя было брать ее за собой, не послушал. Надо было простую, как Тонька у Никитича, а то без роду без племени, нашел ее на болоте и сразу в дом, женюсь, прости Господи. А она может нежить? Как Клениха, ее подруга, тфу, доброго слова не стоит, а туда же, лечить берется». Коля молчал и чувствовал себя виноватым.

Через некоторое время отец взял овдовевшую работающую Тоньку с двумя мальцами. Дед, когда садились за стол, накладывал им с добавкой, и ласково говорил, обращаясь к Коле. «Помощники тебе вырастут, ты их береги». Потом деда парализовало. Врача не было, а от услуг Кленихи дед категорически отказался, как ни плакал отец и ни просил Коля...

Коля переселился к Кленихе окончательно, после того, как сгинули увезенные в неизвестном направлении его родные, а поскольку арест происходил у Кольки на глазах, он хоть и делал у Кленихи всю мужскую работу, заготавливал дрова, косил, чинил избу, но был утрюм и стал заговариваться. Два раза посещала его падучая, и Кленихе пришлось долго его лечить, пока Коля встал на ноги. В эти тяжелые дни от него не отходила мать, она зажимала руками его вихрастую голову и уговаривала потерпеть.

Время шло. И однажды сестры привели к нему чужую девочку. Коле она не понравилась, но Клениха обрадовалась ее появлению. Она с гордостью шепнула

Коле: «Это для тебя». «Для меня значит для меня» —обреченно подумал Коля, начинающий постепенно привыкать к сложным законам этого непростого места.

Он был младше девочки и отношения их складывались непросто. Но в один прекрасный момент его сердечная боль начала таять и он почувствовал к ней такую нежность, которая как лампада высветила прелесть этого уединенного места: чахлах перелесков и клюквенных кочек на болоте.

А когда Коле исполнилось тринадцать лет, его подруга уже ждала ребенка. Особенно радовалась мать. Она с гордостью толкала локтем Клениху и смущенного Колю, и через положенное время около дома Кленихи появилась свежая могишка. Коля поставил на ней крест, убрал цветами, а летом, когда дочка немного подросла, она полюбила играть на своей могилке, украшая ее лилиями и кувшинками.

Жизнь текла ровно и предсказуемо.

Иногда мать приносила Коле со своей стороны разные интересные вещи, вроде вечного огня или нити для отпугивания лисиц, но долго держать их на этой стороне было нельзя, и Коля с сожалением должен был с ними расставаться. Единственно, что позволено было оставить — хитон, который можно было носить в самые зверские холода.

Но в один прекрасный день на поляну ввалился отряд бойцов. Оказывается, в Колином мире уже больше года шла война. Когда командир увидел пастораль Колиной жизни, он потерял дар речи. Первый порыв у него был — расстрелять. Потом нестарелющая Клениха обласкала командира, накормила бойцов, подлечила гангрену у старшего сержанта, вынула пулю из живота у лейтенанта, подула на раны и мозоли, заживляя их, а Коля наловил им рыбы и тетеревов, поэтому расстались они лучшими друзьями.

После их ухода пропала Клениха, и когда Коля вошел в избушку, он обнаружил там полный разгром. Травы были рассыпаны по полу, и было видно, что Клениху волоком вытаскивали из хаты. Перевернутый стол валялся около двери, где ему никак не полагалось быть, скамья была сломана и выброшена за порог, а половик, который Клениха вязала всю зиму, вообще исчез.

«Похитили, украли —в панике подумал Коля. —Что делать? В погоню», — решил он. Прихватив дубину, он вначале кинулся к барьеру, чтобы предупредить мать и спросить у нее совета. Но, отодвинув поваленные деревья, он увидел семью в полном составе. Там был отец и дед, молодой и на своих ногах, мать с сестрами. Вдруг он увидел, как сзади легкой тенью скользит знакомая фигура с распущенными золотыми волосами. «Значит, перешла», — совсем не удивился Коля. Теперь они все там.

Он подошел, обнял отца, поклонился деду. Дед выглядел живее живого. От парализованного старца осталась только шаркающая походка, но и она была незаметна, так как дед скользил по траве, не склонив травинку, и над водой, не оставляя следов. Дед рассказал Коле, как их убили. Подвода привезла их в райцентр, на главную площадь перед почтой. Тех, кто не мог идти, — свалили на одну подводу и, завезя в овраг, расстреляли. Тех, кто мог ходить, погнали до станции, а потом загрузили в закрытые вагоны и повезли. Отец умер в дороге.

Сейчас он надеялся на встречу с Тоней. Коля, стесняясь, спросил у матери, как она относится ко второй отцовской жене. Мать засмеялась и дала Коле подзатыльник. «Здесь совсем все другое, — произнесла она задумчиво, — отношения скорее братские, вся любовь осталась там. —Она махнула рукой в сторону деревни.

— Почему мы беременеем у вас? Нет там возможности такой, впрочем, сам скоро увидишь. Что человеческий век? Комариный нос».

Так вопрос оказался исчерпанным.

Но примерно через месяц, поздним вечером, из-за барьера раздались крики и на поляну стали вываливаться толпы народа.

Коля, расставив руки, бегал по кочкам, пытаясь остановить наплыв, но на пятнадцатом человеке отошел в сторону и удрученно сел на поваленное дерево. Пробившаяся к нему мать рассказала, что весть о коридоре просочилась, и сюда двигаются толпы. Люди, слепо шурясь, подходили к Коле, ощупывали его лицо и разочарованно отходили. Когда поняли, что он представляет живых в единственном числе, начали выкрикивать просьбы оповестить родных. Вначале Коля записывал имена и адреса.

Тех, кто говорил на другом языке, он отталкивал, злясь и нервничая. Потом, исписав несколько листов бумаги, плюнул и отошел в сторону. Около болотца от стены, разделяющие два мира, мертвые могли рассчитывать на три метра пространства, дальше для них хода не было. Только Колина жена да мать могли удаляться от этого места на километр. Поэтому на маленьком пространстве кружились и размахивали руками до 50 человек, а толпа все росла и росла.

Тут, в основном, были военные: рядовые и постарше в звании, и много обнаженных детских и женских фигур с освещенными полной луной синими лицами — это из лагерей, объяснил ему отец.

Все они просили, требовали, зывали к милосердию и совести Коли, а он, растерянный, сидел на поваленном дереве и чуть не плакал от бессилия, не понимая, что те от него хотят. Подошедший дед долго молчал, наблюдая, потом покачал головой и объяснил Коле, что происходит. «Нашли-таки они проход, как уж это получилось, и кто не доглядел, это не наше дело, а теперь они все думают, что ты, — дед погладил Колю по плечу, — хранитель прохода, вот и просятся назад».

Подошла мать и села рядом, успокаивая и утешая. Она объяснила ему, что он ничем не может им помочь, разве только сообщить родным, где они похоронены, чтобы те смогли когда-нибудь приехать к ним на могилку. Коля повздыхал и смирился. Ночью, сделав набег на почту и запасясь карандашами и бумагой, он утром обречено пришел к барьеру и скомандовал «Все в очередь». И начал писать письма. Каждое письмо занимало у него, непривычного, по несколько часов, очередь не иссякала.

Он плакал от бессилия и усталости, он в гневе ломал карандаши и рвал бумагу, он кричал и зашвыривал письма под деревья, он перестал есть и спать, а очередь не иссякала. Мать и жена собирали ему ягоды, поили молоком, растирали руки, а потом ему взялся помогать генерал. Он диктовал ему слова по буквам, которые Коля записывал вкривь и вкось на пожелтевших страницах, и дело пошло.

В письмах были приветы, последние рвущие душу слова прощания, давались ориентиры могил. Генерал — военная жилка, бывший смершовец до последнего наводил цензуру, но когда Коля, почувствовав, что люди от этого очень страдают, попробовал отказаться от его услуг, генерал заплакал и продиктовал Коле свое письмо, уже не обращая внимания на пресловутую секретность.

Поток стал иссякать на пятом месяце. То ли еще обнаружили барьеры, то ли мертвые блюди договоренность не распространяться по поводу Коли.

Когда последние мертвые исчезли, и он смог, наконец, обнять своих детей, поцеловать жену и мать, вышла Клениха и они устроили военный совет.

Для того чтобы разослать все письма, нужно было переселиться в город и несколько лет заниматься только ими. Что же делать, посетовали родные, придется переход временно закрыть, чтобы у мертвых не было больше соблазна, а Коля пусть исполняет свой долг.

Коля показал деду и не покидавшему их генералу сверточек с золотыми монетами, генерал одобрил план и Коля, приодевшись, отправился в Москву. Деньги он разделил на несколько частей, одну из которых спрятал в прихотливую палку, сделанную в незапамятные времена деду приятелем Кузьмой. Коля выглядел колоритно — типичным деревенским ходоком, которых тогда много было в Москве. Ранняя седина и длинная борода делали его похожим на попа-расстригу.

Придумали ему легенду, по которой шел божий человек из монастыря и попал в окружение, что было обычным делом. От себя генерал написал письмо, что Коля доблестно сражался, когда дивизия прорывалась из окружения, что генерал видел Колины документы и подтверждает их подлинность, а то, что их в данный момент нет в наличии, так то война, все бывает.

Несет он письма бойцов, попавших в окружение, все цензурой проверено, нужно их отправить. А Колю за геройские дела представить к награде, не меньше ордена Ленина. Просьба выправить паспорт и помочь устроиться в Москве.

Колю, как ни странно, пропустили патрули, ни у кого он не вызвал недоверия, и вот уже он в Москве. Побродив по городу, зашел в баню, в парикмахерскую. Банщик попался ушлый, помог обменять золотой и устроил его на постой к своему родственнику. Деревню Коли немцы не занимали, а то, что он был из семьи раскулаченного, так много воды утекло, тем более по характеристикам выходило, что он комсомолец и активист.

Карты Москвы было тогда не достать, Коля составил свою, благо границы были почти в пределах Садового кольца. Не на много шире.

И пошел Коля разносить свой печальный привет. Принимали его хорошо, угощали, если было чем, и все верили его рассказам, как нашел он чемодан с письмами на месте свернутого госпиталя, и не позволила ему совесть бросить этот чемодан.

Прошел год. Московские письма были разнесены, иногородние отправлены по почте. Коля поправился, оброс вещами, регулярно ходил в баню и парикмахерскую. За Колей стала ухаживать вдова старшего лейтенанта, от которого Коля привез ей последнюю весточку. Коля не особенно сопротивлялся. Вдова была женщина богатая, работала зав. столовой, имела свою жилплощадь. А домой не хотелось. Свыкся Коля с сытой и легкой городской жизнью, решил, что от добра добра не ищут, так и скоротал с ней зиму.

А летом выяснилось, что баба брюхата и к зиме родила. Как водится, Коля похоронил дочку. Следующим летом Коля вдруг затосковал, тем более, что стали приходить ему письма с пометкой адресат выбыл. Таких оказалось больше сотни и Коля, поцеловав жену, отправился развозить их сам.

Три года ушло на бесконечные поездки. Денежки в посохе таяли, Коля начал стареть и болеть, и однажды, зимой, стало ему так худо, что в одной из сибирских деревень пришлось ему слечь.

Пользовала его местная знахарка. Придя в избу, где он был на постое, чтобы поставить кринку на живот, она вдруг закричалась и с криком «меченый-меченый» выскочила из избы. Когда Коля снова открыл глаза, рядом сидела мать и ничуть не изменившаяся Клениха. Его завертели, защекотали, Коля хрипло засмеялся

и понял, что вот оно счастье, — рядом. Мать, склонившись, шептала: «Нашла, слава Богу, а тут дочка твоя к нам прибилась, теперь с тобой познакомится, вот счастье, опять мы вместе, дед стосковался, ждет», — «Мама, у меня дедовы монетки еще остались, я их осторожно тратил. А как вы меня разыскали?». — «Ты меченый, и таких, как ты, — мало. Очень у тебя судьба сложная, связывать два мира. Тут недалеко тоже проход образовался. Народ ждет. За те письма тебе очень благодарны. Тебя любят и ценят. Помучайся здесь еще немного. Зато там у тебя будет другая жизнь, апостольская. Ведь не всякий апостол столько перестрадал за народ, сколько ты», — «Мам, но ведь война то кончилась, не могу я больше так жить, я ведь старый, тяжело мне». — «Крепись, деточка. Встанешь, пойдем к здешнему барьеру. Теперь много катастроф, люди умирают внезапно, как живым то это пережить? Потрудись еще, деточка, а потом мы заберем тебя с собой. Больше то никто не может это сделать. Но у тебя есть край, пока хоть один дедов золотой в палке бренчит — значит нужно идти».

Коля заплакал и открыл палку. Там он насчитал еще с десяток. Поднявшись через силу, он пошел к барьеру, сопровождаемый матерью и Кленихой. Но по дороге у него возникло сильное искушение. Он вытащил из палки золотые и, размахнувшись, кинул их в реку. Кинул и испытал облегчение. Все. Теперь он свободен. Какое счастье, вернется в Москву и заживет с вдовушкой.

Пойдет работать и может, наконец, родит мальчишку. Представляя себе все это, он, не останавливаясь и не замечая ничего вокруг, шел к барьеру. Когда до него оставалось несколько шагов, он услышал знакомый гомон и первого увидел деда. Дед стоял, задумчиво глядя на него, и молчал. Выцветшие глаза, изуродованные работой руки, вдруг пробудили в Коле такое чувство вины, что он охнул, присел и кинулся к месту, где так дерзко бросил дедово наследство. Подбегая к реке, он вдруг увидел своих сестер, повзрослевших и похорошевших, которые, ныряя, доставали со дна монеты и передавали их двум его дочкам. Дочки тоже выглядели взрослыми. Он подошел, обнял их, забрал монетки, которые еще хранили их тепло, пересчитал, сложил в трость, и, глубоко вздохнув, пошел к барьеру.

Так вот, когда проезжающие по деревне бросают дружелюбные взгляды на старика, они не предполагают, какую роль сыграет тот в их случайной смерти, они не знают, что в трости еще звенят два золотых и пока они целы, жизнь Николая будет подчинена определенному ритму. Но у него уже есть помощник. Родил таки Коля мальчика, которому тоже уготовано это непростое дело. И вот уже маленький Коля бегаёт вместо отца на болото, а Коля большой днем пишет письма, которые ему диктует малыш, а летом в 20 часов и зимой в 17, мимо дома проходит незаметная старушка, которая эти письма забирает. И уже целая организация, которая все множится и множится, разносит их по адресам.

Так что надейтесь и ждите. Однажды дойдет очередь и до вас.

14 октября 2004 года. Начато в больнице. Виктория Л. Жукова.

Увидеть Париж и умереть

Сереньким январским днем, необыкновенно теплым и влажным для середины зимы, Софья Павловна шла по улице, внимательно глядя под ноги. Жирное мезиво из снега, стекол и пластиковых бутылок, лишало ее всяческого представления, куда поставить ногу, чтобы ботинок не черпанул через край этой отвратительной жижи.

Чудом сохранившиеся, они очень пригодились ей в эту странную дождливую зиму. Правда, сделанные под туфли с каблуками, они были не очень удобными: место для каблука, заткнутое старой газетой, постоянно продавливалось, кнопочка давно отвалилась, а пришитая пуговица расстегивалась. Но купленные лет пятьдесят назад, они который год служили ей верой и правдой, и осенью, раскрывая коробку с зимней обувью, она любовно их поглаживала, с умилением вспоминая свой бунт. Мама вышла тогда победительницей в этой нелегкой принципиальной войне, отвоевав ботики.

София с молодой лихостью постоянно что-нибудь выбрасывала: сундуки, старые альбомы с открытками, скатерти, подштопанные бабушкиной рукой, даже лампу, с бронзовыми львиными ногами, правда, аккуратно закрытую старым тазиком вместо абажура, который быстро нагревался и прожигал накидываемые на него платки и шали. Весь мамин быт подвергался суровой ревизии и жесткой критике.

Диван, признанный старорежимным, был выброшен под мамин крики и заменен на новый, доставшийся с огромным трудом по справке погорельцев, полученной путем унижений и интриг. К нему прилагались два кресла. Одно они оставили, а другое София продала за большие деньги, но даже это не могло утешить маму. Проходя, она злобно пинала диван ногой, как будто тот был в чем-то перед ней виноват, и жаловалась по телефону подругам, вспоминая старый, как лучшего друга, особенно налегая на выгнутую спинку красного дерева и прихотливо изогнутые ручки.

Дочь плакала и уговаривала мать смириться, напоминая, что мать сама постоянно жаловалась, на неудобство, жаловалась, что не высыпается, а этот — широкий, раздвижной и спать на нем одно удовольствие. Так, постепенно, в процессе жизни, почти все, что составляло смысл материнского существования, все эти маленькие пустячки, все эти альбомчики, салфетки, печатки, старые шляпки и пояски, абажурчики, кресла и кушетки покинули их: частично мать рассовала по своим подругам, частично перекочевали к антикварам.

Словом, когда Сонина жизнь стала клониться к закату, она оказалась живущей в типовой квартирке с типовой мебелишкой. Скопленные деньги не дали ожидаемого удовлетворения, все подорожало, и сытая достойная жизнь в старости, которая грезилась ей, в молодые годы работающей на нескольких работах одновременно, все отдалялась. Софья давно похоронила мужа, легшего в больницу по поводу простейшей грыжи, да так и не вышедшего из нее. Детей ей Бог не дал, зато племянниками и племянницами она была богата. Софья жила полной жизнью, ходила в театры, в кино, в консерваторию, правда денег хватало лишь на пенсионерские билеты, но спектакли от этого хуже не становились.

В конце жизни у Софьи появилась мечта. Мечтала она съездить в Париж. Вернее эта мечта была у нее всегда, но времена, когда Болгария была самой заграничной за границей, еще свежи были в памяти, и страх перед этим огромным, непреодолимым барьером был еще силен. В Париж нормальные люди не ездили, о нем мечтали, как о другой жизни, к которой они не имеют никакого отношения.

В детстве ее обучали и довольно пристально, французскому языку, но скорее по привычке.

У родителей еще сохранилось убеждение, что когда ЭТО кончится и наступит нормальная жизнь, язык их девочке очень пригодится, особенно французский. Более дальновидные, учили своих детей английскому, не немецкому же, в самом деле. Война только-только кончилась, Германия лежала в руинах и стойкое мнение, что победители не учат язык побежденных, бытовало еще довольно долго.

Поэтому «Ля рив гош и ля рив друат» вместе «с тур эйфель» звучали у нее в голове в последнее время особенно часто. У Сони было две пластинки Джо Дассена, которые она крутила на Ригонде, старая заезженная пластинка Ива Монтана и поновее, великой Пиаф.

Недавно племянница подарила ей свой старый плеер и она, гуляя, постоянно слушала обворожительную Патрицию, песни которой давно кружили ей голову. Все чаще и чаще она вспоминала где-то вычитанную фразу: «увидеть Париж и умереть». Но смерть она призывать не торопилась, вернее, понимала, — жить ей вечно, поскольку Париж был недосягаем.

Но однажды, проходя мимо костела, она, никогда там не бывавшая, решила заглянуть. Убранство костела ее поразило. После сумрака православных храмов, он выглядел дворцом, полным чудес. Службы не было, и Софья шла вдоль стен, разглядывая статуи и барельефы. Мраморный строй колонн настроивал на торжественный лад. Никто за ней не гнался, не делал замечаний, и она, осмелев, опустилась на колени перед Божьей Матерью и заплакала от переполнявших ее чувств. Потом долго сидела на удобной скамейке, разглядывая мраморный алтарь и пожилого служку в кружевном, каком-то детском фаргучке, который деловито шнырял мимо алтаря, каждый раз торопливо преклоняя колени.

Вскоре началась служба. Проходила она на русском языке. Набежавший народ дружно пел «Отче наш», потом все подошли к барьерчику и, опустившись на колени, благоговейно ждали, когда до них дойдет очередь в принятии Святых Даров.

А потом стали целоваться и пожимать друг другу руки. Софья шархнула, но ее поймал в охапку пожилой француз, за ним миловидная дама, потом еще кто-то и еще, и все жали ей руку и улыбались. Впервые она почувствовала себя важной персоной, к которой тянутся такие авангажные и милые люди.

С этого посещения все и началось. И вот Софья хлопает по лужам, спеша в костел. Там у нее назначено деловое свидание с руководителем поездки в Тэзе. Подумать только! Если все получится, она, Софья, увидит Париж. Такого острого волнения она давно не испытывала. С деньгами проблем нет. Племянники уважительно кивают и наперебой предлагают баксы. Только бы не заболеть, молится она.

У Тэзе с костелом давняя дружба. Есть, по слухам, какие-то разногласия, правда толком объяснить Софье в чем там дело никто не может, да она и не очень вникает. Руководитель группы рассказывает про Тэзе, остальные внимательно слушают, но реагируют только на звучные имена: Франция, Париж. Руководитель тоже никогда там не был, но инструктаж видимо прошел, и о Тэзе знает из первых рук, от местного настоятеля. Софья, прикрыв увлажнившиеся глаза и почти отвернувшись от группы, грезит. Оказывается, это всего-навсего название деревеньки под Лионом. «В ней мужской монастырь, куда и едут паломники.

Уклад там — достаточно простой, даже можно назвать его аскетичным, но, в духовном плане, — руководитель сделал паузу и значительно осмотрел группу,

— люди заряжаются надолго. Настоятель — брат Роже, очень стар, ему около ста лет, но он продолжает руководить монастырем, присутствует на службах, принимает посетителей». Софья слушала вполуха, в голове пульсировала кровь, ладони вспотели. Но последняя фраза заставила ее встрепенуться и с тревожным изумлением посмотреть на руководителя. «Едем весной, автобусом, Париж не предусмотрен, ни до, ни, тем более, после. Большой соблазн, знаете-ли».

Тут Софья стала громко возмущаться. «А если мы хотим посмотреть Париж? Тогда как? Может, я всю жизнь мечтала? Нам что, сбегать прикажете?» Руководитель вздрогнул. «Как ваша фамилия? — произнес он грозно. Не услышав ответа от струхнувшей Софьи, он заглянул в ведомость. — Так-так, вы мне сдавали деньги... второй, значит вот — Мстиславская, фамилия-то какая известная! Что же вы, Софья Павловна, воду мутите? Меня ведь предупреждали, что в группе всегда один бунтарь окажется. И знаете, что инструкция велит делать в таких случаях? Правильно, отдавать деньги, чтобы другим неповадно было. В группе что? Главное дисциплина, а вы Софья Михайловна...» — «Павловна», — пискнула Софья. — «Все равно, это теперь не имеет значения, забирайте деньги. Так, одно вакантное место. Кто там про внука говорил? Вы, кажется, Ядвига? Быстро оплачивайте, не тяните, Меня найдете тут завтра. Все свободны».

Ошеломленная Софья сидела с зажатыми в кулаке долларами, и глаза ее наливались слезами. Огромное горе железными когтями сдавило сердце, она откинулась на спинку скамейки и замерла. Привел ее в чувство вкрадчивый голос Ядвиги. «Ты чего так убиваешься? Не получилось в этот раз, поедешь на будущий год, мы ведь в третий раз едем. Нам Париж ни к чему, он прав, собирай нас потом, разбежимся как тараканы. Это после первой поездки правила такие ввели. Ужас, что было».

Потерялись, а ведь без денег, без языка... Самые молодые Париж захотели посмотреть. Их потом с консулом разыскивали. Теперь объезжаем стороной. А ты, слышь, не одолжишь денег? Мне на внука сейчас так быстро не собрать, одиннадцать детей на руках, теперь вот внуки пошли... Не расстраивайся, тут молодежная группа из Астрахани автостопом едет. Оно и дешевле. Хочешь, я тебя с ними сведу?

Я тоже рада была бы подешевле, но ноги какие, смотри, синие все. Что роды наделали, совсем ходить не могу. Нет, только автобусом». Она задрала юбку и продемонстрировала огромные синие кувалды, которые даже в страшном сне нельзя было принять за женские ноги.

Получив телефон в обмен на триста баксов и обещание отдать так быстро, как соберет, Софья, повеселевшая от надежды, что не все еще потеряно, побежала звонить в Астрахань.

После получасовых уговоров, она оказалась членом Астраханской группы в обмен на обещание приютить, занять очередь в посольство за визами и купить билеты до Ужгорода, откуда и начинается собственно путешествие. Когда взмогшая Софья положила трубку, она поймала себя на том, что продолжает перебирать в уме заманчивые варианты, которые она готова предложить в обмен на поездку. Но больше ничего не потребовалось.

И вот, по весне, вселив в квартиру племянницу ухаживать за котом и поливать цветы, Софья, одевшись в сэконд-хэнде попримичней, а именно: купив плащ, пару юбок покороче, кофту нарядную с нейлоновыми рюшами и две попроще, с простыми кружавчиками, нагрузившись лекарствами, отбыла с группой в Ужгород.

Ехали плацкартой. Руководила походом Верочка, детский врач, прибывшая в католическую общину недавно и сейчас энергично ее реформирующая; остальные члены группы были скорее случайными туристами, мечтающими побывать во Франции, как впрочем и Софья. Нина с дочкой Ирой, 18 летней красоткой, находящейся в пубертате, что оправдывало крайне шумные смены настроения; Миша, унылый провинциальный холостяк, историк по образованию, но сейчас работающий на рынке, и трое студентов 3 курсников, две девочки и парнишка.

Софья никак не могла запомнить, как кого зовут, и из-за этого стеснялась к ним обращаться. В группе назревал конфликт. Ира держалась довольно вызывающе с девочками-студентками и подчеркнуто внимательно с их сокурсником.

До Ужгорода доехали легко, хотя отношения между всеми были явно испорчены. День прогуляли по городу, а вечером двинулись на пропускной пункт. Было очень холодно. Софья радовалась, что прихватила бессменные ботики и, несмотря на протест племянницы, теплый платок. Молодежь начала немного ее стесняться. Софья, со старческой же предусмотрительностью, думала только о том, как бы не простудиться. Договорившись о месте встречи, первыми отправили студентов, Ира рвалась уехать с ними, но мест в легковушке не было. Следующая машина забрала Нину с Ирой и Мишу, на которого Верочка надеялась, как на более опытного и не раз ездившего автостопом.

До утра okazji не было, и в первую свободную машину «каблучок» залезла Софья. Верочка должна была ехать одна на следующей машине-трейлере, идущей буквально следом. Но, примерно через час, Верочкина машина, обогнав Софью легковушку, ушла вперед, и Софья увидела только машущую Верочкину руку, высунувшуюся из окна. У Софьи слегка засосало под ложечкой. Она успокоила себя тем, что контрольный пункт недалеко и никаких осложнений не предвидится.

Вел машину сравнительно молодой парень, серый от усталости, белорус, работающий в Братиславе по контракту. Семья жила в Минске, и он, соскучившись, мотался к ним на праздники. Глядя красными со вспухшими веками глазами на дорогу, он иногда хрипло просил: «Говорите, а то засну». Софья, пугаясь, в очередной раз начинала рассказывать ему, как оказалась в его машине, где она живет, приглашала заезжать к ней в Кузьминки, если он окажется в Москве, словом вела нескончаемый светский разговор.

За разговором прошло больше часа. Серпантин, так вначале испугавший Софью, кончился, дорога стала прямее. Они выехали на равнину. Монотонный Софьин голос вконец усыпил водителя, несколько раз он ронял голову на грудь, машина делала при этом бросок в сторону. Софья визжала, водитель вздрагивал, и пару километром они ехали нормально. Один раз Софья попросила остановиться на обочине и сбегала в кусты. Проехали еще немного, и вдруг Софье стало ясно, что их преследуют. Черная машина совершенно синхронно с ними останавливалась и трогалась.

Стекла были тонированные, поэтому понять, кто за рулем было невозможно. Она осторожно взглянула на Сергея, как он просил себя называть, и поразила его искаженному страданием лицу. Казалось, его гнала вперед большая беда, несущаяся за ним по пятам.

«Сергей, кто это за нами едет? Ваши знакомые?» Сергей бросил испуганный взгляд в зеркало заднего вида и замычал от отчаяния. «И здесь разыскали... — простонал он. — Пригнитесь, сейчас поедет очень быстро», — «А бензина хва-

тит?» — предусмотрительно спросила Софья. — «Должно хватить. Тут все равно особо не разгуляешься. Скоро села пойдут».

Он нажал на газ, машина взревела и понеслась с бешеной скоростью. Преследователи тоже прибавили газу и скоро стали их догонять. Софья сползла с сиденья, и когда сильные руки выволокли ее на обочину, она от страха и слабости не смогла открыть глаза.

«Чего с ней-то будем делать?» — услышала Софья хрипый голос. — «Да кончай ее, нефиг нам свидетелей оставлять». — «Может, она ничего не видела? Я помню, она с этими прибабахнутыми автостопом ехать собиралась», — «Не. Давай. Я пойду там улажу, а ты здесь почисти».

Раздались скрипучие звуки шагов, и голос прошептал: «Дуй в кусты, неохота мараиться. Но смотри...».

Софья, не раскрывая глаз, куда-то поползла, но тотчас же получила ошутимый пинок по ребрам. «Не туда, быстро, а то сейчас прикончу». Так же, не раскрывая глаз, она с молодой прытью кинулась в противоположном направлении и скоро уткнулась лбом в дерево, пропоров сучком кожу на голове. Она вскрикнула, но ее заглушил грохот взрыва. Повернув голову, она увидела, что к искореженному «каблучку» приближается несколько автомобилей.

Преследователи, вместо того чтобы убежать, сустились около, делая вид, что пытаются потушить огонь. Но взрыв сделал свое дело, тушить было нечего и помогать — некому. Софья забилась в кусты, вытирая юбкой струящуюся по лицу кровь и тихо молясь, чтобы ее никто не заметил. Через полчаса подъехала полиция, и преследователи спокойно удалились в сторону границы. Когда Софья приподнялась, чтобы разглядеть, что происходит на дороге, она увидела сидящую на обочине Верочку. Софья, плача, кинулась к ней. Когда Верочка поняла, что это грязное, окровавленное существо и есть Софья, она охнула и побежала ей навстречу.

Через некоторое время, умытая и почти успокоившаяся Софья, сидела в полицейской машине и сбивчиво рассказывала какому-то высокому чину, что раздался щелчок, машина внезапно затормозила, но предварительно в кабине сильно запахло паленой резиной.

Молясь, чтобы поездка не сорвалась, Софья врала очень убедительно. Водитель, дескать, выбросил ее на обочину, а сам стал возиться в моторе. Тут взрыв, и она побежала со страха в лес. Ни про каких преследователей, Софья рассказывать не собиралась, понимая, что тогда придется застрять тут надолго. Все документы сохранились, они были вместе с деньгами в сумочке на животе, зато ее новая сумка со всеми вещами сгорела в машине. Было ясно, что интереса для полиции Софья не представляет, и ее отпустили, записав показания и заручившись адресами и телефонами в Москве. В ближайшем городке Верочка зашла в костел и через некоторое время Софья щеголяла во всем новом.

Теперь она ничем не отличалась от любой пожилой европейской женщины. Единственно, что она не захотела снять — были ботики. Их пришлось долго отмыть от грязи и копоти, но зато они игриво поблескивали из-под почти новых джинсов. С платком она рассталась еще раньше, он был пропитан кровью, и отстирать его не представлялось возможным. На голову ей наложили повязку, которую Верочка задекорировала красной каскеткой. Словом, когда встретились с остальной группой на контрольном пункте, те ее не узнали.

Надо было принимать решение, что делать. Отправлять ли Софью в Москву, либо ехать всем вместе в Тэзе. Софья понимала, что второй раз ей во Фран-

цию не собраться, и, преодолевая сильную усталость от пережитого стресса, настояла ехать со всеми дальше. Верочка теперь ее от себя далеко не отпускала, и Софья дремала в кабинах меняющихся машин. Иногда она сквозь сон выступала в роли переводчика, но в основном Верочка обходилась английским, так как выбирала семейных, интеллигентных водителей.

Собравшись в Лионе на вокзале, они, уже группой, на автобусе добрались до конечной цели своего нелегкого путешествия. В Тэзе прибыли к вечеру. Вместе с другими паломниками они долго ждали в маленьком домике сестру-хозяйку. Выяснилось, что здесь живет немало монахинь, которые приняли на себя всю тяжесть работы с приезжими. Вскоре их уже распределяли по баракам. Ужин давно закончился, и им выставили несколько ящиков с яблоками и печеньем, утолить голод. Завтрак предполагался только часов в 9 утра. Софья упала на койку и заснула как убитая.

Владения монастыря, которые она решила обследовать утром, были, как выяснилось, довольно обширны. Несколько длинных двухэтажных кирпичных домов окружали большую церковь, ничем внешне ни церковь, ни костел не напоминающую, далее стояли во множестве длинные бараки с пронумерованными дверьми, легкие брезентовые сооружения были, видимо, предназначены для столовой и еще чего-то, на площади под огромным брезентовым куполом стояли столы. Словом, вся жизнь монастыря была подчинена приему паломников. Большое количество цветов, висячих и на клумбах, радовали глаз. Узенькая тропинка вела за плетень вниз. Софья пошла по ней и скоро очутилась в парке с прудиками, в которых плавали толстые сытые лебеди.

Изящные мостики через протоки заканчивались широкой дорожкой, вьющейся по краю луга и ведущей к дому настоятеля. С одной стороны она была огорожена каменной стеной, сложенной из булыжников и украшенной большим количеством растущих прямо из каменной растений. Видно в монастыре работал неплохой садовник. Софья услышала звон колокола. Вечером ее предупредили, что день начинается с молитвы. Надо было торопиться. Проходя мимо барачков, она обратила внимание, что по лагерю деловито бегают группы ребят и будят нерадивых.

Ключи с бирками от комнаток болтаются у них на связке. Как ей объяснили накануне, днем в помещении находиться не полагалось. Братьев, как называли здесь монахов, Софья увидела только в церкви. Пел мужской хор, ему подпевали собравшиеся паломники. Сидели на полу, на ковриках, тетрадки с ногами и словами во множестве лежали по бокам на бортиках. Горели свечи, мерцали витражные иконы. Вдруг в храме прошелестело: «Пришел». Софья повертела головой и увидела, что двое братьев вели под руки глубокого, очень красивого, старца.

Он, как и остальные, был в белом плаще с капюшоном. Братья сидели на скамеечках, и оттого казалось, что там, вдали, у алтаря только мелькающие золотые огоньки свечей нарушали ощущение белой заснеженной равнины...

Скоро жизнь вошла в проторенную колею. Еду выдавали из картонных ящиков. Софья шла с подносом мимо цепочки дежурных, и каждый кидал ей на поднос что-то соблазнительное. Сок, яблоки, сыр, печенье, пакетик с колбасой, и прочие фасованные чудеса. Потом собирались в малых группах, потом, после обеда, было время молчания, потом беседа с кем-нибудь из братьев, молитва в церкви, и только вечером можно было пообщаться с Верочкой и Ниной, поделиться впечатлениями и сходить в кафе, куда стягивались почти все приехавшие. Там про-

давалось мороженое, вино, причем больше одно стакана не продавали, шоколад и все те же, надоевшие уже, пакетики с сыром и колбасой.

Через несколько дней круг ее знакомых сильно расширился. Дружелюбие и раскованность молодежи и более пожилых людей предоставили ей редкую возможность начать общаться с французами, бельгийцами, немцами. Скоро Астраханская группа растворилась среди других паломников и только иногда, встречая Верочку или студентов, Софья вспоминала, что она из России.

Софья напросилась во французскую группу, и скоро молоденькая жена валяжного художника из Тулона жаловалась ей на свою жизнь, а пожилой мецье, приехавший с племянницей, усиленно за ней ухаживал. Десять дней промелькнули мгновенно. Страх, который не давал ей вначале заснуть, начал постепенно проходить. Она все реже вспоминала убитого белоруса, и все меньше и меньше ей хотелось рассказать кому-нибудь о пережитом, но она понимала, что приехав в Москву, придется еще неоднократно к этому ужасу возвращаться. А пока она старательно гнала мрачные мысли, так некстати иногда приходившие ей в голову.

Софья подружилась с сестрой Малгожатой, ответственной за русских, со слезами умиления издали смотрела на красавца брата Леона, также курирующего паломников из России, побывала на званном обеде у Настоятеля. Когда пришла пора расставаться, сестра Малгожата подарила ей дежурный альбом с видами Тэзе и очень просила не заезжать в Париж. «Это плохо, вредно, ты все нарушишь, Париж плохой город для души», — горячо говорила сестра, с трудом подбирая русские слова.

Софья упрямо вздернула подбородок и промолчала. Верочку обещал добросить до границы чех, с которым у нее начался бурный роман, студенты уехали еще накануне, так что только Нина с Ирочкой разделяли страстное желание Софьи там побывать.

Софья сердечно распрощалась с остающимися. Старый француз долго не отпускал ее руку и что-то нежно шептал. Сфотографировавшись и обменявшись адресами, она напоследок в одиночестве обежала еще раз все любимые закоулки монастыря и пошла к автомобильной стоянке, где ее уже ждали Нина с дочкой и Миша. Их пригласили французы из малой группы, с которой Софья провела все эти чудесные дни, на обед, к маме Клода, в замок.

Замок поражал воображение. Старая дама, лет на 10 старше Софьи, величественно восседала на кресле в огромном сумрачном зале. Две большие статуи собак сторожили пространство вокруг камина. Софья переходила от предмета к предмету, узнавая их.

Споткнувшись о диван с витыми ручками и спинкой красного дерева, она дотронулась до него и, чуть не плача, подняла растерянные глаза на участливо смотрящую на нее даму. В углу, на консоли стоял ларец, похожий был у них, пока Софья не изгнала его из дома. В углу, на тумбочке с гнутыми ножками, стояла их лампа, только абажур поблескивал позолотой. Золото на голубом. Это был мамин цвет.

Даме был приятен интерес, проявленный гостьей к ее обстановке. Она легко вспорхнула с кресла и заговорила. «Знаете, мы горожане, но мой покойный муж вырос в подобном имени. И в свое время он настоял взять кредит, для покупки башни. Все было разрушено. Ничего, кроме груды камней. Мой муж потратил всю жизнь и все деньги, чтобы воспроизвести обстановку своего детства. Верите, мы даже Клода не отдали в музыкальную школу, настолько стесненно жили.

Все старьевщики были наши. Я шила покрывала и шторы, меняла обивку у мебели, видите абажур — это моя работа. Муж был и плотником и столяром, это правда, когда он на пенсию вышел. У нас и собаки были и куры. Сейчас Клод только наездами, молодежь, им все это не нужно, да-да, Клод, не спорь, вот гостей привести, — это пожалуйста, а кладовку с зимы разобрать не можешь. Мне уже тяжело стало работать. Клод зовет в город, но там тесно, Мари ведь рожать собралась, а если я перееду, тут все придет в запустение». Она говорила и говорила. Видно одиночество ей тоже было в тягость.

При этом она быстро переходила из комнаты в комнату, пока, наконец, все не оказались в кухне. Та была огромной, метров тридцати, сбоку у двери стоял накрытый на десять персон стол. Хрустальные бокалы, салфетки, сервиз — белое на голубом, подставки под приборы — голубое на белом. Из закрытой супницы просачивались знакомые запахи. Суп с клецками, определила Софья. Из плиты доносился запах хорошо зажаренного мяса. На отдельной тумбочке стояли бутылки домашнего вина с болтающимися этикетками.

Словом, обед был хорош. Несколько сортов сыра, выложенных на блюдо, выглядели очень аппетитно. Виноградное вино было немножечко терпким и вязким, но пилося легко, так что, когда гости вышли из-за стола, им хотелось только одного — подремать.

Было предусмотрено и это. Всех развели по спальням, и Софья наконец-то почувствовала себя как дома.

На другое утро, плотно позавтракав, сели на автобус, идущий в Париж. Еще в Москве все та же Ядвига рассказала им, где можно остановиться. В пригороде, по дороге в Версаль, есть маленький городок Медон, в нем Русская церковь, культурный центр — с библиотекой, залом, где показывают русские фильмы и маленькой гостиницей для паломников. Все это объединено одним понятием «Русский дом». Денег за постой практически не берут, содержат все это хозяйство непонятно на что, видимо на пожертвования.

Когда добрались до Медона и разыскали Русский дом, поняли, что их там не ждали. Оказывается, полагалось заранее предупредить, списаться, сговориться по телефону, оно и приличней было бы. Но прогнать не прогнали, куда деваться, разрешили пробыть несколько дней, а там и другие паломники подоспеют, так что извините, надо бы вам позаботиться о гостинице.

Нина с дочкой и Мишей в тот же день купили билеты на поезд и на беготню по Парижу отвели 2 дня. Софья, проводив их на вокзал, пошла с зажатой в потном кулаке бумажкой в 100 баксов к настоятелю и вымолила еще неделю. Это явилось началом исполнения мечты. Два дня, когда она бегала с Ниной по Тати и лавчонкам, не могли считаться началом исполнения, так как Париж, как и любой Храм, требовал тишины и сосредоточенности. Первым был Сиге.

Сидя на стуле, в Соборе Парижской Богоматери, Софья смотрела на изображение Страшного суда, на закованных в цепи проклятых, и реальность вдруг предстала перед ней в ином свете. Она вспомнила о маме. Перед ее глазами промелькнул замок, с милыми сердцу пустяками, которые, как цемент, скрепляют память о прошлом, все эти диванчики, коробочки, рамочки, скатерки, которые она так лихо пристраивала в мусоропровод. Она вдруг не просто пожалела об этом, у нее захватило дух и заболело внутри от мысли, как она обижала этим маму, и как она обделила себя, отрезая материальную связь со своим родом, кромсая и калеча все эти тонкие эфемерные нити.

Когда друзья начали ее покидать, и чувство одиночества все чаще и чаще посещало ее по вечерам, она, окруженная своим спартанским бытом, не находя на чем остановить взгляд, утыкала его в старые фотографии и карты, монотонно раскладываясь на клеенке. Она вдруг представила, как скучно было маме жить в их выхолощенной квартире, и какой покой возникает у пожилой мадам, когда она бродит по своему замку и рассматривает, например, коллекцию коров, расставленную на бесконечных полочках.

«Что еще? — мучительно думала она, переводя взгляд на окно и вглядываясь в Мадонну. — Что еще меня так мучит? Зачем я здесь? Даже Собор, о котором я мечтала еще в детстве, не так прекрасен наяву, и Сена и набережная, даже сама Тур Эйфель в мечтах более грандиозна, более величественна. Что мне дает это хождение? Оно только разрушает мой мир, так бережно хранимый и лелеемый все эти годы. А что собственно представляет собой так бережно хранимый и оберегаемый мир? Что там такого, о чем всю жизнь думаешь, что проживаешь такую полную, духовно богатую жизнь? Что там такого оберегаемого, кроме этой свернувшейся в маленькую козявку мечты? К чему эти книги, песни, кассеты, что должно было там находиться, что такого погребла под собой эта глыбища, казавшаяся сейчас такой ничтожной и лишней? Что так отвергалось и затапывалось в угоду ей? Да и было ли, что затапывать? Боже, что же я сотворила со своей жизнью? Пустота, жила, не жила — все едино. Даже этого мальчика, которого мне доверила судьба в последний его час, и того проворонила. А ведь зачем-то Бог посадил меня в его машину...

Жалкая душонка, они ведь там еще крутились, нет, в Париж, черт бы меня побрал. Струсил, ах конец моей драгоценной духовности... не попаду в столь любимый и желанный город. Боже, Боже. Прости меня. А может, этот мальчик еще жив? Я ведь не видела, что там произошло, вдруг он жив и я смогу его спасти? Да нет, погиб, и все из-за меня, трусливой коровы. Правильно сделали, если бы пристрелили».

Она замычала и потрясла головой с зажмуренными глазами. Присевшая рядом монахиня пугливо приподнялась и потрусилась в противоположный угол.

«Я должна как-то все исправить, — проговорила Софья вслух, обращаясь к Мадонне. — В крайнем случае, поеду к семье, расскажу им, что он мне про них рассказывал. Адрес выясню в милиции. Там должны знать. Может, и помогу чем».

Она успокоилась и вдруг явственно увидела стоящую в углу фигуру. Это был брат Роже. Он улыбался и махал ей рукой. Но стоило ей сделать несколько шагов в его сторону, как фигура начала таять, пока совсем не пропала. «Странное место, — думала Софья, оглядываясь на Собор и отходя от него все дальше. — Что-то со мной там произошло, пусто так, как будто близкого похоронила. До дому бы добраться. Ну его, этот Париж».

Но деньги были плочены, и она устало и методично обходила все такие памятные и родные места, хотя обещанного себе счастья почему-то не испытывала, и даже не понимала, как она могла так эпотажно заявлять «Увидеть Париж и умереть».

Последним пунктом был Версаль. Побродив по обветшалым покоям и полюбовавшись пыльными покрывалами королевских опочивален, Софья, погуляв по парку, вышла к прудам, где народ кормил карпов. Зрелище было странное. Расплодившиеся карпы стояли стоймя, высунув розовые пятячки открытых ртов, откры-

вающихся и захлопывающихся, если в них что-то попадало. По поверхности пруда шла постоянная рябь.

Посмотрев несколько минут, Софья вздохнула и пошла к киоску, где продавались традиционные бутерброды и кола. Держа бутерброд в одной руке и бумажный стакан с колой в другой, Софья оглянулась, чтобы убедиться, что брат Роже, к которому она постепенно привыкла за время путешествия по Парижу, следует за ней. Сидя под деревом в отдалении, он призывно махал ей рукой. Софья удовлетворенно хмыкнула. Последний разговор, казавшийся чрезвычайно важным для Софьи, остался неоконченным, и она жаждала продолжения.

Каждую состоявшуюся беседу с братом Роже, Софья как-то называла. Эту — она назвала «в приближении счастья».

«Если бы мы могли это понять, — слышался ей глуховатый голос брата Роже, — можно жить счастливо, даже в самые мрачные дни... Быть счастливым, — это значит идти к простоте: к простоте сердца — и жизни. Но простота не должно порождать суровости и осуждения, не должна лишать человека щедрости. Дух простоты рождается из доброты сердца. Когда простота связана с сердечной добротой, тогда даже тот, кто, казалось бы, ничего не имеет, может создавать вокруг себя поле надежды», — «Как это верно! — восхищенно шептала Софья, — как многому мне еще надо учиться и как много я, наконец, поняла. Мое желание простоты шло от душевной лени и эгоизма, а не от доброты сердца. Разная простота оказывается бывает. Я боялась сложных ситуаций, боялась, что меня заставят страдать и сопереживать чужому горю, мне казалось, что чем проще я это себе объясню, тем меньше меня заденет и всколыхнет чужая боль, не потревожив мой богатый внутренний мир. Стремясь к простым решениям, я сознательно все упрощала, забывая об окружающих. Почему, ну почему я убежала тогда, как заяц, из машины? Почему я не расспросила его, кто за ним гонится? Почему я берегла себя, не желая разговаривать с мамой о прошлом? Мне все казалось, что у неё, там, нет ничего важного и интересного для меня. А для нее? Не было вокруг меня поля надежды. Да я собственно и счастлива то не была никогда, — вдруг подумала она с удивлением. — Возможно ли оно, счастье это?»

«Бог хочет, — всплыли в сознании слова брата Роже, — чтобы мы были счастливы, но сможем обрести его только в единении с Богом, живущим в нашем сердце», — «Он прав, хорошо бы мне позволили прожить еще одну жизнь, теперь, когда я многое поняла, я прожила бы ее достойно, правильно, полезно».

Софья с тоской посмотрела на сэндвич, зажатый в руке, и начала пристраиваться к нему, чтобы, откусив, не выронить из середины начинку. Обрывки беседы крутились в голове, пока она жевала еще теплую булку, запивая ее холодной из-за наколотого льда колой. «Что же он еще говорил о счастье? Что-то самое главное, — если вспомню, моя жизнь изменится. Да, вот еще, тоже очень важно, — если нас одолевают сомнения — это не что иное, как мгновения неверия. Важно обуздать помыслы, чтобы устоять перед бесчисленными требованиями, которые предъявляет жизнь».

Дожевав сэндвич, она посидела еще немного с закрытыми глазами, стараясь продлить воспоминания, и тут ей в ребро что-то уткнулось. Она повернула голову и увидела, что вплотную к ней сидит давешний бандит, отпустивший ее две недели назад на свободу. «Вы что? — прошептала она испуганно, — зачем вы здесь?»

Он ничего не ответил и засмеялся, а в сердце начала разрастаться боль, волнами расширяясь по всему телу. И вот уже над ней склонились двое, опять прибли-

жившийся бандит и брат Роже. Они начали спорить, но суть их разговора ускользала от Софьи, она прислушивалась только ко второму голосу брата Роже, обращенному к ней: «Не бойся, это переход, сейчас он закончится, и все будет прекрасно».

Голос уже давно молчал, когда прохожие обратили внимание на лежащую пожилую женщину. Красная каскетка валялась рядом, седые пряди в беспорядке трепал легкий ветерок, а бледные губы улыбались, как если бы она слышала суровый голос сестры Малгожаты: «Плохой город, вредный для души, не ездите».



Нина Воронель

ПОТЕРЯННАЯ ГЛАВА

Из романа "В тисках между Юнгом и Фрейдом"

35 лет назад рядом с именами двух светил психоанализа, Зигмунда Фрейда и Карла Юнга, вспыхнула еще одна яркая звезда. В подвале Женевского Института Психологии был обнаружен пролежавший там почти 60 лет запыленный чемоданчик, полный неизвестных доселе писем Фрейда и Юнга к таинственной Сабине Шпильрайн.

Сабина, талантливая молодая еврейка из Ростова, в начале двадцатого века соучаствовала в интеллектуальном подвиге двух столпов современной психологии, а потом была забыта, потому что в 1923 г. она, по приглашению Троцкого, уехала из Европы в Москву "строить нового человека. Когда постепенно выяснилось, что Сабина была возлюбленной Юнга и многолетней корреспонденткой Фрейда, несколько режиссеров сразу создали серию современных фильмов о ее роли в конфликте между двумя основателями современного психоанализа. Но упустили из виду последние двадцать лет ее жизни в СССР.

А судьба ее была ужасна — изгнанная отовсюду и лишенная докторского диплома, она нашла приют в Ростове, где в 1942 г. была расстреляна нацистами в Змиевской Балке вместе с 27-ю тысячами других евреев. В романе "В тисках" маленькая девочка Сталина, соседка Сабины по коммунальной квартире с 1936-го года до самого ее трагического конца в Змиевской Балке, на старости лет записывает предсмертную исповедь Сабины. Современные исследователи истории Сабины — сын Сталины Марат и его жена Лилька — по крупицам воссоздают, отчасти домысливая, печальное существование двух героинь в советской провинции 30-х годов прошлого века.

После смерти Сталины Лилька случайно обнаруживает в ее лэптопе неизвестную главу из исповеди Сабины.

*

«А это что?» — вдруг спросил Марат и ткнул пальцем в файл с невыразительным названием «Нью-С». Лилька открыла файл и обнаружила какой-то неизвестный кусок прозы изрядного размера под заголовком "Сабина — вдогонку".

Сабина — вдогонку. (Вена, февраль 1913 года)

Хуже венского января может быть только венский февраль. Особенно в тот день — с неба валит отвратный мокрый снег, немедленно застывающий на тротуарах хрупкой ледяной корочкой, под которой притаились коварные холодные лужи. В такую погоду хороший хозяин и собаку из дому не выгонит, но мне необходимо было выйти из дома — сам великий Зигмунд Фрейд назначил мне встречу у себя в кабинете в одиннадцать часов утра. Я собиралась поговорить с ним о своем буду-

щем, а если удастся, то и обсудить мою новую работу, в которой я утверждаю, что инстинкт продолжения родасбалансирован в природе инстинктом саморазрушения. Я надеялась, что после окончания моего семинарского курса он оставит меня в Вене при себе ассистенткой: будет передавать мне часть своих пациентов и обсуждать со мной свои новые идеи. У меня было небольшое преимущество перед другими претендентами на это место — великий человек ревниво охранял свою паству и не мог перенести моей любви к Юнгу. И потому мог бы придержать меня поближе к себе, в надежде вытравить эту любовь из моего сердца.

Хотя профессор Фрейд не был бабником и не бегал за каждой симпатичной юбкой, я знала, что он питает слабость к хорошеньким молодым девушкам, и потому с утра занялась прихорашиванием. Я надела облегающее темно-голубое платье и серые сапожки, в точности подходящие к моей серой каракулевой шубке. Волосы я распустила, зная, как они оттеняют мою нежную кожу, но из-заветра, несущего в лицо хлопя мокрого снега, мне пришлось надеть серый каракулевый берет, насильно навязанный мне мамой.

Я взяла зонтик и оглядела себя в зеркале: получилось очень мило — великий Фрейд должен быть доволен, он терпеть не мог синих чулков. Я пришла на несколько минут раньше и недолго постояла в подъезде, стряхивая мокрый снег с воротника и берета. Большое зеркало в торцовой стене подтвердило, что цвет лица у меня отличный. Ровно в одиннадцать я звонила в звонок у заветной двери. Мне открыла младшая дочь Фрейда Анна, которая попросила меня подождать минут десять в прихожей, пока папа закончит завтрак.

Эти десять минут я постаралась использовать получше — сняла шубку и берет, наново расчесала локоны и хотела было еще раз продумать свою заранее заготовленную речь, но меня прервал резкий и долгий дверной звонок. В святыню профессора Фрейда звонили обычно мягко и кратко, стараясь не потревожить великого человека. А звонивший в то утро явно был человек бесцеремонный. На звонок из комнат Фрейда никто не вышел, и нетерпеливая рука на лестнице нажала на кнопку звонка еще дольше и резче. Я пожалала плечами и сама отворила дверь — сходу отгеснив меня от порога, в прихожую размашистым шагом ворвалась высокая дама в длинной меховой шубе.

«Профессор Фрейд у себя?» — спросила она и двинулась вглубь квартиры, так и не стряхнув снег со шляпы и с плеч. Шляпатоже была меховая.

«Вам назначено?» — осведомилась я, защищая свои интересы.

Тут дама, наконец, меня заметила: «Профессор просил меня навестить его, когда я буду в Вене».

В этот момент в коридор вышел сам Фрейд в сопровождении Анны и прощиял, увидев нахальную даму: «Лу, дорогая, какой приятный сюрприз!»

Я тут же поняла, что мою искусно составленную речь придется отложить. И оказалась права. Фрейд сказал мне смущенно: «Прости меня, малышка, но я попрошу тебя погулять часок по улице, пока я поговорю с фрау Саломе. Ведь она в Вене проездом». Когда он называл меня «малышка», я знала, что добра ждать нечего. На я не посмела сказать ему, что в такую погоду гулять по улице отправляют только злейшего врага. Я покорно кивнула и проследила глазами, как он, позабыв обо мне, уводит в свой кабинет эту дерзкую фрау Саломе.

Из глубины квартиры донесся голоссекретарши Фрейда Минны Бернес: «Анна, ты не забыла снять чайник с огня?», и Анна проворно ушла. Решив воспользоваться тем, что никто за мной не следит, я сдернула с вешалки свою шубку и

берет и, вместо того, чтобы выйти на лестницу, проскользнула в полуоткрытую дверь приемной. В приемной было темно, но я не стала зажигать свет в надежде, что меня не заметят и не выставят на холодную улицу.

Через пару минут Минна и Анна вышли в прихожую и сели на маленький диванчик. «Зачем ты выгнала меня в прихожую?» — спросила Анна.

«Чтобы уйги подалеже от ушей твоей мамы», — я услышала, как Минна чиркнула спичкой и закурила. Из прихожей потянуло сигаретным дымом. — «Значит, какая-то дама, ты говоришь, явилась без приглашения и он ее немедленно принял?»

«Ну да, а бедную Сабину выставил на улицу».

«В такую погоду? Кто же эта дама? Красивая?»

«Высокая, вся в мехах. Он назвал ее как-то странно — по-моему, фрау Саломон».

«Ах, Лу Саломе? Тогда все понятно! Я еще в Веймаре заподозрила, что она на него нацелилась. И, как всегда, оказалась права».

«Я не понимаю, что значит, — нацелилась?»

«Ничего, подрастешь, поймешь. Интересно, что эта Лу Саломе от него хочет?»

«Может, она просто хотела его повидать?»

«Лу Саломе никогда не хочет кого-то просто повидать. Она хочет повидать только того, от кого чего-нибудь хочет».

«Я вижу, ты не очень ее жалуешь».

«Какая разница, жалую я ее или нет? Она женщинами не интересуется. Зато во всей Европе не найдется мужчины, который сумел бы ей в чем-либо отказать. Очень интересно, что она хочет выманить у твоего отца».

«Я думаю, что у папы можно выманить только то, что он хочет дать».

«Ты идеализируешь своего отца. Он такой же мужчина, как и все другие».

«Если даже она их всех соблазняет, я не думаю, что ей удастся соблазнить папу».

«Посмотрим, посмотрим, что она с ним сделает!»

«Да что ты о ней такое знаешь?»

«Она начала давно. Уже в 82 году она свела с ума бедного больного Фридриха Ницше».

«Это знаменитого философа, что ли? Так он же давно умер».

«Я говорю тебе, это было сто лет назад, в 82 году прошлого века. Ницше тогда был еще вполне жив, а она только-только приехала из Санкт-Петербурга завоевывать Европу».

«Что значит — сто лет назал? Сколько ей лет, по-твоему?»

«А по-твоему?»

«Лет тридцать с небольшим».

«А ей за пятьдесят!»

«Не может быть! Я стояла в двух шагах от нее — ей не больше тридцати трех!»

«Ты слышала о вампирах?»

«Ну да, это которые кровь высасывают?»

«А ты знаешь, зачем они это делают? Чтобы сохранить молодость. Они так обновляют свою кровь и молодеют».

«Ты хочешь сказать, что эта Лу Саломе — вампир?»

«В каком-то духовном смысле да: она поработает мужчин и от этого молодест».

«Откуда ты все это взяла?».

«Еще в девятьсот одиннадцатом, после конгресса в Веймаре, я порасспрашивала людей и кое-что почитала».

"Почему?"

"Я же тебе сказала, что сразу заметила, как она кружит вокруг твоего отца".

«А кто о ней писал?»

"О ней писали многие — сам Ницше и его сестра Элизабет. Она обвиняла Лу в болезни брата. Да и сама Лу пишет без конца".

«Романы?»

"Бездарные, читать их не стоит, я пробовала. А вот о ее романах с другими писателями очень даже стоит почитать. Все они стали знаменитыми, и твой отец тоже станет".

«Он и так знаменитый».

«Значит, он будет еще более знаменит. У Лу Саломе глаз — алмаз».

«Выходит, она делает мужчин знаменитыми?»

Откуда-то из глубины квартиры жена Фрейда Марта позвала: «Минна, Анна, куда вы подевались?» Минна вскочила: «Пошли. Но маме ни слова».

Уходя, они погасили свет, и я осталась в полной тьме. Щеки у меня горели после рассказов Минны. Особенно поразило меня, что эта вампирша приехала из Санкт-Перербурга. Значит, говорит по-русски. Что бы такое у нее спросить, чтобы никто не понял?

Минут через двадцать открылась дверь кабинета, щелкнул выключатель и вспыхнул свет в прихожей. Я быстро выскочила из приемной и увидела, как великий учитель подает своей гостье шубу. Она слегка одернула свое элегантное лиловое платье и привычно протянула руки назад, не сомневаясь, что шубу ей подадут. Обида стиснула мне горло — мне профессор шубу никогда не подавал, я для него была не женщина, а малышка. Увидев меня, он смутился:

«А, малышка, ты уже вернулась? Прости, наша беседа с Лу слегка затянулась. Познакомьтесь — член нашего семинара доктор Сабина Шпильрайн, а это будущий член нашего семинара — фрау Андреас фон Саломе».

Фрау со сложным именем окинула меня глубоко равнодушным взором, и я поняла, что знаменитой мне не бывать. В отместку я спросила по-русски: «А где вы изучали медицину, фрау Саломе? В Санкт-Перербурге?». Ресницы ее дрогнули, но она ответила тоже по-русски: «Я никогда не изучала медицину». Взяла из рук профессора свою пушистую меховую шляпу, погрошчалась и вышла на лестницу. Профессор, забыв обо мне, зачарованно глядел ей вслед: «Удивительная женщина! — воскликнул он. — Я не встречал человека, который бы так глубоко проник в суть подсознания, как она!»

«Это особенно удивительно, если поверить, что она никогда не изучала медицину», — напомнила о себе я.

«Откуда ты знаешь?» — не поверил он.

«Она сама мне сказала».

«Я что-то не слышал».

Я пожалела, что задала ей свой вопрос не по-немецки, и еще раз подивилась, как это он сам ее об этом не спросил. А просто пригласил участвовать в семинаре. Уж не загипнотизировала ли она его? Ведь мне даже после защиты докторской диссертации пришлось просить рекомендацию Юнга, чтобы меня приняли в члены семинара.

Профессор задумчиво постоял в дверях, потом словно очнулся и позвал меня в свой кабинет, но наша долгожданная беседа текла вяло — он никак не мог сосредоточиться на моих научных соображениях, мысли его явно блуждали вокруг таинственной гостьи в мехах. "Ты знаешь, — перебил он меня, — она рассказала мне, как однажды, гуляя по лесу, вышла на поляну, полную фиалок. И решила собрать букет для своей больной подруги. Но тут же передумала, чтобы не разрушить лесную красоту. Однако, возвращаясь домой, она обнаружила у себя в руке букет фиалок, хоть не могла вспомнить, когда их сорвала. Словно в душе ее жило другое существо, о котором она понятия не имела".

"И что с того?" — тупо спросила я, раздосадованная тем, что он меня перебил. "Как что? Я не встречал более точного описания работы подсознания!"

Я вышла от него с трудом сдерживая слезы — мне стало ясно, что место ассистентки он мне не предложит, он будет сохранять его для другой. За что? Она не сдавала экзамены по анатомии, она не вела в больнице истории болезни вместе с доктором Юнгом, она не билась два года над разгадкой шизофренического бреда своей пациентки, и все же он объявил, что никто так глубоко не проник в суть подсознания, как она. У него были десятки учеников и последователей, но он всем им предпочел ее.

Я поняла, что мне незачем задерживаться в Вене. Мне было двадцать семь лет, и мама бомбардировала меня письмами, умоляя выйти замуж. Она присмотрела в Ростове хорошего еврейского парня Павла Шефтеля, тоже врача, и почти договорилась с его матерью. Остановка была за мной. У меня вдруг не стало сил сопротивляться. Что ожидало меня здесь, в Европе? Юнга я потеряла окончательно, и Фрейда тоже. Не лучше ли поехать в Ростов и выйти замуж, чтобы не огорчать маму? И я совершила самую страшную ошибку в своей жизни — я поехала в Ростов и вышла замуж за Павла Шефтеля, "тоже врача".

На этих словах текст кончался. Лилька хорошо помнила, с чего начиналась исповедь Сабины после оборванного посреди фразы абзаца: «Я уехала в Ростов и вышла замуж за Павла Шефтеля, тоже врача. Павел был очень хороший человек. Единственным его недостатком было то, что я его не любила».

Марат протянул задумчиво: «Так вот почему она умчалась в Ростов и вышла замуж! Ведь тогда никто не мог этого понять. Сам Фрейд поздравлял ее...»

«Кто же такая эта Лу Саломе?»

Марат прищурился, что-то припоминая:

«Знаешь, мне знакомо это имя. Смутно, но вспоминаю. Когда я был ребенком, мама испуленно учила меня немецкому языку — теперь я понимаю, что в память о Сабине. Мы с ней жили вдвоем на втором этаже старинного флигеля, выжившего со времен войны. Я любил играть в прятки с мальчишками в подвале. И однажды, спрятавшись в нише, заметил в стене запыленное окно, ведущее неизвестно куда. Начитавшись разных приключений, я решил, что за окном есть таинственный мир, о котором никто не знает. И оказался прав. Я никому не рассказал о своем открытии, а после ужина спустился в подвал со свечкой и обнаружил, что форточка в окне разбита. Я просунул руку в отверстие и наткнулся на стопку книг, сложенных на подоконнике. Я вытащил все, до которых дотянулся — они были на немецком языке. Не знаю, кто их там спрятал, но я стал их читать исподтишка — это была моя тайна. Одна из этих книг рассказывала об удивительной девушке Лу из Петербурга, очаровавшей всю Европу. Подробности я уже забыл, но имя помню».

«Кто же она, эта неотразимая Лу? Может, поискать ее в интернете?»

И Лилька принялась искать. Сначала с трудом, — все-таки для сегодняшнего интернета неотразимая Лу представляла меньший интерес, чем трагически погибшая, а потом драматически воскресшая Сабина. Знала бы она, что в конце концов обыграет Лу по очкам!

Лилька выживала из интернета мельчайшие упоминания о Лу Саломе. Одни имена наводили ее на другие, другие на третьи, третьи на четвертые и так далее. Они выстраивались в цепочку с частыми прорехами, но постепенно Лилька вошла во вкус — заполнять прорехи было даже интересней, чем просто тянуть цепочку от одного имени к другому. Ее список все рос и рос. Лу Саломе действительно очаровала всю Европу, — Ницше, Рильке, Бубер, Фрейд! Какой-то ее поклонник даже сказал, что по списку ее романов и увлечений можно изучать культурную историю Европы периода belle-epoque.



Александр Матлин

ЭМ-БИ-И

Фима Гольдман пришёл ко мне тихий и расстроенный.

— Можешь меня поздравить, — грустно сказал он. — Я меняю фамилию.

— Ты что, выходишь замуж? — спросил я тревожно.

— Нет, замуж я не выхожу. Я давно состою в браке с женщиной, — отвечал Фима.

— Может быть, ты скрываешься от полиции? Или от кредиторов?

— Нет, совесть моя чиста, — сказал Фима, окончательно закручивившись.

— И я никому ничего не должен. Но я понял, что с моей фамилией я далеко не продвинусь. Отныне я буду Гонзалес.

— Фима, не валяй дурака.

— Да, теперь я Гонзалес, — твердо сказал Фима. — Фернандо Гонзалес. Можешь называть меня просто Федя.

— Послушай, Фима... то есть я хотел сказать, Федя, — сказал я, обращаясь к нему ласково, как к больному. — Может, выпьешь виски? Или джину с тоником?

— Ты не понимаешь, — сказал печальный Фима. — В Нью-Йорке таких, как я, инженеров — как собак нерезанных. С моим именем я тут карьеры не сделаю.

— Но почему Гонзалес?

— Потому что я не могу стать негром или китайцем.

— Ну и не надо. Зачем тебе быть негром или китайцем?

— В крайнем случае, можно быть женщиной, — сказал Фима. — Говорят, в наше время медицина достигла таких высот, что любого самого грубого мужика запросто превращает в дамочку. Но мне это не по карману. Да и жена вряд ли одобрит. Эх, да что говорить...



Фима махнул рукой, вздохнул и замолк в своей непоправимой горечи. Я тоже молчал, ожидая продолжения исповеди. Наконец он снова заговорил:

— Знаешь ли ты, несчастный гуманитарий, что такое эм-би-и? Не знаешь. А что такое дабл-ю-би-и? Тоже не знаешь, куда тебе. Позволь, я объясню. Это то,

слаше чего нет на свете. Это то, что приносит счастье. Эм-би-и — это майнорити бизнес энтерпрайз. Дабл-ю-би-и — уимен бизнес энтерпрайз. Понятно? Ну, на женщину я не тяну, так что дабл-ю-би-и отпадает. Остаётся эм-би-и. Это бизнес, которым владеет майнорити.

— Что такое майнорити?

— Не что такое, а кто такое, — назидательно сказал Фима. — Это представитель меньшинства. Негры, китайцы, индусы, латиноамериканцы — это всё майнорити.

— Как? Китайцы — представители меньшинства? — удивился я. — Их уже чуть ли не полтора миллиарда расплодилось!

— Неважно. Они майнорити. Индусы тоже.

— А русские?

— Нет, русские не считаются.

— А евреи? Евреев-то вообще на свете — кот наплакал.

— Евреи тоже не считаются, — сказал Фима. — Евреи — маджорити. А китайцы *майнорити*. Что тут непонятного? Впрочем, понимать не обязательно. Главное — быть *майнорити* и владеть компанией. И тогда на тебя будут сыпаться заказы, как из рога Эсмарха.

— Ты имеешь в виду рог изобилия или кружку Эсмарха?

— И то, и другое. Неважно. Главное — что по закону нашего штата инженерные заказы должны в первую очередь получать компании категории эм-би-и. Или дабл-ю-би-и. Чтобы ущемлённые *майнорити* или ущемлённые женщины зарабатывали в первую очередь. Вот. Понял?

— А если их не ущемляют?

— Их всегда ущемляют, — сказал Фима. — С этим всё в порядке. Но вот что делать, если заказ очень большой? Допустим, захотел наш штат построить новую дорогу. Или мост через реку. В таком проекте одной только инженерной работы на много миллионов. Тут никаких *майноритив* не наберётся. Да никто им и не доверит проектировать такую крупную вещь, как мост или дорога. Тогда, конечно, штат нанимает нормальную, большую компанию без всяких этих ярлыков. Какую-нибудь всемирно известную акулу капитализма. И ставят ей условие: вы, дескать, обязаны нанять каких-нибудь майноритив в качестве своих субподрядчиков, или суб-проектировщиков. И отмусолить им, как минимум, пятнадцать, а то и двадцать процентов своего куша. Вот. Понял? Иначе — шипи вам, а не проект. И тогда эта самая акула мчится... угадай, куда? Ко мне! К скромному Фернандо Гонзалесу, который владеет скромной инженерной фирмой, которая, благодаря моей скромной латиноамериканской фамилии, вполне законно попадает в категорию эм-би-и. И акула капитализма, виляя хвостом, умоляет меня принять участие в проекте — за хорошие деньги и без всякой инженерной ответственности, поскольку от таких, как я, майноритив никто никакой ответственности всё равно не ожидает. Вот. Понял? И мне не надо метаться в поисках заказов и не надо ни с кем конкурировать. Сказка!

— Ага, теперь понимаю, — сказала я. — Похоже на жульничество. Ты ведь на самом деле не Гонзалес, а Гольдман.

— Никакого жульничества тут нет! — рассердился Фима. — Всё совершенно законно! Мало ли, кем я был в прошлом! Теперь по документам моя настоящая фамилия Гонзалес и, значит, моя компания на законном основании попадает в категорию эм-би-и. Понял? То-то же. Давай, пожалуй, виски. Или нет, лучше сделай “Маргариту”: мне теперь надо привыкать к текиле...

Мы выпили за Фимин успех в качестве майнорити, после чего я не видел его почти год. Он был занят делами своей фирмы, а я метался по издательствам и сочинял письма, стараясь заинтересовать кого-нибудь изданием своей книги. В общем, жизнь струилась по своему предназначённому руслу.



И вот однажды Фима появился. Он подъехал на роскошном Мерседесе модели ещё не наступившего года и вышел из машины через заднюю правую дверь. За рулём сидел пожилой шофёр испаноязычного вида в фуражке. На Фиме были дорогие ботинки и фиолетовая рубашка с вышитыми инициалами ФГ. Тяжелый перстень на его левом мизинце разбрызгивал лучи благополучия.

— Привет, старик, — сказал он так, как будто мы виделись сегодня утром.
— Есть разговор.



— Фима! — закричал я, с трудом приходя в себя от вида рубашки с инициалами. — Как дела, Фима? Хочешь “Маргариту”?

— Давай лучше текилу в чистом виде. У тебя есть лайм?

Он выдал четвертинку лайма на тыльную часть руки, между большим и указательным пальцами, посыпал солью, потом хлопнул рюмку текилы и зализал посленное место, подобно собаке, зализывающей рану на лапе.

— Хорошая текила, — сказал он, причмокнув. — Вообще-то меня полагаются называть сеньор Гонзалес. Но для друзей — так и быть, пока никто не слышит — я просто Федя. Дела мои — как нельзя лучше. Я завален заказами, гребу деньги лопатой. И ничего делать не надо. Я просто изнываю от безделья. Даже думаю за-

няться живописью, чтобы убить время. Буду писать задумчивые пейзажи. Или, наоборот, портреты знаменитостей.

— погоди, Фи... Федя. Я не понимаю: если ты завален заказами, почему ты говоришь, что тебе нечего делать?

— А чего тут понимать. Мои заказчики сами всё за меня делают. Я тебе уже объяснял, что мои заказчики — это крупные инженерные фирмы. Профессионалы высочайшего класса. Они таким, как я, ничего делать не доверяют. Налей-ка ещё.

Я налил, и мы тяпнули по второй.

— Я, вообще-то, к тебе по делу, — сказал Фима, доливав свою руку. — Понимаешь, мне от этих инженерных акул капитализма отбоя нет. Заказов у меня по горло, но они хотят дать ещё больше. А я больше не могу. Всему есть предел.

— Какой может быть предел, если ты всё равно ничего не делаешь?

— Только это между нами, — сказал Фима. — Штатная администрация начинает косо смотреть на меня. Идут разговоры вроде “Как это компания Гонзалес Инжиниринг может одновременно выполнять столько заказов?” Ну и всё такое. Добром это не кончится. Поэтому я и пришёл к тебе.

— Как же я могу тебе помочь?

— Очень просто. Открой свою инженерную компанию, эм-би-и.

— Ты меня с кем-то путаешь, Федя. Я не инженер.

— Какая разница — инженер ты или нет? — поморщился Фима. — Это детали. От тебя никто ничего не ждёт. И ничего делать не надо. Только получать деньги.



— Ага. И половину отдавать тебе, — догадался я. — Знаешь, как это называется? Взятничество. Оба сядем в тюрьму.

Моё невинное предположение вызвало совершенно неожиданную реакцию. Фима рассвирепел.

— Как ты смеешь подозревать меня в мошенничестве? — закричал он, разбрызгивая слюну. — Тоже мне, друг! Лучше налей ещё рюмку.

Выпив и успокоившись, он объяснил:

— У тебя будет своя фирма, тоже эм-би-и, но она будет моим субподрядчиком. Часть своих заказов я буду передавать тебе. За то, чтобы управлять тобой, я буду на законном основании получать 10 или 15 процентов от стоимости работы. Остальное твоё. Будешь грести деньги лопатой. Но тебе придётся сменить имя, чтобы твоя фирма попала в категорию эм-би-и. Ты будешь Хулио Мартинес.

— Ну, Мартинес — я понимаю, — нехотя согласился я. — Где Матлин, там и Мартин. Где Мартин, там и Мартинес. Но почему Хулио? Ты на что-то намекаешь?

— Не хочешь Хулио — не надо. Будешь Хавьер. Или Хуго.

— А что, это обязательно, чтобы моё имя начиналось на хэ?

Фима почему-то снова рассердился, и я испугался за свою будущую инженерную карьеру.

— Ладно, ладно, я пошутил, — сказал я примирительно. — Хулио — так Хулио. А для друзей — просто Ху. Для близких друзей могу быть даже Ху-Ху. Только вот гребти лопатой я побаиваюсь. Пояснища болит.

— Ну и дурак, — сказал Фима, хлопнул дверью и снова пропал надолго.

Время от времени мы с ним перезванивались и обменивались имейлами, но встречаться было некогда. Оказалось, что Фима теперь занят по горло. Он боролся за права нелегальных иммигрантов из стран Латинской Америки. Правда, он не называл их нелегальными. Если я в разговоре употреблял это слово, Фима гневался и обвинял меня в расизме. Он требовал, чтобы я называл их “обездокументенными гражданами”.

Но вот в какой-то момент Фима перестал отвечать на мои редкие имейлы и ещё более редкие звонки. Наше общение оборвалось. Я пытался найти Фиму через общих знакомых, но они, так же, как и я, ничего про него не знали. По прошествии нескольких месяцев я запаниковал и решил проверить Фиму по месту жительства. Конечно, являться к человеку без звонка неприлично, но у меня не оставалось выбора.

Фима оказался дома. Он сидел перед зеркалом в плюшевом халате, надетом поверх фиолетовой рубашки, и сосредоточенно выдавливал из подбородка прыщ. Увидев меня, он не проявил ни радости, ни, хотя бы, удивления. Я сказал, стараясь выдержать дружелюбный тон:

— Привет, Федя! Как дела?

— Привет, — сказал Фима, не отвлекаясь от прыща. — Никаких дел нет. Я закрыл свою эм-би-и. И я больше не Федя.

— Что случилось?

— Что, что — капитализм. Я не выдержал конкуренции. Появился какой-то шустрый хмырь из Эквадора, открыл свою эм-би-и и начал писать заказчикам письма про меня. Что я, дескать, никакой не майнорити, а самый обыкновенный еврей из России. И все акулы испугались давать мне заказы. Я хотел объяснить с этим эквадорцем, но — бесполезно. Он по-английски ни бум-бум. А по-испански я кроме “фак ю” ничего не знаю.

— Это по-английски.

— Тем более, — сказал Фима, поморщившись от боли в прыще. — В общем, эм-би-и мне больше не светит. Так что, я решил стать женщиной. Сделаю операцию, поменяю имя и открою свою дабл-ю-би-и. Вот. Понятно? Буду миссис Фернандита Гонзалес. Можешь звать меня просто Фроня.

— А как на это посмотрит твоя жена?

— Жена от меня давно ушла, — сказал Фима, не проявляя эмоций. — Она, наконец, разобралась в самой себе и поняла, что не рождена для разнополового брака. И ушла к другой такой же.

Фима покончил с прыщом и принялся выщипывать брови.

— Вот стану женщиной, может, вернётся, — добавил он со вздохом.

После этого я опять долго не видел Фиму и не разговаривал с ним. На имейлы он отвечал редко и неохотно, на звонки — почти никогда. До меня дошли слухи, что Фима снова гребёт деньги лопатой, купил яхту и основал фонд помощи женщинам стран Латинской Америки имени самого себя.

Но однажды он вдруг позвонил.



— Привет, старик! — сказал он красивым грудным голосом. — Это я, Фроня. Узнаешь?

— А как же! — радостно закричал я. — Конечно, узнаю!

— Ах, я так и думала, что ты меня узнаешь, — жеманно сказал Фима. — Ведь мы старые друзья, правда? У меня к тебе просьба. Подпиши, пожалуйста, петицию в защиту прав женщин.

— Тебя ущемляют в правах?

— Ещё как! — сказал Фима. — Ты знаешь, что женщинам недоплачивают, по крайней мере, восемнадцать процентов их заработка? А ты знаешь, что на высоких руководящих позициях женщин на двадцать два процента меньше, чем мужчин? И что одиноких матерей на тридцать процентов больше, чем одиноких отцов? Если у тебя есть ещё какие-то вопросы, можешь спрашивать.

— Да нет, вроде, всё я ясно — смущённо пробормотал я. — Впрочем, есть один вопрос: как ты предпочитаешь писать — сидя или стоя?

— Конечно сидя, — сказал Фима. — Что я, Хемингуэй?

— Ты меня не понял. Не писАть, а пИсать. Сидя или стоя?

— Ты дурак, — сказал Фима грудным голосом. — Расист. Шовинист. Сви-нья паршивая. Не смей больше мне звонить.

Он бросил трубку, и с тех пор мы никогда не виделись. Но вопрос, который так и остался без ответа, мучает меня по сей день.

New Jersey, May 2014



Анна Соловей

«КОСМОНОГИЙ»

Главы из романа

Драгоценный читатель, с дрожью и надеждой на снисхождение представляю на твой суд несколько глав из нового романа «Космоногий», в котором излагается история необычайной судьбы крестьянки по прозвищу Божий Одуванчик и ее верного козла Мэйсона. Сочинение сие предназначено как для простого и наивного уха, так и для людей искушенных в искусствах. В представленных главах мы застаем Божьего Одуванчика в ее родной деревне Опухлики, пока она еще ни сном ни духом не ведает, что неминуемая судьба сорвет ее с печи и забросит в дикие столичные джунгли, где ей вместе с козлом придется вмешаться в события немалой государственной важности... Всегда Ваши, автор.

Глава 2. Где мы попадаем в деревню Опухлики

Наглый ветер играл дюжиной голубых с проседью подштанников немалого возраста и размера. Под его озорными ударами мокрые подштанники нервно хлопали в воздухе и норовили сорваться с веревок. Хозяйка их, не обращая внимания на ветер, продолжала развешивать белье. Она представляла собой женщину крепкую и совсем не старую, шестидесяти с гаком, в наше время в таком возрасте только невестятся. Напомню, кто забыл, двадцать первый век на дворе. Но, увы, только не на дворе у Одуванчика, а Одуванчиком за пушистый шар на голове ее прозвали еще в детстве, когда она, приплясывая, ковыляла по деревне на кривых от голодухи ножках.

Так и привыкла с малых лет к этому имени, но в какой-то момент оно показалось ей несолидным и неподходящим к годам. Сменить его полностью на Евдокия Петровна, как в паспорте, было уже невозможно, и тогда она решила называться Божим Одуванчиком. Сама себя Божий Одуванчик считала старухой — древней, но мощной. Иногда вдруг просыпалось в ней женское кокетство и тогда ночь напролет бродила она по горнице, меняя разные бюстгальтеры, привезенные еще батей в виде трофеев.

Она жила одна, и опеки ниоткуда не ждала. Сама вела хозяйство, жизнь свою отделила плотно от государственной, собственную голову от главы правительства, — ровно настолько, конечно, насколько, может это себе позволить крепостной человек. Любила земельку свою, козла своего Мэйсона, и что говорить, на ней земля держалась и держится; какие бы катавасии не заваривались вокруг, какие бы катаклизмы не сотрясали одуванчикову избушку на курьих ножках, — избушка вместе с хозяйкой отряхнется и дальше пойдет. А из этого что следует? А то, что жалеть ее не надо, чего ее жалеть? Она крепкая, ничего с ней не станется, на полном своем обеспечении, панталоны подштопаны, носочки подвязаны.

Пока Божий Одуванчик метала белье на веревки, около ее забора, чистыми банками из-под огурчиков утыканного, остановился грузовик. Из окна грузовика высунулась молодецкая морда незадачливого фермера Григория.

Гришка поглядел на Одуванчика, подумал чуть-чуть, и решившись, выпрыгнул наружу.

— Вот не ждал тебя здесь увидеть...

— Чего это? — удивилась Одуванчик, — где ж ты меня хотел увидеть, по телевизору, что ли?

— Да ведь сегодня все в райцентр рванули, глянь вокруг, тишина, как на похоронах. Говорят, пиво будут давать, и певицы приедут. А ты здесь колупаешься!

— Чего я там не видала, в этой вашей Санта-Барбаре! Ты что думаешь, я бабка бездельная? У меня делов полные штаны. С утра гоняюсь, не присевши...

Одуванчик зацепила прищепкой длинную простыню, протянула Гришке другой конец, глянула неодобрительно, — мол, чего стоишь, помоги.

В Гришкины планы развеска белья не входила, и он рубанул рукой в воздухе.

— Ша! Я, между прочим, тороплюсь, но раз уж я тебя увидел, — скажу.

Он остановился.

Одуванчик переспросила, чуя недоброе.

— Ну, чего скажешь-то?

— Скажу.

— Да говори ты... тоже боец против овец.

— Так, — да? Ну, хорошо...

Гришка выпрямился. Сколько он не готовился к этому моменту, но сердце дятлом заколотило, пульс зашкаливал, давление вообще рвануло черт знает куда.

— Бабуся Одуванчик, Клавдии передай официально, уезжаю я, — отчеканил по-военному Григорий.

Глаза Одуванчика округлились, но она, словно не слыша, крикнула ему как глухому.

— Чего?

— Скажи Клавдии — отбываю, — уже смелей, двум смертям не бывать, — повторил Гришка.

— Чегооо? — со скрытой угрозой опять гаркнула Одуванчик.

— Ну чего зачевокала, чевока, старая карга... «чего? чего?», ты еще глухая вроде не была. Клавке передай, что тю-тю, пролетаю я фанерой над Парижем.

Одуванчик рванула простыню, другой край которой держал Григорий, и так ловко замотала в нее добра молодца, что он спеленутым чурбаном, упал на землю.

— Ты чего там прогундосил? — спросила бабка свысока.

Гришка не сдавался.

— Не твое, между прочим, дело, это промеж нами дело!

— Промеж, промеж... а промеж глаз не хочешь? — И Одуванчик стукнула изменника по лбу, чувствительно, но не слишком сильно, она меру знала, два мужа у нее было, и ничего — все остальное довольны. Оглушив врага, Одуванчик вцепилась в засупоненного Гришку и начала трясти его как грушу, аж зубы застучали. Трясла она не без жалости, но Клавку ей было жальче, она всегда особо заступалась за бабское сословие, и если бы феминистки знали о существовании Одуванчика, то все их проблемы были бы легко решены.

Природная скромность не позволяла Одуванчику лезть в первачи и потому она боролась, как могла, на местном уровне. Обессилевший от тряски Гришка что-

то мычал, но бабка, не слушая, продолжала делать ему внушение, чтоб навсегда запомнил.

— А что ты сам-то не скажешь ей, тля беспризорная?! Стисняешься?! Как мозги девке крутить, он бежит, забыв портки, а как отвечать, так у него все члены трясутся!

Однако делу время, потехе час. Отсчитав, сколько по ее мнению было положено, Одуванчик оставила Гришку, и, пригорюнившись по девичьи, села в углу двора на бревнышко. Гришка же, освободившись от тряпок, сиганул за ограду и, отойдя от нее на несколько метров, прокричал:

— Черт тебя задери! Ты слова сказать не дашь, а я к ей с объяснениями, понимаешь... не люблю я просто все эти бабы сопли! Я ведь серьезно. В Норвегию завербовался лес рубить. Осточертело мне тут, понимаешь? В Европу потянуло. Не все мне навоз таскать. В дерьме этом околачиваться. А Клавка, сама знаешь, тут задницей приклеенная... глаза на мокром месте... а мне жизнь решать надо. Жизнь, понимаешь?!

Гришкина речь опять завела Одуванчика.

— У тебя, вишь, жизнь, а у нее не жизнь? Она тебя, сопляка такого, холила, лелеяла, за уши из пьяни тащила... Глаза на мокром месте... Да уж, знаю Клавку, если б она здесь сейчас стояла, от тебя б самого мокрое место осталось, она бы тебя колом-то так вытянула! Жаль, у меня уже силы не те. Тыфу на тебя, нечистая!

Одуванчик схватила полено и метнула в Гришку, он лишь покачнулся и жалобно крякнул. Не самая он большая сволочь, другой бы уж давно умчал и следов не оставил, а Гришка все колебался, рвалось сердце. Часть его прилипла к мягким Клавкиным телесам — молочным морям и кисельным бережкам, а сердца вторая часть звала к жизни неизведанной, веселой, пусть где-нибудь за бугром, с худошавой, — а почему бы и нет, — иноземкой с хлыстом из «Плэйбоя». Что делать-то, и-эх! двигаться надо.

— А что я? — простонал Гришка. — Она не убогая, вон пусть на конкурс красоты идет... попой повертит, может, что и вывертит! Я не смеюсь, может, мне ее пока всю жизнь перед глазами стоять будет... Но я ведь жизнь решаю, а не хиханьки. Ты вот собакой на меня кидаешься, а весь век на карачках и Клавка твоя тоже будет...

Одуванчику надоело, и с криком «Кыш, кыш, насекомая!» она метко зафинтипила во вражину тряпкой в козьем навозе. Враг отступил с позорным визгом.

Долго еще в кабине железного коня умывался молодец горькими грязными слезами. Фотография милой Клавы в узкой купальной ленточке на чреслах, вид сзади, светила ему со стекла. Но надпись «I love you. Верному другу Григорию от Клавдии», то и дело расплывалась в его скорбных глазах. Нехорошо вышло прощание, и только мудрые козы нежно бляли вслед пылящему грузовику.

Глава 3. Рука провидения.

На главной площади райцентра Кастрюля, Ленин, которого местный председатель в редкие минуты просветления выкрасил в цвет небесной голубизны, смотрел вперед с характерным добрым прищуром усталых, все повидавших глаз. Вот ведь умер давно тот председатель, а Ленин жив, всегда голубой, и шелуха от семечек везде, как будто время остановилось в дреме, потягиваясь от сонного удовольствия. Население, сгрудившееся вокруг вождя, жевало воблу, семечки и несколько расстраивалось, так как обещанное начальство: то ли кандидаты, то ли олигархи, то ли африканские уполномоченные, да бес их знает кто, опаздывало уже на

час. С минуты на минуту мог пойти дождь, небо хмурилось, а Федя, местный блюститель порядка, смотрел мрачно. Рядом с ним стояло шестеро приезжих лбов для «мало ли чего», хоть Федька клятвенно уверял начальство, что народ у них мирный, и «мало ли чего» не ожидается. На площадь были демобилизованы сливки, снятые с местного населения. Мотались самодельные плакаты.

Все волновались, — что дадут, что пообещают, кого урежут в правах. Оператор, протухнув от ожидания, пытался в который раз камерой изобразить энтузиазм мающегося жаждой народа. Он наехал на колоритное лицо бородатого мужика с пустой сеткой в руках и сердито надвинутой зимней шапке, несмотря на лето. Крупный план... неплохо. Ну, хоть Стеньку Разина сейчас с него вайй, только нос немного на сторону. Мужик ухом почувствовал внимание и резко подскочил к оператору.

— Мужик, е-кэлэмэнэ, ты че тут снимаешь, а, может, ты из этих, из иностранцев? Ты меня сотри, давай, с пленки, под суд у меня пойдешь! Светка, смотри, он нашу власть хочет скапрамитировать, снимает тут!

— Та че он снимает? — спросила без особого интереса Светка.

— Тааа че снимает?.. — передразнил мужик. — Меня снимает! Я, блин, не брился, не стригся, я, может, пятаю неделю в бане не был! А он тут в засаде, с вражеской стороны! Федька, проверь его!

— Ну, чего ты, Тимофеич, бузишь? Он с нашей телестудии местной, дай человеку работать.

— О, так бы и сказал, а чего он сам сказать не может? У ты язык отнялся, парень? — прицепился Тимофеич к оператору. — Значит, ты это че, в телике работаешь? Молодец! Так скажи мне, пиво давать будут? Ты хоть мне правду скажи. У тебя глаза чистые... В прошлый раз наврала, кока-колу выбросили. Никакого почета нашему продукту! Ну че ты молчишь? Федька, блин, че он молчит, у меня нервы не железные!

Оператор, почувяв беду, открыл, наконец, рот.

— Пиво дадут, «Балтику».

— «Балтику» под каким номером?

— Номер не знаю.

— Что ты врешь?!

— Четверку дадут.

— Ааа... ладно, четверку так четверку, только не кока-колу эту их...

«Нужно держать оборону, — подумал оператор, — если пиво не дадут придется быстро рвать когти», — и он потихому начал продвигаться к тылам.

В массах наводила порядок немолодая женщина в золоченых очках по прозвищу «училка», своей костистостью напоминающая драгоценные останки мамонтов, найденные неподалеку в местных землях.

— Тихо, товарищи, умерьте свой пыл. Тот, кто еще не успел, регистрируемся по списку. Ставлю плюсики, уходить будем тоже организованно по списку. Экологический центр: «Летите голуби!» Ответственный Пирожков!

— Я, — скорбно отозвался юноша, с глазами большого ежа, зажавший под мышкой клетку с двумя зачуханными голубями.

— Ааа, появился, наконец. Распишитесь, голуби.

Училка подсунула Пирожкову бумагу.

— Голуби писать не умеют, — обиделся Пирожков.

Училка нахмурилась.

— При чем тут голуби? Я пошутила...

— А если вы издеваетесь, я точно ничего подписывать не буду. — побелев от упротства, заявил Пирожков.

— Пирожков, вечно вы с партийными разногласиями! Я за вас крестик поставлю.

— Вот, смотрю, и общество «Свобода пола», наконец, прибыло. Ответственный — Остроух!

Маленькая храбрая девушка с синими волосами, в картузе и в галифе протолкнулась, не обращая внимания на сальные ухмылки, и дерзко поставила свою подпись. Училка с недоверием изучила закорючку.

— Расписались, да?... Угу... будем считать... и я вас попрошу без самодеятельности. Иначе вы будете выведены за рамки.

Девушка Остроух встала на цыпочки и прямо в ухо Училке проскандировала:

— Мы! И так! За! Рам! Ка! Ми!

Училка поморщилась.

— Значит будете поставлены в рамки.

Ну, беспокойное у нас население! Да что у нас, по всему земному шару в этот век двадцать первый — растревожились, кораблей летательных настроили, на месте родном не сидится, свободу им подавай, снуют туда-сюда как муравьи. Вот писатели раньше, они учителями жизни были. Маяковского помните, — «что такое хорошо и что такое плохо»? А сейчас и понятий таких нету. Вчера была одна линия, назавтра другую загнут. Вырастет из сына свин, ну и что? Права свиньи тоже нужно уважить. Так что пишу и лавирую, тут объеду, там пригнусь. Но это минус, конечно, потому что при такой позиции, как тут нобелевку получить? Скажете, зачем она нужна? Во-первых, нужна, имею такое личное к ней, интимное пристрастие, а во вторых, плох тот писака, который к нобелевке не тянется... Но там без морали не обойдешься. А какая она эта мораль? Предположим, найду мораль, постараюсь, а мне в ответ — не та мораль, нам получше нужна. Вот тебе и все, дрянь, по секрету скажу вам — ремесло, да другого не знаю.

От толпы отделился человек, неприметный такой, в штатском платье, и с заботой подошел к ответственной Училке.

— Звонок был, срочный. Мать найдется?

— Какая мать? — вскинулась Училка.

Заботливый учтиво, но твердо, взял Училку под ручку и отвел в сторону.

— Живая, — принялся терпеливо объяснять он. — Живая, причем срочным образом, вынь да положь, мать эту так и так, многодетную, причем. Ну, есть идеи? А то мне самому рожать придется.

— Что вы, Иван Палыч, — заворошилась Училка. — Сейчас поищем, поразмыслим...

— Мыслить нету времени, требуют сейчас.

— Ну, не надо волноваться, вы вон в народ пойдите. Каждая женщина — мать. Хотя бы потенциально.

Училка попыталась оторваться от Иван Палыча, но он быстрым движением ухватил ее за серый рукав.

— Каждая... так, может, вы подойдете? — засветилась надежда в его серых щелястых глазах. Училка возмущенно отмела такую мысль.

— Какое там подойду, меня тут все знают. Кроме того, мой потенциал давно исчерпан...

Взгляд Училки зацепился за унылый женский силуэт: длинная плоская верзила с белесыми ресницами в длинной юбке, в простецком деревенском жакете, и

драной кошелкой яблок в руках. Видно, что она какая-то никакая, безответная, — вот матерью и будет. Учишка подскочила к ней.

— Женщина, это вы детям яблочки несете? Где брали?

Женщина, видимо, заподозрив недоброе, молчала. Учишка бодро крикнула:

— Поздравляю, вы выиграли приз! «Будете матерью, понятно», — шепнула Учишка женщине на ушко: «Это так надо. Многодетной. Всего на пятнадцать минут. И вам хорошо, и общество выигрывает. Все поняли?»

Женщина с кошелкой, не мигая, смотрела на нее, но согласия не выражала. Учишка вышла из себя.

— Что непонятно?! Выйдете из рядов, когда, вот, мужчина вам скажет, — она ткнула пальцем в заботливого Иван Пальча, — получите, что полагается и свободны.

Тем временем, народ тихо волновался, бродил, и опоздание начальства грозило перерасти в нехорошую драку... Кое-где уже начали сыпаться искры от проходящих мелкой рябью задиристых оплеух, когда в небе показался начальственный летающий объект. Следует уточнить, что главная площадь с голубой ленинской фигурой по центру располагалась совсем рядом с полем, на которое могли спускаться с неба важные транспортные средства, так как с путями земными в области дело обстояло похуже.

Известный нам уже, Михайло Славослович, претендующий на местонового барина, под вопли и улюлюканье занял место на трибуне, позади его установились пара мордатых охранников и подлипала-помощник. Михайло Славослович неодобрительно посмотрел вверх голов, но не плюнул пока, а начал нехотя зачитывать приветственный текст.

— Дорогие Кастрюльчане! Без предисловий хочу сообщить вам прекрасную новость. В это вечно кризисное время, я готов возложить на себя единолично всю тяжесть ответственности! Я беру на себя все — дороги, лекарства, деньги, свободу слова. Граждане! Вы, наконец, сможете по ночам спать спокойно, а еще лучше активно заняться воспроизводством населения!

Народ глухо молчал, ожидая чего-нибудь по сути. Но тут ужом повертелась к оратору пожилая женщина со строгим профилем.

— Это мы все слышали, а идеалы у вас товарищ имеются?

Михайло Славослович посмотрел с изумлением на нее, а потом на своих охранников.

— Сколько тебе лет, добрая крестьянка? — спросил барин, прищурившись. Голубой Ленин наблюдал за этой сценой с довольной усмешкой.

— Семьдесят три, и все мои. С пяти лет на земле...

Михайло не дослушав, громко захохотал.

— Ой, не могу, да тебе не сюда, бабка, очки протри, тебе на кладбище надо вперед галошами. Николай! — он кивнул охраннику, — проводи старушку. Вот путаница какая!

Он ржал, как от забавной шутки, которая уморила его до слез, и в толпе тоже начали хихикать, смех ведь он заразный. Тем более смешно было наблюдать, как по-рыбьи трепыхалась старушеница, когда охранник проводил ее сквозь строй.

Пакость прошла бы как всегда, но... тут такое случилось, что народ ахнул и понял: Бог на небе все видит, и кара его неминуема. После этого дня все жители райцентра, и еще в радиусе ста километров вокруг, поверили в Провидение, и даже кривая преступности временно пошла вниз. А случилось вот что: из толпы в сторону трибуны взметнулся предмет, похожий на большое красное яблоко, раздался

взрыв и... кандидат в Спасители был поражен стрелой небесного возмездия, что не вызывало сомнений у свидетелей, хотя бестолковые средства массовой информации пытались связать происшествие с бандитскими разборками.

В суматохе никто не заметил (а если и заметил, промолчал), как в сторону вертолета кинулась длинная женская фигура. Эта была та самая тупая и глухая женщина с кошелкой яблок, на которую пал выбор недогадливой Училки. Еще больше удивилась бы Училка, увидев с какой легкостью, вскочила деревенская клуша в вертолет и подняла его в воздух. Отдышавшись, таинственная незнакомка резко стянула с головы платок прямо вместе с волосами, обнажив крупную бригаю голову. Волосы полетели в угол, туда же отправилась юбка в горох. Под юбкой вместо подсушенных женских прелестей открылись клевые штаны, и... пуговики-то нету от левого кармана! кто бы в этом сомневался*, а из глубин штанов колом торчал пистолет беретта американского завода. Новоявленный мужик поднял глаза и гавкнул по-английски: «О май год! Фак! Шит! Шит!!!» Короче, нашему искусственному читателю объяснять не надо, что эта бесцветная простушка, избранная на почетное место многодетной матери, оказалась типичным западным киллером, на которого некуда клеймо было ставить.

Вертолет хрипел на лету как перед смертью, но киллера это не смутило. У них там, у гадов, тренировочные базы специально укомплектованы списанной российской рухлядью. Собирают у нас, будто бы на металлолом. И что еще возмутительно, в первую очередь этот американский диверсант сорвал со стекла фотку нашей Настёнки Заворотнюк и, вынув из-под языка фотографию покойного Майкла Джексона размером с марку, прилепил ее перед собой.

Летит, летит вертолет над полями, над лугами, трясется всеми своими хлипкими поджилками, а в полях что? Опять целуются до одури, опять секут виноватого сына, опять выпивают... Суета... Но все-таки вертолетное жужжание заставляет их отвлечься и взглянуть ненадолго на смутное помятое небо. Тревожно становится на душе.

И правильно, кстати, потому что вертолет стал вдруг крениться на бок, мотор задурил окончательно. Эх, американчики, враги наши родненькие, как вы не пытайтесь моделировать российскую действительность, фига у вас получится. Даже киллер, бедняга, вот те на, — изменился в лице, а говорят, у них нервы железные...

Глава 4. Подарок с неба.

То, что называется дорогами, существовало в Опухликах в виде непролазной грязи. Впрочем, жители деревни прекрасно научились по ней лазать, для порядка костеря невиданное в глаза начальство. А начальство ведь, ничего кроме добра для них не хотело. Грязь — дело здоровое, та же земля, а дороги пойдут, так бензин начнется, химические отходы, астма, аллергия и тому подобные нехорошие болезни.

* Приметы диверсанта подробно описаны в премудром русском фольклоре:

«А пуговики-то нету от левого кармана
И сшиты не по-русски короткие штаны,
А в глубине кармана — патроны от нагана
И карта укреплений советской стороны».

Божий Одуванчик, утопая по колено в жирной грязи, брела к дальнему полю, прихватить сена для хозяйства. На ногах у нее были длинные сапоги-бахилы, а сзади тянулась самолично сбитая волокуша. По здешним дорогам, где любое колесо после маленького дождичка затягивало в яму, без волокуши, похожей на бесполозные сани, в хозяйстве никто не обходился. Одуванчик впряглась в нее, благополучно замещая тягловое животное, в руках она крепко держала своего козла Мэйсона, чтобы он не утонул в грязи. Мэйсон всегда был рядом, как верная собака. И охранник при рогах, и поговорить можно.

— Вот скажи, Мэйсон, есть ли в мире чудеса? Богоматерь на сундуке я видела перед пожаром, ничего не могу сказать. Леший полотенец спер с забора, да. Но вот сколько живу, — дорогу обещают строить и не строят. И я тебе больше скажу — и не построят! Смотришь телевизор — сплошные дороги, что в Америке, что в Москве и хоть бы одна из них к нам повернулась. Я вон видела по телевизору, старик из одного села додумался Лизе Тэйлор написать, пожалиться. Так она ему ответила: я животным помогаю, потому что они безобидные, а не вам чувырлам. Вот, Мэйсон, ты бы к ней и обратился, пусть невесту тебе пришлет из Америки. Зря, что ль, тебя Мэйсон зовут? Молчишь. Дурная твоя голова... да не дурней других, — нет, чтобы в школу пойти. Вот бы все смеялись, козел, а грамотный. Так и было бы чудо. А то думают, небось, что деревня наша Опухлики, раз на отшибе стоит, так никаких нам и чудес. Ничего нам убогим с неба за просто так не валится.

И тут сверху, — прости нас грешных!.. — прямо в жирную мягкую слякоть с грохотом свалилось нечто... Одуванчик вытаращила глаза — перед ней лежал огромный бритый мужик с парашотом. Внял Бог ее просьбам.

Увы, как догадался уже прощательный читатель, не чистый ангел, упал к ногам Одуванчика, а заморский убийца, несколько минут назад сотворивший свое черное дело в райцентре Кастрюля. Не успела Одуванчик и глазом моргнуть, как неподалеку раздался адский грохот впилившегося в землю вертолета. Она с трудом удержалась на ногах, но за Мэйсоном не уследила, он с перепугу рванул вперед, да так и завяз в грязной жиже.

Киллера, которого злая судьба, — а так ему, подлюге, и надо! — закинула в дебри российских земель, куда даже звук автобуса не донесется, звали Билл. Надо сказать, что у киллеров, даже грязных, есть имена и застарелые детские привычки. Вот наш, к примеру, в те несчастные ночи, которые ему удавалось проводить дома, нежно обнимал во сне плюшевого мишку. Но сейчас ему было не до сантиментов, Билл поднялся и начал медленно отстегивать парашот. Одуванчик стояла совсем рядом, и что удивительно, несмотря на весь ее многотрудный жизненный опыт, совершенно не чувствовала, исходящую от него волну вражеской угрозы. Прямо страшно, граждане, делается, от такой несознательности населения.

Вот Мэйсон, как здоровое животное, обладающее природной интуицией, не забитой химическими кормами, просто криком надрывался, глядячи на этого засланного богатыря, а Одуванчик хоть бы что. Глаза убийцы взглянули на нее в упор. Мужик промычал тоскливо: «ма-ма... си-ти... где?... куу-да?» Дело в том, что языками он владел тридцатью шестью, но только не русским, в России задерживаться не собирался, и в Кастрюлю попал буквально на пару часов из большого почтения к маме, которая просила его помочь какому-то придурку, чей папашка в юные годы оказал ей неоценимую услугу.

Одуванчик, ничего не разобрав из его мычания, прикрикнула:

— Напугал, бесина, до смерти, чушка окаянная! Чего городишь—то не понимаю! Напьются, совсем лыка не вяжут!

Билл попытался объяснить с поселянкой жестами. Он показал руками на небо, потом на останки вертолета, и изобразил говорящего по телефону человека: надо позвонить, мол.

Но Одуванчик поняла его манипуляции по-своему.

— Что ты руками размахиваешь, не слепая! Ты-то хоть сам понимаешь, чего натворил, ты ж разбил механизм! Правильно трясешься, позвонят сейчас начальству, будет тебе деру, — на всю жизнь памяти хватит. Глаза залил и все вдрызг... хорошо хоть сам целый остался, верста безмозглая!

Одуванчик резко остановилась, увидев, что разоряется зря, мужик никак не реагировал на ее старательную ругань. Он казался совершенно потерянным, и вроде как с напряжением пытался вслушиваться в слова, но смысла в них не находил.

«Контуженный...» — подумала Одуванчик. Извергом она никогда не была, а нарушения дисциплины — они в жизни у всякого случаются...

— Ну, не тушуйся так. Ты припрячься, а потом чай забудут. Эти начальники и себя-то не помнят, а то этот хлам. — ободряюще сказала она и занялась увязшим в грязи Мэйсоном, которому тоже досталось на орехи.

— Допрыгался, безобразник! Давай ногу тяти! Нечего было скакать, тут тебе ковры самолетов не расстелены. А мы-тос тобой рот раззявили — «чудеса, чудеса...»! Из-за таких чудес ты ж на чуело похож, а не на козла... Видишь, парень, — обратилась Одуванчик к Биллу — из-за тебя животное пострадало, Мэйсон мой...

Американец, услышав знакомое имя «Мэйсон», встrepенулся:

— «Мэйсон»?!

— Ты чего? Да козел это мой. Как родился, — я его прям мокренького так и назвала, — по «Санта-Барбаре».

— Санта-Барбара? Санта-Барбара? — взволнованно вцепился Билл в Божье Одуванчика, пытаясь добиться объяснений.

— Ну, давненько еще, помнишь, Санту-Барбару по телику каждый вечер гоняли, это не то что сейчас... Да ты, может, и не помнишь, а у меня оттуда они все в сердце застряли. Там еще парень был справный чернецкий такой — Мэйсон, и девка видная, блондинка с фигурой — Джулия. Вот Джульку я ему хочу купить, Мэйсону моему, но пока не могу. Капиталов не хватает. А с Мэйсона что? Как с козла молока. Но сказать стыд, привыкла к нему как собака. Да и он преданный. Таких сейчас не найдешь.

Билл быстро связал в мозгу поступившие данные: некие «Мэйсон» и «Джулия», о которых твердит эта поселянка — ее родственники, покинувшие родину, ради лучшей доли в Санта-Барбаре. Но подтвердить свое открытие киллер не мог, так как зажившие на американских хлебах родственнички из Санта-Барбары, не поделились с крестьянкой даже азами международного языка.

— Что опять мычишь, тюкнуло крепко? Прятаться тебе надо, пока не засушили. — забеспокоилась Одуванчик. — Или чего, негде схорониться? Ой беда с вами, алкашами... Пошли, давай, ко мне, пока не протрезвешь. Шагай, шагай.

Билл понял, что добрая крестьянка хочет пригласить его к себе в избу, попарить в русской бане, напоить теплым, прямо от коровьего вымени молоком и снабдить чистым бельем — они ведь тут в глубинах России щедрые души, все нараспашку, это не Москва распальцованная с мальчиками кровавыми в глазах... И потому, — подумал Билл, — уничтожить эту женщину с козлом, как лишнего

свидетеля, ему нет никакого резона, а если надо будет, так это всегда успеется. Киллер сделал шаг вперед, приятно ухмыляясь.

— А материю что бросил? — строго указала ему Одуванчик на оставленный парашют. — Все им лишь бы по ветру, ниче им не надо, а? Богатые слишком. Вон, мой сын тоже так... разбросался. Сын у меня есть в городе, так вот. А богатые тоже плачут. Слыхал? Бери, бери материю. Гладкая материя.

Киллер понял, чего тут не понять, — и свалил парашют на волокушу, которая оказалась как нельзя кстати. Специально натренированной частью мозга Билл сфотографировал первобытное устройство. Такая конструкция ЦРУ и не снилась, просто и гениально. Одуванчик впрягла мужика в волокушу, и аккуратно сложила шикарную парашютную ткань. «Хоть замуж выходи и на платье и на рубаху хватит — подумала вскользь Одуванчик. — Мужик-то ничего, крепкий». Ой, стыдиться уже таких мыслей пора... а ее все несет, он ей в сынки годится, а мог бы и во внуки... не... во внуки не годится...

— Поспешай — сурово кинула она Биллу, и он послушно потащил волокушу. Одуванчик двинулась за ним, прижав к себе довольного Мэйсона. С неприличия Билла кидало по сторонам, и крестьянка расстроенно хмыкнула:

— Да куда ж ты непутевый зигзаги наворачиваешь. Эх, сила вам мужикам дана немерянная, а вы ее пропиваете. Ничего, ты у меня поправишься... Давай-ка ухнем.

Она сунула Мэйсона в руки мужика, а сама потянула волокушу, и завела ладным густым голосом: “Эх, дубинушка, ухнем, эх, зеленая сама пойдет, подернем, подернем, да ухнем!” Билл был поражен, впервые он слышал такую мощную песню. Ее звуки могли дерево из земли выкорчевать, мертвого поднять, живого умирить... «Ой, ухнем! — вторил Билл Одуванчику. — Ух-нем!»

Одуванчик остановилась отдышаться.

— Вот, Мэйсон, а ты говоришь: чудеса, — сказала она козлу укоризненно.

Глава 5. Любовь и смерть медсестры Клавдии

Дома у Божьего Одуванчика пахло кислыми щами и свеженьким самогоном. Главными жителями избы, кроме, конечно, самой одуванчиковой персоны и любимого козла, был гулящий кот Пискля, да самогонный аппарат–батюшко, не какой-нибудь современный купленный, а собранный еще мозговитым ее мужем и хранимый бережней, чем хрустальная туфелька у Золушки. Аппарат стоял скромненько в уголочке, и был прикрыт нарядным красным знаменем, на котором сияла золотая надпись: “За высокую яйценоскость”.

— Вот тут я и обитаю, — скромно сказала Одуванчик — Сын по городам укрывается. Только с друзьями запечными, таракашками, и болтаю. Погрейся давай, а то совсем задрог как бобик. Да вон тебе одежда, еще батина. Вишь, как одежду делали: не рвется не жметя. Пойду огурчиков наберу, зелени всякой. А ты вон тут располагайся, как удобно.

Одуванчик вышла, вся в раздумьях: и чего это ее дернуло подобрать чужого мужика. Чахлый он какой-то с перепоя, слова не говорит, только мычит и глазами зыркает. А как его сейчас милиция искать пойдет? А ведь пойдет... и спросят тогда: кто вертолет угрохал? Ну, на нее не повесят, она и пальцем не трогала этот вертолет...хорошо... а зачем, тогда — скажут, — старая, ты этого элемента преступного

прятала, отвечай!... опять, как всегда, влезла не в свое дело, человека пожалела. Спроси кого, — так дура скажут и дура, — вот и все дела...

— Одуваанчик! Э-эй! Ты чего не отвечаешь? Кричу, кричу... — за забором стояла Клавдия-соседка собственной персоной. На груди высокой — брошка перламутровая, в ямке под горлом блестящий крестик, на ногах сапожки с каблучками, хоть резиновые, да под крокодилью кожу скамуфлированные, на голове платочек белый с китайским драконом золотыми нитками вышит, и глаза голубые натуральные без обмана. Вот она, Клавка, медсестра, вся здесь, но чтоб она лучше пропала, прям в воздухе испарилась, до того не хотелось Одуванчику черным вестником быть — пусть лучше девка от чужих все узнает. Да, кто видел-то ее беглеца? Козы. Дак они промолчат, мекалки, побоятся тяжелой Клавдиной руки.

— А, Клав, да я и не слыхала тебя, чегой-то, задумалась... Подумать тоже иногда надо, а то язык мелет мелет... а муки и нет...

— С кем ты мелешь не пойму, бобылихой сидишь...

— Да, сама с собой, Клавка. Так сама себе надоела, больше сил нет терпеть.

— Ой, ну и сказанешь, — хихикнула Клавка. — Ты чего ко мне сегодня в медпункт на забор крови не пришла? Я ж тебя на анализы записала. Опять прогуляла. А теперь только через месяц лаборатория придет.

Одуванчик спохватилась.

— Правда, Клаша, позабыла совсем, — то в огороде, то за травой ходила...

— Ладно, не последний день живем, на следующий месяц придешь.

— Уж, постараюсь теперь, — обещала Одуванчик. «А дверь-то надо закрыть, нехорошо, что у меня этот посреди избы сидит»... — мелькнуло у нее в голове.

Клава вздохнула — печально, жалобно, как будто глубоко в груди у нее долго копилась грустная длинная мелодия, которая вот-вот готова была выплеснуться заувывной песней.

— Гришку-то не видела, по случаю, где бродит? — тихо спросила она у Одуванчика..

Одуванчик крикнула, как перед тяжелой работой, — как если хряка, к примеру, резать или бревна катать...ну что тут уже сделаешь: кому блины, а кому и теща, — не зря вздыхает девка, не зря.

— Видела его? — повторила погромче Клавдия.

— Ну! — полуутвердительно, на всякий случай, получше закрепив тело на месте, — ответила Одуванчик.

— Ну?! — повышая постепенно голос, продолжила Клавдия.

Одуванчик подняла кверху голову, тоненько подвыла, словно пробуя голос, и с разбегу начала причитать. Днем с огнем не найдешь теперь таких плакальщиц, — не зря ее звали и на свадьбы и на похороны, а девчонки из ученых экспедиций пытались подпойть, но Одуванчик даром своим не торговала, он ведь сам изнутри зарождается, ежели случай какой придется, вот как сейчас, например. Плач он так продерет, живого места не оставит, а поутру проснешься чист как стеклышко, и похмеляться не надо.

— Ах ты, девка горькая, Клавка Володимировна, на свет лютым горюшком зарожденная, и зачем ты только с ним связалась, с дуrolомом этим, ни кожи ни рожи, только язык на ветру трепется... псины паршивые, твари прилудные, по дороге бежали... матушку его встречали... — причитала Одуванчик.

Клава напряглась, словно сжатая пружина. Ей невмочь было слушать весь этот длинный зачин с его плавным течением и бурными порогами, и она крикнула навстречу, прервав Одуванчиков плач.

— Говори!!! Что он наблудил?
Одуванчик перестала причитать и ответила преспокойно.
— Ничего, Клавочка, успокойся. Совсем ничего, девонька. Болтал только.
— Что болтал? Ну, говори уж!
— Сказал: передай от меня Клавдии, что век ее не позабуду... Что всю жизнь на коленях проползаю, такой не найду, и только дубина стоеросовая может от такой девки ушлепать... Да, он говорил еще про... про...это...
— Что?!! — крикнула снова Клавдия. Сердце щемило. А Одуванчик все тянула и тянула кота за хвост.
— Про это самое... ну...
Одуванчик повернулась к Клавдии мягким местом и хлопнула себя по попе.
— Что это самое?! — опять крикнула Клавдия. Стало темнеть, и голос ее прозвучал как зов о помощи. «Вот несчастье — подумала бабка, — девку-то как ножом резать приходится, а я всегда в бочке затычка».
— Сама не видишь что? Задница! — злясь на себя, вдруг резко отрезала Одуванчик.
— Так вот он, какую мне характеристику выдал, милый мой...окаанный — Клавка, не разбирая ничего вокруг, села прямо на землю.
— Ты чего, девушка, — испугалась Одуванчик, — здесь же грязно, тут и куры гадят, Клав, и козел трусится, ты чего? Сядь вон хоть на бревнышко, Клавдия. И чего ты подумала? Он вовсе и не то хотел сказать. Он в хорошем смысле, что эта... окружность задняя всегда, мол, в его мечтах. Ой, бабы, бабы, все у них в глазах мерещится.
— В каких это мечтах? Сам-то он где? Да говори же ты, старая! Я сейчас разорвуся!
Одуванчик не стерпела. Ты тут перед этой королевишной ковриком стелешься: Клавочка, да Клавочка — а она тебе такое уважение.
— Старая я!.. Ты вон сопли свои подбери, а потом лайся. Я к тебе по-соседски, а то иди, давай, у меня по хозяйству дел хватает, нечего язык чесать.
Клава закрыла лицо руками.
— Ну, прости, я сама не своя, сердце трепетя как сумасшедшее, в голове темнота, прости, коли чего не так. Что он еще сказал?
— Ну, че сказал, че сказал, — вздохнула Одуванчик, — да что они могут сказать? До свиданья, Клава, и прощай. Судьба, говорит, моя такая, — поломатая.
И тут плотину прорвало — Клавкины накипающие слезы, которые ей удавалось до сих пор сдерживать, ринулись наружу. Плакала она взхлеб, сладко, с громкими стонами и всхлипываниями. Одуванчик стянула с веревки полотенце и выдала ей утираться, а сама уселась рядышком, тихонько приговаривая: «ну вот оно так лучше, детонька, горе свое выпусти, отдышись маленько, он и пальца на твоей ноге не стоит, а ты убиваешься»..
— Да, куда его черта понесло? — послышалось между всхлипов.
— В Европу, Клава, в Европу. Отшпываю, говорит, в Норвегию, чтоб она провалилась совсем. Я аж язык прикусила от этой Норвегии вражеской. Я его чехвостить, а он меня, — вот оно как Клавка выходит. Да и нечистый с ним, и наплюнь на него.
Клава начала осмыслять услышанное. Она вскочила и взмахнула полотенцем мокрым от слез, еле Одуванчик успела увернуться. Злодею Гришке, видно, крупно повезло, что прощание его состоялось только с соседкой.

— Это что же мне за горе такое — Норвегию он удумал... Что это за мужик? На глаза не показался! Я ему покажу Норвегию! Я в город сейчас поеду, я ему такое устрою. Сама же его, поросычье рыло, газеты читать приучила на свою голову, телепрограммы про путешествия смотреть. Да он без меня и слова такого не знал — Норвегия! Английский мы с ним учили. Хелло, сенкью, гуд бай... вот тебе и гуд бай. Мозга ему за мозгу стукнула. Принц и нищий выискался!..

Внезапно Клава выдохлась и опять уткнулась лицом в полотенце. Боевой дух покинул ее, жизнь показалась черным закопченным дном кастрюли, с которого не выбраться, не подняться, и ее мечты о любви, о своем доме, в котором они с Григорием — мать и отец, а рядом дети, вечная их забота, — снова улетели в никуда, в Норвегию эту, к лесорубке какой-нибудь, чертяке двухметровой!..

Никак не рещалась в Клавкиной жизни одна простая задачка. И ведь все есть — и ноги, и глаза, голова на плечах, по математике тоже была отличницей, профессия хорошая и вот тебе...нету настоящей любви.

Кажется, ерунда это на фоне глобального потепления, да и вообще, куда ни глянь, страшное дело — мир к чертям летит, экономика просто трещит по швам, ульри на глазах кровь из живых сосут, проблемы атомной войны заедают, весь наш шарик голубой от стихий сотрясается. Шутки в сторону, надо прогресс всеми силами двигать, — а она вот такая дура-баба, уперлась в свое — подавай ей любовь! А что? Может, она-то и перевернет мир, наконец, дурында эта, так круто в землю рогом двинет: «подавайте-ка Гришку моего, такого-разэтакого!», — что все горы в море упадут. Но, думаю, вряд ли перевернет — зачем тогда нужно правительство? А если есть правительство, так зачем тогда Клава со своими страданиями? Как-то оно все запутано, непонятно в мире устроено.

Клава тихонько встала.

— Пойду... Уехал, письма не оставил... Штаны драные только... Одуванчик, ну что мне теперь единёшенькой делать? Что людям сказать? Это ж, как проклятье на меня, только кого на ноги поставлю, от сиськи отлучу, тут же сбегает к чертям собачьим... Буду лучше с пьяницей жить самым последним забулдащим... Вон их вокруг сколько.

— Может, оно и лучше... Клав, ну подумай, не горячись, ты вон красавица... одного мужика унесет, другого принесет...

— Ага... Откуда его принесет, из Норвегии что ли? А любовь-то, Одуванчик? Куда ее теперь деть — любовь мою горячую? За печь, что ли, сунуть? Может, он думает, собака такая, что я железная? Я ему трактор, что ли, а не человек... сердце так и жмет...

— Клав, там медикаменты не привезли еще? Валерьяновку?

Лицо Клавдии побелело, она опустила на бревно, будто раненая, и проговорила жалобно.

— Я не знаю, я как мертвая теперь. Ничего не вижу, и сердце, слышишь, не бьется совсем.

Одуванчик засуетилась.

— Подожди, живую водичку сейчас принесу, кровушку разгонит.

В доме, уронив голову на стол, спал залетный гость. Мэйсон устроился в ногах — сторожил. «Молодцом, — похвалила его хозяйка, — получишь сладенького» Она схватила флягу свеженького прозрачного с синевой первача и побежала обратно во двор.

Клава глотнула самогона, потом еще.. еще чуть чуть — и ожила.

— Спасибо, Одуванчик Божий, чувствую все жилки раскрываются. А по медицине, вот странно, ничего такого у нас не написано. Ах да, мне ж на дежурство надо, побегу. Я тебе не рассказала еще, что в районе было. По дороге думала, как тебе всю картину опишу. Это же Гоморра какая-то, просто Гоморра! Но этот пес все из головы вышиб.

— Иди, Клавдя, иди, а то крику будет. И, гляди, не убивайся так.

— Да я убитая уже. Я к тебе потом загляну, расскажешь мне про Гришку еще раз.

Клава постояла еще немножко, решительно сделала шаг вперед и заполосным голосом завела: «Ромашки спряталились, поникли лютики, когда застыла я от горьких слоюв... зачем вы девочки красивые любите, непостоянная у них любовь»...

«Вот именно, ешкин кот, зачем, а?» — спросила у неба Одуванчик, и не дожидаясь ответа, потопала к Мэйсону.

Глава 6. Незванные гости

Неисповедимы пути Господа и неисходимы пути российские. Только ноги упрямые, как у Одуванчика в бахилах, да портянках могут одолеть эту болотную топь, а механизмы бездушные только с лету, — земля их не пускает с их колесами, да парами вонючими. Даже джипы навороченные, на непролазных пустынях и горках натренированные, тоже буксуют и тушуются перед загадкой непроходимых земель. И нечего ездить, чему и ехать-то как не злу. Добро оно бежать поперед батьки не торопится.

Вот и сейчас остановились на дороге двое. Кто они сразу видно: прощелыги. Не местные, это точно. Да и вообще люди пустяшные, даром что с оружием. Может, и хвостики у них где растут — да уже темнота опустилась на Опухлики — не видно. Рыскали они, вынохивали, да грязница непролазная всех утопит, и с хвостиками и с крылышками засосет, если рыпаться не будешь. Крутись, вертись, пищи, может, и выпрыгнешь. Вот и эти двое запрыгали, завозмущались.

Один из них — помладше, может, и тридцати нет, с лысой головой и круглый, но не толстый, а именно круглый, все у него какое-то сглаженное, даже нос и тот не торчком торчит, а выкруливается. У второго голова тоже лысая, но он не круглый, а длинный, и голова немного яйцо напоминает. Круглого Алексеем мама назвала, а длинного с головой яйцом — Владимиром, имя красивое, властительное, князя Красно Солнышко напоминает. Глаза у этих проходимцев, как на подбор похожие. Серые, с прищуром, наheckу глаза, а в лицо тебе глянут, так и видно, — пустота, — аж не по себе делается.

Леха, по кличке Молоток, стоял пюзком, еще небольшим пока, вперед, пачкал родной воздух иностранным табаком и недовольные речи говорил:

— Как они ездят тут, эти уроды, а? Ну, темнота! Просто зоопарк какой-то! Во, где школу выживания надо снимать, а то острова необитаемые придумали... здесь вон своих обезьян полно, с деревьев еще не слезли!

— Заткнись, — приказал длинный Владимир, которого среди своих кликали Горынычем. Он не курил, наркотиками не баловался, а, наоборот, в свободное от работы время посещал курсы здорового образа жизни. — Вернемся пустыми —

голову снесут без дураков. Пешедралом двинемся. Потом с трактором договоримся, тачку вытянет.

— И на кой он им сдался, этот спец, — Леха, с неудовольствием кинул на дорогу недокуренную сигарету. — Вот бы меня наполовину так уважали. Неуловимый говорит. Чего у нас своих нет неуловимых?

— Ты ушами больше хлопай, это если по госзаказу грохнешь кого, так неуловимый. По носу у следака проползи, не увидит, — а увидит, так глаза прикроет. А если на частника работаешь...

— А сейчас не разберешь где частник, где участник.

— Меньше хохми, целее будешь. Двинули давай, пока другие желающие не подоспели. И еще, запомни: клиент наш в бабьем платье, но я тебя предупреждаю, если ты под это дело каждой телке будешь под юбку лезть...

— Да нужно мне! Так что, ты всерьез, Горыныч? Почешем по этому болоту пешком?

— Искусство требует жертв, Леха. И лучше, чтобы этой жертвой был не я. — отрезал Горыныч, засучивая штаны и бесстрашно бросаясь в грязь.

Чуяла, чуяла Одуванчик, что не к добру она подобрала слетевшего с неба мужика. Кутался он теперь после банки в теплый бабкин ватник, морда хитрая! Самогон огурчиками захрустывал! Думал небось отсидеться как на курорте в русской глуши, свежим воздухом продышаться. Ан нет — шла за ним охота.

Вывзала заморского убийцу крыжовенская группировка, чтобы заказать ему своего соперника-бандита, — он же по совместительству депутат, он же большой местный начальник. Могли бы, конечно, они разобраться с врагом и без чуждого подкрепления. Но пахан крыжовенский, тоже большая губернская шишка, понты любил, и таким необычным способом решил всех друтанов и недругов поразить, — гляньте, с кем работаем, а будете рот разевать, так самого Бен Ладена с того света вызовем с атомной артиллерией. Вот она гордыня к чему ведет, на что деньги народные тратятся, наняли бы своего убийцу отечественного, так сколько б сэкономили, — может, курятник новый в Опухликах бы построили или аптечку... да ладно, чего зря мечтать.

Думали крыжовенские: взорвет гость по-тихому кого-надо, сфотографируется на память с их паханом и слиняет, а уж по следам происшествия и слава за ними потянется... Но не учли, что есть люди и повыше их главаря, — там, куда вся информация стекается и где свобода слова и выстрела распределяется. Про явление такого мирового светила, как киллер Билл, ряженого в крестьянку, естественно, было пронюхано и наверх доложено, после чего с начальственных высот спустился приказ заманить заморского умельца в столицу лаской и пряником, а то и двумя. Родные-то убийцы от сохи уже обрыдли Высочайшему Повелителю, Пахану всех Паханов, Боссу, Начальничку, уж не знаю как его и назвать поуважительнее... может, Гарри Поттером или Чебурашкой? Чтобы на кого другого не подумали. А то любит у нас народ правду искать, ночами не спят, все ищут.

Короче, для блага Отечества, Леха Молоток с Вовкой Горынычем, два отъявленных спеца и были отряжены на перевербовку всемирной знаменитости. А за Молотком и Горынычем, на всякий случай, еще и с небес приглядывали агенты-архангелы, готовые, если что, срочно заменить героически павших новым десантом и любой ценой взять стрелка-международника, гостя бабкиного в свои руки. Не зря уже который раз пичкой мелькал над полями вертолет, для конспирации сбрасывающий на поля вредные удобрения.

Честно говоря, не люблю я эти слова — бандиты, группировки, не на войне ж пока, слава богу, да что делать, если их каждый младенец с пеленок учит. Все сгруппированы, как ни крути, а если нет, так пеняй сам на себя, вон как Божий Одуванчик. А Одуванчик, простая душа и ведать не ведала, что к ее избе, отмеченной на карте зловещим квадратом, приближаются гости. В печке у нее потрескивали дровишки, — хоть и лето еще, а прохладно по вечерам в доме.

— Ухнем! — в очередной раз смачно возгласила хозяйка, и они с Билли еще по одной приняли за дружбу, — нашла дружка, нечего сказать! Нет, чтоб сразу заявление! А теперь, в бабкином ватнике и шароварах, распаренного в баньке, пропитанного самогоном до нутра, кто признает отъявленного убийцу? Раньше надо было думать.

Одуванчик, однако, всегда при своем уме, она норму знает, и норма ее побольше, чем у другого мужика. Пила она не для тумана, а для веселья. И есть причина — трофеи сегодня завоеваны немалые, в парашоте этом сколько же материи...

— Тут много чего выйдет, можно и Клавке на платье кусок отдать, вдруг, когда замуж выйдет, да и на пеленки, и мне на похоронное приданое. Буду как кукла в гробу лежать, сложа руки. — говорила она по привычке с Мэйсоном, притулившимся у печки. — А чего, я не заслужила? Всю жись батрачили. Траву жрали? Жрали. Веточки как зайцы глодали? Глодали. С утра до вечера носом в земле копались? Копались. Ну, вон, вишь Гришка теперича и в Норвегию, а что в этой Норвегии? Там свои хозяева на наш горб найдутся. Кто с горбом родится — тот им и пахать будет. Нет, вожжа ему под хвост попадал! Все покидал, Клавку осиротинил. А Клавка, сестра медицинская и по вечерам дома, не то, что доярки целыми сутками с коровами целуются. Вот и дурак. Согласен?

Мэйсон помахал бородой, Билл за компанию кивнул.

— Был один немой, теперь другим обзавелась — проворчала Одуванчик, — а ну-ка парень, что ты все киваешь как китаец, скажи — да!

— Да!

— Ну вот, а то прям как не русский.

Одуванчик в очередной раз деловито разлила самогонку на троих. Козел акkuratненько сунулся в отведенную ему плошку и зашлепал губами. Билли в умилении поцеловал козла в мокрую морду.

— Хорош козлище! — загордилась Одуванчик, и нежно потрепала Мэйсона за уши. — Фуу, дурында, ты, дурында... Вот, когда ты у меня по-человечески говоришь научишься? Попка глупый и тот говорит, а ты такой мастный да ладный, все мэ да мэ... Одно слово Мээйсон!

Билли захохотал и сполз под стол. Обстановка была самая идиллическая. Образцовая дружба народов, хоть в газету подавай, — а под каким заголовком: «Объединение прогрессивных сил человечества», или «Американские агенты сеют семена разврата в русской деревне», или «Русские спаивают американских граждан» — это уж они там, в газете перевернут, как им надо. «Им сверху видно все — ты так и знай», — как в песенке поется.

Послышался осторожный стук в дверь. Одуванчик насторожилась, стук повторился. Она замахала Биллу рукой: тише мол, и подкралась на цыпочках к двери. Стучать стали сильней.

— Че надо? — откликнулась Одуванчик. — Никакого покою нет.

Из-за двери раздалось что-то непристойное.

— Хау а ю?

— Чего? Не слышу. Почта что ли? Я письма не жду, я уже голая, спать пошла.

Одуванчик нарочито громко затопала по избе, шепнула киллеру: «Это тебя небось с кольем ишуг. Сдался-то им этот вертулет. Припрячься давай». Она поднатужилась и потянула за неприметный выступ в полу. Из открывшейся дыры неприятно повеяло сыростью и квашеной капустой. Билл хоть и был пьяным пьянехонек, но многолетняя дрессировка сработала, он моментально все понял, сгруппировался и прыгнул вниз. Одуванчик бросила ему вслед парашют, стянула с сундука одеяло и послала туда же. Не застудился бы. Изнутри—то она гостя хорошо разогрела, да все-таки на земле сыровато. Одуванчик закрыла крышку подпола и постариковски зашаркала к двери, в которую не переставали стучать...

— Ну чего ломитесь, завтра приходите. Вот мужики наглые пошли, одинокую женщину ночами будят. До утра обождать не могут, загорелось у них.

Но там, на улице, не унимались, а наоборот принялись дубасить так, как будто собрались брать избу приступом. Матушки-светы, во, посядурели... Одуванчик не испугалась, только поджилки дрожали, а голова спокойная была. И не то видала. Когда после войны имущество за неуплату госналога выносили, — а платить-то чем было, голой задницей? — весь двор порушили, курей ногами топтали, отец миром отдавать не хотел, медалями брякал сдуру. Так, за упрямство, и уходили хозяина, после недели кровью харкал и прожил недолго. Зато ей повезло, не видела всего этого, у бабки в Сычах козьим молоком отпаивалась, хлипкая была слишком. Не видела, а помнит, — столько раз было переговорено и слезами полито. И в другой раз посчастливилось — когда по пьяни первый муж проломил бревном окно, целехонька выкрутилась, только бровь зашили, до сих пор шрам виднеется.

А раз Одуванчик и сама дверь в собственную баню выбила, с испугу и силенки откуда-то взялись да только все зря. Не успела Костика спасти, хороший мальчонка по соседству рос, нервный только, а каким тут станешь с запойными-то родителями. Сколько раз она его подкармливала и от страшного отговаривала, то он дом грозился им, извергам, поджечь, то в водку яду крысиного подсыпать. А решил, значит, вот так, в свои пятнадцать с хвостиком. Жаль, жизни не выдержал, а трехлетку-сестру, за которой только он и приглядывал — в детдом. Отцу с матерью чего? Денег на поминки перепало — и ладно.

Как вспомнит все это Одуванчик — на душе кошки скребут. Из ночных ее плачей за всю жизнь можно было бы большую книгу сложить, и есть книжники, что складывают; да и я хочу, может, слезами вместе с нею обливаться, а вот вам — не буду! Это односторонняя картина, а я стараюсь, выписываю многослойно. Тут уж, наверняка, кто-то засмеется, скажет: «Да чего тут многослойно-то — это же смехотурная бабка! А на бандитов взгляни, что это за бандиты, а кровь, что за кровь! Надо такую кровь живописать, чтобы у того, кто прочтет, у самого кровь в жилах от страха пенилась, чтобы так проняло, хоть прямо сейчас иди и за нож хватайся!» Но тут уж никак мне на передовые позиции не выйти.

И не то что бы не слышала стенания сироток, когда они с собачьей миски едят, или плач по кинутым в заключение, из которых цари зверей каждый час по куску мяса выдирают — но что же это будет, все слезы... А у меня товар другой, лубок разрисованный, слышали? Скажете, лубок от дерева липового, так он поглубей всего и попроще будет? А он, может, от того самого слова идет, которое говорить неприлично, потому что у каждого на языке без дела трепется, а сдернешь с него кору — живой сок так и брызнет. Хоть картинки и немудреные, но для каждого дома, чтоб посмеяться над чем было, пока еще в нашу-то дверь не заколотили. Царь придет, уйдет, а нам все равно битыми быть.

А колотили в дверь нешуточно. Одуванчик схватила здоровенный медный ковш, холодное оружие, которое не раз выручало ее в опасные моменты, вдохнула глубоко, резко открыла дверь и — хрясь, хрясь — огрела ковшом двух непрошенных гостей. Оторопь взяла ее при виде железных игрушек у них в руках. Знала бы, что чужие ломаются, да с такими подарками, так смелости бы не хватило и дверь-то отворить. Пистолеты Одуванчик тут же изъяла, пока мужики были в беспамятстве. Один сунула под сenco в корзину, где обитала курица–несушка, временно определенная на житье в избу.

А второй — в известное место, бюстгальтер, на что он одинокой женщине, как не для железного дружка, в любом кино наглядно объясняется, а Одуванчик их много насмотрелась. Пришлые лежали на полу смирно — один к одному, лица вроде как у святых... ага, знает она этих смирных — половником упокоенных, — у одного голова какая-то вытянутая, небось щипсами из мамки тянули, и лысье оба, чтобы за вихры, наверное, не трепали. И чего с ними делать... или водой плеснуть, чтоб очухались, или связать, да в тот же подпол кинуть... Ну а дальше? Не морить же их голодом, она не лиходей какой, разве что на развод пустить, бабам по десятке билеты продавать.

Глава 7. Вербовка

Леха Молоток открыл глаза. Над ним стояла деревенская баба в белом платочке с ковшом под мышкой и голосила.

— Вот беда на мою голову, одинокую бабку грабют, никому зла в жизни не сделала, в доме покати шаром, один козел, и тот голодный, ни листочка с утра, а тут такой разбой. Карауул!..

Леха окончательно очнулся. Сразу в голову стукнуло, — баба-то это вовсе и не баба, вон плечи какие накачанные, — а наемник из Штатов, ну артисты они там, чего выкомаривают! Хорошо, что сразу не уложили. Вернее, это он их чуть не уложил. Кстати, Вован-то где? Леха оглянулся: лежит голубчик рядышком, а на голове вздулась огромная шишка, таких Леха никогда и не видывал. Да жив ли? Все-таки небольшой, а начальник, руководящие указания дает. Леха, он больше по убойной силе. Молоток приложил ухо к Вовкиному сердцу — стучит милое, стучит злобное, и еще постучит...

— Может, водички на него брызнем... — робко предложила Одуванчик.

— Водки лучше плесни.

— Немного подлечиться найдем.

Одуванчик достала из шкафчика почти пустую бутылку покупной водки, которую сама не уважала, налила все, что было, в стакан и подала Молотку. Молоток сдержался, сам не пил, влил живительные капли в рот друга. Сработало! Горыныч со стоном вскочил на ноги.

— Садись, Владимир Горыныч, ой извините, сбился — Мироныч, — сказал Леха официальным тоном, — а мы тут знакомимся. Я Алексей, вот Владимир наш — а вот товарищ...

Горыныч взглянул на представленного товарища и присвистнул даже: чистая работа! Вот где грим-то, пластику, что-ли, делали! Правда, если лучше приглядеться, морщинка у правого века как-то ненатурально смотрится, и подбородок все-таки, как ни крути, мужской волевой, но, в целом, конечно, молодец!

— Есть выгодное предложение — тихо, но твердо, сказал Горыныч и взглянул киллеру, то есть Одуванчику в глаза, — И не будем дурочку строить. Мы все знаем.

Одуванчик опешила.

— Чего это вы знаете? Вы что из органов?

— Да нет же, мы свои.

— Фууу... А свои, так чего пришли? Что с меня взять, я всю жизнь втихаря, у меня везде шиш. Все хозяйство козел, так с него, что с козла молока.

Тут Леха Молоток, у которого никогда не хватало терпения выслушивать явную туфту клиентов, за что он не раз был наказан, рявкнул:

— Ну что ты гонишь?! Тебе ж сказали — мы все знаем.

Одуванчик вздрогнула, грешки ее, подкопленные за всю жизнь, пронеслись в памяти чередой, — что делать, двум смертям не бывать... Она молчала минуты две, но потом решительно махнула рукой и достала спрятанную бутылку, из которой она только что наливала приبلудившемуся верголетчику. Не торопясь, подала стопки, плеснула каждому прозрачной слезы самогона. Потом поставила перед мужиками миску с вареными яйцами.

— Ну что сказать, гоноу, сынки, и вправду гоноу. А как жить-то еще, чтобы с голоду брюхо не свело? А вас могу просто по дружбе угостить. Вижу, люди хорошие. И у кого язык повернется мог, что я кому продаю, пусть его перекорячит всего — не было такого! Может, про свадьбу забирохинскую, так помогла по-соседски, денег не брала, а если видел кто, так это он мне за яички отдавал! Куры у меня.

— Ну чего время тянем — вздохнул Молоток, выпить хотелось, но пока дело не кончено, инструкцией запрещено. — Не надо нас на понт брать, не проканает.

— Молчи, — одернул его Горыныч и обратился к Одуванчику. — Слушай, брат, давай без базара — мы тебе работу предложить хотим. По твоему профилю.

— Мне? Работу? Какую? — поразилась Одуванчик.

— Вот это разговор. Почистить надо. Убрать кой-кого.

— Убрать-то я могу, дело нехитрое, где же убрать-то?

— Где? В столице нашей родины, а то что-то много мусора там развелось.

Станным это показалось Одуванчику, подозрительным.

— А чего там местные уборщицы не справляются? — спросила она.

Мужики заржали.

— Ну ты и скажешь — «уборщицы». Таких не хватает, как ты. Дело тонкое, понимаешь.

— Не пойму только, как моя слава до столиц донеслась. Гришка, что ли, натрепал?

Молоток даже обиделся.

— Как донеслась? Мы тут тоже не совсем темные, не в лесу живем, следим, что в мире делается, какие авторитеты...

Одуванчик задумалась. Вот он — шанс. Жар-птица, матушка, за ее дом наконец-то хвостом зацепилась!.. Ну а если обман, вдруг жулье городское, пока она в городе, всю хату по бревну раскатает, как у Жорки глухого, и будет она тогда, как Жорка в сарае зимой и летом ютиться...

— Ехать-то когда ж? — спросила Одуванчик, наперекор своим мыслям.

— Сегодня, — ответил Вован Горыныч.

— Нет уж, мне на зимушку капусту порубить надо.

— Да нарубаешь ты капусту, — встрял Леха Молоток. — Ты на этих на своих не смотри, сколько они тебе заплатили за этого упыря, мы в два раза больше платим! Полмиллиона зеленых!

Горыныч больно толкнул напарника в бок.

— Кочанов что ли? — не поняла Одуванчик.

Парочка покатила со смеху, даже Горыныч не удержался.

— Ха-ха... кочанов. Ну, вы там полиглоты! Мне бы так на англише хохмить. Научишь? — попросил Молоток.

Выгнать бы их уже к черту, летчик там, в подполе, как бы не заledenел, да неудобно как-то, не по человечески, и потом, если подумать, так Мэйсону коза нужна, да что коза, — в хозяйстве тоже все соплями приклеено, сигнализацию на огурцы пора оборудовать, пока совсем не обанкротилась, и еще хорошо бы на курорт поехать... Клавка все твердит: едь на курорт, едь на воды, в эти... Карловы Вары... тоже придумала, а все-таки если подработать... дану их вары эти, она и дома себе сварит чего надо, зато наймет кого-нибудь на тяжелые работы, не будет сама вот так с волокушей таскаться, и мазь вот надо купить змееву, а она, змея, сколько стоит! Никто ведь не позаботится. Спину разобьет, будет валяться, так только Мэйсон слово доброе и промекает.

— Так чего скажешь? — прервал ее мысли Горыныч.

— Не бежи поперед кобылы, голова на то чтобы думать. Не сегодня еду и не завтра. Через два дня дам ответ. Ясно? А пока обмоем предложение. Пейте не бойтесь, главное, закушивать не забывайте, здоровее будете, — вон, чеснок засоленный, от него все микробы шарахаются.

— Что ж, можно, если в основных пунктах сошлись... Надо доложить, вы тут по уму сработали, конспиративную избу так подготовили, комар носу не подточит, навозом только сильно воняет, но так натуральной, понимаю. — Горыныч поднял стопку. — Выпьем на брудершафт... как тебя называть-то?

— Все зовут “Божий Одуванчик”, так и вы зовите.

— Ой, не могу, Одуванчик! Клейма негде ставить! Ваше здоровье, Одуван Иванович! — заржал Молоток и вцепился в бабкину юбку — Да ты страхни тряпье это бабское, и не противно?

— Ишь чего! Руки распустил! — охолонула его строгим подзатыльником Одуванчик. — Вот еще вам мое условие, во-первых, без этого чтобы, — без ингиа, и козла моего с собой беру.

— Шестеру, что ли? — удивился Леха. — Откуда ты его здесь взял?

— Какую Шестеру? Его Мэйсон зовут.

Горыныч вздохнул, про еще одного америкашку не предупреждали, тут с этим бы разобраться. Эх, ему бы, Горынычу, такие деньги платили, быстро бы капиталец сколотил, да в управленцы подался, — коктейли-крабы-галстуки, а навоз строго по регламенту.

Одуванчик, как принято, подливала одну за другой, и у гонцов в голове зазвенело, словно сосульки из самогона ударялись друг об друга, все казалось неизменно смешным, на глазах баба в платке вдруг становилась то бородатым охотником с ружьем, то красавицей Аленушкой в узорном кокошнике из кабацкого кордебалета. Леха Молоток внезапно захрапел, положив голову в аккурат на чесночок. «Вот, салага, — обиделся Горыныч, — больше не пойду с ним в разведку». А Одуванчик подливала. Она была женщина закаленная, не богатырь, конечно, у нее и желудок не очень, если вот кислое какое, или химия в томате, но на самогонку натуральную никакой реакции.

У летчика в подполе забегала, заволновалась крыса, он ткнул ее ногой и она, злобно заскулив с обиды, убежала. Хотя Горыныч и пил, но себя еще не потерял, и услышав возню, насторожился.

— Крысы обнаглели, — спокойно объяснила Одуванчик. — А кот, сволочь, зажрался, вон, сидит ворюга...

И правда, на полу сидел толстый котяра и усмехался прямо Горынычу в лицо. Вован озлился.

— Не хочет работать — на шапку!

Кот аж пошатнулся от таких слов, но с места не сошел.

Одуванчик заботливо подала Горынычу огурец.

— На-ка, захрустни огурчиком.

Вечер приятно продолжался. Ворочался в подполе иноземный летчик, поживался шпион, следивший за компанией через дымовую трубу, дико и глухо звучали в ночи пьяные голоса: И я не понимааааю иногда, где первое мгновенье, где последнее!..



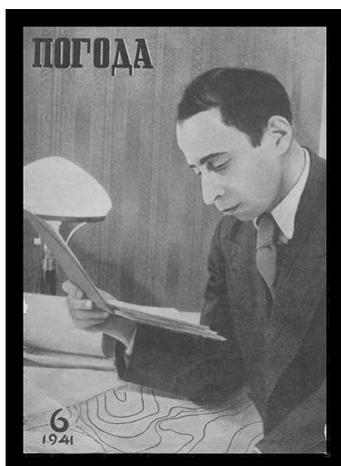
Семён Машкович

И.А. КИБЕЛЬ

К 110-летию со дня рождения

Член-корреспондент Академии наук СССР Илья Афанасьевич (Эфраимович) Кибель был выдающимся ученым, внесшим большой вклад в механику и геофизику. Круг его исследований весьма широк — здесь и теоретическая гидромеханика, и динамическая метеорология, и математические модели климата и общей циркуляции атмосферы и океана. Но главным делом его жизни стало создание принципиально новых методов прогноза погоды, основанных на решении уравнений гидродинамики и термодинамики, того, что ныне называется численными методами прогноза погоды.

В те годы, когда Кибель начал заниматься прогнозом погоды (первая его работа по этой тематике опубликована в 1940 году и вскоре была удостоена Государственной премии), ситуация с синоптическими прогнозами не обнадеживала. Правда, в СССР в середине 1930-тых годов начали использовать фронтологический метод, облегчавший анализ и понимание того, что можно было увидеть на синоптической карте, и сделать предположения о дальнейшем перемещении циклонов и фронтов. Но всё равно прогноз преимущественно основывался на формальной экстраполяции и во многом зависел от опыта и интуиции синоптика.



И.А. Кибель. Обложка журнала, в котором была опубликована первая популярная статья о его методе численного прогноза погоды.

Не случайно академик А.Н. Крылов, возглавлявший в годы Первой мировой войны Главную физическую (ныне геофизическую) обсерваторию, вспоминая о своих контактах с синоптиками, написал, что есть науки точные — математика, физика, астрономия, а есть ещё астрология, хиромантия, метеорология...

Так вот, работа И.А. Кибеля и была направлена на превращение прогноза погоды в научную дисциплину, стоящую в одном ряду с точными науками, а не среди астрологии и хиромантии. И, действительно, со временем этого удалось добиться.

Но, пожалуй, в начале нужно рассказать немного о его жизни.

И.А. Кибель родился в 1904 году в городе Саратове в семье врача-окулиста. Его мать была фельдшерницей, она умерла, когда сыну было десять лет, отец скончался в Ленинграде в 1938 году. Детство и юность И.А. Кибеля прошли в г. Саратове. Мало что знаю об этом периоде его жизни.

Меня удивляло, что Илья Афанасьевич ничего не рассказывал о годах, прожитых в Саратове. Конечно, что-то упоминал, например, приходящих домой учителей французского языка и др. Но ничего более существенного не помню. Как-то я рассказывал ему о моем первом круизе по Волге, который произвел на меня большое впечатление. Он оживился, начал расспрашивать о Саратове, вроде бы загорелся желанием поехать. И тут же сник, поняв, видимо, что по какой-то причине это нереально. Но однажды, когда мы были в его кабинете одни, вдруг начал рассказывать, в какой антисемитской обстановке жил в Саратове. Запомнились, например, такие детали. Как он боялся выходить во двор из-за оскорблений и издевательств. И каким мучением были вынужденные посещения военкомата, где приходилось проходить через толпу казаков...

Закончив школу, в 1921 году И.А. Кибель поступил на физико-математический факультет Саратовского университета, который успешно окончил, защитив дипломную работу на тему «Малые колебания сплошной среды».

После окончания университета в Саратове он в 1925 году переезжает в Ленинград и, по рекомендации профессора А.А. Фридмана, поступает в аспирантуру в Главную физическую (ныне геофизическую) обсерваторию.

Эту обсерваторию и возглавлял тогда А.А. Фридман, крупный ученый с широким кругом интересов — от процессов в атмосфере Земли до проблем космологии.

Мировую известность Фридман получил, создав первые модели нестационарной вселенной и предсказав, в частности, расширение Вселенной. Результаты, полученные им в 1922-1924 гг., положили начало развитию теории нестационарной Вселенной. А. Эйнштейн поначалу резко возражал против теории Фридмана. Однако позже, в ходе дискуссии с автором и проверки его расчетов, Эйнштейн признал правомерность этих результатов. А в 1929 году на основании астрономических наблюдений Э.П. Хаббл подтвердил выводы Фридмана. Можно сказать, что это было одним из самых значительных астрономических открытий. Фридмана тогда уже не было в живых.

Важные научные работы Фридмана посвящены проблемам динамической метеорологии (теории атмосферных вихрей и порывистости ветра, теории разрывов непрерывности в атмосфере, атмосферной турбулентности), гидродинамике сжимаемой жидкости, физике атмосферы.

Своим знаниям, опыту и энергии Фридман находил самые различные приложения.

Так, с началом Первой мировой войны он вступил добровольцем в авиационный отряд, участвовал в организации аэронавигационной и аэрологической службы на Северном и других фронтах, был лётчиком-наблюдателем, участвовал в боевых вылетах.

Фридман, возможно, первым в России, понял необходимость создания отечественного авиаприборостроения. В годы войны и разрухи он воплотил эту идею

в жизнь, став создателем и первым директором завода «Авиаприбор» в Москве (1917 г.). В июле 1925 года (за пару месяцев до своей кончины) с научными целями он совершил полёт на аэростате вместе с пилотом П.Ф. Федосеенко, достигнув рекордной по тому времени высоты 7 км.

А для темы данной статьи особенно важно то, что А.А. Фридман в 1921 году создал в Главной физической обсерватории «Математическое бюро» и руководил этим бюро. Здесь разрабатывались фундаментальные проблемы теоретической метеорологии. Научный коллектив этого бюро был очень сильным, здесь в 1920-тые годы работали выдающиеся ученые, например, будущие академики Н.Е. Кочин, В.А. Фок, А.А. Дородницын, П.Я. Полубаринова-Кочина. В последующие годы название этого подразделения несколько раз изменялось: Институт теоретической метеорологии (ИТМ), Отдел динамической метеорологии (ОДМ).

В этом Математическом бюро и начал в 1925 году работать И.А. Кибель. Быстро войдя в круг проводимых здесь исследований, он уже в 1929 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Условия динамической возможности движения сжимаемой среды с притоком энергии», затем и докторскую (1935 г.), и становится одним из ведущих ученых в области теоретической метеорологии. А в 1934 году И.А. Кибель возглавляет ИТМ – ОДМ.

Научную работу Илья Афанасьевич сочетал с педагогической: с 1929 года читал лекции по аэрогидродинамике в Ленинградском университете, сперва в качестве доцента, а с 1932 года в качестве профессора кафедры аэромеханики. Кроме того, в отдельные годы читал лекции в Путейском, в Политехническом и Педагогическом институтах.

Не буду останавливаться здесь подробно на многогранной деятельности Кибеля в этот период (здесь и фундаментальные исследования гидродинамики атмосферных фронтов, и соавторство в монографиях «Динамическая метеорология» и «Теоретическая гидромеханика», и многое другое) и перейду к главной работе в его жизни — созданию численных методов прогноза погоды.

И.А. Кибель ставил целью перейти от использования в прогностической практике лишь отдельных результатов динамической метеорологии к составлению прогнозов гидродинамическими методами.

Идея эта была не нова — ещё в 1904-м году В. Бьеркнес сформулировал такую задачу, указав систему уравнений гидродинамики и термодинамики, которую нужно решать для этой цели. Но это предложение долгое время не находило отклика. Лишь в 1922 году Ричардсон предпринял попытку рассчитать прогноз по уравнениям динамики атмосферы. Попытка была безуспешной. Прогноз на сутки, который считали 3 года, оказался неудачным и больше этой задачей длительное время не занимались.

Вот как смотрели на эту проблему метеорологи, когда Кибель к ней обратился.

В книге «Динамическая метеорология», по которой я изучал эту дисциплину, немецкий ученый Кошмидер писал: «Очень важная группа задач отсутствует — интегралы по времени, которые при заданном начальном состоянии давали бы пространственное распределение метеорологических элементов в последующие моменты времени. Эта основная задача «динамической метеорологии» всё же сталкивается с непреодолимыми математическими трудностями.... По характеру задачи (вычисление изменений любого начального состояния) физическая ясность недостижима или достижима с большим трудом». А английский метеоролог Дуглас в статье «Современное состояние вопроса о предсказаниях погоды» отме-

чал: «Насколько можно будет когда-либо прилагать математику к предсказанию погоды, является исключительно вопросом отдельных мнений. Практика прогноза в настоящее время создает довольно пессимистический взгляд, может быть, не совсем правильный».

Было много тому причин. Одна из наиболее существенных причин состояла в том, что использовались самые общие уравнения, описывающие всё, что происходит в атмосфере — как процессы, важные для расчета прогнозов, так и второстепенные. Как любил повторять И.А. Кибель, Ричардсон пытался рассчитать одновременно и выпадение дождя, и шум падающих капель. Поэтому свою работу Кибель начал с упрощения системы уравнений, с удаления слагаемых, не имеющих погодообразующего значения. И нашел решение задачи в виде довольно простых формул, позволяющих сравнительно легко рассчитать прогноз давления на сутки. Эти результаты позднее были названы методом Кибеля.

Из-за начавшейся войны работы по методу Кибеля временно приостановились, но затем возобновились уже в г. Свердловске, куда была эвакуирована Главная геофизическая обсерватория (ГГО), так теперь называлась Главная физическая обсерватория. А в 1943 году Кибель вместе с группой сотрудников был переведен в г. Москву в Центральный институт прогнозов, где он создал отдел динамической метеорологии. Мероприятие это имело целью активизацию исследований по «методу Кибеля» и применению этого метода в оперативной практике.

Отдел динамической метеорологии Центрального института прогнозов под руководством Кибеля и стал центром исследований по численным методам прогнозов, гидродинамической теории климата и общей циркуляции атмосферы. Здесь и начались расчеты прогнозов по методу Кибеля в оперативном режиме.

Ежедневно рассчитывался суточный прогноз по Москве, а позднее и по нескольким городам на европейской части СССР. Но особенно радоваться было нечему. Расчет состоял из двух частей. Формулы первого приближения должны были описывать перенос атмосферных объектов, а второе приближение — их эволюцию. Перенос более-менее давал то, что от него можно было ожидать, и уже это было достижением, а вот с эволюцией была беда.

Синоптиков-практиков эти результаты не очень удовлетворяли. Но главное, на мой взгляд, было уже достигнуто: стало понятно и теоретикам, и практикам, что этот путь хотя и тернист, но перспективен, что применение гидродинамических методов в задаче о прогнозе погоды становится реальным. Прямым следствием сказанного стал интерес к новому направлению исследований и, соответственно, появление в отделе динамической метеорологии новых людей, особенно, молодежи (в их числе оказался и я).

Конечно, Кибель старался улучшать эту часть методики, но мало что из этого получалось. Впрочем, мне кажется, что Илья Афанасьевич тогда в какой-то мере потерял интерес к этой части его метода, и она отошла на второй план. Он был человек увлекающийся, у него появился ряд других интересных идей и задач, им и отдавалось предпочтение. К тому же, тогда Илья Афанасьевич готовил к переизданию книгу по теоретической гидромеханике, написанную им в соавторстве с Н.Е. Кочиным и Н.В. Розе. Обоих соавторов уже не было в живых, и на Илью Афанасьевича легла вся тяжесть этой работы. Он существенно переработал и дополнил книгу, почти заново написав разделы по пограничным слоям и по газовой динамике. Книга выдержала 6 изданий и была настольной для многих учащихся и специалистов.

Впрочем, не забывал он другой части своего метода: уточнении прогноза за счет учета процессов в пограничном (нижнем) слое атмосферы. И здесь было получен ряд интересных результатов как по теории различных локальных явлений, например, склоновых ветров, горно-долинных течений, бризов, атмосферной конвекции, так и практических методов их расчета.

Кстати, стоит отметить, что академик А.Н. Крылов, о скептическом отношении которого к метеорологии было написано выше, после доклада о методе расчета суточного хода температуры воздуха и почвы, заметил, что «метеорология становится точной наукой».

Вместе с тем, работа по краткосрочному прогнозу в отделе динамической метеорологии не «зацикливалась» на методе Кибеля. Были сформулированы другие подходы к этой проблеме и получено решение об определении изменений давления и температуры в более общей постановке задачи.

А новым увлечением Кибеля стали численные долгосрочные прогнозы погоды, теория и моделирование климата. И было получено решение задачи о прогнозе давления в средней тропосфере, формально позволяющее рассчитать этот прогноз на любой срок. Разумеется, практически срок был ограниченным из-за сделанных физических упрощений.

Уже первые опыты расчетов прогнозов карт давления на срок до пяти суток, охватывающих всё северное полушарие земли, произвели как на нас, так и на синоптиков-прогнозистов большое впечатление. Прогнозируемые барические образования перемещались, эволюционировали, «жили своей жизнью» и эта их «жизнь» во многом соответствовала наблюдавшимся процессам. Всё это воспринималось как новый этап в развитии численных методов прогноза, и, естественно, стимулировало новые исследования в этой области.

Весьма эффектно выглядели и результаты по гидродинамической теории климата. Задача состояла в том, чтобы путем решения уравнений гидродинамики и термодинамики при заданных внешних параметрах (приток солнечной энергии, распределение материков и океанов, различие физических свойств разных участков поверхности земли и др.) рассчитать климатические значения температуры, давления, влажности. Как говорил Кибель, «нужно получить климат на кончике пера». Путем весьма серьезных упрощений это удалось сделать. Полученные результаты неплохо соответствовали фактическим данным. Разумеется, этот подход критиковали за упрощенный учет физических процессов. Комментируя это, А.А. Дородницын как-то напомнил, что и в других отраслях науки наблюдается похожая ситуация. Например, в теории упругости учитываются очень сложные процессы, а вот простая формула Гука дает вполне приемлемые результаты. Но обычно обе стороны оставались «при своих мнениях».

И всё это было сделано за несколько первых послевоенных лет.

Однако, со стороны дело выглядело совсем не так радужно. Синоптикам нужны были практические результаты, а пока точность численных методов прогноза оставяла желать лучшего. Да и успехи в совершенствовании теории не очень воспринимались. Многие метеорологи тогда получали образование преимущественно географического направления и с Кибелем разговаривали, как бы, «на разных языках». Оценить то, что уже было достигнуто, многим было затруднительно. Ещё в одной из ранних статей Кибель писал о том, что его часто спрашивали, неужели он действительно думает, что прогноз погоды можно давать с помощью математики.

Сомнения и непринятие его результатов усиливались. Видимо, играло роль ещё и то, что представители других направлений опасались конкуренции — работа по гидродинамическим методам прогноза считалась перспективной. Помню, как группа синоптиков старалась провалить защиту диссертации по теории локальных ветров молодого сотрудника нашего отдела динамической метеорологии Л.Н. Гутмана, утверждая, что всё это практического значения не имеет. Кибель как-то даже посетовал на такую ситуацию начальнику Гидрометслужбы Е.К. Федорову, известному полярнику, работавшему на первой дрейфующей станции «Северный полюс». Федоров утешил: «на льдине было труднее».

Однако и вокруг всё было отнюдь не так уж спокойно и благостно.

Отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции осложнились и становилось всё более прохладными. Ощущалось дуновение приближающейся холодной войны. Появились и новые тенденции в политических кампаниях, развертывавшихся в стране в то время. Тема борьбы с «западным влиянием» стала доминировать и в пропаганде, и в практических действиях. Одним из проявлений этого была «борьба с низкопоклонством перед западом».

Все эти события затронули и Гидрометслужбу. Неожиданно в опалу попал начальник Гидрометслужбы Е.К. Федоров, «герой папанинец» (так тогда называли четверку полярников, работавших под руководством И.Д. Папанина в первой экспедиции на северный полюс, дрейфовавшей на льдине), генерал-лейтенант, член-корреспондент АН СССР, Герой Советского союза.

Говорили, со слов шофера, который вез Федорова из Кремля, что И.В. Сталин сорвал с него погоны, и что всю дорогу домой Федоров плакал. Говорили, что застрелился Либин, заместитель Федорова, тоже известный полярник.

Был «общественный суд» над Федоровым. Хотя суд был открытый, доступ на заседания был ограничен, а те, кто побывал там, были скупы на рассказы.

Обвиняли Федорова в контактах с иностранцами, низкопоклонстве, организации поездки с иностранцами на пароходе и др. Федоров деловые контакты с иностранцами признавал, а всё прочее отрицал.

Федоров был снят с должности начальника Гидрометслужбы.

Впрочем, Е.К. Федоров ещё «легко отделался»: членом-корреспондентом АН СССР и Героем Советского Союза он остался, но некоторое время был не удел. Другим «обвиняемым» повезло меньше.

А в Главном управлении Гидрометслужбы (ГУГМС) начали «прорабатывать» конкретных ученых. Конференц-зал ГУГМС во время «обсуждений и осуждений» был переполнен. Поводом для обвинений были даже такие заурядные вещи, как наличие ссылок на иностранных авторов в статьях.

Первой жертвой стал профессор А.Х. Хргиан, автор книги по истории метеорологии в России. Ну, разве был виноват Александр Христофорович, что в России работало много известных метеорологов с иностранными фамилиями, да ещё на важных постах. Затем взялись за профессора С.П. Хромова. Ну, тут было о чем поговорить — сплошная Бергенская школа, Бьеркнес, Тур-Бержерон и другие, и никого, кроме них. Тут ещё проявили себя те, кого Хромов критиковал и «зажимал», в первую очередь, творцы «адвективно-динамического анализа» — Погосян, Зубян и другие.

Позже досталось и Погосяну с его адвективно-динамическим анализом, но, кажется, уже под «другим соусом», хотя ссылки на иностранных авторов тоже упоминались. Тут уже торжествовали традиционные синоптики.

Резко критиковали и Кибеля на Всесоюзной конференции по долгосрочным прогнозам, но уже и в другом ключе, здесь превалировали научные вопросы.

Центральный институт прогнозов тоже затронула компания «борьбы с низкокочлонством», переросшая затем в «борьбу с безродными космополитами». Под предлогом «сокращения штатов» была уволена группа сотрудников, преимущественно евреев, в том числе молодой кандидат наук Л.Н. Гутман, впоследствии создатель и руководитель лаборатории мезометеорологии в Сибирском отделении Академии наук СССР, а затем профессор университетов в Тель-Авиве и Беэр-Шеве.

Но, несмотря на всё, активная работа в отделе шла «своим чередом». Появились новые идеи и результаты, развитие продолжалось. И тут наука преподнесла очередной сюрприз.

В 1946 году в США был разработан первый компьютер «ЭНИАК». И вскоре была опубликована первая статья (1950 год) о решении прогностической задачи с использованием компьютера, название которого не без иронии было подобрано так, что его аббревиатура звучала «МАНИАК». Была предложена модель краткосрочного прогноза в средней тропосфере, дан метод решения задачи и приведены первые результаты расчетов на компьютере, весьма обнадеживающие.

Стало ясно, что начался принципиально новый этап в разработке гидродинамических методов прогноза. Открылась возможность использовать существенно более совершенные постановки прогностических задач, иные методы решения уравнений, преимущественно основанные на результатах вычислительной математики — всё это открывало новые перспективы. Если до этого мы были «впереди планеты всей», то теперь успех во многом зависит от наличия компьютеров.

Илья Афанасьевич прекрасно это понимал и прилагал большие усилия, чтобы получить возможность работать на компьютерах. Но с компьютерами (тогда это были ЭВМ — электронные вычислительные машины) дело обстояло плохо. Пользуясь своими академическими связями, он смог «пробиться» сначала на ЭВМ М-2 в лаборатории управляющих машин у члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука, а позже получить доступ на ЭВМ БЭСМ в институте точной механики и вычислительной техники академика С.А. Лебедева. М-2 была ещё даже не «машиной», а чем-то вроде макета ЭВМ. А БЭСМ — тоже первый, опытный образец ЭВМ. Позднее на базе БЭСМ были созданы серии ЭВМ: БЭСМ-6, М-20 и др.

Кибель поручил Соломону Львовичу Белоусову разработку и реализацию сравнительно простой модели для прогноза в средней тропосфере. А мне, хотя я занимался тогда теорией климата и долгосрочными прогнозами, предстояло создать и реализовать на ЭВМ БЭСМ модель краткосрочного прогноза на разных уровнях, в том числе и на уровне моря. Насколько я помню, прогноз приземного давления по численным моделям тогда ещё никто не давал.

Нужно было освоить работу на этих ЭВМ. И дело заключалось не только в том, что нужно было изучить программирование, что, впрочем, из-за отсутствия учебников и инструкций тоже было непросто. Современные программисты наверно не задумываются, в каких комфортабельных условиях они работают. А тогда всё выглядело совсем иначе. Ни алгоритмических языков, ни трансляторов ещё не было, да и вообще почти никакого математического обеспечения не было. Да и условия работы были неважными. Нам выделяли на БЭСМ 2-3 часа в середине ночи раз в неделю. Старались в эти часы сделать максимум, чтобы не ждать ещё неделю. Поэтому приходится в основном отлаживать программы, читая содержимое ячеек памяти (команд или чисел) на пульте, где его можно было высветить в двоичной

системе счисления. Иногда возникали неожиданные проблемы. Помню, как вдруг перестала работать уже готовая программа моей модели. С трудом обнаружил причину — на перфоленте с программой почему-то появилось масляное пятнышко, которое воспринималось как перфорация. Вообще разное было и нервозности тоже хватало. Но удовлетворение и удовольствие получали.

Тем не менее, сравнительно быстро удалось сформулировать постановку этих задач, дать методики численного решения прогностических уравнений и реализовать модели на ЭВМ. В 1954 году была готова модель Белоусова, а к середине 1955 года и по моей модели был рассчитан первый прогноз. Помню, приехал сразу после ночного «бдения» в Центральный институт прогнозов, оставил результаты и попросил их обработать, нанести на карту, а сам уехал домой отсыпаться. Как мне потом рассказали, Илья Афанасьевич, приехав утром, сразу же велел принести синоптические карты, начал сравнивать и очень обрадовался: впервые был рассчитан успешный прогноз приземного давления. Как выяснилось позже, и прогноз для средней тропосферы оказался лучше, чем по модели С.Л. Белоусова. Вскоре эту модель перепрограммировали для другой ЭВМ в военном вычислительном центре, а моя студентка-дипломница сделала то же для ЭВМ «Стрела» и рассчитала большую серию прогнозов в вычислительном центре МГУ. Но наладить расчет прогнозов в оперативном режиме без своей ЭВМ не удавалось.

Это были первые отечественные модели краткосрочного прогноза на ЭВМ. Илья Афанасьевич написал их в своей новой книге по численным прогнозам погоды и в докладе, представленном на симпозиуме по этой тематике в Стокгольме.

Илья Афанасьевич активно добивался получения Гидрометслужбой универсальной высокопроизводительной ЭВМ, так как без этого ни в развитии теории не продвинуться, ни внедрить в оперативную практику созданные прогностические модели невозможно.

Необходимость ЭВМ отрицать было трудно. Но, по неизвестным мне причинам, с большой ЭВМ ничего не получилось. То ли руководство Гидрометслужбы не могло добиться этого (мощные ЭВМ были большим дефицитом), то ли пошло по пути наименьшего сопротивления и согласилось на изготовление небольшой специализированной ЭВМ, предназначенной для решения задач линейной алгебры и, соответственно, линейных моделей долгосрочного прогноза. Илья Афанасьевич говорил, что от ЭВМ «Стрела» просто отказались.

Тем не менее, Илья Афанасьевич продолжал настаивать на том, что необходимо добиться получения Гидрометслужбой универсальной ЭВМ.

Ситуация была непростая. Руководство Гидрометслужбы, видимо, не имея возможности добиться решения этой проблемы, решило как-то выяснить обоснованность требований Кибеля. Возможно, что по этой причине в ЦИП создали комиссию, которая должна была разобраться с тем, как составляются гидродинамические месячные прогнозы аномалий температуры и каково их качество. Тут было к чему придраться. Чувствовалось, что готовится «подкоп» под Илью Афанасьевича. Он ведь надеялся на эти прогнозы. Стало ясно, что в Гидрометслужбе добиться решения вопроса об ЭВМ не удастся, и Кибель в 1957 году решил полностью перейти на работу в Институт прикладной геофизики АН СССР, директор которого Е.К. Федоров обещал помочь в получении универсальной ЭВМ. Наряду с отделом динамической метеорологии Центрального института прогнозов Кибель также руководил одноименным отделом в Геофизическом институте АН СССР. Сотрудники этого отдела, весьма слабого в тот момент, также перешли в Институт

прикладной геофизики. А начальником отдела динамической метеорологии Центрального института прогнозов довелось стать мне.

В Институте прикладной геофизики Кибель действительно со временем получил ЭВМ, правда, довольно слабую, из серии «Урал», набрал молодых специалистов, в основном выпускников МГУ, выполнил ряд интересных и важных исследований. Главным была подготовка прогностических моделей нового поколения, основанных на так называемых «полных уравнениях», в которых были сняты многие важные ограничения и упрощения. Удалось разработать такую модель и провести опытные расчеты.

В отделе динамической метеорологии Центрального института прогнозов тоже продолжалась активная работа по численным прогнозам. Результатами её были новые усовершенствованные модели краткосрочных прогнозов. Удалось также создать первую модель прогноза наземного давления по всему северному полушарию. Её затем использовали в оперативных условиях для расчетов прогнозов на 5 суток и, в частности, для составления рекомендаций по курсам плавания океанских кораблей. Важным новым направлением исследований стала автоматизация подготовки данных, исходных для расчета прогнозов. Центральное место здесь занимал так называемый объективный анализ, цель которого — преобразовать данные наблюдений к виду, необходимому для вычислений. Была подготовлена модель объективного анализа, основанная на методе оптимальной интерполяции, разработанном в Ленинграде Л.С. Гандиным. Этот подход получил впоследствии широкое распространение за рубежом, оптимальная интерполяция применялась в моделях объективного анализа основных зарубежных прогностических центров.

К концу 1950-тых годов работа по численным прогнозам активизировалась и в других исследовательских центрах (Главная геофизическая обсерватория, институт математики и механики АН Узбекской ССР, военные учреждения и др.).

Итак, в Институте прикладной геофизики и в отделе динамической метеорологии Центрального института прогнозов были получены серьезные результаты, но внедрить их в оперативную практику «по-настоящему» всё же не удавалось. Было также понятно, что организовать оперативные расчеты прогнозов вне Гидрометслужбы нереально и нецелесообразно. И Кибель начал добиваться создания специализированного вычислительного центра, оснащенного высокопроизводительными ЭВМ. В этом существенную поддержку оказали академик Е.К. Федоров и директор вычислительного центра АН СССР академик А.А. Дородницын, помогла и Гидрометслужба.

В 1961 году по постановлению правительства был создан Объединенный вычислительный метеорологический центр АН СССР и Гидрометслужбы. В этот вычислительный центр перешли из Института прикладной геофизики И.А. Кибель со своими сотрудниками, а из Центрального института прогнозов — большинство сотрудников отдела динамической метеорологии. Фактически Кибель стал научным руководителем этого вычислительного центра, хотя формально такого статуса у него не было. Но как самостоятельное учреждение этот вычислительный центр просуществовал недолго — в 1967 году передали Гидрометслужбе и объединили с Центральным институтом прогнозов, образовав Гидрометцентр СССР.

Вычислительный центр был оснащен высокопроизводительными по тому времени ЭВМ. Здесь развернулась активная работа по созданию и внедрению в оперативную практику как новых прогностических моделей, так и автоматизированной системы подготовки данных, исходных для численного прогноза.

За время работы в отделе динамической метеорологии Центрального института прогнозов и в академических институтах И.А. Кибель подготовил немало высококвалифицированных специалистов. Список его учеников и сотрудников обширен, упомяну лишь академиком Г.И. Марчука (президент АН СССР), А.С. Моница, А.С. Саркисяна. Это обеспечило весьма высокий теоретический уровень работ по численным прогнозам погоды в СССР.

Однако теоретические результаты по численным методам прогнозов всегда опережали возможности их реализации на компьютерах. И теперь впереди оказывался тот, кто располагал более мощными компьютерами. Как показали статистические данные американских метеорологов, качество численных прогнозов повышалось скачкообразно при появлении компьютеров нового поколения. И это происходило каждые несколько лет. Гидрометслужба заметно отставала в этой «гонке»: с получением новейших отечественных компьютеров были трудности, а закупка американских была затруднена из-за ограничений продажи такой техники нашей стране.

Тем не менее, в Гидрометцентре СССР успешно продолжалось развитие и внедрение в практику численных методов прогнозов. Компьютерами были оснащены и некоторые периферийные прогностические центры Гидрометслужбы, где также началось составление численных региональных прогнозов погоды.

Вскоре модели численного прогноза стали неотъемлемым элементом работы основных прогностических центров мира, существенно возросла надежность прогнозов погоды и увеличились их сроки. О таких результатах даже мечтать было трудно в те годы, когда И.А. Кибель начал работать над проблемой прогноза.

И.А. Кибель ушел из жизни в разгар этого победоносного шествия численных методов прогноза погоды. Хотя к тому времени центр работы в этом направлении переместился на запад, вклад И.А. Кибеля в решение этой проблемы трудно переоценить.

На этом можно было бы закончить этот рассказ об И.А. Кибеле.

Но не могу не написать о нем, как о человеке, которого знал и с которым много лет работал, о том, каким он мне виделся в те годы.

Первое впечатление при знакомстве с Ильей Афанасьевичем (это произошло в 1945 году) вызвало некоторое замешательство. Речь его, особенно, когда он делал доклад или просто о чем-то рассказывал, была настолько быстрой и стремительной, что я поначалу не успевал понять не только смысл сказанного, но разобрать слова. Со временем привык, да и Илья Афанасьевич со временем несколько снизил темп. А услышать было что...

Обычно Илья Афанасьевич бывал в институте в утренние часы и сразу приходил в нашу комнату. Часто тотчас подходил к большой настенной доске и с мелом в руках начинал рассказывать что-нибудь. Это могло быть сделанное дома накануне, либо содержание интересной статьи, с которой ознакомился. С иностранными журналами в нашей библиотеке было не густо, а Илья Афанасьевич имел возможность по академической линии выписывать некоторые журналы. Часто повторялось одно и то же с некоторыми уточнениями или развитием. Можно сказать, что таким образом мы познакомились с его «творческой лабораторией», хотя вряд ли он имел это целью.

Был и другой способ его научного общения с нами. Обдумывая новую работу, он делал наброски на бумаге и потом отдавал нам эти листочки — посмотрите, может быть, вас это заинтересует. Почерк у Ильи Афанасьевича был ужас-

ный, к тому же писал он карандашом и, если что-то не нравилось, стирал резинкой и писал поверх стертого. Подчас разобрать написанное было не легче, чем понять содержание. Немалое значение имели и семинары, которые он проводил регулярно.

Илья Афанасьевич был крупным ученым и прекрасным научным руководителем с множеством новых идей и готовностью помочь, если возникали трудности с решением задачи. А вот учителем, педагогом назвать его было трудно.

Помню, как в мою аспирантскую программу он включил обширный перечень книг, начиная с высшей математики и гидродинамики до квантовой механики и динамических систем. Такой список литературы эффектно выглядел на Ученом совете и в разговорах о том, чем занимаются его аспиранты, но осилить его за год-два было не по силам, особенно при моей математической подготовке. Тем не менее, заселяя в научном читальном зале № 2 библиотеки имени Ленина и с энтузиазмом взяв за чтение (изучением вряд ли можно было это назвать).

Конечно, чтение пятитомного курса высшей математики В.И. Смирнова и тому подобных трактатов было интересно и приятно. Но вскоре понял, что такое «сквозное» чтение не только неэффективно и даже не очень полезно, но и работе по теме диссертации не очень-то способствует. Как написал академик А.Н. Крылов, инженеру из математики что-то нужно каждую неделю, что-то раз в месяц, а многое — раз в годы или вообще не понадобится. А ведь мог Илья Афанасьевич сразу меня сориентировать...

Но вернемся к утренним беседам Ильи Афанасьевича.

Порой был и общий разговор на произвольную тему, в котором обычно превалировал монолог Кибеля. Илья Афанасьевич говорил о разном. Так, иногда вспоминал о Галине Улановой. Об их знакомстве говорили многие, прежде всего ленинградцы. Рассказывали о его увлечении балетом, о том, что Илья Афанасьевич восхищался Улановой, тратил большую часть своей зарплаты на цветы для неё. Рассказы Ильи Афанасьевича были конкретнее и ярче, хотя иногда воспринимались своеобразно. Вот, например, рассказывал он о том, как они катались на лодке. И тут кто спросил: «А кто на веслах сидел?». «Конечно, она, видели бы вы, какие у неё бицепсы». Много лет спустя, в 1960-тые годы, Илья Афанасьевич увидел меня в коридоре нашего этажа, на котором наши кабинеты, отозвал в сторонку и начал рассказывать, что видел Уланову. Встреча была случайной, по пути в командировку, не помню точно, то ли в самолете, то ли в поезде. И рассказ закончил несколько грустно: «Но ведь и я кое-чего достиг, член-корреспондент Академии наук — это тоже немало».

Еженедельно Илья Афанасьевич проводил семинары. Иногда бывали интересные доклады со стороны, но превалировали выступления сотрудников отдела. Часто Илья Афанасьевич докладывал в завершённом виде то, что мы слышали по утрам.

Семинары проводились накануне выходного дня, начинались часа в четыре, часто заканчивались уже после окончания рабочего дня. Несколько сотрудников жили за городом, и такая задержка создавала проблемы с возвращением домой. Особенно страдал от этого Яша Хейфец, он жил в Павловском посаде, туда ходили «паровики» (электричек ещё не было) и был риск опоздать на последний поезд. Не раз просили перенести семинар на другое время, но Илья Афанасьевич никак не соглашался. Однажды он не выдержал и непривычно резко сказал, что Фридман проводил семинары вообще в воскресенье, считая такой довод неоспоримым... «А что Фридману воскресенье» — шепнул мне разочарованный Яша (не знали мы, что Фридман был православным). Кстати, на семинарах у Фридмана Кибель и был-то

всего несколько раз: Фридман умер в тот же год, когда Илья Афанасьевич поступил на работу в ГГО.

Тогда было время поисков, начинаний и дискуссий и семинар наглядно отражал то, происходило в отделе динамической метеорологии.



Илья Афанасьевич был очень активным, энергичным и общительным, как говорится, очень «живым» человеком. И неутомимым пропагандистом развешаемого им научного направления. Мог, например, встретив в институте малознакомого человека, начать с воодушевлением рассказывать о новых своих теоретических результатах. Не всегда это находило взаимопонимание. Синоптики по образованию были преимущественно людьми «географического толка», с математикой и гидромеханикой было туго, красивое решение сложных задач не очень воспринималось. Вроде бы, разговор шел «на разных языках». И ждали от Кибеля практических результатов, ведь метод Кибеля считался перспективным, на него возлагались большие надежды. Но с этим пока было негусто.

Порой Илья Афанасьевич приходил в нашу комнату, сетовал на непонимание, «косность и отсталость» собеседников и декламировал какие-ни-

будь подходящие сатирические стихи (он знал их немало: от Шумахера до наших дней), например, из Козьмы Пруткина: «Бароны пируют, бароны воюют./ а доблестный рыцарь, барон фон Гринвальдус/ всё в той же позиции на камне сидит».

Интересы у Ильи Афанасьевича были разносторонние: он хорошо знал литературу, много читал, любил музыку, балет тем более. И способностям своим находил весьма разнообразное приложение. Мало кто знает о том, что в молодости он изучил стенографию и был одним из лучших стенографистов в Ленинграде, его приглашали на очень ответственные мероприятия.

Но самым главным для него была наука, ей отдавал все силы, даже во время отпуска не мог не работать. В те годы он часто отдыхал в Ливадии, в санатории, размещавшемся в бывшем царском дворце. Ему там нравилось. Правда, как шутил Кибель, царю был нужен только один туалет. Однажды, вернувшись из отпуска, Илья Афанасьевич сказал: «Такая оплошность, забыл взять с собой справочник Янке и Эмде по специальным функциям. Во всей Ялте не смог его найти. Пришлось поехать в Симеиз, в астрономическую обсерваторию». Вот в этом весь Илья Афанасьевич.



Игорь Фунт
МЕФИСТОФЕЛЬ ПО ПРИКАЗУ:
«Если царь прикажет —
акушеркой буду!»

К 205-летию со дня рождения Н.В. Кукольника

*Романтизм как домового, многие верят ему;
убеждение есть, что он существует;
но где его приметить, как обозначить его,
как наткнуть на него палец? П. Вяземский*

*Хоть теперь ты ех-писатель,
Ех-чиновник, ех-делец
И казны ех-обиратель —
Всё же ты не ех-подлец!*
Н. Щербина. 1859

Начнём издалека. Подобно тому, как в начале века 21-го Интернет отодвинул в сторону печатную индустрию, — так, в середине XIX в. и далее, книготорговля потеснила процветающий доселе институт меценатства.

Нестор Васильевич Кукольник оказался выразительнейшим явлением времени профессионализации литературы. Периода ценностного изменения творческой среды в сторону подчёркнутого практицизма, рационализма, шокировавших публику ещё в начале 40-х своею аморальностью, практической невозможностью реализации, тем более истинному человеку искусства, создателю. «...Да, противный, колкий и голодный путь: а всё-таки мы с него не должны сворачивать, ибо куда не повернём, везде скиксуем...» — убеждённо защищал Лесков непростую стезю настоящего литератора, творца, чувствуя неумолимое загромождение этого пути «буржуазными приметами»: чванством, стяжательством и провластной лестью.

*О если б ты могла взглянуть на свет!
Чего там нет? Ум, глупость в тесной дружбе;
Тщеславие под маской доброты, —
А хвастовство под видом состраданья!
Любовь в словах, злость в сердце, в злате разум! —
О, страшен свет... (Кукольник. «Торкватто Тассо»)*

«Обрати всё своё внимание на лицо Рябинина — это живой, во весь рост, портрет Кукольника», — пишет Белинский (в письме В.П. Боткину) о главном герое повести Ивана Панаева «Белая горячка».

Вымышленный образ Рябинина вполне соответствует Кукольнику специфическим смешением — смещением крайне циничных и сверхпатетических граней

изображаемой Панаевым личности. Контаминацией высокопарных слов о святине и святости искусства одновременно с мифистофельским аморализмом — признаком власти сильного, верой в сверхъестественную могущественность денег.

Гений и порок. Высокомерие и занудное пьянство. Неистовые поклонники и проклятие критики. В этом весь Кукольник — вплоть до ухода с литературной сцены со словами: «Слава Богу, я вышел из литературного омота так чист по совести, как ни одному из нынешних литературных деятелей вероятно не удаётся...».

И. Панаев не зря живописует Кукольника крайне отрицательно — его неадекватную самооценку (соперник Пушкина!) и богемные привычки.

Что, впрочем, многими равно и приветствовалось, и осуждалось: «...самая личность Кукольника, не в меру пострадавшая от литературных нападков, была вовсе не такова, какою её выставлял мой однокашник И.И. Панаев...» — пишет А. Струговщиков, соученик Панаева, издатель «Художественной газеты». Вместе с тем неизменно отмечая у Кукольника корыстную склонность «писать скоро, без оглядки, большую частью из-за гонорария...». Что только подливало масла в огонь.

«Работай, трудись, но не забывай сколотить копейку на чёрный день, а он придёт, потому, что наши деятели на том стоят, чтобы разрушить все начала взаимного самоуважения, построить себе дома, разъезжать в каретах на счёт тружеников, которых можно держать в чёрной коже... Это Русь неумытая...» — несдержанно беспокоится Нестор Васильевич о шаткости своего материального положения, выходя порой за этические пределы общепринятого. Тревожится он об этом неумеренно напыщенно и часто. Скандально и с барским пафосом. С показной трагичностью воителя Птолемея.

30-е годы, переломные годы поиска и «эстетического брожения» в драматургии, — ознаменованы расцветом творчества Н. Кукольника, — заслуженно и по праву признанного официозом. И хотя пушкинские «Маленькие трагедии» и лермонтовский «Маскарад» уже написаны, — не имея сценарного, сценического воплощения им не под силу тягаться с театральными постановками Кукольника.

Центр интересов в литературном творчестве, под негнбимым влиянием Карамзина с его «Историей», смещался тогда к предпочтениям эпохи позднего средневековья, где в наибольшей степени отмечены национальные элементы «русскости», народности. К тому же, что важно, элементы задокументированные. Это позволяло воссоздать истинно исторические характеры. Пушкин, Б. Лобанов, Жуковский (одномыслие трагедии «Борис Годунов»). Б. Фёдоров («Князь Курбский»); «Скопин-Шуйский» Кукольника. «Басманов» Розена; монархическая «Марфа Посадница» Погодина. Чуть ранее — Веневитинов (перевод «Эгмонта» Гёте), «Ермак» Хомякова.

Александр Пушкин, ставивший Кукольника не так высоко, как бы тому хотелось, конечно же, опередил время в «Борисе». Вплоть до полного непонимания античной сущности «роковой трагедии» публикой, властью. Поэтому «Бориса», предвестника «настоящей романтической драмы», поздно опубликовали и потом вообще запретили к постановке. (Впрочем, как и «Россию и Баторио» Розена, да и многие другие произведения современников.) Что лишь ненадолго продлило сценическую жизнь Нестора Васильевича.

Пренебрегая сценографическими драматизмом и конфликтологией, Н.В. обратился к беспроигрышному варианту — мистерии, мистификации, — противостоящим античной романтической трагедии несерьёзностью, «лёгкостью» бытия и судьбы.

Где Пожарский воскресает в первом же акте «Руки Всевышнего». «Изменник» Заруцкий погибает от случайного выстрела. Положительный герой Прокоп Ляпунов падает ниц перед Скопиним-Шуйским в «Скопине». Где коварство и измены наказываются беспрекословно и беспощадно. Вместе с тем являясь художественными придумками, абсолютно не соответствующими истине. Но зато, во благо публике, зеркально иллюстрирующими переживания зрителей, патристически-эталонно подготовленных и настроенных именно к такому роду «несущественных» сопереживаний. Настроенных на «идеальную» любовь к Отечеству. Концептуально сходную с примитивизмом.

Кукольник «примитивно» противопоставляет христианскую добродетель — патриархальному национализму. Гордыню — несовместимому смирению. Русских — чужеземцам. Противопоставляет «Запад» «Востоку»:

— Жаль, что швед. Зачем ему быть шведом? — вопрошает Головин про храброго, благородного воителя Делаярди («Скопин-Шуйский»).

Всё это прямо проецирует политконцепцию, выраженную в довольно устойчивом мотиве отказа от предлагаемого трона именно русским: «Русский не может претендовать самозвано на царский венец, самый помысел о нём — преступление!» (В. Вацуро). — Тем самым разрушая, точнее, вульгаризируя данной концепцией социальную проблематику нарождающегося в полный рост славянофильства.

Вообще десятилетие «аллегорического» театрального владычества Кукольника можно описать собственным его комментарием, «полным планом» к драматической фантазии «Торквато Тассо», принесшей автору известность: «Тасс, увенчанный Альфонсом, умирает с небесной улыбкой на устах. Леонора падает к подножию возвышения. Все прочие лица, из важнейших, окружают Тасса, образуя полную картинную группу, закрывая глаза или отирая слёзы. Народ, по призыву Альфонса и увлечённый собственным чувством горести, преклоняет колена. Занавес падает». — Всё это мало напоминает драматургию в полном смысле, явления слова «Время», а более склоняется к лирическим образам — статичному апофеозу пространственной словесной живописи — «Аллегории». Сама же фигура «сумасшедшего» Тассо, начиная с баюшкоковского «Умирающего Тасса», эстетически становится типовым символом эпигонского романтизма 30-х — нормой поэтического апофеоза.

Ну и второй значимый план драматургии Кукольника — враждебность толпы (двора, света). И поэтическое одиночество как венец истинного творчества. С вкраплениями интуитивно верной народной «чуйки» прекрасного — вплоть до торжества скорой, случайной импровизации среди разбойников, вдруг преклонившихся перед величием «случайного» Поэта. Так обывательская драма «центрального характера» гения становится роковой проблемой гения мнимого, «ложного». Безвкусного.

Тут и своеобразное преломление «наоборот» пушкинской формулы гения и злодейства: «Кто гением дерзает притворяться, тому все прочие притворства — шутка». Тут и гоголевский Чартков с несоответствием потребностей, возможностей и способностей. Излюбленная персонификация «светской черни» — фатально предопределяющая цепь преступлений («Джулио Мости»). Кукольник как бы идейно концентрирует «претенциозно безвкусную» модель фантазийного жанра 30-х гг., вобрав аллегорические действия и свойства мистерий Лермонтова, Подолинского, Соколовского. Предопределяя тем самым пределы жанрового самоуничтожения ввиду нарастающей пародийности, псевдофилософии, популяризации эсхатологических звуков «страшных труб»; и как итог — ввиду элементарной оторванности от сцены.

Добавим сюда непреложное влияние западного репертуара. Плюс строжайшая николаевская цензура. (Никаких Гюго, Дюма. Никаких Лермонтовых с шиллеровскими «ведьмами». Да и самих «немцев», — как несоответствующих нравственным критериям!) Что приводило к некоей жанровой «стерильности» материала, не противоречащего моральным императивам, — то есть, мягко говоря, к водевилю, мелодраме и переводной усреднённой продукции (Дюканж, Пиксеркур). Благо народ смешлив, как с горестью указывал Гоголь.

После смерти Пушкина Н.В. Кукольник прославился знаменитыми петербургскими «середами», в доме Плюшара на Фонганке. На этих Серодах, в начале 40-х, перебивали все пишущие, да и непишущие люди тоже: «всякого рода весельчаки», военные, штатские, аферисты и спекулянты всех мастей: «В изящных искусствах сосредотачивалась вся моя нравственная деятельность; надо было много, серьёзно учиться, чтобы не провиниться и не уронить того уважения к моим художественно-историческим познаниям, которые мне удалось поселить в публике и даже художниках. Я мог бы пойти далеко по этому пути, но в России мои усилия остались бесполезными. Действовать без пользы — глупо. Я всё же, однако, продолжал учиться, более по привычке и по обстоятельствам, сблизившим меня с Брюлловым, Глинкою и многими другими художниками». (Эту троицу друзья называли «тримя записными гуляками и пьяницами».)

А ежели добавить к весёлой триаде Глинка-Брюллов-Кукольник племянника петербургского почт-директора, «любезного шалуна» К. Булгакова, о котором ходили сонмы анекдотов вослед за его неуёмными проделками, то мозаика составлялась довольно пёстрой.

Непомерно возвысившись в глазах поклонников ввиду дружбы с известными деятелями Мельпомены — упомянутыми К. Брюлловым, М. Глинкою, а также с Маркевичем, Сенковским, В. Одоевским, Шебуевым, Шевченко и др., — Кукольник как бы вставал в один ряд с прославленными и прославившими отчизну творцами.

— Да, пожалуйста, нельзя ли этих уродов, Глинку и Кукольника, сюда? Жить хочется! — просил возбуждённый Брюллов своего товарища по художественному цеху после окончания эскиза «Осада Пскова», дабы поделиться содеянным с приятелями.

Также и Глинка любил показывать наброски Кукольнику. А порой и запросто сочинял музыку прямо у него дома, «плод шум и говор пирующих друзей». Тут же предьявлял написанное, откровенно обижаясь на замечания. Доделывал, вновь исполнял. Сердился, оскорблялся критике, уходил «навсегда»:

— Не могу и не хочу! И тебя знать не хочу! — восклицал Глинка Кукольнику. — Не приду тебе показывать никогда больше!

Затем вскоре возвращался и «назло всему» играл на фортепиано готовый шедевр.

— Умница, Мишенька! Дай поцеловать тебя. Я знал, что ты можешь лучше, — хвалил его наконец хозяин дома. И Михаил Иванович отходил душой. И так каждый раз.

Ну и под финал, отвлекаясь от литературоведческих, драматургических и бытовых обрисовок и тем, предлагаю, наряду с героем нашего повествования, немного добавить в текст патетики и благопочитания. Всё ж таки разговор о юбиляре.

Нестор Васильевич Кукольник остался в народной памяти «неистовым романтиком», одним из главнейших представителей великой школы русского роман-

тивма, «гениальнейшей бессмыслицы!» (А. Григорьев), — наравне с Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Лермонтовым, Баратынским и др. Эпохи напряжённого сосредоточения творческой самооценности и культивирования «сильных переживаний и страстей» — воспроизведения необычайных и разнополярных глубин человеческого духа в искусстве. Из глубин «необузданных», гофманианских — до голевских, бескрайних, многоцветных, фантазмомогорийных.

У Кукольника поразительно лёгкое перо. Он выпускал драмы и повести одну за другой — из русской, итальянкой истории. В которых разворачивались «лёгкие» конфликты, преимущественно связанные с неординарным мышлением и поведением героев: одарённых личностей, художников исключительно новой формации, — олицетворяющих бескрайнюю свободу творчества. И ежели Гоголь, наряду с Пушкиным, довольно-таки иронично отнёсся к Нестору, считая его способным пускать пыль в глаза. То публика, наизворот, постановку первых драматических произведений Кукольника встретила с «самым неистовым восторгом», называя автора «нашим юным Гёте»!

Когда же верноподданническую, одновременно псевдоисторическую (чтобы понравиться!) трагедию «Рука всевышнего отечество спасла» высоко оценил сам император Николай I (правда, значительно поправивший сценарий) — немедленно был выпущен новый её тираж. А журнал «Московский телеграф», ничтоже сумняшея посмеявшийся пьесе раскритиковать, тут же закрыли. (А его издателя Н. Полевого постигла после этого творческая катастрофа).

Кукольник всегда и во всём, чего бы это ни стоило, старался быть именно первым. Свободно владел французским, немецким, польским языками, латынью. Когда же заметил, что его «фантазии» перестали вызывать прежний прилив чувству зрительного зала, всецело и вовремя посвятил себя госслужбе. Вскоре став незаменимым чиновником канцелярии военного министра. Дополняя свои таланты редкой предприимчивостью и работоспособностью: «Если царь прикажет — акушеркой буду!» — говаривал он.



Семён Резник
ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
АКАДЕМИК УХТОМСКИЙ
И ЕГО БИОГРАФ

Документальная сага с мемуарным уклоном

(продолжение. Предыдущие главы см. в №6/2014 и сл.)

Глава двадцатая. Путем взаимной переписки

1.

Похоже, что Илья Эренбург все-таки ошибся, когда назвал В.Л. Меркулова *брянским* агрономом. Агрономом ему поработать пришлось, но не в Брянской области, а в Алтайском крае, «среди глубинных колхозов — в 1950-56 гг.»^[1]. К сожалению, в его письмах этот период жизни почти не отражен, если не считать нескольких случайных замечаний. Например, о том, что на Алтае он «встретился с печальной жизнью немцев-колонистов, которых срочно перевезли из Европы в 1941 г. в Алтайский край»^[2]. (А я, признаться, полагал, что всех немцев Поволжья выслали в Казахстан). Или о 40 тысячах армян, «вернувшихся на родину из Малой Азии, Египта, Бразилии, Франции и иных стран». В 1949 году их тоже выслали на Алтай; им, недавним поселенцам, приходилось много туже, чем уже обжившимся немцам.

В районном центре Чарыше Василий Лаврентьевич общался с местными врачами, упоминал трех: Марка Русоника, его жену, приехавшую из Горького, и Маргариту Вайнер из Симферополя. Когда прогремело дело врачей-отравителей и «началась история с знаменитой “народной героиней” Л.Ф. Тимашук», «нач[альник] рай[онного] МГБ (теперь он сильно поднялся по служебной лестнице и шишка в столице) собрал сведения о вредительстве их в лечении, умерщвлении младенцев и добился ходатайства об аресте всех трех евреев-медиков перед прокурором края. И тут вдруг кончина Величайшего, затем изъятие ордена у Тимашук, и “виновников вредительских художеств” не тронули!!!»^[3]

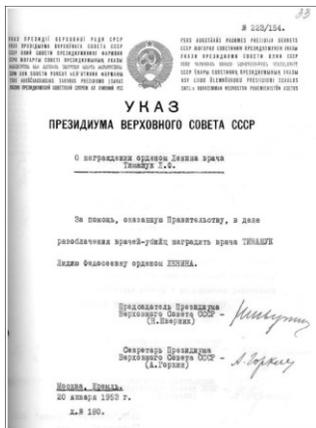
До сих пор помню, с каким интересом я читал эти скупые строки меркуловского письма.

Когда разразилось дело врачей, я был еще недорослем, но народная героиня Лидия Тимашук и ажиотаж вокруг ее имени впечатаны в мое сознание. Не знаю, надо ли пояснять сегодняшнему читателю, что эта женщина-врач кремлевской больницы написала донос на профессора В.Н. Виноградова и других светил медицины, которые, по ее мнению, назначили неправильное лечение грозному партийному боссу А.А. Жданову, что привело к его смерти. Донос был написан сразу после смерти Жданова, т.е. в 1948 г. Несколько лет он лежал без движения, но когда потребовалось создать «дело врачей», его извлекли из архива. Слава бдительной

патриотки Лидии Тимашук затмила славу Зои Космодемьянской, Павлика Морозова и прочих легендарных героев вместе взятых. Ее наградили орденом Ленина, в ее адрес шли восторженные письма трудящихся со всех концов необъятной родины, «Почта Лидии Тимашук» стала газетной рубрикой. Ну, а когда — после смерти вождя всех народов — Дело врачей было прекращено за отсутствием состава преступления, Тимашук разжаловали из героинь, лишили ордена, имея ее покрыли такой толстой броней молчания, словно она провалилась сквозь землю.



Лидия Феодосьевна Тимашук



Указ о награждении Л.Ф. Тимашук

Освобождение «убийц в белых халатах» стало первым шагом процесса реабилитации жертв сталинских репрессий.

До В.Л. Меркулова очередь дошла только через три года...

2.

«7 мая стукнет ровно 20 лет моего повторного внедрения (после 1926) в город на Неве. И это был пасхальный день, и меня у Московского вокзала встретили два друга моей юности» [4], — писал мне Василий Лаврентьевич в 1976 году. Значит, судьбоносное внедрение произошло 7 мая 1956 года — после 19 летнего перерыва.

Радость, однако, была сильно омрачена. Нога, поврежденная в лагере десятью годами раньше, так и не пришла в норму; осложнения следовали за осложнениями, и Василий Лаврентьевич, под угрозой худших последствий, должен был согласиться на ампутацию.

Год оказался насыщенным и другими драматичными событиями. Произошел его окончательный разрыв с Ириной, женитьба на «сибирской докторше» Альбине Викторовне Яицких. Они внедрились в коммунальную квартиру на Выборгской стороне, по Ново-Литовской улице, д. 5, кв. 118.

Таков обратный адрес большинства его писем и открыток. Я бывал у них в этой квартире, с темным коридором, детскими ванночками и велосипедами на стенах, какими-то сундуками и всяким хламом по обе стороны узкого прохода. У них была одна комната — небольшая, но и не настолько маленькая, чтобы они могли претендовать на «улучшение жилищных условий», то есть на отдельную квартиру.

В комнате было два высоких окна, но это не делало ее светлой и радостной. В ней не чувствовалось уюта, зато было много книг, вся она была завалена книгами. В этой комнате Меркуловы жили до кончины Василия Лаврентьевича, в ней же оставалась Альбина Викторовна до моего отъезда из Союза, когда наши контакты прекратились. В ней, вероятно, и она нашла свой конец...

Если верить историографам ВИЭМ, то в том же 1956 году (а не 58-м, как написано в одном из его писем) В.Л. Меркулова восстановили в институте. Но к работе физиолога-экспериментатора он не вернулся. За десятилетия вынужденного простоя изменились представления, методики, иным стало оборудование, приборы. Все это требовалось бы осваивать заново, а ему было уже под пятьдесят. Но главное, люди науки его всегда интересовали больше, чем приборы и подопытные животные. Еще студентом он стал записывать разговоры с Ухтомским, и потом, до самого ареста «усердно занимался историей СПб [университе]та, МХА, съездов естествоиспытателей» [5]. В 1936 году он издал монографию о XV международном физиологическом конгрессе — первая его книга.

При ВИЭМ был музей истории медицины имени И.П. Павлова. В нем Меркулов и стал работать — сперва младшим, а потом старшим научным сотрудником. С жадностью он навалился на архивные материалы, имевшие отношение к Павлову, к Ухтомскому, к их многочисленным ученикам, к Павловской сессии и вообще к истории российской медицины и физиологии. Не знаю, когда и по какой теме он защитил докторскую диссертацию — об этом ни одного упоминания в его письмах.

В 1972 году, когда мы познакомились на симпозиуме о биографии творческой личности, он был старшим научным сотрудником Института физиологии имени А.А. Ухтомского при ЛГУ. К этому времени он был автором не только научной биографии Ухтомского, но многих статей и докладов, отличавшихся, как правило, привлечением ранее неизвестного материала, остротой и независимостью мысли. Часто они шли вразрез с «правильными» представлениями, из-за чего с трудом пробивались (или не пробивались) в печать. Слишком многим влиятельным людям он был неудобен. Вскоре после московского симпозиума, в результате хитро проведенной реорганизации, его ставка в Институте им. Ухтомского была ликвидирована. В стране, кичившейся тем, что в ней нет безработицы, доктор наук, крупнейший знаток истории отечественной и мировой физиологии, заместитель председателя комиссии по научному наследию Павлова оказался на улице. Отныне и до конца жизни главным кормильцем его и его жены станет ампутированная нога: пенсия по инвалидности позволяла не умереть с голода.

3.

Я снова перелистываю папку с нашей перепиской и вижу, что в ней личность Василия Лаврентьевича Меркулова предстает куда более интересной и многогранной, чем мне удается показать на этих страницах. Его письма полны неиссякаемого жизнелюбия. Они искрятся мимолетными, а иногда и развернутыми, впечатлениями от увиденного, прочитанного, всплывшего из кладовых памяти, от контактов с людьми, часто вызывавших в нем острую эмоциональную реакцию.

Почти в каждом его письме — одно-два слова о погоде: «Солнце!» Или: «Грязь, хмурое небо». Или: «Солнце, -18°C!». Или: «Много снега за два дня — зимний облачный день». Или: «Ураган весь день, валятся деревья, гудит в небе и хо-

лодно, темно и даже мрачно на улице! Нева бурлит!» Или: «Мглистое утро. Т=19°C». Или: «Солнца нет — хмурое небо — эл. свет почти целые сутки. Где же солнце?»

Его наблюдения и размышления — меткие и часто неожиданные — окрашены широкой гаммой настроений, они всегда информативны, полны смысла и чувства, порой саркастичны, иногда грустны, иногда полны негодования. То он пишет о посещении пансионата старых большевиков: «Часть из них, из состава былых питомцев сталинских парадизов, отягчены гипертонией, инфарктами, инсультами и производят сугубо грустное впечатление» [6]. То сопоставляет идеологически «правильный», но лживый роман А. Чаковского «Блокада» с книгой о ленинградской блокаде американского журналиста Гарисона Солсбери (невесть где раздобытой), в которой рассказано о том, о чем промолчал Чаковский: как в 1949 г. «руководители обороны были проучены свинцовой кашей» [7].

То бросает несколько саркастических замечаний о молодых палестинских «партизанах», залечивавших раны в ленинградской больнице и заигрывавших с молоденькими медсестрами. То упоминает о том, что горячо спорил с женой о романе Александра Крона «Бессонница». То пишет об «озорной» пьесе Бернарда Шоу, посвященной Ньютону. И тут же проводит параллель между Ньютоном и знаменитым народовольцем, узником Шлиссельбургской крепости Н.А. Морозовым: тот и другой пытались выстроить хронологию библейских событий, соотнося их с данными астрономии. Ньютона это привело к трагедии, так как поколебало его веру в Библию как откровение Божие. А неверующий Морозов сначала обосновал гипотезу о том, что Апокалипсис — это художественное отображение солнечного затмения; затем, исходя из своей собственной хронологии, переписал всю историю европейской цивилизации в грандиозном шеститомном труде «Христос».

Меркулов радуется красочной японской открытке, полученной от знакомого психиатра из Калифорнии, а еще больше — подарку профессора Льва Лейбсона, который ездил по гостевой визе в США (редчайшее по тем временам событие!) и прислал оттуда двухтомник записных книжек Леонардо да Винчи, с семьюстами великолепными иллюстрациями («Единственная радость у меня книги» [8]). Он восхищается песнями Окуджавы, в особенности «Молитвой Франсуа Вийона». Или весело вспоминает драматичный эпизод в рижском зоопарке в августе 1960 года, когда вдруг из клетки, которую забыли запереть, вышел молодой лев по кличке Спутник и неторопливо двинулся по полутемному коридору, грозно рыча и скаля пасть. «И вдруг моя доселе пугливая Альбина храбро подошла к нему, наставила нашу “Смену” и стала щелкать затвором. Зверь рычал и недоумевал. Я на всякий случай приготовил палку для обороны. Но несколько женщин вбежали, навалились дружно, и “Спутничек” попал в полон к красоткам Риги. Так и не удалось из-за скверного освещения заснять “Спутничка” на память. Вообще, зоопарк Риги великолепен, и я надеюсь съездить туда» [9].

В открытке от 1 июля 1975 года Василий Лаврентьевич задал вопрос:

«Что Вы можете сказать о писателе Марке Поповском, авторе 17 книг, настойчиво мечтающем о 18-й книге, посвященной В. Войно-Ясенецкому??? [10]»

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, он же епископ Лука, был крупным хирургом и крупным деятелем православной церкви. За религиозные убеждения его ссылали в места отдаленные, а за достижения в гнойной хирургии наградили Сталинской премией. Его жизнь могла стать предметом захватывающе интересного повествования. К сожалению, за написание его биографии взялся писатель, органически не умевший писать правду.

Марк Поповский сделал себе литературное имя на восхвалении угодных власти проходимцев от науки, таких, как Т.Д. Лысенко, Г.М. Бошняк, на других подобных художествах. После падения Лысенко он стал писать биографию его антипода Н.И. Вавилова, что было, конечно, «шагом в правильном направлении». К сожалению, у него получилась смесь былей и небылиц — вплоть до того, что он сделал Вавилова главным виновником возвышения Лысенко.

Как написал мне Василий Лаврентьевич, Марк Поповский прислал ему три письма, прося поискать в архиве Ухтомского письма Войно-Ясенецкого и другие полезные для него материалы.

На вопрос, увенчанный тремя вопросительными знаками, я ответил без обиняков и довольно подробно. От поиска нужных Поповскому материалов Меркулов склонился, за что был отомщен. Имя Поповского вновь всплыло в его письме три года спустя. Поповский к тому времени эмигрировал. И вот Меркулов узнает от товарищей, которые, «имея отличные транзисторы, успешно прислушиваются к чужим волнам», что будто бы «с 8 по 25 февраля известный Вам писатель сообщал развлекательные сведения уважаемой публике о том, как страх деморализовал людей. И как пример взял моего учителя, де трое его учеников пребывали в узилище, а он хлопотать не думал, даже о брате не пытался стучать в двери милосердия. Почему-то ему понадобилось упомянуть и меня, что-де после ампутации сей незлобивый субъект два года сочинял книгу об учителе, а эти эпизоды обошел молчанием!»^[11]

Радиопередача Марка Поповского, транслировавшаяся по «чужим волнам» была полуправдой, которая хуже лжи. Как Ухтомский помогал арестованному брату еще в начале 1920-х годов, мы кое-что знаем из цитированных писем к В.А. Платоновой. Знаем и то, что он считал нужным все это держать в секрете даже от ближайшего окружения. Поэтому, предпринимал ли он что-то в 1937 году для смягчения участи брата и/или своих арестованных учеников и друзей, и что именно, нам неизвестно. Ясно, что официальных обращений с его стороны к властям с целью заступничества за репрессированных быть не могло: они только усугубили бы участь узников, став еще одним пунктом обвинения против них — и против него. Ведь он был под колпаком, в его «послужном списке» было два ареста, репутация упорного клерикала, носящего под одеждой вериги, и т.п. Охранной грамоты за подписью самого Ильича, как у И.П. Павлова, у него не было. После ареста Меркулова и других недавних сотрудников кафедры Ухтомского, на партсобрании в ЛГУ его обвинили в том, что он пригревал и прикрывал врагов народа. Сам он, как беспартийный, на партсобрании не присутствовал, но ему тотчас об этом рассказали, может быть, и с преувеличениями. Сигнал был грозный: после таких обвинений люди нередко исчезали без следа.

В архиве своего учителя Василий Лаврентьевич нашел черновик его письма в ответ на эти обвинения. Письмо было адресовано А.А. Жданову — тогдашнему первому секретарю Ленинградского обкома партии. Было ли оно послано, или так и осталось черновиком, неизвестно. Меркулов имел неосторожность сообщить об этом черновике Поповскому, чем тот и воспользовался. В книге «Управляемая наука», изданной М. Поповским в эмиграции, он посвятил Ухтомскому и Меркулову три небольших абзаца, в которых ухитрился перевернуть все, что только можно было перевернуть. Вот это место — выделяю его курсивом:

"Но подчас, для того, чтобы добиться крушения личности, и этого не требовалось. Академик физиолог Алексей Александрович Ухтомский (1875–1942) и как ученый и как человек, заслужил самое высокое уважение совре-

менников. Его теория доминанты вошла во все учебники физиологии, как одно из крупнейших открытий века. А опубликованные недавно в СССР письма явили нам личность огромного обаяния. Но и этого достойного человека не миновала машина деморализации. Ухтомские — старинный княжеский род, восходящий к XII столетию. Одного этого достаточно, чтобы в начале революции имение их в Костромской губернии, вместе с огромной библиотекой было разграблено и сожжено, а два брата — физиолог Алексей и епископ Андрей — брошены в тюрьму. Позднее судьбы братьев разошлись. Страстный христианин Андрей Ухтомский посвятил себя борьбе за права православной церкви, Алексей же с головой ушел в науку. Епископ десятилетиями не выходил из тюрьмы и ссылки, физиолог пребывал в сравнительном благополучии, заведая кафедрой в Ленинградском Университете. Но вот пришел достопамятный 1937 год и, по науцению ли партийных органов, или по приказу чекистов, на открытом партийном собрании в Университете, профессор биолог Немилев призвал коллег пристальнее присмотреться к облику академика Ухтомского. На кафедре социологии недавно арестовали трех студентов, а он, академик, не покаляся, не отрекся от них. И с братом своим продолжает тайные сношения, оказывает ссыльному епископу, откровенному врагу народа, материальную помощь. Разве такое поведение — не двурушничество?

Сам Ухтомский на собрании не был, но когда сотрудники рассказали ему о возводимых на него обвинениях, ученый пришел в ужас. По настоянию сотрудников сочинил он слезное прошение на имя первого секретаря Ленинградского Обкома Жданова и в том послании отрекся и от брата епископа и от арестованных студентов. Может быть он канул бы в небытие, этот горький и постыдный эпизод из истории российской науки, но случилось так, что через много лет, когда Ухтомского уже не было в живых (он умер от голода во время Ленинградской блокады), один из тех, кого он предал, вернулся из лагеря. Нищий, потерявший здоровье, на костылях, бывший студент добрался до Ленинграда и решил воздать долг учителю — написать его биографию. Недавний лагерник пришел в архив, поднял бумаги покойного... В письме ко мне этот ученый (теперь он доктор наук) написал:

«А.А. оставил черновик — свидетельство испуга и эмоции страха. Нас троих он растисал как людей скрытных и лукавых, душа у коих была суццими потемками. И он-де по старости лет и наивности не усмотрел, что имеет дело с отчаянными террористами, коих славные чекисты разоблачили!

Никогда я не испытывал такой скорби и жалости к своему учителю, как в тот момент, когда держал в руках этот документ» [12]».

Как видим, Алексей Алексеевич Ухтомский назван Александровичем; у его семьи сожгли имение в Костромской губернии, где никакого имения у нее никогда не было; кафедра физиологии ЛГУ, которой заведовал Ухтомский, превращена в кафедру социологии; черновик письма Ухтомского на имя А.А. Жданова, о котором Меркулов имел неосторожность сообщить Поповскому, превращено в реально отосланное письмо, хотя никаких доказательств того, что оно было отослано нет; утверждается, что Ухтомский предал брата и своих учеников, хотя о брате в черновике вообще не упоминается, а об учениках говорится, что они не были с ним откровенны и он их тайных мыслей не знал; Меркулов (не названный по имени, но легко узнаваемый) назван бывшим студентом, хотя до ареста он был научным сотрудником

ИЭМ. И, наконец, если у Меркулова обнаруженный черновик письма вызвал скорбь и жалость к учителю, то Поповский, который сам этого документа не видел и в руках не держал, усмотрел в нем пример деморализации и учителя, и ученика.

О том, с каких высоких моральных позиций он сам славословил «государственный подход академика Лысенко», «кукурузный скачок» Никиты Сергеевича Хрущева и прочие подвиги «передовой советской науки» [13], он, конечно, не вспомнил. То, что автор цитируемого письма оставался по другую сторону железного занавеса и публично возразить ему не мог, его не смутило. Не остановило и то, что по юридическому и по нравственному закону публиковать частное письмо живого автора без его разрешения за-пре-ще-но! Ну а то, что Ухтомский ничего не предпринимал для смягчения участи брата и арестованных учеников, это злостный домысел храбреца, размахивающего кулаками из безопасного далека.

Но вернусь к письмам Василия Лаврентьевича ко мне.

Подводя итог 1976 года, он писал с ядовитым сарказмом:

«В 1976 году ушли из жизни лица почтенные: генералиссимус Франко, Великий Кормчий Мао Цзедун и “Знаменосец Сталинской науки” Трофим Лысенко. Я никогда не встречал эту тройку и не могу высказать свои впечатления об этих “светлых личностях”. Но замечу, что если похороны первых двух были пышными, то Трофима похоронили скромно и не почтили его пышным некрологом, речами, почетным караулом у гроба, вспышками молний и телевизионной передачей!! “Так проходит слава вселенной” — говорили римляне (“Сик транзит Глория Мунди”))» [14].

В тон ему я отвечал:

«Благодарю Вас за новогоднее поздравление и выразительный итог, который Вы подвели минувшему году. Что до трех почивших “гигантов науки”, то, по-моему, вполне закономерно, что Т.Д. [Лысенко], не в пример двум другим, не удостоился пышных почестей. Для этого на его совести слишком мало пролитой крови. Тут, конечно, у него кишка тонка в сравнении с Мао и Франко. Их следовало хоронить со всей пышностью, они ведь провели такую же основательную прополку среди человекoв, как и наш великий вождь и учитель, который самой своей смертью отправил на тот свет не одну сотню скорбящих почитателей!» [15]

Больше всего в письмах Меркулова разнообразных сведений из истории науки, порой неожиданных, им самим добытых. Например, о том, что ранняя смерть Ломоносова была вызвана отравлением солями тяжелых металлов, а не алкоголизмом, о чем стыдливо эзопили советские биографы. Что И.П. Павлов, во время своей первой после революции зарубежной поездки, находясь в Англии, провел неделю в колонии йогов — выходцев из России, о чем в биографиях апостола материалистического мировоззрения умалчивалось. Что даже в период отчаянной борьбы за «русский приоритет» А.М. Бутлерова не жаловали из-за увлечения спиритизмом. Писал о чествовании 90-летней Анны Васильевны Тонких, ученицы И.П. Павлова:

«Это энергичная дама-физиолог, правая рука Л.А. Орбели, бодрая и разумная женщина, чествовали с подъемом» [16].

Мне особенно дороги его отзывы на мои книги, некоторые я уже приводил, но вот еще один, особенно подробный.

Весной 1976 года в издательстве «Знание», серия «Жизнь замечательных идей», вышла моя книга о создателях эволюционного учения под несколько выпяченным заголовком «Раскрывшаяся тайна бытия». Мое первоначальное название, «Эволюция и эволюционисты», редакция сочла недостаточно завлекательным, оно стало подзаголовком. При редактировании книга была сильно усечена и покалечена, так что радостное чувство, какое испытывает автор, держа в руках свою новую, только что вышедшую книгу, было изрядно омрачено. Я, конечно, послал экземпляр Меркулову. Книга всколыхнула в нем множество воспоминаний, и он тотчас же вышпеснул их на бумагу:



Юрий Александрович Филипченко



Феодосий Григорьевич Добжанский

«Большое спасибо за дар (вчера днем получил): книга Ваша нам понравилась, как оформлением, что сразу бросается в глаза, так и содержанием. Из недр памяти я извлек впечатления о тех, кого я видел в жизни: Н.И. Вавилова, Л.С. Берга, И.П. Бородина, Н.К. Кольцова, Б.Л. Астаурова, Тимофеева-Ресовского, в квартире Феодосия Добжанского (после его отъезда в США в 1927 г.) мне пришлось не раз ночевать, там жил генетик и мой друг Юрий Горощенко. Сукачев мне известен, а в Лес[у] на Ворскле я работал с 10/IX-48 по 15/XII-49 (и жил там до 17 мая 1950-го г. уже безработным). Мне пришлось слушать лекции Мёллера и В.И. Вернадского на заседании Общества естествоиспытателей и видеть там И.П. Бородина. Д.Н. Прянишников я слышал на общем заседании АН в филармонии осенью 1932 г. Обидно, что Вы не затронули А.Н. Северцова и Ю.А. Филипченко и его работы по твердым пшеницам, и В.А. Догеля» [17].

Да! Он лично знал, видел, слышал, разговаривал с героями моего повествования, из коих я сам встречал только двоих — академика Б.Л. Астаурова и Н.В. Тимофеева-Ресовского! О Юрии Леонидовиче Горощенко я едва слышал, хотя это был крупный генетик из школы Ю.А. Филипченко, профессора ЛГУ, одного из пионеров генетики в России, основателя лаборатории генетики при Академии Наук. После его ранней смерти, в 1930 году, лабораторию возглавил Н.И. Вавилов и превратил ее в ведущий в стране институт генетики. Ну, а о том, что Василий Лаврентьевич ночевал в квартире Феодосия Добжанского (более распространенное напи-

сание фамилии Добржанский), когда тот уехал на стажировку в США, откуда не вернулся, я не мог и подозревать!

Заповедник «Лес-на-Ворскле» в моей книге, кажется, даже не упоминался. Но об академике Сукачеве, выдающемся лесоводе, который много лет руководил научной работой в заповеднике, есть несколько страниц. Они и вызвали у Василия Лаврентьева цепочку ассоциаций, родившую своеобразный историко-мемуарный трактат:

«Не знаю, бывали ли Вы в Лес[у] на Ворскле? Ведь это заповедник, основанный Петром Великим в память о победе под Полтавой. Он почти 1000 га дубового леса приказал не трогать и подарил фельдмаршалу Борису Шереметьеву (отсюда слобода Борисовка и дом, где Петр бывал позже и т.д.)^[18]. А заповедник стал подчинен ЛГУ. Киноработники ЛГУ создали интересный учебный фильм. Сукачев стремился там к интродукции растительности с Дальнего Востока (лимонник, амурский виноград, бархатное дерево), из Канады (сахарный клен + шелковица, грецкий орех, персиковое дерево). [Там было] более сотни участков, где произрастали интереснейшие растения, начиная от бешеного огурца и масличных культур. В этом заповеднике водились белые куницы, хорьки, волки, лисицы, соболя, горностаи, ласки. Именно туда зимой устремлялись все номенклатурные труженики района стрелять волков и лисиц!!! Обидно, что на стр. 123 вместо Петербургского напечатано Московский [университет]. Впрочем, опечатки бывают и более странные»^[19].

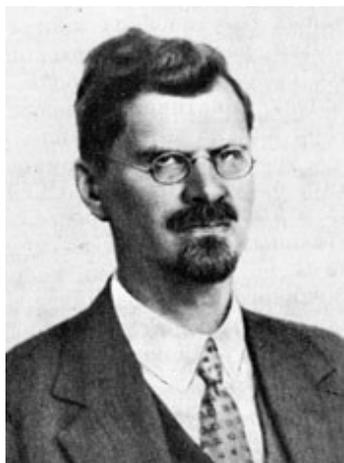


Владимир Николаевич Сукачев



В лесу на Ворскле

Моя ошибка, которую Меркулов деликатно назвал опечаткой, была очень неприятна. Я ему отвечал:



Сергей Сергеевич Четвериков

«С большим интересом, как всегда, прочитал ваше письмо! Спасибо за добрые слова о книжке. Ее почти уполовинили при издании. У меня осталась целая часть о Ламарке, Кювье, Бюффоне, Э. Жоффруа Сент-Илере, написанная лучше, чем все остальное [20]. Кроме того округлили все острые углы, не дали сказать о судьбе Вавилова и Четверикова, изгнали упоминания о Лысенко, заставили сделать газетное предисловие и т.д. Я нервничал, и вот результат, несколько досадных опечаток и описок, которые, конечно, не проскочили бы, если бы моя доминанта (о редакторе не говорю) была направлена на это, а не на то, как бы сохранить хоть два слова о том, что жизнь Четверикова не была безоблачной [21]!! Самое досадное, что я “перевел” Вернадского и его учителей [из Петербурга] в Москву»^[22].

Василий Лаврентьевич искренне радовался моим удачам, огорчался трудностям и неудачам, давал советы.

В людях он выше всего ценил порядочность, презирал тех, кто ради карьеры лакействовал, подличал, терял человеческое достоинство. Карьеристов и приспособленцев он не терпел, каких бы высот они ни достигали. Сам он на компромиссы с совестью не шел — в той мере, в какой это вообще было возможно. Обронил в одном из писем:

«Некоторые лица убеждали меня, что если я возьмусь за сочинение панегирика в честь К.М. Быкова, можно ожидать многие блага и твердое положение. Но он не был героем в моих глазах, это — диятко эпохи, и я уклонился от такого поручения. Вот покойный В.В. Парин был несравненно более симпатичным человеком, хотя и не создал такой большой школы, как Быков»^[23].

Когда я сообщил ему, что издательство «Знание», стараниями вдовы В.В. Парина Нины Дмитриевны, заключило со мной договор на небольшую книжку о нем, Василий Лаврентьевич искренне обрадовался — за меня и за Парина.

Парин стоял у истоков космической биологии, отправлял в космос сначала собачек, потом Гагарина, Тигова, Терешкову и других первых космонавтов. Значительная часть информации об этом оставалась закрытой. К тому же в жизни Парина был черный период: арест за мнимую выдачу американцам секрета лечения рака, обвинение в шпионаже, приговор к 25-летнему заключению, семь лет в знаменитой Владимирской тюрьме. Рассказать об этом в подцензурном издании было невозможно, это меня угнетало. Василий Лаврентьевич всячески подбадривал и поощрял:

«О В.В. Парине необходимо писать. <...> Подводных камней и рифов здесь много, но благородная личность В.В. Парина — наивного, доброже-

лательного и честного — не потускнеет, если Вы вспомните, что “фигура умолчания” предполагается, но не акцентируется в книгах соцреализма, и будете бережно эту фигуру расставлять» [24].



Василий Васильевич Парин (слева) — после успешного космического полета.

И в другом письме:

«Работа над рукописью о Парине очень важна — он достоин вдумчивого и трепетного анализа, тут все перешлетается, и мечты Дедала и Икара и Леонардо да Винчи, и задачи определить границы адаптации человека к полету!!!» [25] И дальше: «У Парина были: скромность, почти детская доверчивость, преданность науке и малая степень той гибкости позвоночника и души, которая так нужна проходимцам для карьеры» [26]. В подтверждение «малой гибкости позвоночника», Меркулов сообщил эпизод, откуда-то ему известный и, увы, тоже несъедобный для цензуры. В августе 1968 года Парин возглавлял делегацию советских ученых на международном конгрессе физиологов в США. И вдруг пришло сообщение о вторжении советских войск в Чехословакию. Экспансивный Джон Эклс, всемирно известный австралиец, лауреат Нобелевской премии, потребовал изгнать с Конгресса делегацию страны-оккупанта. Приставленная к делегации надсмотрщица из посольства велела всем «в знак протеста» покинуть Конгресс. «Но Парин заставил всех остаться, и бабу осадил» [27].

4.

Неиссякаемое жизнелюбие В.Л. Меркулова особенно разительно на фоне бытовой неурюченности и тяжелых болезней — своих и жены: с ними он, стиснув зубы, вынужден был бороться на протяжении всех восьми лет нашего общения.

Первое из сохранившихся у меня писем, от 12 сентября 1973 года, было написано в больнице. Но о болезни в письме ничего нет. Основная тема — моя книга о Мечникове, только что им прочитанная. Он меньше всего старался мне польстить, о достоинствах книги не распространялся, лишь мельком назвал ее интересной. Затем указал на ряд неточностей в датировках (в ответном письме я их оспорил). Сообщил подробности о некоторых второстепенных персонажах книги: об академике Ф.В. Овсянникове, профессоре Н.П. Вагнере, профессоре К.Ф. Кес-

слере. Высказал интересные соображения о И.М. Сеченове. Вспомнил о своем докладе 1967 года, посвященном так называемому чумному форту в Кронштадте и роли Д.К. Заболотного в борьбе с чумой в Индии, Персии и Китае.

И только в дописанном на второй день добавлении обронил несколько слов о своем незавидном положении, впрочем, не столько о себе, сколько о жене:

«Очень досадно, что моя пенсионная жизнь и хвори страшно потрясли мою хрупкую душой Альбину — она иногда впадает в жуткую депрессию; болезни ее и ранее деморализовали, хроническая гемол[итическая] анемия превратила в инвалида, она не работает как врач 16 лет, но пенсия ей не положена, т.к. не хватает стажа. После радикальных операций у нее никогда не будет детей — и вот многое у нее наслонилось на “комплекс неполноценности”. Моя глаукома и пророчество хирурга (после моей операции), сказавшего ей “муж ваш верно будет слепым”?! — ее потрясли. Конечно, я достаточно закалился, [проведя] почти декаду в пределах, и 9 лет маялся по стране. Но ее мне жалко! Придется тиснуть зубы и упорно пробивать лбом стены!»^[28]

Между тем, в больницу он попал не с легким недомоганием. Ему была сделана операция по поводу парапроктита, и она прошла не совсем удачно. В следующем письме (открытке), оправдываясь, что отвечает с опозданием, он с протокольной точностью, словно заполняя историю болезни, сообщал о своем тяжелом состоянии, описав свои мучения по дням и почти по часам. Он писал о высокой температуре, перешагнувшей за 39 градусов Цельсия; о мучительных болях в животе; о бурных изматывающих рвотах; о большом некрозе, образовавшемся на правой руке, куда ему вводили глюкозу и противошоковый раствор.

«Альбина извелась, она стала заикаться, плохо спит и, как медик в прошлом, обосновывает дьявольские диагнозы, сулящие мне жестокую близкую смерть. Поэтому я полемизировать с Вами о Мечникове и заодно об ошибочном изложении биографии Презента в другой книге не буду»^[29].

Как на грех, в это время я был в Ленинграде. Уверенный, что Василий Лаврентьевич давно уже дома, я намеревался зайти к нему, но не успел. Вернувшись домой, застал эту тревожную открытку и тотчас написал, стремясь его подбодрить и отвлечь от мрачных мыслей рассказом о собственных делах:

«Только что приехал из Ленинграда, где очень хотел, но не мог навестить Вас (будучи уверенным, что Вы давно уже дома), и застал Вашу открытку. Очень был ею обеспокоен, позвонил Б.Г. Володину^[30], зная, что он недавно Вас видел, но он меня успокоил, сказав, что ничего опасного у Вас нет. У Вас, конечно, очень трудное состояние, рвоты выматывают и тяжело действуют морально, но дело это временное, я думаю, что на сегодняшний день все это уже позади. Ради Бога, не спешите с ответом на это письмо — напишете, когда поправитесь, и Мечников, и Презент вполне могут подождать.

В Питере я занимался Зайцевым, о котором Вам писал пару слов в прошлый раз. Архив его в отделе хлопчатника ВИРА оказался в три раза большим по объему, чем я предполагал, к тому же он не разобран и вообще в отделе о существовании этого архива узнали от меня. Коробки с бумагами пришлось извлекать из каких-то давно не используемых шкафов, из которых я вылезал чумазый, как трубочист, доставать из-под тяжелой пирамиды ящиков картотечных, для которых эти коробки служили подставками, во-

обще удивительно, что все это уцелело, пережив массу ремонтов и пр. Материал там уникальный, есть два или три десятка писем Вавилова, до сих пор неизвестных и очень содержательных [на самом деле таких писем оказалось 55]. В общем, я исписал выписками (так как копирование там организовать не удалось) две общих тетради. Кроме того в Госархиве заказал 120 фотокопий — и все это за 8 дней. К счастью в отделе хлопчатника оказались милые люди, они мне позволили брать бумаги домой на вечера и выходные дни, так что я был занят почти круглосуточно, — вот и не успел никого повидать, включая Вас. Конечно, если бы я знал, что у Вас такое состояние, я выбрал бы время, но я был уверен, что Вы уже дома и что все у Вас благополучно. Сердечный привет Вам и еще раз прошу не утруждать себя немедленным ответом, разве что о состоянии здоровья черкните пару слов или, еще лучше, попросите об этом супругу, а остальное отложим до лучших времен» [31].



Гавриил Семенович Зайцев



*Гавриил Семенович Зайцев
18/10/1965 Н.И. Вавилов*

Фотография Н.И. Вавилова с дарственной надписью Г.С. Зайцеву

В переписке Василий Лаврентьевич был предельно аккуратен — в отличие от меня. В следующей открытке он писал:

«Ваше письмо Альбина принесла 11/X, но дьявольский некроз от CaCl_2 на правой руке очень мучает меня и я не сочинил ответа. В архивах Ленинграда можно найти много сокровищ, было бы время и желание. После критического 2/X, когда, по мнению медиков, я стал ходить на краю своей могилы — происходит вялый процесс заживления. Я надумал добиваться 15 сеансов УВЧ или уйти домой, ваннами с КМиОЧ хочу подстегивать свой организм. Кругом остеомиелитчики, их режут, скоблят и толка очень мало. Из 4-х палестинских партизан 2 уехали в Москву, а 2 — лечатся здесь. <...> Комическое приглашение Калифорнийского университета — прибыть к ним в Лос-Анджелес и консультировать там исследования по истории рус[ской] науки — где-то увязло, ибо официальных бумаг до меня не дошло! Чудесный солнечный день, многие больные в пальто и теплых халатах гуляют по парку, из

окна палаты вижу трамвай, троллейбус и авто, что мчатся по Загородному проспекту от Детскосельского вокзала к Палате мер и весов и обратно!»^[32]

Постепенно ему становилось лучше, и он «отчитывался»:

«С 15/X было 5 сеансов УВЧ, и они сильно катализировали заживление раны. С 22/X к УВЧ решили добавить сеансы кварца! Я обратился к фармакологу С.В. Аничкову 1) дать сведения о новых мощных стимуляторах и 2) выписать их из аптеки АМН. Культ мази Вишневского меня раздражает, но хирурги — консерваторы по мышлению. Я мечтаю удрать домой 2/XI, и там Альбина будет заливать рану соком алоэ и облепиховым маслом. Утомительное бытие в больнице: гулять в садике нельзя, ходить на костылях по коридору больно из-за большого и болезненного некроза на правой руке. А надеть протез невозможно, он попадает как раз на разрез. Дома мне надо бы отчаянно писать, шлифовать и печатать. Ну а как у Вас идет обработка архивов? Два дня шел обильный снег — деревья вызывают страстное желание уйти отсюда и побродить по лесу! Как не повезло в этом году — то глаукома, то парапроктит! Появилась ли зима в столице? Будьте здоровы и счастливы! Благодарю за все. Ваш ВМ»^[33].

После этого Василий Лаврентьевич о болезнях и сопутствующих бедах либо не упоминал вовсе, либо очень скупо, но с конца 1975 года его и Альбину закрутило так круто, что молчать об этом он уже не мог. Вот хроника свалившихся на него бед и мучений, как она отразилась в письмах только одного года:

30 декабря 1975 г.: «У АВ [Альбины Викторовны] — криз гипертонический, тяжелое состояние было 22/XII».

8 февраля 1976 г.: «Нам не везет. В ночь на 18/1 моя сибирская докторша Альбина Яицких умирала от жестокого приступа панкреатита, потом у нее стало нагноение на руках [после] замораживания 2 бородавок. И 22/1 в гололед мы едва доползли до Пироговской набережной, туда нет транспорта, чтобы ей вскрыли ладонь и распорили волдыри. Днем 29 января в 16 ч. 35 м. лихач-москвич Иван Павлович Петров, 42 лет, член КПСС, приехавший в командировку, лихо катал некую Тамару, хозяйку новой “Волги” (без №№), по Лигейному, под красный свет дал поворот на Невский и лихо помчался на людей! Я был сбит и жестоко пострадал. Правда, ребра и позвоночный столб не сломаны, но боли чувствую и сейчас. А 6 февраля появилась новая опасная гостья: рожа на лице — такое разлитое воспаление, которое охватывает подбородок, левую щеку, левый глаз, с зудом, краснотой и жжением. Как известно, рожистое воспаление может довести человека до кондиции слепоты!!! Тревога у А. В-ны перешла возможные границы. Йодная настойка + камфарное масло + русская водка — вот комплекс мероприятий, которые она применила!»

(Мой «успокаивающий» ответ от 18 февраля: «Ваше письмо очень меня огорчило. Что же Вам так не везет?? И болезни А.В., и Ваши собственные несчастья. Мало Вам напастей, надо еще угодить под машину! И рожа... Надеюсь, теперь Вам уже лучше. Насколько помню по временам занятия Мечниковым, рож[истое] воспал[ение] держится семь суток, а потом спадает. Если, конечно, я не путаю!»)

25 февраля: «Я ускользнул от рожистого стрептококка, но моя сибирская докторша была 18/2 сбита гриппом и сейчас медленно поправляется».

17 апреля: «Тяжелая сумрачная зима zelo утомила нас. У Альбины немного спала фаза депрессии, борется с приступами панкреатита с помощью мексазы ^[34], которую нам прислали добрые люди из Белграда».

26 июня: «Мы 17 июня ездили на окраину города, где новая больница № 26 стоит рядом с гигантскими пустырями и свалкой. Туда выселили кафедру челюстно-лицевой хирургии, и проф. Кабаков Борис Дементьевич осмотрел Альбину, нашел, что ее опухоль левой подъязычной железы растет и нуждается в хирургическом вмешательстве. Паника сразу появилась у моей сибирской докторши (г.р. 1927, окончила Омский мединститут в 1950 г. и работала 6 лет медиком универсалом). 22 июня мы попали на консультацию к проф. Лазарю Рувимовичу Балану в Мединституте, он был готов ее положить в коридор на раскладушку до ремонта. Если к этому добавить, как я писал, что приехала из Парижа дочь соседки с мальчиком 6 лет, и теперь квартиру штурмуют кухни, тетки, подруги и знакомые женщины для осмотра нарядов и т.п., то причин для тусклого настроения у Альбины много. Сегодня она сказала, что колебалась огорчать ли меня, но пора вымолвить. В левой груди появилась боль и растет какая-то опухоль. Занятные происшествия! Медицинское образование только склоняет мою сибирячку к грустным прогнозам».

7 июля: «Ваше письмо Альбина вынула из почтового ящика вчера около 23 ч. Я совсем скис от атаки рожистого воспаления на левой голени и читать не мог. Весь день лодырничал и то лежал, то механически перебирал всякие конспекты и записочки».

17 ноября: «Здоровье АВ дало дважды нежелательный крен — с 29 октября до 6/XI гипертонический упорный криз. Затем с 10/XI по 15/XI бурная атака панкреатита с тягостными головными болями, колющими в районе pancreas'a, и рвотами. Только мексаза спасает ее. Хвала швейцарским фармакологам, что производят это лекарство, и некие историки медицины щедро ею снабжают» ^[35].

Таков был фон, на котором, Василий Лаврентьевич продолжал, стиснув зубы, пробивать лбом стены.

Увы, часто они оказывались крепче его лба.

Глава двадцать первая. Судьба книги: Цион.

1.

В то время, когда я познакомился с Василием Лаврентьевичем, им уже была написана научная биография Ильи Фаддеевича Циона — одного из самых ярких физиологов России последней трети XIX века, фигуры крайне драматичной и по своему трагической.

Мне довелось прикоснуться к Циону, когда я писал о И.И. Мечникове, хотя Илья Фаддеевич и остался за бортом моего повествования. В 1870 году в Медико-хирургической академии (МХА), позднее переименованной в Военно-медицинскую, открылась вакансия ординарного профессора кафедры зоологии. Профессор физиологии МХА И.М. Сеченов предложил кандидатуру молодого, но уже прославленного значительными открытиями зоолога И.И. Мечникова. Препятствий к избранию Меч-

никова не предвиделось: серьезных конкурентов у него не было. Но на заседании Ученого совета, перед тем, как приступить к обсуждению кандидатуры Мечникова, ректор неожиданно предложил сначала обсудить другой вопрос: нужен ли вообще медицинской академии преподаватель зоологии в ранге ординарного профессора, не лучше ли передать эту вакансию одной из медицинских кафедр?

Предложение было чисто демагогическим, ибо, согласно уставу, Ученый совет не имел полномочий перебрасывать вакансии с одной кафедры на другую. Все это знали, но едва ректор внес свое «предложение», как раздался голоса в его поддержку. Сеченов понял, что за его спиной состоялся сговор с целью не допустить Мечникова в МХА. Он стал настаивать на голосовании предложенной им кандидатуры, и ректор вынужден был пустить ее на шары. В урне для голосования оказалось 12 белых шаров и 13 черных. Тринадцатый черный шар положил профессор-офтальмолог Юнг. Перед тем, как проголосовать, он, по выражению Сеченова, стал «кобениться». Он сказал, что по научным заслугам Мечников достоин даже звания академика, но поскольку в МХА ординарный профессор зоологии не нужен, он кладет черный шар.



Иван Михайлович Сеченов.
Портреты работы И. Репина.

Сеченов воспринял интригу очень болезненно. Перестал ходить на заседания Ученого совета и решил при первой возможности уйти в отставку. К счастью, Мечников получил кафедру в молодом Новороссийском Университете (Одесса) и тут же номинировал Сеченова на кафедру физиологии. Избрание прошло гладко, Сеченов рад был переехать в Одессу.

Покидая МХА, но заботясь о том, чтобы студенты не остались неучами, Сеченов рекомендовал на свое место молодого доцента Санкт-Петербургского университета И.Ф. Циона. Лично он Циона почти не знал, но его работы высоко ценил.

Цион провел несколько лет за границей, в лабораториях знаменитых физиологов К. Людвиг, Э. Дюбуа-Реймона, Клода Бернара, выполнил первоклассные исследования по иннервации сердечной деятельности и кровеносной системы. Они были удостоены премии Французской Академии Наук. Академик Ф.В. Овсянников, возглавлявшей в Санкт-Петербургском университете кафедру анатомии, физиологии и гистологии, пригласил Циона на должность доцента. Отдельной кафедры физиологии в университете еще не было, университетскую физиологию фактически возглавил доцент Цион. Он много и плодотворно работал, у него появились ученики, в их числе молодой И.П. Павлов, выполнивший под его руководством свои первые исследования.

Словом, более достойного кандидата на освобождавшееся место профессора физиологии МХА в России не было. Тем не менее, при голосовании на Ученом Совете кандидатура Циона была дружно провалена.

В литературе можно встретить версию, что Циона провалили из-за его реакционных взглядов, с которыми не хотели мириться прогрессивные профессора МХА. Это более чем сомнительно, если учесть, что перед этим они провалили

вполне прогрессивного Мечникова, а рекомендовал обоих еще более прогрессивный Сеченов. Надо полагать, что немалую роль в забаллотировании сеченовских кандидатов сыграли антисемитские предрассудки «прогрессивных» профессоров: по происхождению Мечников был наполовину, а Цион стопроцентным евреем, хотя и принявшим православие.

Оскорбленный Цион подал жалобу военному министру Д.А. Милютину, так как МХА числилась по военному ведомству. Министерство запросило мнение ведущих физиологов Европы и получило блестящие отзывы о Ционе от крупнейших мировых авторитетов: Карла Людвига, Клода Бернара, Германа Гельмгольца, Эмиля Дюбуа-Реймона. Опираясь на эти отзывы, военный министр своим приказом назначил Циона ординарным профессором МХА — через голову Ученого совета и, конечно, к негодованию всей ученой корпорации.

Так Цион въехал в МХА на белом коне — почти в буквальном смысле, ибо он имел обыкновение приезжать в академию в парадном вицмундире, верхом на подаренной ему лошади (не знаю, правда, была ли его лошадь белой масти).



Илья Фаддеевич Цион

2.

Назначенный профессор не пытался наладить отношений с коллегами, а, напротив, всячески шел на обострение. И не только с профессорами, но и со студентами. Лекции он читал с блеском, сопровождал их множеством демонстраций, опыты проделывал виртуозно. Стоя на кафедре, он препарировал лягушек, белых мышей, голубей и другую живность. При этом профессор не надевал рабочего халата. Из рукавов парадного вицмундира высовывались белые накрахмаленные манжеты, но после кровавых вивисекций на них не появлялось ни пятнышка. Тонкие пальцы профессора артистично орудовали скальпелем, словно дирижерской палочкой. Однако лишь очень немногие студенты заморожено следили за священнодействием профессора-мага. В их числе был Иван Петрович Павлов. К тому времени он окончил университет и поступил на четвертый курс МХА — не в последнюю очередь потому, что туда перешел его Учитель.

Для большинства студентов физиология была слишком сложной теоретической дисциплиной, не очень нужной будущему врачу. Слушали они лектора вполуха, занимались кое-как; на экзамене профессор почти всему курсу вцепил двойки. Начались сходы, протесты. В ответ неукротимый профессор обрушивал на студентов обвинения в лени, невежестве, в том, что они мало учатся и много митингуют, ничего не смысля в политике.

Обнажились глубокие идеологические расхождения между Ционом и молодежью, воспитанной на романе Чернышевского «Что делать?», на статьях Писа-

рева, на переводных книжках Фогта и Молешотта, на «Рефлексах головного мозга» Сеченова.

Книга Сеченова воспринималась как научное доказательство того, что «Бога нет, а есть одни рефлексы». Цион же стоял на том, что рефлексы отдельно, а Бог отдельно; думать иначе могут только самоуверенные болваны. Верил ли он сам в Бога или был юродствующим во Христе выкрестом, сказать трудно, но то, что ни Бога, ни черта он не боялся, он многократно доказал. Он усердствовал сверх всякой меры. Начальству надоело разбираться в скандалах, связанных с его именем, и его отправили в длительную заграничную командировку, посоветовав в МХА не возвращаться.

3.

За границей Цион работал в разных лабораториях, потом создал в Париже свою собственную; результаты исследований исправно публиковал; это были вполне добротные и отнюдь не заурядные публикации. Но по-настоящему уйти в науку он уже не мог — не на то были направлены его доминанты.

Цион виртуозно владел не только скальпелем, но и пером. Его острые, полные сарказма памфлеты о нигилизме, атеизме и других модных течениях печатались в журнале «Русский вестник» — рупоре праворадикальных кругов. Цион был близок с главным редактором журнала М.Н. Катковым, был даже его крестником. Катков имел большое влияние в правительственных сферах. После убийства Александра II и воцарения Александра III оно еще больше возросло. Профессор Вышнеградский занял пост министра финансов по протекции Каткова, и, когда тот стал хлопотать за Циона, Вышнеградский не мог отказать.

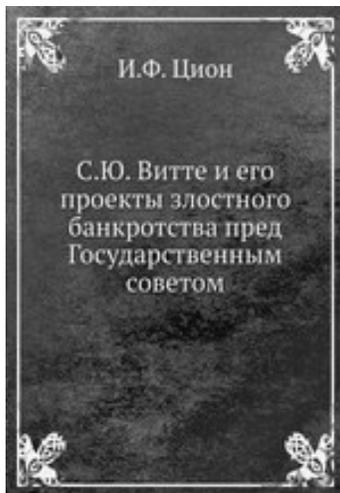
Цион стал чиновником особых поручений министерства финансов, ему были даны широкие полномочия для заключения сделок по крупным государственным займам. Он оказался превосходным дельцом и дипломатом. Благодаря его энергии и инициативе, деловой хватке и умению заводить связи в самых элитарных кругах, способности «без мыла» пролезть в любую щель, линия Вышнеградского на привлечение в страну иностранного капитала стала наполняться конкретным (денежным!) содержанием.

Однако с таким же умением, с каким Цион обростал влиятельными друзьями, он плодил и врагов. Вскоре стали поступать доносы о том, что, пропуская через свои руки огромные денежные суммы, Цион не всегда делал различие между государственным карманом и своим собственным. Не все донесения такого рода были беспочвенными, и, в конце концов, Вышнеградский должен был дать им ход. Циона вызвали в Петербург для объяснений. Приехать он отказался, чем окончательно себя скомпрометировал. Со службы он был уволен, стал в России персоной нон грата. То был один из редких случаев, когда «невозвращенцем» оказался не противник царизма, преследуемый по политическим мотивам, а горячий сторонник и идеолог режима.

Надеясь вернуть расположение власти, Цион стал использовать свои связи для сбора компромата на своего недавнего покровителя. Доносы он не только рассылал по начальству, но и публиковал в западной прессе, что вызывало громкие скандалы и — еще большее раздражение против Циона в российских высших сферах. Как ни странно, Илья Фаддеевич этого не мог взять в толк. Вот что значит

находиться в плену своих доминант, не уметь посмотреть на себя и свои действия со стороны! Когда тяжело заболевшего Вышнеградского сменил на посту министра финансов С.Ю. Витте, Цион прислал ему восторженное письмо, наполненное лестию и предложением услуг. Зная, с кем имеет дело, Витте ему не ответил. И унаследовал опаснейшего врага.

«Нет гадости, которой бы обо мне Цион не писал. Он писал всевозможные на меня доносы, рассылал их, посылал в Петербург к государю императору и ко всем подлежащим министрам», вспоминал Витте^[36].



Книга И.Ф. Циона, «разоблачающая» С.Ю. Витте.

Согласно одной из гипотез, именно у Циона российская тайная полиция выкрала памфлет, направленный против Витте и затем превращенный в антисемитскую фальшивку: «Протоколы сионских мудрецов»^[37].

«Многие, знавшие его, и я в том числе, его очень не любили за злобный характер и неспособность стать на сколько-нибудь нравственно-возвышенную точку зрения»^[38], вспоминал И.И. Мечников. У Мечникова не было личных столкновений с Ционом, так что его трудно заподозрить в предвзятости.

Но какой бы скандальной ни была репутация Ильи Циона, из песни слова не выкинешь: с его именем связана яркая страница в истории российской физиологии. И.П. Павлов настойчиво повторял, что является учеником Циона, высоко отзывался о его научных работах, поддерживал с ним дружескую переписку, обменивался отгисками публикаций, однажды был у него в гостях в Париже. Ухтомский отводил Циону роль зачинателя физиологии в Санкт-Петербургском университете, называл его «талантливейшим», «блестящим», высоко оценивал его вклад в науку, «вопреки всем тем нападкам, которым подвергался последний по заслугам»^[39]. О том, каковы были эти нападки и чем Цион их заслужил, Ухтомский говорить не хотел.

4.

Отдавал ли себе отчет Василий Лаврентьевич, на что он шел, приступая к научной биографии Циона? Думаю, что отдавал в полной мере. В советских условиях издание биографической книги о каком-либо деятеле науки или искусства воспринималось как выдача ему ордена или возведение на пьедестал. Персонаж биографической книги должен был служить примером для подражания, на этом примере воспитывалась молодежь. Персонаж мог иметь отдельные недостатки, и даже обязан был их иметь, если его нельзя было причислить к марксистам-ленинцам, но в целом он должен был быть положительным героем. Цион под это понятие не подходил, так что огромные трудности предполагались заранее. Только автор, привыкший плыть против течения, мог взяться за такую тему.

Первоначальный вариант рукописи был закончен в 1971 году. Меркулов сдал ее в Ленинградское отделение издательства «Наука», с которым у него был заключен договор. Два года она пролежала без движения. Затем ответственным редактором книги был утвержден доктор наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ) М.Г. Ярошевский. Это обрадовало Василия Лаврентьевича, так как они были друзьями, и, как считал Меркулов, единомышленниками. Они тесно общались в Ленинграде в 1964-65 годах и с первой же встречи «оба понравились друг другу».

«Он познакомил меня со стариком-отцом, сестрой и племянником — шофером такси, — вспоминал Василий Лаврентьевич. — Не удалось иметь знакомство с его сыном от первого брака и первой женой (сын умер от лейкемии, будучи химиком). Потом он переехал в Москву и сразу зашумел, вклинился в группу “научковедов”, был посылаем в Голландию, ГДР, а позже и в Англию. Моя рецензия, очень объективная, на его книгу “И.М. Сеченов” [40] вызвала его охлаждение и неудовольствие» [41].

Летом 1973 года они встретились в Ленинграде на симпозиуме по научным школам. Ярошевский с энтузиазмом отнесся к идее книги о Ционе, вызвался быть ее научным редактором. Но воз не двигался с места. В декабре 1973 года Меркулов мне писал:

«Моя рукопись о Ционе лежит без движения, то редакторша уезжала в отпуск, то схватила токсический грипп, то опять занята» [42].

Но если бы болезнь и занятость сотрудницы издательства были главной причиной проволочек!

Рукопись рецензировали, обсуждали на ученых и редакционных советах, возвращали для переделок. Академик В.Н. Черниговский написал предисловие, но такое, что, прочитав его, Альбина Викторовна сказала мужу: «Твой Цион никогда не выйдет!» Василий Лаврентьевич тоже считал, что предисловие только сильнее напугало издателей. Много выслушал он сочувственных вздохов и лицемерных обещаний, но когда доходило до дела, никто не хотел брать на себя ответственность за издание книги о такой сомнительной личности! Меркулову это стоило много крови, но он не терял надежды.

В марте 1975 года он писал мне в открытке:

«Очень обидно, что рукопись о Ционе завязла — я уже хотел попасть на прием к секретарше обкома Кругловой, а ее срочно перевели в Москву,

чтобы она была мощной подпоркой преемнику [министра культуры Е.А.] Фурцевой» [43].

Только отчаяние могло заставить его искать заступничество у партийных боссов.

Вероятно, в ответ на это письмо я попросил Меркулова прислать мне рукопись на предмет возможной публикации отрывка в журнале «Природа», где я тогда работал. Он мне ее прислал (в первоначальной редакции 1971 г.), и я ответил:

«“Циона” Вашего прочел с большим интересом. Думаю, что главу о его заграничных работах мы сможем напечатать. Во всяком случае, попытаюсь ее пробить. Но ее нужно бы превратить в самостоятельный очерк, а для этого вставить из других глав кое-что о его политической деятельности в тот период. Это, кстати, и оживит повествование, и снимет возражения с той стороны, что-де он был реакционер, а у Вас об этом ничего нет (то есть в последней главе)» [44].

К предложению о публикации главы Василий Лаврентьевич отнесся сдержанно — вероятно, опасался, что такая публикация может помешать выходу книги. Думаю, я смог бы его убедить в обратном, но вскоре я ушел из журнала.

О том, к чему привела его попытка найти защиту у партийных боссов, он сообщал с горькой усмешкой полгода спустя:

«Меня сегодня вторично вызвали в Смольный в отдел науки горкома, и лидер отдела издательств поведал мне, что рукопись мою об Илье Фаддеевиче печатать не следует — мрачный-де субъект, и молодежь ничего позитивного из его жизнеописания не извлечет!!! Возвращать аванс в сумме 700 рублей я не обязан, и мне посоветовали “понять правильно и не обижаться на нашу организацию”. Я сказал, что не только меня не печатают, но даже К. Маркса книжицу <...> “Тайная политика Европы в 18 столетии” никогда не переводили на русский язык, и в библиотеках нашей Родины есть всего два экземпляра английского издания (1899), и мне выдали его со скрипом, когда я сочинял доклад о Петре Великом и появлении на Руси естествознания и медицины! Это озадачило моего собеседника, и он напрягал мысль, чтобы выкинуть в мои слова!!! Как это так: единственную книгу Маркса о Руси, и не переводили никогда, а цитировали кусочек в БСЭ в статье о Петре!!!» [45]

Василий Лаврентьевич снова пытался найти поддержку в Москве, и снова потерпел неудачу. Поздравляя меня с наступавшим 1976 годом, он писал в пояснение к какому-то нашему телефонному разговору:

«19/ХП я получил официал[ьное] сообщение из ИИЕиТ, что в начале декабря РИСО [Редакционно-издательский совет] под председ[ательством] акад[емика] [А.Л.] Яншина in toto похоронило моего Циона. А 20/ XII звонил Ярошевский и сообщил, что он и Микулинский не были на заседании, [где] моего героя умертвили. И де надежд на приглашение меня консультантом в сей институт, о чем меня обнадеживали [более] 3-х лет, — нет и не будет. Эти вести вызвали тяжелую форму депрессии у Альбины — она не желает никого видеть и никуда не ходит. Т.к. она стояла около телефона, то разьяснять Вам ее состояние было не очень удобно! Сумрачно она смотрит на будущее и считает, что существование 20-й год в коммунальной квартире

с чужими детьми, собаками и любовниками ее измучило. А год то [наступающий] не обольщает нас веселыми событиями. Но надежда не покидает меня!»^[46]

Через несколько месяцев возникло какое-то движение:

«Кое-кто намерен гальванизировать труп Ильи Фаддеевича, потом его кастрировать и выпустить в свет таким недоноском!»^[47]

Прошло еще почти 10 месяцев:

«Какая-то мышиная возня в издательстве “Наука” с рукописью о Ционе — решено отправить акад. Черниговскому, чтобы он, как председатель Комиссии по истории науки, снова рассмотрел и свое двусмысленное предисловие, и искореженный текст и решил бы: стоит ли печатать? Перестраховщики отчаянные!»^[48]

Не знаю, что решил тогда академик Черниговский, но оскопленный недоносок тоже не увидел света. Эта душевная рана так сильно саднила, что два года спустя Меркулов написал о том же, припоминая не известные мне ранее подробности:

«Переговоры о внедрении меня в ИИЕиТ затянулись и лопнули, этому ожесточенно препятствовал Кедров [по-видимому, кем-то настроенный против Меркулова]. <...> С воодушевлением он [Ярошевский] воспринял мою идею написать рукопись о Ционе, но как отв. ред. снял заголовок: “Илья Фаддеевич Цион (1842-1912) — учитель Ивана Петровича Павлова” и не протестовал против мерзкого предисловия Черниговского: “Отвратительная личность смотрит со страниц рукописи на читателя” и т.п.

Ярошевский отнесся хладнокровно к тому, что 17 месяцев держали [в ленинградском отделении издательства “Наука”] отредактированную рукопись, а потом отослали в Москву с решением не печатать. Моя жалоба в отдел печати горкома КПСС не имела успеха. Какой-то чиновник с отличной военной выправкой пояснил мне: “С Вами работники издательства ‘Наука’ поступили неправильно, не желая с Вами беседовать, но в принципе правильно”. Я высмеял этого типа и заверил его, что хотя исторический материализм не признает библейского закона ВОЗМЕЗДИЯ, но он действует, вкратце сообщил о смешной смерти одного моего упорного недруга. Это было в августе 1975 г.

6 октября 1975 г., возвращаясь со съезда физиологов из Тбилиси, я имел долгую беседу с дипломатом-лицемером Микулинским. Он клятвенно гарантировал, что Цион будет напечатан и что он спит и видит меня в числе сотрудников ИИЕиТ. Действительно, рукопись о Ционе прибыла в Ленинград, [но] мне ее не дали посмотреть, а затем приехала З.К. Соколовская [По-видимому, редактор издательства “Наука”], дама хитрая и лукавая, и



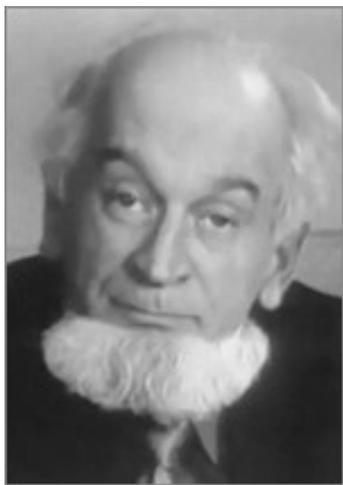
Михаил Григорьевич
Ярошевский

она, выяснив, что не хотят публикации Циона, особенно новый главред А. Фролов, затем прислала решение РИСО научно-биографической серии за подписью акад[емика] Яншина. РИСО считает нецелесообразным публикацию рукописи о Ционе, и ее опять отправили в Москву. Ярошевский пальцем не стукнул как отв[етственный] ред[актор]. Он элементарный перестраховщик!» [49]

Как писал мне Василий Лаврентьевич тремя годами раньше, «М.Г. Ярошевский усвоил плохую манеру — молчать и погружаться в быт с молодой 3-ей женой и переиздавать, переделывать свои книги. — При этом с горечью отмечаю у него элементы поспешности, верхоглядства и даже вранья в книге “Уолтер Кеннон”, которая вот-вот выйдет, но мне на рецензию он с Чесноковой подкинули только корректуры!» [50]

5.

Солью на незаживающую рану стало появление в сборнике «Пути в неизвестное» (№ 12, 1976) большой главы из биографии И.П. Павлова, посвященной его учителю И.Ф. Циону. Книгу о Павлове писал (но не написал) Борис Генрихович Володин, наш общий приятель. Василий Лаврентьевич давал Володину свою рукопись о Ционе, и тот, с согласия автора, ею воспользовался. Меркулов полагал, что его книга вот-вот выйдет, но она безнадежно застряла, и публикацию Володина он воспринял очень болезненно.



Борис Генрихович Володин

Бориса Володина я знал много лет, мы были не просто приятелями, но друзьями. У Володина было два высших образования плюс неполное третье. Он окончил исторический факультет Ивановского пединститута, но затем решил стать врачом и окончил Московский мединститут. Еще одно высшее образование он получал в ГУЛАГе, куда попал семнадцатилетним парнишкой. Но так как дали ему «всего» три года, из коих он отсидел только два, ибо попал под амнистию, то это третье образование надо считать неполным.

Друзьями мы стали в процессе работы над его книгой о Менделе, которую он написал для серии ЖЗЛ. Грегор Мендель, первооткрыватель основных законов наследственности, был рожден в Моравии (заштатной провинции Австро-Венгерской империи) в семье бедных крестьян-католиков. Он с трудом окончил среднюю школу, постригся в монахи и прожил тихую затворническую жизнь в Августинском монастыре города Брно. Его гениальная статья о единицах наследственности, в которой он обобщил свои многолетние опыты по скрещиванию разных сортов гороха, была опубликована в любительском сборнике и осталась незамеченной. Сформулированные в этой статье основ-

ные законы наследственности были заново открыты 35 лет спустя — тогда о нем вспомнили! Мендель к этому времени давно умер, наследников не имел, бумаги его были в основном утеряны, не осталось людей, которые его помнили, так что о нем почти не сохранилось сведений. Требовалось глубокое проникновение в особенности жизни Августинского монастыря, в быт крестьянской моравской семьи и во многое другое, чтобы из крохотных кусочков фактического материала воссоздать жизненный путь и живой полнокровный образ ученого. Володину это удалось. Требовалась мелкая доработка рукописи, в частности, по замечаниям известного культуролога С.С. Аверинцева, которому мы послали ее на внутреннюю рецензию. Моя книга о Н.И. Вавилове, великом менделисте-морганисте, погибшем за свою науку, уже была в типографии, так что наши интересы близко соприкасались.

Володин был старше меня на 11 лет, а выглядел еще старше. Он был автором нескольких книг, членом Союза Писателей, а я — начинающим. У него была широкая, коротко постриженная «шкиперская» борода, уже абсолютно седая. Разговаривая, он ее машинально теребил и оглаживал. На правах старшего он относился ко мне чуть покровительственно, звал меня Сенечкой, а я его — по имени-отчеству. Но это не мешало нам подшучивать друг над другом, пикироваться, делиться бытовыми и иными заботами. Я бывал у него дома. Свою кооперативную квартиру он обставлял с большим тщанием и удовольствием, с особой гордостью демонстрировал сборные книжные полки эстонского производства, за которыми специально ездил в Таллинн, так как в Москве такие не продавались, их нельзя было достать ни за какие деньги.

Он познакомил меня со своей женой — второй — красивой белокурой армянкой со светлыми глазами. Кажется, ее звали Нона, но не могу поручиться. Она была журналисткой, не помню, в какой редакции работала. Она показалась мне своенравной особой. Борис в ней не чаял души. Сидя рядом со мной над рукописью, он чуть ли не каждые полчаса хватался за телефон, чтобы ей позвонить. При нем всегда был старый раздутый портфель, но набит он был не бумагами. В нем он таскал дефицитные деликатесы, добываемые для обожаемой супруги в закрытых распределителях, по большому благу. Понятно, как я был ошарашен, когда он вдруг мне сказал, что от нее ушел!

Не веря своим ушам, я спросил, что произошло. Он лаконично ответил, тебя бородку:

—Знаете, Сенечка, я просто вдруг очень сильно обиделся!

Холостяком он пробыв недолго. Вскоре я был в квартире его третьей жены, Оли, очень милой и привлекательной женщины, еще совсем не старой, но уже бабушки. Она буквально лучилась добротой. Я не мог налюбоваться, видя, с какой нежностью она к нему относилась, и с какой радостью он нянчился с ее полторагодовалой внучкой.

6.

Книгу Володина о Менделе высоко оценил мой шеф Юрий Коротков. Подписывая рукопись в набор, он поздравил автора с успехом, и неожиданно сказал.

—Надеюсь, что наше сотрудничество на этом не кончится. Почему бы вам, Борис Генрихович, не написать для нас книгу о русском ученом? Когда шла борьба за русский приоритет, возникло немало дутых гениев, но были же в России и настоящие ученые. Почему бы Вам не написать о ком-либо из них?

Я был поражен. Делать такие предложения авторам, даже самым именитым, было не в правилах моего шефа. Он предпочитал, чтобы авторы сами приходили с предложениями, а редакция оставляла за собой право решать, какое из них принять, какое отклонить. Володин это знал. Он был польщен. Оглаживая бородку, спросил:

—А кого вы имеете в виду?

—Ну, например, Павлова или Мечникова, — сказал Коротков.

Не знаю, что в этот момент отразилось на моем лице, но у меня потемнело в глазах. Я уже работал над книгой о Мечникове, но для серии еще ее не предлагал: считал это неудобным до выхода в свет «Николая Вавилова», с которым было много цензурных сложностей. На сбор материала о Мечникове я уже потратил немало сил, но главное было не в этом. Главное было в том, что эту книгу я уже всю придумал.



И.И. Мечников и Л.Н.Толстой наедине ведут «главную беседу».
Ясная Поляна, 30 мая 1909. (Из книги Семёна Резника «Мечников», М., ЖЗЛ, 1973).

На Мечникова я вышел через Вавилова. Первый большой труд Вавилова, «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям», изданный отдельной книгой в 1919 году, был посвящен памяти Мечникова. Меня заинтересовало, не было ли у них личных контактов — ведь в 1913 году Вавилов недолго стажировался в Пастеровском институте в Париже, где Мечников заведовал лабораторией и был заместителем директора. Никаких упоминаний об их возможной встрече в вавиловских материалах не было, поэтому я обратился к материалам о Мечникове. Того, что искал, я в них тоже не нашел, но понял гораздо более важное. Мечников оказался очень яркой и, в сущности, совершенно не понятой личностью! Во всяком случае, я увидел в нем то, чего не видели мои предшественники. Для них он был азартным «охотником за микробами», я же увидел в нем мыслителя, мучающегося вечными проблемами смысла человеческой жизни и смерти. Пришла мысль строить сюжет вокруг посещения Мечниковым Ясной Поляны, чей хозяин искал ответ на те же вопросы, но на совершенно других путях. Меня глубоко поразил внутренний драматизм этой встречи, никем до тех пор не замеченный. Раскрыть его мне представлялось увлекательной творческой задачей.

И вот столь дорогая, выношенная тема выскальзывала из рук!

Но тут я услышал слова Володина:

—Ну, если так, то никакого вопроса нет. Конечно, Павлов!

Когда Володин ушел, я попросил Короткова, застолбить за мной Мечникова.

А книга о Павлове у Володина не пошла. При встречах он жаловался, что чем глубже влезает в материал, тем труднее становится задача. Основное препятствие — взаимоотношения Павлова с советской властью. Рассказать правду в подцензурном издании невозможно, а повторять ложь советских книг о Павлове он не хотел. Тем не менее, мне казалось, что такова была только внешняя причина его неудач. Более глубокой, внутренней причины, он не признавал.

Если о Менделе было очень мало материала, так что драгоценной была каждая крупница, то о Павлове было известно слишком много: даже скупая летопись его жизни и деятельности, которую комментировал В.Л. Меркулов, составила два увесистых тома. Потому мало было проработать опубликованный и архивный материал о Павлове — нужна была основополагающая идея, сюжетная линия, доминанта, если угодно, которая служила бы компасом при отборе материала. Такого компаса у Володина не было, он блуждал в дремучем лесу.

После выхода моего «Мечникова» у него появилась какая-то ревность, при каждой встрече он обязательно вспоминал давний разговор с Коротковым и, как бы подшучивая, но с большой долей серьезности говорил:

— Повезло же вам, Сенечка, что Илья Ильич умер в 16-м году. Вот если бы я тогда выбрал Мечникова!..

Я мог ему только сочувствовать.

Но вот он мне сказал, что закончил главу об учителе Павлова И.Ф. Ционе, она пойдет в «Пути в неизвестное». Я надеялся, что это его подбодрит и он, наконец, обретет точку опоры.

Получилось так, что после этого разговора мы долго не виделись. И вдруг я читаю в письме Меркулова:

«Об АВ [Альбине Викторовне] веселого мало: ее угнетало 4-ое подряд появление дочери соседки с сыном и мужем-негроидом из Парижа, куча гостей и родичей и т.д. Два месяца они жили то за городом, то приезжали сюда. А тут еще добавилось “casus belli”^[51]. Прислал мне “Пути в неизвестное”, № 12 (1976), Володин — там он щедро и тенденциозно утилизировал мою рукопись о Ционе, что когда-то выцыганил у меня. А.В. познакомилась с этим опусом, где бедный Цион подан так, что любые антисемиты могут радоваться и ликовать, — и была подавлена. Ход ее рассуждений был чудный! “Вот-де Володин (когого она не любит и просила и ранее к нам не приглашать, хватит и двух визитов) — умный человек и знает, что и как нужно писать — его печатают, а ты написал так, что печатать отказались. Кому нужна твоя писанина!” И вспыхнула у нее тяжелая депрессия от сознания бесперспективности жизни и т.д. А я написал резкую открытку, он через 2-3 недели ответил каким-то письмом, которое я получил 4/9 — и до сих пор не распечатал. Я понял, что ради возможности публикации, т.е. хлеба насущного, сей сочинитель помнит, что такое злорадия, и чутко на нее сочиняет — даже если это позорит его самого! Ну что же, не первый раз я получаю уроки жизненные»^[52].

Очерка Володина я еще не читал, но, конечно, понимал, что упреки несправедливы и исходят не столько от самого Меркулова, сколько от его супруги, взвинченной сыпавшимися на них несчастьями и взвинтившей его самого.

Через день или два мне позвонил Борис Генрихович и стал говорить... Но об этом лучше рассказать словами моего письма В.Л. Меркулову:

«Теперь более деликатная тема. На днях мне позвонил Володин, которого я не видел очень давно, и рассказал с обидой в голосе о том, какой неприятный сюрприз получил от Вас к Новому Году. Он обещал мне прислать “Пути в неизвестное”, я прочту и смогу иметь собственное суждение о его публикации, а пока, не говоря ничего по существу его очерка, а просто прошу Вас сменить гнев на милость. Удачен или неудачен его очерк, а все-таки Володин — человек порядочный, и то, что он очень болезненно воспринял Вашу на него обиду, лишний раз это доказывает: ведь с другого бы как с гуся вода. Кроме того, ему и так очень скверно из-за цепочки бед, которые валятся на него со всех сторон. После инсульта, перенесенного им в прошлом году, он оказывается, летом сломал ногу и только недавно начал выходить. Жена его застряла где-то за городом в машине с каким-то приятелем. Приятель сидел за рулем, а она “толкала” машину. В результате инфаркт, из которого она только что начала вылезать. Мать Володина похоронила скончавшуюся на ее руках сестру, и это так подействовало на нее, что она слегла с инсультом. Кстати, посылаю Вам выписку из письма Ковалевского^[53] о Ционе, хотя и не думаю, что она представляет для Вас большой интерес»^[54].

Но на Василия Лаврентьевича сильно действовало обострение болезни Альбины, столь нервно отреагировавшей на публикацию Володина. На мою попытку их примирить он ответил решительным «нет»:

«Теперь о Володине: я долго обдумывал положение с ним. На меня неприятно повлиял и сердечно-истерический припадок Альбины, и другие новости. Запечатав его нераспечатанное письмо и вложив рубль (стоимость письма), я его вычеркнул из числа знакомых и только Вам поясню причины: 1) сноской внизу, что он использовал мою книгу, он поставил меня в забавное положение — читатель может думать, что его трактовка И.Ф. Циона как мошенника, авантюриста и проходимца реакционера — это трактовка моя и что именно я даю пищу для антисемитизма, а не он! 2) Логически рассуждая, можно видеть, что он и не очень стремился показать во весь рост Циона как замечательного ученого — яркую, противоречивую личность — а в угоду цензуры и занимательности дал едкую карикатуру на учителя И.П. Павлова (и косвенно дал намек на то, что И.П. Павлов восхищался Ционом чуть [ли] не по родству душ). 3) Он отлично знал, что обком партии и “Наука” зарубили мою рукопись о Ционе. Мне даже не вернули рукопись и отослали в Москву. Если бы Володин написал в сноске — “с позволения автора В.Л. — я использовал широко материалы его рукописи и, зная о том, что она не будет опубликована из-за неподходящей тенденции — я дал ей иную трактовку, о чем и ставлю в известность уважаемого В Л-ча”, то я бы счел сей инцидент — чепухой. Но моя мудрая сибирская докторша Альбина <...> прочитав сочинение Володина, она одновременно организовала сердечно-истерический припадок: “Вот русский дурачок Вася написал о Ционе так, что печатать не будут, а умный еврей Володин сумел написать, он знает, что нужно сейчас, что пойдет в номер. Брось свою писанину, мы лучше будем жить на твои 140 рублей — не порти глаза”, и т.д. и т.п. 5) А ведь Володин еще просил у меня: дайте мне Ваши материалы об Ухтомском — я возьмусь за него. <...> Итак, не поймите ложно — я не злобен и отходчив <...> но я уже растерял жалость еще в Сибири! Я прошу больше к Володину не возвращаться»^[55].

Прочитав очерк Володина, я убедился, что никакого «антисемитизма» в нем, конечно, не было. И на Павлова он тень не бросал. Изданию научной биографии Циона в издательстве «Наука» публикация его литературного портрета в писательском сборнике никак не мешала. О том, что автор очерка использовал материалы Меркулова, было четко сказано, ему выносилась благодарность. А ответственность за трактовку характера своего героя нес, конечно, сам автор, и никто другой. Думаю, что в глубине души Василий Лаврентьевич все это создавал. Но так уж перестроились его доминанты под воздействием болезней, роковых неудач и истерического припадка супруги. Ничто человеческое ему не было чуждо!

7.

Бориса Володина я видел последний раз летом 1999 году, когда был в Москве. Он назначил встречу у конечной станции метро, уже не помню, на какой линии, усадил нас с женой в машину и повез лесистой дорогой на дачу. Милая Оля приготовила чудесный стол, мы по-русски «хорошо посидели». Вспомнили прошлое, рассказывали о том, что произошло у каждого за пробежавшие годы. Борис был очень весел, рассказывал забавные истории, искренне радовался встрече. Со времен горбачевской перестройки прошло 14 лет, уже восемь лет не было советской власти, но книга о Павлове не была написана. Этой болезненной темы мы, по молчаливому согласию, не касались.

Зашла соседка по даче, вдова писателя Владимира Тендрякова; подходившее к концу пиршество, пошло по второму кругу. Поздно вечером она уезжала в город и любезно согласилась подвезти нас к станции метро: Борис был подшофе и садиться за руль не рискнул.

Следующий раз я был в Москве в декабре 2003 года. Приехал всего на несколько дней — в связи с презентацией моей книги «Вместе или врозь?» График моего пребывания был плотным, но я, конечно, позвонил Володину. Женский голос в трубке показался сухим и незнакомым. Я попросил Бориса Генриховича. После паузы, последовал остороженный вопрос:

—Кто его спрашивает?

Я назвал себя.

—Бориса давно уже нет. Он умер полтора года назад... Очень мучился.

Тут только в дрогнувшем голосе я узнал мягкую Олину интонацию. Растерявшись, я бормотал неловкие слова соблезнования. Она отвечала скупой и односложно. Чувствовалось, что горя своего она еще не избыла, но делиться им с гостем издалека желания не имела.

Заехать не пригласила...

(окончание следует)

Примечания

[1] Архив автора. Письмо В.Л.Меркулова от 17 апреля 1976 г.

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 апреля 1976 года.

- [5] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 12 сентября 1973 года. МХА — это Петербургская медико-хирургическая академия. Таково было первоначальное название Военно-медицинской академии, часто фигурирующей на этих страницах.
- [6] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 1 августа 1975 г.
- [7] Там же.
- [8] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 14 января 1977 г.
- [9] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 апреля 1976 г.
- [10] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 1 июля 1857 г. Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, он же архиепископ Лука (1877-1961) — крупный хирург и деятель церкви. За религиозные убеждения подвергался арестам, судилищам, ссылкам, другим преследованиям. За достижения в хирургии был награжден Сталинской премией.
- [11] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 28 ноября 1978 г.
- [12] Марк Поповский. Управляемая наука. <http://lib.rus.ec/b/256731/read>
- [13] М. Поповский. Второе сотворение мира. М., «Молодая гвардия», 1960.
- [14] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 25 декабря 1976 г.
- [15] Архив автора. Копия моего письма от 10 января 1977 г.
- [16] Архив автора. Письмо В.Д. Меркулова от 25 февраля 1976 г.
- [17] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 16 июня 1976 г.
- [18] Шеремётев Борис Петрович (1652-1719) — один из виднейших военачальников в царствование Петра I, высоко ценимый царем. Ему было присвоено звание генерал-фельдмаршала, он был возведен в графское достоинство.
- [19] Там же.
- [20] Документальная повесть «Извержение вулкана» позднее была издана в том же издательстве «Знание» (но в другой редакции) отдельной книжечкой и была опубликована в ежегоднике «Пути в неизвестное», 1978, № 14, С. 179-220.
- [21] Сергей Сергеевич Четвериков (1880-1959) — выдающийся ученый-биолог, основатель популяционной генетики, «помиривший» генетику с дарвинизмом. В 1929 году он был арестован и приговорен к ссылке, после чего продолжать работу в излюбленной им области не мог.
- [22] Архив автора. Копия моего письма В.Л. Меркулову от 23 июня 1976 г.
- [23] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 1 ноября 1973 г. Академик К.М. Быков, как помнит читатель — главный «герой» Павловской сессии 1950 г.
- [24] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 12 сентября 1976 г.
- [25] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 7 июня 1976 г.
- [26] Там же.
- [27] Там же.
- [28] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 12 сентября 1973 г.
- [29] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 4 октября 1973 г.
- [30] Борис Генрихович Володин — писатель, по образованию врач. Он был в дружеских отношениях в В.Л. Меркуловым и незадолго до этого его навещал. О Володине речь впереди.
- [31] Архив автора. Копия моего письма от 9 октября 1973 г.
- [32] Архив автора. Письмо Меркулова от 14 октября 1973 г.
- [33] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 21 октября 1973 г.
- [34] Мексаза (Mexase) — препарат, применяющийся при расстройствах пищеварения, в том числе при панкреатите.
- [35] Архив автора. Письма В.Л. Меркулова (конец 1975 г. — конец 1976 г.)

- [36] С.Ю. Витте. Воспоминания, Таллинн-Москва, изд-во «Алекс Скиф», 1994, стр. 278.
- [37] Подробнее см.: С. Резник. Сквозь чад и фимиам М., «Academia», 2010, стр. 267-283. Глава «“Протоколы сионских мудрецов” шагают во второе столетие».
- [38] Мечников. И.И. Страницы воспоминаний. М., 1946. С. 137.
- [39] Ухтомский А.А. Доминанта. Статьи разных лет. 1887-1939, СПб.: Питер, 2002, стр.251-252.
- [40] Речь идет о книге: Ярошевский М.Г. И.М. Сеченов, Л. «Наука», 1968.
- [41] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1979 г.
- [42] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 7 декабря 1973 г.
- [43] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 марта 1975 г.
- [44] Архив автора. Копия моего письма от 5 апреля 1975 г.
- [45] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 22 сентября 1975 г.
- [46] Архив автора. Открытка В.Л. Меркулова от 27 декабря 1975 г.
- [47] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 17 апреля 1976 г.
- [48] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 31 декабря 1976 г.
- [49] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 3 января 1979 г.
- [50] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 26 июня 1976 г.
- [51] casus belli (лат.) — повод к войне.
- [52] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 1 сентября 1976 г.
- [53] В это время я писал книгу о Владимире Ковалевском (великом палеонтологе) и изучал его архив.
- [54] Архив автора. Копия моего письма от 10 января 1977 г.
- [55] Архив автора. Письмо В.Л. Меркулова от 14 января 1977 г.



Ася Лapidус

НЕЧАЯННО-НЕГАДАННО Три объявления в одной газете

*Из вороха распавшихся страниц ...
Из полусгнивших кружев паутины -
—разлуки, встречи, именины,
родная речь и свадеб поезда ...*
Булат Окуджава

Однажды — давным-давно, когда железный занавес смирно трепыхался — нет, скорее подрагивал на ветру нашей весьма пестрой эмиграции, в неизвестной нью-йоркской газете (ныне почившей в бозе) — Новое Русское Слово — появилось объявление:

— Художник продает русские новогодние и рождественские открытки.



Ну, думаю — надо порадовать московских друзей иностранными открытками на русском языке. Звоню по означенному телефонному номеру. Подходит ребенок.

— Мальчик, — говорю — позови, пожалуйста, папу к телефону.

— Я не мальчик, я очень пожилая женщина.

— Художница?

— Да.

— Я по поводу открыток.

— Пожалуйста, приходите, запишите адрес.

Мы с Джоном приходим — тут как тут. Приличная квартира в Манхэттене — на западном берегу. Худенькая пожилая женщина за столом. Оглядываюсь по сторонам. На стенах картины — мягко говоря, довольно дилетантские. Впрочем, значения это не имеет — открытки могут быть прелестными.

Ужас — какие-то кривые голубки на ватманской бумаге. Она мгновенно поняла — если не нравится — покупать не обязательно. Умираю от неловкости и, не моргнув глазом, покупаю полдюжины. Никому их, конечно, не посылаю — стесняюсь.

Между тем разговорились. Милая женщина. Я прямо физически ощутила, что она видит меня исчадием советского ада. А я дивлюсь ограниченности ее эстетических интересов и лексикона. И нашей с ней несовместимости.

Разумеется, она дворянского происхождения, ребенком попала в Прагу, где получила художественное образование. Потом Париж, война, Нью-Йорк. Маленькие, легкие и очень немолодые руки. Морщины на лице, вряд ли бывшем когда-нибудь очень красивым или хотя бы ухоженным, хотя кто знает. Говорим все вокруг, да около, слова застревают — обе стыдимся своей явной чужеродности. Так и разошлись — абсолютно не сойдясь.

Проходят года — 1991-й. Опять объявление в Новом Русском Слове:

—Продаю русские иконы.

Более чем respectable Манхэттенский адрес. Умираю от любопытства и, подхватив Джона, — по адресу.

Квартира уходит в глубину. Очень красивый породистый старик — англичанин? — британский акцент, манеры, стать — Кторов в роли английского лорда (другого не знала — не видела). На пустеющих стенах иконы — ни одной интересной — даже на мой простецкий взгляд.

Но хозяин куда интереснее интерьерера. Жена недавно умерла — это ее коллекция икон.

Удивляет какая-то бесцеремонная торопливость продажи. Русский Николай-угодник — неуклюжая современная копия, но рама хороша, и вообще почему-то — хочется у него хоть что-нибудь купить — на память — о ком — о чем? — самой непонятно.

Входит женщина — крепко сбитая азиатка, по виду домработница самого простецкого склада — три шара, поставленные друг на друга, раскосые глаза, на фоне барски подчеркнуто подтянутого хозяина — явно неприбранная, какое-то ситцевое платье в цветочек, не скрывающее прорывающуюся не очень молодую плоть. Но уверенная в себе, и ведет себя хозяйкой, и не просто присутствует, а принимает заинтересованное участие в продаже. Уговорила купить эфиопскую иконку-складень за три доллара.

Абсолютно заигноризированная загадочностью ситуации, покупаю Николай-угодника, греческую почти современную икону и эфиопов. Николай-угодник грубой работы на продажу иностранцам, но старинная рамка (не оклад, а именно рама) очаровательна. Старик разговорчив — рассказывает о том, как и где покупались иконы — Никола-угодник в Новгороде. Похоже, никакой связи с христианством — просто коллекция жанровой живописи — не лучшего качества. Все-то мне кажется, что смерть жены (еврейки?) принесла облегчение.

Почему-то разговор заходит о предвоенной инфляции в Германии — для нас с Джоном — это вычитанная из книг история — для него оживающие воспоминания — Берлин, голод, измученный мужчина на улице, торгующий двумя яблоками за баснословную сумму не имеющих цены денег. Женщина довольно бесцеремонно врывается в разговор — она добродушна — все время гостеприимно улыбается. Ее наружность плохо вяжется с обстановкой — ничего не понятно — ведет себя по-хозяйски, а манеры и вид — скромно-развязной прислуги.

Спрашиваем хозяина, чем он занимается (занимался?).

— Издательским делом.

Так ничего и не поняв, — домой. На прощание хозяин дома сердечно, не без стариковской милой учтивости, попрощался с нами, а азиатская женщина с плебейской бесцеремонной простодушностью сунула нам негнущуюся ладошку боком.

По дороге я, Джону:

— Спорим, что он женится или уже женился на ней.

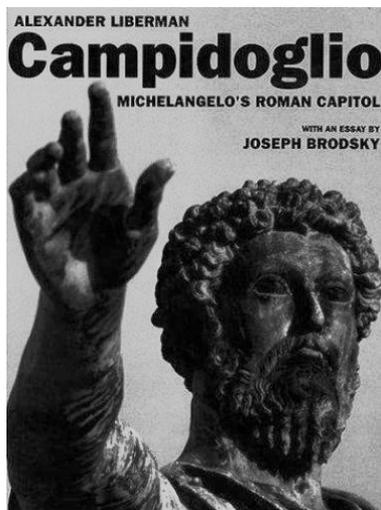
— Да ты с ума сошла, в лучшем случае она сиделка. А скорее всего, просто уборщица.

— А я говорю, женится, если еще не женился.

Только почти через двадцать лет, совершенно неожиданно, из рассказа приятельницы я поняла, что мы с Джоном купили тогда иконы у Алекса Либермана — мужа (вдовца) Татьяны Яковлевой — парижской любви Маяковского. Это была ее торопливо распродававшаяся коллекция икон, и она разумеется еврейкой не была, а британский старик с аристократическими повадками — именно он оказался евреем родом из Киева с биографией необыкновенной — сказочно-пестрой и более чем примечательной.



Моя приятельница говорила о книге Франсин Дю Плесси Грей — *Them* (Они) — мемуары о матери и отчине. Я немедленно купила книгу и, прочитав, окончательно поняла — да, это был Либерман — крестный отец глянцевого иллюстрированного журналов, бессменный главный редактор крупнейшего издательского конгломерата *Condé Nast Publications* (1962-1994).



Пара Яковлева-Либерман вскользь, но точно описана еще, к примеру, Лимоновым — когда-то я про них у него читала, да не заметила и позабыла, а сейчас выплыло. Между тем и Бродский написал текст-эссе к альбому фотографий Александра Либермана *Campidoglio: Michelangelo's Roman Capitol*.

Оба автора стоят в титуле книги, посвященной — кто бы мог подумать! — Мелинде, жене моей.

Да, как я угадала, немолодая и некрасивая филиппинка Мелинда, служившая в их доме, стала его третьей женой — наследницей Татьяны Яковлевой.

А обе книги — мемуары дочки-падчерицы и фотоальбом в титульном соавторстве Либермана с Бродским — кстати, уже нобелевским лауреатом, соседствуют у меня на полке — хранятся в память о стран-

ной казалось бы потусторонней встрече.

И опять в Новом Русском слове объявление:

— Продаю предметы русского искусства — это в конце девяностых.

Звоню — мужской голос с чуть жестковатым акцентом, но не русским — попросил перезвонить позже, что я и сделала — и приятный женский голос — на этот раз с тяжелым узнаваемо русским акцентом и промахами в грамматике — пригласил подъехать, посмотреть. Когда я перешла для облегчения на русский, промахи в грамматике и произношении продолжались — уже на русском языке.

Приехали — путь неблизкий — в Квинс. Домик с прелестно заросшим тенивым участком. Немолодая симпатично-глазастая женщина — заметно усталая, из Москвы, уехала в 73-м году — кто бы мог подумать, по-русски хотя и свободно, зато неграмотно и с усилиями, но все-таки куда лучше, чем по-английски. Языки неприужденно мешаются — салатом -винегретом, иногда мне даже трудно ее понять.

Высокий с тонким лицом, красивый и седой — совсем уж немолодой муж, как выяснилось, пуэрториканского происхождения. Экзотически зовут Джон Ривера — пенсионер, некогда инженер, в свое время работавший аккупой — напротив дома, где мы с Джоном живем — в Транспортном управлении города Нью-Йорка.

А она — Людмила Пруссакова, бывшая жена бывшего советского диссидента Валентина Пруссакова. Людмила — для меня теперь она Люся — преподает в квинском отделении Сиги колледжа — по-моему, изобразительное искусство, а когда-то закончила Московский текстильный институт и училась в студии Белютина. В подтверждение в спальне висит большой автопортрет, типичный для белютинской школы — лицо полностью закрыто широкополой шляпой — научить портретному сходству Элий Михайлович не умел да и не пытался. В доме дополна изобразительного искусства — и продают все, вплоть до разрозненных иллюстрированных журналов, но за исключением пары гравюр Эрнста Неизвестного ничего, способного меня с Джоном хоть мало-мальски заинтересовать. А люди очень приятные, особенно хозяйка дома, хоть и хромающая на оба языка.

Мы подружились, перезваниваемся до сих пор, но сейчас почти не видимся — они переехали на Лонг Айленд — для нас это дальняя дорога — без машины не меньше двух утомительных часов. Зато две гравюры Неизвестного с дарственной надписью автора напоминают о нечаянной и приятной встрече.



Владимир Фрумкин, Тамара Львова

ЧЕРЕЗ ОКЕАН

Повесть-перекличка

(Продолжение. Начало в №10/2014)

Две юности-молодости

ТАМАРА ЛЬВОВА

СУДИЛИЩЕ В АКТОВОМ ЗАЛЕ

Рассказ этот посвящаю светлой памяти Григория Александровича Гуковского.

Только что узнала — в Интернете нашла: он ровесник моего отца, оба 1902 года рождения, только папочка мой прожил отпущенные ему восемьдесят девять лет, а у Г.А. украли половину жизни: он «скончался в ленинградской следственной тюрьме от сердечного приступа 2 апреля 1950 г., не дожив месяца до сорока восьми лет».



Тамаре 18, она студентка ЛГУ.

Папа приехал в командировку в Ленинград. 1948.

Это я прочитала у О. Проскурина, а сама ещё слышала, что умер он в кабинете следователя на допросе, пытаясь объяснить, убедить, доказать, что не может исследователь русской литературы XVIII века — а он был автором первого в СССР систематического курса по истории нашей литературы именно этой эпохи — не касаться взаимоотношений с литературой иноязычной, что это не «преклонение перед Западом», а окно в Европу, открытое ещё Петром.

Но я забежала вперёд.

1948 или 1949 год. Конец 1-го или начало 2-го курса на филфаке. Я ещё совершенно «зелёная» — провинциальная девочка. Но как я хочу стать похожей на Люду, Мишу, Свету — было у нас в группе несколько таких, коренные ленинградцы. Я бегаю по музеям. Купила абонемент в филармонию. Хожу в Эрмитаж в «школу искусств» для начинающих. Но главное: я сбегая регулярно с какой-то своей лекции — очень важной! — и, не пропуская ни одной, хожу слушать с 3-м курсом лекции Григория Александровича Гуковского... Володя! Вспомни свои самые яркие, в душу врезавшиеся впечатления. Я и сейчас вижу Смоктуновского в «Идиоте» в БДТ у Товстоногова. И на этом же уровне — счастья, упоения! — лекции нашего профессора Гуковского. Учёный, бесконечно увлечённый своими исследованиями, жаждущий увлечь ими нас, его учеников-студентов. И — артист, какой артист!

Единственно, с кем могла бы его сравнить, — с Ираклием Андрониковым, которого дважды слушала в Большом зале филармонии: тоже учёный-артист. Но то ведь были концерты для особой, филармонической публики, а Г.А. Гуковский просто лекции читал — обыкновенные лекции по учебному плану для обыкновенных студентов. Как он говорил! То горячо и страстно, то весело и иронически, то горестно и недоумевающе, то вопрошающе, то трагически — удивительное, редчайшее богатство интонаций, магическая способность увлекать парадоксальным ходом своей мысли, убеждать в том, во что верил сам. А как он, Володя, читал стихи! Поверь, настоящий, большой учёный, педагог, артист. Не очень частое сочетание? Наверное, это и есть талант.

Представь себе не очень большую (не актовый зал) аудиторию, по-моему № 38, бигком набитую. Духотища. «Законные» третьекурсники за столами над раскрытыми конспектами, но, кажется, не очень записывают: глаз с лектора не сводят, боясь слово пропустить. Я подсаживаюсь к кому-то из «законных». А между рядами столов, в проходах на полу — «незаконные», больше всего наши ровесники в красивых, хорошо нам знакомых формах: из военноморского училища имени Дзержинского (оно как раз прямо напротив университета на другом берегу Невы). Сидят буквально друг у друга на ногах, на коленях, прижавшись друг к другу, — яблоку негде упасть. (Замечу, что эти ребята-«дзержинцы» потом стали нашими «кавалерами», на танцевальные вечера приходили — ведь факультет наш был в основном девчоночий, его называли «фиффак» от слова «фифа».)

Помню случай. Лекции Г.А. начинались в четыре часа. Зимой темнеет рано. Вдруг свет погас, часов пять уже было — полная темнота. Аудитория зашелестела, зашумела.

— А знаете, что мы с вами будем сейчас делать? Стихи читаем. В темноте хорошо стихи слушаются.

И он начал читать Пушкина. Может быть, час читал, может быть, больше. Пока свет не зажётся. Оглушённые, ошарашенные, мы молча выходили из аудитории. Думаю, многие из нас именно в тот зимний тёмный вечер открыли для себя Пушкина. Теперь, надеюсь, ты сможешь понять, что испытала я в тот день.

Вспомню один совет — завет — Григория Александровича (передаю, конечно, не дословно, но за смысл ручаюсь): «Не читайте плохих книг. Ни в коем случае! Ведь столько книг — великих, замечательных, которые мы непременно должны прочесть. Но не успеем — жизнь так коротка. Не теряйте времени — читайте! Везде: в трамвае, автобусе, в очереди в магазине. Читайте! Но только — помните! — очень хорошие книги!»

...Лекции на 1-м и 2-м курсах отменили. Велели — обязательно! — всем нам идти в актовй зал главного здания (наш факультет — совсем рядом), зачем — не сказали. там-то и состоялось страшное судилище, которого ввек не забуду. Судили, самым настоящим образом судили двух, пожалуй, самых почитаемых профессоров филологического факультета — Виктора Максимовича Жирмунского и Григория Александровича Гуковского. В.М. читал на старших курсах зарубежную литературу. Доктор филологических наук, академик АН СССР, член-корреспондент Баварской, Британской, Датской академий, основоположник советской германистики. О нём я прочитала только что у Василия Пригодича (написано в 2003 году): «Гениальный гуманитарий, германист, историк литературы, теоретик стиха. Близкий друг Ахматовой. Один из редакторов посмертного издания её стихов».

Володя! Я только что сообразила, перечитывая своё письмо тебе (сегодня — 16 января 2014 года), что Василий Пригодич — это псевдоним Серёжи Грецишкина, одного из самых ярких, талантливых наших «турнирных детей», командора 307-й школы, ставшей абсолютным победителем «Турнира СК» 1965/1966 годов, нашего второго турнирного сезона. Он был одним из лучших турнирных поэтов и верным, все восемь лет, нашим «ветераном» ... Серёжа стал известным литературоведом, специалистом по Серебряному веку, членом Союза писателей Санкт-Петербурга и членом Всемирной ассоциации международного ПЕН-клуба, Российского ПЕН-центра ... И — для меня это главное — писал хорошие стихи. Вышли у него три поэтических сборника. Почему псевдоним? Стихи его у нас не печатали. Первая публикация — в альманахе «Грани», 1982 год, издательство «Посев», Франкфурт-на-Майне (автору — 34 года!). Тогда-то и появился псевдоним. Искали наши службизы: кто такой этот Василий Пригодич? К счастью, не нашли. Увы, очень рано ушёл наш Серёжа — долго и тяжело болел.

Но вернёмся в актовй зал ЛГУ, где идёт позорное судилище. А на сцене — всемирно известный учёный Виктор Максимович Жирмунский. Судят его.

Я не слышала его лекций — ещё не доросла. Не читала его научных трудов. Я только видела перед огромным залом на сценической площадке пожилого (мне казалось, старого, а он: 1891 года рождения), растерянного, трудно произнести — жалкого человека, не понимающего, что происходит, за что набросились на него, словно стая волков, его многолетние друзья, коллеги, ученики. А потом он — я помню это — в чём-то каляся, голос его дрожал. Тогда я впервые и услышала: «преклонение перед Западом», «низкопоклонники», «тайные антипатриоты». Он ушёл со сцены, в самом деле, стариком, шатаясь, чуть не падая. Мне было его жалко. Так жалко.

Но вот когда на сцену поднялся мой кумир, которого я знала, которым восхищалась, которому верила; когда ему стали бросать в лицо все эти «преклонения» (не помню, звучало уже тогда или ещё нет скоро заполнившее все газеты главное клеймо — «космополит» и «безродный космополит») — тогда, правда, Володя, мне дурно стало.

Ведь я ничего ещё не понимала, я верила тем, кто его обвинял. (Это же наша партия! Выступали члены факультетского и общеуниверситетского парткомов, даже, помоему, и райкома, и горкома!) Но я и точно знала, что это — неправда...

Ты обратил внимание, что зал был набит (кроме, конечно, заранее назначенных обвинителей) нами, мелкотой, студентами первых курсов? Старших не позвали. А вдруг бы кто-нибудь да взбунтовался и сорвал спектакль? Больше всего запомнилось — такое открытое предательство я видела впервые — выступление

аспирантки Григория Александровича. Она стояла на сцене, размахивала какими-то листочками и кричала-визжала: «Я думала, что он великий учёный, а он вот чему меня учил!» И читала какие-то фразы, вырванные из её конспектов его трудов или лекций, в которых речь шла о великих писателях Запада и знакомстве с ними писателем екатерининской России...

Справедливо говорят: мемуарам даже самых правдивых, замечательных людей нельзя доверять вполне — память слабеет, гаснет с годами, да к тому же, хоть часто мы и не отдаём себе в этом отчёта, не всегда объективна: видим в прошлом то, что хочется нам видеть. Не могу я сейчас поклясться, что было именно так, но вижу, вижу.

Г.А. Гуковский не казался мне слабым и жалким. Не каялся. Не винил себя ни в чём. Достоинно, гордо стоял перед притихшим залом. Таким и остался в моей памяти. Больше я его не видела. На лекции не приходил; говорили, что из университета его уволили. А вскоре — арестовали. О конце ты знаешь Я с него начала.

Но есть ещё у меня, Володя, послесловие, возможно для тебя интересное.

Со мной на курсе учился Костя Долинин. А курсом старше — Наташа Гуковская, дочка Григория Александровича. Была у них любовь. Тогда, помню, Костей все восхищались: не побоялся на дочке Гуковского жениться. (А бояться было чего.) Когда всё это ужасное с её отцом произошло, её спешно перевели с дневного отделения на вечернее (или сама она перешла — не помню точно: нужно было работать). А потом двойня у них родилась, девочка и мальчик. Хорошо помню, как мы, Костины сокурсники, собирали деньги в помощь молодым родителям, оказавшимся в самом бедственном положении.

Наташу ты, Володя, наверно, знал? Наталья Долинина — писательница, драматург и совершенно гениальная школьная учительница литературы; от отца ей достался волшебный педагогический дар.

Расскажу забавный эпизод. Хотела, уже работая на телевидении, сделать передачу о Наташе и её ребятах, об их удивительных отношениях в свой ежемесячный журнал «В эфире — старшеклассники» (это ещё до нашего «Турнира СК»). Пришла к ней на урок, послушала, поговорила, набросала сценарный план и уже потом познакомилась с Наташей режиссёра А.А. Рессера (тоже необыкновенный человек был, о нём бы написать книгу!). И, представь себе, — а до передачи несколько дней! — он категорически отказывается с Наташей работать: не понравилась она ему — «вульгарная особа!». Я в отчаянии. И придумала. Буквально умолила пойти со мной к ней на урок — только один раз! Прошу! Ради меня! Не захочет — снимаем передачу. Пусть будет скандал! (Это ведь «живой эфир»: заказана ПТС — передвижная телевизионная станция — из класса, передача стоит в программе!) И вот мы на уроке. Наташа, по своему обыкновению, сидит на краю стола. (Я огорчена: «вульгарно», моему Рессеру не понравится!) Наташа спрашивает ребят, они спорят, вскакивают с мест, смеются — как не похоже это на обычный школьный урок! Потом она рассказывает — новая тема. Как интересно! Нам — не меньше, чем ребятам. Теперь — полная тишина... Звонок. Мой Алексей Александрович (мы сидим на задней парте) встаёт, идёт через весь класс, подходит к столу, на котором продолжает сидеть Наташа, опускается на колено и... целует ей руку! Ура! Передача состоится. Отцовский всепобеждающий дар.

И самое последнее, уже прямо для тебя! В одной из команд (школу забыла — может быть, 241-я) была чудесная девочка, Таня Долинина. Её взяли в команду как «выдающегося биолога». (Мы говорили ребятам на предварительной встрече,

какие конкурсы будут на «Турнире», — например, литературный, по биологии, музыкальный, по астрономии, — но вопросов они, конечно, не знали.) И она великолепно отвечала на вопросы Александра Ивановича Константинова, нашего биолога. Но ещё лучше — на твои, Володя, в музыкальном конкурсе: отвечала, спорила с соперниками, импровизировала на рояле. Во многом благодаря ей команда вышла в полуфинал. Эта девочка — дочка Наташи и Кости, внучка Григория Александровича Гуковского. Это был мне привет от него.

КАК НАС УЧИЛИ

В 1952 году я закончила Ленинградский университет, ЛГУ — одно из лучших высших учебных заведений Советского Союза. Чуть-чуть не дотянула до «красного диплома» (как и в школьном аттестате — одна четвёрка). Подведу итог, весьма для меня печальный: я не получила блестящего образования, о котором мечтала, не стала «коренной ленинградкой», как несколько ребят моей группы. А ведь я так старалась! В Публичной библиотеке регулярно просиживала до закрытия (тогда студенты занимались в главном здании; работала *Публичка* до 24 часов). Не забывала и наш университетский читальный зал, и факультетский. Отнюдь я, Володя, на «*фиффак*» не была «*фифой*». Иногда потом я об этом жалела — могла бы повеселее провести свои лучшие юные годы. А моя мама жалела уже тогда — кричала мне по телефону из Челябинска (часто было плохо слышно): «Для того ли мы тебя в Ленинград отпустили, а сейчас я без..., — тут она называла одну часть своего туалета, — хожу, чтобы ты только книжки читала?! Хотя успеваешь погулять? А мальчики у тебя есть?..»

«Погулять» я, представь себе, Володя, успевала. Гуляли мы много: после лекций обычно шли пешком по набережной вдоль Невы, через Дворцовый мост, Дворцовую площадь, под аркой Главного штаба, а там и по Невскому до моего дома (Невский, 88), где я у папиной тёти жила. «Мы» — это наша небольшая компания: три девочки и один парень. Все приезжие, все влюбившиеся в Ленинград, все жаждущие учиться. А вот были ли у меня «мальчики»? Станным тебе это покажется, но, честное слово, правда: более всего и чаще всего я нравилась молодым людям... всё в той же Публичной библиотеке! Подходили к столу, за которым я сидела над книгами и конспектами, заговаривали, знакомились; потом вместе ходили в буфет перекусить (обычно капустный салат, сосиска, чай с пирожком); вечером, точнее ночью, вдвоём выходили на тёмный, пустынный в этот час и такой сказочно прекрасный Невский. Я спросила как-то одного такого «проводжато»: «Почему ты ко мне подошёл?» Задумался, ответил: «Да вот лицо у тебя какое-то было странное, в окно смотрела — ничего не видела, взгляд такой потусторонний».

Но я отвлеклась. Печалилась, что не получила настоящего гуманитарного образования. Не получила! В чём причина? Отчасти уже ответила: не *те*, а если *те*, то не *тому* нас учили. Не дали прослушать нам курс Г.А. Гуковского. (А как мы ждали, когда он будет у нас читать!) И разве только его? Не повезло нам! Попали в самый разгар «космополитской» кампании, «низкопоклонства перед Западом», потом — дела «врачей-убийц». Оставались ещё, конечно, на факультете прекрасные, замечательные преподаватели. Русскую литературу XIX века читал Григорий Абрамович Бялый — великолепно читал! Но и половины того, что *знал, любил и хотел* нам сказать, — сказать *не мог*. И это о русской классике. А когда очередь дошла до

Серебряного века, до русского зарубежья (мы и термина такого не слышали), наконец до советской литературы!.. Изуродованы, исковерканы были программы.

Как часто лучшее, талантливое едва упоминалось или выбрасывалось вовсе, а бездарное, зато «идейное» подробнее обсуждалось. Были, были у нас прекрасные преподаватели. Вспомню хотя бы ещё одного: Александра Григорьевича Дементьева, впоследствии заместителя главного редактора «Нового мира» А.Т. Твардовского в звёздный час журнала. Может быть, из-за этого «не мог» и ушёл он из университета?

И ещё. Думаешь, чем мы больше всего занимались? Своей будущей профессией, литературой? Ничего подобного! Марксизмом-ленинизмом! У меня на антресолях и сейчас лежат кипы конспектов классиков марксизма. (Кстати, читала я их с интересом!) Сколько было у нас семинаров, сколько писалось рефератов, готовилось докладов по трудам Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина! Куда больше, чем по литературе. По русской литературе (я училась на русском отделении) хоть семинар был. А по зарубежной *не было* семинаров. Прослушали лекции, сдали экзамен — и всё. И это на филологическом факультете!

Наконец, иностранные языки. Представь себе, мой отец, закончивший ещё в царской России всего навсего реальное училище... (В гимназию еврею попасть было практически невозможно, да и в реальном училище моя бабушка, папина мама, акушерка, растившая двух детей без мужа, должна была оплачивать учёбу не только своего сына, но и ещё одного мальчика, русского: строго соблюдалась «процентная норма».) Ты заметил, Володя: я, используя любой повод, стараюсь объяснить и «оправдать» в собственных и многих-многих несобственных глазах, почему еврейская молодежь так страстно кинулась в революцию. К отцу моему это, кстати, не относится: в 1917 году ему было всего пятнадцать, да и политикой он никогда не увлекался. Повторяю: папа, закончивший только реальное училище, переводил мне с листа французские диалоги в великосветских гостиных «Войны и мира», а я, имевшая по английскому *пятёрки*, не могла ни говорить, ни понимать: мы только сдавали-переводили (со словарём!) столько-то страниц, столько-то знаков. Нет, не умели у нас тогда учить иностранным языкам (имею в виду не специальные группы инязов). А ведь, Володя, вряд ли ты не согласишься, что истинно интеллигентный человек, получивший образование до революции, непременно знал иностранный язык. А нередко — несколько. И свободно читал! И разговаривал! И понимал! А не сдавал «знаки».

В общем, ты понял: я недовольна своим образованием. Не то ли примерно, о чём я говорила, имел в виду А.И. Солженицын, придумавший для нас — увы, очень многих так называемых интеллигентов — великолепное определение «*образованщина*»?

Мои «антиобразовательные филиппики» поддержала очень уважаемая мной и одна из самых ярких, помоему, сегодняшних наших писателей. 22 февраля 2013 года на канале «Культура» показали документальный фильм «Соло для Людмилы Улицкой», очень хороший фильм. Так вот, Людмила Евгеньевна нашла для всех нас, нынешней интеллигенции, — и *для себя тоже!* — странное, но очень точное определение: *мы — «подмена»!* Она объясняет его смысл на себе: её роман «Даниэль Штайн, переводчик», который она сама называет своей главной книгой, — безусловно, один из лучших её романов (в 2007 г. его автор стала лауреатом национальной премии «Большая книга»), — так вот, этот роман, как утверждает сама Л. Улицкая, должен был быть написан *другим человеком*: а) мужчиной, б) бо-

лее образованным, в) более талантливым. Но... такого сегодня нет, нет в нашем поколении. А книга эта была нужна. Вот она её и написала. Произошла «подмена».

ПРОЩАЙ, УНИВЕРСИТЕТ! И СНОВА ЧЕЛЯБИНСК...

В 1952 году я окончила университет и получила назначение-«распределение» в Челябинск, в молодёжную газету «Сталинская смена» (по её заявке), где два лета подряд — весьма успешно, с увлечением, много писала! — проходила практику. Ты помнишь, что в Челябинске, так и оставшись там после эвакуации, жили мои родители и младший брат Саша? Я рада была и предстоящей журналистской работе, и Челябинску — там было много ещё школьных друзей, — и тому, что еду к маме и папе.

Но как печально было расставаться с городом на Неве! Я прожила здесь всего пять лет, однако считала этот город *своим*, полюбила его беззаветно — «на всю оставшуюся жизнь».

Последнюю неделю перед отъездом ходилабродила одна по любимым местам — набережной Невы мимо Зимнего дворца, Адмиралтейства; с другого берега смотрели на меня Кунсткамера, Академия наук, наш университет. Обходила вокруг «Медного всадника» ещё и ещё — будто вижу впервые. И с Кировского моста на стрелку Васильевского острова с его ростральными колоннами любовалась — панорама открывалась несказанно прекрасная. И с каналом Грибоедова, и с улицей Росси, и с парком на Островах (ЦПКиО) простилась. И с замиранием сердца (думала, в последний раз) смотрела белой ночью — и оторваться не могла — на истинное чудо Северной Пальмиры — разведённые мосты на Неве. Ох, как жалко было расставаться с Ленинградом.

Уже прямо-таки накануне отъезда поехала к университету. Прошла весь длинныйпредлинный коридор главного здания. На простенке — огромное полотно: юный Володя Ульянов сдаёт экстерном экзамен изумлённым его познаниями профессорам. Иду мимо закрытой сейчас двери актового зала. И с пронзительной болью вспомнилось то жуткое *судилище* над нашими профессорами, о котором уже писала. Оглянулась... Да вот же след этого судилища, как я раньше не замечала? Кампания против «*безродных космополитов*» не кончилась, она только набирает силу. По всей длине коридора стояли статуи — фигуры в полный рост великих, известных всему миру учёных. Они стоят и сейчас. Но не все. Вот статуя заменена. И эта заменена. Я их всех помню. Тут — точно! — стоял А.Н. Веселовский, академик, историк литературы. А теперь кто-то другой... Недостойным оказался. Заменяли. (Володя! Я посмотрела только что в своём старом, 1953 года, «Энциклопедическом словаре» довольно большой текст об А.Н. Веселовском. Привожу несколько строк: «Сторонник историкосравнительного метода изучения литературных явлений и теории заимствования. Это приводило В. и его последователей к прямому низкопоклонству перед Западом». Понял, Володя? Наверное, и наш Григорий Александрович Гуковский был сторонник этой порочной теории заимствования, и в этом всё дело. А порочна ли она? Ничего я в этом не понимала!) Из университета уходила опечаленная.

Ты уж прости, Володя, за это и для меня самой неожиданное отступление. Но я продолжу его. До чего же задурены были наши бедные головы! Как раз накануне этого дня, который я сейчас вспоминаю, было другое прощание — с подру-

гами из нашей 1-й «русской» группы Людой и Лидой. Когда расходились, Люда с трогательной улыбкой протянула мне тоненький свёрток: «Возьми на память. Дома прочитай». Я и развернула дома, и прочитала. Что это была за книжка? Какая дарственная надпись на титульном листе? Книжка новенькая, недавно изданная — мы изучали её подробнейше, досконально на 5-м курсе, помоему, целый семестр сдавали по ней зачёт: И.В. Сталин, «Марксизм и вопросы языкознания». А написала моя Людочка при расставании, возможно навсегда, вот что (помню дословно!): «Так что же такое всё-таки базис, надстройка и социалистический реализм?» Это как раз термины, вокруг которых велись жаркие дискуссии на наших семинарах по «гениальному труду» товарища Сталина, подаренному им советскому народу в 1950 году.

Ты, Володя, может быть, не помнишь, а тогда знал каждый, от рабочего у станка до солистки балета: почему «*вождь всего прогрессивного человечества*» занялся вдруг сложнейшими проблемами языковедения. Виноват был наш академик Николай Яковлевич Марр. И снова цитирую свой старый «Энциклопедический словарь»: оказывается, у него, у Марра, «неправильное, немарксистское понимание языка как надстройки над экономическим базисом... привело к созданию теории, порочность которой была вскрыта И.В. Сталиным в его работе "Марксизм и вопросы языкознания"...». Какими только словами не поносили тогда бедного академика! Одно из самых грозных обвинений помню: «вульгаризация марксизма». Хорошо, что Николай Яковлевич Марр ничего этого не слышал: он умер в 1934 году. А знаешь, что я о нём знаю? Где-то читала: он владел несметным количеством (цифру забыла) иностранных языков. И утверждал (это прочла у него самого): «Трудно изучить только первые двенадцать языков»!!! Вот с кем состязался товарищ Сталин в «Вопросах языкознания».

Предисловие получилось весьма солидное. Но... начинаю.



Тамара в газете
«Сталинская смена».
Челябинск 1952 — 1953.

Я уже два месяца в Челябинске. Счастливые месяцы! Мне нравится работать в газете. В «молодёжке» — «Сталинской смене» — встретили меня замечательно, коллектив был молодой, весёлый. Ничуть не смутило, что определили в отдел агитации и пропаганды (не помню точно, как он назывался, — в общем, был это отдел политический). Но писала — с таким увлечением! — обо всём: от трудовых подвигов на цементном заводе до рецензий на спектакли местного — кстати, хорошего — театра.

Совестно признаться (с моим-то опытом в этих делах!), смело бралась за «моральные темы». Особенно запомнилась моя статья о молодом парне, комсомольце (!), который ушёл к *другой*, бросив жену и ребёнка. Как пылко клеймила я «изменщика», как искренне верила, что моё перо поможет воссоединить семью. Наверное, ерунду писала, но на летучке хвалили. А сколько писем пришло от юных чита-

тельниц! Подборку этих писем почти на целую полосу опубликовали «в порядке дискуссии» — было мне чем гордиться.

Но главным детищем нашего отдела было другое (замечу — это ещё пригодится — отдел наш состоял всего из двух совсем молодых журналистов: моего зава, на год-два старше меня, окончил Свердловский университет, и литсотрудника, т.е. меня). Регулярно, раз в неделю, по-моему по пятницам, наша «Сталинская смена» публиковала большую статью на целый подвал о неоченимом вкладе товарища Сталина в марксизм-ленинизм. Автор — мой зав. Я была первым читателем и редактором его трудов: мне доверялось их подправить, улучшить стилистически. Вот тогда-то я и выучила чуть ли не наизусть знаменитый «Краткий курс» (для тех, кто не знает, — полное название: «История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс»).

Под чтение и правку статей о марксизме-ленинизме между нами вспыхнул огонёк, я бы сказала, лёгкой влюблённости, в которой мы сами — я, во всяком случае, — не отдавали себе отчёта. (То ли дело — чтение вслух, вдвоём, обжигающего повествования о *грешной любви* у Данте, породившее гибельные страсти Паоло и Франчески, за что они и попали в *ад*.)

Вот тут, Володя, мне придётся сделать отступление. Дело в том, что у меня в это время уже был жених. Ты его знал — Евгений, Женя Рейтштейн. Мы учились с ним на одном курсе на разных отделениях, были почти незнакомы, только здоровались. Женя, как большинство наших мальчиков, прошёл всю войну, дважды ранен, все студенческие годы проходил в старой военной шинели. Был он старше меня почти на семь лет.

В самом начале 5-го курса, как всегда опаздывая, я влетела в актовЫй зал со звонком — в актовом читались только общие лекции для всего курса — и плюхнулась на свободное кресло у двери. Рядом сидел Женя. Так волею случая и решаются наши судьбы.

Как он красиво, нежно, рыцарственно за мной ухаживал. Откуда что взялось? Он из простой семьи. Отец — высокого класса, но совсем необразованный фотограф. Маму его я не знала. Женя рассказывал: он-то сразу после школы ушёл на войну, а семья вся — отец, мать, два младших брата, Дания (его почему-то Джоником звали, мой ровесник) и маленький Лёвочка, — всю блокаду была в Ленинграде.

Со слов Джоника вижу страшную картину: они все лежат на полу в своей комнате на Васильевском острове — мебель давно сожгли в печке. На подоконнике ломоть хлеба, Лёвочкиного хлеба. Он его почему-то не съел. Вдруг мама как-то безжизненно-спокойно и громко: «Лёвочка умер». Тут голос Дани-Джоника задрожал: «Я встаю. Иду к окну. Беру с подоконника Лёвочкин хлеб. И ем его. Весь съедаю. Мама и папа смотрят на меня с пола. Двигаться уже не могут. Я возвращаюсь и ложусь рядом с ними. И все молчат. Мне это часто снится. Никогда не забуду...» Уже после блокады их вывезли в тыл, и на какой-то станции между путями Женина мама попала под поезд — ногу ей отрезало. Не смогла она к костылям приспособиться — умерла скоро.



Будущий муж Женя.
Только что вернулся с фронта.
С Тамарой еще не знаком.

И ещё о Жене. Это уже из нашей общей истории. Позволь, Володя, похвастаться: расскажу, как я отучила его — фронтовика, заядлого курильщика! — от этой «вредной привычки», так теперь говорят. Было это ещё в начале нашего знакомства. Женя приглашал меня в театр. Я долго не соглашалась. Наконец, уговорил. Счастливым, взял билеты в Мариинку на «Лебединое озеро»: хорошие билеты в бенуар — недешёвое удовольствие для бедного студента. Посмотрели первый акт — я в совершенном восторге (видела впервые). В антракте важно вышагиваем по роскошному фойе. Вдруг мой кавалер, извиняясь и улыбаясь неловко, просит разрешить ему ненадолго удалиться. И... оставляет меня *одну!*

Я теперь другая, Володя, добрее и мудрее. А тогда... Буквально взбесилась от обиды и злости. Побежала вниз, в гардероб, оделась и, захлёбываясь слезами, на трамвае, потом автобусе помчалась домой, на Тверскую, где тогда жила у папиных дальних родственников. Уже умылась на ночь, была в халате — звонок. Я понимаю — кто. Не открываю. Звонок не прекращается. Сейчас разбудит моих родичей. Открываю. На пороге — Женя: «Если ты простишь меня, я с этой минуты брошу курить. Совсем». Вынимает пачку сигарет, швыряет её в стоящее у двери мусорное ведро. Я побеждена. Мы помирились. Женя не курил двадцать пять лет — до своего отъезда за рубеж, куда я после двух лет уговоров, его инфаркта, язвы желудка ехать всё-таки отказалась. Но это будет нескоро.

За месяц до моего отъезда из Ленинграда Женя сделал мне предложение. Я твёрдо сказала: «Нет!» Мне льстила его любовь, я знала, что он человек благородный, порядочный, но, наверное, я его не любила, во всяком случае о замужестве и думать не хотела. Он был совершенно убит, так меня умолял оставить хоть какую-то надежду, что я не устояла, пожалела и согласилась подождать год (!); тогда, если не передумает, пусть повторит предложение. Обрати внимание, Володя, на моё условие: *год проживём врозь*. Он уехал в Карелию, в Петрозаводск, тоже по распределению, в партийную газету «Ленинское знамя», а я, бессовестная, с юным легкомыслием тут же забыв о нём, отправилась в свой Челябинск, куда, Володенька, и возвращаюсь из столь долгого отступления.

Я писала уже, что мне хорошо работалось в моей «Сталинской смене» под крылом опытного журналиста, нашего главного редактора, в дружеском «тандеме» с моим завотделом, в которого, кажется, была немножко влюблена.

И вдруг через два месяца — какой там год! — получаю телеграмму: «Взял отпуск женильбы, приезжаю тогда-то». И снова я пожалела! Ну скажи, Володя, могла ли я так унижить, опозорить его — *отправить обратно без всякой женильбы?*.. Мы записались. Мама устроила вкусный стол, я пригласила двух школьных друзей. Мы даже съездили в две редакции — договориться о работе для него: надеялся весной приехать к жене на новое постоянное место жительства. Но... «человек предполагает, а Бог располагает».

Было ещё несколько счастливых месяцев у мамы с папой, в моей замечательной «Сталинской смене». Мне странно, Володя, но я совсем не реагировала тогда на всё выше поднимающуюся антисемитскую волну. Меня-то любили и берегли. Как должное, не задумываясь, «между прочим», приняла предложенный главным редактором совет подписывать свои материалы в газете не девичьей фамилией и не новой — мужа (одна другой «страшнее»: папина — Рабинович, Женина — Рейтштейн!), а хотя бы «Р. Тамарина». Это и был мой первый псевдоним. (Замечу, что потом, уже в Ленинграде, мне ещё *дважды* пришлось «менять» фамилию.)

СМЕРТЬ БЕССМЕРТНОГО

И вдруг, Володя... Но, прежде чем рассказать об этом поистине «вдруг», напомним тебе о нашем «Турнире СК». В сезон 1965/ 1966 годов каждый сценарий был наделён «философским» девизом: «Свет», «Движение», «Случайность». О последнем и вспоминаю. Вы все, мои замечательные авторы, должны были придумывать конкурсы на тему о роли случайности в науке, литературе, музыке, изобразительном искусстве. Какой интересный получился «Турнир», как горячо спорили наши талантливые ребята!

Ты удивляешься, Володя: при чём здесь «Турнир СК»? Рассказ мой шёл о Челябинске, о моей молодёжной газете. Сейчас поймёшь.

Произошло вдруг, как гром среди ясного неба, событие, совершенно перевернувшее мою жизнь: нам сообщили о тяжёлой болезни, а потом смерти того, кто должен был быть бессмертным,— «гениального вождя», «*учителя всего прогрессивного человечества*», «*отца народов*», горячо любимого товарища Сталина.

Не улыбайся скептически: мы ведь и правда — пусть не все, но большинство, подавляющее большинство — его боготворили. У Михаила Исаковского есть стихотворение «Слово к товарищу Сталину»: благодарность ему за то, и за то, и за это — словом, за всё (за миллионы погубленных тоже?), — и, наконец, «*за то, что Вы живёте на земле*». Там есть и такие строки: «Мы так Вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе». Ты думаешь, стихи неискренние, лживые? Не согласна! Они как раз и выражают это общее боготворение, таят в себе загадку гипнотического одурманивания огромного народа (а в Германии с Гитлером — разве было не то же?).

Я всё-таки не ответила, при чём ко всему этому «случайность»? Скажи, разве не случайно, что я окончила школу и только начала свою профессиональную деятельность как раз перед тем, как «мудрейший человек эпохи», «гений новой эры» покинул нас? Разве не случайно, что совсем незадолго до этого вдруг приехал из Петрозаводска Женя (а должен был — по точной договорённости — аж к лету!) и я вышла замуж, поменяла фамилию? Случайно! А всё дальнейшее произошло из-за этого «случайно».

Итак, Володя, кумир оказался смертен.

У нас в «Сталинской смене», так же как, наверное, везде и всюду, сразу после бюллетеня о болезни назначили ночных дежурных — ждать сообщений. В первую ночь дежурили мы — я и он, мой зав и тайный «воздыхатель».

Странный вы народ, мужчины: теперь, когда я стала уже не просто молоденькой, симпатичной ему девушкой, а законной женой обожавшего меня мужа (я приводила Женю в редакцию познакомиться с коллегами, и его отношение ко мне всем стало ясно), он стал оказывать мне гораздо больше внимания: провожал каждый день до трамвая (мне ведь приходилось ездить домой довольно далеко в свой Металлургический район), а утром на рабочем столе я часто теперь находила скромный букетик цветов — не было этого раньше.

Так вот, назначили нас ночными дежурными, кажется, со 2-го на 3-е. Может быть, нас дурили, и он уже помер — точно ведь не известно, по-разному говорят.

Это была незабываемая ночь... Ходим мы вдвоём по тёмной, совершенно пустынной улице, прохаживаемся, через каждые полчаса возвращаемся в редакцию — вдруг страшное сообщение? И снова ходим. И снова над нами тёмное, на редкость чистое в наших краях звёздное небо. Ночью, вдвоём, впервые ночью вдвоём.

Поэзия! О чём же говорят эти совсем ещё молодые люди, безусловно влюблённые (по правде говоря, «замужней дамой» я себя никак не ощущала), до сих пор эту влюблённость скрывавшие даже от самих себя (мы называли наши отношения дружбой)? Признаются друг другу в любви? А может быть, первый поцелуй? Нет! Не угадали!.. Они говорят... о нём. И только о нём. И слёзы на глазах, и голоса дрожат. Как будет без него? Что нас ждёт? А, может быть, есть ещё надежда? И так мы прогуляли (потеряли! прогавили!) эту ночь — новых сообщений не было...

Прошло несколько недель уже без него. Ходили тёмные слухи о давке на похоронах. Недавно прочитала в достоверном источнике, что погибших — задушенных — было не менее полутора тысяч! В журнале «Дилетант» — 2013 г., № 2 (обрати внимание, Володя, очень хороший журнал) — эту давку назвали «Ходынской 53-го года».

Настроение и дома, и на работе менялось. Набирала обороты уже почти открытая антисемитская кампания. Уже нельзя было не замечать её (или делать вид, что не замечаешь) — она кипела и бурлила вокруг каждого из нас. Помню горестные рыдания маминой тётки — известного в городе зубного врача (тоже осталась в Челябинске после эвакуации из Днепропетровска): к ней записывались за месяцы, а теперь от неё бегут даже самые старые, преданные пациенты — а если и она «врач-убийца»? Конечно, не все верили, но... всё-таки, а вдруг? И бежали от неё. А встретив на улице — виновато опускали глаза. Помнишь, Володя, что ещё до смерти Дьявола, 20 января 1953 года, была награждена орденом Ленина врач-кардиолог Лидия Тимашук «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц»?

Мне в моей редакции пришлось не так тяжко, как бедной маминой тётке. В первых, я не была врачом, во-вторых, хороший подобрался у нас народ в редакции — даром что «Сталинская смена». Каждый старался быть ко мне особенно внимательным, показать (вдумайся, Володя: я ведь и сама так, именно так рассуждала — мучилась!), что «ты, наша Тamarочка, тут ни при чём». А «врачи-убийцы» — кто его знает, есть они или нет?.. Ну не могут же просто так все это выдумать наши самые-самые, там, наверху?.. В общем, я продолжала работать, но замечала: наш главный редактор не посылает меня, как прежде, в командировки. Случайно ли? Бойтся ли, что меня обидят? Мой «рыцарь» попрежнему каждый день провожает меня до остановки трамвая, о «врачах-убийцах» мы не говорили ни разу.

И настал тот день. Утром в воскресенье — было это уже в апреле — за завтраком я увидела, что мама расстроена, заплакана. Мне ничего не сказала. Я ушла к себе — надо было спешно закончить в завтрашний номер очередной «шедевр». Братишка убежал гулять. Я запомнила: было очень тихо. Осторожно постучав, вошёл папа. Как всегда спокойный, даже особо спокойный. Сказал, что должен сообщить мне нечто очень важное. И сообщил. То самое, случайное, что перевернуло мою жизнь. Не знаю, к худшему или к лучшему, но, скорее всего, не было бы снова Ленинграда, не было бы у меня ТВ, ни нашего (недавно, к изумлению своему, случайно (!) прочла в Интернете — «легендарного "Турнира СК"»), ни, значит, нашей с тобой дружбы и, следовательно, этих переключек через океан...

Вот что я услышала: завтра я уезжаю к мужу в Карелию. Билет папа мне взял. Жене позвонил, он меня встретит. На работу мне тоже позвонил, всё объяснил, главред всё понял, документы мои привезут на вокзал. Что случилось? У него, у папы, большие неприятности. Я об этом ничего не должна знать — просто еду к мужу. Иначе неприятности будут и у меня. Фамилия у меня другая. Работу, Женя

сказал, он мне найдёт (и нашёл: тоже в молодёжной газете «Комсомолец»). Больше мне ничего знать не надо. «О дальнейшем тебе сообщим, когда будет известно. Или я, или... мама. Всё. Собирайся!» И протягивает мне билет в плацкартный вагон до Петрозаводска.

На следующий день, ни с кем из друзей, коллег по работе не попрощавшись, даже с ним, с которым ходили вдвоём звёздной ночью и... не поцеловались, — ничего не понимая, почти как во сне, я уже на четверо суток в поезде. Бегство! Второе бегство в моей жизни — помнишь, из станицы Марьинской, на подводе? Но то было от врагов, от фашистов... А это — от кого?

ОТЦУ МОЕМУ ПОСВЯЩАЮ

Итак, я еду. Дорога дальняя: из Челябинска в Петрозаводск, по-моему, четверо суток да ещё пересадка в Москве. Сажу, смотрю в окно не отрываясь, а передо мной — просторы российские, безбрежные: сначала горы, невысокие, Уральские, потом — лес и лес, кажется, только он и есть на земле, хвойный и смешанный, с набухшими уже почками (апрель!), — и поля, поля, обнажённые, ожидающие пищи. Разве можно поезд сравнить с самолётом: взлетели и приземлились (мне всегда скверно и страшно при этом), ничего не увидели! Конечно, к тебе, Володя, в Америку, поездом не поедешь. Но вот через всю Европу, или, например, Южную Америку, или Африку (эх, не пришлось, жили мы как в тюрьме, а теперь поздно уже, не поедешь) предпочла бы поезд.

Помнишь, есть такое наблюдение у Толстого: первую половину пути думается о том, что покинул, вторую — о том, что ждёт? Точно по этому толстовскому рецепту, глядя в окошко, я сначала грустила по маме с папой, по своей «Сталинской смене» с моим «рыбарем», потом — с волнением! — стала размышлять о Жене, о предстоящей мне совершенно новой, «замужней» жизни.

И посему здесь самое время для нескольких отступлений от «генеральной темь» — благо дорога длинная; но говорить я буду не о том, что думала тогда в поезде, а совсем о другом, о чём узнала много позже.

Тебе, Володя, интересно, наверное, почему меня столь скоростным образом — я бы сказала даже, тайно — отправили к мужу, который собирался к лету сам приехать к своей жене «на постоянное место жительства»? Об этом и расскажу. И ещё кое-что о папе. У меня перед ним долг.

Отец мой, Лев Исаевич Рабинович, работал тогда начальником энергосектора «Гипромеза» ЧМЗ (Челябинского металлургического завода), который был на моих глазах рождён буквально на пустом месте моим папой и его коллегами из оборудования, эвакуированного ими же из Запорожья в 41-м году. Доменные печи, трубы (и густой дым над ними), мартеновские печи, всё новые и новые цеха — вот атмосфера моего детства, темы разговоров взрослых, непонятные «металлургические» термины. В кратчайший срок завод был полностью поставлен на службу Отечественной войне. Из нашего металла на ЧТЗ, Челябинском тракторном, строили новейшего образца танки. Помню, мы ездили с классом в город — торжественно провожали их на фронт...

После 1945-го папин «Гипромез» уже проектировал что-то для мирной жизни. На душе было радостно — Победа!

Тучи начали сгущаться с началом кампании против «безродных космополитов», и совсем заволочло небо после «разоблачения» Лидией Тимашук «врачей-убийщ». О себе — и в университете, и в моей молодёжке — я писала; теперь — речь о папе.

Неожиданно, без предупреждения, объявили партийное собрание. Тогда уже отец был членом партии: вступил в неё на волне общего патриотического подъёма в годы войны, да и нельзя было беспартийному быть начальником сектора.

Собрание открывает представитель райкома. Объявляет повестку. Вопрос один. К общему изумлению — личное дело «примкнувшего к безродным космополитам» Л.И. Рабиновича:

— Ему не место в рядах партии. Обсудить и исключить!

Весь красный, смущённый, хороший, по словам папы, человек, секретарь первичной партийной организации выдвигает аргументы (обрати внимание, Володя: ничего больше придумать они не смогли): 1) поддержка потенциального врага в годы войны; 2) систематическая переписка с иностранной державой.

Какого врага? Какая поддержка? Чтоб объяснить это, мне придётся вернуться в позднюю осень 1941-го года.

Мне одиннадцать лет. Мы живём в посёлке Бакалстрой, в «стандартном доме», двухэтажном, кирпичном, где занимаем впятером одну комнату, но новое жильё, куда переехали недавно из деревянного, наскоро сколоченного барака, кажется нам раем.

Я иду с папой в столовую обедать. А столовая, так же как и моя школа, где учусь в 5-м классе, находится в зоне. Огорожена огромная территория, там работает множество людей. Нет, не подумай, Володя, не военнопленные — это наши немцы, «трудмобилизованные». Их привезли сюда из Поволжья и отовсюду. Немцев у нас было много, ведь ещё Петр I приглашал немцев строить новую европейскую страну.

Мы с папой проходим через вахту, предъявляем охраннику пропуска — я тоже с гордостью свой, школьный. Входим за ограду, в зону. Идём мимо глубокой ямы. Там, внизу, в котловане, несколько рабочих с лопатами. Один поднимает голову, смотрит на нас. Папа, к моему изумлению, меняется в лице, буквально открывает объятия — рабочий бросает лопату, выскакивает из котлована, протягивает папе руки, они обнимаются. Это папин давний коллега по работе в Запорожье или, точно не помню, ещё раньше, по Днепропетровску. Немец, фамилия, кажется, Тейх, имени-отчества не помню. Такой же немец, наверное, как я — увы! — еврейка: языка немецкого не знает, как и я еврейского.

Вот этого Тейха и припомнили папе на том партийном собрании, он-то и был «потенциальным врагом». Какими-то невероятными усилиями отец после их встречи в котловане добился, чтобы его перевели с «общих работ» к нему в «Ги-промез». Более того: по папиной рекомендации фотография немца, трудмобилизованного Тейха не раз висела на Доске почёта. На вопрос инструктора райкома, зачем он всё это делал, отец отвечал: «Он самый талантливый и фанатично трудолюбивый инженер нашего сектора». И перечислял его идеи, проекты, работы — в помощь фронту и сейчас, в мирное время.

Второе отцовское «преступление» — «систематическая переписка с иностранной державой». Так это не он, а его жена, моя мама, переписывалась со своей мамой! Трагическая история. Волею рока после гражданской войны она оказалась с тремя младшими детьми где-то у границы на территории Польши. Остальные —

пятеро! — старшие её дети учились и работали в советской России. Как она хотела соединиться с ними, сколько и она, и они подавали заявлений, прошений, кого только ни молили — не разрешили. В Польше оставаться было невозможно, и она с двумя малышами уехала в Палестину. (Не могу, Володя, передать, какое ожидало горе маму, её братьев и сестёр: старший из трёх, который остался в Польше, Мотик, так звали его родные, в первые дни войны погиб. Он и его молодая жена, или беременная, или только что родившая — узнать не удалось, — были расстреляны вместе со всеми не успешными убежать евреями.)

На вопрос, почему он позволил жене переписываться с границей, отец ответил кратко: «Это её мать».

На том собрании произошло чудо, да, по тем временам чудо: отца не исключили из партии — ни один человек не поднял руку, — ему только вынесли строгий выговор. Но райком отменил решение первичной организации и... исключил! Вот тогда-то отец и отправил меня к мужу: после утверждения этого решения в горкоме он мог ждать — примеров ещё с 1937-го было множество! — «чёрной машины» и решил спасти юную журналистку, у которой, к счастью, другая фамилия и которая ничего не знает о «космополите»-отце.

Последние несколько слов о моём папе. Через много лет, когда он уже давно был на пенсии, мы с дочкой, как и каждый год, поехали летом к бабушке и дедушке. Брат достал нам путёвки в Дом отдыха на озере Чебаркуль (том самом, где недавно «приводнились» осколки метеорита, названного «Челябинск»). Озеро, скажу тебе, Володя, красоты неопишуемой, вода — тогда была! — хрустально чистая (говорили — не знаю, правда ли, — по чистоте и прозрачности первое место после Байкала). Лежим мы с дочкой на берегу, загораем. Вдруг подходит ко мне незнакомая дама, пожилая, тоже в купальнике. Вижу — волнуется.

— Вы дочка Льва Исаевича?

— Да.

— Извините. Я хочу, чтобы Вы знали. У меня большой стаж, тридцать лет. Десять из них работала с Вашим отцом. Ни до, ни после него такого начальника у меня не было. Ни по знаниям, ни по справедливости. Если б Вы знали, как мы все жалели, что он ушёл, как уговаривали его остаться. Передайте ему привет. — И назвала своё имя.

Я тоже огорчалась, когда он ушёл на пенсию. Было ему шестьдесят пять, ещё, казалось, моложавый и крепкий. Что будет делать без своего «Гипромеза»? Спросила у него, когда приехала к ним: «Папа, ты ведь мог ещё поработать, почему ушёл?» Он ответил: «Видишь ли... Я стал замечать, что забываю. Приходит ко мне молодой инженер, спрашивает, советуется, а я как-то медленно соображаю. Не схватываю сразу, как раньше. Не хотел, чтобы другие заметили. *Надо уходить во время*».

Впрочем, он не совсем тогда ушёл — не хотел быть больше начальником. Ещё лет пять два раза в неделю ходил на завод: пригласили быть консультантом, кого и где — не помню.

А дальняя дорога моя продолжается. Уже настала вторая её половина — я благополучно закомпостировала билет Москва-Петрозаводск. Еду теперь в другом поезде, смотрю в окно и думаю о том, что ждёт впереди.

И снова — вдруг!..

«ПАПА ЗДОРОВ!»

...Я всё ещё еду в поезде, смотрю в окно: снова леса — скоро незнакомая Карелия и совершенно новая жизнь. Какая она будет?

Поезд замедляет ход — приближаемся к очень крупной станции, судя по «архитектурным излишествам» внешнего облика вокзала и множеству скрещивающихся, идущих в разные стороны рельсов — путей-дорог.

Знаешь, Володя, я теперь сомневаюсь: было это после или до Москвы? Может быть, даже — до. Это самое «и вдруг!». Как сейчас вижу: поезд замедляет ход, и вдоль движущегося навстречу нам перрона несколько — один, второй, третий — газетных киосков; у каждого толпятся люди, отходят — с газетой в руках; переговариваются — общее оживление, кто-то улыбается, кто-то сердится, спорят. Что там в газете?

Поезд ещё не остановился, почти на ходу, ступени проводник не успел опустить — бежим (не только я — из каждого вагона спрыгивают пассажиры) к ближайшему киоску. Что покупают все? «Правду». Сегодняшнюю «Правду»... Ты догадался, Володя? Апрель 1953-го года, число не помню: «Правда» сообщала, что «врачи-убийцы» — никакие, оказывается, не «убийцы», а замечательные, как мы и думали о них раньше, профессора, врачи, что они полностью реабилитированы: Лидия Тимашук оклеветала их.

Мне жалко её, эту бедную Лидию Тимашук. Представляю себе, как давили на неё — заставляли оклеветать своих коллег. Она работала кардиологом в Центральной кремлевской больнице, и её направили к А.А. Жданову сделать ему кардиограмму. Есть разные мнения — точно мы уже не узнаем: сама она написала письмо-донос о некомпетентности врачей, о неправильном лечении важной персоны или была агентом органов? Или её заставили это сделать? И тогда мне жаль её: может быть, ночами плакала в подушку, каялась. Кто знает?

Я склоняюсь к мнению тех, кто считает: её просто использовали в нужный момент. Ведь своё заявление-донос она написала в 1948-м, и только через годы (!) вся страна читала в «Правде» указ от 20 января 1953-го о награждении никому не известной дотоле Лидии Тимашук орденом Ленина «за разоблачение врачей-убийц». Дал Хозяин отмашку — и «от Москвы до самых до окраин» пошла охота на «убийц в белых халатах». Маховик раскручивался всё быстрее, и ровно через месяц та же «Правда» 20 февраля в «Почте Лидии Тимашук» докладывала своим читателям о потоках писем — благодарных, восторженных — в адрес бесстрашного и бдительного патриота, скромного врача-кардиолога. Но не стало Хозяина — и никому больше не нужна была «бесстрашная и бдительная».

Не помню, Володя, чьи это слова, но процитирую их: «Ей вручают орден Ленина, а через два месяца отбирают его и выливают на голову бедной женщины ушат грязи». Это как раз о той статье, которую я купила в киоске на станции. А за ней последовали и другие. Множество. Не позавидуешь. Как вознесли, так и растоптали. Да, не нужна она стала, даже мешала. И кончила страшно: «Лидия Тимашук погибла под колёсами автомобиля».

Володя! Как странно! Я прочтала совсем недавно (открылись архивы!), что не погибла вовсе несчастная Лидия Тимашук под колёсами автомобиля — до преклонных лет дожила. (Фамилию ей поменяли, что ли?) Сплошно враньё! А ведь я помню, как горячо мы обсуждали эту самую её гибель. Одни говорили — с собой покончила, другие — что толкнули её под колёса автомобиля: мешала ... Да и до-

носа в 1948 году, говорят, никакого не было: молодой кардиолог написала о неверном, по её мнению, диагнозе, а отсюда и лечении больного А.А. Жданова. Своим врачебным долгом это считала. Кто скажет теперь — где правда? Не странно, Володя, а страшно. Страшные годы выпали нам с тобой на нашу молодость ...

Но ты не забыл? Я — в поезде, с газетой в руках, еду к мужу. Радуюсь... Радуюсь за врачей-профессоров, за мамину тётю-стоматолога: от неё не будут больше бежать пациенты. Да и со своих плеч сбросила тяжесть: что ни говори, а «врачи-убийцы» почти все были евреями.

Но мне и в голову не пришло, что статья в «Правде», кушленной мной в киоске на вокзале незнакомой станции, так молниеносно и кардинально отразится на судьбе моего отца. Да и не знала я тогда толком, что с ним произошло, «не должна была знать»...

На вокзале в Петрозаводске меня встречал мой молодой муж Женя с огромным букетом цветов в одной руке и с какимто листочком бумаги, который протягивал мне, — в другой. Это была полученная им сегодня телеграмма из Челябинска всего из двух слов: «ПАПЕ ЛУЧШЕ». Через неделю я получила вторую телеграмму: «ПАПЕ ЕЩЁ ЛУЧШЕ». И ещё через две недели: «ПАПА ЗДОРОВ!» — с восклицательным знаком. Уже потом узнала подробности: горком партии отменил решение райкома и даже первичной организации (помнишь, строгий выговор — лучшее, что могли тогда сделать папины сослуживцы?). Папу моего, как и «врачей-убийц», полностью реабилитировали. А что бы было, если б «отец народов» продолжил своё земное существование?! (Эх, обидно — не верю я в ад!) «Апокалипсис не состоялся», — это я из книги Э. Радзинского «Сталин» «похитила», часто теперь к ней обращаюсь. А был он, этот апокалипсис, уже наготове: и грандиозный судебный процесс над «врачами-убийцами», и уничтожение своих соратников по Политбюро, и аресты военного командования, и много, много ещё чего — новый 1937 год! Остаётся сказать: «Бог есть». Но... не могу. Не верю. А если есть, то безмерно жесток — уж лучше думать, что нет...

Читая о том, как Женя встретил меня на вокзале с цветами и телеграммой, о второй телеграмме, о третьей с волшебными, эзоповым языком, всего двумя словами: "ПАПА ЗДОРОВ!", ты, наверное, подумал: «Вот и счастливый конец, как в сказке, — стали мои молодожёны Женечка с Тамарочкой жить, поживать да добра наживать». Нет, Володенька, не совсем так.

Богосталин уже лежал рядом с Боголениным в мавзолее. Снова у меня «плагиат» из Радзинского — а может быть, это точнее «бого» придумал кто-то другой? (Скажу заодно: книга Эдварда Радзинского «Сталин» — гражданский подвиг автора. Её должен прочесть каждый, кто хочет узнать и понять всё о своей стране XX века, чтобы этот ужас больше не повторился. И будь я учителем истории 11-го класса, изучала бы с ребятами её весь год — ничего больше не надо. Книгу ещё не оценили по достоинству, но, уверена, у неё — великое будущее.) Богосталин уже лежал в Мавзолее, а шлейфы его бесчисленных злодеяний ещё хлестали и хлестали по людям. Он, «солнце нашей планеты», приказал выбросить из товарных вагонов посреди сибирского леса или казахской степи тысячи и тысячи людей, и погибали они от мороза ли, от голода — чеченцы, ингуши, крымские татары. Мы и сегодня (вспомним хотя бы Кавказ, чеченские войны) тяжело расплачиваемся за те зверские его деяния. Расплачёмся ли когда-нибудь?..

Нас с Женей, будем считать, самую малость, чутьчуть тоже коснулся на фазе своего издыхания шлейф «космополитской» кампании. Когда вошли с чемо-

данами в снятую специально к моему приезду крохотную, но очень уютную квартиру, я увидела абсолютно пустую комнату и чемоданы посередине. Мой молодой муж, не глядя на меня, произнёс чужим, напряжённым голосом:

— Сегодня через два часа мы уезжаем. В замечательный город Сортавала. Я уже был там. Жить будем в гостинице. Оплачивает редакция. Номер хороший, я всё приготовил. Будем работать: я — замом редактора районной газеты, ты — собкором молодёжного «Комсомольца».

Я, потрясённая, молчала. Уже потом, в поезде, объяснил: был негласный указ — убрать евреев из республиканской партийной газеты. Его редактор сделал всё что мог и для него, и для меня: нас обоих перевели в Сортавалу. Я чувствовала — Женя оскорблён, унижен, обижен: фронтовик (войну прошёл с первого до последнего дня, закончил на Дальнем Востоке), выпускник престижного ЛГУ, ездил по всей республике, в самую глушь добирался, в лесхозы, уже сошёлся с коллективом, много писал, жену свою готовился представить коллегам — на новоселье пригласил. Эту обиду, я знаю, он затаил навсегда. И её тоже вспомнил — через много лет, — когда уезжал из страны.

Но, Володенька, поистине не знаем: где найдём, где потеряем. Сортавальские годы были у нас счастливые, радостные, какие-то весёлые, беззаботные. Помоему, таких больше и не было. Подобралась чудесная молодёжная компания — все ленинградцы: мы с Женей, журналисты, врач, учительница, инструктор райкома(!). Собирались часто, спорили, читали стихи... А по выходным — лыжные прогулки: лес совсем рядом красоты неописуемой. Лыжи, купленные прямо на фабрике, их производившей, и сейчас стоят у меня в коридоре; увы, теперь только стоят. Говорят, они из какого-то особенного дерева.



Карелия, Сортавала. Собкор газеты «Комсомолец».

И работалось нам хорошо. Я непрерывно ездила по своим трём районам. Писала ещё больше, чем в «Сталинской смене». И смелее. И уже, наверное, лучше — научилась кое-чему. Писала обо всём — это и положено собкору: от производственных успехов на мебельной фабрике до серьёзных конфликтов в местной школе и... (о, прости, Володя!) концерта в городском клубе приезжего музыканта. Узнала — впервые! — село, раньше не приходилось.

Остались и курьёзные, даже — «позорные» воспоминания. Помню, приехала — и пешком долго шла — в совхоз. Встретили приветливо — журналистка из газеты, уважаемый человек. Поместили на ночлег к пожилым людям, всю жизнь в этих краях прожившим. Угощают. Щи ем, картошку. Разговариваем. Я, пользуясь подходящим моментом, выполняю комсомольское поручение. А поручение мне, помимо матери-ала для статьи, важнейшее дали: в разгаре «кукурузная кампания» Хрущёва, я должна агитировать сельчан вместо клевера, который испокон века сеяли здесь и кормили им скот, сажать... кукурузу. Только кукурузу! И я, разливаясь соловьём (специально нам лекцию об этом прочитали, брошюрками снабдили), городская девчонка-дура, никогда и поля в глаза не видевшая, — учу (!), убеждаю, убеждаю крестьян, укоренённых на этой земле поколениями, что им нужно сажать-сеять. И вдруг я ловлю взгляд сидящего за столом напротив меня старика: умный, не злой, но такой иронический, насмешливый. Поперхнулась. Замолчала... Много зла — я узнала об этом много позже — принесла им эта кукуруза. Заставляли её сажать. Вместо клевера. А она в этом климате расти не хотела. Не могла, не успевала созревать.

Сортавала... Полюбила я этот маленький, такой уютный, чистый, я бы сказала — изящный (нельзя так о городе?) городок.

Прожили мы в нём почти два года. Там встретили ошеломившее и, представь себе, разделившее нашу такую дружную компанию событие — XX съезд, доклад Хрущёва о культе личности. Я поверила сразу и полностью. Двое из нас — не поверили совсем. Возмущались. Славил Сталина. Утверждали, что Хрущёв его оклеветал. Мы кричали, спорили, ссорились до слёз. Потом мирились. Но... с этими двумя настоящей дружбы уже не было.

Володя! Не хоч, чтобы ты обольщался на мой счёт. Не переоценивай фразу: «Я поверила сразу и полностью». Да, перелом, изменение мироощущения начались тогда. Но как долго они длились! Ведь вначале это была горячая вера в «возвращение ленинских норм партийной жизни». Я и сейчас поразному к ним отношусь: Ленин для меня — революционер-фанатик, наследник русских народников, трагическая личность; к концу жизни он многое осознал, но уже бессилён был что-либо изменить (наш с тобой знакомый Леонид Мозговой замечательно сыграл его, умирающего, в фильме Сокурова «Телец»). Да и где, когда, какая революция не оборачивалась жестокостью? И забывают часто: гражданская война только в 1922-м году кончилась. Ленин тогда уже был безнадежно болен. Прожил бы ещё лет двадцать — кто знает, как бы всё обернулось. Нэп всё-таки он ввёл. А Сталин — злодей, кровопийца, изверг, ради власти своей уничтоживший миллионы людей. И нет ему прощения во веки веков.

Из Сортавалы мы уехали потому, что в моей газете сократили должности соборов. Меня приглашали в Петрозаводск, Жене по-прежнему там работа не светила. Словом, мы вернулись в Ленинград — Женя ведь коренной ленинградец. Прощаться с Сортавалой было грустно.

Вот и рассказала я, Володя, что вспомнилось о своей юности-молодости.

Обрати внимание: оба мы с тобой (раньше говорили — *«иногородние»*, теперь — «понаехавшие») из глубокой провинции приехали учиться в Ленинград. Интересно: есть ли что-либо общее в наших судьбах двух ровесников, провинциалов и двух евреев, что — увь! — неожиданно-негаданно именно в те годы стало играть немалую, часто весьма печальную роль в жизненных поворотах? Не забудь: у нас — переключка.

Итак, слово тебе...

ВЛАДИМИР ФРУМКИН

Есть в наших судьбах общее, не может не быть. Параллели, совпадения вижу то тут, то там. Начать с того, что и моё окончание школы было отравлено ядом, который не раз ещё будет портить жизнь нам обоим. А дальше? Куда повлекла меня моя планида, в каком направлении? Туда же, куда и тебя, — с востока на запад. И якорь я бросил в той же гавани, на Балтике, в городе Петра.

Вот как это было...

Из Сибири — в северную столицу

А через несколько дней из гороно вернули... с четверкой. Т.Л.

Мою оценку за сочинение переправили на четвёрку не в гороно, как у тебя, Тамара, а ступенькой ниже — в районо. Но с тем же результатом — окончательно и бесповоротно. Так что и я медали не получил. «Никому из нас,— замечаеть ты, — ни маме с папой, ни учителям и директору, ни тем более мне — и в голову не пришло, что вот оно — началось то чудовищное, что могло быть в гитлеровской Германии, но никогда в нашей самой прекрасной, победившей фашистов стране». Согласен: что надвигается нечто страшное и непостижимое, тот иницируемый свыше дикий шовинистический угар, который непрерывно нарастал на протяжении шести лет, мало кто догадывался до начала 1949 года, до публикации (28 января) в «Правде» редакционной статьи «Об одной антипатриотической группе театральных кригигов». Но то, как мяляя, подыскивая слова, завуч школы, когда уговаривал меня смириться с четвёркой, не лезть на рожон, не оставляло сомнений: дело было в чёмто неудобоваримом, постыдном — в нерусском звучании моих фамилии и отчества, в моей принадлежности к неполноценному, слегка презираемому племени. Свою неполноценность, второсортность я стал ощущать вскоре после приезда в Омск, когда впервые услышал, как мои друзьяприятели называли воробьёв «жиды». И объяснили мне, почему: потому как маленькие, жалкие, жадные и суетливые.

Экзамены за 10-й класс я сдавал в вечерней школе рабочей молодёжи, куда перешёл после 8-го, чтобы легче было получать общее образование параллельно с музыкальным училищем, которое предстояло, как и обычную школу, закончить в 1947 году.

А в августе 1947-го уехал в Ленинград поступать на теоретико-композиторский факультет консерватории.

Вступительные экзамены в консерваторию я блистательно провалил. Дело в том, что музыкальную теорию я изучал по московской школе, а в Ленинграде издавна культивировалась своя, петербургская. Тут и терминология была другая, отличная от московской. Да и историю музыки я знал слабовато. На коллоквиуме (заключительном собеседовании группы профессоров с абитуриентом) я не мог ответить на вопрос (как оказалось, элементарнейший) о том, каким речитативом изъясняются герои оперы «Садко». «Ну как же — былинным, былинным!» — произнёс после томительной паузы задавший вопрос выдающийся музыковед Александр Вячеславович Оссовский.

Спасла меня от возвращения в Омск и абсолютно туманного будущего пятёрка по сольфеджио, которую мне поставил видный теоретик Арон Львович Островский. Когда стало известно, что меня не приняли, профессор Островский отвёл

меня (чуть ли не за руку) в Матвеев переулочек к руководителям теоретико-композиторского отдела Музучилища имени Римского-Корсакова Вадиму Николаевичу Салманову и Эмили Лазаревне Фрид и попросил отнестись ко мне с должным вниманием. Я был принят на третий курс, и уже через год меня (на сей раз — без экзаменов) зачислили на первый курс консерватории.

В Ленинград я влюбился, как и ты, Тамара, мгновенно — и навсегда. Много, чуть ли не ежедневно бродил вечерами по Невскому, по набережным Невы и каналов, подолгу стоял у Зимней канавки, где окончила свой короткий век Лиза, покинутая обезумевшим Германом. Любил гулять под мелким осенним дождичком, чтобы почувствовать себя настоящим петербуржцем. К счастью, мне удалось купить роскошный двубортный финский плащ из плотной зеленоватой ткани. Барабанившие по нему капельки дождя звучали для меня как волшебная музыка...

Вернувшись домой, я стелил постель на обеденном столе, который прослужил мне ложем целых два года. Первый год я блаженствовал на нём один, на второй пришлось потесниться. Моим напарником стал двоюродный брат из Омска Юра Лейбин, поступивший в Ленинградский электротехнический институт связи имени Бонч-Бруевича. Как я уже упоминал, в Юриной квартире в 1941-м мы, эвакуированные, жили у его родителей. А здесь, в Ленинграде, нас приютили младшая сестра наших с Юрой мам тётя Сима и её героически терпеливый муж Володя Маслянский. Занимали они с двумя дочками две маленькие смежные комнаты в коммунальной квартире дома на Подъездном переулочке, 5. Дом находился между Витебским вокзалом и ипподромом, вместо которого вскоре возникнет замечательный и знаменитый в своё время ТЮЗ — Театр юного зрителя, завсегдаем его я стану через двадцать лет.

Мои космополиты

Судили, самым настоящим образом судили двух, пожалуй, самых почитаемых профессоров филологического факультета. Т.Л.

О собраниях-судилищах, на которых мне довелось побывать, вспоминаю со смешанным чувством боли и стыда. Стыда за то, что сидел в зале как статист, как манекен, стараясь скрыть удивление, подавленность, шок, растерянность: за что же вы так наших лучших, самых авторитетных и любимых?! (Бывшим китайским студентам — тем, кто ещё жив, — самолично истязавшим своих профессоров в кошмаре «культурной революции», наверное, ещё более стыдно, ещё больнее. Но это не очень-то утешает.)

Удивительно похожи, Тамара, судилища на твоём филологическом факультете на те экзекуции, что устраивались у нас в консерватории. Будто по взмаху одной дирижёрской палочки — да, собственно, так оно и было. Явка и у нас обязательна. Но мы, студенты, ходили и в Союз композиторов, где наши профессора-евреи, члены Союза, обязаны были пройти дополнительную публичную порку. Все они, кроме нескольких активных членов партии, оказались антипатриотами, космополитами, которых хлебом не корми, только дай принизить русскую музыку, отнять у неё непререкаемый мировой приоритет. Обличали их в этих тяжких грехах специально подобранные докладчики, как правило — тоже музыковеды, тоже евреи, но с партбилетом в кармане.

Александр Наумович Должанский, выдающийся теоретик, педагог, лектор, просветитель, был отдан на съедение — точно не помню — то ли Леониду Арнольдовичу Энтелису, то ли Марии Львовне Гольденштейн. Держался он на «показательных процессах» стойко, самобичеванием не занимался, пощады не просил. Только сутулился больше обычного.

На Михаила Семёновича Друскина, известного музыковеда, специалиста по истории западной музыки, ставшего впоследствии руководителем моей дипломной и диссертационной работ, очевидно, коллеги не хватило. Его главным обвинителем сделали зав. кабинетом марксизма-ленинизма по фамилии Дав — странного, молчаливого человека, лишённого каких бы то ни было характерных национальных черт. Дав не был похож ни на русского, ни на еврея, ни на прибалта, ни на кавказца, зато очень походил на удава: маленькая лысая голова на длинной шее и длинным тонким туловище, глаза холодные, смотревшие на собеседника, почти не мигая, изза небольших, без оправы, очков. Ходил он в офицерской форме без погон: во время войны Дав служил в военной контрразведке, носившей устрашающее название «Смерш» («Смерть шпионам»).

К своему новому боевому заданию — вывести на чистую воду музыковеда-антипатриота — Дав отнёсся в высшей степени ответственно. По всему было видно, что раздавить, уничтожить человека — хоть физически, хоть нравственно — для него не бог весть что, привычное занятие, в котором он достиг изрядного мастерства.

Подготовился он тщательно. Прогудировал едва ли ни все работы Друскина, опубликованные и неопубликованные, в частности его выступления по Ленинградскому радио. Мимо немигающих глаз бывшего смершевца не прошло ни одного абзаца, к которому можно было придаться, который можно было повернуть и перевернуть так, чтобы в нём зазвучала крамола.

«В радиопередаче о великом русском композиторе Чайковском Друскин не упускает случая, чтобы умалить значение гения русской музыки. Так, он не только сравнивает Чайковского с Шуманом, но договаривается до того, что этот немецкий композитор в чёмто якобы повлиял на Петра Ильича. Вот послушайте...»

Дав говорил монотонно, тусклым, безжизненным голосом. Зачитав цитату, он начал объяснять её злокозненный смысл, обнажать скрытое в ней презрение к русской музыкальной культуре.

— Вы врётё! — раздалось вдруг из передних рядов.

«Не вынесла душа поэта...» Это было ЧП, стряслось нечто небывалое, выходящее за установленные рамки. Жертвам проработочной кампании надлежало безропотно сидеть (а в иных случаях — стоять) под потоками выливаемой на них грязи. Над залом повисла долгая зловещая пауза, которую нарушил поднявшийся из президиума высокопоставленный московский сановник, присланный для расправы с космополитами, свившими себе гнездо в ленинградском Союзе композиторов.

«Мы с вами, — торжественно и гневно произнёс высокий гость, — стали свидетелями хрестоматийного случая, описанного классиками марксизма: когда затаившегося врага загоняют в угол, он сбрасывает маску и переходит в контратаку. Друскин наглядно проиллюстрировал сейчас правоту наших учителей, злобно напав на уважаемого докладчика!»

В перерыве я увидел Михаила Семёновича сидящим в одиночестве на площадке узкой витой лестницы, по которой когда-то ходила княгиня Гагарина: здесь, на Малой Морской, 45, был её особняк, некогда построенный Монферраном для себя — вблизи возводимого им Исаакиевского собора.

Учитель курил, был мертвенно бледен, глаза ввалились и потухли. Я остановился перед ним, пролетелал нелепые слова утешения. В ответ он как-то вяло и безнадежно махнул рукой.

Если Сталин сказал: «Это будет!»...

Набирала обороты уже почти открытая антисемитская кампания. Уже нельзя было не заметить её (или делать вид, что не замечаешь) — она кипела и бурлила вокруг каждого из нас ... Т.Л.

14 января 1953 года. «Давай выйдем! Д-давай! На следующей!» Потрёпанный алкаш, сидящий справа от меня у окна в трамвае № 36, упорно теребит меня за плечо и пытается подцепить под руку. Я только что вошёл в промёрзший вагон на Театральной площади, чтобы ехать в консерваторское общежитие в Автово, что за Кировским заводом. «Выйдем? — недоумеваю я. — Зачем? Мне ещё рано!» — «Как это — зачем?! — настаивает работяга и поднимает на меня осоловелые глаза. — Евреев бить, вот зачем! Ты что, кореш, газет не читаешь?»

Трамвай как раз подходил к остановке. Я вышел, но — один: мой окосевший попутчик, как ни старался, не смог подняться на ноги.

До чего чуткий и догадливый у нас, однако, народ: не успела власть сообщить ему о жутком заговоре кремлёвских врачей, как он тут же смекнул, чего от него ждут, — и перешёл от слов к делу.

Если Сталин сказал: «Это будет!» — Мы ответим вождю: «Это есть!»

Выходит, правду написал Евгений Аронович Долматовский, сочиняя верноподданнические вирши для оратории Шостаковича «Песнь о лесах». Ох, далеко не всё было вымыслом в творениях наших соцреалистов, в партийных призывах и лозунгах, казавшихся многим чистым враньём. «Партия и народ едины!» К описываемому мною времени так оно и стало, единство было достигнуто. Помог комплексный метод, сочетающий кнут и пряник, уговоры и приговоры, веру и страх.

Ты, Тамара, в эти дни уже работала в челябинской «Сталинской смене». Я был в Ленинграде — консерваторию закончил на год позже, чем ты университет, в 1953-м. Далеко от Челябинска до Ленинграда. А происходило, по сути, одно и то же.

Днём раньше, утром 13 января, я пришёл к своим однокурсникам, музыковедше Миле Розенфельд и композитору Боре Можжевелову, чтобы вместе готовиться к очередному экзамену за первый семестр. Не успел я сесть за стол, как Боря, фронтвик, вернувшийся с войны без правой руки, пододвинул ко мне свежий номер «Правды»: «На, полюбуйся. Я, между прочим, от них этого ожидал». На его невероятно худом до измождённости лице мелькнула недобрая усмешка. Я не стал спрашивать, от кого он ожидал и чего именно. Текст сообщения ТАСС говорил сам за себя: «Хроника. Арест врачей-вредителей». Ниже шли девять фамилий, шесть из которых были еврейскими: М.С. Вовси, М.Б. Коган, Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, Л.Г. Этингер, А.М. Гринштейн. В том же номере «Правды» — редакционная статья под заголовком: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». И

дальше: «...Куплены международной еврейской буржуазнонационалистической организацией "Джойнт", созданной американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах».

Помню, что меня чуть ли не в равной степени ошеломили и это сообщение, и Борина прелюдия. Не ослышался ли я? В устах Бориса, умницы, интеллигента, мужа Милы Розенфельд — одной из тех, от которых Боря ожидал любой гадости, — его реплика прозвучала неожиданно и дико.

Много позже, раз за разом мысленно возвращаясь к этому страшному дню, я подумал о том, что Борина реакция на «дело врачей» была посвоему логична. Ведь не на пустом месте возникло оно. Отнюдь не как гром среди ослепительно ясного неба. Это была кульминация дьявольского сценария, которой предшествовала тщательная подготовка. Началась она ровно пять лет назад, 13 января 1948 года, с убийства в Минске главы Еврейского антифашистского комитета и великого актёра Соломона Михоэлса. А дальше — пошло-поехало.

«Эх, Фрумкин, Фрумкин!»

Нас с Женей, будем считать, самую малость, чуть-чуть тоже коснулся на фазе своего издыхания шлейф «космополитской» кампани. Т.Л.

Те жуткие недели и месяцы не прошли для меня даром. Именно тогда дала первую трещину мозязтанувшая вера в правильность и праведность вбитых в меня идей, в непогрешимость и мудрость Вождя — кумира моего детства.

Затянулась она, очевидно, в силу моей врождённой наивности, на которой я (в мои-то годы!) ловлю себя порой и сегодня, а также благодаря другой (тоже врождённой?) черте — склонности к конформизму.

Трещина углубилась, когда из растерянного и недоумевающего наблюдателя публичных экзекуций моих учителей, вина которых состояла только в том, что их угораздило родиться евреями, я сам превратился в объект действий, которые вопиюще противоречили всему тому, что мне внушали, что называется, с младых ногтей.

Подозреваю, что Борис Можжевелов, хотя и был женат на еврейке, смотрел на всю эту вакханалию другими глазами. Вряд ли он испытывал недоумение или растерянность. Уж очень хотелось ему, как миллионам других советских людей, принять всё это за чистую монету. Поверить в любой абсурд, в любые обвинения, сыпавшиеся на несчастные головы членов Антифашистского еврейского комитета, театральных критиков, музыковедов, на головы кремлёвских врачей и тысяч других евреев-медиков, — лишь бы не усомниться в правоте родной Коммунистической партии.

Признаюсь: в какой-то момент я сделал отчаянную попытку логически объяснить происходящее, призвав на помощь марксистскую диалектику, способную объяснить и оправдать всё что угодно. Попытка, слава Богу, не удалась. Принадлежность к гонимому племени ускорила моё отрезвление. Несчастье обернулось преимуществом — парадокс, который так точно подметил и выразил Борис Слуцкий:

*А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не притворялось благом...*

Пик моего «везения» пришёлся на последние недели жизни диктатора.

В феврале 1953 года Учёный совет консерватории не включил меня в список оканчивающих теоретико-композиторский факультет, рекомендуемых в аспирантуру.

Подавать заявление без рекомендации не имело никакого смысла. Пустой номер. Между тем министерская комиссия распределила меня на работу в Читинское музыкальное училище. Это означало, что, оставшись за бортом аспирантуры, я должен буду навсегда уехать из Ленинграда, ибо был я, как и ты, Тamarочка, «иногородним» с временной студенческой пропиской. «Переключка» наша продолжается: тебя не брали в штат на ТВ, а я чуть раньше (ты была ещё в Карелии) заматался в поисках хоть какой-нибудь работы, но такой, которая могла бы убедить Министерство культуры освободить меня от отправки в Сибирь.

Открылось место суфлёра оперы в Кировском театре. Я подал, но ответа на заявление не дождался. Кинулся ещё в несколько мест — безрезультатно.

«Вова, по радио объявили, что требуется музыковед», — сообщила мне однажды сестра Хилия. «Для какой работы? Что там надо делать?» — спрашиваю. «Не говорят. Только адрес дадут: "Дом книги" на Невском, служебный вход, 6-й этаж, комната номер такой-то». Я удивился, но пошёл, не откладывая.

Не без труда нашёл нужную комнату. Надвери — только номер, что за учреждение — непонятно. Вхожу. Секретарша ведёт меня в кабинет начальника отдела кадров. За столом — мужчина средних лет. Тщедушное сложение, дешёвенький костюм. Никакой импозантности. Представляюсь. Пришёл, мол, по объявлению, которое давали по радио. Заканчиваю консерваторию, получу диплом музыковеда-теоретика.

— Так. Так. Так. — Чиновник смотрит на меня заинтересованно и ободряюще. Задаёт дополнительные вопросы. — Ну, вот что. Оставьте нам свой паспорт, и мы Вас вызовем. Довольно скоро вызовем. Тут у нас работы — невпроворот.

— Простите, а какая, собственно, работа?

— У нас широкий профиль: литература, периодическая печать, да и вся печатная продукция. Ну, и музыка тоже. «Горлит» мы называемся. Поняли?

Я обомлел. Горлит! Городское управление могущественного и таинственного ведомства под невинным названием «Главлит». Недремлющее око партии, проверяющее каждое предназначенное для печати слово и проникающее в то, что может таиться между словами. Проверяется всё — от романов и стихов до наклеек на спичечных коробках и консервных банках. Главлит охраняет государственную тайну и бережёт чистоту идеологии.

Но что там делают музыкальные цензоры? Следят, чтобы музыка соответствовала партийным требованиям, то есть была благозвучной, мелодичной, «доступной народу»? Или их дело — проверять положенные на музыку тексты? Я знал, что в Горлите одно время работал Коля Шахматов, композитор, окончивший консерваторию года за три до меня. Но вопросов ему не задавал: служба его считалась секретной.

Тем временем начальник развернул мой паспорт. Реакция была бурной.

— Эх, Фрумкин, Фрумкин! Что ж ты раньше... А ведь подходишь нам! Образование и всё такое. Но... никак. Понимаешь?

Я, конечно, всё понял. Кроме одного: он что — по фамилии моей или по носу не мог сразу сообразить, с кем имеет дело? А вроде с виду — опытный кадровик. (Через много лет меня удивит директор Ленинградского телевидения Борис

Марков, которому московское начальство велело оздоровить национальный состав внештатных сотрудников: «Фрумкина оставить, — распорядился директор. — У него русское лицо (?), да и публика к нему привыкла. Пусть только отчество сменил». Я отказался. Остался Ароновичем. А из телевидения ушёл сам. Ушли и почти все (кроме одного) мои коллеги по «Турниру СК» — ведущие других конкурсов: в знак протеста против приказа предварительно записывать наши передачи на видео (что давало начальству возможность изымать из них всё самое живое и интересное) и требований типа: «Школьников для участия в передаче отбирать не только в городе, но и в Ленинградской области, чтобы — со славянской внешностью и без очков».

И опять-таки — мне повезло. Уберегла судьба от собачьей цензурской службы. И от лишних угрызений совести.

Работу я так и не нашёл, но в Ленинграде остался. Смерть Сталина и правительственное сообщение, отменявшее обвинения против «убийц в белых халатах», сделали своё дело: Учёный совет консерватории без лишнего шума, задним числом вписал моё имя в список тех счастливицков, которые были рекомендованы в аспирантуру.

И надо же было такому случиться: недели через три после этого я увидел перед собой одного из главных «убийц»! Правда, не в халате врача. Произошло это под Ленинградом, в столовой Дома творчества композиторов в Репине, куда я и мой приятель Владлен Чистяков (он тоже оканчивал тогда консерваторию) приехали в гости к нашему учителю В.Н. Салманову.

Вадим Николаевич принял нас тепло и пригласил на обед в столовую. Мы — безденежные и вечно голодные студенты — знали, что композиторов и прочих «инженеров человеческих душ» власть усиленно подкармливает, и шли туда как на праздник. Увы, получить удовольствие и наесться вдоволь нам не пришлось: в нескольких шагах от нас, за соседним столом, сидели, будто в президиуме, легендарные композиторы Страны Советов — Соловьёв-Седой и Держинский! Василий Павлович и Иван Иванович вели себя шумно, наперебой рассказывали забавные истории, травили анекдоты, сыпали шутками. Столовая заливалась смехом. Лишь странного вида пара, занимавшая чуть поодаль отдельный стол, реагировала слабо и как-то нехотя, едва заметной улыбкой, хотя юмористы явно работали именно на них, особенно — на высокого, неестественно худого немолодого мужчину утончённо интеллигентного вида с наголо остриженной головой и впалыми щеками. Увидев наш вопросительный взгляд, Салманов прошепестел: «А это, представьте себе, небезызвестный Вовси. Когда его выпустили, предпочёл поехать с супругой на отдых туда, где его никто не знает, чтоб не было лишних расспросов».

Шёпот прозвучал как удар грома. Вовси?! Мирон Семёнович?! Брат Михоэлса, выдающийся врач, громогласно ошельмованный, многократно проклятый и обречённый на позорную смерть, — в трёх метрах от тебя, в композиторской столовой?! Только сейчас я заметил болезненную, с синевой, бледность его щёк, пугающую застылость взгляда, печать бесконечной усталости на лице его жены (Веру Львовну, как я узнал много позже, арестовали вместе с мужем). И мгновенно показался неуместным весь этот балаган, этот парный конферанс в духе Рудакова и Нечаева, популярного в то время эстрадного дуэта, показалась оскорбительной сытость гладких, упитанных, загорелых лиц этих баловней режима, пытающихся развеселить раздавленную этим режимом жертву.

Мой позор: статья в стенгазете

Я, пользуясь подходящим моментом, выполняю комсомольское поручение. А поручение мне, помимо материала для статьи, важнейшее дали: в разгаре «кукурузная кампания» Хрущёва... И я, разливаясь соловьём..., — городская девчонка-дура, никогда и поля в глаза не видевшая, — учу (!), убеждаю, убеждаю крестьян, укоренённых на этой земле поколениями, что им нужно сажать-сеять. И вдруг я ловлю взгляд сидящего за столом напротив меня старика: умный, незлой, но такой иронический, насмешливый. Т.Л.

«Жить надо долго. Уважаю людей, которые умеют долго жить». Александр Наумович Должанский произнёс это как-то вдруг, без всякой видимой связи с предыдущим и последующим, но веско, со значением, как давно выношенную мысль. Эти слова горько вспомнились мне 19 сентября 1966 года, в день его безвременной кончины.

Судьба отмерила ему всего лишь пятьдесят восемь лет жизни (ровно столько, сколько моему отцу...). Уверен, что он мог прожить значительно дольше, если бы не страшный, нелепый случай в переполненном автобусе на углу Невского и Рубинштейна: Должанский оказался прижатым к передней двери, когда водитель неожиданно её открыл. Тяжёлые травмы, полученные при падении на асфальт, через несколько лет свели его в могилу.

Годы и годы протекли с того дня, когда мы хоронили Александра Наумовича на еврейском кладбище Ленинграда. Я попал на другой континент (если не в другую цивилизацию...), погрузился в совсем иную жизнь — а вот поди ж ты: мой старший друг и неофициальный ментор (официальным был М.С. Друскин) по-прежнему вспоминается часто и видится отчётливо, будто расстались мы вчера. Невысокий, сутуловатый, сумным, добрым лицом, весёлым и внимательным взглядом сквозь большие очки, он явно из тех ушедших, кто не спешит уходить, чьи голоса продолжают звучать, улыбки — светиться, мысли — перекликаться и резонировать с тем, о чём думается здесь и сегодня.

Улыбка у него была особенная — насмешливая, озорная, испытующая, с хитринкой. Объектом его насмешек нередко оказывался он сам. Самоирония, умение подтрунить над собой, не относиться к себе слишком серьёзно, выставить себя в смешном свете — умение это нечасто встречалось в моём окружении (тем более среди маститых и авторитетных), но высоко ценится в стране, где я пишу эти строки. И если я хоть в малой степени овладел им, то прежде всего благодаря Александру Наумовичу, его вдохновляющему примеру.

При всей склонности Александра Наумовича к острому, а порой и язвительным репликам он никогда не напомнил мне моего позора — статьи в консерваторской стенгазете о Десятой симфонии боготворимого им Шостаковича. Премьера её состоялась в Ленинграде 17 декабря 1953 года.

В статье говорилось о возвращении композитора к мраку и пессимизму, о переусложнённости музыкального языка, о формализме... Короче, плёл тупую партийную чушь в духе погромного Постановления ЦК КПСС об опере Ваню Мурадели «Великая дружба», ударившего больше всего по самым выдающимся композиторам России — Прокофьеву и Шостаковичу. Ляпнул что-то (в стиле Жданова!) насчёт того, что народ этой музыки не поймёт и не примет... Не дорос я ещё тогда до понимания, что вся эта соцреалистическая риторика, эти требования общедоступности и народности есть чистая демагогия, губительная для культуры! Потому

что искусство, как и всё в этом подлунном мире, сугубо иерархично: высокие его образцы понятны и интересны, как правило, образованному меньшинству, тогда как большинство довольствуется искусством массовым.

Я не успел показать свою злополучную статью моему шефу М.С. Друскину — он в то время был в отъезде — и отнёс её в редакцию на свой страх и риск. Встречаю вернувшегося Друскина в коридоре второго этажа. Михаил Семёнович посмотрел на меня суровонасмешливым взглядом: «А Вы у нас, оказывается, Савонарола!»

Я не знал, кто такой Савонарола. Я многого не знал тогда, ибо большую часть своей двадцатитрёхлетней жизни провёл (как тебе известно) в глухой провинции: детство — в белорусских деревнях, годы эвакуации — в Омске, что тоже отнюдь не Ленинград и не Москва.

Мои сокурсники по училищу обожали современную музыку, в перерывах между уроками кто-нибудь непременно усаживался за рояль, чтобы сыграть что-нибудь из Шостаковича или Прокофьева. Почемуто особенно запомнился Рома Гринблат, играющий скерцо из Пятой симфонии Шостаковича и торжествующе поглядывающий на нас при каждом свежем, дерзком повороте музыкальной мысли. Я быстро заразился этой атмосферой восхищения и любви. Той же осенью 1947-го мы взяли штурмом Большой зал филармонии (билетов уже не было), чтобы попасть на открытие сезона и послушать премьеру Шестой симфонии Прокофьева...

Но вот грянуло Постановление 1948 года, начались показательные судилища над «формалистами» — и стрелки на моих часах пошли вспять. Дал о себе знать дремавший во мне конформизм провинциала, сказалась внедрённая в меня с детства готовность верить официальной догме. Временами слабо сопротивлялся: был понастоящему огорчён, например, когда вернувшийся после короткой опалы Друскин заявил в лекции о советской музыке, что формализм проявился у Шостаковича не только в осуждённых партией сочинениях, но и в прославленной Седьмой («Ленинградской») симфонии. Я тогда ещё недооценивал великую, преобразующую силу страха...

Сомнения и смятённость сохранялись у меня и в момент написания статьи о Десятой, далась она мне нелегко. Но слово не воробей... Этого воробья так и не смог мне забыть мой друг композитор Исаак Шварц. Он напомнил мне о моём грехе лет десять тому назад, когда я позвонил ему в Сиверскую, чтобы взять интервью для «Голоса Америки»... Помнят о нём и некоторые другие мои друзьяприятели.

А вот Александр Наумович меня щадил, хотя — можно не сомневаться — ему была хорошо известна история со злосчастной статьёй в стенгазете. Он был слишком мудр и справедлив. Знал, откуда я вышел и к чему в конце концов пришёл, — и проявил снисходительность.

ТАМАРА ЛЬВОВА. КОММЕНТАРИЙ

Волюда! Мне было интересно читать всё, что ты здесь написал. Вот только несколько впечатлений рассуждений и оценок, которыми хочется поделиться...

Ты упоминаешь «Джойнт» — «буржуазно-националистическую организацию, созданную американской разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах» — так клеймили её у нас...

А знаешь, что значила для меня эта «зловредная организация» в мои военные школьные годы? Да не для меня только — для всех нас, девочек и мальчишек Бакальской средней школы под Челябинском, местных и эвакуированных, ходивших в латаных-перелатаных родительских обносках? При сладостном звучании двух слов: «*Завтра* — «*Джойнт*» — ох, как мы мчались в школу, как примеряли на себя, кому что подходит, эти невиданной красоты, из неведанных материалов, как в сказке прекрасные — только во сне могли присниться! — новёхонькие платья и блузки, юбки и плащи, пиджаки, свитера, брюки... И — за это ручаюсь! — ни о каких «национальных приоритетах» речи не было: мы и понятия не имели, что «Джойнт» — еврейская организация, — знали, что вещи эти от американских союзников. Вот так.

В чём, кажется мне, ты ошибся и даже противоречишь себе. Вспомни: весной 1947-го нам с тобой (удивительно: и тут — «перекличка»), мне в Челябинске, тебе в Омске, снизили наши законные, полученные на выпускных экзаменах пятёрки на четвёрки, лишавшие нас золотой и всякой другой медали, дававшей без экзаменов дорогу в институт. Так что не в 1948 году, а раньше началась у нас — и долгие годы раскручивалась! — эта мерзкая антисемитская кампания. И связана она, как я это понимаю, с тем, что Сталин, которого называли «крёстным отцом Израиля», хотел присоединить с его помощью создаваемое еврейское государство к «мировому лагерю социализма». Это не удалось — и началось, и поехало!

А в остальном, Володя, только моё удивление! На каждый, буквально на каждый рассказанный мной эпизод у нас с тобой перекличка. Я и понятия не имела, что у вас в консерватории — святилище музыкальном! — были *судилища*, подобные нашим, филологическим. Не знала, что ты, также как я, мучительно долго, с унижениями и отказами, искал после консерватории работу...

(окончание следует)



Лев Шульман-Приходько

О СТИХОТВОРЕНИИ

И. БРОДСКОГО "БАБОЧКА"

И. Бродский ни в каких восхвалениях, ни, тем более, в какой-либо защите не нуждается.

Говорить о его технике в таком ключе — оскорбительно. Если Набоков в русской поэзии насчитывал триста безупречных стихотворения, то Бродский к этому списку добавил еще несколько. «Несколько» — это я себя сдерживаю, на самом деле, мне хотелось сказать «много». Большой величины в конце прошлого века в русской поэзии не было. Я думаю, что он стоит, как минимум, вровень не только с китами серебряного века, но — дерзну — и века золотого. Следовательно, эти записки я пишу только: (1) для себя, чтобы самому разобраться в этой махине, (2) для своих детей, а вдруг они все-таки когда-нибудь приобщатся к Слову и начнут читать, (3) для тех, кто уже заразился ядом поэзии, или, если хотите, вкусил из этого источника — кому как больше нравится, — но еще не достаточно узнал гений Бродского.

* * *

У меня есть знакомый композитор, который, если писал музыку с текстами, — романсы, например, кантаты, — то использовал исключительно стихи Мандельштама. Потом наступил у него период, когда он перестал писать музыку. Пауза тянулась несколько лет. И тут он, в общем случайно, познакомился со зрелыми стихами Иосифа Бродского. Ранние стихи Бродского он знал давно. Любил и даже знал наизусть Рождественский романс, помнил Пилигримов, Большую элегию и пр. Эта поэзия ему очень нравилась, и сама фигура поэта чрезвычайно импонировала. Но, повторяю, музыку он писал только на тексты Мандельштама, а в данное время и вообще свое сочинительство прекратил.

Новые стихи Бродского его ошеломили. Никогда ничего подобного в русской литературе он не знал. Он читал и перечитывал потрясающие по новизне и силе, по мощи стихи, и через какое-то время твердо решил, что в музыку он обязан вернуться, чтобы сделать какую-либо работу уже с текстами Бродского. Он решил написать цикл романсов и выбрал для этого довольно большое стихотворение «Бабочка».

Это удивительные стихи, и я сейчас попытаюсь их разобрать, расчленить, препарировать — называйте, как хотите. Я попробую объяснить, чем они так хороши, и, если удастся, рассказать, в чем заключается их новаторство.

Такую работу я делаю первый раз. Это не работа с произведениями классиков, о которых все есть в интернете, а еще раньше все было в школьных учебниках, из которых кое-что застряло в памяти. То есть я могу быть неубедительным.

Вначале часть идейная

Общее впечатление: изумление, восторг, с первых же строк улыбка — чувство радостной, но очень мягкой, и несколько ироничной улыбки.

Какие средства выбирает поэт для достижения этого впечатления — он говорит о смерти! О смерти, о бренности мира, об иллюзорности существования. И когда это замечаешь, тебя просто сбивает с ног. Я знаю, меня упрекнут в том, что я в детстве начинался Выготского с его теорией катарсиса. Это так, но это так и есть! Бродский в качестве материала для гимна жизни берет труп бабочки. Более того, уже в первом двенадцатистишии он говорит: «...когда ты в моей горсти рассыпалась...», и все время он будет разговаривать не с бабочкой и даже не с ее трупом, но только с горсткой праха.

Разглядывая бабочку, вернее, вспоминая, как она выглядела, поэт задумывается о вещах совершенно философических. Я специально употребил здесь старую форму, сейчас говорят философских. Мне кажется, что Бродский, высказывая свои мысли по поводу бренности существования — а стихотворение приводит именно к этому общему выводу, — иронизирует...

Стихотворение разбито на четырнадцать одинаковых частей по двенадцать стихов в каждой. Смыслово они связаны друг с другом, и каждая вытекает из предыдущей. Частипоменять местами нельзя — нарушится единая линия развития. Но при этом каждая часть достаточно самостоятельна. То есть, обладает своей законченной мыслью, своим микросюжетом. В музыке это называется сквозное развитие. И все стихотворение мне напоминает симфонию. Я говорю здесь не об эмоциях, а о способе изложения или развертывания материала. Может быть, мне удастся во время разбора это показать.

Части своего стихотворения Бродский соединяет по-разному. Так первая строфа заканчивается словами «...в пределах дня», а вторая сходу подхватывает: «Затем, что дни для нас — ничто» Третья часть ни словами, ни смыслом со второй непосредственно не связана, но сюжетно напрямую перекликается с первой. Начало: «Сказать, что ты мертва?». Третий отрывок: «Сказать, что вовсе нет тебя?». То есть возникает арка между первой и третьей частями, которая обрамляют вторую и все три, сцементированные столь плотно, создают единое монолитное начало, или, я бы сказал, экспозицию. В музыке это — показ главных тем.

Следующие три части тоже выделены достаточно четко. В них поэт скрупулезно рассматривает внешность бабочки и сравнивает ее с...

Копилка сравнений и метафор Бродского неисчерпаема и непредсказуема. Непредсказуема и неожиданна. Позволил себе простое перечисление.

Крылышки бабочки это: зрачки, ресницы, красавицы, птицы, обрывки портретов мимолетных лиц, частицы или крупички натюрморта из вещей или плодов, рыбы, пляски нимф на пляже, ночь или день, солнце или луна, фигуры, звезды, снова лица, предметы — и это все на ограниченном пространстве из 36 стихов, каждый в две-три ямбические стопы.

(Большая элегия Джону Донну начинается так: «Джон Донн уснул, уснуло всё вокруг», после чего поэт перечисляет это «все». И состоит это «все» из... ста пятидесяти четырех!.. — не знаю, как назвать, — объектов, что ли. Но это к слову. Вернемся.)

Седьмая строфа тематически опять перекликается с первой — короткая жизнь бабочки, — но сцеплена с восьмой. По принципу вопрос — ответ.

Седьмая: «Скажи, зачем...»; восьмая: «Ты не ответишь мне...». По смыслу и девятая к ним примыкает. В ней объясняется, почему бабочка не может ответить на вопрос из седьмой строфы.

Самое, наверное, поразительное и неожиданное сравнение возникает в одиннадцатой строфе. Здесь Бродский сравнивает полет бабочки (часть десятая) со скольжением поэтического пера по «расчерченной тетради». Эти два отрывка я выделяю в четвертую часть.

12 -14 части — это явный финал. 12 — смысловая кульминация: «...мир создан был без цели, а если с ней, то цель — не мы». 13 и 14 — спад-завершение.

Таким образом, мы видим пять четко выделенных, но, в то же время, крепко спаянных частей одного цикла.

Таково смысловое выстраивание стихотворения «Бабочка».

Теперь посмотрим, как формально строит свою конструкцию Бродский

И, на мой взгляд, это еще, чтобы не сказать, гораздо, интереснее.

Стихотворение написано двух—и трехстопным ямбом. Каждое двенадцатистишие разбито на три катрена. Рифмы — охватные. По краям — мужские, внутри женские. Количество стоп в стихах катренов почти не меняется. В основном это: 3-2-3-2. Сбоев (так я назвал отклонение от нормы) — всего три (на протяжении 168 стихов —!). В седьмой строфе третий катрен выглядит так: 2-3-2-2. В двенадцатой тот же третий катрен: 2-2-3-2. И, наконец, в первом куплете первые два катрена построены так: 3-3-3-2. Имеет ли это какой-либо смысл, то есть, можно ли рассматривать эти сбой как некую акцентировку, я судить не берусь. Но, если уж совсем «заформализоваться» (или высасывать из пальца), то: первая часть, понятно, выделена как начало всего цикла. Если разбить все стихотворение чуть иначе, не на пять частей, а на четыре, (или даже на три), то второй сбой приходится на начало второго построения — второй части симфонии (помните?). Или на начало разработки (главных тем).

Тогда третий сбой, который находится в начале кульминации, одновременно акцентирует начало Финала нашей с Бродским симфонии. Впрочем, вероятно, эти домыслы есть только домыслы.

Как мы помним, речь в стихотворении идет о скоротечности жизни бабочки. Да и нашей, конечно, тоже. Так сказать, на полях. Не выписанное сравнение. И Бродский ограничивает свои стихи двумя и тремя стопами. Как же виртуозно нужно владеть техникой стихосложения, чтобы суметь втиснуть в столь короткие стихи свои мысли без потерь. Не могу удержаться и не процитировать — для подтверждения — одну фразу из стихотворения. Это и есть та самая кульминация.

*Такая красота
и срок столь краткий,
соединяясь, догадкой
кривяют уста:
не высказать ясней,
что в самом деле
мир создан был без цели,
а если с ней,
то цель — не мы.*

Первые пять стихов из этой цитаты могут служить эпиграфом ко всему творчеству Бродского.

Я знаю еще одно стихотворение (на самом деле, их больше, но это из любимых и тоже очень убедительных), где автор — тот самый любимый нашим композитором, Манделштам — пользуется такими же короткими стопами. Здесь лирический герой, обращаясь к возлюбленной, задыхается, «выдыхает» слова любви. Позволю себе, для сравнения, процитировать и часть этого стихотворения. Цитирую по памяти, возможны ошибки. Вероятно, седьмой и восьмой стихи не разделены:

*Нежнее нежного
Лицо твое,
Белее белого
Твоя рука.
От мира целого
Ты далека,
И всё
Твоё
От неизбежного.*

К сравнению этих отрывков мы еще вернемся, а пока пошли дальше.

Мне кажется, что основная заслуга Бродского в том, что он внес в поэзию прозу. Когда-то я прочел, что Пушкин в описании грозы и страшного наводнения использовал фразы из газетных отчетов. В этой статье (как жаль, что я не помню, чья она) были приведены отрывки журналистских заметок, которые сопоставлялись со стихами. Пушкин действительно сконструировал свое описание бури из готовых штампов, лишь кое-где подправив их рифмами. Вот это место:

*Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
(...) Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась.
(...) воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы...*

У Пушкина это эпизод. Возможно, единственный. Но сами стихи — гениальные, конечно — прозу не напоминают. Заметьте, я еще и вырываю из текста обрывки фраз. Смотрим Бродского. Если когда-нибудь мне доведется эти заметки читать вслух, я сделаю так: вначале прочту несколько строф, не выделяя рифмы и не подчеркивая ритма. Потом из этого извлеку голые рифмы. Уверен, что если прочесть несколько предложений, скажем три первые строфы, рифмы, проговоренные отдельно от текста, потеряются, с самим текстом не свяжутся. Только после этого я

прочту стихи так, как, по моему мнению, они должны звучать. Здесь третье прочтение невозможно, поэтому я покритикую самого Бродского. Я слушал в интернете несколько стихотворений в авторском чтении, и это было очень интересно. Но читает Бродский, как очень многие поэты, заунывно, пытаясь подчеркнуть ему слышимую музыку. Мне, рядовому потребителю поэзии, это не нравится. Читать его стихи следует, повторяю, как мне кажется, балансируя между прочтыванием вполне прозаических сложноподчиненных предложений и трудноулавливаемыми среднестатистическим ухом рифмами. А говоря проще, читать его стихи, кажется, очень трудно.

Однако начнем. Вторая строфа:

«Затем, что дни для нас ничто. Всего лишь ничто. Их не приколешь и пищей глаз не сделаешь: они на фоне белом, не обладая телом, незримы. Дни, они как ты, верней, что может весить уменьшенный раз в десять один из дней».

Мне трудно судить, я знаю эти стихи, но если верить моей теории, услышать здесь можно, и то с напряжением, разве что рифмы «белом — телом» и «весить — десять». И на стихи это совсем не похоже. Не забывайте, что вы всем предыдущим уже подготовлены, и рифмы и ритмы уже выискиваете. А попробуйте прочесть эти слова с естественной для прозы интонацией, со смысловыми цезурами и дыханием на запятых и точках. Вот, что получится:

Затем, что дни для нас ничто.// Всего лишь ничто.// Их не приколешь и пищей
глаз не сделаешь:// они на фоне белом,// не обладая телом незримы.// Дни, они
как ты,// верней, что может весить,// уменьшенный раз в десять один из дней?

Где рифмы, где стихи?

Рифмы вот: «нас — глаз», «всего лишь — приколешь», «они — дни», «белом — телом», «верней — дней», «весить — десять». Найдите и расставьте их в предыдущем. Получились стихи?

Да. И какие!

*Затем, что дни для нас –
ничто. Всего лишь
ничто. Их не приколешь,
и пищей глаз
не сделаешь. Они
на фоне белом,
не обладая телом,
незримы. Дни,
они как ты, верней,
что может весить
уменьшенный раз в десять
один из дней?*

Теперь сами (вместо меня) прочтите это стихотворение, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Пардон, и рифмы были слышны, и смысл за рифмами не потерялся.

Еще пример? Глаза разбегаются. Ну, вот — строфа одиннадцатая — одно предложение:

«Так делает перо, скользя по глади расчерченной тетради, не зная про судьбу своей строки, где мудрость, ересь смешались, но доверясь толчкам руки, в чьих пальцах бьется речь вполне немая, не пыль с цветка снимающая, но тяжесть с плеч».

Что первоначально услышал я? Думаю, что и вы.

*«Так делает перо, скользя по глади
Расчерченной тетради,
Не зная про судьбу своей строки,
Где мудрость, ересь смешались,
Но доверяясь толчкам руки,
В чьих пальцах бьется речь вполне немая,
Не пыль с цветка снимая,
Но тяжесть с плеч».*

Немногок верлибр, но тоже ничего. Правда, стихотворение сократилось на пять стихов.

А вот они — рифмы: «перо — про» —!!! (Ах, а я и не заметил!); «глади — тетради», «строки — руки», «ересь — доверясь» (Ух ты!..); «речь — плеч» (Опять?)

Перед тем как, не доверяя вам, я сам перепечатаю бродский вариант, приведу, чтоб окончательно вас добить, еще маленькую фразу, даже не полную строфу: «Ты не ответишь мне не по причине застенчивости и не со зла, и не затем, что ты мертва». Предложение несколько растянуто, немного коряво, но... абсолютно прозаично, на рифмы и намеков нет. Но вот за дело берется Бродский:

*Ты не ответишь мне
не по причине
застенчивости и не
со зла, и не
затем, что ты мертва.*

А добивать я вас хотел третьим и четвертым стихами, которые одинаково заканчиваются — «и не». Но что это? Они не рифмуются! Рифмы здесь другие: «причине — И не» и «ответишь мне — со зла и неЕ» (большие буквы — это ударение). Виртуоз!

И вот одиннадцатая строфа:

*Так делает перо,
скользя по глади
расчерченной тетради,
не зная про
судьбу своей строки,
где мудрость, ересь
смешались, но доверясь
толчкам руки,
в чьих пальцах бьется речь
вполне немая,
не пыль с цветка снимая,
но тяжесть с плеч.*

Сложноподчиненность этой фразы такова, что, запутавшись, мы не сразу улавливаем смысл: «Так делает перо, не пыль с цветка снимая, но тяжесть с плеч». Все остальное — нанизанные в три яруса придаточные предложения.

Бродский родился в 1940 году, когда еще работал Томас Манн, который в свои гигантские, на полторы-две страницы предложения старался втиснуть едва ли

не общую картину мироздания и уж точно суть всей главы; который мог в середине фразы написать: «... Иосиф, седьмой и восьмой раз употребляем мы это имя...» — и мы, остолбенев, дочитываем предложение до конца, после чего перечитываем его, чтобы подсчитать, сколько раз повторено было имя главного героя, и Бродский, в юности, несомненно, проделывал это также, и также восхищался поэтичностью Томаса Манна, а если брать пример поближе, то можно быть уверенным, что и этими строчками:

«Подъезжая к крыльцу, заметилон выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское, в чепе, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдавские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двухструнные легкие балалайки, красоту и потеху ухватливого двадцатилетнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья», или — оттуда же: «Черные фраки мелькали и носились вровень и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делиг его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят, собравшись вокруг, следя любопытно за движением жестких рук ее, поднимающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспokoящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбигную, где густыми кучами», а здесь мы потихоньку уже возвращаемся к нашей теме, потому что мухи тоже, как и бабочки, насекомые; так вот Бродский, как и Томас Манн или Гоголь, в одну сложноподчиненную фразу сумел вложить очень много сложности и подчиненности, но в отличие от них сделал это не просто поэтично, а именно стихами.

(У меня получилось корявее, чем у всех вышеназванных, но суть вы уловили.)

А если, не шутя, то посмотрите, в предложении из двадцати девяти слов, не считая предлогов и союзов — как для поэзии, то, конечно, огромное — Бродский рифмует двенадцать. То есть, больше сорока процентов текста срифмованы. Я прошу у вас прощения, я не «поверяю алгеброй гармонию», эти проценты, мне кажется, хорошо иллюстрируют тонкость и скрупулезность работы Бродского.

В приведенном отрывке из Мандельштама процент срифмованности (еще раз прошу прощения) выше — больше пятидесяти. Но в стихотворении Мандельштама всего шестнадцать строчек. А здесь сто шестьдесят восемь!

Заметьте, все рифмы — внутренние. И это тоже изобретение Бродского. Знаю, знаю, сколько существует поэзия, столько и существуют внутренние рифмы, но у зрелого Бродского это поставлено во главу угла.

Знаю, знаю, без Цветаевой не было бы Бродского, но у зрелого Бродского это поставлено во главу угла. То есть, в принцип возведено постоянное несовпадение длин фразы (а значит мысли, ибо по школьному определению: «Предложение есть законченная мысль» — во, память!) и стиха. В этом стихотворении особенно. Здесь внутренняя рифма создает ажурность, легкость, капризность, некое мерцание — придумайте любой эпитет, характеризующий бабочку и ее полет, — все это будет относиться и к стихотворению Бродского. И трудноуловимость его рифм тоже от бабочки. Или наоборот?

А кроме того речь идет о прозе в поэзии. Не о поэзии в прозе, там у нас есть и Томас Манн, и Гоголь, и несть числа, вплоть до Тургенева, — а мы говорим именно о прозе в поэзии. И в русской поэзии я такого не знаю.

А знаете, почему я не доверил бы вам печатать эту строфу в том виде, в котором ее задумал автор? Побоялся бы. Вполне вероятно, что вы ошиблись бы и сделали это так, как всегда печатают стихи, выравнивая их по левому краю. Почти всегда. Иногда по правому. И уж совсем редко, как Бродский — по середине строки. А зачем он так сделал? Присмотритесь. Сама графика каждой строфы, здесь можно увидеть две полные и кусочек третьей, не напоминает ли вам что-то? Ну, конечно! Вы догадались! Это же бабочка! Четырнадцать строф — четырнадцать бабочек. Этот абрис (конгур), вероятнее всего, и послужил Бродскому еще одним аргументом для выбора двух—и трехстопного ямба.

Удивительнейшее стихотворение!

Нам надо заканчивать, потому что каждый день я добавляю в эти заметки по одному предложению, и конца и края этому не видно. Заслуга в этом не моя, а Бродского. (Про то, что каждое «предложение есть...» и т.д., см. выше.) Значит, ставим здесь точку.

Остается читать и перечитывать стихотворение, открывать в нем все новые и новые пласты и оттенки, ожидать, что получится у нашего композитора...



Евгений Шраговиц
«БАЛЛАДА О КЕМБРИЙСКОЙ ГЛИНЕ»
АЛЕКСАНДРА ГИНЗБУРГА
Заметки внимательного читателя

*«Боязь влияния, боязь зависимости —
это боязь — и болезнь — дикаря, но не культуры,
которая вся — преемственность, вся — эхо».*

И. Бродский. «Об одном стихотворении.
Примечание к комментарию».

*«... Вряд ли вообще существует истинная поэзия,
в которой можно услышать только один голос».*

Т. Элиот. «Три голоса поэзии».

Петербургский поэт Александр Михайлович Гинзбург, известный и как автор песен, выпустил сборник стихов «Кембрийская глина», к которому прилагался диск с записями, где некоторые произведения, включенные в книгу, исполнялись автором под гитару.

Песенное творчество Гинзбурга известно также благодаря его победе на фестивале «Топос», концертам и программам на радио «Эхо Москвы». «Баллада о кембрийской глине» [1], давшая название сборнику, — одно из самых известных сочинений Гинзбурга. Мы решили посвятить статью детальному рассмотрению этого стихотворения-песни, поскольку оно достаточно показательное и, анализируя его, можно получить представление о художественном мире поэта.

Контекст баллады

Скажем несколько слов об истории жанра баллады в русской поэзии. Благодаря В.А. Жуковскому, которого все называли «балладником», определились отличительные признаки русской баллады, по которым мы идентифицируем ее сейчас. Балладу мы считаем жанром, для которого важно стремление автора живописать фантастическую умозрительную картину.

В классической балладе прошлое разворачивается перед глазами читателя как настоящее или вечное, делается актуальным для него. Как пример произведения Жуковского такого типа можно назвать «Эолову арфу». Исторические баллады создавал А.К. Толстой — среди них есть и текст о гонце «Василий Шибанов».

Если говорить о XX веке, нельзя не вспомнить «Балладу о гвоздях» Н. Тихонова, которую сближает с «Балладой о кембрийской глине» метафоричность заглавия. Традиции русской классической баллады несомненно присутствуют в произведении Гинзбурга, и может показаться, что цель автора «Баллады о кембрийской глине» сводилась к тому, чтобы живо и впечатляюще рассказать о событии из

античной истории — битве при Фермопилах — и окружить героическим ореолом ее участников — спартанцев, чего они, безусловно, заслужили. В нашей статье мы собираемся показать, что «Баллада о кембрийской глине» — сочинение значительно более глубокое, чем кажется на первый взгляд, а главная задача, которую поставил перед собой автор, отнюдь не заключается в прославлении героев Фермопил.

«Баллада о кембрийской глине» наделена чертами и другого жанра — авторской песни.

Этим определяются, в частности, характеристики героя. Говоря от первого лица, он тем не менее не становится выразителем мысли автора баллады. Это герой ролевой лирики — носитель речи, которого в своих песнях Галич, Высоцкий, Окуджава делали то альпинистом, то заключенным, то партийным функционером. Такой герой не только описывает события, но и является сам предметом описания — автор смотрит на него как бы со стороны. Герой ролевой лирики — и субъект, и объект речи.

При внимательном прочтении «Баллады» Гинзбурга становится понятно, что не автор, а его персонаж озабочен героизацией спартанцев; автор же на примере Фермопилской битвы показывает, как действует механизм формирования исторической памяти, и моделью для демонстрации этого механизма становится в тексте индивидуальное человеческое сознание — сознание «ролевого «я»». Здесь уместно отметить, что в конце 90-х в российском обществе усилился интерес к вопросу об исторической памяти, особенно в связи с ее переработкой событий Второй мировой войны и предшествующего ей периода русской истории.

Появилось значительное количество трудов, написанных в рамках философии, социологии, психологии, историографии, политологии и других научных дисциплин. Эта дискуссия во все возрастающем масштабе продолжается до сих пор. Объем знаний ученых об этом предмете к моменту написания «Баллады» (1998) можно оценить, прочитав статью Е.Г. Трубиной «Память коллективная» в Философской энциклопедии, датированной 1998 годом [2].

В пределах нашей статьи не представляется целесообразным обсудить ход дискуссии о коллективной памяти — слишком широк круг вопросов, затронутых в ней. Но можно вспомнить, что, по рассказам Булата Окуджавы, он однажды, получив от литературного журнала вопросник, где ему предложили описать свой творческий процесс, ответил в нестандартной форме: сочинил песню «Я пишу исторический роман...». Скорее всего, Гинзбург слышал эту историю — Окуджава излагал ее во время выступлений. И, возможно, точно так же как песня «Я пишу исторический роман...» появилась вместо реплики в диалоге, «Баллада о кембрийской глине» возникла как высказывание в ходе нашуемшей дискуссии.

Вопрос функционирования исторической памяти — не абстрактная проблема для Гинзбурга: недавнее прошлое его родины и семьи не может не волновать его. О войне, о лагерях и штрафниках, о блокаде его родного Ленинграда ему довелось слышать из уст очевидцев, и он наблюдал, как какие-то аспекты трагического опыта страны попадают в учебники истории, что-то возвеличивается, о чем-то умалчивают. Историки знают, что легенды о победах в бою и героических подвигах традиционно использовались властями как инструмент формирования национального самосознания. Домыслы множились у поэта на глазах, и он, очевидно, решил в качестве эксперимента руками своего героя «вырастить» свой миф, взяв за основу реальные события — битву при Фермопилах — и попутно проследить, как этот плод воображения влияет на его создателя.

В процессе конструирования легенды поэт привлекает памятники культуры Греции и Рима, живопись эпохи Возрождения, классическую и современную русскую поэзию, англоязычную поэзию, а также труды французского философа Анри Бергсона, существенно повлиявшего на творчество О. Мандельштама, Т. Элиота и Марселя Пруста — факт этого влияния известен и подтвержден. Мы покажем в своей статье, каким образом Гинзбург использует в «Балладе» перечисленные нами источники.

Поэтика «Баллады»

В «Балладе» то слышится голос свидетеля событий 2500-летней давности, то их живописует живший в Древнем Риме или в эпоху Возрождения, то наш современник. Благодаря этому создается ощущение «эстафеты», передачи легенды из уст в уста. Кроме того, в тексте время от времени встречаются фразы — в основном заключающие в себе рассуждения — которые исходят непосредственно от автора; но вывить их можно только при внимательном чтении. О субъекте речи в тексте мы еще будем говорить в статье.

Повестью о героическом деянии — «ролевое «я»» — демонстрирует в балладе весь арсенал средств, применяемых мифотворцами, чтобы подать событие в желательном для них ключе — начиная с пересказа небылиц, уже имеющих в коллективной памяти, и кончая сочинением новых, базирующихся на материале, который не относится к теме «Баллады». Правдоподобие мифа поддерживается несколькими разными способами, распространенными в реальной действительности, обычными при такого рода манипуляциях: это и обесценивание фактов, могущих конкурировать по важности с теми, которые мифотворец пытается утвердить в исторической памяти; это введение в рассказ утверждений, заведомо ложных, но полных экспрессии; это и исторические параллели, ставящие легенду в один ряд с уже «прогремевшими» и вошедшими в анналы реальными событиями.

Поскольку жанр рассматриваемого произведения — героическая историческая баллада, закономерна некоторая архаичность лексики и торжественность тона как автора, так и «ролевого «я»». Но речь последнего иногда звучит у Гинзбурга как автопародия: ролевой персонаж унаследовал от автора всю его незаурядную поэтическую технику, но автор не наделил его вкусом и чувством меры — а может быть, герой утратил их, поскольку к этому располагала ситуация: в лице «ролевого «я»» мы видим человека, взявшегося за не очень благородную работу: внедрить в сознание масс ложные сведения, поведая не «правдивую», а эффектную и красивую историю, подав ее в желаемом свете.

Отличительные признаки речи «ролевого «я»» — утрированная патетическая интонация и грубоватая манера изъясняться — иногда производят впечатление карикатурности. Время от времени речь этого персонажа достигает такого эмоционального накала, что это заставляет его забыть о логике или, по крайней мере, создаются условия, чрезвычайно благоприятные для подтасовки фактов. Автор просто наблюдает за тем, как рассказ теряет в устах героя подлинность, хотя можно сказать, что и он чтит героизм спартанцев — участников Фермопильской битвы.

Баллада, датированная 1998 годом, написана восьмистрофными стихами, за исключением первой строфы, в которой четыре стиха, и седьмой, в которой шесть.

Первая строфа содержит рассказ о гонце, который принёс афинянам весть о победе над персами в сражении при Марафоне и умер от перенапряжения, пробежав расстояние в 42 километра. Таким образом, рассказ о Фермопилской битве получает преамбулу — повествование о другой битве, тоже между персами и греками, но афинянами, а не спартанцами. Этим главное событие «Баллады» сопоставляется с другими, известными в народе героическими деяниями, а временные рамки повествования расширяются.

Из разорванных альвеол воздух — ключья ржавой пены —
 Вырывается наружу еле слышными словами:
 — Радуйся, народ афинский, ты не встанешь на колени —
 Вновь одержана победа над великими врагами.

Тема дыхания, появившийся в первой строфе и проходящая через весь текст, скорее всего, пришла из стихотворений Осипа Мандельштама, у которого она возникла очень часто. Известный филолог К. Тарановский нашёл у О. Мандельштама как минимум 30 стихотворений, затрагивающих эту тему [3].

История про гонца, погибающего при выполнении приказа, принадлежит арсеналу классической поэзии и классики нового времени. Отзвуки её находим в стихотворении Пушкина «Анчар»:

Принес — и ослабел, и лег
 Под сводом шалаша на лыки,
 И умер бедный раб у ног
 Непобедимого владыки.

А князь тем ядом напитал
 Свои послушливые стрелы
 И с ними гибель разослал
 К соседям в чуждые пределы.

А теперь процитируем обращение к афинянам из хора трагедии Еврипида «Медея» в переводе И. Бродского [4].

*О, бессмертными избранные в родственники афиняне!
 О, Эрехтеев город, в чьём гордом имени
 непобедимость с мудростью смешиваются для эллина,
 чьих стен не дано сокрушить врагу, а векам — не велено.*

Сравним их с последними двумя строками из первой строфы «Баллады». Сходство трудно отрицать. Но в Древней Греции существовала традиция письменного обращения, которая соблюдалась и в трагедиях и которой следовал переводчик-Бродский. «Свидетель» же событий её нарушает. Призыв «Радуйся» в сообщении о счастливой вести не соответствует шаблону, используемому в литературных произведениях и документах для этих ситуаций; более того, со слов «Радуйся» принято было начинать могильную надпись [5].

Легенду о гонце вспомнили учредители соревнований по бегу на длинные дистанции, включенных в Олимпийские игры, когда в 1896 году последние были возобновлены и проведены в Греции после полуторатысячелетнего перерыва. Благодаря этой легенде появился как вид соревнований бег на дистанцию в 42 километра, называемый марафонским; участники его, соответственно, именовались марафонцами.

Тем более интересно для нас то, что история про гонца, принесшего в Афины весть о победе и умершего от переутомления — чистый вымысел. Она возникла более чем через 500 лет после битвы при Марафоне. У «отца истории» Геродота есть описание Марафонской битвы, но о происшествии с гонцом нет ни слова, а в «Балладе» Гинзбурга именно Геродот и его труды выступают в качестве эталона достоверности.

В тексте «Баллады» есть скрытые цитаты из Геродота, указывающие на то, что с его сочинениями Гинзбург был знаком не понаслышке. А ведь Марафонская битва произошла незадолго до рождения Геродота, поэтому можно считать, что он рассказывал об этом историческом событии «по свежим следам» и, вероятно, со слов участников и очевидцев [6].

А легенда про гонца появилась, скорее всего, как контаминация двух описаний реальных происшествий из «Истории» Геродота. Первое из них — рассказ о том, как персы непосредственно после своего поражения при Марафоне решили атаковать Афины, добравшись туда морем и высадившись в ближайшей к городу гавани, поскольку рассчитывали на то, что все силы греков стянуты к Марафону и Афины никто не защищает.

Греки разгадали этот план, и их войско, не имея возможности отдохнуть после битвы, бегом со всем своим тяжёлым оружием направилось к Афинам и до прибытия персов успело выстроиться в боевые порядки. Вот что сказано об этом у Геродота: «Пока персы огибали Суний (мыс на пути от Марафона к Афинам), афиняне со всех ног спешили на защиту родного города и успели прибыть туда раньше варваров» [7].

Увидев, что греки готовы к бою, персы отказались от намерения атаковать и повернули вспять. В другом эпизоде действительно участвовал гонец. Готовясь к сражению с персами, афиняне запросили помощи у Спарты. «Стратеги прежде всего отправили в Спарту глашатаем афинянина Фидиппида, который был скороходом и сделал себе из этого даже ремесло, — пишет Геродот. — Итак, посланный стратегами из Афин, этот Фидиппид... на второй день прибыл в Спарту» [8]. (Расстояние между Афинами и Спартой 225 км. — Е.Ш.).

Спартанцы согласились помочь, но к битве не успели, а Фидиппид благополучно вернулся в Афины. Таким образом, мы показали, как соотносятся факты и вымысел в легенде, предваряющей рассказ о Фермопильской битве: два события, для Геродота относившиеся к недавнему прошлому и переданные им в точности, сложились в сознании последующих поколений в одно героико-мифологическое событие, и результат этой контаминации, переживаемой как вечно живое прошедшее, закрепился в их памяти. Гинзбург в «Балладе», приписывая Геродоту от имени своего героя достояние коллективной памяти, выводит на сцену не этого историка, а представление о нем. Хотя в первой строфе преобладает лексикон греческой трагедии, с ним диссонирует языковая небрежность, допущенная в последней строчке, вряд ли случайная:

Радуйся, народ афинский, ты не встанешь на колени —

На колени можно опуститься или встать, а с колен встают, таким образом в обороте «встать на колени» присутствует оксюморон. Скорее всего, в этой строке есть пародийная аллюзия на хорошо известный со времён гражданской войны в Испании лозунг: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Поэтому мы рискуем предположить, что в этой строфе звучит голос не автора, а героя ролевой лирики; наверняка он не был современником описываемых

событий — ошибка при обращении к афинянам указывает на его поверхностное знакомство с предметом, а употребление оборота «встать на колени» — на отсутствие «литературного чутья», что косвенным образом указывает на нехватку вкуса.

Теперь мы рассмотрим вторую строфу, в которой от повторения уже существующей небыллицы говорящий переходит к сочинению новой легенды:

Если бы у Леонида был такой посланник верный,
Марафонцы б назывались фермопильцами, что верно...
Не было у Леонида ни фаланги для подмоги,
Ни квадриги легконогой, ни гермесовых сандалий,
И сказал он волонтеру: —Ты обратною дорогой
Расскажи народу Спарты, что стоим мы, где стояли.
Только раненному в руку я могу доверить этот
Взмах последнего привета и мучительную смерть.

Битва при Марафоне случилась в 490 году до н.э. Через 10 лет сын побеждённого афинянами персидского царя Дария Ксеркс начал новую войну с греками, и битва при Фермопилах произошла в 480 году до н.э., уже при жизни Геродота. Во главе объединённой армии греческих государств стоял царь Спарты Леонид. Обстоятельства, предшествовавшие битве при Фермопилах, таковы: опасаясь окружения у Фермопил, греки решили отступить, а Леонид остался с 300 спартанцами защищать проход в горах.

Все спартанцы погибли в бою, но нанесли персам такой страшный урон, что, опасаясь сильного сопротивления, те решили прекратить дальнейшее продвижение.

Сочинение новой легенды начинается с предположения о том, как бы развивались события, если бы легендарный гонец был в распоряжении Леонида во время Фермопильской битвы. Тогда бы бег на длинную дистанцию в честь этого сражения назывался фермопильским. Миф «строится на песке»: гонца не было и у участников Марафонской битвы. Правда, поскольку расстояние от Марафона до Афин преодолело за несколько часов все греческое войско, исторические основания для того, чтобы именовать спортсменов-бегунов марафонцами, все-таки есть.

Чтобы подчеркнуть героизм греков, далее мифотворец сообщает, что им не на кого было рассчитывать, поскольку Леонид не располагал фалангой для подмоги, квадригой, сандалиями Гермеса. Квадрига — четверка лошадей, запряженная в двухколесную повозку — уже ко времени Персидских войн почти перестала использоваться в сражениях и предназначалась теперь для спортивных соревнований. В данном тексте это, скорее всего, обобщенное название конницы.

А «гермесовы сандалии», или таларии, фигурировали в древнегреческих мифах. Они имели крылья и позволяли богу Гермесу летать. Обрисовав ситуацию так, чтобы у читателя не было оснований сомневаться в его объективности, «ролевое «я»» дает волю фантазии и повествует о раненном в руку гонце-волонтере, который пускается в путь, чтобы сообщить народу Спарты о героизме сражающихся у Фермопил. В «Истории» Геродота упоминается только один уцелевший при Фермопилах гонец, бежавший не в Спарту, а в Фессалию: «По возвращении в Спарту его ожидало бесчестие и он повесился».

Таким образом, в составе текста рассказ о Фермопильской битве с самого начала обрастает небыллицами. Читателю неизвестны мотивы, которые заставили мифотворца превозносить фермопильских героев; если они есть, то остаются «за кадром».

Тема памяти напрямую вводится в третьей строфе:

Скажет мне историк рьяный (как перечить старикану?):
— Ты не веришь Геродоту, ты оспариваешь быть!
Я отвечу: Верю, верю, но хотелось бы мне братцы,
Чтоб горел у этой притчи несгорающий фитиль!

Тут даже не очень внимательный и осведомленный читатель, который давно не перечитывал Геродота и не знает форм обращения в греческой трагедии, однако уже заподозрил что-то неладное в связи со «вставанием на колени», настаивается ещё больше.

Тон в этом фрагменте делается развязным, не остается и следа былой торжественности. Отдающее фамильярностью обращение «братцы» до Гинзбурга использовал, например, Ю. Визбор в широко известной песне «Сижу я, братцы, как-то с африканцем», и для нас значимо, что песня Визбора — сатирическая. «Несгорающий фитиль», вместо Вечного огня зажженный в память о павших в битве, вызывает у современного читателя ассоциации с комедийным сериалом «Фитиль». Этот образ кажется пародийным. В этом отрывке «ролевое «я»» без обиняков сообщает читателю о том, каким образом он расставляет приоритеты при рассказе: «быль» для него менее существенна, чем яркость и эффектность истории, благодаря которым она должна намертво впечататься в память слушателя.

В следующей строфе тон и лексика претерпевают трансформацию, становятся более нейтральными, акцент переносится с формы на содержание высказывания, повествование сменяется рассуждением — здесь звучит уже голос не «ролевого «я»», а автора, наблюдающего работу исторической памяти со стороны.

Ведь наша память мягче воска — жирною кембрийской глиной
Сглаживает все детали, лижет острые края.
Наша память твёрже камня — тонкие овалит грани,
Наша память словно птица — птица в клетке из вранья.

Прочтем эти строки внимательно. Сравнение памяти с глиной, ключевое для этого стихотворения, возможно, имеет источником фрагмент из «Римских элегий» Бродского, где фигурирует «... мягкая в пальцах глина — плоть, принявшая вечность...».

Сочетание «жирная глина» встречалось у Волошина. Судя по предыдущим строфам баллады, речь идет об исторической памяти, которая трансформирует до неузнаваемости содержимое индивидуальной памяти участников и очевидцев исторических событий. Желая манипулировать исторической памятью всегда много, при этом одни руководствуются своими сегодняшними политическими интересами, а другие сочиняют мифы, улавливая эстетические потребности эпохи.

Автор называет историческую память «птицей в клетке из вранья». К теме «вранья» автор «Кембрийской глины» обращается и в других своих текстах. Например, стихотворение «Маленький оркестрик 30 лет спустя» содержит строку: «И было стала сказочная ложь...», в стихотворении «Три поколения» того же периода есть такие строки: «Но правды теряется след в букварях и архивах./ Где археоптерикс вождя отпечатала калька» [9].

Также можно вспомнить отрывок из посвященного войне стихотворения «Ленинград», появившегося в альбоме 2010-2011 года «Воробьиная песня», пред-

ставленного автором в программе «Авторская песня» на радиостанции «Эхо Москвы»: «Все, что рассказано — неправда/ А недосказанное — ложь».

Эта же песня констатирует, что очевидцам войны ничего не остается, кроме как «молчать, терпеть», глядя, как в угоду моде искажается действительность. Возвращаясь к строчке: «Наша память — точно птица, птица в клетке из вранья», можно сказать, что она возникла на основе слияния достаточно распространенного сравнения души с птицей, которое встречалось у Эренбурга, Сологуба и других, с расхожим образом «птицы в клетке», который использовался, например, В. Луговским: «А время билось, словно птица в клетке...».

Изображение кристаллизации коллективной памяти Гинзбургом можно противопоставить описанию формирования индивидуальной памяти теорией А. Бергсона, имевшей большое значение для многих русских поэтов, и в частности для О. Мандельштама, который прослушал лекции Бергсона в Сорбонне и сделался его последователем. Бергсоновские представления о времени и памяти отразились в творчестве Марселя Пруста, Вирджинии Вулф, Томаса Манна и многих других. В книге «Материя и память» [10] Бергсон употребляет метафоры, источником которых стала механика: «сжатие», «отточенность», «лезвие» — и которые ассоциируются в нашем сознании с характеристиками памяти у Гинзбурга: «острые края», «сглаживает», «твёрже камня». Тут можно вспомнить, что Анри Бергсон был не только выдающимся философом, но получил также Нобелевскую премию по литературе «в знак признания его ярких и жизнеутверждающих идей, а также за то исключительное мастерство, с которым эти идеи были воплощены».

Интересно отметить, что почти одновременно с О. Мандельштамом лекции Бергсона посещал в Париже и один из крупнейших англоязычных поэтов 20 века — Т. Элиот. Теория памяти Бергсона произвела на него сильнейшее впечатление и нашла отражение в раннем стихотворении поэта «Рапсодия ветреной ночи». К обсуждению этого текста мы еще вернемся. Коль скоро речь зашла об Элиоте, нужно отметить, что в рамках англоязычной поэтической традиции, к которой он принадлежал, были сформулированы некоторые эстетические принципы, важные для понимания «Баллады о кембрийской глине», поэтому мы их кратко охарактеризуем.

Т. Элиот своим вступлением к собранию статей другого замечательного поэта — Эзры Паунда — писал: «Паунд больше, чем кто-либо другой, ответственен за революцию в поэзии XX века» [11].

Эзра Паунд был родоначальником нескольких литературных течений, таких как имажизм и следующий за ним вортизм; благодаря ему появились и некоторые другие новшества, а отдельные найденные им и его друзьями и «собратьями по перу» эстетические решения оказались актуальными не только для поэзии, но и для изобразительных искусств. Так, например, Эзра Паунд предложил использование коллажа в поэтических произведениях: соседство ярких, по преимуществу обращенных к зрению, образов, взаимодействие которых и создаёт художественный эффект. Он отказался от линейного повествования и использовал ряды цитат, переводов и аллюзий, не подчиняющиеся хронологии. Важной чертой его поэзии стало применение метода «масок», внедрённого в англоязычную поэзию Р. Браунингом и В. Йейтсом и позволяющего автору выступать в разных обликах.

Временной и культурный монтаж дал возможность Паунду совместить архаические и модернистские начала в своей поэзии и сделал его в какой-то период ведущим поэтом англоязычного модерна. Его ученик и друг Т. Элиот не только оказался преемником Э. Паунда как теоретика и виднейшего представителя англо-

язычного модерна, но и создал наиболее известные англоязычные поэтические произведения своей эпохи и был удостоен Нобелевской премии «за приоритетное новаторство в становлении современной поэзии».

Многочисленные иноязычные вкрапления в текст в виде цитат или авторской речи были характерны для поэтики не только Паунда, но и Т. Элиота; при этом Элиот, переходя на иностранный язык, давал сноски. Паунд и Элиот знали по дюжине языков каждый. Интерес к прошлому отличал этих двух авторов от других поэтов-модернистов. В стихах Эзры Паунда проявлялась его увлеченность историей и культурой Древней Греции, Рима, Китая, Японии, эпохой Возрождения. Т. Элиот, написавший докторскую диссертацию по философии, тоже обращался при написании стихов не только к античной и европейской культуре; он владел санскритом и привлекал тексты, возникшие в рамках культуры Индии.

Почти одновременно с англоязычными, русские поэты, такие как Маяковский, Пастернак, Цветаева и Мандельштам, применяли в своей практике технику контаминации времени, пространства и культур, а также сложные метафоры, так что не будет преувеличением сказать, что в творчестве Гинзбурга переплетаются англоязычные и русскоязычные корни. Возвращаясь к обсуждению произведения А. Гинзбурга, можно отметить, что он использует в «Балладе о кембрийской глине» и коллажную структуру образов, и монтаж различных временных и культурных пластин, и маску мифотворца, воплотившего в себе определенное общественное мнение, и сложные метафизические метафоры.

Возникает естественный вопрос: в какой мере А. Гинзбург был знаком с творчеством Т. Элиота и Э. Паунда? Можно сказать, что англоязычная поэзия вошла в круг чтения поэтов поколения Гинзбурга благодаря И. Бродскому, еще в середине 60-х годов прошлого века, во время своей ссылки на север написавшему стихотворение «На смерть Т.С. Элиота» (Элиот умер в 1965 году). У Бродского в то время были под рукой две антологии английской и американской поэзии, изданные в США [12]; ему случалось переводить стихи Элиота из этих антологий. Стихотворение же было опубликовано в 1967 в альманахе «Молодой Ленинград», и это было «первое упоминание Элиота в советской прессе в положительном ключе» [13]. А к моменту написания «Баллады о кембрийской глине» стихи Элиота уже печатались в периодике и выходили целыми книгами в России, например, сборники «Бесплодная земля» [14], «Избранная поэзия» [15] и другие. Что касается Э. Паунда, запятнавшего себя сотрудничеством с итальянскими фашистами, то сборники его стихов в переводе на русский стали появляться позже, чем сборники Элиота [16], [17], хотя переводы отдельных стихотворений публиковались в антологиях и периодических изданиях.

Обратимся к четвертой строфе.

Я там был и это видел, но рассказывать не просто —
Ведь бродяги не особо говорливы и честны.
Это — всё равно, что в детстве посмотреть картины Босха
И заикою остаться, испугавшись на всю жизнь.
А когда приходит зрелость, и испуг проходит детский,
Потому что пантомима жизни много крат страшней, -
Сквозь осенних листьев прелость пробивается нерезкий
Босха свет, Иеронима, — ярче, яростней, ясней!

В ней запас приемов, о которых говорили выше, обнаруживает себя перед читателем во всем своем богатстве. Мы рассмотрим их специфику в построчном

анализе текста. Что касается содержания строфы, то здесь мы видим попытку мифотворца вписать свою легенду в историю культуры человечества, сопоставив ее с проверенными временем значительными культурными явлениями.

В первых строках этой строфы, скорее всего, мы сталкиваемся с аллюзией на «Одиссею» в переводе Жуковского [18]:

Мысли, чтоб был ты хвастливый обманщик, подобный
Многим бродягам, которые землю обходят повсюду,
Ложь рассевая в нелепых рассказах о виденном ими.

В русской лигатуре бродяга всегда рассказчик, на которого не стоит полагаться. Это еще одно предупреждение о ненадежности сообщенного героем ролевой лирики. Аллюзия на Гомера и Жуковского помогает «узаконить» легенду путем помещения ее в общий контекст с мифами, которые вдохновляли поэтов во все времена. Утверждение «я там был и это видел» в устах «ролевого «я»» звучит так, будто он был очевидцем сражения, но фактически это или просто ложь, или — что наиболее вероятно — он упоминает о своей поездке на место битвы.

Последующие строфы говорят скорее в пользу второго утверждения. Итак, «ролевое «я»», скорее всего даже не претендуя на роль свидетеля битвы, сравнивает посредством развернутой метафоры впечатление, которое произвела на него легенда о Фермопилах, со следом, который оставляют в сознании человека картины Босха. Вряд ли он имел основания для такого сравнения: зрительный образ всегда воздеиствует на человека сильнее, чем рассказ, особенно если образ создавался Босхом.

Недаром существует поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Так что мифотворец просто в очередной раз расхваливает дело, к которому он приложил руку, и повышает культурный статус своего мифа, сравнивая его с произведением искусства. При этом описание ощущений (и последствий) от созерцания картин Босха совершенно замечательное, выполненное скорее в манере Джона Донна и раннего Бродского, чем модернистов.

Перейдем к следующей строфе:

Я прошёл двенадцать поприщ — сбиты ноги о булыжник,
Я прополз двенадцать стадьев — ногти сорваны о камни,
И двенадцать лун восходит — в ноздри тухлая отрыжка,
И двенадцать солнц садится на дорогу в пене ржавой,
И два раза по двенадцать изменялся номер века —
Говорю вам только правду, как ни горько, правду, братцы:
Ничего там не осталось — ни следа, ни человека,
Только камни, только небо, только память, только Спарта!

В первых двух строках герой ролевой лирики, стараясь убедить нас, что он достоин доверия, поскольку полученный опыт стоил ему многих усилий и был соединен с разнообразными лишениями, говорит о них в торжественном тоне античной поэмы, хотя временами это звучит, как пародия: он, например, «прополз двенадцать стадьев», а это в переводе на привычные нам единицы измерения составляет около 2 километров — зачем нужно было столь странным способом преодолевать такую дистанцию и как это послужило осведомленности «ролевого «я»» отнесенному Фермопил, он не объясняет.

А далее такими же высокими словами герой сообщает нам срок своего пребывания в Греции: И двенадцать лун восходит — в ноздри тухлая отрыжка./ И две-

надцать солнц садится на дорогу в пене ржавой» — говоря проще, этот срок — без малого две недели.

А далее мы узнаем, что он вынес из своего пребывания там: из всей истории Греции за 24 века для него оказался важен только подвиг спартанцев у Фермопил, и все в Греции напоминает ему об одном этом деянии. Таким образом, за рефреном: «Я там был» стоит двухнедельная поездка героя в Грецию, вероятнее всего в качестве туриста.

Перейдем к деталям. Число 12 у греков было сакральным; особое отношение к нему они унаследовали, скорее всего, от шумеров, которые разделили время полного оборота Солнца вокруг Земли на 12 частей и ввели представление о 12 знаках Зодиака. Так что это число, вместе с архаизмами «стадии» и «поприща», возможно, призвано создать некий колорит, дать ощутить неискушенному слушателю «аромат древности». «Роловое «я»» очень выспренно описывает жизненные невзгоды, через которые оно несло слушателю легенду, приравнивая себя к участникам эпохальных событий и воспевая, в том числе, свою «тухлую отрыжку» как рефлексию истории. Здесь наблюдается отход от принципов имажизма, призывающего избегать многословия. Многократное повторение числа «двенадцать» — всего лишь риторический прием, к которому прибегает «роловое «я»», чтобы усилить эффект от своей речи, он ничего не добавляет к семантике.

Шестую строфу завершает уверение в том, что от событий и людей, участвовавших в битве, не осталось никаких следов, кроме следа в памяти — впрочем, говорящий утверждает, что это компенсирует все, причем заявляет об этом в парадоксальной форме: «...ничего там не осталось... только память, только Спарта».

Обращение «братцы» — очередной сигнал, указывающий на то, что мы опять имеем дело с «ролевым “я”».

В стихах Бродского «Одиссей Телемаку» и «Письма династии Минь» герой заявляет, что вереница действий и явлений, из которых составляется история, вызывает у него только тоску и отвращение. Исторический процесс предстает в этих произведениях как «дурная бесконечность», лишенная смысла и цели. Как мы узнаем из шестой строфы, у героя «Баллады» все исторические события провоцируют сходную реакцию — проблемы с желудком, за исключением одного — Фермопильской битвы. Он стремится обратить на нее наше внимание, обесценивая все, что могло бы его отвлечь — все важное, что когда-либо происходило в Греции.

Приведем следующую строфу «Баллады»:

Через высохшие связки раскалённую стрелую
Вырывается наружу, вырвав купидонов лук,
Воздух. И его сменяя, обнимает сердце стужа,
На чело ложится острой ржавой проволоки круг.
И летит победный шёпот в неизвестные пределы,
Сквозь непрожитые годы, сквозь хромые километры,
В переводе на латинский, переводе неумелом:
«Ave vita! Morituri te salutant!» — выше смерти!

Этой строфой расширяются пространственные и временные рамки: описание касается не только Древней Греции, событие вводится в мировую историческую память. Фрагмент написан вполне в духе имажистов: в нем соседствуют образы, относящиеся к разным временам и культурам: тут и метафора «купидонов лук» (то есть верхняя губа) — образ, взятый из греческой мифологии, и «ржавая

провода» — реалия из недавнего прошлого СССР, и архаизм «чело», введя который, автор уподобил ржавую проволоку терновому венцу, и слово «предел» в значении «страна, край», которое ныне для этого слова утрачено — такое словоупотребление встречалось в «Анчаре»: «И с ними гибель разослал/ Соседям в чуждые пределы»; а если в предыдущей строфе мера расстояния фигурировала «стады», в 6-й строфе возникает такая единица измерения, как «хромые километры».

Но самое интересное в этой строфе — фраза «Ave vita! Morituri te salutant!» Здесь мы имеем дело с очередной мистификацией. То, что представлено в тексте как клич спартанцев, в действительности — перифразированная латинская поговорка, которая никак не могла ими использоваться. Она более чем через 500 лет после описываемых событий возникла при римском императоре Клавдии в 1-ом веке нашей эры. Словами «Ave Caesar! Morituri te salutant!», что значит: «Слава цезарю, идущие на смерть приветствуют тебя!», почтили появление императора приговоренные к казни заключенные, которым предстояло принять смерть в ходе инсценированного морского сражения — «зрелища», устроенного Клавдием. Впервые этот эпизод был упомянут Гаем Светонием Транквиллом в «Жизни двенадцати цезарей», в главе «Божественный Клавдий».

Широко распространено мнение, что этот клич принадлежал гладиаторам, но подтверждений этому в трудах историков нет. В устах спартанцев это поговорка модифицирована, и вместо «Ave Caesar!» в ней появилось «Ave vita!», что существенно меняет её смысл, и теперь это восклицание звучит не как завуалированная просьба о помиловании (что было в первоначальном варианте); теперь оно возвышает говорящих над ситуацией: человек, восхваляющий жизнь, которая будет продолжаться без него, благороден.

Таким образом, «ролевое «я»», чтобы усилить драматизм ситуации и в очередной раз поразить читателя красотой подвига, опять прибегает к выдумке — вернее, предлагая откровенно необоснованную версию происхождения латинской поговорки, голос отстаивает «свою» правду, идущую вразрез с исторической и базирующуюся не на фактах, а на эмоциях, заявляет о своем праве руководствоваться этими эмоциями при рассказе. При этом, чтобы избежать обвинений в искажении сентенции, «ролевое «я»» сообщает, что на латинский она была переведена — фактически же она возникла в Риме в связи с конкретным событием из его истории. Существует перевод поговорки на греческий, но он совершенно точен, поскольку принадлежит римскому наместнику, правившему в Греции и в совершенстве знавшему оба языка. Никакого эквивалента восклицанию «Ave vita!» в греческом варианте поговорки нет.

Приведем седьмую строфу «Баллады»:

Говорите — это враки? Растворится глина жижей?
Сердца колокол не замер, я там не жил — я там был!
И незрячими глазами я заплачу и увижу
Триста воинов атаки — верных стражей Фермопил!
Навсегда в тени от солнца, тысячами стрел закрытом,
Равнодушных и прекрасных верных стражей Фермопил.

Во фразе «Растворится глина жижей» глина снова символизирует память о событии. Мы уже говорили о возможной связи между произведениями Гинзбурга и Т. Элиота. Известное стихотворение Элиота «Рапсодия ветреной ночи» [19] затрагивает тему памяти, так же как и «Баллада». Мы процитируем несколько строк из первой строфы текста Элиота на языке оригинала:

Whispering lunar incantations
Dissolve the floors of memory
And all clear relations
Its divisions and precisions.

Гинзбург, как и Элиот, говорит о превращении памяти в нечто бесформенное, практически теми же словами. Точный перевод слова «dissolve» на русский язык — «раствориться», а фрагмент «its divisions and precisions» почти что аналогичен словам «все детали» и «острые края». После восклицания относительно свойств глины в «Балладе» в очередной раз следует рефрен: «Я там был», призванный придать вес словам мифотворца.

Упоминание о «незрячих глазах» — намек на слепого певца Гомера, — опять же повышает статус высказывания путём ассоциации с классическими источниками. Далее следует скрытая цитата. Образ солнца, закрытого стрелами принадлежит Геродоту [20].

Прочитируем следующий фрагмент рассказа о спартанце Диенеке из седьмой книги «Истории», названной «Полигимния»: «...он (Диенек) услышал от одного человека: ... если варвары выпустят свои стрелы, то от тучи стрел произойдёт затмение солнца». «Наш приятель принёс прекрасную весть: если мидяне затемнят солнце, то можно будет сражаться в тени», — ответил Диенек. Патетический тон этой строфы и её риторика указывают на то, что речь исходит наверняка не от автора.

Я не стал бы их тревожить, но на что же опереться?
Среди смуты и забвенья боги — гордые — молчат...
И замедленные вздохи остывающего сердца
Слышит странник своевольный, возвратившийся назад.
И бесчинствуют химеры беззащитным ранним утром,
На победный взрыв аорты выдох горький сохрани:
Ave vita! Ave vita! Morituri te salutant!
Я последним из когорты принимаю бой в тени.

Первые строки этой строфы раскрывают нам мотивы автора, построившего на наших глазах «клетку из вранья». Подвиг фермопильцев послужил в качестве вспомогательного материала, на котором автор продемонстрировал все этапы ее сооружения: «Я не стал бы их тревожить, но на что же опереться?» Сделал он это потому, что его задевала «неправедность» процесса формирования исторической памяти: «Среди смуты и забвенья боги — гордые — молчат».

Строка: «И бесчинствуют химеры беззащитным ранним утром» вызывает в памяти сразу несколько произведений, написанных поэтами-однофамильцами Роальдом и Осипом Мандельштамами. Образ химеры встречается в совсем раннем стихотворении Осипа Мандельштама «Я вижу каменное небо...» [21], в его чуть более позднем сочинении «В таверне воровская шайка...» [22], а также в прозе, и появляется в тексте Роальда Мандельштама «Веселятся ночные химеры...» [23].

И в стихотворении «В таверне воровская шайка...», и у Роальда Мандельштама, и у Гинзбурга слово «химера» фигурирует во множественном числе; между тем в древнегреческой мифологии Химера — это имя единственного в своем роде чудовища, а не название экзотической породы. Кроме того, Химера ведет ночной образ жизни; у Гинзбурга же химеры «бесчинствуют» ранним утром. Можно отметить, что в стихотворении О. Мандельштама «В таверне воровская шайка...», так же как и в «Балладе», затрагивается тема времени и присутствует лживый рассказ

чик. А в завершающей строке «Баллады»: «Я последним из когорты принимаю бой в тени» мы опять сталкиваемся со скрытой цитатой из Геродота. Утверждение «ролевого «я»» о его принадлежности к «когорте» — как бы итог его труда: если услышавший такого рода легенду ощутил свою личную причастность к изложенным в ней событиям, значит, ее создатель достиг своих целей.

Кроме того, уместно обратить внимание на следующий любопытный факт: в «Балладе» автор при описании анатомии и физиологии человека использует те же образы, что присутствуют в стихотворении Бродского «Тригон» [24]: аорта, сердце, голосовые связки, зрение, рука, пена изо рта; также в обоих произведениях употребляются существительные «чело», «воздух», наряду с более широко употребляемыми «свет, жизнь, правда, радость, твердость».

Кроме того, в «Балладе» есть глагол «пройти», а в «Тригоне» — словосочетание «сделать шаг»; у Бродского — «щербень и валуны», а у Гинзбурга — «бульжник и камни». У Бродского — прилагательное «рваный», а у Гинзбурга — деэпричастие «вырвав». У Бродского — единица измерения, снабженная нестандартным эпитетом: «громкокипящие га», а у Гинзбурга «хромые километры». У Бродского — числительные «две трети, три четверти», а у Гинзбурга «два, двенадцать, триста, тысячи». Список прямых совпадений и сходств легко продолжить. Можно предположить, что не случайно у Гинзбурга персонаж, являющийся объектом авторской иронии, говорит языком экзистенциалистического стихотворения Бродского.

Как параллель к «Балладе» можно предложить первую песню из известной эпической поэмы Эзры Паунда «Cantos» [25].

Первые 67 строк из «Canto 1» как будто представляют собой перевод 11-й песни «Одиссеи» Гомера, причем очень приблизительный, со многими купюрами. При этом стилистика и ритмический рисунок перевода соответствуют англо-саксонской поэтической традиции. И вдруг автор объявляет, что ориентировался при написании не на гомеровский оригинал «Одиссеи», а на ее далеко не точное переложение на латинский язык, сделанное Андреа Дивом в 16 веке; более того, Паунд акцентирует внимание на том, что этому источнику нельзя доверять.

Стихотворение заканчивается переводом, уже не базирующимся на англо-саксонской поэтической традиции и выполненным с греческого: фрагментом из гимна Афродите, который исполнялся вместе с «Одиссеей», но не является её частью, а сочинил этот гимн не Гомер, что, несомненно, было известно Паунду.

Таким образом, сначала Паунд мистифицирует читателя, предлагает ему «фальшивку», а потом признаётся, что «надул» его. При этом он не задается целью как-либо очернить Гомера, лишь показывает читателю, что может сотворить с документом история и молва, демонстрирует ему «горшок, вовсе не античный, а подброшенный археологам каким-то шутником». Не исчерпывая всех смыслов, заключенных в «Canto 1», мы остановились на моментах, сближающих ее с песней Гинзбурга.

Теперь подведем итоги нашего анализа «Баллады». Автор на примере битвы при Фермопилах показал, как реальное событие искажается в исторической памяти, как оно опутывается сетью из слухов и домыслов. Некоторые мифы и ложные сведения для иллюстрации этого тезиса автор выдумал сам, другие существовали еще до него, и он воспользовался ими.

Автор преподносит их так, что неискушенные слушатели вполне могут поверить в его серьезность и при пересказе эпизода с гонимом, и при передаче произнесенных «победным шепотом» «последних слов» спартанцев, являющихся на самом деле латинской поговоркой, и воспримут эту песню как гимн героям Фер-

мопильского сражения. Но те, кто имеет некоторый «читательский опыт», могут уловить ее философский подтекст и даже провести аналогии с событиями из русской истории. При этом как первые, так и вторые будут очарованы певучестью стиха и его эмоциональным наполнением.

Основываясь на «Балладе» и стихах, которые не анализировались в этой работе, мы можем привести некоторые общие соображения по поводу творческого метода Гинзбурга. Напомним, что А. Гинзбург — поэт, исполняющий свои тексты под аккомпанемент гитары.

Традиция «орфической поэзии», как видно из названия, существовала с незапамятных времён. В XX веке её в русской поэзии воскресили Окуджава, Высоцкий и Галич, благодаря которым жанр авторской песни завоевал себе прочное место в русской культуре. «Авторская песня» находит больший отклик, чем стихи, благодаря доходчивости образного ряда и наличию музыкальной составляющей, многократно усиливающей впечатление.

С другой стороны, зачастую литераторы находят этот жанр примитивным, не считают его «настоящей» поэзией, а между тем поэзия в традиционном понимании этого слова, судя по тиражам, сейчас теряет аудиторию. Очасти это связано с тем, что в рамках многих направлений создаются тексты настолько сложные, что понимание их средней руки читателем затруднено, а непосредственное восприятие на эмоциональном уровне не обеспечивается орфическими качествами текстов. По нашему мнению, опыт А. Гинзбурга показывает, что современная орфическая поэзия может быть и достаточно интеллектуальной, и, при этом, доходчивой и выразительной. Это исключительно трудная задача, которую ставил перед собой покойный А. Башлачев. В некотором смысле, А. Гинзбург — его преемник, но с другой культурной базой.

Здесь нужно кое-что пояснить по поводу специфики образов, наиболее соответствующих жанру песни или песенной баллады. Мы уже писали об этом в другой в другой публикации, но позволим себе повторить некоторые соображения. Для того чтобы вызвать эмоциональный отклик, образ, воспринимаемый «на слух», должен распознаваться ассоциативной памятью легко, «на ходу», вместе с коннотациями, связанными с ним.

Для этого автору не обязательно буквально воспроизводить то, что уже известно, то есть прибегать к прямому заимствованию, но предпочтительна короткая «ассоциативная цепочка». Образ в песне обращен к ассоциативной памяти, действующей автоматически; для ее «включения» слушатель не прилагает специального усилия.

Если же образ сложный и требует расшифровки, необходимо вмешательство рациональной памяти, которая проанализировала бы его, а это занимает какое-то время. В таком случае кто-то из слушателей захочет «вчитаться» в текст, а у кого-то он просто вызовет реакцию отторжения. Песни Гинзбурга ориентированы и на «внимательных читателей», и на тех, кто не готов подходить к тексту аналитически. Как мы показали в нашей работе, многие образы у Гинзбурга обращены именно к непосредственному восприятию, что предполагает известную степень вторичности.

Но это, по нашему мнению, не является недостатком, а указывает на связь Гинзбурга с его поэтическими предшественниками. Прекрасно справляясь с ролью исполнителя текстов, Гинзбург при этом оглядывается и на течения, возникшие в современной поэзии в общепринятом смысле этого слова. Он использует в своих

стихах технику современного модерна и постмодернизма: связи между образами у него далеко не очевидные; чтобы их выявить, от читателя требуется активное «сотрудничество» с поэтом. Баланс между соблюдением интересов слушателя и читателя в каждом стихотворении достигается разными способами. И, конечно же, в первую очередь и для тех и для других важны эвфонические характеристики стихов. Гинзбург обнаруживает блистательное владение звукописью. Однако иногда требования эвфонического совершенства наносят ущерб семантике и создают дополнительные сложности в понимании текста. Конечно же, добиться единства фонетического и семантического планов не всегда возможно, это сложнейшая задача.

Круг тем и поэтических жанров, к которым обращается Гинзбург, разнообразен. И во всех его текстах в той или иной мере проявляются воззрения и имеют место приемы, выявленные в этой статье.

Примечания

[1] Гинзбург А. Баллада о кембрийской глине // Гинзбург А. Кембрийская глина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. С. 6-7.

[12] Е.Г. Трубина «Память коллективная»/ В. Кемеров. Философская энциклопедия. —"Пан-принт", 1998 <http://terme.ru/dictionary/183/word/panjzat-kolektivnaja>

[3] Тарановский К. Очерки о поэзии О. Мандельштама // Тарановский К. О поэзии и поэтике. М.: из-во «Языки русской культуры», 2000. С. 22-25.

[4] Бродский И. Еврипид. Пролог и хоры из трагедии «Медея»// Бродский И. Пейзаж с наводнением. Ардис, 1996. С. 156.

[5] Бахтин М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках // Бахтин М. Литературно-критические статьи. М.: ХудЛит., 1986. С. 486.

[6] Годы жизни Геродота определены приблизительно как 484-425 до н.э., а битва при Маратоне имела место в 490 году до н.э.

[7] Геродот. История. Книга 5. Эрато (115).

[8] Геродот. История. Книга 5. Эрато (105).

[9] Гинзбург А. Три поколения// Гинзбург А. Кембрийская глина. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2007. С. 8

[10] Бергсон А. Собрание сочинений в 5 томах. Т. 3. Материя и память. 1914. С. 225.

[11] Eliot T.S. Introduction to the "Literary Essays by Ezra Pound."// Literary Essays by Ezra Pound. NY: A New Directions Book. The Thirteen printing. P. XI.

[12] Л. Лосев (Лосев Л. Иосиф Бродский — опыт литературной биографии. М.: Молодая Гвардия, 2006. С.110) пишет о Бродском: «У него был хороший англо-русский словарь, много книг, с том числе антология Луиса Антермайера и Оскара Уильямса». Он, очевидно, имеет в виду: The new pocket anthology of American verse from colonial days to present/ ed. by Oscar Williams. NY: Washington Square Press, 1955; A treasury of great poems English and American/ ed. by Louis Untermeyer. NY: Simon and Shuster, 1955.

[13] Лосев Л. Указ.соч. С. 119.

[14] Элиот Е.С. Бесплодная земля: Избранные стихотворения и поэмы / пер. А. Сергеева — М.: Прогресс, 1971.

[15] Eliot T.S. /Элиот Т.С. Избранная поэзия / пер.Л. Аринштейна. СПб.: Северо-Запад, 1994. 446 с.

[16] Паунд Э. Стихи и переводы/ пер. Р. Пищалова. <http://www.uspoetry.ru/poets/41/poems/>

- [17] Паунд Э. Стихотворения и избранные Cantos. — СПб.: Владимир Даль, 2003.—887 с
- [18] Гомер. Одиссея в переводе Жуковского. Песня 11. М. ДетЛит. 1987. С. 153.
- [19] Eliot T. Rapsody on a windy night // Eliot T. The Complete Poems and Plays. NY: Harcourt Brace, 2004. P. 14-16.
- [20] Геродот. История. Книга 7. Полигимния (226).
- [21] Мандельштам О.Э. Я вижу каменное небо...// Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т.1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С. 270.
- [22] Мандельштам О.Э. В таверне воровская шайка...// Мандельштам О.Э. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Т.1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. С.67.
- [23] Мандельштам Р.Ч. Веселятся ночные химеры...// Мандельштам Р.Ч. Собрание стихотворений. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006. С. 63.
- [24] Бродский И. Тритон // Бродский И. Пейзаж с наводнением. Ардис. 1996 P. 141-147.
- [25] Pound E. The Cantos// Pound E. New Selected Poems and Translations. NY: A New Directions Book. 2010. P.127-128.



Виктор Гопман

ПОТОМКИ ДРАКОНА

В Китае, как ты, наверное, знаешь, и сам император китаец, и все его подданные китайцы.

Ганс-Христиан Андерсен. «Соловей»

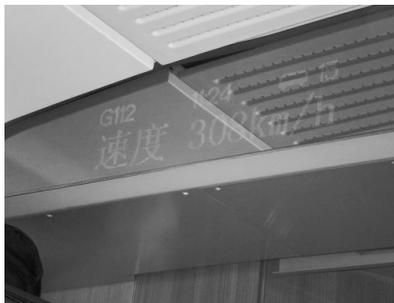
В Китае столько всего, что буквально глаза разбегаются (не говоря уж о мыслях), и просто не знаешь, с чего начать. Ладно, начнем с очевидного — с программы поездки. Отправились мы, конечно же, в организованный тур, поскольку в одиночку (если ты не синолог) по стране не проехать: главная проблема — языковая. Причем, как выяснилось на практике, существует она не только на территории материкового Китая (тут, впрочем, особых надежд никто и не питал), но даже в Гонконге, бывшем до 1997 года британской колонией, где и по сей день английский формально является вторым официальным языком, да к тому же и движение левостороннее...

Мы с женой заблудились в огромном парке, известном своей колонией фламинго, и не менее получаса провели, обращаясь с тривиальным «Ду ю спик?» сначала ко всем встречным и поперечным, а потом уже с разбором, ориентируясь на представителей возрастной группы 20-30 лет, имеющих интеллигентный вид или хотя бы носящих очки. Без пользы дела. Спас положение некий человек с американским акцентом, показавший нам общее направление, хотя точный и полный ответ был получен уже по выходе из парка, от уличного торговца, который оказался — кем бы вы думали? нашим ближневосточным соседом, палестинским арабом (здесь, в Гонконге, — на заработках).

Итак, программа поездки. Это была настоящая китайская пытка — но в хорошем смысле слова, обеспечивающая достижение наивысших результатов: ведь надо было увидеть столь многое! Поэтому — буквально не более одной ночи в одной кровати (исключение — Пекин и Шанхай). В гостиницу нас привозили только к вечеру, а весь день (каждый день!) сразу после завтрака программа, программа и еще раз программа. Спасали только автобусные переезды от одного пункта программы к другому, когда можно было забыться коротким сном и чуть-чуть восстановить силы. Отдыху способствовали и гостиницы, о которых нельзя не сказать несколько самых добрых слов. Для начала заметим, что из одного китайского номера на двоих предприимчивый французский *hôtelère* выкроил бы три, а то и четыре; к тому же утомленного путника везде ждали тапочки и банный халат, чайник и чай (в пакетиках), зубная щетка и паста, шампунь и кремы, расческа и щетка — то есть, то, чего сейчас не предоставляет ни скаредный Париж, ни даже достаточно комфортабельный Стокгольм. И всё это не только в футуристическом Шанхае, но и в скромном Сучжоу (численность населения которого, заметим в скобках, лишь немного не дотягивает до численности населения всего Израиля).

Пункт нашего прибытия в страну — Гонконг, пункт отбытия — Пекин; средство передвижения — Боинг 777-300ER («ER» означает Extended Range, то есть, «самолет повышенной дальности»). Летели Турецкими авиалиниями, что и

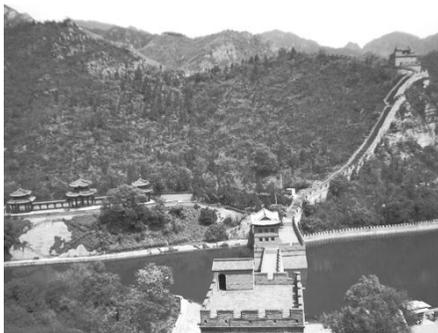
хорошо, потому что у турок отличное обслуживание и кормежка, они даже на коротком плече Иерусалим-Стамбул не оставляют человека голодным, не говоря уж о десятичасовом перелете Стамбул-Гонконг, а воду они предлагают не стаканчиками, а бутылками по 380 миллилитров — пей на здоровье, и сам не беспокойся, да и стюардессу лишний раз не дергай. И еще они дают не только зубную щетку с пастой, но и тапочки, и носки (а вот на подошве носков наклеены елочкой такие пластиковые полосочки — чтобы не соскальзывали тапочки), а сверх того — крем для губ (вспомним, как сохнут губы во время долгого нахождения в замкнутом самолетном пространстве!). У нас имеется опыт трансатлантических и вообще длительных перелетов — и Аэрофлотом (в стародавние времена), и Чешскими авиалиниями (очень хорошо), и Эль-Алем (как говорится, never again!), и Алиталией (вполне сносно) — но турки лучше всех! И, ко всему прочему, ассортимент duty-free аэропорта пересадки — стамбульского «Ататюрка» — способен удовлетворит любые запросы и потребности.



Экспресс «Шанхай-Пекин»; на вагонном табло Обозначена скорость 308 км/час.

За две недели нашего пребывания в Китае мы, помимо традиционных для туризма автобусных переездов, испытали три внутренних перелета (Гуанджоу, он же Кантон-Гуйлинь, Яншю-Сиань и Сиань-Шанхай, порядка двух часов каждый), паром Гонконг-Макао и знаменитый скоростной поезд «Шанхай-Пекин», летящий со скоростью более 300 км/час.

Итак, что же нам удалось увидеть за эти напряженные две недели? Много всего (точнее: множество всего) и в то же время ничтожно мало — если учитывать историю и масштабы страны. Но все-таки кое-что мы захватили — пусть в отрывках, кусках, фрагментах. Это и Великая Китайская стена, одно из новых семи чудес света. Иславный домик в Шанхае — несомненный новодел, но вполне отвечающий представлениям круглоглазых о китагйской архитектуре. (Круглоглазые — это мы с вами: прозвище европейцев, популярное, хотя и не вполне благопристойное. А еще нас там зовут длинноносыми — и остается только вспомнить со вздохом тыняновское, из «Подпоручика Кизе»: «Курнос, сударики, точно курнос»...)



Великая Китайская стена



Домик в Шанхае

Видели мы и Терракотовую армию — более восьми тысяч статуй китайских воинов (пехотинцев, лучников и конников), причем каждому приданы индивидуальные черты и даже выражение лица; статуи, выполненные из терракоты, в натуральную величину, захоронены рядом с гробницей Первого императора династии Цинь, правителя первого централизованного китайского государства, при котором, кстати, было завершено сооружение Великой Китайской стены (III век до н.э.). Статуи этого некрополя, находящиеся неподалеку от древней столицы страны, города Сиань, стоят в параллельных склепах, в боевом построении. От посетителей их отделяет несколько десятков метров, а вот когда часть Терракотовой армии экспонировалась в иерусалимском Музее Израиля, воинов можно было видеть на расстоянии буквально вытянутой руки.



Терракотовая армия

Были мы и на площади Тяньаньмэнь, что в центре Пекина, которая согласно многовековой традиции считается сердцем китайской нации. Названа она в честь ворот Тяньаньмэнь (дословно это означает «Врата небесного спокойствия»), которые находятся к северу от площади и отделяют ее от Запретного города.



Площадь Тяньаньмэнь

Эти ворота — главный вход в Запретный город, место обитания китайских императоров с XV по начало XX века. В те времена он был доступен только для императорской семьи и ближайших придворных, а простому человеку вход сюда был безусловно заказан. С Запретным городом народ в основном знаком по фильму Бертолуччи «Последний император». Только на экране он величественно безлюден, а сейчас там снуют толпы туристов — причем в основном это те, кто относится к категории «внутренний туризм». Китайские туристы в той же мере превосходят по численности интуристов, как полуторамиллиардная Китайская народная республика — любую другую страну мира.



Дворцы Запретного города под пристальным наблюдением туристов

Место современного Китая среди прочих стран мира можно определить и основываясь на таком, казалось бы, неожиданном критерии, как небоскребы. Если отнести к этой категории здания высотой более 150 метров, то в Китае (включая, разумеется, Гонконг и Макао) их насчитывается (по состоянию на время написания настоящего текста — конец весны 2014 года) более тысячи. США же идут на втором месте — их там существенно менее семи сотен.



Небоскребы Шанхая



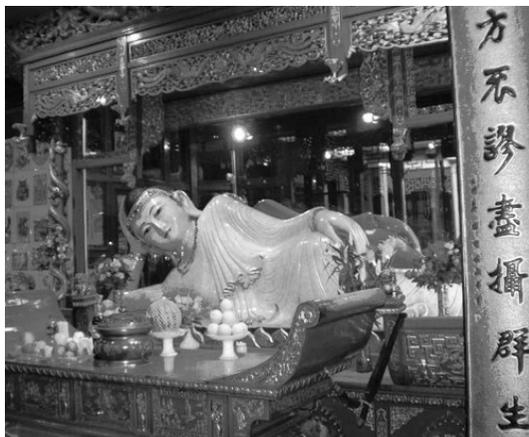
Небоскребы Гонконга

В Шанхае мы провели всего два дня, но все же успели побывать в храме Нефритового Будды, прошли по закоулкам Старого города и вдоль реки Хуанпу, по набережной Вайтань (она же Бунд, она же Банд, она же Шанхайская набережная, она же просто Набережная), с которой открывается (через реку) вид на Пундун, новый деловой район города — тот самый футуристический пейзаж Шанхая. Вечером мы еще раз полюбовались этими местами — на этот раз в полном блеске ночных огней, прокатившись по Хуанпу на кораблике.

Но это — в количественном отношении. Что касается качественных характеристик — судите сами, а я своего мнения скрывать не стану: Шанхай — невообразимо и вызывающе, Пекин — вполне традиционно, чтобы не сказать, тривиально, а вот на зданиях Гонконга — тот неуловимый отпечаток усталости, если не устарелости, который, честно говоря, характеризует и весь этот специальный административный район Китайской Народной Республики в целом. Разумеется, по сравнению с невероятным и фантастическим Шанхаем. (В скобках заметим: все эти и прочие фотографии — моей работы, причем выполнены тривиальной мыльницей).



Небоскребы Пекина



Нефритовый Будда



Набережная Вайтань ночью

В Старом городе нас привели на чайную церемонию — точнее говоря, на дегустацию десятка сортов чая. Далее я скажу вещь, возможно, ужасную — но скажу искренне, тем более, что и жена полностью разделяет эти ощущения. Мы с ней, вообще-то, (а) московские застарелые чаехлебы; (б) завариваем этот напиток вроде бы по правилам, с которыми народ ознакомил Вильям Васильевич Похлебкин в своей эпохальной книге «Чай», вышедшей в 1968 году; (в) предпочитаем черный чай, не отказываясь при этом и от зеленого. Так вот, ни один из предложенных нам на дегустации чаев нам не понравился. Не исключаю, что все они были слишком настоящими, слишком подлинными, неподходящими для неизысканного вкуса.

А что же мы не видели в Шанхае? Прежде всего, памятник Пушкину, который в 1937 году, когда отмечалось столетие смерти поэта, был сооружен усилиями не только российских эмигрантов (а их в Шанхае тогда насчитывалось до тридцати тысяч человек), но и почитателей великого русского поэта из числа кигайской, английской и французской интеллигенции. Потом — Никольский собор, где венчался Александр Вертинский (в Шанхае же родилась и старшая дочь, Марианна — Аня из «Заставы Ильича»). И еще мы не были в шанхайском квартале Хункоу, единственном в годы Второй мировой войны еврейским гетто на Дальнем Востоке, где жили бе-

женцы из Вены, Праги, Варшавы — нельзя забывать, что Китай с 1939 года в числе немногих предоставлял приют европейским евреям, спасавшимся от нацизма.

И разве может быть полным и полноценным рассказ о Китае, если не сказать ничего о драконах! Это в европейской мифологии драконы — воплощение зла, о чем свидетельствуют, в частности, Беллини, Карпаччо, Рафаэль, Рубенс, Тинторетто, Уччелло, на чьих полотнах эти монстры изображены не в лучшие моменты своей жизни, а именно, в процессе встречи со Святым Егорием, которая, по определению, заканчивается для дракона справедливой расплатой за все причиненное человечеству зло.



Императорский дракон



Первый сын дракона Би Си ("Каменная черепаха")

В Китае же, напротив, дракон символизирует доброе начало. При этом, будучи царем животного мира, он является символом императорской власти; заметим, что только такой дракон вправе иметь пять когтей (разумеется, на каждой

лапе) — все прочие довольствуются четырьмя когтями, дабы гордыней не вызвать гнева императора. Утверждается также, что у настоящего императора должна быть родинка в форме дракона. Как справедливо заметил Хорхе Луис Борхес в «Книге вымышленных существ», дракон «обладает способностью принимать различные облики, которые, однако, для нас непостижимы». Этот же автор утверждает, что «китайский народ верит в драконов больше, чем в другие божества, так как сплошь да рядом видит их в меняющих форму облаках». Китайцы боготворят дракона, и до сих пор называют свою Родину «огромным драконом Востока», а себя — «потомками дракона».

С давних времен сохранилось множество легенд о драконе, в том числе и утверждающая, что у него было девять сыновей, которые и по сей день живут среди людей. Первый из сынов дракона зовется Би Си; он является символом упорного труда, столь свойственного китайскому народу. В китайской архитектуре Би Си обычно представлен в виде исполинской ушастой, зубастой или косматой черепахи, несущей на своей спине стелус с важным текстом. Говорят, что прикосновение к нему приносит благополучие и счастье.

И, разумеется, ни один храм, дворец, поместье не обходится без каменных львов, верных и могущественных стражников, чья охранная сила неизмеримо велика. Когда эти каменные изваяния, называемые также львами Будды, пришли в Китай вместе с другими традициями буддизма, то в качестве натурщиков скульпторы стали использовать собак чау-чау (чьё название в буквальном переводе с китайского означает «косматая львиная собака») — так возник этот образ мифического охранного животного, сочетающего устрашающие черты и льва, и собаки.

С ними соседствуют и другие чудища, вид которых призван наводить страх на тех, кому заповедан вход в эти дворцы, кому не место в этих ухоженных садах. Вот пример изображения одного из таких чудовищ — а скульптурная группа в целом, можно сказать, представляет собой вариацию на тему «Надклассового послания» Николая Олейникова (где речь идет, в частности, о блохе по фамилии Петрова):

*Страшно жить на этом свете,
В нем отсутствует уют, —
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут...*



Лев-охранитель



Волки зайчика грызут...

Ну, чтож, теперь настало время поговорить о еде... Да, разумеется, китайцы едят, согласно популярной притказке, всё, что движется, причем как на четырех, так и на шести ногах (скорпионы, в частности), а также и вовсе без ног (змеи). Вот этого мы даже и не попробовали — хотя наблюдали любителей такого дела на специальных рынках (см. соответствующую фотоиллюстрацию). В стране имеется бесчисленное множество самых различных общепитовских точек — от изысканных шанхайских ресторанов, где на кухне царят шефы с мировыми именами, до крошечных, на три столика, обжираловок, обслуживающих жителей соседствующих с ними домов.



Многоногая еда, готовая к употреблению

Есть рестораны китайские — либо «вообще китайские», либо специализирующиеся на приготовлении утки по-пекински, либо придерживающиеся какого-либо одного направления: скажем, кухня кантонская (давшая миру слово димсам, означающее множество различных легких закусок, включая приготовленные на пару маленькие пирожки, начиненные мясом и овощами, пельмени из тонкого до прозрачности рисового теста, разнообразные рулеты, а также блюда экзотические — к примеру, «когти феникса» — особым образом приготовленные куриные око-

рочка), или сычуанская (известная своими острыми и пряными блюдами, в числе которых цыпленок гунбао (кусочки куриного филе, обжаренные с арахисом и красным перцем чили), свинина со вкусом рыбы или кушанье, носящее экзотическое название "муравьи, взбираются на дерево"). Есть в стране рестораны японские, корейские, индийские, тайские, французские, а есть и осененные пресловутой двухрочной буквой М и отравляющие существование немалой части человечества. Вот, к примеру, посмотрите: классический китайский пейзаж (уточним — в Янчжоу): отражение гор в водной глади, мостик, веранда под черепичной кровлей... покой и умиротворение... Но как кость в горле — пробравшийся и сюда Макдональдс.



Биг Мак на фоне китайского пейзажа

Итак, попробовать жучков и таракашек мы не рискнули. Так чем же мы питались в Китае? Ну, на завтрак в гостиницах имелась вполне стандартная европейская еда, включая овсянку, ветчину и омлет. Единственное, с чем была напряженка — так это с молочными продуктами: сыра не существовало вовсе, а йогурт, если и подавался, то привозной (по большей части датский, пригорный, с фруктовыми добавками), масло же — новозеландское. Кувшины с молоком, впрочем, стояли на столах рядом с кукурузными хлопьями, мюслиями и прочей гранолой. Справедливости ради следует заметить, что ведь и некоторые лондонские гостиницы не дают постояльцам йогурт, склоняя завтракающих к молоку. Беда (наша с женой) в том, что молоко мы не признаем, и потому в Лондоне, возвращаясь в свою привлекательную гостиницу, мы заходили в открытый допоздна магазинчик у метро, где и покупали йогурт на завтрак, а вот в Китае — что поделаешь — пришлось обходиться без него. Как нам объяснили, в стране пока еще не очень развита молочная промышленность.

Наш тур был организован на принципе полупансиона — что и разумно, потому что иначе напрыгались бы мы даже в Шанхае и Пекине, уж не считая меньших городов, — а так нас каждодневно привозили в ресторанчики, где уже было все готово к обеду. Столы на десять человек, по стандартной системе китайского общепита, то есть, с вращающимся кругом, на который ставились чайники с чаем, большие миски с супом и вареным рисом и мисочки поменьше, с овощными салатами, тушеными и припущенными овощами, мелко нарезанной говядиной, кусочками курятины и рыбы в кляре, обжаренными грибами, лапшой в мясном соусе, и — на закуску — тоненькими ломтиками арбуза и дыни. Китайская кухня славна разнообразными пельмешками (которых, как утверждают, существует не менее пя-

тиссяти видов), и вот один из наших обедов был поименован «Пельменным банкетом»: подали нам десятка полтора видов — по штучке каждого вида на обедающий нос, с курятиной и иным мясом, с крабами, с бобами, овощами, грибами, с какой-то сладковатой начинкой... В первый день приезда в Пекин дали утку по-пекински. И к каждому обеду стакан светлого китайского пива — вполне приличного, следует признать.

Надо сказать, что мы привыкли к «китайской» еде, знакомой нам по чайнатаунам различных европейских столиц, и даже успели полюбить некоторые блюда. Но лишь знакомство с оригиналами этих кушаний дает представление об их истинном вкусе — истинном, я подчеркиваю, а не адаптированном (пусть даже и с самыми наилучшими намерениями) к запросам и предпочтениям европейца. И некоторые оригиналы, так сказать, первоисточники, нам понравились меньше, чем искусно приспособленные к нашему вкусу версии, варианты и разновидности. То же, наверное, произошло и с чаем (о чем шла речь выше), с классическим зеленым чаем, выращенным на этой земле и заваренным здешней водой.

Чай в Китае пьют на каждом шагу. Все странствующие и путешествующие имеют при себе термос — на литр, а то и на пол-литра, а также, разумеется, заварку. Пьют из крышки термоса, которая, будучи предусмотрительно снабженной ручкой, представляет собой вполне удобную чашку. А как насчет водички, спросите вы? Насчет кипятка? С этим — никаких проблем. На всех вокзалах, в каждом аэропорту имеются, причем в достаточном (а по израильским меркам — и в избыточном) количестве автоматы с тремя кнопками: вода холодная (утолить жажду), вода теплая (скажем, запить сладкую булочку) и кипяток (заварить чай).

Наличие внутриаэропортового источника воды в наши дни — вещь куда как важная. За время поездки мы пережили три внутренних перелета и вылет из страны — то есть, четырежды проходили через стандартный контроль: колюще-режущие предметы и жидкости. Так вот, в китайских аэропортах, включая и пекинский международный, при входе в предполетную зону стоит — не ящик, куда тебя заставляют выбросить недопитую бутылку, а бочка, куда ты можешь вылить оставшиеся у тебя сто тридцать семь миллилитров воды. При этом тебя не понуждают выкинуть пустую бутылку, отнюдь. Ты проходишь все процедуры контроля, включая сканирование твоего компьютера, фотоаппарата, сумки, снятой куртки, если в ней много карманов, и т.д., и т.п. Потом ты с чистой совестью выходишь на свободу, вдеаешь в брюки ремень, убирасешь в сумку электронику и... правильно, и идешь к ближайшему водному автомату, чтобы наполнить свою пустую бутылку.

Ведь до вылета еще добрый час, да и в самолете не сразу удастся завладеть вниманием стюардессы и выпыганить полстаканчика водички. Здесь же ты — независимый человек и пьешь по потребности, как при коммунизме. Это — что касается воды. А чай, спросите вы? И чай заваривали — в шанхайско-пекинском экспрессе. Термоса у нас, к сожалению, не было, но возле крана с кипятком стояла стопка стаканчиков для горячих напитков, и вопрос был тем самым решен.

Ну, а на прощание — о китайских женщинах. Не будем — ввиду ограниченности места — ни о Си Ши, первой красавице древнего Китая (примерно VI в. до н.э.), которая, однажды, как гласит легенда, пришла полюбоваться золотыми рыбками в пруду, а те, пораженные ее красотой, утратили дар плавания и утонули; ни о Цы Си (1835 -1908), вдовствующей Великой императрице династии Цин (1644-1912), последней из императорских династий, правивших Китаем; ни о Цзян Цин (1949-1976), третьей жене Мао Цзэдуна, принадлежавшей к правящей элите

страны и сыгравшей значительную роль в руководстве Культурной революцией (1966-1976).

Просто два слова о китаянках, встреченных на улице. Вряд ли среди читателей найдутся такие, кто не знаком с сериалом «Элементарно», повествующем о приключениях Шерлока Холмса в Америке, — где доктор Ватсон, будучи китайской, зовется, соответственно, не Джон, а Джоан. Ходит она, как мы помним, в мини-юбках, которые можно назвать запредельными — или беспредельными. Так вот, на мой взгляд, это буквальное и зеркальное отражение современной китайской действительности. Немалое количество китаяночек щеголяет именно в таком виде, и скажу вам прямо: им есть что показать (ну, если не всем, то многим). И ведут они себя раскованно, в полном соответствии с нормами и принципами XXI века. Как, собственно, им и подобает.

PS.

А уже после всего написанного — два слова о собаках. Они приравняются в стране к предметам роскоши, и потому даже за маленького псенка взимается серьезный налог — что-то порядка двух или трех тысяч долларов в год — вроде бы в качестве компенсации за ущерб, который тот может причинить окружающей среде. Не знаю, сколько стоит содержание ньюфаундленда или черного терьера, но человек, идущий по улице даже с карликовым или малым пуделем, тем самым как бы заявляет во всеуслышание, что может позволить выложить немалую сумму для удовлетворения своих отнюдь не самых неотложных желаний. Нельзя сказать, что собаки встречаются на каждом шагу, но вместе с тем — их немало. Не стану утверждать, что такого гладкого, ухоженного, выстриженного и начесанного пса, гордо шествующего по улице, можно уподобить шанхайскому небоскребу, гордо возносящемуся в небеса... Хотя, впрочем, если в плане, так сказать, символическом...

И — PPS.

Перед поездкой в незнакомую страну стараешься предусмотреть всё — ну, по возможности, разумеется... Для этого следует, конечно, ознакомиться с соответствующей литературой, порыскать по сети, посмотреть нужные сайты. Есть и еще один, в высшей степени полезный источник информации: чаты путешественников. Ведь человек знает, о чем пишет: как-никак, побывал в стране и извечал на своем опыте — а бывает, что и на своей шкуре... И вот что меня насторожило: на нескольких ветках я наткнулся на упоминание о — вы будете смеяться — туалетной бумаге. Точнее говоря, о ее дефиците — местами, разумеется, и порой, но всё-таки... На всякий случай записал этот вопрос в список задаваемых гиду перед поездкой. В ответ получил короткий смешок и совет «не во всем доверять интернету». Жена решила отреагировать на сетевую информацию, что называется, пятьдесят на пятьдесят. То есть, сунула в сумку полрулона — пусть будет, места не пролежит, а авось и пригодится. Вот и пригодилось, да где! Не в какой-нибудь захолустной гостинице, а в суперэкспрессе «Шанхай-Пекин». Там в каждом вагоне четыре туалета, два в головной части и два в хвостовой, но нам (уточняя: мне) не повезло с первого же захода. Я не стал искать счастья в остальных трех филиалах заведения, а сразу обратился к внутренним ресурсам — ведь хорошо, что, как говорится, «у нас с собой было».



Журнал «Семь искусств» № 11 (57)/2014 — Ганновер:
Семь искусств. 2014. — 447 с., 27,2 а.л.

© Евгений Беркович (составление и редактирование)
Компьютерная верстка: Марина Жукова



Семь искусств
Ганновер 2014